

12

ПРОМЕТЕЙ

12

ПРОМЕТЕЙ



«

»

«

»

1980

« » -

-

**ЛИТЕРАТУРНЫЙ
АРХИВ**

Конспекты лекций М. М. Бахтина 257

ВОКРУГ ТОЛСТОГО**С. М. Толстой.**
Стефан Я. Колафа
(Чехословакия)
Е. Иванова.
Ю. Стадлинг.

Единственная сестра 269

Словацкий друг 288

Один из «темных» визитеров 303

С Толстым на голоде в России 314

**ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГАЛЕРЕЯ****Л. Щербухина.**
О. Ершова,
Т. Поповкина.

Т. Л. Толстая-художница 323

100 фотографий Толстого 335

СМЕСЬ**Ю. Сальников.**
Д. Стариков.
В. Евпатов.
Т. Полякова.
Н. Серебряная.
Г. Хаит.

На гребне педагогических споров 399

Два слова 404

25 февраля 1901 года.
(Письмо А. Н. Дунаева к Т. Л. Толстой) 407

Первая премия Нобеля 411

Велосипед № 97011 415

Толстой в Гаспре 419

Юные корреспонденты Толстого 430

1532
5
Лев Толстой, как зеркало русской
революции.

Самостоятельная жизнь в русском государстве
с революцией, которой он был не только, но
которой он был отражением, которой не
забыл ни на минуту в виду опасности и не
срешившись. Но на первом же этапе революции, что
очевидно не отрицать алгебраическое?
Но наша революция — алгебраическое
сложение; среди массы ее непосредствен-
ных совершителей и участников сформировался
социальный элемент, который не только
но не только не отрицать, но и
страдания и не отрицать и не отрицать
дать, но отрицать не перед нами и не
быть. И все же перед нами и не отрицать

150-летие со дня рождения Л. Н. Толстого широко отмечено в нашей стране и во всем мире как событие большого культурного значения. Люди разных стран и наций воздали дань глубочайшего уважения гениальному русскому художнику слова, чьи произведения завоевали всемирную славу, стали достоянием всего человечества.

Высказывая свое восхищение творческой деятельностью Льва Толстого, его бессмертным искусством, читатели и критики, писатели и общественные деятели воспринимают его художественные создания отнюдь не только как великолепные памятники литературы прошлого, но и как явления, составляющие неотъемлемую часть духовной жизни, культуры современного общества.

Большие юбилейные даты нередко оказываются своего рода ступенями в осмыслении исторической роли и современного звучания произведений великих деятелей литературы и искусства. Во всяком случае, в этом направлении обычно предпринимаются соответствующие попытки, не всегда, впрочем, удачные.

Так, 50-летие со дня смерти Л. Н. Толстого в 1960 году некоторыми видными зарубежными писателями, деятелями культуры отмечалось под знаком решительной переоценки роли его традиций в современной художественной культуре. Приверженцы некоторых новых течений в искусстве, в частности так называемого «нового романа», выдвинули положения, согласно которым Толстой устарел, его творчество уже не оказывает действенного влияния на духовную жизнь, культуру, в частности литературу нашего времени. На смену творческим традициям Толстого, по их мнению, пришли традиции Пруста, Джойса, Кафки, которым и принадлежит сейчас ведущее место в развитии современной литературы и искусства.

Не говоря уже о том, что идеи эти вызвали серьезные возражения со стороны ряда крупных мастеров культуры, в том числе и западноевропейских, сама действительность отвергла взгляды ниспровергателей и всякого рода скептиков, подвергающих серьезному сомнению значение художественного наследия Толстого для современного человека.

Толстой продолжает оставаться одним из самых популярных и любимых писателей в мире, его произведения занимают одно из первых мест среди переводов на иностранные языки. Трудно переоценить тот, например, факт, что новое собрание сочинений Л. Н. Толстого в 22 томах издается сейчас в Советском Союзе тиражом в миллион экземпляров. По данным «Союзпечати», заявки на него значительно превысили эту цифру. Миллионными тиражами публикуются отдельные произведения писателя.

Факты эти по-своему уникальные. В то же время они необычайно характерны для оценки судеб творческого наследия Л. Н. Толстого в нашу эпоху, в стране развитого социализма. Велика популярность писателя и в других странах света.

Толстой привлекает к себе глубоко заинтересованное внимание как широчайших слоев читателей, так и мастеров различных видов искусства. В этом смысле очень пока-

зательны ответы писателей — представителей многих народов мира на специальную анкету, ответы, опубликованные в «Литературной газете», статьи видных художников слова, напечатанные в журналах «Иностранная литература», «Москва», «Вопросы литературы» и других изданиях, стихи советских поэтов в «Новом мире» и т. д. В многочисленных выступлениях крупных деятелей литературы и искусства в разных аспектах характеризуется поразительная масштабность образных обобщений Толстого, глубокая современность его творчества.

Мощное воздействие реалистических традиций Толстого на современную художественную культуру неоспоримо. Оно выступает в прямой и опосредствованной форме как действенный стимул непрерывных творческих исканий, новых художественных свершений.

Все это решительно подчеркивает несостоятельность стремлений обособить Толстого от нашего времени, попыток оценивать роль его творчества преимущественно в чисто историческом плане.

В настоящее время, пожалуй, наибольший интерес привлекают к себе социально-гуманитарные и философские проблемы наследия Толстого. В отличие от 60-х годов многие зарубежные ученые стремятся сейчас включить Толстого в контекст духовной культуры нашей эпохи, хотя включение это временами приобретает довольно специфический характер.

На международном симпозиуме, посвященном творчеству Толстого, состоявшемся в Венеции в конце сентября 1978 года, видное место занимали доклады на такие темы, как «Кризис культуры и культура кризиса у Льва Толстого», «Толстой и бедность», «Христос у Толстого», «Толстой и свобода», «Диалектика свободы и необходимости у Толстого и Киркегора».

Характерной чертой докладов ряда итальянских ученых, так же как и ученых некоторых других стран, явилось выдвижение на первый план религиозного учения

Толстого. В некоторых из этих докладов довольно ясно звучала мысль, что главное в наследии Толстого не его художественные произведения, а религиозно-нравственная философия. Идеи, высказанные в 60-е годы об угасании влияния Толстого-художника, таким образом, вновь возрождаются, но возрождаются в трансформированном виде и имеют иную целевую установку, что, однако, не делает их более убедительными.

Среди итальянских ученых были и такие, которые, признавая значение художественного наследия Толстого, стремились доказать внутреннее органическое единство его религиозной философии и художественного творчества, единство, которое будто бы характеризует всю литературную деятельность писателя от ее начала и до конца. По мнению одного из этих ученых, «непонимание природы и роли религиозности Толстого является собой весьма серьезное препятствие для понимания всего творчества писателя», «исторически и морально справедливо возратить Толстого не церкви, так как он был враждебен церкви не меньше, чем государству, а его собственному христианству, пусть и еретическому...».

По вопросу о соотношении художественного творчества Толстого и его религиозного учения, так же как и о его подлинных и мнимых наследниках, на симпозиуме развернулась оживленная дискуссия. Предвзвтому мнению о нераздельной слитности творческих обобщений писателя и его религиозной философии, мнению, не опирающемуся на конкретный анализ произведений, советскими участниками симпозиума были противопоставлены положения, реальные факты, свидетельствующие о глубоких противоречиях между идеями христианского всепрощения, которыми пронизано религиозное учение Толстого, и образным раскрытием жизни в его художественных шедеврах. В самом деле, разве идеи смирения и всепрощения вдохновляли Толстого в описании им Отечественной войны 1812 года, в изображении народного подвига, в обрисовке На-

полеона, Аракчеева, Растопчина и других действующих лиц «Войны и мира»? Несомненно, что не эти идеи, а иные мировоззренческие и творческие начала сформировали образный строй исторического романа-эпопеи, так же как и других выдающихся художественных творений писателя.

И в ту пору, когда Толстой много усилий посвятил выработке и обоснованию своего религиозного учения, могучий талант великого художника с его необыкновенным чувством жизненной правды часто, очень часто поднимал бунт против смирения и всепрощения. В этой связи нельзя не вспомнить роман «Воскресение» с его беспощадным обличением привилегированных верхов собственности общества, государственных устоев, церкви, гневным протестом против социального и духовного порабощения народа; пьесу «Живой труп», в которой раскрывается решительное неприятие сложившегося порядка вещей, повесть «Хаджи-Мурат» с ее глубоким сочувствием к главному герою — именитому пленнику, человеку, горячо любящему свою семью, свой народ, отстаивающему любыми средствами свое право на жизнь, повесть, в которой сатирически изображен бесчеловечный деспот, самодержец всероссийский Николай I; стоит вспомнить рассказы «После бала», «За что?» с ярко выраженными в них чувствами негодования, возмущения, вызванными несправедливостью, жестокостью и надругательством над людьми. Все это подчеркивает необоснованность идей об органической слитности художественного творчества Толстого и его религиозно-философского учения.

Попытки выделить среди современных писателей, в том числе советских, три-четыре имени людей, являющихся будто бы подлинными наследниками Толстого, попытки, которые делались и на Венецианском симпозиуме, следует признать несостоятельными, несостоятельными прежде всего потому, что они обычно имеют чисто субъективистский, а временами и открыто тенденциозный ха-

рактир. Такого рода выделение неверно и по той причине, что оно отделяет великого художника от широкого движения современной литературы, художественной культуры, с развитием которых он тесно связан.

Среди работ зарубежных ученых о Толстом, появившихся в последний период времени и в юбилейный год, есть немало ценных, интересных исследований, которые — при дискуссионности ряда содержащихся в них положений — продвигают вперед научное освещение творческого наследия писателя. Думается, что было бы целесообразно осуществить научно-критический обзор юбилейной литературы о Толстом, опубликованной за рубежом, обзор докладов на крупнейших симпозиумах, посвященных его творчеству. В этом обзоре существенно охарактеризовать как ценные научные обобщения зарубежных ученых, так и те идеи, с которыми мы не можем согласиться.

Большая потребность ощущается в том, чтобы достаточно объемно оценить результаты, достигнутые советскими учеными, учеными социалистических стран в изучении жизни и творчества Толстого. И тут, может быть, целесообразно взять более значительный период времени, скажем, последние десять лет, уделив при этом особое внимание литературе юбилейного года. Это позволило бы нам нарисовать общую картину изучения Толстого, сопоставить различные позиции в оценке его творческого наследия.

Но особенно важно, как мне представляется, определить основные направления дальнейших исследований жизни и творчества Толстого. Вряд ли нужно обосновывать ту мысль, что изучение творчества выдающихся мастеров литературы и искусства — непрерывный процесс. Ведь наследие каждого из них, подобно океану, неисчерпаемо, и неисчерпаемо, в частности, потому, что непрерывна жизнь великих художественных созданий. При том огромном значении, которое имеет наследие Толстого для духовной жизни современного общества, определение основных направлений его исследо-

вания нужно рассматривать как задачу не только чисто научную, но и общекультурную.

Не стремясь к сколько-нибудь полному обозначению направлений, ограничусь некоторыми замечаниями на эту тему.

Занятые выяснением связей творчества Толстого с его эпохой, с освободительным движением, совокупностью важных проблем эволюции его литературной деятельности, особенностями его реалистического метода и многими другими темами, мы, думается, не уделяли достаточного внимания разработке той важнейшей проблемы, которая глубоко поставлена В. И. Лениным в его широко известном высказывании: «Эпоха подготовки революции в одной из стран, придавленных крепостниками, выступила, благодаря гениальному освещению Толстого, как шаг вперед в художественном развитии всего человечества».

В общем плане положение это обсуждалось многократно. Однако конкретно-исторических исследований, которые бы показали творчество Толстого как шаг вперед в художественном развитии всего человечества, у нас довольно мало. А они чрезвычайно нужны, и нужны потому, что это и есть один из реальных путей, способов охарактеризовать величие Толстого в его подлинной многогранности.

Широкая разработка этой проблемы предполагает освещение связей и соотношений творчества Толстого с творчеством его предшественников — крупнейших мастеров литературы нового времени, таких, как Шекспир, Сервантес, Гёте, Руссо, Бальзак, Стендаль, Гюго, Диккенс, Пушкин, Гоголь. Называю эти имена отнюдь не в качестве строго законченного перечня, а лишь в виде некоторого ориентира.

Для того чтобы изучение связей Толстого с предшествующей литературой было продуктивным, оно не может быть сведено к анализу высказываний писателя о крупных художниках слова. Высказывания эти, какими бы ценными они ни были, не способны

раскрыть всех важнейших соотношений его творчества с литературным наследием предшественников. Кроме того, временами суждения Толстого о выдающихся мастерах литературы, например о Шекспире, носят полемический характер. При сопоставлении произведений Толстого с произведениями его предшественников нельзя ограничиться и рассмотрением сходных мотивов, образов. Такой анализ не в состоянии глубоко осветить поставленную проблему.

Основываясь на принципе: творчество каждого из корифеев литературы — этап в развитии искусства слова, — необходимо широко показать то новое, ценное, что Толстой внес в мировую художественную культуру. Главное здесь — сопоставление образных обобщений, и отнюдь не в плане какого-либо принижения исторической роли других писателей, а в общей перспективе роста, накопления идейно-эстетических ценностей, в перспективе того значительного обогащения художественных завоеваний человечества, которое осуществил Толстой, равно как и другие выдающиеся мастера литературы. Сопоставительный анализ неизбежно будет касаться как творческих обобщений, истоки которых — родственные явления действительности, так и образного претворения несхожих между собою процессов жизни.

По названным мною темам, конечно, существуют исследования, но они затрагивают преимущественно частные вопросы. Даже такая важнейшая проблема, как «Толстой и Пушкин», о чем написано немало статей, не послужила предметом фундаментальной работы, которая осветила бы глубокие внутренние связи и одновременно различия этих писателей.

Помимо, так сказать, индивидуальных сопоставлений интересны исследования, характеризующие соотношение творчества Толстого с развитием отдельных национальных литератур, с отдельными периодами в движении мировой литературы. Было бы важно проанализировать, например, место

Толстого в мировой литературе XIX века, не говоря уже о его вкладе в русскую классическую литературу.

В связи с этим существенным нужно признать изучение творческого метода Толстого в свете эволюции художественных средств реалистической литературы, в плане обогащения писателем самой палитры искусства слова.

Второе крупное направление исследований творчества Толстого можно было бы назвать «Толстой и современный мир», рассматривая широко понятия как «современный», так и «мир». В этом широком понимании «современный» означает XX век, а «мир» включает в себя действительность, духовную жизнь людей, культуру, в том числе и литературу.

В общем и целом речь идет о судьбах литературного наследия Толстого в XX веке, о жизненности его художественных обобщений, о восприятии его произведений, их воздействии на духовную жизнь различных стран и народов, влиянии творческого опыта писателя на современную литературу, художественную культуру в целом.

Вопрос о влиянии Толстого на последующую литературу, особенно европейскую, сравнительно широко освещался и освещается в исследованиях советских и зарубежных ученых. Тут сделано немало, и прежде всего для выяснения связей с традициями Толстого таких художников слова, как Ромен Роллан, Мартен дю Гар, Анатоль Франс, Голсуорси, Генрих и Томас Манны, Прус, Вазов, Драйзер, и других писателей. Естественно, что работа в этом плане не только может, но и должна быть продолжена.

При этом следует помнить, что влияние каждого крупного художника обычно бывает не только прямым, но и опосредованным.

По отношению к Толстому можно сказать, что влияние его значительно шире, чем так называемая толстовская школа в литературе XX века. В сферу воздействия его творческого опыта вошли и такие сравнительно дале-

кие от него мастера, как Хемингуэй, Бунин, Фолкнер, Иван Франко и др.

Как это ни удивительно, но меньше других оказывается освещенной тема о роли творческих традиций в русской советской литературе, литературе народов нашей страны. Немало писали о литературных связях Толстого и Горького, но еще больше об их творческих расхождениях. Сравнительно широко изучалось действительное восприятие толстовских традиций Шолоховым, Фадеевым. Тут есть, несомненно, ценные работы.

За этими пределами освещение названной проблемы обычно ограничивается частными наблюдениями и замечаниями. Недавно вышла из печати книга «Толстой и литература народов Советского Союза». Она содержит в себе ценные сведения о распространении произведений писателя в братских республиках, отклики писателей на его произведения, но большой темы книга эта никак не исчерпывает.

Между тем Алексей Николаевич Толстой еще в 1928 году отмечал: «Лев Толстой — академия для каждого писателя». А Леонид Леонов справедливо заявил: «Как бы ни были богаты наши деды, создавшие нам историю и язык, заложившие основу материального бытия, мы богаче их: во всех нас есть хоть по крупинке от Толстого».

И это прежде всего относится к советским писателям. У каждого из них толстовская «крупинка» неодинакова. Но бесспорно, что творческий опыт Толстого широким потоком вливался в советскую литературу, особенно в военный и послевоенный периоды. Сочетания жизненного опыта советских писателей с опытом великого художника, другими творческими воздействиями необыкновенно разнообразны. Создать фундаментальные исследования «Толстой и советская многонациональная литература» — долг литературоведов нашей страны.

Ждет своего осуществления также исследование «Толстой и советская художественная культура».

Изучение восприятия произведений Толстого различными кругами читателей, читателей различных стран пока еще находится в зачаточном состоянии, так же как исследование социально-эстетической функции произведений других выдающихся художников слова. Однако интерес к этому роду исследования пробудился, особенно у молодых научных работников, и надо полагать, что это даст свои результаты.

Не касаясь вопроса об актуальности разработки проблем, относящихся к данной области — об этом уже неоднократно писалось, — скажу лишь, что, по моему мнению, следует избегать того ясно намечившегося в критике и литературоведении пути, который заключается в противопоставлении исторического и общечеловеческого.

Анализируя современное восприятие и понимание творчества Толстого, так же как и других писателей-классиков, некоторые критики и литературоведы оперируют преимущественно такими понятиями и категориями, как человеческое счастье, радости жизни, любовь к людям, внутренняя потребность добра и т. д. При этом часто упускается из виду огромная социальная и философская насыщенность художественных обобщений Толстого. Общечеловеческие начала, выраженные в его произведениях, отнюдь не сводятся к обиходным житейским формулам, к тощим абстракциям.

При рассмотрении того нового, что раскрывается в современном восприятии Толстого, никак нельзя отвлекаться от социально-исторических истоков его творчества, от реального содержания его произведений. И если совершенно неправомерно ограничиваться чисто исторической их интерпретацией, то столь же неверно игнорировать исторический подход к ним, отвергать его. Поверхностно-современный, в немалой степени вульгаризаторский подход к творчеству писателей-классиков, к творчеству Толстого чреват идейным, эстетическим произволом, разгулом субъективизма.

Третье направление исследований творчества Толстого, о котором скажу совсем кратко, — это изучение поэтики и стиля писателя. Вероятно, это самое сложное и трудное для исследователя. Ведь оно предполагает проникновение ученого в тайны мастерства художника.

О поэтике и стиле Толстого написано немало. И тут есть по-настоящему хорошие и даже блестящие работы. Стоит вспомнить, например, исследования покойного В. В. Виноградова о языке Толстого.

Однако подавляющее большинство статей и книг имеют чисто описательный, классификаторский характер. На мой взгляд, такой подход не может дать сколько-нибудь значительных результатов.

Более плодотворным представляется тот путь изучения поэтики и стиля, при котором различные способы и средства художественного выражения исследуются в их функциональном значении, в их способности с наибольшей впечатляющей силой передать, воплотить образное содержание, творческие обобщения и открытия писателя.

Именно так в идеале должны были бы вестись исследования поэтики и стиля Толстого. Но это легко сказать, а выполнить их в таком плане весьма сложно. Все, кто хоть немного этим занимался, знают, что это значит. Тем не менее, если мы хотим успешного развития нашей науки в различных направлениях, подобное изучение поэтики и стиля крупных писателей, Толстого в первую очередь, необходимо осваивать.

Исследование произведений Толстого со стороны поэтики и стиля в немалой степени облегчается тем, что сохранились многочисленные подготовительные материалы к его сочинениям, первоначальные редакции, открывающие замечательные возможности для наблюдений в области поэтики и стиля. И можно только сожалеть о том, что возможности эти так мало используются.

В связи с рассмотрением основных направлений изучения творчества Толстого нельзя не затронуть вопрос о новом издании

Полного собрания его сочинений. Существующее юбилейное издание в 90 томах представляет собой огромное достижение советской науки. Оно по достоинству получило очень высокую оценку международной научной общественности.

Но время, однако, показало и ряд недостатков этого издания. Они относятся прежде всего к текстологической работе по некоторым крупным произведениям Толстого.

Советские текстологи уже не раз выступали в печати по этому поводу. Далеко не полностью нашли свое место в этом издании первоначальные редакции и варианты художественных сочинений Толстого. Несовершенна и его композиция. Художественные произведения перемежаются в нем со статьями, публицистическими сочинениями. В разделе писем особо — выделены письма Толстого к Черткову и Софье Андреевне, что затрудняет знакомство с фактами жизни, идейной эволюцией писателя. Есть недостатки и в комментариях.

Помимо того, после выхода в свет Полного собрания сочинений опубликованы новые интересные материалы, касающиеся литературной деятельности Толстого, и прежде всего эпистолярные, которые необходимо представить в новом собрании его произведений.

Все это говорит в пользу осуществления нового академического издания собрания сочинений Толстого, которое будет состоять, вероятно, не меньше чем из 100 томов. Его подготовка, естественно, потребует огромных усилий, многих лет работы.

Напомню, что первое юбилейное собрание сочинений, начатое изданием в 1928 году, было закончено лишь через тридцать лет. Над подготовкой юбилейного издания работала большая группа ученых, и отнюдь не только тех, кто считал себя, пользуясь современным малоудачным словом, толстоведом. Можно ли в настоящее время собрать доста-

точно научных сил, чтобы в ближайшие годы начать новое издание?

Но главное заключается даже не в этом. Если первое юбилейное издание сочинений Толстого обладает большими достоинствами, а это несомненно так, то есть ли необходимость заново осуществлять всю работу по подготовке намечаемого академического издания собрания его сочинений: нужно ли, например, писать новые статьи, посвященные творческой истории крупнейших произведений Толстого, в то время как многие из них написаны первоклассными специалистами, следует ли заменять полностью фактические комментарии к письмам, публицистике писателя, содержащие в себе ценнейшие сведения, касающиеся его жизни, творческой работы, его общественных, литературных связей и т. д.

Думается, что делать это ни в коем случае не нужно. Новое академическое издание сочинений Толстого, вероятно, должно быть переизданием — исправленным и дополненным — первого Полного собрания сочинений, выпущенного в 1928—1958 годах. Тут, естественно, возникает немало вопросов. Но было бы удивительно, если бы они не появлялись. Осуществление высказанного здесь предложения о переиздании юбилейного собрания сочинений Толстого, если оно будет принято, может значительно ускорить выпуск академического издания собрания его сочинений. Тема эта, как и другие близкие к ней, нуждается в дополнительном обсуждении.

Огромный и всевозрастающий интерес к жизни и творчеству Толстого у нас в стране и во всем мире не только серьезно стимулирует исследовательскую деятельность, но и повышает ответственность литературоведов за глубокое и всестороннее освещение творческого наследия великого художника слова. Науке нужно быть на уровне высоких требований, которые предъявляет к ней читатель, предъявляют к себе и сами литературоведы.

XX

Мы очень далеки от эпохи Толстого. Но впечатление такое, что он никуда не уходил, что 150 лет для него средний, нормальный возраст и он продолжает следить за нами, изучать нас, а не мы его, как естественно представляется.

Сказывается высота взгляда. Толстой глядит на нас не из границ своей жизни, не из тех времен, которые ему довелось пройти или описать, но с точки зрения их смысла. Это, конечно, совсем иной уровень. Оттуда видны не только мы, но, возможно, и кое-что далеко впереди нас. Толстой добивался этого смысла всегда, часто ничего не хотел знать, кроме него, перебирая подробности, которые поражают обилием именно потому, что он не мог остановиться ни на одной, постоянно спрашивая: зачем? каково отношение к общей правде? То есть он дерзал представлять (пусть с ошибками, срывами) направление человеческой истории в целом и других заставлял его не упускать, напоминая, возвращая к нему, а вовсе не назад, как сопротивляющимся кажется.

Теперь мы могли, например, убедиться вполне, что он был прав, начав свое «Воскре-

сение» картиной весеннего города: «Как ни старались люди, собравшись в одно небольшое место несколько сот тысяч, изуродовать ту землю, на которой они жались, как ни забивали камнями землю, чтобы ничего не росло на ней, как ни очищали всякую пробивающуюся травку, как ни дымили каменным углем и нефтью, как ни обрезывали деревья и ни выгоняли всех животных и птиц...» Слово «экология» еще не было изобретено, сама проблема явится почти через сто лет, — Толстой уже говорит о том, что кажется восстанием на элементарную необходимость.

И так почти в каждой области, затронутой им. Он поднимает идеал, который вдруг становится видимым повсюду, и от него уже невозможно избавиться, забыть, хотя бы этого и хотелось.

Литература не является здесь исключением. Как только мы пытаемся понять его значение в этой суверенной для него области, нас тотчас же поразит эта высота, требующая понимания.

Разве не естественно было бы, например, видеть это значение во влиянии, которое он на литературу XX века оказывает. Благо, в подтверждениях недостатка нет — крупнейшие писатели века сами это признавали (не нужно называть имена); следы его присутствия в их стилях, формах, характерах литературоведы указывали не раз.

Беда только в том, что сам Толстой видел в литературном влиянии признак упадка. По его представлениям, произведение должно быть невиданным, оригинальным, а следы чужого, воспринятого означают торможение, затвердение, временную консервацию идеи. Вот что он говорил: «Меня всегда удивляет в Тургеневе, как он со своим умом и поэтическим чутьем не умеет удержаться от банальности, даже до приемов». То есть то, что мы изучаем нередко как признак мастерства, для него было концом мастерства и началом столь знакомой нам стандартизации.

Сама постановка вопроса, которую мы себе позволяем, — «значение Толстого для литературы» — была бы для него в высшей степени

сомнительной. По его убеждению, ценность писателя измерялась не тем, что он сделал для литературы, но тем, что он сделал для жизни. С этой точки зрения чемпионские стремления ряда писателей XX века написать «хорошую книгу» (одну, две) парадоксально отдаляли от цели, потому что для Толстого нужно было прежде всего что-то важное для жизни сказать, сказать дело («дело говори» — народное требование). А уж в какую форму оно выльется — вопрос второй, хотя и немаловажный, потому что форма тогда уже должна быть единственная, подходящая случаю.

Повторения для Толстого были невозможны. Стоит обратить внимание, что он не создал никаких серий, которыми так богат XX век, — исторических, социальных, биографических. Не всегда, может быть, заметно, что у этого великого романиста всего три романа, и настолько непохожих, что соединить их в один жанр без больших натяжек нельзя.

Нет, не в следах влияния, видимо, значение Толстого (хотя они тоже немаловажны), а в основных принципах, установленных им надолго. В тех принципах, в которых он открывал для нас силы развития искусства.

И первый из них — реализм.

Этот реализм иногда позволяют себе называть описательным. Как бы предвидя эти суждения, Толстой сто лет назад писал: «Если близорукие критики думают, что я хотел описывать только то, что мне нравится, как обедает Облонский и какие плечи у Карениной, то они ошибаются. Во всем, почти во всем, что я писал, мною руководила потребность собрания мыслей, сцепленных между собой для выражения себя; но каждая мысль, выраженная словами особо, теряет свой смысл, страшно понижается, когда берется одна и без того сцепления, в котором она находится. Само же сцепление составлено не мыслью (я думаю), а чем-то другим, и выразить основу этого сцепления словами нельзя, а можно только посредственно словами, описывая образы, действия, положения».

Согласитесь, что это очень далеко от понимания литературы как употребления слов, умения использовать язык... Вдумываясь теперь в эту толстовскую мысль, мы готовы сказать: вот камень, на котором строится эстетика реализма, и не видно, чтобы какие-либо истолкования могли его поколебать. Нам говорят иногда, что это русская особенность — привязанность к жизни в искусстве. Но, кажется, это слишком большой подарок, чтобы можно было его принять. Нам в России, в Советском Союзе вообще трудно делить искусство на русское и нерусское, западное и восточное. Скорее мы делим его на подлинное и мнимое. Толстой учит нас подлинному, и он принадлежит всем.

Между тем есть все-таки разница между способностью воспроизводить жизнь так, чтобы она зажила в сознании с полнотой и свободой реальности, поднятая идеей, и умением более или менее остроумно комментировать ее со стороны, предлагая в подтверждение своих взглядов интересно и неожиданно сконструированные людские модели. Нет сомнения, что для этой способности жизни в мысли нужен большой талант, и проявить его в условиях специализированного технического века крайне трудно. Но делать вид, что эта способность уже невозможна, что ее в XX веке нет или что она заменена чем-то высшим, было бы странно. Если мысль, как говорит Толстой, без этих сцеплений «страшно понижается» и мы могли убедиться, что так оно и есть, зачем нам следовать за этим снижением?

Другой принцип, им установленный, — демократизм. У Толстого он был, наверное, наиболее последовательным среди всех классиков мировой литературы. Поднявшись к вершинам культуры и став во главе мирового художественного развития, он не пожелал вступить в какой-либо «союз избранных умов», что делали не раз до него и после, не поддался ни одному из элитарных искушений времени, но безоговорочно поставил свои знания и свой гений на службу интересам масс. Этот беспримерный поворот открыл совершен-

но новые возможности для художников XX века; они широко используются сегодня.

Никто не может сказать, что Толстой уклонился от требований времени. Он пошел навстречу необходимой краткости, в которой, как он говорил, «французы — мастера»; он показал, как можно вместить в небольшую повесть («Хаджи-Мурат») размеры и достоинства эпоса; создал новый политический идейный роман «Воскресение», несколько не снижая художественности, — своего рода идеал романа будущего, где равное понимание абсолютно несовместимых групп и лиц связано единым настроением и мыслью; и если кому-то казалась неправдоподобной его тема, то только потому, что Толстой столкнулся со слишком большим числом людей, не способных к раскаянию. Он оценил возможности документа и ввел его в литературу, открыл пути быстро меняющейся панорамной драмы («Живой труп»).

Но у Толстого были с XX веком свои разногласия. И они достаточно серьезны, чтобы к ним прислушаться.

Он говорил: «Новые художники... придумывают технический прием, а потом уже подыскивают мысль, которую насильственно в него втискивают». Он не видел направлений, пожелавших испытать эту возможность, не знал, что появятся целые теории, которые будут себя с большой энергией на этом пути утверждать, ему была неизвестна деятельность авангарда. Он только указал принцип, но то был принцип, вокруг которого разгорелись основные художественные споры времени.

Он увидел проблему там, где ее предположить было странно: в возросшей технике описаний. Что могло быть, в самом деле, плохого в том, что получалось так хорошо. Он ведь и признавал это: «В сущности, все теперь прекрасно пишут. Умение писать удивительное...» Но оказалось, что способность ярко описать поверхность может создавать кору, закрывающую предмет, вместо того, чтобы развернуть его навстречу пониманию. Стала возникать непроницаемая пленка, свое-

го рода никелированный слой, который позволял стилю блистать, забыв о внутреннем и погружая в это забвение читателя. Читаю, говорил Толстой, рассказ писателя Б. «Сначала превосходное описание природы и так написано, что и Тургенев не написал бы так, а уж обо мне — и говорить нечего». Но для чего? «Только для того, чтобы В. написал рассказ».

Это было сказано не о ком-то, а о Бунине, где болезнь только показала свой первый румянец... Сам Толстой мог, не дрогнув, написать: «снег у нас белый, как снег», и в художественном произведении, что «яркие звезды» «ярко блестели» между сучьев деревьев — лишь бы не пропала идея; или, напротив, стать вдруг изысканным эстетом, впадая в звукопись, — когда нужно было передать светское скольжение: «Воронцов разодрал атласные карты и хотел разостлать их, когда вошел камердинер... с письмом на серебряном подносе: Еще курьер, Ваше сиятельство». Но нигде не дал он поработить себя стилю, осязаемой поверхности мысли, не позволил силе описаний заслонить невыявленную правду.

Толстой первым решил выступить против наукообразия. Он вовсе не отрицал науку, как не отрицал и прогресс, что случается слышать о нем, когда заходит речь об этих вещах. Толстой отрицал не науку, а то, что и Достоевский называл «полунаукой», то есть подавление с помощью полужнания внутреннего богатства жизни, закрытие человеческой души под видом ее объяснения, засорение авторитетными терминами ее прозрачной глубины и в конечном счете подмену ее механизмами функционирования. Его товарищ прокурора Бреве из «Воскресения», этот призрак будущего, «вооруженный призрак», как говорил Щедрин (в данном случае вооруженный дипломами), предвосхитил некоторые приемы, носители которых, конечно, не пожелали бы признать с ним родства. «В речи товарища прокурора, — писал Толстой, — было все самое последнее, что было тогда в ходу... Тут была и наследственность, и прирожденная преступность, и Лом-

брозо, и Тард, и эволюция, и борьба за существование, и гипнотизм, и внушение, и Шарко, и декадентство». Это он разгадал присяжным личность Масловой, заявив, что «она обладает таинственным, в последнее время исследованной наукой, в особенности школой Шарко свойством, известным под именем внушения» — и это объяснение восторжествовало. Поставьте сюда другую, более современную школу, дайте иную терминологию — психологическую, сексологическую, семиотическую, из теории игр, — картина станет богаче, чем можно было предполагать. Тем более что все это касается и искусства, и самого Толстого, объясненного подобным образом не раз.

Одно предостережение Толстого особо замечательно. Наверное, наше время решилось бы выслушать это только от Толстого, тем приятнее его напомнить. Он говорил: «Утрачено чувство — я не могу определить это иначе, — чувство эстетического стыда». Можно подумать, что Толстой говорит здесь о том, что в его время наивно называли, не зная подвигов будущего, «рискованными описаниями». Но проблема значительно глубже. Распадение внутренних креплений и подчинение внешней силе... Причем это может проходить незаметно, вовсе не от политического давления, например, но в форме совершенно законного удовлетворения разных интересов и групп. Появляется социология, которая учит, как удовлетворять эти вкусы... И вот вкусы удовлетворены, успех обеспечен, но где то, что могло бы связывать все эти группы, где истина? Художник, который должен был бы соединять людей, оказывается, содействовал их разобщению. Угроза замечательна тем именно, что невидима, что приносит облегчение... Не будем говорить вслед за Толстым, что эстетический стыд утрачен, но согласимся, что его не хватает.

Требовательность Толстого может показаться чрезмерной. Но нам незачем ее опасаться: он никогда не бывает зол. Суров, резок, непримирим, но никогда не злонаме-

рен. Так называемая священная ненависть ему совершенно неизвестна. Он борется с принципом, заблуждением, предрассудком, темнотою, окостенением, слабостью, но не с человеком. И человек это слышит. Для литературы XX века эта поддержка незаменима.

Незаменима бодрость и ясность его духа. В. В. Вересаев, писатель во многом типичный для настроений начала века, вспоминает, как он посетил Толстого и заговорил с ним о трагизме бытия.

«Самое слово трагизм, видимо, резало его ухо, как визг стекла под железом. По губам пронеслась насмешка:

— Трагизм... Бывало, Тургенев приедет, и тоже все: траги-изм, траги-изм.

И так он это слово сказал, что где-то в душе стало совестно за себя и шевельнулся странный, нелепый вопрос: да, полно, существует ли вправду какой-нибудь в жизни трагизм?»

Впечатление от общения с Толстым передано здесь точно. С высоты своего взгляда он просто указывает нам на смысл, упущенный другими и невидимый из разных тупиков, откуда раздаются голоса отчаяния.

* * *

Толстой называл свое писательство «мечтательный труд». В этом определении, промелькнувшем уже в конце пути, повторилось то, что он сказал в дневнике ранней молодости и, вероятно, забыл. «В мечте есть сторона, которая лучше действительности; в действительности есть сторона, которая лучше мечты. Полное счастье было бы соединение того и другого». Теперь мы видим, что этого счастья он достиг, соединил мечту и действительность своим трудом. Это пример, пусть уникальный и очень высокий, но вдохновляющий. Во всяком случае, этот счастливый пример более поучителен, чем многие иные. Как сказал наш главный писатель Пушкин: «Говорят, что несчастье хорошая школа. Может быть. Но счастье есть лучший университет».



П. И. Пестель. 1820-е годы.
С портрета неизвестного
художника.



Н. И. Толстой. 1814—1815 гг.
С миниатюры, хранящейся в
Ясной Поляне.

Из истории работы Л. Н. Толстого над декабристской темой

1

В истории художественного творчества явление редкое, когда художник на протяжении почти всей своей творческой жизни обращается к одной заветной теме, принимается писать не один раз — и не создает законченного произведения. Так случилось

с работой Толстого над декабристской темой¹.

Осенью 1860 года он начал писать роман о возвратившемся из Сибири декабристе, но, написав три главы, оставил начатое. Вернувшись к декабристской теме он, уже завершая «Войну и мир». В эпилоге романа в тихую семейную поместную жизнь вторгаются, подобно отдаленному грому надвигающейся грозы, вести из далекого Петербурга о семеновской истории, об аракатеевщине, о съезде тайного общества у «князя Федора...».

Примечательно, что в начале 1878 года, когда Толстой снова приступает к работе над романом из эпохи 20-х годов, в одном из первых набросков плана он отмечает те же исторические события: семеновскую историю и съезд «Союза благоденствия» в Петербурге.

Весь 1878 год писатель увлеченно, с огромным напряжением работает над романом. По свидетельству современников и самого Толстого, произведение, равное по масштабу

его большим романам, было готово в его воображении.

9 марта 1879 года Н. Н. Страхов писал своему знакомому: «На святках я ездил к Л. Н. Толстому и провел у него дней десять. Вот где творятся чудеса — я уверен, что новое его произведение будет настоящим чудом... Действие должно происходить между 1816 и 1836 годами. Он сам говорил, что никогда работа так не занимала его, как эта».

Оставалось испытать десятки вариантов, написать сотни, тысячи страниц, чтобы добиться правдивого выражения задуманного. Но многотрудный для Толстого процесс писания не был им завершен. 16 раз он набрасывал начало романа и оставил начатое. Сохранились записные книжки, которые Толстой заполнял по мере работы над темой. В отрывочных фразах, в недописанных словах обозначены формирующиеся в воображении художника образы; отмечены для памяти детали будущих характеристик, портретов, сцен. Заметки в записных книжках подобны стенограмме — поспешно, немногими знаками Толстой фиксировал контуры возникающего в его сознании произведения. Так в трех маленьких записных книжках осталась зашифрованной эпопея о декабристах².

Насколько глубоко и всесторонне писатель изучал и намеревался изобразить эпоху и декабристское движение, свидетельствуют упоминания событий и имен на страницах записных книжек.

Здесь очерчен широкий круг русской и международной политической жизни. Характерны записи: «1916. В России — правительственное» и «1916. В России общественное» — и под этими общими заголовками заметки о назначении министров, об указах и т. п., а рядом с именами А. К. Разумовского, Д. А. Гурьева, Д. И. Лобанова-Ростовского в одно-два слова их меткие характеристики как детали едва намеченного, но уже живого портрета.

Обозначены все важнейшие революционные события, которыми была охвачена Европа в начале 1820-х годов: манчестерское восстание рабочих в Англии, испанская революция, революционные события в Неаполе, борьба за освобождение в Греции. Несколько резкими штрихами отмечено яростное сопротивление реакционеров натиску революции: «...мракобесие. Магницкий. Бунт в Чугуеве... Казни...»

В записных книжках упоминается 245 имен — это и государственные деятели: Александр I, Сперанский, Меттерних, министр;



В. И. Пестель. Литография
1850-х годов.

ры; это и генералы, придворные, знаменитые писатели, прославленные красавицы — внушительная портретная галерея александровской эпохи. И в длинном перечне имен 28 декабристов!

Толстой составил планы биографий Захара Чернышева, Никиты Муравьева, Матвея и Сергея Муравьевых-Апостолов, Александра Одоевского, Евгения Оболенского, сделал заметки о семьях Рылеева, Бестужева-Рюмина, Лунина.

Одна строка в Записной книжке посвящена Пестелю, в книжке «В» помечено: «Пестели оба брата».

Исследователи творчества Толстого до сих пор не обращали внимания на эту строку, затерявшуюся среди многочисленных записей и помет. Между тем этой одной строкой Толстой обозначает трагедийную ситуацию,

важную для романиста, изображающего события 14 декабря 1825 года.

Чтобы понять, как много художественного содержания вобрала в себя эта строка, представим сначала общие контуры романа.

Характер задуманного Толстым произведения был отчетливо определен им впоследствии в примечании к публикации глав «Декабристов» в сборнике «XXV лет» (изданном в 1884 г.): «Печатаемые здесь три главы романа под заглавием «Декабристы» были написаны еще прежде, чем автор принялся за «Войну и мир». В то время он задумывал роман, которого главными действующими лицами должны быть декабристы, но не написал его, потому что, стараясь воссоздать время декабристов, он невольно переходил мыслью к предыдущему времени, к прошлому своих героев. Постепенно перед автором раскрывались все глубже и глубже источники тех явлений, которые он задумывал описать: семья, воспитание, общественные условия и проч. избранных им лиц...»

Примечательно, что в публикации объединены начала романа 1860 года и 1878 года. Это свидетельствует о единстве замысла.

Толстой предполагал дать не только ши-

рокое эпическое изображение жизни, но исследование семейных связей не одного, а многих действующих лиц, обнаружить все те исторические и социальные корни, что определяли духовный рост, историю целого поколения — того поколения, с которым сам художник чрезвычайно живо и остро ощущал свою связь. Недаром, преступая к работе над романом, в январе 1878 года Толстой писал Александре Андреевне Толстой: «Я теперь весь погружен в чтение из времен 20-х годов и не могу вам выразить то наслаждение, которое я испытываю, воображая себе это время. Странно и приятно думать, что то время, которое я помню, 30-е годы — уж история...»

Люди 10—20-х годов, те, кого Толстой избрал героями своего романа, были для него поколением отца-матери; воспоминания о них, об их времени — примечательная черта духовной атмосферы Ясной Поляны, его детства. В глубокой старости Толстой вспоминал, что отец рассказывал о декабристах. Исторические предания, как и музыка, сопутствовали ему и тревожили его душу с самых ранних лет.

Толстой дорожил своим кровным родством с этим поколением. Он высказывал это в письме к А. А. Толстой, в котором писал о смерти тетушки Пелагеи Ильиничны Юшковой (она умерла в Ясной Поляне 21 декабря 1875 г.). «Странно сказать, — писал Толстой Александре Андреевне, — но эта смерть старухи 80-ти лет действовала на меня так, как никакая смерть не действовала; мне ее жалко потерять, жалко это последнее воспоминание о прошедшем поколении моего отца, матери...» Порвалась последняя кровная связь, соединявшая Толстого с эпохой декабристов. Может показаться по меньшей мере странным такое сближение: тетушка Пелагея Ильинична — и декабристы! — тетушка, за которой в биографической литературе о Толстом установилась репутация «недалекой».

Однако благодаря Пелагее Ильиничне до нас дошло то эхо, что пронеслось в Ясной Поляне вслед за событиями 14 декабря 1825 года. Может быть, как раз вследствие своей недалекости Пелагея Ильинична, Полина, как ее тогда называли, чистосердечно выразила то, что другие благоразумно находили нужным не обнаруживать. Среди немногих сохранившихся писем семейного архива одно имеет помету: 1826 год, 20 октября. Ясная Поляна.

Татьяне Александровне Ергольской в Покровское пишут Мария Николаевна, мать Толстого и Полина. Письмо отправляется не

П. Н. Толстая. 1810-е годы.
С миниатюры, хранящейся
в Ясной Поляне.



почтой, а нарочным — его везет в Покровское Николай Ильич. Мария Николаевна пишет о распорядке дня уединенной сельской жизни, о чтении и, главным образом, своем трехлетнем сыне Коко. Далее следует приписка Полины: «...Николай уезжает, так что мне приходится остаться. Ведь ты понимаешь, что Мари и папан не могут остаться одни...»³ Не могу тебе выразить, как мы скучаем без тебя. Вчера я получила письмо от моего мужа, благополучно доехавшего до Казани и нашедшего наши дела гораздо более расстроенными, чем мы думали. Помогите ему бог окончить дела, согласно нашим желаниям. Я, конечно, далека от мысли возмущаться волей Провидения, *не могу сказать, что этот год был для нас ужасен*. Прощай, мой добрый друг, приезжай к нам...»⁴

Какое простодушное, легкомысленное и вместе поэтичное и глубокое признание: в нем воспоминание о том ужасном для семьи Толстых годе, когда скончался в Казани отстраненный от губернаторства и отданный под следствие сенаторской комиссии Илья Андреевич (дед Толстого); в нем сознание того, что этот год мог быть и «для нас», для семьи ужасен: Николай Ильич мог оказаться среди тех, кого по зимнему пути отправляли в Сибирь на каторгу... И верно угаданное нравственным чутьем то, что этот год был ужасен зрелищем расправы и казни над теми, кто был цветом поколения.

Толстой знал, что его родители принадлежали к этому кругу. О своем отце он писал в «Воспоминаниях»: «Как большая часть людей первого александровского времени и походов 13—14—15 годов, он был не то, что теперь называется либералом, а просто по чувству собственного достоинства не считал для себя возможным служить ни при конце царствования Александра I, ни при Николае...» Если прочесть этот отзыв в историческом контексте, станет ясна удивительная, как всегда, точность толстовского определения.

Не где-то там, в глухом провинциальном помещичьем быту прозябали родители Толстого, они жили «как большая (и добавим — лучшая) часть людей александровского времени».

Укоренилось мнение, что семья Толстых находилась в Ясной Поляне как бы вне истории, что потрясения, вызванные событиями 1825 года, до нее не доходили. Однако стоит взглянуть на карту, чтобы увидеть, что Ясная Поляна находилась отнюдь не в стороне, а как раз на главной магистрали, связывавшей центры декабристского движения. Мимо Ясной Поляны пролегал путь из Москвы и Петербурга на юг, в Тульчин, в те

места, где была расквартирована 2-я армия, где полковник Вятского полка П. И. Пестель организовал Южное общество.

В один из первых дней сентября 1823 года в 9 часов утра обитатели Ясной Поляны видели из своего сада проезд Александра I — он направлялся на юг делать смотр армии: с этим смотром был связан «Бобруйский план» члена Южного общества Сергея Муравьева-Апостола: во время смотра овладеть особой государя, заключить его в Бобруйскую крепость и идти на Москву⁵. Мимо Ясной Поляны мчались императорские курьеры, проезжали связанные заговорщиков, направляемые Южным обществом в Москву

П. Х. Витгенштейн. 1820-е гг.
С портрета Г. Доу (?).





А. И. Остен-Сакен и П. И. Юшкова.
1810-е гг. С миниатюры.

и Петербург и Северным обществом — на юг. Недалеко от Ясной Поляны под Орлом, в имении тестя Григория Ивановича Чернышева жил Никита Муравьев ⁶.

Из семейной переписки известно, что в Ясную Поляну по пути из Москвы в полк имели обыкновение заезжать родственники. А родных и знакомых у Толстых во 2-й армии было много; среди них — кн. Михаил Дмитриевич Горчаков, впоследствии командующий армиями в Севастополе, под началом которого служил молодой Толстой.

Михаил Дмитриевич Горчаков — сын двоюродного брата Пелагеи Николаевны, бабки Толстого. Горчаковы поддерживали самые тесные дружеские отношения с семьей Толстых⁷. Горчаков принадлежал к кружку блестящей военной молодежи штаба 2-й армии, к тому самому «юному обществу главной квартиры», которое описано в воспоминаниях декабриста Николая Васильевича Басаргина. Среди лиц, составлявших это общество, он называет кн. С. Г. Волконского, П. И. Пестеля. С. П. Трубецкого и многих других⁸.

Встречаясь с Толстыми, Горчаков, надо полагать, передавал поклон от Пестеля его

старому сослуживцу и однополчанину Николаю Ильичу Толстому. Поручики Николай Ильич Толстой и Павел Иванович Пестель в 1813 году находились при штабе Витгенштейна: Пестель был адъютантом командующего, Николай Ильич Толстой состоял при кн. Андрее Ивановиче Горчакове, командире 1-го Пехотного корпуса в составе группы русских войск Витгенштейна.

Н. И. Толстой и П. И. Пестель участвовали в историческом сражении — Лейпцигской битве, были награждены. Пестель чуть было не погиб на поле битвы и несколько недель находился в очень тяжелом состоянии. Видимо, поэтому командующий армией Витгенштейн вместо своего адъютанта направил в Петербург с донесением военному министру Николая Ильича.

То, что Н. И. Толстой, по данному формулярного списка зачисленный в Иркутский гусарский полк, во время кампании 1813 года состоял при генерал-лейтенанте кн. Андрее Ивановиче Горчакове, мною установлено по письмам Николая Ильича родителям⁹. Ф. Н. Глинка, в «Письмах русского офицера» превосходно описавший поход русской армии в 1813 году, упоминает об Андрее Ивановиче

Горчакове как старшем генерале авангарда русской армии под командованием М. А. Милорадовича в составе войск главнокомандующего П. Х. Витгенштейна, который высоко ценил службу обоих адъютантов: недаром же они оба — и П. И. Пестель и Н. И. Толстой — после окончания войны и возвращения войск из заграничного похода в Петербург в 1814 году в один и тот же день — 21 августа — за отличие были пожалованы в кавалергарды. Вскоре Пестель уехал из Петербурга к штабу Витгенштейна в Митаву, а Николай Ильич в 1819 году по состоянию здоровья и семейным обстоятельствам вышел в отставку.

О том, что Н. И. Толстой имел какую-либо причастность к деятельности тайных декабристских обществ, нет никаких сведений.

Но у него было много знакомых и родных среди заговорщиков (привлекавшиеся по делу декабристов: С. П. Трубецкой, С. Г. Волконский, А. И. Одоевский, З. Г. Чернышев, Ф. П. Толстой, В. П. Ивашев, И. С. Повало-Швейковский, Н. Н. Десперадович, Д. А. Лаптев, В. А. Бобринский, В. А. Мусин-Пушкин — родственники его или его жены М. Н. Толстой, рожденной Волконской).

Граф и подполковник в отставке Н. И. Толстой в 1821—1824 годах занял скромное место смотрительского помощника Московского военно-сиротского отделения. Известно, что в эти годы военно-сиротскими отделениями интересовались декабристы — организуя просвещение солдатских детей, они стремились воспитать чувство протеста в солдатской массе. Служба Н. И. Толстого в военно-сиротском отделении вполне соответствовала широкой просветительской программе «Союза благоденствия».

Толстой избрал 1816 год начальной вехой повествования о декабристах. Он был точен как историк: ныне исследователи декабристского движения датой возникновения первой организации «Союза спасения» считают 9 февраля 1816 года¹⁰.

Но, чтобы воссоздать эпоху во всей ее живой достоверности, Толстому нужны были осязаемые приметы времени. Он записывает для памяти:

«Когда начались цыгане?
Мода — мундиры, сапоги.
Дамские прически, уборы.
Форма ботинок».

Для него недостаточно почерпнуть только сведения из публикаций «Русской старины» или «Русского архива». Толстой, как и прежде, в годы создания «Войны и мира»,

пользуется семейными преданиями, в частности, теми, что могла рассказывать ему тетушка Пелагея Ильинична Юшкова.

В 1812 году семья Толстых выехала из Москвы перед вступлением в нее французов и с февраля 1813-го по август 1815 года жила в Петербурге¹¹. Семнадцатилетняя Полина имела похвальное намерение вести дневник петербургской жизни своей семьи, но, сделав первую запись 10 июня 1814 года, из которой мы узнаем, что граф и графиня Толстые посвятили себя всецело воспитанию детей, она забросила литературные занятия.

Что произошло? Об этом пишет в своих записках более прилежная и талантливая ее сверстница Анна Григорьевна Хомутова: «9 июня вел. князь Константин Павлович привез известие об общем мире, подписанном в Париже 18 мая. Загремели пушки, зазвонили колокола, в церквях запели благодарственные молебны, и город опять зажег увеселительные огни...

...Бывали собрания во многих домах, и дамы щеголяли новыми нарядами, привезенными или присланными из Парижа; делали лотереи и иногда танцевали; несколько эполет оживляли однообразие фраков. То были предшественники всех тех, кого мы ожидали: братьев, супругов и втайне предпочитаемых...»¹²

Полина и ее родные были свидетелями пышных иллюминаций в честь побед русской армии, вступления в Петербург возвратившихся из заграничного похода войск, царского смотря, праздников в Петергофе и Павловске. Молодость, увеселения, балы — не до прилежных добронравных записей в семейном журнале!

Толстые были разорены московским пожаром, но в Петербурге у них было много богатой и знатной родни: для них были открыты дома исполняющего обязанности военного министра князя Алексея Ивановича Горчакова, родственника П. Н. Толстой, Петра Александровича Толстого, бывшего петербургского генерал-губернатора, и дом их богатой тетки, родной сестры Пелагеи Николаевны Толстой — Натальи Николаевны Десперадович. Она была бездетна и опекала племянника и племянниц.

Наталья Николаевна была замужем за Леонтием Ивановичем Десперадовичем. В конце царствования Екатерины II Л. И. Десперадович командовал гвардейским Семеновским полком и принимал участие в заговоре против Павла I¹³. Его брат, Николай Иванович Десперадович, командир кавалергардского полка¹⁴, был шефом по полку Николая Ильича Толстого после зачис-

ления его кавалергардом в августе 1814 года.

Среди семейных реликвий в Ясной Поляне хранится миниатюра, на которой Николай Ильич изображен кавалергардом: в красном вицмундире с черным бархатным воротником, украшенном серебряными петлицами, со сверкающим адъютантским аксельбантом; безусое юношеское лицо, и над высоким лбом «кок». Молодой штабс-ротмистр одет и причесан для петербургского бала по той моде, что интересовала Толстого (о чем он сделал пометы в записной книжке).

На балах, на танцевальных вечерах у знакомых, у своего нового начальника Н. И. Депрерадовича Николай Ильич наверняка встречался с адъютантом командира кавалергардов Владимиром Пестелем, младшим братом П. И. Пестеля¹⁵.

Здесь уместно будет заметить, что Толстые состояли в отдаленном родстве с семейством сибирского генерал-губернатора Ивана Борисовича Пестеля, отца декабриста. Какая-то тетка Павла Ивановича была замужем за генерал-поручиком Леонтьевым, потомком родной тетки Ильи Андреевича Толстого, Александры Ивановны, в замужестве Леонтьевой¹⁶, так что молодые люди, по принятому тогда обычаю, могли посчитаться родством.

В доме Пестелей, у Депрерадовичей собиралась военная молодежь. Широко жил и старик Леонтий Иванович Депрерадович. Надо полагать, на вечерах и балах у тетки

Натальи Николаевны юная графиня Полина Толстая не раз танцевала с младшим Пестелем. А может быть, на эти балы являлись и оба брата — Владимир и Павел.

Вот теперь мы обратимся к загадочной строке, начертанной Толстым на отдельном листке в Записной книжке «В»:

«Пестели оба брата».

Эта строка не только и не столько свидетельство того, что Толстой прочел публикацию бумаг И. Б. Пестеля в «Русском архиве» за 1875 год. Эта строка взята им из живой речи и занесена в Записную книжку как одна из примет времени: да, это было время, когда в Петербурге на балах являлись Пестели, оба брата. Время, о котором вспоминала и о котором могла рассказать тетушка Юшкова.

2

Сцена бала в Петербурге в 1816 году не была написана. Сохранившиеся варианты начал романа принадлежат как будто совсем другому произведению: один из вариантов начинается сценой весенней пахоты, в другом упоминается сцена драки на меже; испробованы две разные версии одного сюжета: крестьяне казенного села Излегощи судятся из-за клочка земли с богатым помещиком; шесть мужиков за сопротивление землемеру посажены в острог; в центре повествования —

М. И. Муравьев-Апостол. 1823 г.
С акварели неизвестного художника.



С. И. Муравьев-Апостол. 1823 г.
С акварели неизвестного художника.





А. С. Муравьева-Апостол с сыном Матвеем и дочерью Екатериной. С портрета К. Монье. 1799 г.

судьба этих мужиков, их жизнь, и дальше, в планах — рассказ об их переселении в самарские степи или Оренбургский край.

Все эти «приступы к теме» более похожи на переселенческий роман, чем на повествование о декабристах. Однако, если мы задумаемся в толстовский зачин, станет ясно, что художник начинает с самого главного. «Мысль народная», воодушевлявшая Толстого во время его работы над «Войной и миром», владела им и во время поисков начала романа «Декабристы». Только в этом произведении она приняла новое направление.

Если в народно-героической эпопее о 1812 годе речь шла об освобождении русской земли от наполеоновского нашествия, то в 70-е годы, в эпоху разочарований в реформах 1861 года, Толстым все более и более овладела мысль об освобождении земли от частной собственности.

Чья земля? Чья она должна быть?

Вопрос об освобождении земли был впервые поставлен декабристами, и его сняла с повестки дня только Октябрьская революция

Освободить от частного владения половину всех земель и сделать их общим достоянием — вот что было записано в «Русской Правде» Пестеля. М. В. Нечкина, анализируя «Русскую Правду», отметила, что выдвинутое Пестелем требование было несравненно более радикальным, чем то, что дала крестьянам реформа 1861 года¹⁷.

Но «Русская Правда» в декабре 1825 года была зарыта близ украинского села Кириасовки «под берег придорожной канавы». По приказанию следственной комиссии портфель с бумагами Пестеля был разыскан и предъявлен следствию. С тех пор экземпляры «Русской Правды» строжайше хранились среди следственных дел декабристов. Впервые разрешение снять с них копию, и в том числе с «Русской Правды», получил известный историк генерал Н. Ф. Дубровин.

В январе 1879 года Н. Н. Страхов сообщал Толстому, что, по его сведениям, «некто Дубровин» был допущен к следственным делам декабристов и что он попытается от А. Ф. Бычкова, помощника директора Императорской публичной библиотеки, «что-нибудь вытянуть». Неизвестно, удалось ли Н. Н. Стрехову получить через Бычкова что-либо из копий Дубровина. Мы знаем лишь, что на свою просьбу через А. А. Толстую о допущении к следственным делам Лев Николаевич получил категорический отказ от шефа жандармов А. Р. Дрицельна¹⁸.

«Русская Правда» появилась на свет только в 1906 году. По копии Н. Ф. Дубровина ее издал талантливый исследователь декабристского движения П. Е. Щеголев.

Толстой был хорошо знаком со Щеголевым, переписывался с ним. Щеголев присылал Льву Николаевичу издаваемые им материалы о декабристах, в частности, в 1908 году прислал свою книгу «Грибоедов и декабристы». Благодаря за присланную, прекрасную, по его мнению, книгу, Толстой просил Щеголева прислать ему издание «Русской Правды». Присланный П. Е. Щеголевым в ответ на просьбу Толстого экземпляр «Русской Правды» ныне хранится в Яснополянской библиотеке.

Значит ли это, что Толстой в 1878 году не имел никакого представления о том, как решался вопрос о земле в «Русской Правде»?

Начав работать над романом о декабристах, Толстой в феврале 1878 года отправился в Москву, чтобы встретиться с живущими там декабристами. Одним из них был Матвей

Иванович Муравьев-Апостол. Ветеран движения, принимавший участие в тайных организациях со времен основания «Союза спасения» в 1816 году, Матвей Иванович был хорошо осведомлен во всех делах тайного общества. От него Толстой мог узнать и о том, что в ранних декабристских организациях принимали участие Пестели, оба брата, — не только Павел, но и Владимир¹⁹.

Так может быть истолковано еще одно значение строки о Пестеле в конспектах романа.

Матвей Иванович Муравьев-Апостол, поручик Семеновского полка, был назначен в начале 1818 года адъютантом к Малороссийскому генерал-губернатору кн. Николаю Григорьевичу Репнину-Волконскому, старшему брату декабриста Сергея Григорьевича Волконского. Резиденция Репнина находилась в Полтаве, где и служил Матвей Иванович до 1822 года, когда вышел в отставку и поселился в имении отца селе Хомутец Миргородского уезда Полтавской губернии.

Не будучи связан службой, Матвей Иванович осуществлял связь Южного общества с Северным; это тем более было удобно, что в Петербурге у него было много родни. Он был помощником Пестеля во время поездки последнего в Петербург весной 1824 года. Пестель привез тогда в Петербург «Русскую Правду», знакомил с нею руководителей Северного общества, искал пути для выработки общей конституционной программы и общего плана действий.

Матвей Иванович присутствовал на обсуждениях «Русской Правды» и, следовательно, хорошо знал ее содержание. Кроме того, уезжая из Петербурга, Пестель оставил Матвею Ивановичу «копию вкратце» — краткое изложение «Русской Правды» для изучения ее в организованной им кавалергардской ячейке Южного общества в Петербурге. Членом этой ячейки был корнет кавалергардского полка Петр Николаевич Свистунов, с которым также встречался и беседовал Толстой во время своего приезда в Москву в феврале 1878 года.

В бумагах Толстого не осталось никаких записей его бесед с декабристами Свистуновым и Муравьевым-Апостолом. Но надо полагать, что из личных бесед Толстой почерпнул ясное представление об истории декабристского движения, что со всей очевидностью отразилось в планах и набросках, сделанных в записных книжках. Так, Толстой записал на отдельном листе перечень событий внешней и внутренней жизни России в 1824 году: «Ермолов на Кавказе усмиряет бунт Дагестана... Государь в Царском болен...



И. М. Муравьев-Апостол со старшей дочерью Елизаветой. С портрета К. Монье. 1799 г.

Гурьев (министр финансов) только что сменил...» И здесь же помечает: «Пе(с)тель приезжает в Петербург». Очевидно, что Толстому была известна и роль Пестеля, и значение этой его поездки, и какая-то связь «Русской Правды» с вопросом о земле.

Содержание бесед Толстого с Матвеем Ивановичем Муравьевым-Апостолом известно лишь отчасти в передаче В. Е. Якушкина. По его словам, старый декабрист говорил Толстому: «...Для того, чтобы понять наше время, понять наши стремления, необходимо проникнуть в истинное положение тогдашней России; чтобы представить в истинном свете общественное движение того времени, нужно в точности изобразить все страшные бедствия, которые тяготели тогда над русским народом; наше движение нельзя понять, нельзя объяснить вне связи с этими бедствиями, которые его и вызвали...»²⁰

Мысль о бедствиях народных была побудительной причиной, движущей силой

поступков тех, — назовем их здесь словами Толстого, — «людей первого александровского времени и походов 13—14—15 годов», которые впервые объединились для противодействия угнетению народа, отважились выступить открыто против самодержавия и крепостничества. И люди эти — декабристы — герои Толстого.

Чтобы убедительно изобразить то, к чему стремились декабристы, нужно было точно определить социальную коллизию романа. И Толстой определил ее. Вот что записала Софья Андреевна с его слов: «И это (действие романа. — Н. А.) у меня будет происходить на Олимпе, Николай Павлович со всем высшим обществом, как Юпитер с богами, а там, где-нибудь в Иркутске или Самаре переселяются мужики, и один из участвовавших в истории 14 декабря попадет к этим переселенцам — и простая жизнь в столкновении с высшей»²¹.

Написанные Толстым начальные главы романа вполне соответствуют его замыслу показать жизнь в столкновении двух социальных планов — жизни высшей, дворянской, помещичьей и жизни простой, мужицкой, народной.

3

Казалось бы, художник был на верном пути. Тем не менее работа остановилась, и роман не был написан.

О том, почему Толстой оставил работу, высказывались разные предположения. Вряд ли исследователи творчества Толстого могут дать на этот вопрос один исчерпывающий ответ. Разгадку следует искать, кропотливо и углубленно изучая работу Толстого над декабристской темой, а она не прекратилась, когда Толстой оставил мысль написать роман «Декабристы».

В 1892 году литератор П. А. Сергеевко записал ответ Льва Николаевича на вопрос кого-то из посетителей, не собирается ли он опять приняться за «Декабристов». «Нет, я навсегда оставил эту работу, — ответил Лев Николаевич неохотно, — ... потому что не нашел в ней того, чего искал, т. е. общечеловеческого интереса. Вся эта история не имела под собою корней»²².

После того как мы рассмотрели конспекты и варианты, в которых явственно обнаруживается воодушевление «мыслью народной», что связывает замысел «Декабристов» как с предшествующими романами — «Войной и миром» и «Анной Карениной», — так и с последующими произведениями, в частности, с «Воскресением», где тема крестьянской бед-

ности и вопрос о земле встанут с новой силой слова Толстого кажутся по меньшей мере странными.

Может быть, Толстой просто был вынужден все это сказать. Ведь заметил же Сергеевко, что он отвечал «неохотно»! Но Толстой точно указал на одну черту, которая необходима была для него, как для художника, в работе над исторической темой, — ее общечеловеческий интерес.

«Простая жизнь в столкновении с высшей» — в этом исторический и социальный интерес широкого эпического полотна эпохи. В чем же общечеловеческий интерес, то, что и сегодня заставляет нас сопереживать, например, мысли раненого князя Андрея на Аустерлицком поле, чувства Анны Карениной при свидании с Сереем?

Вне плана этического, вне вопросов о том, что добро, что зло, по тем законам, что полагал для искусства Толстой, не могло двинуться повествование. И здесь мы подходим к самому сложному в работе Толстого над декабристской темой.

В записи С. А. Толстой, относящейся к начальному периоду писания романа, есть важное свидетельство: «Потом он (Лев Николаевич) говорил, что как фон нужен ему для узора, так и ему нужен фон, которым и будет его теперешнее религиозное настроение. Я спросила: «Как же это?» Он говорит: «Если б знал, то и думать бы не об чем». Но потом прибавил: «Вот, например, смотреть на всю историю 14-го декабря, никого не осуждая — ни Николая Павловича, ни заговорщиков, а всех понимать и только описывать». Однако чем более углублялся Толстой в изучение материалов о декабристах, тем очевиднее становилось, что на позиции неосуждения он оставаться не сможет.

Летом 1878 года Толстой получил от В. В. Стасова копию собственноручной записки Николая I о военном обряде казни декабристов. Ознакомление Толстого с этим документом сыграло особую роль в истории создания романа. Известно, что Толстой писал об этом Стасову: «Для меня это ключ, отперший не столько историческую, сколько психологическую дверь. Это ответ на главный вопрос, мучивший меня...»

Вдруг нарушилось задуманное Толстым равновесие эпического повествования — всех понимать и только описывать: эпицентр повествования сместился.

Обдумывая «Декабристов», Толстой обнаружил прозорливость историка: он понял, что в цепи событий 14 декабря, день разгрома восстания, не конец, а начало; эта дата служит не развязкой, а завязкой су-



М. Н. Волконская. С миниатюры неизвестного художника. Около 1825-х гг.



С. Г. Волконский. С миниатюры Ж. Изабе. 1815 г.

деб человеческих, судеб исторических, народных.

В своей исторической позиции Толстой противостоял, например, Тютчеву с его определением событий 14 декабря: «Зима железнаядохнула, — и не осталось и следов». Однако память о декабристах в русском обществе была жива; связь с 14 декабря ощущал и Толстой с ранних лет и, по-видимому, до конца своей жизни. Писателя особенно интересовала судьба декабристов после «декабря». Поэтому так широки временные рамки задуманного им эпического полотна, поэтому рассказ о декабристах уводит его все время в николаевскую эпоху.

Все, что разрабатывалось им ранее — семья, воспитание, заговорщическая деятельность декабристов, — все это лишь предыстория. Настоящая история, по его замыслу, начинается после 14 декабря. Уже в самом первоначальном плане обозначен интерес к тому, что будет после: как сосланный декабрист встретится со своими мужиками в Сибири.

Открыв «психологическую дверь» истории декабристов, Толстой проник в художественный смысл исторического события: 14 декабря завязало узел вопросов добра и зла, узел, представляющий общечеловеческий интерес. Декабристы потерпели поражение в военном

столкновении с самодержавной властью, но в то же время одержали победу нравственную.

Николай 14 декабря вышел победителем, но в его поведении, в его действиях обнаруживалась вся бездна безнравственности самодержавия. Царь в поведении своем руководствовался девизом цезарей: «разделяй и властвуй». Толстому был глубоко отвратителен нравственный цинизм этой цезарианской философии.

Право самовластного распоряжения судьбами народов Толстой осудил, создав образ Наполеона в «Воине и мире». Право самовластного распоряжения судьбами человеческими Толстой осудил в процессе работы над образом Николая I. Он пришел к моральному осуждению деспотизма.

Позиция осуждения ярко проявилась в словах Льва Николаевича, записанных С. А. Берсом:

«Проезжая со мной по Большой Морской улице мимо памятника императору Николаю I, он (Толстой) отвернулся от памятника и сказал, что с гибелью декабристов погибла большая и лучшая часть русской аристократии, и строго Осуждал за это императора Николая I. Он находил, что допущенная им смертная казнь пятерых доказывала полное отсутствие в нем свойственных всякому мо-

нарху милости и великодушия, которые так необходимы на этом посту. Это было, по мнению Льва Николаевича, особенно неблагоприятно, потому что нельзя было не знать, что такое же участие, как и приговоренные к казни, принимали в бунте еще и многие другие»²³.

Осуждение принципа «разделяй и властвуй» как определенной политики в деле декабристов высказывали и сами декабристы. Так, в «Записках Н. В. Басаргина» есть рассуждение, сходное с толстовским:

«Судя по характеру покойного, я убежден, что не только откровенное признание истины с соблюдением нравственного достоинства и безукоризненного поведения в отношении товарищей, но даже самое чистосердечное

раскаяние не смягчило бы его сердца и политики. Намерения его в нашем деле были еще им обдуманы и определены заранее. Восстание 14 декабря при его политике и самодержавной власти заградило в его сердце путь к милосердию и состраданию. Последствия доказали это... Что же касается нескольких лиц, которых он простил, как-то молодого Витгенштейна, Суворова, Лопухина, Шилова и Орлова, то тут действовали политики, и это еще более доказывает, как хладнокровно он мог рассуждать и поступать при разборе нашего дела и в применении правосудия к лицам, участвовавшим в тайном обществе»²⁴.

В царском суде не было правосудия — эта мысль, которая впоследствии обретет художественную плоть и кровь в «Воскресении», первоначально овладевает Толстым во время работы над «Декабристами». Художник обнажает причинную связь между несправедливостью царского суда и искаченными человеческими судьбами. Царский произвол разрывает связи семейные, связи дружеские.

Тема разлада семейного вследствие событий 14 декабря привлекла внимание Толстого уже в его первоначальном замысле романа о декабристах в 1860 году.

Художник предполагал противопоставить в романе судьбы двух братьев — Петра Лабова и Ивана Лабова. Оба брата были членами тайного общества, но Петр Лабов успел уничтожить документы, компрометирующие брата; сам он был осужден в каторгу и ссылку, брат Иван не пострадал.

Нравственную оценку поведения обоих братьев Толстой передает через отношение к ним их сестры Марии Ивановны: «Петр Иванович был ее идолом. Князь Иван был ее ненависть».

Возможность раскрытия такого рода трагической семейной коллизии заключена, на мой взгляд, и в строке о Пестеле, начертанной Толстым на отдельном листке в записной книжке.

В истории братьев Пестелей обнаруживается с особенной силой какая-то изощренная жестокость и цинизм Николая I. Признав старшего «душой и главнейшей пружиной» тайного общества, царь подписывает приговор: «четвертовать»; но потом, спохватившись, что должен показать себя противником кровопролития, приказывает повесить и предписывает собственноручно, во всех деталях, как это должно быть исполнено.

13 июля 1826 года осужденные были казнены, а 14 июля, на следующий день, младшего брата, Владимира Ивановича Пестеля, Николай произвел во флигель-адъютанты, то есть состоять при особе государя для его

С. Г. Волконский. 1861 г.
Фотография С. Л. Левецкого.



поручений. Нужна была какая-то особая духовная тупость, чтобы осмелиться на подобную милость. Поневоле современники и свидетели этого должны были содрогнуться и почувствовать ужас²⁵.

Толстой, прочитав в 1908 году письма Николая к матери, императрице Марии Федоровне, написанные накануне и после казни декабристов, говорил Н. Н. Гусеву: «...Это ужасно по тому мраку, который...» — дальше я не запомнил, пишет Гусев²⁶.

В чем же видел Толстой нравственную победу декабристов и каким образом он хотел раскрыть это в своем романе?

На этот вопрос ответил сам художник. В письме к П. И. Бирюкову 6 марта 1897 года Толстой писал: «В моем начатом романе Декабристы одной из мыслей было то, чтобы выставить двух друзей, одного, пошедшего по дороге мирской жизни, испугавшегося того, чего нельзя бояться, — преследований, и изменившего своему богу, и другого, пошедшего на каторгу, и то, что сделалось с тем и другим после 30 лет: ясность, бодрость, сердечная разумность и радость одного, и разбитость и физическая и духовная, другого, скрывающего свое хроническое отчаяние и стыд под мелкими рассеянными и похотями и величанием — перед другими, в которые он сам не верит».

Бог, о котором говорит здесь Толстой, — идеал, служение возвышенной идее. Самое высокое выражение этого идеала — в словах Пестеля: «Настоящая моя история заключается в двух словах: я страстно любил мое Отечество...» Это строки из письма Павла Ивановича Пестеля к родителям из крепости 1 мая 1826 года, накануне казни. Письмо было опубликовано П. И. Бартеневым в «Русском архиве» в 1875 году. Толстой мог читать и, по-видимому, читал его²⁷.

Страстно любил Отечество и принял за то казнь — история краткой и прекрасной жизни декабриста. Толстой увидел нравственную победу декабристов в том, чтобы не изменить богу своей молодости — идеалу самоотверженного служения родине и народу и ради этого идеала пойти на каторгу, смерть. Он нашел художественное решение для воплощения этой своей мысли: противопоставить в сюжете романа две человеческие судьбы — истории жизни двух друзей (первоначально — двух братьев). Такое художественное решение заключало в себе также отказ от позиции неосуждения, на которой в начале работы хотел оставаться Толстой.

Художник осудил не только Николая, расправившегося с декабристами ради своей самодержавной политики. Он осудил также



С. П. Трубецкой. С акварельного портрета Н. А. Бестужева. 1830-е гг.

и тех, кто изменил своим юношеским идеалам, предал из страха перед «зимой железной» лучшее своей души и обрек себя на трагедию отступничества.

Толстой после многих раздумий и поисков нашел в декабристской теме не только исторический и социальный, но и общечеловеческий интерес.

Писатель оставил работу над романом в той стадии, когда только еще намечался переход от исторических лиц, служивших для него прототипами, к героям романа, всецело вымышленным. Был ли реальный прототип того из двух друзей, который изменил богу своей молодости? Встречался ли Толстой с кем-то из тех, чья судьба была другой, чем у сосланных декабристов?

...Это было в 1840-е годы в Казани, куда после смерти отца и бабки к своей тетке-опекушке П. И. Юшковой приехали осиротевшие племянники. По отзывам современников,

Пелагея Ильинична стремилась играть роль казанской великосветской дамы. Благодаря ее тщеславию Толстые имели в Казани весьма знаменательное знакомство.

В декабре 1841 года военным губернатором Казани был назначен Сергей Павлович Шипов. С ним и его женой Анной Евграфовной, рожденной графиней Комаровской, познакомился юный Толстой в салоне своей тетушки. Светское казанское знакомство продолжалось и после. В 1857 году в Москве Толстой бывал у Шиповых, о чем свидетельствуют записи в его дневнике.

Сергей Шипов был другом Пестеля. Вот что говорил об этом сам Пестель следственной комиссии:

«С генерал-майором Шиповым я очень знаком. Сие знакомство произошло от того, что отставной генерал-майор Леонтьев был прежде женат на родной моей тетке, а ныне женат на родной сестре генерал-майора Шипова. Когда мы бывали вместе с генерал-майором Шиповым, то всегда очень много разговаривали о службе, ибо большие оба до нее охотники. После выезда моего из Петербурга не получал я однако ж писем от него и сам только раз к нему писал через майора Реброва, прося об обучении унтер-офи-



А. И. Одоевский. С миниатюры 1820-х гг.

цера из Вятского полка, в Петербург посланного»²⁸.

Дело в том, что С. П. Шипов был назван в доносе капитана Вятского полка Майбороды среди лиц, возглавлявших тайное общество (правда, с пометой: слышал, что отклонился). Поэтому следственная комиссия спрашивала о нем привлеченных по делу и в первую очередь Пестеля.

В 1878 году, уже после смерти С. П. Шипова (он умер в 1876 г.), в «Русском архиве» были опубликованы его «Воспоминания». В них он рассказывает о своем знакомстве с домом Пестелей, о дружбе с Павлом Ивановичем Пестелем.

Офицером Преображенского полка Сергей Шипов участвовал в походах 1812—1813—1814 годов. Был в сражениях под Бородином и Кульмом. С восторгом и преклонением отзывался о признанном вожде гвардейского корпуса генерале Ермолове.

«С возвращением из похода 1815 года, — вспоминал Сергей Павлович, — познакомился я с почтенным старцем Иваном Борисовичем Пестелем, человеком весьма умным и просвещенным... Я сблизился с сыном его Павлом Ивановичем, бывшим тогда адъютантом гр. Витгенштейна, не только весьма умным, но можно сказать, гениальным человеком». «...Летом 1816 года я получил отпуск на 4 месяца для излечения болезни и провел все время у отца моего в Костромской губер-

З. Г. Чернышев. 1842 г. С портрета неизвестного художника.



нии. ...Возвратясь в Петербург 4 ноября 1816 г., узнал я от брата моего Ивана Павловича, что в отсутствие мое составилось тайное общество, которого душою был Пестель. Оно состояло из многих молодых людей, весьма даровитых, и в том числе некоторых наших добрых приятелей. Брат признался мне, что он принадлежит также к этому обществу. Оно имело целью, как полагал брат, общее содействие членов к усовершенствованию управления и вообще ко благу Отечества... Вскоре П. И. Пестель приехал ко мне вечером и рассказал мне сам, как составилось общество...»

В «Воспоминаниях» С. П. Шипов отрицал свою принадлежность к тайному обществу и старался выказать себя верноподданным. Однако сквозь завесу недосказанного со страниц «Воспоминаний» проступает светлый мир его молодости. Бедно и строго, как спартанцы, живут они с братом в казармах Преображенского полка. В их душах «семена горячей любви к отечеству посеяны были с младенчества, — чтением Плутарха и других писателей о деяниях великих мужей древности, беседами отца о подвигах наших полководцев и особенно Суворова, которого он

знал лично»²⁹. Все это формировало в Сергее Шипове не только храброго, преданного службе воина, но и человека, стремящегося к знаниям, к исканию истины. С Пестелем они были не только охотниками до службы, но и до политических наук, — в 1815 году вместе слушали курс политической экономии известного профессора К. Ф. Германа, а также лекции А. П. Куницына, А. И. Галича и других профессоров.

Шипов — в кругу передовой молодежи, разделяет ее интересы. Он один из главных членов «Союза спасения». Это подтвердили на следствии С. П. Трубецкой, М. И. Муравьев-Апостол, И. А. Долгоруков. Семья Шиповых была связана старой дружбой с семьей Никиты Муравьева³⁰.

В то время С. П. Шипов был образцовым служакой. В 1816 году, 26 лет от роду, он уже полковник, в 1817 году — командир Перновского пехотного полка. За умение дать полку образцовую выправку Шипова ценят великие князья Михаил и Николай Павловичи. По их рекомендации Александр I после известной «семеновской истории» и расформирования гвардейского Семеновского полка вверил Шипову командование Ново-семеновским полком. В своем полку Шипов организовал обучение унтер-офицеров. Об унтер-офицерской школе Шипова и упоминал в своих показаниях Пестель.

14 декабря 1825 года С. П. Шипов как бригадный командир находился в казармах гвардейского экипажа. По долгу службы он пытался уговорить моряков присягать Николаю, но его не послушали. Офицеры-декабристы во главе с Николаем Бестужевым освободили арестованных командиром товарищей, и гвардейский экипаж присоединился к восставшим³¹.

Опытный боевой командир Шипов не смог — или не захотел — воспрепятствовать действиям младших офицеров. Несмотря на эту нераспорядительность, несмотря на то, что имя Шипова уже было внесено в списки заговорщиков по доносу Майбороды, на следующий день после разгрома восстания С. П. Шипов был назначен генерал-адъютантом к новому императору.

В 1828 году Шипов женился на фрейлине Анне Евграфовне Комаровской, старшей дочери генерал-адъютанта Евграфа Федоровича Комаровского, оказавшего большие услуги Николаю в разгроме декабристского восстания. По воспоминаниям отца, Анна Евграфовна во время событий 14 декабря находилась в Зимнем дворце³². Анна Евграфовна имела самый блестящий круг светских знакомых. Ей посвящал стихи В. А. Жуковский,

П. Н. Свистунов. Фотография 1850-х гг.





3. Г. Чернышев 1820-е гг.
С портрета неизвестного художника.

называя ее грацией. В ее альбом вписал свое стихотворение «Муза» Пушкин.

Таковы были казанские знакомые семьи Толстых. Рассказывал ли С. П. Шипов что-нибудь из своей жизни сыну товарища боевых походов Николая Ильича Толстого — об этом мы можем только догадываться.

Прообразом того из друзей, который изменил своему богу, по-видимому, и послужил Толстому его казанский знакомый, член «Союза спасения» и николаевский генерал Сергей Павлович Шипов.

От его гладко, красноречиво написанных воспоминаний создается как раз то впечатление, которое может быть выражено словами Толстого: «величание перед другими, в которое он сам не верит», а под этим, в глубине души — «хроническое отчаяние и стыд». И так ясно видно, что было самым прекрасным в жизни этого человека, — это был тот ночной разговор с Пестелем, когда Пестель

убеждал Шипова вступить в тайное общество. Это самая яркая страница воспоминаний.

Шипов поверил в возможность делать добро, сотрудничая с аракчеевским режимом, проводя в жизнь политику Николая Палкина.

Для Толстого подобная точка зрения была жестоким нравственным заблуждением. Он считал, что правда на стороне тех, для кого сотрудничество с аракчеевским и николаевским режимом было несовместимо с чувством собственного достоинства. Такими были многие лица, близкие к кругу декабристов, например, Александр Иванович Тургенев. Таким был и Николай Ильич Толстой.

Лев Николаевич глубоко усвоил нравственные уроки своего отца. Позднее он как художник постиг тот закон, по которому служба злой, аморальной силе, что заключалась в самодержавии, убивала в человеке человеческое. Эта мысль пронизывает созданные Толстым образы «службистов» — князя Василия Курагина в «Войне и мире», Каренина в «Анне Карениной», наконец, наивысшего своего развития она достигает в «Воскресении», где художник создал галерею лиц нравственно окостеневших и утративших человеческое подобие за долгие годы своей усердной службы царизму.

Имя С. П. Шипова не встречается в планах, черновых набросках, записных книжках Толстого. Но в собранных писателем материалах к «Декабристам» есть отрывок из воспоминаний о Шипове. Отрывок был, по-видимому, извлечен М. А. Веневитиновым (он находится среди материалов, присланных им Толстому) из рассказов Евграфа Евграфовича Комаровского, родного брата жены Шипова. В нем говорится о дуэли, о чем Шипов в своих воспоминаниях не упоминает.

Толстой особо интересовался дуэлями между офицерами, из-за чего, как они происходили. Об этом он спрашивал в письме к П. Н. Вистунуову. Писателю важны были подробности. Маленький рассказ о дуэли Шилова и Голицына в нескольких чертах передает характер эпохи: «В 1813 году во время войны на походе дрались на дуэли офицеры Преображенского полка Сергей Павлович Шипов и князь Иван Сергеевич Голицын, оба командовали ротами. Голицын человек с состоянием, баловал свою роту и много тратил на нее. Упрекая Шипова в том, что тот имеет роту не в хорошем порядке и не в щегольском виде, он был вызван на дуэль Шиповым, не имевшим за собой больших денег. Они дрались на саблях»³³.

Сопоставляя судьбы двух друзей, Толстой оказывался лицом к лицу с той силой, вернее, с тем насилием, которое самовластно

физически уничтожало одних и нравственно подавляло и калечило других. Декабристы первые открыто противостояли этой силе, в противоборство с которой вступил и Толстой.

Было бы неправильно, рассматривая то, что сближает Толстого с декабристами, не отметить и то, что их разъединяет.

Лев Николаевич жаловался, что работа над романом о декабристах не идет, потому что «нет энергии заблуждения». Об этом — в письме Страхову: «Все как будто готово для того, чтобы писать — исполнять свою земную обязанность, а недостает толчка веры в себя, в важность дела, недостает энергии заблуждения, земной стихийной энергии, которую выдумать нельзя...»

Коль скоро для Толстого процесс творчества был нераздельно слит с напряженным исканием истины, необходима была «энергия заблуждения», вера в то, во что верят герои, чтобы и писатель, и будущий читатель могли быть захвачены их мыслями и их чувствами, сопереживать им.

Но Толстого не могла воодушевить та мысль, которая воодушевляла декабристов: усилием личной воли, вооруженным выступлением «кагорты избранных» (термин декабристов) сдвинуть с мертвой точки историю России.

Авторская позиция по отношению к своим героям осложняла художественную работу Толстого, затрудняла выбор героя, который мог бы быть в центре повествования. Ни Пестель, ни Сергей Муравьев-Апостол, которого Толстой назвал «одним из лучших людей своего — да и всякого — времени», не могли стать центральными фигурами романа.

Не убежденный заговорщик, но скорее молодой человек, почти случайно вовлеченный в заговор, — такими предстают молодой Захар Чернышев по письмам его отца, Александр Иванович Одоевский по воспоминаниям его друга Егора Евграфовича Комаровского со страниц тех материалов, которые получил Толстой через А. М. Веневитинова.

Писателю нужно было посмотреть на декабристов глазами такого лица и с такой точки, чтобы с полной художественной убедительностью открылось заблуждение их попытки без участия народа переделать историю России. В поисках нового, оригинального решения Толстой пробует вариант с исчезнувшим лицом. В Записной книжке «В» рядом со строкой о Пестеле на другой странице запись: «Кто Уваров пропавший?» Появляется еще один, последний вариант начала романа: «1818 год. Пролог».



М. И. Муравьев-Апостол.
Фотография 1870-х гг.

Но и на этот раз нет необходимого толчка, нет веры, нет «энергии заблуждения». Однако сюжет с исчезнувшим лицом обретает в дальнейшем в творчестве Толстого новую форму — форму легенды о старце Федоре Кузьмиче — Александре I.

По возрасту Толстой был сыном декабристов, по демократической направленности своего творчества, «мысли народной» своих произведений — их наследником и продолжателем, по огромности художественных замыслов об эпохе декабристов и детальности ее изучения — их историком.

В истории Толстой увидел их нравственную победу и моральное поражение подавившего их самодержавия, которое он осудил суровым судом, создав исключительный по художественной выразительности образ венценосного палача — Николая I в «Хаджи-Мурате».

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Подробное изложение истории работы Толстого над романом о декабристах содержится в трудах Н. Н. Гусева: «Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1870 по 1881 год». М., Изд-во АН СССР, 1963, с. 462—465; 468—483; 493—502; 516—537. «Работа Л. Н. Толстого над незаконченным романом «Декабристы» в 1878—1879 гг.», «Известия Академии наук СССР. Отделение лит. и языка, 1960, т. XIX, вып. 5. Сент.—Окт., с. 369—386.

² Варианты глав романа «Декабристы», планы, наброски, записные книжки с комментарием и обширной статьёй М. Я. Цявловского, опубли. в т. 17 Полн. собр. соч.

³ М. Н. Толстая была беременна 23 апр. 1827 г. у нее родился сын Дмитрий.

⁴ Цит. по кн. С. Л. Толстой. «Мать и дед Л. Н. Толстого». М., «Федерация», 1928, с. 137.

⁵ М. В. Нечкина. «Движение декабристов», М., Изд-во АН СССР, 1953, т. II, с. 21.

⁶ См.: Н. М. Дружинин. Декабрист Никита Муравьев. М., 1933.

⁷ В письме к П. Н. Толстой (бабке Льва Николаевича) от 2 сент. 1837 г. Павел Дмитриевич Горчаков (брат М. Д. Горчакова) писал: «Узы дружбы, связывающие наши две семьи, не менее тесны, чем узы самого близкого родства» (франц. яз.). Архив ГМТ.

⁸ Н. В. Басаргин. Записки. Библиотека мемуаров «Огни». П Ч., 1917, с. 2—3.

⁹ Архив ГМТ. Письмо от 28 декабря 1812 г. из Гродно; от 4 февр. 1813 г. из Ленгниц; от 9 февр. 1813 г. из Эйлерсдорфа.

О службе П. И. Пестеля с мая 1813 г. адъютантом гр. П. Х. Витгенштейна и участии его в Лейпцигской битве — см.: Л. А. Медведская. Павел Иванович Пестель. М., «Просвещение», 1967. См. также краткий формулярный список П. И. Пестеля в кн. «Восстание декабристов», т. VIII, Л., 1925, с. 375. Дата перевода Н. И. Толстого в кавалергардский полк — «21 августа 1814 г.» — написана им собственноручно в

Прошении на высочайшее имя о зачислении смотрительским помощником в Московское военно-спиритское отделение 13 дек. 1821 г.

¹⁰ М. В. Нечкина. Движение декабристов. М., АН СССР, 1955, т. I, с. 143.

¹¹ Даты пребывания семьи Толстых в Петербурге установлены на основании семейной переписки — первого письма Н. И. Толстого, адресованного И. А. Толстому в Петербург 4 февр. 1813 г., и письма П. Д. Горчакова П. Н. Толстой 3 июля 1815 г.; в конце августа Толстые прибыли в Казань.

¹² «Рус. архив», 1867 г., с. 1053—1064.

¹³ См.: Из записок Н. А. Саблукова» в кн. «Царевичество 11 марта 1801 года». СПб., 1907, с. 86, 158.

¹⁴ О Н. И. Депперадовиче — командире кавалергардского полка пишет в своих «Записках» С. Г. Волконский (СПб., 1902).

¹⁵ Биография младшего брата П. И. Пестеля Владимира Ивановича помещена в кн. «Сборник биографий кавалергардов» под ред. С. Паччудицева. СПб., 1906, с. 258—261.

¹⁶ См.: П. В. Долгоруков. Российская родословная книга. СПб., 1854, ч. I, с. 124.

¹⁷ См.: М. В. Нечкина. Движение декабристов. М., АН СССР, 1955, т. II, с. 74—80. См. также ст. С. М. Файерштейна «Два варианта решения аграрного вопроса в «Русской Правде» Пестеля» в сб. «Очерки из истории движения декабристов». М., 1954.

¹⁸ Переписка Л. П. Толстого с гр. А. А. Толстой. Изд. Общества Толстовского музея. СПб., 1911, с. 310—311.

¹⁹ М. В. Нечкина. Указ. соч., т. I, с. 169.

²⁰ В. Е. Якушкин. Матвей Иванович Муравьев-Апостол. «Русская старина», 1886, № 7, с. 157—158.

²¹ С. А. Толстая. Дневники 1860—1891, с. 41.

²² П. А. Сергеенко. Как

живет и работает гр. Л. Н. Толстой. М., 1898, с. 12.

²³ Цит. по кн.: Н. Н. Гусева. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1870 по 1881 год. М., 1963, с. 475—476.

²⁴ Н. В. Басаргин. Записки, Изд-во «Огни», Пч., 1917, с. 46—47.

²⁵ О судьбе братьев Пестелей — в кн.: Д. Блатово. Рассказы бабушки. СПб., 1885, с. 410. См. также: А. И. Кошелев. Записки. Berlin. 1884.

²⁶ Н. Н. Гусев. Два года с Толстым. М., 1973, с. 124—125.

²⁷ Письмо П. И. Пестеля из крепости к родителям 1 мая 1826 года (Перевод с французского — «Рус. архив», 1875, кн. I, с. 421—423).

²⁸ «Восстание декабристов», т. IV (Дело П. И. Пестеля), с. 58.

²⁹ С. П. Шипов. Воспоминания. — «Рус. архив», 1878.

³⁰ М. В. Нечкина, Указ. соч., т. I, с. 146.

³¹ И. Д. Якушкин писал в статье «Четырнадцатого декабря»: «Генерал Шипов, полковой командир Семеновского полка и начальник бригады, в состав которой входил Гвардейский экипаж, был в их казармах. Шипов, незадолго перед тем ревностный член Тайного общества и человек, совершенно преданный Пестелю, нашел в эту минуту для себя удобным разыграть роль посредника перед офицерами Гвардейского экипажа, не желавших присягать. Он им ничего не приказывал, как их начальник, но умолял не сгубить себя и доброе дело, уверял, что безрасудным своим предприятием они отсрочивают на неопределенное время исполнение того, чего можно ожидать от императора Николая Павловича». Записки, статья, письма декабриста И. Д. Якушкина. М., Изд-во АН СССР, 1951, с. 153. О действиях С. П. Шипова 14 декабря см. также: М. В. Нечкина. Восстание 14 декабря 1825 года. М., АН СССР, 1951, с. 127—129; А. П. Беляев. Воспоминания о пережитом и пережитом и пережитом.

³² Из Записок гр. Е. Ф. Комаровского. — «Рус. архив», 1867, с. 1304—1317.

³³ Архив ГМТ. 1 А²
71



Л. Н. Толстой. 1868 г. Москва.

любимым так, как я люблю, это будет ужасно».

«Любит ли она меня, т. е. я говорю не про романтическую любовь — этого нет, про то, что кажусь ли ей человеком в самом деле стоящим особой привязанности, человеком, с которым она будет гораздо счастливее, чем при равных денежных средствах с другим кем бы то ни было? Кажется, что так».

Нетрудно понять, что это писано разными людьми и адресовано разным женщинам, но в обоих случаях речь идет о намерении жениться. В первом случае процитировано письмо Льва Николаевича Толстого, в котором он делал предложение Софье Андреевне Берс. Во втором случае приведена выдержка из дневника Николая Гавриловича Чернышевского, делавшего предложение Ольге Сократовне Васильевой.

Если мы попытаемся из этого письма Толстого выделить главное условие, при обоюдном исполнении которого только и возможен брак, брак Льва Николаевича и Софьи Андреевны, то таким «условием» следует считать равенство чувств. И в этом равенстве чувств Толстой видит залог их будущего счастья.

Если мы попытаемся из дневниковой записи Чернышевского выделить главное условие, при исполнении которого только и возможен брак, брак Николая Гавриловича и Ольги Сократовны, то таким «условием» следует считать безграничную жертвенность одного и безграничное желание принимать жертвы другого. И в этом безусловном неравенстве чувств Чернышевский видит залог будущего счастья для обоих.

В период влюбленности, в период сватовства пишется и говорится столько всякой чепухи, пусть святой, но чепухи, что потом, даже через немногие годы, авторам писем и дневниковых записей (устные слова легко забываются) бывает порой неловко читать свои былые уверения, обещания, клятвы или угрозы. Впрочем, как знать, может быть, вся эта чепуха и была-то единственной в жизни нечепухой, только в этом трудно себе признаться: куда легче с напускно-веселым цинизмом отмахнуться от несбывшихся надежд прошлого.

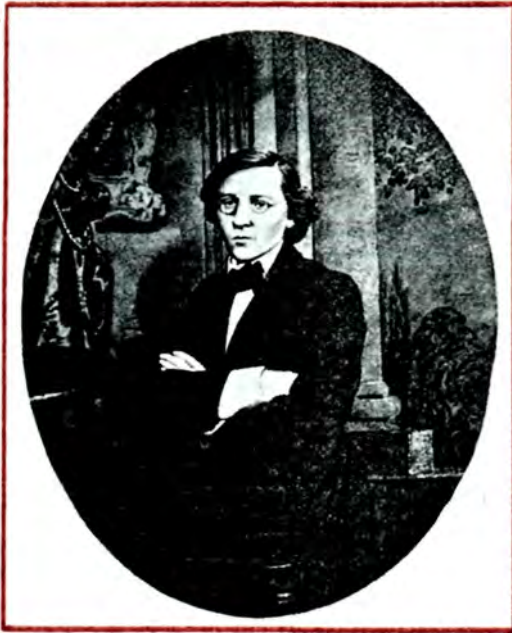
Вряд ли уместно настаивать, но все же можно предположить, что ни Толстой, ни Чернышевский и по прошествии многих лет не считали чепухой те слова, что написались в пору их сватовства, и если они даже не понимали, то не могли не чувствовать, что оказались пророками собственных судеб, и дальнейшая жизнь им вроде бы была дана для того, чтобы подтвердить верность когда-то сказан-

(Лев Толстой.

Николай Чернышевский и «женский вопрос»)

I

«Скажите, как честный человек, хотите ли вы стать моей женой? Только ежели от всей души, смело вы можете сказать да, а то лучше скажите нет, ежели есть в вас тень сомнения в себе. Ради Бога спросите себя хорошо. Мне страшно будет услышать нет, но я его предвижу, и найду в себе силы снести. Но ежели никогда мужем я не буду



Н. Г. Чернышевский. 1860-е гг.

ным словам. При всем разногласии «условий», которыми Толстой и Чернышевский оговаривают свой будущий брак, их сближает единство цели — счастье женщины, пусть это счастье и понималось ими весьма неодинаково: одному оно виделось в безграничной свободе женщины, другому — в обоюдной любви и духовном согласии.

Надо заметить, великие люди в отличие от людей ординарных при всей подвижности их взглядов и настоятельности духовных исканий, оборачивающихся постоянными сомнениями, остаются поразительно верными самим себе; они, являясь причиной многих изменений обстоятельств внешнего мира, четко реагируют на эти изменения и настойчиво их корректируют, но вовсе не потому, что способны своей волей направлять мировое движение, а потому, что изначально несут в себе нравственную меру будущего.

Толстой и Чернышевский жили в эпоху исторической ломки. Акт от 19 февраля 1861 года об отмене в России крепостного права, никого толком не удовлетворив, поставил перед обществом новые вопросы, породил

жажду деятельности и открыл широкий простор надеждам. На глазах рушился многовековой уклад жизни, а предствление о новой жизни было настолько бесконтурным, что давало право каждому дорисовывать этот контур по своему усмотрению, исходя из собственных надежд или выгод. Стремление к освобождению от любой формы принуждения должно было не только изменить многие стороны жизни, но и радикальнейшим образом изменить исторический взгляд на эти стороны жизни.

Между вопросами, занимавшими тогдашнее общество, «женский вопрос» хотя и не стал главным, но в то же время был узловым, потому как от него расходились или, напротив, к нему сходились многие важнейшие проблемы времени: социальные, правовые, нравственные, религиозные, что, естественно, не могло не найти своего отражения в литературе.

Минувший, восемнадцатый, век был исключением из долгой череды столетий самодержавного правления. Это был единственный в истории Российского государства век, когда на престол взошла женщина. Больше того, это был по преимуществу век женского правления. Достаточно сказать, что из ста лет более шестидесяти пришлось на долю женского правления. И даже первым президентом образованной в XVIII веке Российской академии наук тоже была женщина — княгиня Екатерина Дашкова. Однако ни личный авторитет самодержавных правительниц, ни личный авторитет главы русской науки никоим образом не отозвались на общественном положении женщины и почти не поколебали устоявшегося на нее взгляда. Поэтому и литература XVIII века осталась по преимуществу глуха к проблеме, которая в следующем веке определилась даже особым термином — женский вопрос.

Конечно, «женский вопрос» не есть проблема, порожденная русскими условиями XIX века, этот вопрос относится к тем вечным вопросам, которые человечество решает всегда и везде, хотя, разумеется, в разные времена звучание его в общественной жизни неодинаково. «Вообще теперь замечается стремление сблизить и сопоставить древность и современность, так сказать — модернизировать античную историю, — писал один из исследователей античности, В. Бузескул. — Стремление это ведет иногда к крайностям, к натяжкам... Но совершенно отвергать существование аналогии в историческом развитии древнего и нового мира при тех данных, которыми располагает современная наука, никоим образом нельзя. До известной степени

оказывается верным давно уже высказанное положение, что многие из тех жизненных жгучих вопросов, которые — нерешенные еще и теперь — занимают каждого мыслящего человека, волновали уже древний мир; уже он пытался дать им свое посильное решение.

К числу таких вопросов отчасти может быть отнесен и вопрос женский».

В то же время нельзя считать, что «женский вопрос» возбужден был возникшим вниманием к античной истории или возникшим вниманием к общественной жизни наиболее развитых европейских государств. (Отсюда иногда преувеличивается, например, влияние Жорж Санд на творчество многих русских писателей XIX века.) Научный интерес может питать любая проблема, в том числе и привнесенная извне; общественный же интерес всегда тесно связан с проблемами современной отечественной действительности. А на различного рода ссылки на исторические примеры или на иноземные авторитеты нужно смотреть как на стремление автора утвердить себя и своих читателей в важности и неслучайности поднимаемых ими вопросов.

Во второй половине XIX века «женский вопрос» дебатировался на страницах многих изданий, ему были посвящены полностью или частично сотни статей: научных, публицистических, литературно-критических и т. д. Изучение этих материалов может дать довольно верное представление о глубине и характере поднимаемых в связи с этим вопросом проблем, однако истинное соотношение между этими проблемами и ходом действительной жизни позволяют увидеть лишь художественные произведения, в характерах героев которых верно запечатлелся дух времени в своем историческом развитии. И к творениям великих художников прошлого мы обращаемся не только затем, чтобы получить глубокое эстетическое наслаждение, но и затем, чтобы стать «современниками» предшествующих нам поколений, обогатить себя их духовным опытом.

II

Они были ровесниками.

Один из них, Лев Николаевич Толстой, родился 28 августа (9 сентября) 1828 года в имении Ясная Поляна Тульской губернии в семье родовитого графа Николая Ильича Толстого.

Другой, Николай Гаврилович Чернышевский, родился 12(24) июля 1828 года в Саратове в семье протоиерея Гавриила Ивановича Чернышевского.

Пожалуй, их жизненные дороги никогда бы не пересеклись, не посвяти они себя литературе. Шли они в литературу разными путями, а пришли в нее почти одновременно, причем в один и тот же литературный «пункт». В 1853 году Чернышевский начал сотрудничать в журнале «Современник», а годом раньше на страницах этого журнала появилось первое произведение Толстого — повесть «Детство» (1852, № 9).

В ноябре 1855 года, после того, как пал Севастополь, Толстой приезжает в Петербург, и здесь происходит его личное знакомство с Чернышевским, Некрасовым, Тургеневым, Гончаровым, Островским, а в следующем году Толстой, Тургенев и Григорович подписывают с Некрасовым «обязательное соглашение», согласно которому все свои произведения они должны были отдавать в редакцию «Современника». В том же году Чернышевский публикует статью о «Детстве», «Отрочестве» и «Военных рассказах» Толстого. «Мы предсказываем, — писал молодой критик «Современника», — что все, донныне данное графом Толстым нашей литературе, только залогом того, что совершит он впоследствии; но как богаты и прекрасны эти залого!»

Некоторые исследователи считают эти слова Чернышевского гениальным предвидением. Думается, тут есть известная доля преувеличения, поскольку при написании статьи Чернышевский в какой-то мере руководствовался и интересами журнала. Так, в письме к Некрасову от 5 ноября 1856 года он сообщал: «В «Критике» — конец моих «Очерков» и моя статейка о «Детстве», «Отрочестве» и «Военных рассказах» Толстого, написанная так, что, конечно, понравится ему, не слишком нарушая в то же время и истину».

А через два месяца в письме к Тургеневу он заявляет: «Вы не какой-нибудь Островский или Толстой, — Вы наша честь».

Кстати заметить, в это время Чернышевский и Толстой высказывают немало нелестных слов в адрес друг друга. Так, еще в июле пятьдесят шестого года Толстой, имея в виду Чернышевского, напишет Некрасову: «Нет, вы сделали великую ошибку, что упустили Дружинина из вашего союза. Тогда бы можно было надеяться на критику в «Современнике», а теперь срам с этим клоповоняющим господином. Его так и слышишь тоненький, неприятный голосок, говорящий тупые неприятности и разгорающийся еще более оттого, что говорить не умеет и голос скверный».

Вполне вероятно, что Толстому стали известны кое-какие неосторожные высказывания о нем Чернышевского, а для Чернышевского, в свою очередь, не остались секретом

нелестные о нем мнения Толстого. Так или иначе, но близких симпатий между великими сверстниками не возникло, хотя, впрочем, между ними и не возникло откровенной вражды. Что-то их постоянно притягивало, а что-то постоянно отталкивало. Двум очень цельным и очень крупным натурам трудно было найти во всем согласие, но еще труднее было полностью игнорировать друг друга.

В феврале 1858 года «обязательное соглашение» было расторгнуто, и образовались два враждующих лагеря: лагерь революционных демократов во главе с Чернышевским, Некрасовым и Добролюбовым и лагерь сторонников «чистого искусства» во главе с Дружининым, Боткиным и Анненковым. Толстой тогда примкнул к последним.

Прошло несколько лет, Толстой уже отвлекся от литературной борьбы, приступил к изданию журнала «Ясная Поляна» и занялся педагогической деятельностью. Групповые интересы и заботы ступевались. И вот в феврале 1862 года он отправляет письмо Чернышевскому следующего содержания:

«Милостивый государь Николай Гаврилович! Вчера вышел первый номер моего журнала. Я вас очень прошу внимательно прочесть его и сказать о нем искренно и серьезно ваше мнение в «Современнике». Я имел несчастье писать повести, и публика, не читая, будет говорить: «Да... «Детство» очень мило, но журнал?..»

А журнал и все дело составляют для меня все.

Ответьте мне в Тулу.

Л. Толстой».

Результатом этого письма явилась статья Чернышевского во 2-м и 3-м номерах «Современника». И тут дело не в том, что Чернышевский одобрил педагогические методы Толстого (хотя отнесся отрицательно к его педагогической теории), а в том, что он мгновенно отреагировал на просьбу Толстого, и в том, что, приступая к новому и серьезному для него делу, Толстой обратился за оценкой своей деятельности именно к Чернышевскому.

И если мы захотим понять, что же притягивало этих людей, нам следует обратиться к первой статье Чернышевского о Толстом, в которой есть чрезвычайно важное замечание. «Есть в таланте г. Толстого, — писал Чернышевский, — еще другая сила, сообщающая его произведениям совершенно особенное достоинство своею чрезвычайно замечательной свежестью — чистота нравственного чувства...»

Можно отметить мастерство, умение писателя, согласиться с его мыслями или опро-

вергнуть их, оценить новые идеи — для этого критику достаточно было талантливим. Но чтобы как одну из главнейших особенностей таланта писателя отметить чистоту его нравственного чувства — для этого, помимо таланта, нужно еще иметь очень сходное направление личных нравственных исканий.

О мыслях договориться нетрудно, если мысли одного созвучны мыслям другого. То же самое можно сказать и об эстетических позициях. По этим параметрам в основном и формируются литературные направления и даже личные привязанности, ибо рассуждают обычно об этих категориях или по их поводу. И общность взглядов, безусловно, не может не сближать людей.

Нравственные же чувства куда более неуподобимы, и о них рассуждают гораздо реже, хотя постоянно руководствуются ими в жизни, руководствуются в своих поступках. Поступки как таковые очевидны или могут быть очевидны и для других, однако этим другим крайне редко известны истинные мотивы совершенных поступков, в силу чего так нечасто возникают союзы на почве схожести нравственных чувств, а если они возникают, то оборачиваются самой бескорыстной и самой прочной связью между людьми, именуемой дружбой.

Как мы уже говорили, между Толстым и Чернышевским дружбы не возникло, однако в продолжение всей жизни каждый как бы чувствовал присутствие в мире другого и не мог не считаться с этим обстоятельством, и причина тому — схожесть нравственных исканий.

III

При упрощении процесса художественного исследования действительности создание характера представляется как по возможности более точное перенесение на страницы художественного произведения живой природы, и задача художника в данном случае сводится в основном к умению сохранить верность этой натуре.

Отсюда иногда и возникает стремление каждому герою художественного произведения во что бы то ни стало отыскать реальный прототип из реальной жизни. Споры нет, поиск прототипов и сопоставление жизненных ситуаций, что описаны в художественном произведении, с теми, что имели место быть в жизни действительной, — занятие в высшей степени увлекательное, хотя в большей степени ненужное, нежели это представляется любителям подобного рода изысканий. К тому же следует заметить, что довольно часто, за-

давшись целью установить тождество между прототипом и героем художественного произведения, сторонники «прототипичности» прибегают к различного рода натяжкам, искажающим действительное положение вещей. Поэтому, как правило, и отходят на второй план нравственные и гражданские искания самого автора, в силу чего исчезает подлинный масштаб личности автора.

Роману Чернышевского «Что делать?» в этом отношении тоже «повезло». Сразу же по выходе его в свет начались «узнавания»: кто из героев с кого списан, какая ситуация перенесена в роман из действительной жизни и т. д. И потом, вплоть до наших дней, эти изыскания уже не прекращались. Создалась даже целая литература о прототипах романа. Известную роль сыграла здесь и Ольга Сократовна — жена писателя, в свое время излишне категорично заявившая: «Знакомые сослужили ему службу, он с них взял некоторые черты, которыми наделил действующих лиц в романе «Что делать?». Турчанинов, Боков, один офицер и я послужили Николаю Гавриловичу материалом для изображения лиц в романе. Черты моего характера рассеяны на нескольких лиц в романе «Что делать?». Верочка — я, Лопухов взят с Бокова, офицер с Кирсанова» (естественно, здесь обмолвка: не офицер взят с Кирсанова, а Кирсанов с офицера).

Правда, полного единодушия в этом вопросе не было. Одни, опираясь на высказывание Ольги Сократовны, утверждали, что прототипом Веры Павловны является именно Ольга Сократовна, другие доказывали, что прототипом здесь послужила Мария Александровна Обручева (сначала жена доктора Петра Ивановича Бокова, а затем жена выдающегося физиолога Ивана Михайловича Сеченова). Под Рахметовым подразумевались: саратовский помещик Павел Бахметев; публицист, участник революционного движения шестидесятых годов Владимир Александрович Обручев и даже деятель революционного движения того же времени Петр Давыдович Баллод, с которым Чернышевский познакомился уже после написания романа, на каторге.

Немало разговоров было и о толстовских прототипах. Когда, например, в 1925 году появились в печати воспоминания Татьяны Андреевны Кузминской, то в одном из журналов писалось: «Наташа Ростова сошла со страниц «Войны и мира» и написала воспоминания». К тому времени уже устоялось мнение, будто прототипом Наташи Ростовской послужила Тая Берс (в замужестве Кузминская). В «Живом трупе» иногда усматривали переложение истории супругов Екатерины и

Николая Гимер. Трудно назвать толстовского героя, которому бы не сыскался прототип. Сергей Николаевич, брат писателя, говорил: «Лёвочка может себе позволить роскошь брать негодных управляющих. Например, Тимофей Фоканых принес ему убыток в 1000 руб., а Лёвочка опишет его (имеется в виду роман «Анна Каренина»). — А. Л.) и получит за это описание 2000 руб...»

Сам Лев Толстой категорически возражал против того, чтобы в героях художественных произведений усматривали портреты достоверных лиц. «Я бы очень сожалел, — писал он, — ежели бы сходство вымышленных имен с действительными могло бы кому-нибудь дать мысль, что я хотел описать то или другое действительное лицо... Нужно наблюдать много однородных людей, чтобы создать определенный тип».

Впрочем, о творчестве Толстого написано немало серьезных работ, поэтому все разговоры о прототипах его героев носят скорее развлекательный характер. А вот что касается романа Чернышевского «Что делать?», то даже в школьных программах указывались прототипы, и на этом основании в известной мере строился анализ самого произведения. Забывалось, что писатель, равно как и живописец, постоянно пользуется натурой — будь то человек, пейзаж или неодушевленный предмет, что писатель никогда не списывает натуру, а только отталкивается от нее, наполняя ее своим духовным содержанием. А главным прототипом почти любого художественного произведения является в первую очередь сам автор со всей его системой мышления, нравственных побуждений и сугубо индивидуальных восприятий.

IV

Многие авторы работ о Чернышевском пытаются во что бы то ни стало доказать, будто Чернышевский принимал активное участие в практической революционной деятельности, и только особый конспиративный талант писателя помог ему не оставить никаких против себя улик, словно та роль, что сыграл он как идейный вождь революционной демократии, недостаточна для признания его выдающихся заслуг.

А вообще-то разве было целесообразно вовлекать такого человека, как Чернышевский, в революционную организацию в качестве рядового ее члена? Например, П. Баллод писал: «Я знаю случаи, когда людей, которых почему-либо нужно было особенно оберегать, удерживали от деятельности, где

бы они могли быть заметны». А если не рядового члена, если в качестве руководителя, одного из руководителей?

На этот вопрос Чернышевский дает исчерпывающий ответ своим романом. Безусловно, в романе нашли свое яркое отражение и социально-экономические, и политические, и семейно-бытовые вопросы. Однако главное в романе — содержание нравственных исканий самого автора, решение собственной судьбы в тесной связи с актуальными задачами своего времени, и вопрос «Что делать?» обращен не только к читателю, но и к самому себе, даже в первую очередь к самому себе.

Один из героев романа Льва Толстого «Анна Каренина», молодой генерал князь Серпуховской, соблазняя Вронского общественной деятельностью, говорил: «И вот тебе мое мнение. Женщины — это главный камень преткновения в деятельности человека. Трудно любить женщину и делать что-нибудь. Для этого есть только одно средство с удобством без помехи любить — это жениться».

Так по Толстому. А по Чернышевскому — общественный деятель, руководитель обязан отказаться от всякой личной жизни, в том числе и от семьи, от всех личных соображений и притязаний, ибо тут не может и не должно быть никакого совмещения деятельности или интересов. Вопрос стоит жестко: или — или.

Конечно, Чернышевского не мог не восхитить поступок его земляка, помещика Бахметева, отдавшего 20 тысяч франков Герцену на дела пропаганды и уехавшего на Маркизские острова, чтобы там «завести колонию на совершенно новых социальных основаниях». В честь его он и назвал одного из главных героев романа сходной фамилией: Бахметев — Рахметов. Но назвать героя в честь кого-то — это еще вовсе не означает поставить этого «кого-то» в роль прототипа данному герою. И, пожалуй, наиболее достоверным прототипом Рахметова следует считать самого Чернышевского.

Рахметов — это идеал самого Чернышевского. Таким он хотел бы быть, таким он мог бы стать, если бы... Если бы его жизнь сложилась иначе. В этом образе Чернышевский выявляет возможный, но несвершенный итог своих нравственных исканий. И думать, будто Чернышевского могла удовлетворить роль рядового участника революционной организации, значит перечеркнуть этот могучий характер в угоду узкопонимаемой революционности. И тут дело не в честолюбии или каком-то вождизме Чернышевского, а в его максималистских требованиях к себе. Он видел вокруг немало горячих голов, желавших

возглавлять революционное движение, однако он хорошо понимал, что тут одного желания, одних претензий недостаточно, как понимал и то, что революционная ситуация пошла на убыль именно ввиду отсутствия людей, способных возглавить революцию.

А мог ли Чернышевский прикидывать на себя мерку вождя революционного движения? Вряд ли. Во всяком случае, в настоящем.

В своей жизни, насыщенной до предела (работа в журнале, семья), он искал выход, ибо верил во всемогущий разум человека и в его всепреодолевающую волю. И в этом смысле для Чернышевского принципиально важен образ Лопухова, в чьей судьбе во многих подробностях отразилась его собственная судьба, а судьба Веры Павловны в известной степени напоминает судьбу Ольги Сократовны, что подтверждают многие дневниковые записи, сделанные Чернышевским накануне свадьбы.

Вот, например, какой диалог состоялся между Николаем Гавриловичем и Ольгой Сократовной 19 февраля 1853 года:

Н. Г. Вам хочется выйти замуж, потому что ваши домашние отношения тяжелы.

О. С. Да, это правда. Пока я была молода, ничего не хотелось мне, я была весела; но теперь, когда я вижу, как на меня смотрят домашние, моя жизнь стала совсем тяжелой. И если я весела, то это больше принужденность, чем настоящая веселость.

Н. Г. Скажите, у вас есть женихи?

О. С. Есть, два.

Н. Г. Но они дурны? Линдгрэн?

О. С. Нет.

Н. Г. Яковлев? Он не дурной человек?

О. С. Поэтому-то я не могу выйти за него. Другой мой жених старинный знакомец папеньки. Когда мы ездили в Киев, мы заезжали в Харьков... Там меня сватал один помещик, довольно богатый — 150 душ, но он старик...

И Вера Павловна говорит Дмитрию Лопухову: «У меня есть богатый жених. Он мне не нравится...»

Время действия одно и то же — начало пятидесятых годов.

«...в 1852 году жил тут управляющий домом, Павел Константинович Розальский, плотный, тоже видный мужчина, с женою Марьею Алексеевною, художавою, крепкою, высокого роста дамою, с дочерью, взрослою девицею, — она-то и есть Вера Павловна, — и с 9-летним сыном Федею» («Что делать?»).

В том и в другом случаях матери и пытались выгоднее сбыть своих дочерей, отчего обстановка в семьях становилась все невыносимее и невыносимее.

Может возникнуть резонное возражение: дескать, хорошо, первоначальный период отношений самого писателя и его будущей жены чрезвычайно напоминает первоначальные отношения Веры Павловны и Лопухова, во всяком случае, тут автор мог воспользоваться и своими собственными, но ведь дальше Вера Павловна влюбляется в друга Лопухова (Кирсанова), в то время как сам Чернышевский подобной ситуации не переживал. Но это смотря как взглянуть, потому как в душе подобную ситуацию Чернышевский глубоко пережил еще в период своего знакомства с Ольгой Сократовной, которой он многократно повторял, что она в любой момент имеет право отказаться от своего слова, если у нее появится более удачная, с ее точки зрения, партия.

В этот период в дневнике появляется, например, такая запись: «Женюсь ли я на ней? вероятно, т. е. я говорю не о том, сдержу ли я свои обязательства, а о том, что вероятно, она не найдет до тех пор человека, который бы ей нравился лучше меня, которого бы она предпочла мне...»

А накануне свадьбы он размышляет так: «А если в ее жизни явится серьезная страсть? Что ж, я буду покинут ею, но я буду рад за нее, если предмет этой страсти будет человек достойный. Это будет скорбью, но не оскорблением...»

Вот эти размышления молодого Николая Гавриловича и лягут потом в основу переживаний Лопухова, который, инсценировав самоубийство, оставит Вере Павловне такое письмо: «Я смущал ваше спокойствие. Я схожу со сцены. Не жалейте; я так люблю вас обоих (то есть предметом страсти Веры Павловны оказался достойный человек. — А. Л.), что очень счастлив (Чернышевский писал: «... я буду рад за нее...» — А. Л.) своею решимостью. Прощайте».

И при чем тут Боков, Обручева и Сеченов, если задолго до знакомства с этими людьми автор будущего романа не только продумал, но и глубоко прочувствовал, пережил ту ситуацию, которую впоследствии воспроизвел в своем романе? Не боковскими, а собственными нравственными исканиями наделил он Лопухова и дал ему силу оказаться на высоте нравственных требований своего времени, во всяком случае, тех требований, которые он предъявлял к себе сам. И во всей этой сложной коллизии носителем новой морали в романе в первую очередь следует считать именно Лопухова.

У Чернышевского было острое сознание вины — вины перед женщиной. Еще в период своего сватовства он запишет: «По моим по-

нятиям, женщина занимает недостойное место в семействе. Меня возмущает всякое неравенство. Женщина должна быть равной мужчине. Но когда палка была долго искривлена на одну сторону, чтобы выпрямить ее, должно много перегнуть ее на другую сторону. Так и теперь: женщины ниже мужчины. Каждый порядочный человек обязан, по моим понятиям, ставить свою жену выше себя — этот временный перевес необходим для будущего равенства. Кроме того, у меня такой характер, который создан для того, чтобы подчиняться».

Думается, слово «подчиняться» здесь не совсем точно, уместнее в данном случае было бы употребить слово «жертвовать». И в основу любви мужчины к женщине Чернышевский клал чувство жертвенности. Таким был у него в романе Лопухов, таким в жизни был он сам. Интересы Ольги Сократовны он ставил выше всего на свете. И мы не случайно вели разговор об участии Чернышевского в практической революционной деятельности. И дело тут не в характере Чернышевского и не в его склонностях, он никого не стал бы спрашивать, привлекать его к практической деятельности или оставлять в роли идейного вождя, он сам бы возглавил эту деятельность. И не любовь к женщине остановила его на этом пути, а долг перед ней.

Читая многочисленные письма Чернышевского к Ольге Сократовне, можно увериться в том, что он до последних дней не изменил своему чувству. И это действительно так. А каково было содержание его чувства? Вот что он сам пишет двоюродному брату Александру Пышину в феврале 1873 года, то есть на пятидесятом году своей жизни: «Влюблен в Ольгу Сократовну я был — несколько часов, при первом нашем разговоре. Это был разговор в гостях, длился с обеда до конца вечера; как обыкновенно в обществе, с длинными перерывами... Разговор мой с нею был урывками, по нескольким минут. И, в продолжение нескольких часов, я был влюбленным. Но задолго до конца вечера это исчезло. Это нисколько не похоже на мое чувство к Ольге Сократовне. — Всего больше в моем чувстве к ней силен элемент уважения».

Это единственное в своем роде признание Чернышевского дает нам возможность определить главное направление его нравственных исканий, раскрыть подлинный смысл многих его поступков и общественно-литературной деятельности, наконец, понять его судьбу.

«Итак, она любила его до такой степени, что отдалась бы ему! Итак, она чувствовала страсть и теперь не чувствует ее ко мне! Итак, я не заменяю ей того, что раньше испытала она!»

Преодолимо и чувство ревности к прошлому, потому что в основе собственного чувства лежит жертвенность.

«Если моя жена захочет жить с другим, я скажу ей только: «Когда тебе, друг мой, покажется лучше воротиться ко мне, пожалуйста, возвращайся, не стесняясь нисколько»».

Преодолимо и чувство ревности к будущему. Никакого препятствия женщине... Это уже своего рода непротивленчество.

Жертвенность, возведена в абсолютный закон, и причина тому — историческая вина мужчины перед женщиной. Идеал женщины по Чернышевскому — счастливая женщина.

И разве мог иначе мыслить, писать, поступать Чернышевский, если в самой широкой эмансипации женщины он видел залог ее будущего неслучайного счастья?

V

И разве мог иначе мыслить, писать, поступать Толстой, если в эмансипации женщины он видел градушие беды и для мужчины, и для самой женщины.

«Что бы было с миром, — вопрошал Толстой, — что бы было с нами, мужчинами, если бы у женщин не было этого свойства и они не проявляли бы его? Без женщин — врачей, телеграфисток, адвокатов, ученых, сочинительниц мы обойдемся, но без матерей, помощниц, подруг, утешительниц, любящих в мужчине все то лучшее, что есть в нем, и незаметным внушением вызывающих и подерживающих в нем все это лучшее, — без таких женщин плохо было бы жить на белом свете».

Как известно, Толстой отнесся недоброжелательно к роману Чернышевского «Что делать?». Вскоре же по выходе романа он пишет пьесу «Зараженное семейство», которая, по словам самого Толстого, была «написана в насмешку эмансипации женщин и так называемых нигилистов». Попытка Толстого поставить пьесу на сцене успехом не увенчалась, вскоре он и сам к ней охладел, и пьеса впервые была опубликована только после смерти писателя. Однако свой спор с Чернышевским Толстой продолжал.

Когда Толстой писал комедии «Нигилист» и «Зараженное семейство», он жил в атмосфере любви и семейной гармонии, в атмосфере добра и обожания. И в этом кругу человек, начавший бы вдруг проповедовать модные тогда идеи эмансипации женщины, показался бы, по меньшей мере, человеком неуместным, потому как все его идеи воспринимались

бы здесь как покушение на настоящее и будущее счастье женщины. И, напротив, всякий выпад против нигилистов, эмансипации и т. д. находил в этом кругу горячую поддержку. И не потому, что тут сплотились консерваторы и ретрограды, а потому, что здесь жили счастливые люди, и, как говорится, от добра добра не ищут. Вот, к примеру, как написана комедия «Нигилист»:

«Чего только не придумывали мы с Соней, чтобы повеселить наших милых гостей! — вспоминала Татьяна Кузминская. — Лев Николаевич добродушно относился ко всем нашим затеям. Однажды, глядя на представление нашей шарады, он сказал:

— Отчего вы не разучите какую-нибудь маленькую пьесу?

— Да где мы ее возьмем, а выписывать некогда, — говорила Соня.

— Напиши ты нам, — сказала я.

Несколько голосов подхватили:

— Да, да, Лев Николаевич, дядя Левочка а, — кричали все. — Напишите нам!

— Хорошо, попробую, — сказал он.

Через три дня он принес нам написанную комедию «Нигилист», не помню, кажется, в одном действии. Мы разобрали роли и стали разучивать.

В те времена «нигилизм» только что стал проявлять себя. Повесть Тургенева «Отцы и дети» наделала много шума. Нигилизм, как плохая трава, размножался и пускал корни».

Пьесу ставили в счастливом упоении, впрочем, в этом доме в тот период многое делалось и говорилось в счастливом упоении.

«Переписанные роли были брошены, — вспоминает дальше Кузминская, — как ненужная бумага. Так мало придавалось значения в те годы тому, что писал Лев Николаевич. Да и жилось тогда не будущим, а настоящим — молодым и эгоистичным».

Да и сам Лев Николаевич жил тогда настоящим — счастливым настоящим, давшим ему силу, если и небезмятежно, то уверенно смотреть в будущее. В такой атмосфере и создавалась эпопея «Война и мир».

Если в «Нигилисте» и «Зараженном семействе» делались открытые выпады против «новых людей» и их взглядов на женщину, то в «Войне и мире» Толстой, споря с «новыми людьми» по всем главнейшим проблемам времени, утверждал уже свою собственную концепцию жизни и свои нравственные идеалы, в основе которых покоился итог собст-



венных нравственных исканий, пусть пока только предварительный итог. Толстой спорил даже выбором своих героев. «Я буду писать историю людей, — говорил он, — более свободных, чем государственные люди, историю людей, живущих в самых выгодных условиях жизни для борьбы и выбора между добром и злом, людей, изведавших все стороны человеческих мыслей, чувств и желаний, людей таких же, как мы, могущих выбирать между рабством и свободой, между образованием и невежеством, между славой и неизвестностью, между властью и ничтожеством, между любовью и ненавистью, людей, свободных от бедности, от невежества и независимых».

То есть Толстой как бы говорил: вот перед нами люди, не обремененные материальными заботами, люди, пользующиеся всеми достижениями и благами культуры и образования, условия их жизни таковы, что вряд ли их нужно менять к лучшему, однако сами обстоятельства жизни, даже самые благоприятные, не делают человека счастливым и не обеспечивают гармонических отношений между людьми; и как только человек перестает думать об изменении самих обстоятельств жизни, он невольно начинает думать о смысле самой жизни, и эти думы приносят ему и более острое горе, и более острую радость, нежели те, что ему приходится испытывать, когда он живет в ежедневных заботах об улучшении своей материальной жизни. Поэтому, если «новые люди» Чернышевского беззаветно служат определенной идее и пытаются согласно этой идее изменить весь миропорядок, то герои Толстого ищут в этом миропорядке те его основания, которые не только откроют им истинный смысл их бытия, но и наполнят это бытие высоким нравственным содержанием. Герои Чернышевского сильны своей убежденностью, герои Толстого сильны своими нравственными исканиями, которым они подчиняют свою практическую жизнь. И тут спор не столько о самих идеалах, сколько о путях, которые приведут людей к гармонии, к счастью. И, между прочим, идеалом Чернышевского вовсе не была Вера Павловна, хотя на ее стороне вся его авторская симпатия. Так, в одном из вилюйских писем он рассказал Ольге Сократовне эпизод, относящийся к дням его далекой юности, однако не забытый им и через многие годы.

«Был я студентом, — вспоминал пятидесятилетний Николай Гаврилович. — Ни сию девушкой или молодой женщиною не говорил ни слова, это разумеется. И приключение кончилось тем, что я не сказал ни

слова? — Разумеется. Но слушай. Это удивительно.

Была выставка «Промышленности и земледелия» в Манеже между Сенатом и Конногвардейскими казармами. Пошел и я. Ходил и глядел на выставку. Глядел и на людей. Все молодые женщины и девушки, не довольно красивые, — это разумеется. Но идет какое-то аристократическое семейство. Старших мужчин тут нет. Лишь: мать, сыновья, дочери. Старшей дочке было лет семнадцать. Понравилась мне эта девушка, понравилась. В самом деле, дивная красавица была она. Тип лица — наиболее любимый хорошими живописцами. Волоса ее были светло-каштановые. Сама вовсе беленькая. Глаза голубые. Дивная красавица была она. И кроткое, скромное существо, доброе: то, что называют «ангел». Я пошел шагах в трех, — сбоку и любовался...» И главное тут не то, что девушка была красива, а то, что она была счастлива, ей было хорошо с матерью и своими братьями и сестрами. Юный Чернышевский был прямо-таки потрясен счастьем этой красивой и красивой этой счастливой девушки.

Вполне возможно, девушка действительно была отменно хороша, хотя скорее всего ее такой сделало неукнувшее юношеское воображение, когда потребность в одухотворенной, чистой любви способна возвысить до идеального лишь намеки на это идеальное. Но суть не в том, была ли эта девушка такой, какой она показалась юноше Чернышевскому, и даже не в том, что в какой-то миг его жизнь озарило «чудное мгновение», а в том, какие мысли и чувства пробудила в нем эта встреча. «Но больше, — вспоминает дальше Чернышевский, — мне было грустно: будет ли она счастлива и в замужестве, как счастлива в своем — очевидно, прекрасном семействе, лелеемая умною матерью? Мужья очень многие — хорошие люди. Но муж, который был бы для молоденькой дамы не хуже умной матери, — это бывает ли на свете? — Ох, моя милая: недолюбывал я мужей уж и тогда, — видишь ты из этого.

А я прав, моя милая. Никакой девушке, любимой в своем семействе, не следовало бы выходить замуж. Что, разве не правда? — Тебе не было хорошо в твоём семействе. То и нельзя, собственно, строго порицать тебя за то, что ты вышла замуж».

Нет, не Вера Павловна и даже не сама Ольга Сократовна были женским идеалом Чернышевского, его идеалом, нужно думать, скорее всего и была та девушка, которую он встретил в своей юности на выставке в Манеже и которую из его памяти не выгнали даже тридцать лет суровой жизни, и

этот идеал был, если и не тождествен, то очень близок идеалу Толстого. Конечно, мы не можем сказать, что встреченная Чернышевским на выставке девушка — это Наташа Ростова, однако она так обрисована, что мы вправе сказать, что Наташа Ростова и эта девушка — женские типы одного ряда, то есть сходного нравственного и духовного уровня, что это люди сходной счастливой судьбы. А идеалом для Чернышевского всегда была, как мы уже говорили, счастливая женщина. И если бы он поверил, что счастье женщины в муже и детях, то он бы восстал против того, за что неистово ратовал не только словом, но и всей своей судьбой.

Нет, я вовсе не собираюсь искусственно сблизить Толстого и Чернышевского, находить между ними общее там, где ему не могло быть места, но в то же время при всем различии их пафоса они стремились если и не к одной, то к очень сходной цели, сходен был и их идеал женщины. И, между прочим, не случайно, что как в жизни Толстого, так и в жизни Чернышевского настойчиво присутствовал мотив «ухода со сцены», обусловленный не тяготами жизни, а поиском для себя иной жизни.

Мы уже говорили, что вопрос «Что делать?» был обращен Чернышевским прежде всего к самому себе. Вопрос этот был поставлен им в Петропавловской крепости. И ответ был найден: «Уйти со сцены», то есть уйти из жизни близких людей и в первую очередь из жизни Ольги Сократовны. «Уйти со сцены» — это в романе не сюжетный ход, а целая нравственная программа, которая была итогом долгих нравственных поисков самого автора и которую теперь предстояло претворить в жизнь.

Как известно, спустя два года после того, как Чернышевского сослали в Сибирь, Ольга Сократовна добилась свидания с мужем. В конце августа 1866 года она виделась в Кадае с Николаем Гавриловичем, который через одиннадцать лет расскажет в письме Александру Пышину об этом их свидании следующее: «Несколько лет тому назад при свидании за Байкалом я упрашивал Ольгу Сократовну выйти за кого-нибудь из благородных людей, которых было много, не смеющих, разумеется, и думать ни о чем подобном, но из которых каждый считал бы себя счастливейшим на свете человеком, если бы услышал от нее то, что я просил ее сказать кому-нибудь из них... Не мог я убедить ее. — Дал пройти нескольким месяцам и перестал писать ей. Не писал целый год. Она не могла выдержать этого. — Как быть? — Я нашел се-

бя в необходимости опять начать переписку с нею...

Несколько лет я не решался возобновлять этой борьбы с нею, — продолжал свою исповедь Николай Гаврилович. — Не потому, разумеется, что мне это тяжело; для меня это обязанность совести, которую исполнять для меня очень легко и приятно. Но для нее вышло это тяжело. Я был очень надолго в боязни возобновить».

К 1875 году боязнь эта понемногу улеглась, и теперь Чернышевский пытается разыграть ссору, пишет такие письма родным, что те, естественно, должны были обидеться на него и прекратить с ним всякие сношения. И по всей видимости, Чернышевскому удалось бы осуществить свой план, не окажись Александр Пышин столь проницательным и столь благородным человеком. Он «разоблачает» Николая Гавриловича, и тот признается, что действительно написал грубые и несправедливые письма в расчете вызвать ссору, и рассказывает весь «сюжет», согласно которому в конце концов он «ушел бы со сцены». «А в том, — писал Николай Гаврилович, — и было бы для меня самое важное облегчение моей совести. Совесть у меня есть. Хотелось бы перестать быть вредным для близких ко мне».

Не менее настойчиво этот мотив («уйти со сцены») звучит и в судьбе Толстого.

Впервые Толстому пришлось «уйти со сцены», когда сдан был Севастополь. Правда, из Севастополя Толстой ушел не по своей воле, а вот в отставку вышел по своей. Частную литературную деятельность он предпочел государственной службе, то есть он предпочел независимость.

Второй раз Толстой «ушел со сцены» в расцвете сил, в период его литературного признания и обострения литературно-общественной борьбы. Этой борьбе он предпочел японскую тишину и, казалось бы, полную независимость. Педагогическая деятельность, поездки за границу, женитьба, счастливая семейная жизнь, плодотворная литературная работа... «Как ты мне лучше, чище, честнее, дороже, милее всех на свете...» «А работать без тебя, без того, что ты тут, я, кажется, не могу...» — признается Софье Андреевне Лев Николаевич, и в этих признаниях слышится уверенность в обоедности их чувства, в неизбежности их семейного благополучия, почти ничем не омрачаемого. Мимолетные сомнения не находят подтверждения ни в реалиях действительной жизни, ни в besпокоящем душу самоанализе, они глохнут под напором каждодневной радости жизни; даже дни, проведенные в разлуке, приносят свою радость, «потому что в разлуке есть идеал

свой, с которым ничто не может сравниться».

Без Ясной Поляны, без Софьи Андреевны не было бы Толстого. Свои идеалы он черпал из окружающей его жизни, не замутненной новыми веяниями и сохранившей еще многие признаки былой патриархальной жизни, опозтизированной им ввиду надвигающейся капитализации всех условий жизни и человеческих отношений. «Все будет хорошо, и нет для нас несчастья, — пишет в ту пору Толстой, повторяя свой мотив равенства чувств, — коли ты меня будешь любить, как я тебя люблю...»

VI

Толстой всю жизнь стерег свое чувство к Софье Андреевне и ее чувство к себе, постоянно опасаясь, как бы не нарушилось то равенство чувств, о котором он писал в своем первом письме к Софье Андреевне. Даже намереваясь покинуть свой родной дом, он не перестает прислушиваться к себе, к Софье Андреевне: не нарушено ли это равновесие? Безусловно, причин, останавливающих Толстого совершить решительный шаг и привести в полное согласие свою жизнь со своими верованиями, было немало, однако одной из главных все же следует считать его боязнь самолично, односторонне разрушить еще возможное и в будущем равенство чувств.

Пройдут долгие годы совместной жизни, разрушится цельность чувства, в душе найдут постоянный приют и чувство ревности, и чувство одиночества. Наступит 1897 год. 8 июля Толстой, мучимый глубоким духовным кризисом, напишет прощальное письмо...

«Дорогая Сося! Уже давно меня мучает несоответствие моей жизни с моими верованиями. Заставит вас изменить вашу жизнь, ваши привычки, к которым я же приучил вас, я не мог... продолжать же жить так, как я жил эти 16 лет, то борясь и раздражая вас, то сам попадая под те соблазны, к которым я привык и которыми окружен, я тоже не могу больше, и я решил теперь сделать то, что я давно хотел сделать, — уйти...»

А всего лишь за два года до этого Лев Николаевич напишет Софье Андреевне: «Ты спрашиваешь: люблю ли я тебя? Мои чувства к тебе такие, что мне думается, что они никак не могут измениться... Связывает и прошедшее, и дети, и сознание своих вин, и жалость, и влечение неопределимое. Одним словом, завязано, зашнуровано плотно. И я рад». И за два месяца до своего прощального письма Лев Николаевич напишет (13 мая 1897 года) из Ясной Поляны в Москву Софье Анд-

реевне такие слова: «Как ты доехала и как теперь живешь, милый друг? Оставила ты своим приездом (Софья Андреевна приезжала на два дня из Москвы в Ясную Поляну. — А. Л.) такое сильное, бодрое, хорошее впечатление, слишком даже хорошее для меня, потому что тебя сильнее недостает мне. Пробуждение мое и твое появление — одно из самых сильных, испытанных мною, радостных впечатлений, и это в 69 лет от 53-летней женщины!»

Однако прощальное письмо не было строгим рубежом, разорвавшим отношение Льва Николаевича к Софье Андреевне на две несхожие между собой части. Так, через десять месяцев после этого письма Толстой напишет Софье Андреевне: «Вчера писал тебе... но сейчас пишу еще словечко, чтобы сказать, что я работаю, здоров и тебя люблю», хотя за два года до прощального письма он скажет: «Мы живем вместе — врозь». Между прочим, даже в самом прощальном письме у Толстого найдутся слова в защиту Софьи Андреевны. «Я зная, — напишет о н, — что ты не могла, буквально не могла и не можешь видеть и чувствовать, как я, и потому не могла и не можешь изменить свою жизнь и приносить жертвы ради того, чего не осознаешь. И потому я не осуждаю тебя, а, напротив, с благодарностью вспоминаю длинные 35 лет нашей жизни, в особенности первую половину этого времени. Ты дала мне и миру то, что могла дать, и дала много материнской любви и самоотвержения, и нельзя не ценить тебя за это».

Начиная с восьмидесятых годов между Львом Николаевичем и Софьей Андреевной начинается то идейное и нравственное расхождение, которое в конце концов обернется кризисом их отношений и преодолеть который они так и не сумеют. «Обо мне и о том, что составляет мою жизнь, — не без обиды констатирует Лев Николаевич в период начала их расхождений, — ты пишешь как про слабость, от которой ты надеешься, что я поправлюсь посредством кумыса». В 1884 году Толстой пытается несколько изменить порядок в Ясной Поляне, о чем сообщает Софье Андреевне: «Я отпустил Андриана и сам убрался и напил дров, что мне доставило большое удовольствие». В ответ он получает упрек: «Я вижу, что ты остался в Ясной Поляне не для той умственной работы, которую я ставлю выше всего в жизни, а для какой-то игры в Робинзоны».

Но это было только началом несогласий, расхождений, размовок, свои отчетливые черты кризис обнаружил только к исходу века, когда Толстой и написал свое прощальное

письмо. В тот же год он приступил к работе над «Живым трупом». Вспомнится тут Толстому и его давний, теперь уже умерший оппонент — Николай Гаврилович Чернышевский. По сути дела, Протасов у Толстого сделает то, что в свое время сделал Лопухов у Чернышевского, однако дело не в сюжетной перекличке, а в прямом обращении к имени Чернышевского.

Маша (вырывает письмо). Писал, что убил себя, да? Не писал про пистолет? Писал, что убил?

Федя. Да, что меня не будет.

Маша. Давай, давай, давай. Читал ты «Что делать?»?

Федя. Читал, кажется.

Маша. Скучный это роман, а одно очень, очень хорошо. Он, этот, как его, Рахманов, взял да и сделал вид, что он утопился. И ты вот не умеешь плавать?

Федя. Нет.

Маша. Ну вот. Давай сюда свое платье. Все, и бумажник.

Федя. Да как же?

Маша. Стой, стой, стой. Поедем домой. Там переоденешься.

Федя. Да ведь это обман.

Маша. И прекрасно. Пошел купаться. Платье осталось на берегу. В кармане бумажник и это письмо.

Федя. Ну, а потом?

Маша. А потом, потом уедем и будем жить во славу».

Как известно, «во славу» Федору Протасову пожить не удалось, и в конце концов мнимое самоубийство обернулось самоубийством натуральным. Толстой и здесь спорит с Чернышевским, хотя и не по главному вопросу. В главном теперь они сошлись. Чернышевский обличал существующие условия жизни и призывал к изменению заведенного миропорядка. Толстой к революционным преобразованиям не призывал, но обличал действительность и делал это более сурово, нежели когда-то это делал Чернышевский. А возражает Толстой по такому поводу: нет, не так-то просто человеку «уйти со сцены», не так-то просто освободить от себя женщину, если даже на то и есть желание. Закон так опутывает человека, что любой шаг, даже благородный, пресекается законом. Закон как бы действует одновременно во вред всем. И здесь мотив «ухода со сцены», вытесняя мотив «равенства чувств», приобретает глубоко личный характер.

В пору своей молодости Толстой мужественно сражался в осажденном Севастополе. С не меньшим мужеством он защищал свою Ясную Поляну со всем ее укладом, однако



Л. Н. Толстой и С. А. Толстая.
1908 г. Ясная Поляна. Фотография
К. К. Буллы.

в том и в другом случаях неравны были силы, чтобы оказаться в роли победителя. Сам Толстой ни в чем не уступил претензиям новой жизни, но в уклад «обороняемой» им теперь крепости постоянно проникали (через подростков детей, через жену) требования этой новой жизни, так противоречащие верованиям самого Толстого.

Толстой пережил глубокий духовный кризис, перевернувший как всю его личную жизнь, так и его представление о смысле самой жизни, этот кризис в конце концов заставил его «уйти со сцены» той жизни, которая многие годы вдохновляла его на борьбу и творчество. И все-таки даже в преддверии своего ухода из дому Толстой признается в письме к Софье Андреевне: «Мое отношение к тебе и моя оценка тебя такие: как я смолodu любил тебя, так я, не переставая, несмотря на разные причины охлаждения, любил и люблю тебя... Дело в том, что я, несмотря на все

бывшие недоразумения, не переставал любить и ценить тебя».

На протяжении почти что пятидесяти лет Толстой хранил свое чувство к Софье Андреевне, оно дало ему в жизни самую большую радость и причинило самую большую боль. И этими радостью и болью он писал «Войну и мир» и «Крейцерову сонату», «Анну Каренину» и «Живой труп» и все то, что вышло у него из-под пера с тех пор, как он восемнадцатилетней Соне Берс сделал предложение, потребовав только одного — равенства чувств. И когда через три года после смерти Льва Николаевича Софья Андреевна издает письма своего мужа за сорок восемь лет их супружеской жизни, то она выразит надежду, что «люди снисходительно отнесутся к той, которой, может быть, непосильно было с юных лет нести на слабых плечах высокое назначение — быть женой гения и великого человека».

VII

Еще в 1856 году Чернышевский на самой заре творческой деятельности Толстого отметил особое достоинство его произведений — чистоту нравственного чувства. Пройдет больше полувека, и Толстой, прочитав за несколько месяцев до своей смерти статью Н. С. Рузанова «Чернышевский в Сибири (По неизданным письмам и семейному архиву)», скажет о Чернышевском: «Это очень интересно. У него много очень хороших, высоких в нравственном отношении мыслей: о войне, о половом вопросе, или мысль о том, что все нравственное — разумно, а разумное — нравственно и т. д.».

В предисловии к рассказу Чехова «Душечка» Толстой скажет:

«Удивительное недоразумение весь так называемый женский вопрос, охвативший, как это должно быть со всякой пошлостью, большинство женщин и даже мужчин!»

«Женщина хочет совершенствоваться», — что может быть законнее и справедливее этого?»

Вероятно, удивительным недоразумением следует считать не «женский вопрос», а очень многое из того, что было сказано в его связи и проведено в практику тогдашней жизни. Не только противники, но и многие сторонники Чернышевского расценивали роман «Что делать?» как своего рода призыв к «свободной любви», к многоуместству и т. д. Противники Чернышевского понять здесь нетрудно, поскольку они в своей критике романа руководствовались иными представлениями о счастье

женщины, нежели автор романа «Что делать?». Так, Толстой в том же предисловии к чеховскому рассказу писал: «Но ведь дело женщины по самому ее назначению другое, чем дело мужчины. И потому и идеал совершенства женщины не может быть тот же, как идеал совершенства мужчины. А между тем к достижению этого мужского идеала направлена теперь вся та смешная и недобрая деятельность молодого женского движения, которая теперь так путает женщин».

Труднее понять тех сторонников Чернышевского, которые в его романе находили поддержку своим, мягко говоря, недостаточно нравственным побуждениям, и здесь они компрометировали не столько себя, сколько высоконравственную позицию автора романа.

Чернышевский не испытал того семейного счастья, которое испытал Толстой, но Чернышевский зато испытал другое счастье — счастье освободителя женщины. Своей женитьбой он совершил первый в своей жизни гражданский поступок — освободил женщину от гнета семьи. И этот поступок возбудил в нем глубочайший нравственный поиск. Многие дневниковые записи Чернышевского вызывают недоумение: какое-то почти мазохистское желание оправдать в будущем возможные увлечения и даже измены Ольги Сократовны, хотя она не давала к тому особых поводов. Но это недоумение исчезнет, если мы поймем мотивы этого желания.

Чернышевский знал, что Ольга Сократовна не питает к нему страстной любви, хотя и испытывает к нему чувство глубокого уважения. Он никогда не отказывал в праве женщине на любовь, не отказывал он в этом праве и Ольге Сократовне. На свой брак он смотрел как на акт освобождения женщины. И вот тут для него вставал высоконравственный вопрос: «Освобождает он женщину для нее самой или для собственного ею обладания?» Этот же вопрос он поставил и перед героем своего романа — Дмитрием Лопуховым.

И было бы глубочайшей ошибкой считать, что в своем дневнике периодов сватовства и женитьбы Чернышевский просто излагал свои соображения по «женскому вопросу». В этих записях запечатлелись боль, страдания, сомнения и даже самоуборы молодого Чернышевского. И тогда он сделал для себя выбор — он освобождает женщину для нее самой, для ее счастья. И во всю свою дальнейшую жизнь он ни разу не изменил принятому им однажды решению — воистину высоконравственному решению.

В последние годы своей жизни Толстой болезненно относился к малейшему проявле-

нию хотя бы равнодушия к нравственным требованиям, и то, что он, обратясь к письмам и семейному архиву Чернышевского, нашел у него «много очень хороших, высоких в нравственном отношении мыслей», свидетельствует о том, что направление их личных нравственных исканий было сходным.

Один из них уловил это на заре своей литературной деятельности, другой обнаружил это на исходе своего жизненного пути. Между этими моментами прошло более полувека, но тем более убедительнее и достовернее выглядит духовное родство великих ровесников, носивших в себе нравственную меру вещей будущего.

По справедливому замечанию Тэна, литературное произведение не простая игра воображения или изолированный каприз пылкой головы; это снимок окружающих нравов и признак известного состояния умов...

Что касается «снимков окружающих нравов», то это первооснова реалистического искусства — без верного изображения окружающих нравов нет и предмета для разговора о реалистическом искусстве. Сложнее с признаком «известного состояния умов». Этот признак разлит во всех проявлениях современности, и задача художника — сфокусировать его так в характерах своих героев, чтобы признак этот стал живой очевидностью. Однако для этого мало понимания, умения, стремления, тут не достаточны никакие качества художника, если они не опираются на созвучные духу эпохи нравственные искания самого художника, носящие судьбоносный для него характер. Толстой и Чернышевский сделали «женский вопрос» узловым не потому, что другие вопросы казались им второстепенными, а потому, что в силу самых различных внешних обстоятельств и в силу их собственных характеров этот вопрос (опять-

таки по-разному) сковал их судьбу, предопределив ее развитие. Да, признаки окружающих нравов они черпали в окружающей их жизни, а вот что касается признаков «известного состояния умов», то здесь многое зависело от того, в какую сторону они сами корректировали обстоятельства окружающего их внешнего мира, насколько они оставались верны самим себе, своим чувствам, мыслям, словам.

Они были ровесниками, но прожили неодинаковой продолжительности жизнь. Чернышевский умер на шестьдесят втором году жизни, Толстой — на восемьдесят третьем, то есть Толстой дожил до той эпохи, когда «женский вопрос», утрав свою связь с другими вопросами времени, превратился в «проблему пола», когда публика в арцыбашевском «Санине», купринской «Яме», андреевской «Бездне» увидела чуть ли не новое откровение.

Толстой остался верным себе и своему чувству до последнего часа своей жизни. 29 августа 1910 года он напишет коротенькое письмо Софье Андреевне, которое заключит словами: «Твой любящий муж». Через два месяца Толстой навсегда покинет Ясную Поляну, навсегда «уйдет со сцены», но он уйдет не от Софьи Андреевны, он уйдет из мира, который разорил их духовное согласие, без чего даже равенство чувств становилось всего лишь бездушным арифметическим равенством.

По-своему трагична судьба Чернышевского, по-своему трагична судьба Толстого. Они положили жизнь, чтобы женщина была счастлива на века, но не смогли сделать счастливыми даже тех, кому оставались преданными до конца своих дней. Жизнь этих людей со всеми их радостями и страданиями не пример потомкам, а та нравственная опора, которая и за давностью дней не потеряла ни своего значения, ни своей надежности.



Л. Н. Толстой среди писателей —
сотрудников журнала
«Современник»
1856 г. Петербург.
Фотография С. Л. Левецкого.

Слева направо:
Л. Н. Толстой и Д. Н. Григорович
(стоят): И. А. Гончаров,
И. С. Тургенев, А. В. Дружинин
и А. Н. Островский (сидят).

50-

(Л. Н. Толстой и С. Т. Аксаков)

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

Первая встреча Льва Николаевича Толстого с «патриархом» русской литературы Сергеем Тимофеевичем Аксаковым состоялась в январе 1856 года. Произошла она в доме Пфеллера в Денежном переулке (ныне улица Веснина) на Арбате, где в эту зиму жили Аксаковы.

Эта встреча произвела на обоих писателей огромное впечатление. С. Т. Аксаков очень высоко оценил Толстого и предугадал его великое будущее. 7 февраля 1856 года в письме Тургеневу он писал: «Мы оба с Константином очень рады знакомству с графом Толстым; он способен понимать строгие мысли, в какие бы пустяки не вовлекала его пошлая сторона жизни. Я ставлю его очень высоко по задаткам, которые он дал нам, и, узнав его лично, еще более надеюсь на его будущую литературную деятельность»¹. И несколько позже тому же Тургеневу скажет: «Поклонитесь графу Л. Н. Толстому. Не напишет ли он чего-нибудь для «Русского Вестника»? Какое бы это было доброе дело!»²

С. Т. Аксаков в отношениях с Л. Н. Толстым уже с самого начала стремился к пол-

ной искренности, к «голой правде». Показательно в этом плане его письмо к Тургеневу от 12 марта 1856 года: «Скажите, пожалуйста, графу Толстому, что «Метель», превосходный рассказ. Я могу об этом судить лучше многих: не один раз испытывал я ужас зимних буранов и однажды потому только остался жив, что попал на стог сена и в нем ночевал. Скажите ему, что подробностей слишком много, однообразие их несколько утомительно. Хотя я мало с ним знаком, но не боюсь сказать ему голую правду»³.

Мнение же самого Л. Н. Толстого о первой встрече с Сергеем Тимофеевичем очень хорошо выражено в его письме Константину Аксакову от 27 января 1856 года, где высказывается сожаление, что он не мог «приехать туда, куда мне больше всего нужно, полезно, приятно было бы приехать».

Эти слова относятся как к Сергею Тимофеевичу, так и к его старшему сыну. Кстати, несколько позже Толстой запишет о последнем в своем дневнике: «Аксаков Константин мил и добр очень» — и это мнение сохранит о нем навсегда. 5 августа 1894 года В. Ф. Лазурский записывает такие его слова: «Константин из них (Аксаковых. — В. П.) был самым интересным. ...Константин был чистая, благородная натура. Он сорок лет умер девственником, а когда руку подает, как Тургенев выражался, словно дверь зацемят»⁴.

Встреча с Сергеем Тимофеевичем Аксаковым и его сыном Константином послужила началом знакомства Л. Н. Толстого со всеми видными славянофилами. 4 июня 1856 года в письме Тургеневу С. Т. Аксаков писал о Толстом: «Он познакомился с некоторыми из наших». С. Т. Аксаков имел в виду, конечно, славянофилов. Прежде всего А. Кошелева, который в марте 1856 года познакомился с Л. Н. Толстым, второго сына Ивана Сергеевича, Ивана Васильевича Киреевского, Алексея Степановича Хомякова и Юрия Федоровича Самарина.

И. С. Аксаков тоже давно следил за развитием таланта Л. Н. Толстого. А узнав о знакомстве с ним отца, он сразу же пишет ему 15 февраля 1856 года: «Скажите мне, пожалуйста, как поняли вы графа Льва Толстого? Он меня очень интересуется и мне бы хотелось с ним познакомиться»⁵. Наконец 7 мая 1856 года в Петербурге это знакомство состоялось, что и отмечает Л. Н. Толстой в дневнике на следующий день.

Отношения Л. Н. Толстого с И. С. Аксаковым были продолжительные и сложные. Это объяснялось тем, что И. С. Аксаков умер в 1886 году, позже всех остальных ведущих славянофилов, и претерпел значительную

эволюцию — после реформы он заметно поправел. Потому отношения к нему Л. Н. Толстого включали в себя и любовь («Я люблю Аксакова»), и признание его ума («Аксаков умен как Риль», «Иван был талантливей» Константина), и полемику, продолжительные споры, и иронию («самодовольный герой честности и красноречивого ума»). Причем эта ирония усилилась после брака И. С. Аксакова с Анной Федоровной Тютчевой, дочерью великого поэта (кстати, сам Л. Н. Толстой одно время увлекался ее сестрой, Екатериной Федоровной).

Одновременно с Иваном Сергеевичем Аксаковым Толстой знакомится и с другим лидером славянофильства — Иваном Васильевичем Киреевским. В дневнике Толстого от 8 мая читаем: «Вечером сидел у Оболенского с Аксаковым, И. Киреевским и другими славянофилами». С И. В. Киреевским Толстой хотел познакомиться давно. Еще 6 ноября 1855 года он взял у своего сослуживца кн. Сергея Семеновича Урусова рекомендательное письмо к И. В. Киреевскому. Но их встреча состоялась лишь 8 мая 1856 года, незадолго перед смертью Ивана Васильевича (11 июня 1856 года). Впечатление, произведенное Киреевским на Толстого, отозвалось и через полвека. Прослушав статью М. О. Гершензона об Иване Киреевском, Лев Николаевич, как свидетельствует А. Б. Гольденвейзер, сказал: «Личность Киреевского очень интересна. О нем просто можно было сказать, что цель его жизни была жить в единении с богом».

21 мая 1856 года на обеде у Аксаковых Толстой знакомится с Алексеем Степановичем Хомяковым и делает в дневнике такую запись: «Познакомился с Хомяковым. Остроумный человек».

В феврале 1906 года и ноябре 1907 года Толстой вспоминал свое первое посещение Хомякова. Д. П. Маковицкий записывает его слова: «Хомяков позвал меня к себе — он жил на Собачьей площадке — вероятно, чтобы узнать взгляды молодого литератора. Милое впечатление осталось». И в другой раз: «Хомяков позвал меня к себе; ему интересно, какие у меня взгляды. Я тяготился тогда очень, что не верю, мне хотелось верить, особенно в их обществе я тяготился этим; я ждал от него, что он приведет меня к вере... Очень добрый был человек»⁶.

19 мая и 29 августа 1908 года Маковицкий вновь записывает слова Толстого: «Хомякова Алексея Степановича я всегда вспоминаю с большим удовольствием. Очень самобытный человек. Монгольское лицо. ...Он был умен и оригинален. В нем было остроумие и едкость.

«Был художник»⁷. Наконец 2 июня 1908 года в разговоре с Д. Н. Цертелевым Лев Николаевич так сказал о Хомякове: «Я его знал, и очень хорошее впечатление, — он был очень приятный человек. Я очень уважал его деятельность: и его славянофильские взгляды и как поэта»⁸.

23 мая 1856 года Л. Н. Толстой знакомится с еще одним славянофилом — с Юрием Федоровичем Самариним. Вот что он пишет: «Поехал к Юрию Самарину с Оболенским. Юрий Самарин очень мне нравится. Холодный, гибкий и образованный ум. Его звали обедать». С этого дня и всю дальнейшую жизнь отношения Толстого к Ю. Самарину отличались неизменным уважением, доброжелательностью и любовью.

Об этом свидетельствует прежде всего неоправданное письмо Л. Н. Толстого Самарину, написанное в январе 1867 года: «Юрий Федорович! Не знаю, как и отчего это случилось, но вы мне так близки в мире нравственном-умственном, как ни один человек. Я с вами мало сблизился, мало говорил, но почему-то мне кажется, что вы тот самый человек, которого мне нужно (ежели я не ошибся, то я вам нужен), которого мне недостает — человек самобытно умный, любя-

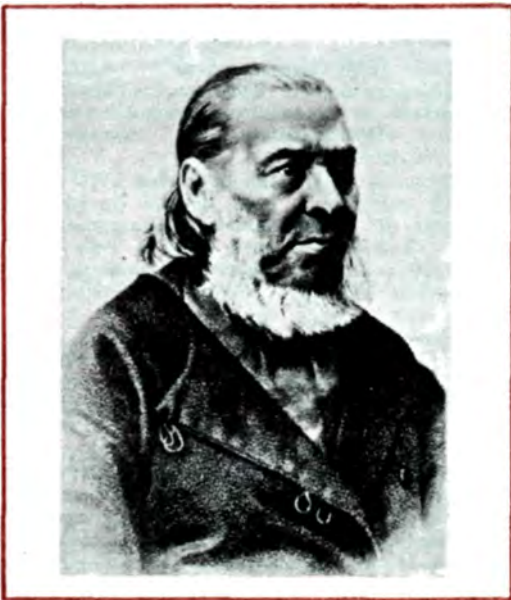
щий многое, но более всего — правду и ищущий ее. Я такой же человек... И я ищу. Помоги и почему-то невольно один вы всегда представляетесь мне. Уже с начала осени я собирался увидеть вас и написать, но все откладывал — но теперь дошло до того, что я пишу свой роман, пишу другое... надо написать Самарину, надо написать. Ну вот я и пишу. Что же я хочу сказать вам? Вот что. Ежели я не ошибаюсь, и вы действительно тот человек, каким я воображаю вас, ищущий объяснения всей этой путанице, окружающей нас, и ежели я вам хоть в сотую долю так же интересен и нужен, как вы мне, то сблизимтесь, будем помогать друг другу, работать вместе и любить друг друга, ежели это будет возможно... Не знаю, как и отчего, но я много жду не для одних нас от нашего такого умственного сближения».

Подробно излагая и комментируя это письмо, Н. Н. Гусев слишком привязывает его к отчету о заседании Московского губернского земства, где Юрий Самарин столкнулся с губернатором Н. М. Смирновым. Этот отчет был опубликован в «Московских ведомостях» № 274 от 29 декабря 1866 года, и о нем действительно говорится в письме. Но это скорее повод, чем причина, заставившая Толстого написать его. Причиной же было желание поговорить с Ю. Самариним, как он пишет, «о тех вопросах, которые меня занимают и про которые я не могу еще начать говорить теперь, а ежели мы сойдемся, которые мы и письменно и разговорно долго будем разрабатывать». Позднейшие отношения Толстого с Ю. Самариним расшифровывают, что это за вопросы. Главный — о философии истории, который в этот период работы над «Войной и миром» так интересовал его. Более того, в самом этом письме Толстого уже высказана одна из основных идей, которую мы встречаем в первой части третьего тома «Войны и мира», — о «роевой» жизни.

20 июля того же 1867 года Толстой записывает: «Поехали к Самарину и проговорил с ним часа три и еще более полюбил его и уверен в том же с его стороны». На следующий день Юрий Самарин приехал к Толстому и пробыл у него около двух часов.

Несколько позже, 17 января 1869 года, Толстой оставит в дневнике такую запись о Самарине: «Я несколько разочаровался в нем». Но вряд ли стоит преувеличивать значение этого замечания. В 1906 году, как бы подводя итог их отношениям, Толстой скажет: «Самарин Юрий Федорович был выдающийся человек. Хорошо говорил, был умный, приятный, привлекательный, один из приятнейших людей, которых я знал».

С. Т. Аксаков. Фотография 1850-х годов. Петербург.



Мы кратко напомнили о личных взаимоотношениях Л. Н. Толстого с ранними славянофилами. И тем самым мы коснулись темы, уже имеющей свою историю, — Толстой и славянофильство. Как отнесся Толстой к этому учению? Какую роль оно сыграло в духовном развитии Толстого?

Сам Толстой в 1906 году признавался: «Никто из русских не имел на меня для моего духовного направления, воспитания такого влияния, как славянофилы, весь их строй мыслей, взгляд на народ: Аксаковы — отец и Константин, Иван — менее; Самарин, Киреевские, Хомяков». И в следующем году: «У славянофилов была любовь к русскому народу, к духовному его складу... Всегда я у них желал чему-нибудь научиться. Со всеми я был в хороших отношениях, это все были высоко нравственные люди, не позволявшие себе неправду сказать. Никогда ни к кому не поддельвались...»⁹

Это слова позднего Толстого, во многом подводящие итог самой теме: Толстой и славянофилы. А начало ее все там же — в майских встречах 1856 года.

Своего рода миниатюрной моделью отношения Л. Н. Толстого к славянофильству может служить его запись в дневнике 21 мая 1856 года: «Спорил с Константином о сельском чтении, которое он считает невозможным. Вечером у Горчаковых с Сергеем Дмитриевичем спорил о совершенно противном; Сергей Дмитриевич уверял, что самый развратный класс крестьяне. Разумеется, я из Западника сделался жестоким Славянофилом». Обратим внимание на саму резкость перехода от западничества к славянофильству и на то, что основой этого перехода, ключом к перелому настроения послужил именно вопрос о крестьянстве, тот вопрос, который «переломил» и убеждения зрелого Л. Н. Толстого. В этих спорах проступает, на наш взгляд, и общий характер полемики Л. Н. Толстого со славянофилами — с ними он западник. А с западниками — славянофил. И это, конечно, не «шаткость» его убеждений, а та широта, которая вбирала в себя разные «голоса эпохи» (М. Бахтин), но не могла примириться с абсолютизацией любого из них. (Здесь одна из точек сближения Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского.) Это, кстати, далеко не всегда учитывается при анализе не только положительных, но и критических высказываний Л. Н. Толстого о славянофильстве. Всякий раз необходимо выяснять конкретные условия этих высказываний, что в данный момент противопоставляет славянофильству Л. Н. Толстой и как



С. С. Урусов. Фотография 1850-х гг.

позже он отнесется к рассматриваемому вопросу.

Но каково содержание первого майского спора Л. Н. Толстого в доме Аксаковых? Каковы его главные аспекты? Прежде всего напомним, что в том же 1856 году мысль Константина Аксакова о «невозможности» сельского чтения в более развернутом виде будет высказана в «Русской беседе» В. И. Далем. Статья В. И. Даля «Письмо к издателю А. И. Кошелеву» проясняет мысль славянофилов и сама становится понятной лишь в системе их взглядов. А так как Л. Н. Толстой впоследствии будет неоднократно возвращаться к этой статье, то процитируем некоторые ее положения. Даль писал: «Некоторые из образователей наших ввели в обычай кричать и вопить о грамоте для народа и требовать наперед всего, во что бы то ни стало, одного этого; указывая на грамотность других, просвещенных народов, они без умолку приговаривают: просвещение, просвещение. Но разве просвещение и грамотность одно и то же? Грамотность только средство, которое можно употреблять и на

пользу просвещения, и на противное — на затемнение. Можно просветить человека в значительной степени без грамоты, и может он с грамотой оставаться самым непросвещенным невеждой да сверх того и негодеем... Грамотность, сама по себе, ничему не вразумит крестьянина; она скорее собьет его с толку. Перо легче сохи, вкусивший без толку грамоты норовит в указчики, а не в рабочие, норовит в ходоки, мироеды, а не в пахарю; он склоняется не к труду, а к туеядству»¹⁰.

При этом нужно еще учитывать, что сами славянофилы различали не просвещение и грамотность, а два типа просвещения, точнее, образованности — книжную и жизненную, и это различие помогает понять пафос статьи В. И. Даля. В самом общем виде эти два типа выявил еще И. В. Киреевский, который указывал, что «раздвоение и цельность, рассудочность и разумность будут последним выражением Западно-Европейской и древнерусской образованности»¹¹. Последняя сохраняется по славянофилам, в русском общинном крестьянстве, наиболее полным выражением жизни которого является мирская сходка.

12 июня 1856 года, то есть меньше чем через месяц после рассматриваемого разговора, Л. Н. Толстой напишет в письме Н. А. Некрасову и И. Ф. Горбунову: «Уж поговорю я с славянофилами о величии и святости сходки *мира*. Ерунда самая нелепая». Судя по этой записи, разговор, когда славянофилы убедили Л. Н. Толстого «в величии и святости сходки мира», уже состоялся. Но когда? Непосредственно об общине Толстой упоминает лишь в записи от 8 мая 1856 года. Но трудно представить, что в мае в доме Аксаковых этот вопрос тоже не поднимался. Ведь речь тогда шла не только о сельском чтении, но и о крестьянстве вообще. А славянофилы ценили лишь общинное крестьянство и сходку. Причем в этом разговоре участвовали К. С. Аксаков и А. С. Хомяков, которые гораздо больше, чем И. В. Киреевский и в то время И. С. Аксаков, занимались проблемой общины и сходки. Через год К. С. Аксаков в своей известной статье «Опыт синонимов. Публика — народ» скажет: «У публики — свет... у народа — мир (сходка)»¹². Но особенно любопытно такое размышление А. С. Хомякова: «...Сход мирской есть для народа училище, которое выше всякого книжного воспитания и никакою книжною мудростью не заменяется. Мирскими сходками были спасены дух и разум русских крестьян, несмотря на рабство, в которое заковал их несправедный закон»¹³, то есть крепостное право. Связь мирской сходки с воспитанием и разумом крестьян, которую устанавливает здесь Хомя-

ков, далеко не случайна. Она лишь показывает, что для славянофилов подлинное просвещение, разум крестьян («целостный разум») неотрывен от русской сельской общины.

Что же ценили славянофилы в этом «истинном» просвещении? Сознание здесь еще не отрешилось от жизни, от быта, от реальной действительности, не перешло «дело в слово, жизнь в формулу» (И. В. Киреевский), и потому оно истинно. «Истинно, — писал Хомяков, — знаем мы только то, в чем живем и чем живем». Отсюда вырастает и одна из важнейших идей всех славянофилов, которую наиболее четко сформулировал К. С. Аксаков, — «мысль всей страны пребывает в простом народе»¹⁴. И это несмотря на то, что простой народ почти не знает грамоты!

Другой аспект этой проблемы особенно явствен из такого высказывания Хомякова: «...знание не есть еще истинное просвещение. Знание есть расширение умственного богатства, просвещение же истинное, сверх знания, заключает в себе развитие высших начал нравственных и духовных. Приобретение знания не многотрудно, приобретение же высшего нравственного развития есть высшая задача для человека»¹⁵. Позже Ю. Ф. Самарин скажет, что нравственность — не книга или свод законов, а «нравственная жизнь». Подлинной нравственной жизнью, по славянофилам, живут крестьяне, а значит, именно они и обладают истинным просвещением. Поэтому, кстати, и в записи Л. Н. Толстого так ограничен переход от невозможности сельского чтения к нравственности крестьян.

«Верхние» же классы, по славянофилам, являются носителями западноевропейской образованности. А у них «проявлялось знание... вполне отрешенное от жизни» (А. С. Хомяков).

Там же, «где знание оторвалось от жизни, где общество, хранящее это знание, оторвалось от своей родной основы, там может развиваться и преобладать только рассудок — сила разлагающая, а не живительная»¹⁶, не имеющая ничего общего с нравственностью. Позже, как бы подводя итог всем этим высказываниям, И. С. Аксаков писал, что вся история просвещения свидетельствует о том, как «сфера мысли и знания постепенно отчуждалась... от почвы народной, как постепенно становясь все отвлеченнее, проникалась она, эта сфера, самонадеянностью, гордостью, презрением к так называемой практике, т. е. к живому факту». В результате этого и возник «тот разрыв между жизнью и знанием, между практикой и теорией, которым особенно болеет наше время»¹⁷. Вот этот-то разрыв и позволил К. С. Аксакову сделать вывод

о «невозможности» сельского чтения, а В. И. Далу — о том, что грамотность «может» и помешать истинно народному просвещению. (Вряд ли стоит приписывать Далу мысль о вреде для народа грамотности вообще.) И грамотность, и «сельское чтение» должны были нести народу знание «просвещенных», а по сути, «верхних» классов, идеи господства. Отсюда и отталкивание от них славянофилов. Здесь они пошли за А. С. Пушкиным, который в «Цыганах» и в стихотворении «К морю» ставил «просвещение» в одном ряду с тиранией. Даже В. Г. Белинский удивлялся: «Странное зрелище: великий поэт видит зло в успехах просвещения»¹⁸.

Знание господствующих классов, кроме того, оторвано от дела, от практики, и потому оно бесплодно, считали славянофилы. А можно ли, задавался вопросом К. С. Аксаков, назвать человека, наполнившего свою голову одними сведениями, человеком просвещенным? И отвечал — нет, этого еще мало, «человек похож тогда на шкаф с книгами». К. С. Аксаков был убежден, что одного простого приобретения знаний, одного лишь чтения (в том числе и «сельского») мало. «Нужно, чтобы от того произошла перемена в самом человеке, необходима его собственная деятельность, принимающая, ценящая и владеющая этими знаниями; нужна производительная сила ума; нужно, чтобы знания лежали не как зерна на песке, но привели бы в движение почву и дали плод»¹⁹.

Как Л. Н. Толстой повел себя в споре с К. С. Аксаковым? Как явствует из его же записи, вначале он «спорил», но в тот же день вечером доказывал «совершенно противное». Но, главное, этот спор отозвался в позднейшей деятельности Л. Н. Толстого. При чем вначале он воспринял эту идею в интерпретации В. И. Даля. Крайне любопытно его письмо Е. Ковалевскому от 12 марта 1860 года, где, начиная разговор о славянофилах, он переходит к далевским формулировкам. «Как ни смешны славянофилы с своей народностью, — пишет он, — **они только не умеют называть вещи по имени, а они, нечаянно, правы.** Не только нам, русским, но каждому иностранцу, проехавшему 20 верст по Русской земле, должна в глаза кинуться численная непропорциональность образованных и необразованных или, вернее, диких и грамотных... **Над спорами, полезна ли грамота или нет, не следует смеяться. Это очень серьезный и грустный вопрос, и я прямо беру сторону отрицательную.** Грамота процесс чтения и писания вреден» (выделено мной. — В. П.). О том, что в яснополянских педагогических трудах Л. Н. Толстого есть вещи, «напоми-

нающие о знаменитых статьях г. Даля», говорил в 1862 году и Н. Г. Чернышевский. Отозвался этот спор и значительно позже, когда Л. Н. Толстой выступил с отрицанием великих творений как ненужных народу...

Не менее характерна и реакция К. С. Аксакова на этот майский «спор» с Толстым. 18 июня 1856 года он напишет И. С. Тургеневу: «Был в Москве граф Толстой, и я имел случай заметить, что вы верно его очертили. Станный человек. Молод что ли он? Не установился? Иногда идет с ним разговор ладно; он слушает умно и ведет речь разумно; а иногда вдруг упрется, повторяет свои слова и как будто вас не понимает. Кажется, в нем нет еще центра»²⁰.

ВСТРЕЧИ И СПОРЫ 1857 ГОДА

1857 год — год наиболее тесного общения Л. Н. Толстого и С. Т. Аксакова и одновременно год, когда Толстой приходит к выводу, что славянофильство — «не то».

14 Января 1857 года Толстой записывает: «У Аксаковых очень мне были рады. Опять к Аксаковым, тупы и самолюбивы». Чтобы понять эту запись и столь резкую оценку Аксаковых, обратимся к январскому же письму Толстого к В. П. Боткину. «Славянофилы тоже не то. Когда я схожусь с ними, я чувствую как я бессознательно становлюсь туп, ограничен и ужасно честен, как всегда сам дурно говоришь по-французски с тем, кто дурно говорит». В обеих записях говорится о «тупости». Но было бы глубоко ошибочно воспринимать это слово в его прямом значении. В письме к В. П. Боткину Л. Н. Толстой как раз жалуется на то, что его одолевают «умные». И особенно важна мысль Л. Н. Толстого об Островском, что он «построил свою теорию, и она окрепла и засохла. Аксаков С. Т. говорит, что его «Доходное место» слабо». Значит, и о «теории» Островского, и о его «Доходном месте» Л. Н. Толстой говорил с С. Т. Аксаковым в этот январский свой визит к нему. Слова «умные» и «теория» являются ключевыми для того, чтобы понять реакцию Л. Н. Толстого.

Л. Н. Толстой был в отношении к разуму даже более последовательным, чем славянофилы. Последние, ратуя за «целостный разум», не отрешенный от жизни, сами все же создавали теории (не случайно Достоевский скажет о них и о западниках как о двух лагерях «теоретиков»). Толстой же вообще скептически относился к возможностям разума. Через год после рассматриваемого спора

с К. С. Аксаковым он запишет в своем дневнике: «Ум, который я имею и который люблю в других, — тот, когда человек не верит ни одной теории; проводя их дальше, разрушает каждую и, недокачывая, строит новые». Таково было его отношение и к славянофильству, и к любому учению. А в 1860 году он скажет: «Убедить человека может только жизнь, а не убеждения». Анализируя эту особенность толстовского мировоззрения, М. Бахтин пишет: «Жизнь по Толстому протекает и должна протекать в своих вечных природных патриархальных формах. «Убеждения» и «идеи» не способны ее изменить: это лишь поверхностный налет, за которым скрываются элементарные природные и нравственные влечения. Так называемые «убеждения» только заслоняют от людей реальные отношения. ...Лишь искажают здоровье и трезвое практическое понимание вещей»²¹.

С этой именно точки зрения Толстой чаще всего и критикует славянофилов. Мы должны учитывать это при рассмотрении критических оценок как славянофильства, так и его лидеров. Еще при первой своей встрече с И. С. Аксаковым и И. В. Киреевским, когда Толстой познакомился с основными проблемами славянофильства, он записывает: «Заметно, что они ищут врага, которого нет. Их взгляд слишком тесен и не задевающий за живое, чтобы найти отпор. Он не нужен. Цель их, как и всякого соединения умственной деятельности людей содействиями и полемикой, значительно изменилась, расширилась и в основании стали серьезные истины, как семейный быт, община, Православие» (выделено мной. — В. П.). Здесь славянофильство отвергается на том же основании, как и «всякая» умственная деятельность.

Или вспомним оценку Толстым И. С. Аксакова: «Его порок и несчастье — гордость, гордость (как и всегда), основанная на отрешении от жизни, на **умственных спекуляциях**. Но он еще был живой человек» (выделено мной. — В. П.). С упрека Аксаковым в этой именно гордости начинается Толстой свою запись от 17 ноября 1857 года. В октябре, говоря о вечере у Аксаковых, он заметит «отвратительную литературную подкладку»²², а 5 декабря скажет, что Аксаковы его «милостиво поучают». Не надо воспринимать все эти высказывания как неприятие именно славянофильства. «Умственными спекуляциями» Л. Н. Толстой называет все попытки разума понять жизнь. Верно писал Б. Эйхенбаум, что «ни редакция «Современника», ни «бесценный триумвират», ни славянофилы, ни Тургенев: все — «не то». И эту своеобраз-

ную позицию Л. Н. Толстого он объясняет недоверчивым отношением писателя к «попыткам разума постичь истину», тем, что он «в любой теории находит ошибки и односторонность»²³. Это было необходимо Толстому для выработки собственной позиции.

С 20 по 25 января 1857 года Толстой слушает у Аксаковых чтение нового произведения Сергея Тимофеевича «Детские годы Багрова внука» и делает такую запись в дневнике: «Чтение у С. Т. Аксакова. Детство, прелестно!» И несколько позже в письме к В. Н. Воткину от 29 января он дает более развернутую характеристику: «Слышал я две замечательные литературные вещи: Воспоминания Детства С. Т. Аксакова и Доходное место Островского. Первая вся мне показалась лучше лучших мест Семейной Хроники. Нету в ней сосредоточивающей, молодой силы поэзии, но равномерно сладкая поэзия природы разлита по всему, вследствие чего может казаться иногда скучным, но зато необыкновенно успокоительно и поразительно ясно, верно и пропорционально отражения». Позже слушает чтение «Детских годов Багрова внука» сестра Толстого Мария Николаевна. Но С. Т. Аксаков продолжает работу над повестью, которую заканчивает лишь летом: «Я кончил свою книгу 19 июня». И поэтому естественно, что Толстой слушает ее окончание. Запись в дневнике от 9—14 января 1858 года: «Был у них (у Сушковых. — В. П.) от Аксаковского чтения» — справедливо расшифровывается как чтение «Детских годов Багрова внука».

А незадолго до этого сам Толстой читает незаконченного еще им «Альберта» С. Т. Аксакову. В дневнике от 23 ноября 1857 года он записывает: «Вечером писал и поехал к Аксаковым. Кажется, понравилась старику». Более определенно о реакции С. Т. Аксакова он пишет в письме к Некрасову 18 декабря 1857 года: «Я вам писал, что я доволен был этой вещью: читал ее переделанной одному старику Аксакову, который остался ею очень доволен».

17 ноября 1857 года Толстой записывает: «Вечер у Аксаковых, гордость страшная. Спорил о Гоголе напрасно».

О чем конкретно мог быть этот спор? Прежде всего о том, что считали главнейшим в Гоголе Толстой и Аксаковы. Толстой видел в Гоголе сатирика. Еще до этой встречи (но сразу после майских визитов к Аксаковым) он пишет в дневнике, что «Теккерей и Гоголь верны, злы, художественны, но не любезны». В 1860 году, критикуя И. С. Тургенева, он пояснит свою мысль: «Больше всего банальности в отрицательных приемах, напоминаю-

щих Гоголя. Нет человечности и участия к лицам, а представляются уроды, которых автор бранит, а не жалеет... Это хорошо было при царе Горохе и при Гоголе...» А через 10 лет он прямо скажет о Гоголе как о сатирке и заметит: «Остальное огромное поле — не сатиры, но поэзии — еще не тронут».

С подобными взглядами Аксаковы вряд ли могли согласиться, и это главная причина их спора с Л. Н. Толстым. Константин Аксаков был автором программной для всего славянофильства статьи о Гоголе, в которой доказывал эпичность его творчества, — «древний эпос восстает перед нами», «эпическое созерцание Гоголя — древнее, истинное, то же, какое и у Гомера». Все славянофилы поддержали К. Аксакова. В письме к Гоголю сам Константин Сергеевич отметил: «Мне кажется, главная трудность лежит в настоящем уразумении слова: *Поэма*, так по крайней мере, как я его понимаю. Когда я стал говорить о «Мертвых душах», то нашел согласным с собой Хомякова и Самарина. Это *древний эпос с его великим созерцанием, разумеется современный и свободный, в наше время — но это он*»²⁴. Известны письма А. Хомякова и Ю. Самарина, подтверждающие этот факт.

Сергей Тимофеевич тоже разделял взгляды своего сына на «Мертвые души». Он писал Гоголю 3 июля 1842 года: «Признаю торжественно превосходство эстетического чувства в моем Константине. Он понял вас более меня и более всех, сколько мне известно, из прежних ваших творений». И 5 июля того же года он продолжил: «...Эта статья указывает истинную точку, с которой надобно смотреть на ваше творение, и открывает причины, почему красоты его не вдруг могут быть доступны испорченному эстетическому чувству большей части людей»²⁵.

Двенадцать лет спустя, накануне встречи с Толстым, С. Т. Аксаков остался при том же мнении, что он и подтвердил в своих воспоминаниях о Гоголе.

Любопытным комментарием к спору Сергея Тимофеевича с Толстым о Гоголе может служить и его старый спор о нем же с М. Погодиным, который утверждал, что в первом томе «Мертвых душ» «Гоголь выстроил длинный коридор, по которому ведет своего читателя вместе с Чичиковым и, открывая двери направо и налево, показывает сидящего в каждой комнате урода» (Об «уродах», как помним, говорит и Л. Н. Толстой). С. Т. Аксаков «принялся спорить с Погодиным, доказывая, что тут никакого коридора и никаких уродов нет... что Чичиков ездит по добрым людям и скупает мертвые ду-

ши»²⁶. И хотя, как признает сам С. Т. Аксаков, «Гоголь был недоволен» этим «заступничеством» (впрочем, Гоголь и сам не видел в «Мертвых душах» и «тени сатиры»), в разговоре Сергея Тимофеевича с Л. Н. Толстым не мог не отозваться этот спор.

Такой подход к Гоголю для славянофилов был далеко не случайным, он вытекал из самой сути их учения. Причина трактовки ими поэмы Гоголя «Мертвые души» как эпического произведения была в самой ориентации славянофилов на русскую общину. Ведь эпос — порождение переходного периода от доклассовой ступени развития общества к классовой, то есть соответствующего периоду сельской общины. Анализ славянофилами творчества Гоголя — центр всей их эстетики, ибо в эпическом созерцании Гоголя, по славянофилам, высказалась сама «тайна искусства» — всего искусства. Главное же требование славянофилов к искусству — быть народным. Более того, славянофилы считали, что Гоголь «стоял во главе стремления всей России к самосознанию, он, так сказать, носил его в себе» (Ю. Ф. Самарин). С русским самосознанием славянофилы связывали основную задачу своего учения — «Задача: Разрабатывание общественного самосознания» (И. В. Киреевский)²⁷. Поэтому, по славянофилам, эпос — форма русского самосознания вообще. И поэтому же эпическое мироощущение — основа всего славянофильского учения. Сравнительный анализ характерных особенностей этого учения и эпоса вполне подтверждает нашу мысль.

Славянофилы пытались своим творчеством возродить эпическое самосознание русского народа, восстановить «живую нить предания» и видели в этом залог восстановления разрушенной целостности русского общества. Славянофилы трактовали свои центральные понятия в эстетических и именно эпических категориях. С эпической точки зрения они критиковали и «натуральную школу» как «клевету на действительность» (ведь в эпическом мире все хорошо и священо), и роман, и романтизм, и даже немецкую классическую философию. В основе решения ими проблемы человека и его связи с обществом тоже лежат эпические принципы — «примат» общего над индивидуальным, эпическая целостность личности и пр.

Уже в наше время М. М. Пришвин запишет в дневнике: «Два раскрытия полюса жизни: Аксаков и Гоголь. Удивительно, что оба тяготели друг к другу. Один писал гениально о том, что было, другой гениально о том, чего не было.

А кончилось в настоящее время торжест-

вом того, чего не было, и гибелью того, что было (Гоголь присутствует в революции, а Аксаков, как Гомер, остается где-то в золотом веке русского прошлого)²⁸. И далее: «Во второй части «Мертвых душ» Гоголь попытался вовне найти порядок, отвечающий его внутреннему порядку, но в душе у него порядка не было (черт обманул). Напротив, у Аксакова С. Т. был определенный порядок, и оттого картина получилась гармоническая, включающая в себя как причину поведение художника. Аксаков — это наш Гомер»²⁹. Характерно и то, что М. Пришвин ставит С. Т. Аксакова в такой ряд литературных явлений: «эпическое творчество, Гомер, Аксаков, Толстой»³⁰.

Само знакомство с творчеством Сергея Тимофеевича, разговор о Гомере, Гоголе, об эпосе как о русском самосознании имели огромный смысл и огромные последствия для творчества Льва Николаевича Толстого.

Накануне написания «Войны и мира» 3 января 1863 года Л. Н. Толстой записывает в дневнике: «Эпический род мне становится один естественен». Хорошо известна и ориентация Л. Н. Толстого в это время на творчество Гомера, в частности, на его «Илиаду». Большинство исследователей признает, что «Война и мир» — эпическое произведение, хотя и глубоко своеобразное. Главное требование к литературе у славянофилов — эпичность. И это вольно или невольно сближает Л. Н. Толстого со славянофильством. Отметим лишь один немаловажный момент.

Славянофилы были убеждены, что общинное братство русского народа сохранялось в России даже под гнетом помещиков и деспотизма. В годину же великих бедствий из-под государства «обнажается» община, и тогда для проявления народной силы служит прекрасное, по убеждению К. С. Аксакова, выражение Гоголя: «Стали все как один человек». «Вся земля, — пишет К. С. Аксаков, — т. е. вся Русская община, всюду на первом месте. Именно 1612 год показывает, как силен в России общинный элемент, в эту эпоху достигший объема всерусской общины. Этот общинный элемент и спас Россию»³¹. Таковым годом для славянофилов был и 1812 год. Развивая эти идеи, «почвенник» Ф. М. Достоевский отмечал, что между народом и образованным сословием был «один только случай соединения — двенадцатый год».

Обращаясь в «Войне и мире» к Отечественной войне 1812 года, Л. Н. Толстой во многом выразил именно эту — славянофильскую и «почвенническую» идею, хотя, разумеется, ею не ограничивался. Еще Н. Страхов отметил, что в основе романа лежит идея «жизни об-

щинной, связанной во всех направлениях с живыми узами»³². А современный исследователь С. Бочаров пишет: «Эта война возрождает по-своему древний обычай защиты своей земли не государством и его оружием — армией, но всем народом («Всем народом навалиться хотят», — слышит Пьер накануне Бородина от раненого солдата), всем «миром» — громадной общиной, какой у Толстого является русская нация в 1812 году». Причем у Пьера Безухова, как и у славянофилов, «мир», который возник в освободительной войне, — широкое единство людей, большая община — русская нация, — объединяется с представлением о реальном патриархальном крестьянском «мире» — общине». Но у славянофилов сельская община «расширяется до общины всей Земли», у Толстого же оба этих мира представляют собой «противоречие», которое «в итоге «Войны и мира» так и не будет замкнуто»³³.

После этого становится понятным, почему принципиальный западник И. С. Тургенев, ознакомившись с шестым томом «Войны и мира», написал И. Борису: «Боюсь я, как бы славянофильство, к которому он, кажется, попал в руки, не испортило его прекрасный и поэтический талант, лишив его свободы вззрения — как оно уже испортило Кохановскую и др.»³⁴. Сам факт, что в «Войне и мире» Толстой сблизился со славянофильством, — верное наблюдение. Эта близость сказалась как в эпичности произведения, так и в исторической концепции Толстого (не случайно именно по этому вопросу он неоднократно беседовал с Ю. Самариным), и в образе Платона Каратаева.

Другой аспект спора Л. Н. Толстого с Аксаковым о Гоголе указывает его статья 1909 года — это вопрос о православии, который и придал особую остроту спору. То, что этот вопрос поднимался 17 ноября 1857 года, можно предположить по следующим соображениям. Еще 8 мая 1856 года этот вопрос был важнейшим в споре Л. Н. Толстого с И. С. Аксаковым, И. В. Киреевским и другими славянофилами. 27 апреля 1857 года Л. Н. Толстой, судя по его дневниковой записи, «читал гордые и ловкие брошюры Хомякова», имеющие, как потом скажет Левин в «Анне Карениной», «полемический, эlegantный и остроумный тон». В этих брошюрах А. С. Хомяков впервые излагает свое учение о церкви, которое вначале увлекло Льва Николаевича, а потом стало поводом к постоянным упрекам как Хомякову, так и другим славянофилам. Наконец, в своей статье о Гоголе Л. Н. Толстой делает тот же самый упрек и Гоголю. Причем здесь же подчерки-

вает, что Гоголь «усвоил» именно славянофильское учение.

Чтобы разобраться в упреке Л. Н. Толстого Гоголю, проследим хотя бы кратко за логикой его споров по проблемам религии со славянофилами. 8 мая 1856 года Лев Николаевич записывает: «Признавая справедливость их (славянофилов. — В. П.) мнения о важности участия сего элемента (православия. — В. П.) в народной жизни, нельзя не признать, с более высокой точки зрения, уродливости его выражения и несостоятельности исторической». В чем же Л. Н. Толстой видит эту «уродливость» и «несостоятельность»? В статье «Царство божие внутри Вас» Л. Н. Толстой пишет: «Для православных божественная церковь совпадает с учреждением восточной и русской иерархии». И «определение церкви Хомякова не исправляет дела», потому что тоже «произвольно» «приравнивает», отождествляет эти понятия. Раскрывая эту мысль, Л. Н. Толстой в той же работе пишет: «Хомяков утверждает, что церковь есть собрание людей (всех без различия клира и паствы), соединенных любовью, что только людям, соединенным любовью, открывается истина... и что таковая церковь есть церковь, во-первых, признающая Никейский символ, а во-вторых, та, которая после разделения церквей не признает папы и новых догматов. Но при таком определении церкви является еще большее затруднение приравнять, как того хочет Хомяков, церковь, соединенную любовью, с церковью, признающей Никейский символ и правоту Фотия», т. е. с православной церковью. Толстой выступает, как видим, против «приравнивания», «совпадения» божественной и православной церквей, и именно за это он критикует как славянофилов, так и православие вообще.

Каков смысл этой критики? Наиболее наглядно он выявлен в романе «Анна Каренина», когда Левин, вначале увлекшийся определением церкви А. С. Хомякова, потом «разочаровался» в нем, так как «увидел, что обе церкви (католическая и православная. — В. П.), непогрешимые по сущности своей, отрицают одна другую». «Более высокая точка зрения» Л. Н. Толстого заключалась в попытке стать над этим взаимоотношением, чтобы, как он скажет в «Исповеди», «с высоты учения исчезали бы различия».

По свидетельству А. Б. Гольденвейзера, Лев Николаевич в 1902 году опять обращался к этой мысли. Он говорил: «Очень многих привлекало к православию хомяковское определение православной церкви как собрания людей, соединенных любовью. Чего же, подумаешь, лучше? Но дело в том, что это

произвольная подстановка одного понятия под другое. Почему именно православная церковь является таким соединенным любовью собранием людей? Скорее наоборот»³⁵. Как видим, Л. Н. Толстой и позже признает хомяковское определение церкви, но считает, что оно характеризует не православную, а божественную церковь. Именно как определение последней он и признавал ее в своей «Исповеди», говоря, что оно «сделалось основой его веры». Перенесение же этого определения на православную церковь он считал ошибкой славянофилов. Причем всех. В статье «Веротерпимость» (1901 г.) Л. Н. Толстой ополчался на Ивана Сергеевича Аксакова за то, что он «подставляет понятие церкви под понятие христианской религии». «Но христианская религия и христианская церковь, — пишет Толстой, — не есть одно и то же», это «суть понятия совершенно различных». Вот в этом-то «смешении двух различных понятий» Толстой видит порок рассуждений всех славянофилов — «Хомяковых, Самаринных, Аксаковых и др.». Но поскольку славянофилы имели в виду только православие (католицизм и протестантизм они начисто отвергали), то становится ясно, что, по мысли Л. Н. Толстого, у них православие срослось с понятием церкви. И именно в этом Л. Н. Толстой видел «несостоятельность», «уродливость», «лжерелигиозность» славянофильского учения и «того извращения христианства, которое называлось православием», как он скажет в статье о Гоголе.

Любопытна и такая деталь. В «Исследовании догматического богословия» Л. Н. Толстой подчеркивает, что «церковь есть иерархия» и хомяковская основа ее есть «софизм богословия». В дневниковой записи от 5 марта 1909 года, близкой по содержанию к статье о Гоголе, и Гоголь, и славянофилы названы «софистами», причем именно в учении о церкви, и эта переключка далеко не случайна — она раскрывает подлинный смысл мысли Л. Н. Толстого.

Для Толстого «православие и христианство имеют общее название». Отсюда он делал вывод: «Если церковники — христиане, то я не христианин и наоборот».

И все-таки, несмотря на споры, столь резкие и принципиальные для обеих сторон, а может, и благодаря им отношение двух великих писателей становятся все более прочными. Как бы подводя итог этих отношений, в конце 1857 года Сергей Тимофеевич пишет Тургеневу: «С Толстым мы ведемся часто и очень дружески. Я люблю его от души; кажется, и он нас любит»³⁶.

1858 ГОД. ПОСЛЕДНИЙ СПОР

6 января 1858 года Л. Н. Толстой записывает в своем дневнике: «К Аксаковым. Спор с стариком. Аристократическое чувство много значит. Но главное. Я чувствую себя гражданином, и ежели у нас есть власть, то я хочу власть в уважаемых руках». Единого мнения о теме этого спора среди исследователей нет. Одни считают, что Толстой говорил о речи В. А. Кокорева, другие, что это был «спор об аристократии». Но можно предположить, что этот разговор, оттолкнувшись от речи Кокорева, касался более общих проблем — о крестьянской реформе, о власти и об аристократии. Прежде всего напомним, что Кокорев выступал на торжественном обеде, устроенном в связи с рескриптом о крестьянской реформе. Обед состоялся 28 декабря 1857 года, и Л. Н. Толстой на нем присутствовал. Славянофилы же отказались участвовать в обеде. В «Русском вестнике» (1857, № 12) речь Кокорева была опубликована, и, прочитав ее накануне встречи с С. Т. Аксаковым, Л. Н. Толстой записывает: «Необъяснимое впечатление омерзения кокыревской речи». Реакция Сергея Тимофеевича была иной, но отнюдь не однозначной. В письме к Погодину он восклицал: «Я не могу опомниться от Кокорева! Это вполне Русское чудо!» И еще: «Кокорев — человек необыкновенный, ибо с великим умом соединяет великую даровитость... Он может принести громадную пользу». Но в то же время С. Т. Аксаков отмечал «вредные обстоятельства» в его действиях и даже дал их своеобразное теоретическое обоснование. «Когда безнравственность, — писал он, — проникает все слои общества, понятия смешиваются и потускнеет ум, то всякое движение, по-видимому, доброе и похвальное, превращается в отвратительную комедию, и чем выше содержание, тем отвратительнее комедия»³⁷. Толстовское «омерзение» и «отвращение» С. Т. Аксакова — то, что сближало писателей. И разъединяло, поскольку, несмотря на «отвращение», С. Т. Аксаков мог брать Кокорева под защиту.

Настроение Сергея Тимофеевича в период его спора с Толстым очень хорошо выражает его письмо к Тургеневу, которого он призывает «немедленно» вернуться в Россию. «Мы переживаем теперь великое время!.. Нельзя жить на чужой стороне, когда решается судьба родины»³⁸. С. Т. Аксаков даже решил немедленно освободить своих крестьян.

Как же к появлению самого рескрипта Александра II и к спорам о нем отнесся Л. Н. Толстой? 4 января, перед встречей с С. Т. Аксаковым, Толстой пишет Боткину:

«У нас, т. е. в Русском обществе, происходит небывалый кавардак, поднятый вопросом эмансипации... И что говорят и что делают, страшно и гадко становится». Политическому «грязному потоку» Толстой предлагает противопоставить журнал, который «ничего не доказывает, ничего не знает». Здесь Толстой еще остается под влиянием «чистого искусства». И эта позиция не могла не проявиться в споре с С. Т. Аксаковым. Не только Кокорева, но, по сути, всех деятели эмансипации он называет «рабами самих себя и событий». Это кажется странным после того, как сам Толстой занимался «эмансипацией» своих крестьян, и гораздо раньше появления царского рескрипта. Но не будем забывать, что его попытка освобождения крестьян была неудачной. А главное, что она убедила Толстого в «опасных» последствиях — в возможности крестьянского «бунта».

Итак, в споре с С. Т. Аксаковым Толстой занимал более правую, менее демократическую позицию. И это было естественно, поскольку, как замечает М. М. Бахтин: «Для Толстого 50-х—60-х годов даже такой представитель дворянской литературы, как Тургенев, казался слишком демократичен»³⁹.

Отсюда становится понятна «аристократическая» оценка Толстым событий и естественный переход от вопроса об эмансипации к вопросу об «аристократии». Непосредственным комментарием к позиции Сергея Тимофеевича может служить его спор по этому вопросу с другими славянофилами. Еще 23 марта 1851 года в письме к сыну Ивану он сообщает: «Третьего дня был у меня Петр Васильевич Киреевский с братом Василием Елагиным, также Хомяков и Кошелев. И смешно, и жалко: из пятых собеседников не нашлось двух, совершенно согласных в некоторых основных нравственных положениях: Киреевский с братом — правда, весьма неглупо, но совершенно ложно — защищают аристократию, считают ее исходным пунктом»⁴⁰. По всей видимости, столь же ложной посчитал С. Т. Аксаков и позицию Толстого. Завершая анализ рассматриваемого спора, можно предположить, что дальнейшая демократизация Толстого произошла без влияния «отца русских славянофилов».

Так что признание Толстого 1906 года — «никто из русских не имел на меня для моего духовного направления, воспитания такого влияния, как славянофилы, весь их строй мыслей, взгляд на народ», действительно не случаен. Лучшее подтверждение тому — встречи и споры 1856—1857 годов, имевшие самое прямое отношение именно к **строю мыслей славянофилов, их взгляду на народ.**

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Письма С. Т., К. С. и И. С. Аксаковых к И. С. Тургеневу. М., 1894, с. 129.
- ² Там же, с. 132.
- ³ «Русское обозрение», 1894, № 12, с. 583.
- ⁴ Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников. Т. 2. М., 1978, с. 47.
- ⁵ Иван Сергеевич Аксаков в его письмах. Ч. 1, т. III. М., 1892, с. 237.
- ⁶ Литературное наследство, т. 90. кн. I. М., «Наука», 1978.
- ⁷ Литературное наследство, т. 90.
- ⁸ Там же.
- ⁹ Там же.
- ¹⁰ «Русская беседа», 1856, III, смесь, с. 1—16.
- ¹¹ И. В. Киреевский. Полн. собр. соч., т. 1, М., 1911, с. 218.
- ¹² «Молва», 1857, № 36, с. 411.
- ¹³ А. С. Хомяков. Полн. собр. соч., т. I. М., 1900, с. 404.
- ¹⁴ Учение славянофилов. — «Русский архив». 1900, № 11, с. 383.
- ¹⁵ А. С. Хомяков. Полн. собр. соч., т. I, с. 388.
- ¹⁶ Там же, с. 74.
- ¹⁷ И. С. Аксаков. Соч., т. 2. М., 1886, с. 266.
- ¹⁸ В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. VIII. М., 1955, с. 539—540.
- ¹⁹ Пушкинский Дом. Архив Аксаковых С. Т., К. С. и И. С. К. Аксаков. Об убеждении. Введение. Ф. 3, оп. 7, ед. хр. 88.
- ²⁰ Письма С. Т., К. С. и И. С. Аксаковых к И. С. Тургеневу, с. 130.
- ²¹ М. Бахтин. Предисловие. Лев Толстой. Полн. собр. худ. произведений. М.—Л., т. XI, 1930, с. VI.
- ²² Эту мысль Толстой высказывал и применительно к другим учениям: «Собрание литераторов и ученых противно.. Литературная подкладка противна мне до того, что ничто никогда противно не было».
- ²³ Б. Эйхенбаум. Лев Толстой в семидесятые годы. Л., 1974, с. 287.
- ²⁴ С. Т. Аксаков. Собр. соч. в 4-х томах, т. 3, с. 248.
- ²⁵ Там же, с. 227, 229.
- ²⁶ Там же, с. 207.
- ²⁷ И. В. Киреевский. Полн. собр. соч., т. 1, с. 273.
- ²⁸ М. Пришвин. «Незабудки». М., 1969, с. 87.
- ²⁹ М. Пришвин. Избр. произведения в 2-х томах, т. 2. М., 1972, с. 119.
- ³⁰ «Контекст 1974». М., 1975, с. 323.
- ³¹ К. С. Аксаков. Полн. собр. соч., т. I. М., 1861, с. 202—203.
- ³² Н. Страхов. Критические статьи о Тургеневе и Толстом, 1885, с. 361.
- ³³ С. Бочаров. Роман Л. Толстого «Война и мир», М., 1963, с. 23—24, 127, 126.
- ³⁴ И. С. Тургенев. Письма, т. 8, М.—Л., 1964, с. 200.
- ³⁵ А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого. М., 1959, с. 123.
- ³⁶ «Русское обозрение», 1894, № 12, с. 595.
- ³⁷ Н. Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина, т. 14, с. 517, 524, 488.
- ³⁸ «Русское обозрение», 1894, № 12, с. 595.
- ³⁹ М. Бахтин. Предисловие. Лев Толстой. Полн. собр. худ. произведений, т. XIII, с. III.
- ⁴⁰ Цит. по кн. С. Машинский. С. Т. Аксаков. Жизнь и творчество. М., 1973, с. 444.



Крестьянские дети деревни
Ясная Поляна. 1903 г.
Фотография П. А. Сергеевко.

Сютаева и из Осташкова отправляет эту телеграмму в Татево, прося ответить ему в Торжок.

Познакомились Толстой и Рачинский давно, еще в молодые годы. Толстой тогда только что снял военный мундир и как писатель лишь набирал силы. Рачинский начинал профессорскую деятельность в Московском университете.

Сергей Александрович был на пять лет моложе Толстого. Он родился 2 мая 1833 года в родовом поместье Татево Вельского уезда Смоленской губернии. Там он и вырос.

С. А. Рачинский получил хорошее образование. Двадцати лет он окончил естественный факультет Московского университета, затем продолжал учебу за границей. В Германии он общался с известным деятелем немецкого рабочего движения, писателем Лассалем, философом Фишером, композитором и пианистом Листом. Возвратившись в 1858 году в Москву, он защитил магистерскую диссертацию

1

30 сентября 1881 года Толстой посылает телеграмму на Смоленщину в село Татево Вельского уезда Сергею Александровичу Рачинскому: «Когда и как приехать к Вам. Ответьте Торжок станцию». Лев Николаевич давно собирался навестить своего старого знакомого С. А. Рачинского, жившего на Смоленщине. И вот теперь выпал удобный случай осуществить это намерение. Толстой едет из Тверской губернии от крестьянина Василия



Л. Н. Толстой.
1885 г. Москва.
Фотография фирмы «Шерер,
Набоглиц и К^о».

цию и получил кафедру физиологии растений Московского университета. Не прошло и десяти лет, как С. А. Рачинский стал доктором наук. Молодой ученый-ботаник был одним из самых горячих поклонников эволюционного учения. Немало времени и сил он посвятил популяризации теории естественного отбора и переводу на русский язык книги Дарвина «Происхождение видов». В 1864 году русские читатели познакомились с трудом Дарвина в переводе С. А. Рачинского.

Профессора С. А. Рачинского отличала и общественная активность. «Горячее участие в общих делах университета, постоянные заботы о благосостоянии как всего студенчества, так и отдельных студентов, о благосостоянии материальном и нравственном, — вот что делало Рачинского популярным профессором», — пишет его биограф¹.

Но не одни научные занятия и университетские дела поглощали интересы и время ученого. С. А. Рачинский увлекался литературой, изобразительным искусством, музыкой, эстетикой, перевел на немецкий язык «Семейную хронику» С. Т. Аксакова. Герцен оценил этот перевод «как вполне хороший»². Он писал стихи, повести, оперные либретто, романсы, собирал песенный фольклор родного края. В 60-е годы у него завязалась дружба с П. И. Чайковским. Композитор посвятил С. А. Рачинскому первый струнный квартет, пользовался его рекомендациями и советами. Для оперы «Мандрагора», либретто которой специально для него сочинил Рачинский, Чайковский написал «Хор цветов и насекомых». Много лет спустя, в 1881 году, Чайковский с любовью писал Рачинскому: «Вы спрашиваете, помню ли я Вас? Не только помню, но часто думаю о вас; вспоминаю про различные выражения сочувствия вашего к моим музыкальным трудам, ободрявшие и утешавшие меня еще в то время, когда это было для меня величайшей редкостью; люблю припоминать приятные вечера, которые проводил у вас в вашей уютной квартирке на Дмитровке... ну, словом, ваш милый, светлый образ жив в моей душе и никогда не изгладится из моей памяти»³.

В годы профессорской деятельности у Рачинского было немало знакомых не только среди ученых, но и среди писателей, журналистов. Частым гостем он бывал в доме Сушковых. Хозяйка этого дома, Дарья Ивановна, была сестрой Ф. И. Тютчева. У нее жила племянница Екатерина Федоровна Тютчева.

Бывал здесь и Лев Николаевич Толстой. Вероятно, здесь он и сблизился с Сергеем Александровичем Рачинским.

В то время и у Рачинского, жившего в

Москве на Малой Дмитровке у Страстного монастыря, а потом в одном из переулков близ Остоженки, собирались молодые профессора университета, литераторы, музыканты. По словам ученика и биографа Рачинского, здесь «частым и интимным посетителем» был Л. Н. Толстой⁴.

Толстого и Рачинского сблизили, конечно, не только общие знакомые, но и общие интересы, и, в частности, литература. Еще в конце 1850-х годов Рачинский, заинтересовавшись Севастопольскими рассказами Толстого, решил перевести их на немецкий язык. Толстой не возражал против этого. Он только просил («умолял») Сергея Александровича исключить («выкинуть») из текста рассказа «Севастополь в мае» слова, вставленные в него И. И. Панаевым с целью «помягчить и погладить» рассказ в цензурном отношении, и ему, Толстому, настолько чуждые, что он согласился бы лучше «получить 100 палок, чем видеть их». Пометка Толстого в записной книжке от 9 мая 1858 года говорит о том, что он сначала хотел сам написать об этом Рачинскому, но потом передал свою просьбу через общего знакомого Е. Ф. Корша.

2

Много лет спустя Л. Н. Толстой писал С. А. Рачинскому: «Все задушевные, самые задушевные интересы у нас с вами общие...» Таким общим «задушевым» интересом Толстого и Рачинского было педагогическое дело.

Толстой говорил, что в его жизни время с 1859 по 1862 год — это период «трехлетнего страстного увлечения этим делом». Педагогическими вопросами интересовался и молодой Рачинский. В Германии он познакомился с деятельностью профессора Иенского университета Карла Стоя, основателя нескольких учебных заведений, в частности, народной школы и педагогической семинарии. Статья «Институт Стоя в Иене»⁵ — первая статья Рачинского на педагогическую тему.

Занимаясь в Московском университете, Рачинский и не предполагал, что народная школа станет главным делом его жизни, но знакомство с Толстым уже тогда обострило его внимание к народно-педагогическому вопросу. Толстой, приезжая в Москву и навещая Рачинского, часто рассказывал ему о своей Яснополянской школе. Толстой надеялся, что в будущем можно будет организовать и другие, подобные Яснополянской, народные школы.

Рачинский и его товарищи проявили большой интерес к педагогическим занятиям

Толстого и даже взялись помочь ему найти учителей. В письме к коллеге Рачинского по университету В. Н. Чичерину⁶ от 28 октября 1868 года Толстой просит напомнить Сергею Александровичу об этом обещании.

Зиму 1861/62 года С. А. Рачинский лечился за границей. В это время Толстой начал издавать педагогический журнал «Ясная Поляна». Пока Рачинский жил за границей, вышло три номера — январский, февральский и мартовский. Интересно свидетельство Рачинского о том, что журнал Толстого сразу же заинтересовал зарубежных педагогов. В письме от 22 мая 1862 года Рачинский сообщает Толстому, что, проезжая через Германию, он виделся в Иене с профессором Стоем. «Он слышал о Вашем журнале, чрезвычайно интересуется им и очень просит Вас при удобном случае прислать ему вышедшие номера»⁷. Рачинский тотчас по возвращении из-за границы прочитал все три книжки журнала Толстого и пришел к выводу, что они будут полезны Стою. «Я убежден, что Ваши наблюдения не пройдут для него даром и что в глубине души он согласится с Вами во многом, даже если не захочет самому себе признаться в этом».

Педагогическая деятельность Толстого служила поучительным примером для многих дворянских интеллигентов, обеспокоенных судьбой народа. Осенью 1861 года сестра Рачинского, Варвара Александровна, открыла школу в Татеве. Сергей Александрович рассказал об этом Толстому. «Сестра завела прошлой осенью школу, и она идет отлично... Нынешним летом крестьяне вызвались выстроить школу. Необходимо придать делу больше прочности. Все те, которые в наших странах занимаются обучением детей, народ пьяный, колотящий ребят без пощады. Нам нужен хороший человек, человек попроще, который имел бы охоту к делу и здравый смысл (по возможности не из студентов). Он бы получал от нас рублей 100, от крестьян за учење 50 рублей (наш край очень беден). Возможно ли отыскать такого и где? Дайте добрый совет», — обращается Рачинский к Толстому.

Внимание и благожелательное отношение Рачинского к Яснополянской школе и журналу были Толстому очень приятны. «Письмо Ваше, — отвечает он Рачинскому, — одно из тех, которые я считаю наградой на свою неблагодарную (в смысле сочувствия публики) деятельность. И я не рассчитываю на награды, но тем приятнее их получать. Вы прочли, поняли и кое с чем согласны; большинство же говорит: «Это какой Толстой? Не

Алексей? Не оберпрокурор? Ах, да, «Детство». Он мило пишет», и успокаиваются».

В то время Толстой много писал о необходимости широкой организации в России народных школ. И естественно, что он не обошел вниманием школьные дела Варвары Александровны Рачинской. «Что бы Вы или Ваша сестра написали мне в «Я[сную] П[оляну]» о жизни и развитии Вашей школы. Отгенок школы под женской рукой очень интересен; особенно в вашем семействе», — пишет он С. А. Рачинскому.

Большой интерес представляет та часть письма, где Толстой отвечает на вопрос о школьном учителе. Здесь и мысли Толстого о том, каким должен быть школьный учитель, и рассказ о своей школе. Обосновывая свое пристрастие к учителям из студентов, Толстой пишет: «Главное условие, по-моему, необходимое для сельского учителя, это уважение к той среде, из которой его ученики, другое условие — сознание всей важности ответственности, которую берет на себя воспитатель. Ни того, ни другого не найдешь вне нашего образования (университетского и т. п.). Как ни много недостатков в этом образовании, это искупает их...»

Родные Рачинского очень интересовались его знакомством со знаменитым писателем. Сергею Александровичу приходилось чуть ли не в каждом письме на родину, в Татеву, сообщать о Толстом. «Лев Николаевич в Москве и на днях женится на Берс, племяннице Иславиных, я его еще не видел...», — пишет он матери 22 сентября 1862 года⁸. Вскоре он вновь ей сообщает: «Жену Толстого я не видел, говорят, очень милое дитя»⁹. Когда же, встретившись с Толстым в Москве, в опере, Рачинский побывал у них в гостях, он так рассказал матери о Толстом: «Он очень тих и авантажен, его жена очень хорошенькая. И он продолжает заниматься своей школой и даже готовит разные писания по ее поводу... Он предпринял также большой роман из начала нынешнего столетия и занимается им, как кажется, с большой любовью. Он на днях будет у меня вечером, и тогда я напишу вам подробнее о нем...»¹⁰

Толстой не только посвятил Рачинского в замысел романа «Война и мир», но и в самый разгар работы над ним читал ему неопубликованные части своего произведения. В дневниковых записях Толстого, относящихся к началу марта 1865 года, не раз говорится о напряженной работе над второй частью «1805» года. Тогда же Рачинский пишет матери в Татеву: «Между прочим, я виделся несколько раз с Львом Толстым, который все милее. Он прочел мне II-ю часть 1805 го-

да, которую вы прочтете в Р[усском] В[естнике]...»¹¹

Отношения Толстого и Рачинского были теплыми и дружескими. «Мы с ним, — пишет Рачинский родным, — поговорили по душе о будущей судьбе Наташи, Пьера, Элен и т. д., которую я от вас скрою, — и мы, надеюсь, будем видаться часто...»¹²

Архивные письма Рачинского еще раз свидетельствуют о кропотливой работе Толстого над романом во время подготовки его к отдельному изданию. «Приехал Лев Толстой, — пишет Рачинский, — все такой же милый и чудной; четвертый том «Войны и мира» каждый день должен выйти и еще не вышел. Все подпиливается и подписывается Бородинское сражение»¹³. В письме от 25 сентября 1868 года говорится: «Толстой напечатал шесть листов из своего пятого тома, но теперь снова перепечатывает их, и когда этому будет конец — неизвестно»¹⁴. 18 марта 1869 года Рачинский сообщает матери: «Шестой том его романа уже написан и печатается, но это еще не значит, чтобы он появился скоро: тут-то и пойдут бесконечные переделки»¹⁵.

Когда роман «Война и мир» печатался отдельным изданием, газета «Новое время» писала, что этим романом была «занята чуть не вся русская публика». С большим вниманием читали «Войну и мир» обитатели смоленской татевской усадьбы. Они с нетерпением ожидали от Рачинского посылок с очередными томами романа. Сергею Александровичу приходилось то и дело сообщать: «Вышел четвертый том «Войны и мира». Как только прочту — пришлю»¹⁶. «Вышел пятый том «Войны и мира», который вы получите на днях. Это еще не конец»¹⁷. «А вот вам и хорошая новость: шестой том «Войны и мира» отпечатан и не сегодня-завтра поступит в продажу. Разумеется, он тотчас будет вам прислан»¹⁸.

Прочитав роман, Рачинский высказал свое мнение о нем в письме к Толстому. С восторгом писал он, что «Война и мир» — «лучший роман, до сих пор написанный на русском языке». «Теперь я весь под первым дельным впечатлением... и не могу отдать себе отчет, так ли следовало говорить и действовать Пьеру и Наташе, князю Андрею и княжне Марье, все это я не читал, а видел своими глазами, и все это и радостно, и горестно и

тревожит ум и хватает за душу, как сама жизнь». По мнению Рачинского, в «Войне и мире» «особенно поражает» в сравнении с прежними произведениями Толстого «разнообразие и отчетливость лиц и настроений, это роскошное обилие типов и мотивов». «Наконец, роман Ваш радует меня за Вас, как за человека, — заключает письмо Рачинский. — Он такой здоровый, и добрый и чистый. В нем чувствуется, что душа Ваша пришла в ясность, что она спелась со всеми гармониями жизни, что в ней разрешаются ее диссонансы. Дай Бог Вам всего наилучшего. Мне радостно и читать Вас и вспоминать о Вас, и издали Вас любить».

Толстой ответил Рачинскому на это письмо, вероятно, при личной встрече. Завершая издание «Войны и мира» и бывая по разным делам в Москве, он не раз навещал Рачинского. В письме к матери из Москвы в Татевое от 9 декабря 1869 года Сергей Александрович рассказывает: «На этой неделе я был обрадован и приездом самого Толстого, который пробыл здесь три дня. Он провел у меня вечер и после обеда, был очень мил, говорил много дикого и читал мне рассказы для детей младшего возраста, по моему мнению: превосходные. Он очень приставал ко мне, чтобы я писал такие, и очень приглашал меня к себе в Ясную Поляну...»¹⁹

4

Закончив роман «Война и мир», Толстой вначале переживает «самое мертвое время»: не думает, не пишет и чувствует себя «приятно глупым».

Но вскоре наступает период «упорной внутренней работы» и активной общественно-педагогической и писательской деятельности. Толстой составляет и издает книги для детского чтения: «Азбуку», «Новую азбуку» и «Русские книги для чтения», вновь увлекается школьным делом и педагогическими проблемами, обдумывает учебники по грамматике и арифметике, публикует статью «О народном образовании». Софья Андреевна Толстая пишет брату С. А. Берсу 20 ноября 1870 года: «Левочка весь ушел в народное образование, школы, учительские училища, т. е. где будут образовывать учителей для народных школ, и все это его занимает с утра до вечера...»²⁰

С. А. Рачинский, защитив в 1866 году докторскую диссертацию и получив звание ординарного профессора, вдруг неожиданно выходит в отставку. Лондонский «Колокол» Герцена в те дни писал: «Мы находим в русских газетах внезапный выход в отставку

Набросок тем рисунков для «Азбуки», сделанный Л. Н. Толстым. Автограф.



Обложки учебных книг
Л. Н. Толстого: «Азбука» и
«Арифметика».

шести профессоров: Соловьева, Бабста, Чичерина, Дмитриева, Капустина и Рачинского. Причина такой внезапной отставки неизвестна. Неужели правительство нашло их слишком либеральными? Или и они не выдержали гнета либерального русского правительства?»

Да, не выдержали. Не выдержали грубого нарушения министром просвещения графом Д. А. Толстым университетской автономии, установленной новым уставом от 18 июня 1863 года. Противник реформ, реакционер и мракобес Д. А. Толстой бесцеремонно вмешался в спор, возникший между прогрессивно настроенными «молодыми» и реакционными «старыми» профессорами по поводу выборов на профессорскую должность двух не пользовавшихся авторитетом профессоров — В. Н. Лешкова и А. И. Меншикова. «Молодые» профессора опротестовали результаты выборов, так как при голосовании были до-

пущены нарушения правил. Совет поддержал «молодых» профессоров, «старым же удалось с помощью министра отвергнуть протест «молодых». Товарищ Рачинского профессор-юрист Б. Н. Чичерин, вспоминая об этой университетской истории, с возмущением подчеркивал беззаконие и произвол, допускаясь министром. Против членов совета, выступивших в защиту закона, делались лживые и оскорбительные выпады, им запрещали выступать с речами.

С. А. Рачинский был глубоко оскорблен таким поворотом дела. Он писал матери: «В чем дело — расскажу на словах, писать об этом длинно и скучно, и гадко»²¹. Б. Н. Чичерин вспоминал: «...Все, что происходило в университете, было до такой степени противно его тонкой и чуткой натуре, что оставаться в нем далее он не мог».

Толстой знал об этом «университетском вопросе» и упомянул о нем в третьей главе



Учитель Яснополянской школы
Л. Н. Толстого М. Ф. Бутович
(справа) с группой своих
учеников. 1862 г.

седьмой части своего нового романа «Анна Каренина».

Рачинский любил Москву с ее библиотеками, концертами, театрами, музеями, литературными салонами, но суета столичной жизни была ему тяжела. «Московская жизнь», — пишет он матери, — мне решительно не по нутру: она и суетна, и утомительна, и дорога... ..Здесь и переводить не успеваешь, и серьезная работа не клеится за тысячью дрязг»²². И еще: «Не знаю, слишком ли я еще молод, или слишком уже стар, но сил моих на эту жизнь не хватает. Мне нужен покой, или, по крайней мере, отдаленная надежда на покой. Вот почему я так настойчиво мечтаю о собственном уголке в деревне...»²³.

Уйдя в отставку, Рачинский уезжает в родное Татеево. У него была мечта купить в трех верстах от Татеева небольшое имение Сидорово и в «собственном гнезде» «сесть на хозяйство». Но жизнь подказала иной

путь. Доктор наук, профессор Московского университета стал сельским учителем. О том, как это случилось, Рачинский рассказал Толстому в письме от 20 марта 1877 года. «Запрошлою осенью сестра, занимавшаяся школой, оставила Татеево, и мне вздумалось помочь учителю в преподавании арифметики. Теперь у меня в Татеево шестьдесят учеников при четырех учителях. В окрестностях возникли еще две школы, и я буквально с утра до вечера учу и учусь...» В 1875 году Рачинский построил хорошее школьное здание с общежитием для бедных детей. Вскоре он и сам переселился в школу, в две комнатки, служившие ему кабинетом и спальней. «С осени 1875 года, — пишет он в автобиографии, — занят исключительно делами начального образования. Все это время по зимам преподавал в Татеевской начальной школе, летом же наиболее способных из своих воспитанников приготавливал к экзамену на звание учителя,

а также к другим жизненным поприщам, сообразно с их личными способностями»²⁴.

Воспитанник Рачинского Н. Горбов рассказывает, что в Татевской школе ученики и учителя жили как одна семья, с которой сам Сергей Александрович «делил все мелочи, весь обиход жизни». В школе Рачинского царил чистота. Классы были украшены картинами, фотографиями, рисунками учеников, цветами. «В Татевской школе ученики все делали сами по хозяйству: рубили дрова, носили воду, топили печи, мыли полы, чистили и убрали школу и общежитие и помогали кухарке стряпать себе обед. В школе не было даже сторожа. Все его обязанности ученики исполняли сами. Сами же они работали в огороде, ухаживая за овощами и ягодами, в пчельнике и цветнике, разводя массу цветов, которые круглый год не переводились в школе»²⁵. Рачинский считал, что «только постоянным трудом вырабатываются люди и в этом труде необходимы руководители, пример». И такой пример огромного трудолюбия подавал учащимся Татевской школы сам Сергей Александрович. «Все... время — и будни и праздники, и зима и лето, — пишет о нем Н. Горбов, — было посвящено школе, в которой занятия продолжались целые дни (ибо были и вечерние занятия, необходимые при общежитии) и целый год (ибо летом Рачинский готовил своих выучеников к учительским экзаменам, к поступлению в различные

учебные заведения, вел повторительные занятия с уже поступившими)».

Большое значение придавал С. А. Рачинский нравственному воспитанию своих учеников. Он старался пробудить в них «чувства долга и благожелательности, дружбы и признания, нежности и кротости и в то же время стремился развить в них твердость, стойкость, самообладание и вообще создать в воспитанниках нравственно-цельный характер».

Давая своим питомцам начальное образование, воспитывая их нравственно, Рачинский немало был озабочен развитием их дарований. Он видел, что крестьянские дети обладают разнообразными способностями, но «преобладают заметно способности математические и художественные». И он неустанно их развивал. Это Сергей Александрович Рачинский заметил незаурядную художественную одаренность крестьянского пастушонка, сына бедной бобылки села Шитики Вельского уезда Смоленской губернии Коли Богданова, взял его в свою школу, дал ему образование, по-отечески развил его талант и помог стать большим художником.

Руководя Татевской школой, Рачинский немало сил отдавал созданию школ в других селах Вельского уезда. К 1895 году он построил на собственный счет десять школьных зданий и постоянно содержал 10—12 школ. Он добился открытия школ для девочек и в 1885 году стал попечителем женских училищ

Бывшие ученики Яснополянской школы Л. Н. Толстого. В центре: Т. К. Фоканов (слева) и

В. С. Морозов. 1903 г. Ясная Поляна. Фотография П. А. Сергеевко.





Л. Н. Толстой среди крестьянских детей в троицын день. Ясная Поляна. 17 мая 1909 г. Фотография Т. Тапселя.

Бельского уезда. В большинстве этих школ учительствовали его бывшие ученики. Татевская школа Рачинского превратилась в настоящий умственный и педагогический центр. Горбов рассказывает: «Каждое воскресенье, каждый праздник съезжались в Татевскую школу соседние учителя, священники, ревнители народного просвещения, чтобы наслаждаться в истинном смысле слова общением с ним, услышать слова назидания, ободрения.

Мало-помалу в школе развились воскресные собеседования, весьма многолюдные, и С. А. принимал в них деятельное участие».

О своих школьных делах Рачинский рассказывал в заметках и статьях, которые печатались в различных изданиях, а затем были объединены в сборник «Сельская школа». В 1891 году Рачинский был избран членом-корреспондентом Российской академии наук по отделению русского языка и словесности.

Рачинский С

33(a) 50

1878
Тамбов, 6 Авг

Письмо С. А. Рачинского Л. Н. Толстому от 4 января 1878 г. Автограф (ГМТ).

Любезный граф Александр Николаевич,

Анна Карловна кончена. В
Вашем уми кончено уже
зреть друге, еще одна
настала прощание.

Но оно сохнет и в
Ваше сердце, в Ваше
глаголю. Судьба переживает
свое или меня переживает.
меня.

Моя - и на надежде.
и, что Вас беспокоит
и мои переживания, что в
надежде на нас и на
и на нас, и т.д. Конец

5

В одном из своих писем Рачинский заметил, что Толстому было «суждено» получать от него «через годика два-три ни с того ни с сего длинные послания». Письма Рачинского доставляют Толстому «истинную и редкую радость». Главной темой их оживленной переписки в 70-е годы является школа.

Рачинский считает, что именно Толстой натолкнул его на мысль педагогической деятельности в деревне, и он благодарен ему за это. «С тех пор, как меня затянуло это дело, — пишет он Толстому, — я так часто и с такой любовью думаю о Вас...

...Еще и еще благодарю Вас (ведь вы же, помните, наталкивали меня на это дело...)» И он рассказывает Толстому об организации Татевской школы, средствах, на которые она существует. «С родителей берется только мука на хлеб, остальное, как и вся школа, — на мой счет. За это прикармливание меня сильно упрекают. Но до сих пор я от него особенного вреда не вижу. Здоровье же детей, видимо, улучшилось».

Рачинского радует «настойчивая, ненасытная жажда учения» у крестьянских ребят. «Представьте себе, что с 10 октября школа не закрывалась ни на один день (и на праздники остаются охотники), — пишет он Толстому 20 марта 1877 года, — что каждый вечер приходится тушить лампы, чтобы прекратить занятия в приличный час. И это совсем не потому, как думают многие, что в школе светло и тепло, что тут всегда барин. В окрестных школах, дурно обставленных, с плохими учителями — то же самое, та же настойчивая, ненасытная жажда учения». Рачинский справедливо видит в этом признак умственного пробуждения народа после отмены крепостного права.

Восхищаясь нравственной красотой крестьянских детей, Сергей Александрович особо отмечает их интернациональное чувство. Он рассказывает Толстому, как его брат сдал в аренду землю латышам и в их края переселилось много латышских семей. «...Это событие произошло в школе настоящую революцию. Латышата, не знавшие ни слова по-русски, стали ходить к нам по вечерам. Я сказал моим школьникам, что их следует учить по-русски, и они принялись за это дело с такой настойчивостью, с таким терпением и изобретательностью, что уже теперь есть заметные успехи. ... Не могу пересказать Вам, как это делается мило, просто и ласково».

Известно, что вопрос о том, как учить детей, Толстой разрешал так: «Чем с меньшим

принуждением учатся дети, тем метод лучше; чем с большим — тем хуже». В школе Рачинского обучение велось без всякого принуждения. «Я, — рассказывает Рачинский Толстому, — стараюсь следить за тем, что происходит в головке мальчика, и помогать ему в том, что его затрудняет. Таким образом, — заключает о н , — учение сводится к непрерывной импровизации, подчас утомительной (для учителя . — И. А.), часто неудачной, но зато нет ни минуты скуки — всегда веселые лица и вечный крик (я с осени было оглох на левое ухо)».

Рачинский посвящает Толстого в свои занятия арифметикой и историю открытия им «громадной системы признаков делимости на все без изъятия цифры», рассказывает об интересе ребят к сочинительству, знакомит с отдельными детьми, их характерами и склонностями; пишет о своих летних занятиях со старшими ребятами, которых он готовит в учителя, говорит о желании своих подопечных учиться дальше, спрашивает у Толстого о школе при Тульском оружейном заводе и вновь и вновь восхищается незаурядными способностями своих питомцев.

В своей педагогической практике Рачинский широко использовал книги Толстого для школьного чтения. К известным в то время букварям — «Родному слову», составленному К. Ушинским, и «Нашему другу», составленному бароном Н. А. Корфом, — он относился отрицательно, называл их «литературными кривляниями». Позднее в заметке «О сельских школах» он так отозвался о книге Ушинского: «Родное слово» Ушинского — книга замечательная, единственная в своем роде в нашей литературе... Но, к сожалению, книга эта написана для детей иного возраста (7—10 лет) и иного сословия, чем ученики наших сельских школ... Покойный автор, имея в виду детей городских сословий, всего более хлопочет о том, чтобы знакомить их с сельским бытом, с сельской природой, с народным говором, которые ученикам наших сельских школ известны несравненно лучше, чем самому Ушинскому»²⁶. Книги Толстого он ставит неизмеримо выше. «...Ваши книги для чтения, — пишет он Толстому 6 января 1878 года, — величайшая услуга... русскому школьному делу... Благодаря Вашим книгам, мои старшие ученики уже читают с наслаждением «Капитанскую дочку» и «Дубровского», некоторые повести и комедии Гоголя». И в другом письме: «Видали ли Вы, как новички, прочитавшие несколько страниц из «Новой азбуки», останавливаются, пораженные чудом грамоты, крестятся и целуют Вашу книгу? Как более грамотные мальчики с нежностью гла-

дят Ваши «Книги для чтения», приговаривая: «Вот это — книга добрая!»

Свою высокую оценку «Новой азбуки» и «Книг для чтения» Рачинский позднее высказал печатно. В «Заметках о сельских школах» он писал: «Ни в одной европейской литературе ничего подобного не существует... Великий писатель посвятил несколько лет своей жизни сельской школе, много учил в ней и многому в ней научился. Его книги (пригодные для детей всех сословий) — не плод художественной прихоти, а жизненное дело, совершенное с глубочайшим вниманием ко всем его практическим подробностям... Во многих своих очерках и мелких рассказах он доходил до чисто пушкинской трезвости и силы»²⁷.

Рачинский побуждает Толстого продолжать эту работу и «подарить» учащимся сельских школ «пятую и шестую и т. д. книгу для чтения». Он просит об этом Толстого не только от своего имени, но и от имени учеников Татевской школы, что подтверждается их собственноручными подписями (письмо от 6 января 1878 года).

Толстой благодарен Рачинскому за его письма. Он очень ценит его педагогическую деятельность, радуется его успехам и даже «немножко завидует» ему, вспоминая свое увлечение школьным делом. Мечтая повидаться со старым товарищем, Толстой пишет Рачинскому: «Мне дорого будет видеть, как много серьезнее, глубже вы во всей силе духовной отнеслись к тому же самому предмету, к которому я относился так первобытно».

Толстой делится с Рачинским своими сокровенными мыслями; в частности, по вопросу о том, «для чего нужны школы». Несколько лет назад в декабре 1874 года, увлекаясь школьным делом, он написал А. А. Толстой ставшие знаменитыми слова: «...Я хочу образования для народа только для того, чтобы спасти тех тонущих там Пушкиных, Остроградских, Филаретов, Ломоносовых. А они кишат в каждой школе». Теперь он повторяет эту мысль в письме к Рачинскому. На вопрос, для чего нужны народные школы, он отвечает: «Учить этих детей надо затем, чтобы дать им дощечку спасения из того океана невежества, в котором они плывут... Я не мог и не могу пойти в школу в сношения с мальчиками, чтобы не испытать прямо физического беспокойства, как бы не просмотреть Ломоносова, Пушкина, Глинку, Остроградского и как бы узнать, кому что нужно». Толстой относился к Рачинскому тепло и подружески. «...Чувствую к Вам нежность», «письма Ваши очень радостны, потому что мы очень родственны с Вами и я люблю

Н. П. Богданов-Бельский. Портрет С. А. Рачинского. 1900 г. Смоленский областной музей изобразительных и прикладных искусств.



Вас», — пишет он Сергею Александровичу Толстому «ужасно» хочется побывать в Тате. «Я очень тяжел на подъем и очень занят бываю, но мне этого очень хочется и я Вас очень люблю».

6

Учительствуя в Тате, Рачинский продолжал следить за творчеством Толстого.

В январском номере «Русского вестника» за 1876 год он прочел четырнадцать первых глав романа «Анна Каренина». Начало нового произведения взволновало его, и он тотчас написал Толстому о своем впечатлении. Это был один из первых отзывов о романе. К сожалению, он не сохранился. Но из ответного письма Толстого от 21 февраля 1875 года видно, что отзыв был хвалебным. Толстой сначала не разобрал подписи Рачинского и, «вообразив, что это письмо от незнакомого», «был ужасно рад и горд». При этом он думал: «Как много, однако, есть умных и тонко и верно чувствующих людей...» Разобрав же, от кого было письмо, Толстой обрадовался, что «Каренина» отыскала Рачинского и «присоветовала» ему написать. «Пожалуйста, напишите, что вы? что делаете? Есть ли возможность когда-нибудь увидеть Вас? Верьте, что эти вопросы не от праздного любопытства», — заканчивал Толстой свое письмо Рачинскому.

Через два года, 20 марта 1877 года, Рачинский пишет Толстому «длинное послание». В нем он опять говорит об «Анне Карениной», печатание которой частями еще продолжалось, и, как и раньше, хвалит этот роман, ставя его выше «Войны и мира». «То же прозрение, та же искренность и при том нечто новое — власть над собственным творчеством».

В июле 1877 года завершилась первая публикация «Анны Карениной». Дочитав роман, Рачинский 6 января 1878 года написал Толстому свой отзыв о нем. Считая, что это, «бесспорно, лучшее произведение» Толстого и «лучший из современных романов», он отметил, однако, «коренной недостаток» в его построении. «В нем нет архитектуры, — писал Рачинский. — В нем развиваются рядом и развиваются великолепно две темы, ничем не связанные. Как обрадовался я знакомству с Левиным Анны Карениной! — Согласитесь, что это один из лучших эпизодов романа. Тут представился случай связать все нити рассказа, и обеспечить за ним целостный финал. Но вы не захотели...» В отзыве Рачинского о композиции «Анны Карениной» сказались типичные для критиков тех лет непонимание

внутренней связи двух идейно-композиционных линий романа: линии Карениной и линии Левина.

Толстой не остался равнодушным к замечанию Рачинского. «Суждение Ваше об А. Карениной мне кажется неверно, — отвечает он ему 27 января 1878 года. — Я горжусь, напротив, архитектурой — своды сведены так, что нельзя заметить, где замок. И об этом я более всего старался. Связь постройки сделана не на фабуле и не на отношениях (знакомстве) лиц, а на внутренней связи... Боюсь, что, пробежав роман, вы не заметили его внутреннего содержания. ...Если вы уже хотите говорить о недостатках связи, то я не могу сказать — верно вы ее не там ищите, или мы иначе понимаем связь; но то, что я разумею под связью, и эта связь там есть — посмотрите — вы найдете».

Получив ответ Толстого, Рачинский счел необходимым уточнить свое замечание. В письме от 5 февраля 1878 года он поясняет, что «не думал отрицать внутренней связи между двумя параллельными рассказами... Упрек мой относится именно к архитектуре внешней». Рачинский не считает единство фабулы «простой веревочкой», которая связывает сюжетные линии и персонажи, а видит в этом «могучее средство для воплощения мысли».

На это Толстой отвечал: «Виноват, я не так вас понял: теперь понял и согласен, хотя ваше замечание об архитектуре и неопределенно, скорее тонко, но я понял его и постараюсь последовать вашему указанию, если будет случай...» Возможно, именно эта полемика помогла Толстому позднее сформулировать свое понимание того, на чем основывается единство, цельность всякого художественного произведения. В предисловии к сочинениям Мопассана он пишет: «Люди, мало чуткие к искусству, думают часто, что художественное произведение составляет одно целое, потому что в нем действуют одни и те же лица, потому что все построено на одной завязке или описывает жизнь одного человека. Это несправедливо... Цемент, который связывает всякое художественное произведение в одно целое и оттого производит иллюзию отражения жизни, есть не единство лиц и положений, а единство самобытного нравственного отношения автора к предмету».

7

Желая «войти поближе в духовное общение» с Сергеем Александровичем, Толстой 7 апреля 1878 года спрашивает его: «А во-

Н. П. Богданов -
Бельский. Устный счет.
(В народной школе

С. А. Рачинского.) 1895 г.
Государственная Третьяковская
галерея.



просы искусства, а вопросы религиозные... Намекните, как вы относитесь к ним». Толстой не случайно интересовался отношением Рачинского к религии. Ведь это был момент напряженных духовных исканий писателя. Отвечая на этот вопрос, Рачинский признал-

уезжает в деревню Шевелино Новоторжского уезда Тверской губернии, к крестьянину Василию Сютяеву. На обратном пути из Торжка в Москву Толстой хотел захватить к Рачинскому. Об этом он и телеграфировал 30 сентября в Татеево. Взволнованный Рачинский



Н. П. Богданов-Бельский. С. А. Рачинский за работой. Рисунки.

ся в своей преданности церкви, рассказал о роли священника в его школе, о религиозном чувстве крестьян, их интересе к Евангелию, о церковном пении детей, о праздновании в школе пасхи. Толстого ответ Рачинского на вопрос об отношении к религии не удовлетворил. «Жалко, что коротко», — заметил он. Толстой искал личной встречи с татеевским учителем. «...Жду не дождусь радости увидеть в а с», — писал он Рачинскому 23 апреля 1878 года. «Хотелось бы побывать у в а с», — говорил он в письме от 2 ноября 1879 года. И вот представился случай посетить Рачинского. В конце сентября 1881 года Толстой

тотчас послал ответную телеграмму: «Всегда рад Вас видеть...» — и далее следовало указание, как проехать в Татеево. Лишь на следующий день Рачинский узнал, что получил телеграмму Толстого с опозданием на шесть недель. Было ли это оплошностью телеграфа или результатом вмешательства полиции? Так или иначе, но ответа Рачинского на опоздавшую телеграмму Толстой не дождался. На следующий день после получения телеграммы, 11 ноября 1881 года, Рачинский пишет Толстому письмо: «Можете себе представить наше горе! — восклицает он. — Вы уже ехали к нам, и, благодаря телеграфу, мы узнали об



С. В. Малютин. Портрет
Н. П. Богданова-Бельского
(фрагмент). 1915 г.

Н. П. Богданов-
Бельский. Новички. 1904 г.
Местонахождение неизвестно.

Н. П. Богданов-
Бельский. У дверей школы.
1897 г. Государственный
Русский музей.

Н. П. Богданов-
Бельский. Дети на уроке.
Куйбышевский городской
художественный музей.

Н. П. Богданов-
Бельский. Сочинение. 1903 г.
Государственный Русский музей.

Н. П. Богданов-
Бельский. Ученицы. 1901 г.
Саратовский государственный
музей.



этом лишь через шесть недель! А как отрад-но, как нужно было бы мне вас видеть!» И он вновь выражает надежду, что Толстой все-таки соберется в Татево, рассказывает о своих школьных делах и сообщает о том, что он опубликовал в «Руси» педагогические заметки.

С «Заметками о сельских школах» Рачинского, опубликованными в 1881 году в газете «Русь», Толстой был знаком. Многие в них ему не могло не импонировать. Это прежде всего мысль, которую Рачинский не раз высказывал в письмах к Толстому, о «настоя-



чивой, ненасытной жажде учения» у крестьянских детей, об их одаренности и высокой нравственности. Ближе Толстому было и убеждение Рачинского, что «учительство в русской сельской школе не есть ремесло, но призвание...»²⁸. В своих «Заметках» Рачинский писал, что сельской школе нужны учителя дельные, непритязательные, прочные, исполняющие свое трудное дело с любовью и терпением. «Их добросовестность и терпение, их умение обращаться с детьми и приковывать их внимание, угадывать, что в данную минуту затрудняет ребенка, и дать как помочь ему, их цельное, духовное отношение к делу — поистине несравненны. С ними можно делать дело истинное, а не бумажное, вести школу не напоказ инспекторам училищ, а на умственную и духовную пользу ученикам»²⁹.

Толстой, конечно, обратил внимание на восторженную оценку Рачинским его педагогической и литературной деятельности. Слова о том, что «Война и мир» принадлежит к числу бессмертных произведений и что «во многих своих очерках и мелких рассказах Толстой доходит до чисто пушкинской трезвости и силы»³⁰, не могли не быть ему приятны. Однако пафос «Заметок» Рачинского Толстому остался чужд. Рачинский считал, что сельской школе, отрешенной от церкви, воспитательные задачи непосильны, поэтому она должна существовать при церкви, как церковно-приходская школа. Рачинский, конечно, видел, что «в рядах нашего сельского духовенства много людей порочных», «питающих презрение к расе, подающих пример распутства и прикрывающего его обмана». Он был против огульной передачи школ в ведомство церкви. Но в принципе он считал, что «лучший из мыслимых руководителей начальной школы есть добрый священник». Субъективно С. А. Рачинский, проповедуя сближение школы с церковью, видел в этом путь отвлечения крестьян от кабака, развития в них духовных интересов, удовлетворения эстетических потребностей народа. Он не понимал, что объективно это было на руку реакции, стремящейся опутать сознание народа религией.

Толстому не понравилось «неопределенно-православное направление» «Записок», выраженное в них сочувствие церкви. Для Толстого «православие сознательное, связанное с церковью, с государством, есть ложь и обман». И хотя из последующих писем видно, что и Толстой и Рачинский стремятся всячески сгладить возникшие между ними разногласия, идейные расхождения мешали развитию их дружеских отношений.

В течение трех лет, с 1882 по 1884 год, Толстой и Рачинский не переписывались вовсе.

В идейной жизни Толстого начался новый этап. В. И. Ленин писал: «По рождению и воспитанию Толстой принадлежал к высшей помещичьей знати в России, — он порвал со всеми привычными взглядами этой среды и в своих последних произведениях обрушился со страстной критикой на все современные государственные, церковные, общественные, экономические порядки, основанные на порабощении масс, на нищете их, на разорении крестьян и мелких хозяев, на насилии и лицемерии, которые сверху донизу пропитывают всю современную жизнь»^{*}.

Важнейшим делом Толстого в 1882 году можно считать подготовку к печати работы, написанной в 1879—1880 годах и получившей впоследствии название «Исповедь», в которой он писал о своем разрыве с господствующим классом и отходе от православной церкви. Духовная цензура не пропустила работу Толстого к напечатанию, так как она «приводит к сомнению важные истины веры и постановления православной церкви и допускает весьма неуважительные отзывы об истинах и обрядах православной церкви»³¹. В сентябре 1882 года министр внутренних дел разослал губернаторам предложение об учреждении негласного полицейского надзора за Толстым.

Толстого волновал вопрос о противоречии его жизни с его убеждениями. Он чувствовал острую потребность рассказать людям о своих мучительных исканиях смысла жизни. Он делал это в частных письмах близким по духу людям, таким, например, как В. Г. Чертков, с которым он познакомился и подружился в 1883 году, или как М. А. Энгельгардт, живший на Смоленщине, а также в публицистических статьях, предназначенных для печати.

Последние месяцы 1882 года, весь 1883-й и январь 1884 года прошли для Толстого, главным образом, в работе над рукописью и корректурами трактата «В чем моя вера?», в котором излагалось его этическое мировоззрение последнего периода в применении как к личной, так и к общественной жизни. Трактат был запрещен цензурой. Председатель Московского цензурного комитета писал, что «он подрывает основы государственных и общественных учреждений и в конце рушит учение церкви»³².

* В. И. Ленин о Л. Н. Толстом, М., 1972, с. 36.

В 1884 году Толстого увлекла идея издания хороших и дешевых книг для народного читателя. Он даже готовил речь для собрания людей, сочувствующих этому делу. Идея эта была осуществлена в 1885 году, когда при участии Толстого было основано книгоиздательство «Посредник».

После трех лет молчания Рачинский вновь обращается к Толстому с письмом (от 22 августа 1885 года), в котором он рассказывает о гостивших в Татеве светских знакомых и японце Ивасаво, переводившем из «Войны и мира». Но это письмо не заинтересовало Толстого, и он на него не ответил.

Следующее же письмо Рачинского, от 19 июня 1886 года, содержащее оценку народных рассказов Толстого, вызвало в душе писателя новый всплеск дружеских чувств к Рачинскому. Сергей Александрович писал Толстому: «Вы не можете не чувствовать сами, какое вы делаете великое, доброе дело, как на склоне Ваших лет растут и светлеют Ваши исполинские художественные силы... Исчезли все следы художественных приемов. Остался только «блеск правды». Это — верх совершенства». Рачинский говорит о том, что не читал «богословских» сочинений Толстого и что он для него прежде всего великий художник. Касаясь призыва Толстого к богатым раздать свое имущество бедным, о котором Рачинский узнал из случайно встреченной рецензии на главы трактата «Так что же нам делать?», опубликованной в «Русском богатстве» под заглавием «Деревня и город», Сергей Александрович пишет, что призыв этот не относится к самому Толстому. «Вы раздаете нищим духовные сокровища, рядом с ними смешно и говорить о вашем земном имуществе... Не деньги Ваши нужны ближнему, но вы сами, здоровый, бодрый, отрешенный от забот житейских, всецело принадлежащий своему делу». О себе Рачинский писал очень коротко: «Продолжаю учить без перерыва зимой и летом крестьянских ребят». Вероятно, ответом именно на это послание Рачинского является письмо Толстого, которое условно датируется временем после 20 июня 1886 года. В нем Толстой дружески пишет: «Спасибо, дорогой Сергей Александрович, за Ваше письмо. Я так рад, что вы все такой же, какого я знал и любил, и та же ваша прекрасная деятельность». Писатель не допускает, что в их взглядах могут быть разногласия. «Этого не может быть. И не думайте, и не говорите этого», — пишет он Рачинскому. Он по-прежнему мечтает побывать в Татеве: «Как мне хочется видеть Вас у себя, т. е. у вас...» — восклицает Толстой. На это письмо С. А. Рачинский отвечает в июле 1886 года:

«...Как обрадовали вы меня надеждой увидеть вас в Татеве!.. Не забывайте вашего доброго намерения. Увидеть вас в Татеве — давнишняя моя мечта». Рачинский тоже стремится сгладить нарезавшие между ним и Толстым разногласия. «О возможных между нами религиозных разногласиях не заботьтесь... И в самом резком разногласии обе стороны могут быть равны».

На этом переписка Толстого и Рачинского опять прерывается на три года — с 1887 по 1889 год. Но лично они видятся, правда, не в Татеве, а в Москве³³.

9

В конце 1880-х годов С. А. Рачинский начинает деятельную борьбу с пьянством. «Убежденный, что этот порок — одно из главных бедствий России, — пишет биограф Рачинского, — он уговорил сперва своих ближайших сотрудников и воспитанников устроить общество трезвости, дав годовой обет абсолютного воздержания от спиртных напитков. Скоро общество стало разрастаться. Появились через татевских учеников, разошедшихся из Татева, дальние члены. В 1889 году С. А. Рачинский напечатал по этому поводу статью, распространенную в отдельных оттисках многими тысячами экземпляров; статья была толчком к чрезвычайному усилению движения в пользу общества трезвости, и «пьяные письма», как он шуточно называл их, посылались со всех концов России, с Кавказа, из самых далеких уголков России, Сибири»³⁴.

Толстой тоже в это время вел борьбу с алкоголизмом. В 1887 году им было создано общество трезвости под названием «Согласие против пьянства». В 1888—1889 годах он посвятил борьбе с пьянством статью «К молодым людям», «Пора опомниться» и «Праздник просвещения 12 января», редактировал статьи на эту тему молоканина Ф. А. Желтова и даже выступал о вреде вина и табака на волостном сходе. Естественно, что Толстой заинтересовался организацией С. А. Рачинским общества трезвости. В письме от 26 марта 1890 года Рачинский подробно рассказывает Толстому об успехах этого дела и посылает ему свои статьи по вопросу о трезвости. Он рад, что Толстой — его союзник в этом начинании. «Усердно распространяю Вашу прекрасную комедию «Первый винокур», — пишет Рачинский и выражает надежду, что Толстой напишет на ту же тему о борьбе с пьянством трагедию вроде «Власти тьмы». Говоря о том, что Толстой как человек и

как «громадная литературная сила» ему очень дорог, Рачинский не скрывает, что не разделяет религиозных воззрений Толстого... «Я — человек церковный», — заявляет он. Однако это не помешало Толстому «с увлечением» писать ответ Рачинскому. В этом письме (от 9 апреля 1890 года) Толстой пытается сгладить возникшие между ними идейные расхождения. Он тепло благодарит Рачинского за письмо, «прекрасные статьи о трезвости», радуется его деятельности по борьбе с пьянством, делится с ним своим замыслом написать предисловие к книге врача П. С. Алексеева о пьянстве. «У меня лежит прекрасная статья доктора Алексеева: история борьбы против пьянства, и мне очень хочется написать к ней предисловие», — пишет Толстой. «Разумеется, это для образованного класса. Образованный-то класс в этом отношении очень необразован. — Но все-го не успеваю. Дел набирается перед смертью обратно пропорционально квадрату расстояния».

Переписка с Рачинским вдохновила Толстого на осуществление своего замысла. На следующий же день после написания письма Рачинского, 10 апреля 1890 года, Толстой принимает за предисловие к книге П. С. Алексеева и через два месяца заканчивает его.

Письмо Толстого «согрело душу» Рачинскому. «...Хочется верить, — отвечает он Льву Николаевичу 14 мая 1890 года, — что ничто нас не разделяет...»

В 1891—1897 годах Толстой и Рачинский не переписываются. Но Толстой помнит о Рачинском и о мешающих их дружбе разногласиях. 9 марта 1891 года он записывает в дневнике, что «на Рачинском» он понял, что вера людей, преданных церкви, — это «вера привычки, вера прошедшего..., вера мертвая, неподвижная». А 22 августа 1894 года Толстой пишет в дневнике о своем «нехорошем споре о Рачинском с его племянницей С. Э. Дмитриевой-Мамоновой».

В 1895 году Толстой и Рачинский стали родственниками: сын Льва Николаевича Сергей Львович женился на племяннице Рачинского — М. К. Рачинской. Но личное общение приводило к спорам, и они стали избегать встреч. Так, в начале 1896 года Толстой, находясь в гостях в имении Олсуфьевых и узнав, что в Москву приехал Рачинский, пишет С. А. Толстой: «Мне очень жаль, что не увижу Сергея Александровича Рачинского». И тут же добавляет: «...хотя, может быть, это и лучше». Однажды Толстой и Рачинский встретились в дороге, по пути в

Петербург. Толстой ехал в Петербург, чтобы проститься с выслаемыми из России единомышленниками В. Г. Чертковым и П. И. Бирюковым. Рачинский об этой встрече записал в дневнике от 7 февраля 1897 года: «...В Любани столкнулся с Л. Н. Толстым, едущим на два дня в Петербург. Звал меня к себе в вагон, но уклонился. Возникли бы разговоры, в вагоне слишком неудобные»³⁵. Тогда же он сообщил сестре: «Доехал я вполне благополучно. Вместе со мной приехал Лев Толстой, с коим обменялись двумя-тремя словами»³⁶.

Многолетняя переписка татевского учителя и просветителя с Толстым завершилась письмом Рачинского к Льву Николаевичу от 24 мая 1898 года. Посылая Толстому «в память старой дружбы» свои «Письма к духовному юношеству о трезвости», изданные в Казани в 1898 году, Рачинский не без горечи замечает: «Вот пункт (увы, пожалуй, единственный), на коем мы с Вами не разошлись».

В 1902 году С. А. Рачинский скончался.

Расхождения С. А. Рачинского и Л. Н. Толстого касались, как мы видели, прежде всего вопросов религии. Рачинскому была чужда страстная критика Толстым церкви. В религиозности и преданности церкви Рачинского мы видим ограниченность его мировоззрения. Но это не мешает нам вместе с Толстым высоко ценить его самоотверженную, бескорыстную, глубоко гуманную и демократическую деятельность как учителя крестьянских детей. Долг науки взглянуть на личность и дела С. А. Рачинского без страха перед их противоречивостью.

С. А. Рачинский еще при жизни Льва Толстого видел в нем «величайшего из ныне живущих писателей не только в России, но и в целом мире».

Большой знаток фольклора, литературы, музыки, изобразительного искусства, С. А. Рачинский, заглядывая в будущее русского искусства, с патриотической гордостью писал: «Цвет русского искусства впереди. Вся громадная художественная работа России в девятнадцатом веке — работа подготовительная. Вся эта дивная выработка языка, все эти смелости и тонкости музыкальной и живописной техники, все это глубокое усвоение народных форм творчества, вся эта горячая и искренняя правдивость в изображении действительности — все, что восхищает нас с детства и начинает изумлять Европу, — все это лишь драгоценный материал, из которого будет воздвигнуто величайшее здание русского искусства двадцатого века».

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Н. Горбов. Сергей Александрович Рачинский. — Журнал министерства народного просвещения, 1902, декабрь, с. 73. В университете Рачинский был членом попечительского комитета о бедных студентах. — См.: Письмо Рачинского к матери. — ЦГАЛИ, ф. 427, оп. I, ед. хр. 476.

² См.: А. И. Герцен. Собр. соч. в 30-ти томах. Т. 26, М., АН СССР, 1962, с. 157.

³ Цит. по кн.: И. Ф. Кунин. Петр Ильич Чайковский. М., 1958, с. 163—165.

⁴ Н. Горбов. Указ. соч., с. 73.

⁵ «Русский вестник», 1857, № 9. Отдел «Современная летопись», с. 1—15.

⁶ Б. Н. Чичерин — дядя известного советского дипломата.

⁷ Письма Толстого и к Толстому. Труды Публичной библиотеки СССР имени В. И. Ленина. Юбилейный сборник. М.—Л., 1928, с. 212. В дальнейшем письма Рачинского к Толстому цитируются по этому изданию. В тексте указывается сокращенно «пРТ» и страница.

⁸ ЦГАЛИ, ф. 427, оп. I, ед. хр. 476. Венчание Толстого с С. А. Берс состоялось 23 сентября 1862 года.

⁹ Там же.

¹⁰ Там же.

¹¹ ЦГАЛИ, ф. 427, оп. I, ед. хр. 476.

¹² Там же.

¹³ Там же.

¹⁴ Там же.

¹⁵ Там же.

¹⁶ ЦГАЛИ, ф. 427, оп. I, ед. хр. 476 (письмо от 12 марта 1868 года).

¹⁷ Там же (письмо от 3 марта 1868 года).

¹⁸ Там же (письмо от 2 декабря 1869 года).

¹⁹ Там же (письмо от 9 декабря 1869 года).

²⁰ С. А. Берс. Воспоминания о гр. Л. Н. Толстом. Смоленск, 1894, с. 33—34.

²¹ ЦГАЛИ, ф. 427, оп. I, ед. хр. 476.

²² ЦГАЛИ, ф. 427, оп. I, ед. хр. 476.

²³ Там же.

²⁴ ЦГАЛИ, ф. 427, оп. I, ед. хр. 719.

²⁵ В. Т. Георгиевский. Памяти С. А. Рачинского. К 10-летию со дня его кончины. Спб., 1912, с. 15—16.

²⁶ С. А. Рачинский. Записки о сельских школах. Спб., 1883, с. 56.

²⁷ Там же, с. 57.

²⁸ С. А. Рачинский. Записки о сельских школах. — Цит. по изд. 1883 г., с. 86.

²⁹ Там же, с. 88.

³⁰ Там же, с. 50, 57.

³¹ Цит. по кн.: Н. Н. Гусев. Лев Николаевич Толстой. Материалы и биография с 1881 по 1885 год. М., «Наука», 1970, с. 153.

³² Там же, с. 249.

³³ См.: В. Булгаков. История дома Льва Николаевича Толстого в Москве. Гл. V, домашние гости и посетители семьи Толстых с 1882 по 1891 год. В кн.: Летопись Государственного литературного музея. Кн. 12, Лев Николаевич Толстой, т. 2, 1948, с. 542.

³⁴ Н. Горбов. Указ. соч., с. 78—79.

³⁵ «Татевский дневник» С. А. Рачинского. Автограф и машинописная копия с предисловием и правкой Н. П. Чулкова. — ЦГАЛИ, ф. 427, оп. I, ед. хр. 718.

³⁶ ЦГАЛИ, ф. 427, оп. I, ед. хр. 1232.



Общий вид Оптиной пустыни.
1896 г. Фотография С. А. Толстой.

?

У многих невольно возникает вопрос: почему они ездили туда?.. Гоголь, Достоевский, Лев Толстой и многие другие русские писатели, философы, художники? Почему уже в наше время Анна Ахматова писала: «И Оптиной мне больше не видать»? Почему, наконец, 4 декабря 1974 года по постановлению Совета Министров РСФСР Оптина пустынь взята под государственную охрану, начата ее реставрация? Почему с каждым

годом все больше туристов и экскурсантов посещают ее?

В дореволюционной России было немало монастырей, вошедших в русскую историю, как Киево-Печерская и Троице-Сергиева лавры, или прославленных особым подвижничеством и потому особо чтимых, богатых и бедных, но Оптина пустынь близ города Козельска имеет свою особую судьбу, неразрывно связанную с классической русской литературой XIX и начала XX века. Именно она описана в «Братьях Карамазовых», ее не раз упоминает в своих дневниках Лев Толстой, о ней пишет в своих письмах Гоголь.

Оптину пустынь в XIV веке, по преданию, основал раскаявшийся разбойник Опта, создатель и орловской Оптиной пустыни в 70 верстах от этой.

Местность живописная: высокий берег реки Жиздры и вдаль уходящий сосновый бор, леса со старыми засеками, охранявшими Русь от татар. Они описаны в «Князе

Серебряном» Алексея Константиновича Толстого.

С Козельском Оптиная делила многие исторические невзгоды — бывала и под властью Литвы, готовилась к эвакуации во время нашествия Наполеона, и — читаем в списке драгоценностей Оптиной, приготовленных тогда к эвакуации, — не было у нее ни золота, ни серебра, а только иконы, ризница и библиотека.

И это правда. Никаких иных богатств и драгоценностей в Оптиной не было ни до, ни после. О бедности монастыря можно судить по челобитной царю Алексею Михайловичу: «За Оптиным монастырем крестьянских и бобыльских дворов нет и денежной руги (годовичное содержание попу и причту от прихода. — Н. П.) им нейдет. Кормятся миром и своей работой».

Так что особых богатств эта обитель не стяжала. А временами приходила почти в полное запустение и снова вставала, словно предчувствуя свое духовное предназначение. Дух Нила Сорского, подвижника XVI века и проповедника монашеского нестяжательства, долго сохранялся в этой незаметной провинциальной пустыни.

Но и Оптиная к XVIII веку, как большинство тогдашних русских монастырей, потеряла непосредственную связь с идеями и традициями древнего подвижничества — сохраняя формы, она теряла его содержание.

Но в конце XVIII века в России нашелся человек, понявший это и жаждавший найти настоящего духовно опытного учителя. Это был Паисий Величковский — уроженец Украины. Он обошел много монастырей, не находя желанного руководства. Тогда он ушел на Афон, где были книги древних отцов, старинные греческие рукописи. Паисий приобретал и переписывал их, изучил язык и увидел, какое место уделяли древние непосредственному духовному руководству — отношению ученика к учителю. На месте вериг и умерщвления плоти было глубокое самосознание, направляемое опытным наставником — старцем. Здесь речь идет не о физической старости, а об умудренности, о большом личном опыте, о наставнике, который как бы рождает нового человека и потому является его духовным отцом.

О старчестве, об этом особом пути самопознания, писали многие подвижники первых веков — с IV по XIV, но во времена Паисия на славянский и русский языки было переведено очень мало. Поэтому Паисий Величковский прежде всего положил основание переводу этих книг на славянский и русский язы-

ки. Сам он в Россию не вернулся, поселился в Румынии, в так называемом «Нямецком» монастыре, который к концу его жизни стал многонациональной Лаврой, где собирались монахи и русские, и сербские, и румынские, и греческие, где жизнь иноческая строилась по возрожденным древним традициям и где неуспешно работали над переводами и сам Паисий, и близкие его ученики, и десятки переписчиков.

Но Паисий любил и не забыл России. Он послал туда нескольких своих русских учеников, снабдив их готовыми переводами и бесценными греческими рукописями. Некоторые из них попали в Оптиную библиотеку. А из посланных им учеников известны схимники Федор и Афанасий, передавшие, в свою очередь, учение Паисия своим ученикам.

Афанасий поселился с несколькими учениками в Брянских лесах. В числе их были и три брата Путиловы.

Впоследствии Моисей стал архимандритом и настоятелем Оптиной, Антоний — начальником Оптинского скита, а Исая — настоятелем Саровской пустыни. Федор же был в Белобережном монастыре и одно время на Валааме.

Оптиная тогда была в плачевном состоянии — бедность вопиющая. Монахов было мало, старики доживали свой век. Но с XVIII века уже там строится большой Введенский собор, была библиотека. Епископом калужским в начале XIX века был Филарет, впоследствии митрополит Киевский, о котором много и тепло писал Лесков. Филарет услышал о брянских отшельниках — Афанасии с его учениками и предложил им переселиться из лесов в Оптину.

Сам Афанасий отказался, но отпустил туда двух братьев Путиловых — Моисея и Антония для укрепления Оптиной и духовно и внешне.

Моисею пришлось взять на себя строительство. За долгие годы своего служения в Оптиной он придал ей простой и благородный облик — возвел башни, на верхушках которых флюгерами были фигуры ангелов с трубами, благоустроил монашеские жилые корпуса и гостиницы для богомольцев и основал в ближнем лесу скит — отделение монастыря — с более строгим уставом.

В строительстве скита особенно помогал ему брат его Антоний, который позже стал игуменом и скитоначальником.

Оптину братья Путиловы фактически подняли из праха. Это было как бы второе рождение пустыни — сюда пошли и малые

и великие, крестьяне и писатели, странники и философы.

Тогда в России было много неудовлетворенных приходскими церквями, где, по существу, сохранялись только культ и обряды, где священники не имели ни общего образования, ни духовной опытности и не могли удовлетворять запросам этих беспокойных душ. Здесь же, в Оптиной, они увидели иное: удивительного старца, который подходил к каждому обращающемуся к нему индивидуально и не делал в своем обращении никакой разницы между простой крестьянкой и важным баринном. В его келье теряли всякое значение богатство и орден, сословие, состояние, положение. Была только человеческая душа и та прозорливость, которая читала в этой душе. Здесь, в келье старца, пробуждалась спавшая совесть и осмысливалась жизнь. Здесь был нелицеприятный суд и любовь, непривычные для многих.

И люди пошли в Оптину, а епархиальные власти испугались и возмутились: «У них есть свои приходские батюшки, зачем им идти к этому оптинскому иеросхимонаху Леониду!» (В схиме Льву.) (Леонид — ученик ближайшего ученика Паисия Величковского, Федора, был приглашен в Оптину Моисеем.) Его стали преследовать, грозили Соловками. А он отвечал: «Пою Богу моему, дондеже есмь», то есть пока существую. «И в Соловках буду тот же Леонид». Преследовали его учеников и в других монастырях. Они терпели, а он продолжал принимать людей.

Старец Леонид не любил внешнего благочестия и называл его очень образно — «химерой». Когда же его спросили, что он разумет под этим словом, он ответил: «Видел ты, как цветут огурцы? Есть цвет настоящий, и есть цвет на завязи, на которой не бывает огурцов, т. е. пустоцвет. Это и есть «химера».

И от учеников своих он требовал не внешнего благочестия, не иступленности и фанатизма, а душевной сосредоточенности и душевной работы. «Ты хочешь на лету схватить мои слова, и мимоходом спастись, — наставлял он одного из учеников, — наскоро не учатся. У тебя все восторги, целования. А я при отце Федоре был без фанатизма».

В конце жизни он нашел себе друга и помощника (сам светского образования он не имел) — интеллигентного иеромонаха Площанской пустыни Макария Иванова, который после смерти отца Леонида стал его преемником и положил начало новому периоду Оптиной пустыни, соприкоснувшегося с русской литературой. При нем в Оптину

впервые приехали Гоголь, братья Киреевские и другие славянофилы, и пустынь стала своеобразным культурным центром.

В этот период в Оптиной образовалось свое издательство, которым руководили старцы Макарий и Амвросий. Причем самое непосредственное участие в его организации и работе принимали Иван Киреевский и его жена Наталья Петровна — одна из интереснейших и образованнейших женщин XIX века. Это издательство стало своеобразным узлом связи между Оптиной и русской литературой. Если Гоголь, Достоевский и Толстой ездили в Оптину как бы частным образом, в связи со своими внутренними переживаниями или творческими замыслами, то Иван Киреевский и Наталья Петровна участвовали в самой научно-литературной работе оптинского издательства. Иван Киреевский вел редакторскую работу, а Наталья Петровна держала корректуры и была «связной» между издательством, цензурным комитетом и московским митрополитом Филаретом Дроздовым. Достаточно сказать, что она — единственная женщина, имя которой неоднократно упоминается в «Оптинской летописи» (рукописный отдел Библиотеки имени В. И. Ленина). И далеко не случайно уже в наше время реставрация Оптинской пустыни началась с восстановления могилы Киреевских.

Одновременно с издательством росла и знаменитая Оптинская библиотека. Одной из главных статей монастырского расхода было приобретение книг, причем не только духовных, но и светских. К концу века скитская библиотека имела более 30 тысяч книг и потребовала целого трехэтажного здания, второй этаж которого был занят рукописным отделом. В этой библиотеке, кроме богословских книг, были русские и иностранные классики, философские сочинения, исторические, географические и математические. Был специальный медицинский отдел, где много внимания уделялось психиатрии; были и редкие книги, почти все журналы того времени.

После революции библиотека перешла к первому Оптинскому краеведческому музею, а при закрытии последнего в 1928 году редкие книги и по несколько экземпляров оптинских изданий, а также весь рукописный отдел были перевезены в Москву, в Библиотеку имени В. И. Ленина; туда же перешел еще в 1926 году фонд известного востоковеда иеромонаха Виноградова, 12 лет проработавшего в Пекинской русской православной миссии и привезшего с собой много ценных материалов. Прожив на покое в Оптиной около 10 лет, он скончался в 1919 году, а в

1922—1923 годах в Оптину ради этого фонда приезжал от Академии наук Николай Иосяфович Конрад, тогда еще профессор, впоследствии академик, один из основоположников русского востоковедения. Осталась неопубликованная его статья «Синолог из Оптиной», хранящаяся в Ленинграде.

В фондах Библиотеки имени В. И. Ленина много дублетов книг Оптинской библиотеки, некоторое количество их возвращено теперешнему Оптинскому музею — отделению Козельского краеведческого музея.

Любовь к книге была характерна для Оптиной. Об этом свидетельствуют завещания ее настоятелей. Так, архимандрит Моисей пишет: «Книги духовные, которые я имею снисканными в течение монастырской жизни и кои почитал всю жизнь мою великим богатством, доставлявшим душе моей нетленную пищу и служащим приобретению вечной жизни, оставляю в монастырской библиотеке для духовной пользы отцов и братьев моих».

По образцу этого завещания и другие оптинские настоятели и монахи оставляли свои личные книги в наследство Оптинской библиотеке. А другого имущества у них почти не было. Каждая лишняя копейка монастырская шла не на роскошь, а на книги, как заповедал своим ученикам еще Паисий Величковский — великий книголюб.

Оптина привлекает к себе иконописцев и художников: Болотов — член Петербургской академии художеств принимает монашество и основывает в пустыни иконописную мастерскую, филиал этой мастерской был и в Шамордине, в женском монастыре, где копировали религиозные картины Боровиковского и других художников XVIII—XIX веков. Эти мастерские были основаны еще при старце Амвросии.

В последние же годы, уже в 15-х — 20-х годах нашего века, в Оптиной бывали многие известные художники и беседовали об искусстве с последним старцем иеросхимонахом Нektарием — учеником Болотова.

Оптина XIX века предстает перед нами в «Братьях Карамазовых». Старец Зосима не портрет Амвросия. Но Александр Михайлович Гренков (старец Амвросий) — ученик старцев Леонида и Макария, бывший преподаватель семинарии, был одним из прототипов Зосимы. Вторым был Тихон Задонский — подвижник XVIII века, талантливый духовный писатель, известный своим гуманизмом и широтой взглядов. Но, конечно, оба прототипа спаяны собственным миропониманием и мироощущением Достоевского.



Прообраз старца Зосимы в «Братьях Карамазовых» Ф. М. Достоевского — оптинский старец Амвросий. Фотография 1880-х гг.

Писатель приехал в Оптину с философом Владимиром Соловьевым в июне 1878 года. Он переживал в это время большое горе: его любимый маленький сын Алеша скончался от эпилепсии, и отец считал себя виновным в передаче по наследству болезни. Смерть мальчика он воспринял как наказание за свои грехи. Он много слышал об Оптиной и надеялся на глубокое понимание его переживаний и мук совести, но, конечно, был у него интерес художника и психолога, великого исследователя глубин души человеческой. Эти глубины он надеялся увидеть и в оптинском старце, и в его посетителях, приходивших в Оптину со своими болями и переживаниями.

Достоевский и Соловьев остановились в монастырской гостинице и пробыли в Оптиной три дня, о чем свидетельствует уцелев-

ший «журнал» гостиницы, хранящийся в рукописном отделе Библиотеки имени В. И. Ленина. Известно, что Достоевский был у старца Амвросия в келье и на его выходе для благословения народа. Эта сцена и описана им в выходе старца Зосимы в «Братьях Карамазовых». Известно также, что старец Амвросий сказал о Достоевском: «Это — кающийся». Все это вполне документальные данные. Но есть еще местные предания.

Против Оптиной, на берегу реки Жиздры, немного левее, если идти из Козельска, находятся Прыски, бывшее имение Кашкиных. Кашкин же был товарищем Достоевского по кружку петрашевцев и стоял рядом с ним на эшафоте. Мне пришлось в 1922—1923 годах работать научным сотрудником и даже несколько месяцев директором первого Оптинского краеведческого музея, основанного в 1918 году и закрытого в 1928-м. В 1922 году я застала еще действующий монастырь. Старики монахи рассказали мне, что Достоевский посетил Кашкина (в этот или в другой, специальный к нему приезд), о котором мы никаких данных не имеем). Дом Кашкиных в революцию сгорел. Остались их могилы близ местной церкви, также взятой под государственную охрану. Монахи рассказывали, что Достоевский переплыл однажды на лодке Жиздру непосредственно из имения Кашкиных, а не на пароме, как это делали обычно остальные посетители. И на это монахи обратили внимание, запомнили. Посещение товарища молодости и бывшего петрашевца было естественно. Но в данном случае чрезвычайно интересно и другое. Не от Кашкиных ли — старожилот Козельского уезда, наверняка хорошо знавших Оптину, ее монахов и старцев, Достоевский узнал некоторые любопытные детали, пригодившиеся ему в романе. Анна Григорьевна Достоевская об этом посещении Кашкиных не упоминает, нет и других документальных подтверждений, архив Кашкиных (во всяком случае, большая часть его) сгорел, но к данному свидетельству монахов стоит прислушаться при изучении истоков «Братьев Карамазовых». За три дня пребывания в Оптиной (а больше он там не оставался и там над романом не работал) Достоевский вряд ли мог так хорошо познакомиться с бытом и обстановкой города Козельска. А Карамазовы ведут себя у старца Зосимы как люди местные, а не сторонние посетители. О втором же приезде Достоевского в эти места никаких, даже косвенных, данных нет.

Оптина вписывается в «Летопись» Льва Толстого, посетившего ее, по данным Н. Н. Гусева, четыре раза, по другим же

известиям и местным преданиям — шесть раз. Вплоть до 1910 года, до ухода из Ясной Поляны и предсмертных дней.

Первое посещение Толстым Оптиной связывается с похоронами А. И. Остен-Сакен — его тетки и опекуни. Страхов говорит, что на погребении присутствовали племянники и племянница, но их имена не указывает. Во всяком случае, известно, что стихотворная эпитафия на памятнике была составлена тринадцатилетним Толстым и может считаться первым обнародованным его произведением.

Сведения о пятом посещении (1896 г.) есть в книге «Мои воспоминания» И. Л. Толстого.

О нем же рассказывает местное предание. Но начнем со второго, по Гусеву — с первого. Толстому уже 50 с лишним лет. И вот он пишет: «...35 лет я прожил ни христианином, ни магометянином, ни буддистом, а нигилистом в самом прямом и настоящем значении этого слова, т. е. без всякой веры».

Мысли его обратились к Христу, но это был не Христос Священного писания и церкви. Толстой хочет написать «материалистическое евангелие о материалисте Христе». Он задумал книгу с новым восприятием и образа и учения Христа. И вот тогда-то у него возникла потребность поговорить с прославленными своей мудростью оптинскими старцами. Может быть, нынешний старец Амвросий и поймет всю его великую идею переосмысления Евангелия.

В 1877 году Толстой вместе с Николаем Николаевичем Страховым, гостившим в Ясной Поляне, поехал в Оптину и, естественно, остановился в хорошей гостинице.

На следующее утро в Оптину к Льву Николаевичу приехал еще князь Дмитрий Оболенский звать его к себе в имение и привез знаменитого музыканта Николая Григорьевича Рубинштейна. Там они все четверо посетили архимандрита — бывшего гвардейского офицера Половцева и, по словам Софьи Андреевны Толстой, «вели не только религиозные, но и политические беседы».

От Половцева они все вместе — Толстой, Страхов, Оболенский и Рубинштейн — пошли к старцу Амвросию. Сразу же от старца Толстой поехал к Оболенским, где слушал прекрасную игру Рубинштейна, и вернулся домой очень довольный.

Но никакой откровенной беседы со старцем не было. Толстой, по его собственному признанию, почувствовал духовную чистоту и мудрость Амвросия, его «святость», но не более. Диалога не получилось.

Достаточно хорошо известно и второе (по Гусеву) посещение.

В начале 1881 года Толстой опять собрался в Оптину и взял с собой преданного слугу Сергея Арбузова и учителя Яснополянской школы Дмитрия Федоровича. Примечательно, что в этот раз Толстой пошел туда «опростившись» — он переоделся в мужика, был в лаптях. Правда, возникает вопрос: зачем нужен был этот маскарад? Люди шли в Оптину с открытым лицом и открытой душой. Из тысяч приходивших туда он один шел для проверки оптинского демократизма (как-де там обращаются с бедным людом и как с дворянством и богачами). И уж, кстати, для проверки: как отнесутся пресловутые мудрые старцы к его богословским теориям, уже на шумевшим в ту пору, если о них зайдет речь? Враждебное отношение к церкви уже складывалось, но до конца не оформилось.

И все-таки потянуло именно в Оптину...

Спутников приняли, как принимали всех богомольцев, и направили в странноприимный дом, где останавливалась беднота. Им отвели номерок, где Лев Николаевич не мог уснуть из-за грязи и клопов. Наутро, когда он шел по монастырю, его встретил монах, бывший яснополянский крестьянин, и узнал. Инкогнито кончилось. Его немедленно перевели в лучшую гостиницу. Туда ему предложили взять и своих спутников. Но Арбузов отказался, подружившись с прежним соседом. (Видимо, там было не так уж плохо.)

В первый вечер в Оптиной Толстой ужинал с богомольцами (ели по четверо из одной миски), еда была вкусной. Утром второго дня без очереди он попадает к настоятелю и к старцу Амвросию. Даже слугу Толстого Арбузова приняли без очереди.

Этот почет не только разрушил планы Толстого, но действительно его тяготил. Почетом он был сыт. Учение его уже сказывалось в собственной жизни. Он чувствует себя не только великим писателем России, но и учителем, нравственным судьей общества и государства.

Беседа Толстого со старцем Амвросием не была обычной для оптинских богомольцев. К старцу шли со своими скорбями, недоумениями, вопросами совести и покаянием. Толстой пришел, как совопросник, спорщик и обличитель старца в незнании Евангелия.

Толстой частично записал эту беседу:

«У Амвросия 2 часа. Нищенство это совершенство. (Вероятно, Толстой признался старцу, что его тяготит богатство. — *Н. П.*) Ищите совершенства, но не удаляйтесь от

церкви. В (Евангелии), в постановлениях соборов и у свя(тых) отцов — откровение. Звезда от звезды отличается. Как генерал, полковник, поручик, так и там будет (ему кажется, что чины что-то натуральное, с чем можно сравнивать).

И(оанна) Златоуста не видал тот, кто был на небе, — он с Св. Троицей. Все будут казаться равны, но утешение не одно. Мощи благоухают.

Амвросий занят тем чином, который он заслуживает, и верит болезненно. Бедный».

Это реакция Толстого. Когда же спросили старца Амвросия об его впечатлении, он ответил: «Гордыня».

Интересный факт сообщает слуга писателя Сергей Арбузов. На обратном пешем пути они встретились с молоканами (секта, отвергающая иконопочитание и церковное богослужение). Толстой, как это ни может показаться странным, стал советовать им вернуться к церкви, говорить, что они отошли от веры отцов. Уходя, один из молокан спросил Арбузова: «А как ваш барин — часто ли ходит в церковь?» — «Никогда», — ответил Арбузов. «Это очень странно», — заметил тот.

Видимо, какие-то сомнения у Толстого были, и предыдущий разговор с Амвросием, его фраза: «Ищите совершенства, но не удаляйтесь от церкви» — заставила его задуматься, недаром он так точно записывает ее в дневнике.

Тем не менее именно после этого посещения Оптиной появляются его «Записки христианина», а позже — «В чем моя вера». Трактаты, в которых он в лучшем случае обличает церковь в незнании Священного писания, похлопывает по плечу таких особо чтимых ее авторитетов, как апостол Павел, Иоанн Златоуст, Иоанн Дамаскин. А в худшем — обвиняет ее в сознательной лжи и обмане. И создает свое евангелие — «от Толстого», в котором он опровергает все основные евангельские рассказы и христианские догмы, без признания которых не может быть христианина.

Взрывная сила и притягательность учения Толстого была именно в его максимализме, в требовании полной перестройки личной и общественной жизни согласно провозглашенным им как новое откровение моральным принципам.

И все же что-то тянуло его к Оптиной, столь полярной, противоположной ему. На все его «да» она отвечала «нет», и на все ее «да» — он восставал...

В третий раз, в 1890 году, он едет в Оптину с дочерьми Таней и Машей и племянницей. Едут весело — почти праздничной про-

гудкой. Маша — любимица отца, сочувствующая его взглядам, — вспоминает свою поездку в Киев и слухи о распущенности тамошних монахов. Толстой говорит о святости оптинских послушников и (совсем неожиданно) о сомнительной добродетели старца Амвросия.

Внешне формы богомолья соблюдаются: девушки посещают богослужения. А Толстой вновь идет к старцу Амвросию для богословских споров. О чем и как они спорили, судить трудно. Известно лишь, что Толстой ушел от старца раздраженным и заключил: «Монашество — сибаритство».

Эта поездка знаменательна еще одной встречей. Здесь, в Оптиной, Толстой застал своего старого знакомого — критика, публициста, философа Константина Леонтьева, жившего эти годы в пустыни и, кстати, здесь же осенью 1889 года написавшего свой основной критический труд — «Анализ, стиль и веяние. О романах гр. Л. Н. Толстого». Об этой встрече Толстой сообщил жене: «Мы прекрасно поговорили».

А разговор был такой. Леонтьев, бывший в вопросах веры крайним догматиком, сказал гостю: «Вы — неисправимы. Правильно было бы, если б я через свои петербургские связи устроил бы, чтобы вас сослали подальше в Сибирь, да так, чтоб графиня и дочки не могли посещать и заботиться о вас в тюрьме». На что Толстой с жаром воскликнул: «Голубчик, Константин Николаевич! Напишите, ради Бога, чтоб меня сослали. Это моя мечта. Я делаю все возможное, чтобы компрометировать себя в глазах правительства, и все сходит мне с рук. Прошу вас, напишите».

В этом шуточном ответе была и глубокая правда.

В августе 1896 года Лев Николаевич вместе с женой поехали в Шамордино навестить его сестру Марию Николаевну Толстую — монахиню Шамординского монастыря, бывшего женским филиалом Оптиной пустыни. Ни Н. Н. Гусев в «Летописи», ни сама Софья Андреевна в своих воспоминаниях о четырех поездках Толстого в Оптину не упоминают, что и в этот раз он заезжал туда. Но Илья Львович Толстой в примечаниях к главе XXV своей книги «Мои воспоминания» пишет: «В августе 1896 года (с 10-го по 15-е) Л. Н. Толстой и С. А. Толстая ездили в Шамординский монастырь, откуда проехали в Оптину пустынь». Это путешествие подробно описано в неопубликованных записках С. А. Толстой «Моя жизнь» (С. А. Толстая, «Моя жизнь», т. 7, с. 49—55). В этот приезд в Оптину пустынь Толстые

посетили могилы тетки Льва Николаевича А. И. Остен-Сакен, умершей в Оптиной пустыни, и Е. А. Толстой, сестры Т. А. Ергольской. С. А. Толстая была на исповеди у о. Герасима. По словам Софьи Андреевны, Толстой нашел в Оптиной пустыни большой упадок и во внешнем и во внутреннем духе монастыря. (Далее И. Л. Толстой ссылается на дневник А. С. Суворина о том, что Толстой встретился с о. Иосифом, и приводится рассказ М. А. Стаховича о поездке Толстых в Оптину.)

И еще. Старые монахи рассказывали мне, что Толстой из Шамордина приезжал в Оптину верхом, привязывал коня у скитской ограды и, не заходя ни в скит (где жил старец Иосиф), ни в монастырь, уходил в лес по тропинке к речке Железинке. Там были чудесные реликтовые сосны (некоторые сохранились до сих пор), тишина, одиночество. Богомольцы обычно сюда не заглядывали, тут никаких святынь не было, и он мог спокойно думать о своем «Хаджи-Мурате». Рассказ этот похож на правду, но не документален. Из дневника Толстого видно, что работа над «Хаджи-Муратом» в Шамордине как-то не ладилась, и он мог искать тишины и одиночества в прекрасном оптинском лесу. В Шамордине была непривычная обстановка и женская суета, мешавшие работе.

И вот последний трагический приезд Толстого в Шамордино через Оптину.

Как известно, Толстой бежал из Ясной Поляны между 4—5 часами утра 28 октября 1910 года к сестре Марии Николаевне — монахине Шамординского монастыря. В Козельск он попал в 4 часа 50 минут вечера, как точно отметил д-р Маковицкий, сопровождавший его. Наняли ямщика. Смеркалось, быстро темнело, непогода, «дорога была ужасная». Он мог бы прямой дорогой поехать из Козельска в Шамордино. Оптина осталась бы в стороне, на другом берегу Жиздры. Но он поехал в Оптину. Здесь не могло быть расчета отдохнуть ни физически, ни душевно. Остановка в Оптиной требовала напряжения, ведь Лев Николаевич не был уверен в том, что его, отлученного от церкви, примут. Но Маковицкий отмечает, что еще в вагоне, а теперь у ямщика он спрашивал, какие есть старцы в Оптиной, и сказал, что «пойдет к ним». Тогда старчествовали иеромонахи Иосиф и Варсонофий. Первый — бывший келейник старца Амвросия, второй — бывший штабной офицер. С отцом Иосифом Толстой встречался в предыдущие приезды. В отце же Варсонофии мог предполагать человека своего

круга и воспитания. В том душевном смятении и волнении Оптиная могла быть нужна Толстому только для беседы со старцами, а не для отдыха на пути в Шамордино, которое было в 14 верстах отсюда.

Остановились у гостиницы, Толстой спросил монаха-гостиника: «Можно мне войти?» Гостиник говорит: «Пожалуйста». — «Ведь я Толстой, может, вы меня не примете?» — «Мы всех принимаем, — говорит гостиник, — всякого, кто желание имеет». Они и остановились у нас», — так передает И. Бунин в своем «Освобождении Толстого» рассказ Лопатиной.

Сам же Толстой записывает в дневнике: «...Доехали до Оптиной. Я здоров, хотя не спал и почти не ел. Путешествие от Горбачева в третьеклассном набитом рабочим народом вагоне очень поучительно и хорошо, хотя я и слабо воспринимал. Теперь 8 часов, мы в Оптиной».

Толстому отвели просторную комнату с двумя кроватями и широким диваном. Внесли вещи. Лев Николаевич сказал: «Как здесь хорошо!» — и сейчас же сел за писание. Написал довольно длинное письмо и телеграмму в Ясную Поляну.

По рассказу Лопатиной следует, что на другой день с утра Толстой пошел к настоятелю. Дальше идет патетическая сцена (со слов гостиника, как отметила Лопатина). «Лев Николаевич стоял на холоде и сырости, с шапкой в руках. Он опять не хотел входить прямо, опять просил службу доложить: «Скажите, что я Лев Толстой, может быть, мне нельзя». Монах сам вышел к нему, раскрыв объятия, и сказал: «Брат мой». Лев Николаевич бросился ему на грудь и зарыдал».

Это сообщение вызывает сомнение. Такая сцена означала бы примирение с церковью, которого, как известно, не произошло: это было бы такое значительное событие, что после него Толстому не было бы необходимости идти к старцам, колебаться, подходить к двери и отходить, как произошло на самом деле. Его приняли бы немедленно или пригласили бы старцев к настоятелю. После объятий должна была бы состояться и беседа с настоятелем. Но о ней Толстой ничего не рассказал сестре, даже не намекнул, когда зашел разговор о возможности остаться жить в Оптиной. Толстой только два раза подходил к скиту, к хибаркам старцев, колебался, но так и не вошел и уехал в Шамордино.

Известен разговор его с сестрой. Бунин приводит этот разговор, ссылаясь на книгу Ксюнина «Уход Толстого». «Сестра, я был в

Оптиной, как там хорошо! С какой радостью я жил бы там, исполняя самые низкие и трудные дела: только поставил бы условием — не принуждать меня ходить в церковь». — «Это было бы прекрасно», — отвечала сестра, — но с тебя взяли бы условие ничего не проповедовать и не учить». — «Виделся ты в Оптиной со старцами?» — спросила сестра. Он ответил: «Нет. Разве ты думаешь, что они меня бы приняли? Ты забыла, что я отлучен».

Если бы трогательный прием у настоятеля состоялся, то Лев Николаевич так бы не ответил сестре. В книге И. Л. Толстого «Мои воспоминания» есть прямое тому подтверждение — письмо Марии Николаевны к Софье Андреевне с подробным изложением ее бесед с братом в эти решающие дни. Документ, который Бунин мог и не знать.

И из этого письма ясно, что он только «хотел непременно поговорить со старцем», но это ему не удалось, приехавшая дочь своим известием, что Софья Андреевна бросилась в пруд, «все перевернула вверх дном». Рано утром Толстой бежал из Шамордина.

В Козельске беглецы сели в поезд, идущий на юг, не успев даже взять железнодорожных билетов. Купили по дороге — до Ростова-на-Дону, где была колония толстовцев, хотя Толстой предупреждал, что именно в такие колонии он не хочет ехать.

В дороге ему сделалось плохо. Пришлось выйти на станции Астапово; начальник станции предложил свою квартиру. Туда же приехали извещенные Чертковым дочери Толстого и жена. Софью Андреевну к Толстому допустили только в последнюю минуту, когда считали, что он уже без сознания.

И здесь произошло последнее соприкосновение Толстого с Оптиной. Неожиданно в Астапово приехал старец Варсонофий, но его к умирающему не допустили, заподозрив, что он послан Синодом для попытки предсмертного примирения с церковью и покаяния Толстого. Что старец, кстати, отрицал, ссылаясь на последний приезд самого Толстого в Оптину и желание поговорить с ним. Но, конечно, приезд старца Варсонофия не мог быть своевольным, он был одобрен церковной властью, все-таки не терявшей надежды о предсмертном покаянии.

Толстой умер, не примирившись с церковью, поэтому церковного отпевания не было. Не произошло и его последней встречи с оптинским старцем.

Но имя Толстого навеки связано с Оптиной. В разные периоды его жизни она вставала на его пути...



В. П. Щеголенок. Гравюра 1871 г.



И. Е. Репин. Иллюстрация к рассказу Л. Н. Толстого «Чем люди живы». 1881 г.

«
»

I. «...Крестьянин дер. Боярщины Кижской волости, 65 лет от роду»

Во многих книгах о Лье Николаевиче Толстом можно встретить это имя — Василий Петрович **Щеголенок**. С неизменным добавлением в комментариях: «олонецкий крестьянин, известный сказитель былин». В некото-

рых приводятся более подробные сведения о том, как в марте 1879 года в Москве Толстой познакомился со Щеголенком, и 5 апреля в его записной книжке появилась запись:

«Олонецкой губернии былинщик. Цел былину Ивана Грозного...».

Во время знакомства, которое, что тоже немаловажно, произошло на квартире известного историка и фольклориста Е. В. Барсова (того самого Елпифидора Барсова, чей сборник «Причитания Северного края» читал и высоко оценил В. И. Ленин), Лев Николаевич пригласил к себе Щеголенка в Ясную Поляну, где тот и провел лето 1879 года. У В. А. Гиляровского есть дословная запись рассказа Е. В. Барсова о знакомстве Толстого с олонецким сказителем¹:

«...Это было в 78-м или в 79-м годах. Он (Толстой) тогда писал новый роман «Петр I». Много о севере расспрашивал, о



Н. Н. Ге. Иллюстрация к рассказу «Чем люди живы». Ангел и женщина с детьми. 1886 г.



Н. Н. Ге. Иллюстрация к рассказу «Чем люди живы». Сапожник Семен и ангел у часовни. 1886 г.

древних людях. А потом приходит как-то ко мне и говорит:

— Я пока остановился писать «Петра»: ничего раскола не понимаю. — И засыпал меня вопросами о расколе. Потом уж я напечатал в «Русском обозрении» статью «Петр и Толстой». Это был мой ответ Льву Николаевичу. Как-то тогда Толстой встретился с гостившим у меня моим другом, собирателем былин Щеголенковым. Я записывал с голоса его былины. Старик был совершенно неграмотен.

Я их познакомил. Разговор сделался общим. Щеголенков много говорил о внецерковных христианах. Толстой заслушался его, хлопнул по плечу и сказал:

— Вот как по-настоящему богу молятся. А мы разве умеем?

Просидел тогда Толстой у меня до поздней ночи.

Толстой так увлекся сказами и былинами Щеголенкова, что пригласил его к себе, и он, уже совсем старый, — ему было тогда под восемьдесят, — прогостил у Толстого месяца три. С этой встречи у меня Толстой бросил окончательно свой роман «Петр I» и перестал быть художником, посвятив всего себя вопросу внецерковного христианства...

Нужно добавить только, что у Барсова великий писатель познакомился со сказителем, чьи былины уже тогда считались классическими. Еще в 1861 году, то есть за 18 лет до их личного знакомства, четыре былины, записанные «с голоса» Щеголенка (и две — от его племянницы), вошли в знаменитое собрание П. Н. Рыбникова, появление которого произвело переворот в фольклористике. До Рыбникова никто, даже крупнейшие специалисты, не подозревал, что русский богатырский эпос можно услышать, что он существует в живом

исполнении, причем совсем неподалеку от Петербурга — на севере, в Заонежье. Тогда впервые прозвучали имена Трофима Григорьевича Рябинина, Кузьмы Ивановича Романова, Терентия Иевлева, Василия Петровича Щеголенка — хранителей вековых традиций русского былинного эпоса.

Лев Николаевич прекраснейшим образом знал сборник П. Н. Рыбникова, он до сих пор хранится в яснополянской библиотеке с многочисленными пометками писателя. И не только Рыбникова. У Толстого были практически все фольклорные сборники, когда-либо издававшиеся в России: Кириши Данилова, Бессонова, Снегирева, Сахарова, Худякова, Рыбникова, Даля, Гильфердинга, Шейна (который, кстати, в 1862 году преподавал в Яснополянской школе). А сборник П. Н. Рыбникова сразу же после выхода стал одним из основных пособий в Яснополянской школе.

Учителя свидетельствуют, что ни одна книжка не читалась «с таким интересом, даже жадностью, с которой ребята читали про Илью Муромца, Святогора, про Микулу Селяниновича, Добрыню Никитича». И сам Толстой тоже подчеркивал, что только в былинах из сборника Рыбникова «поэтическое требование учеников нашло полное удовлетворение».

Обращался он к сборнику и позднее, в начале 70-х годов, работая над составлением «Азбуки». Первоисточники всех четырех былин: «Святогор-богатырь», «Сухман», «Вольга-богатырь», «Микула Селянинович», помещенных Толстым в «Русских книгах для чтения», — в сборнике Рыбникова.

Через десять лет после сборника П. Н. Рыбникова вышло не менее знаменитое собрание «Онежских былин» А. Ф. Гильфердинга, и в нем вновь одним из первых стояло имя Василия Петровича Щеголенка. Гильфердинг

Н. В. Нестеров. Толстой и Елишка на охоте близ станции Старогладковской. 1925 г.



опубликовал тринадцать былин сказителя, биографические сведения о нем и портрет. В 1871 году этот же портрет сказителя с его биографией и былинной «Первые подвиги Ильи Муромца» появились в одном из самых массовых по тому времени периодических изданий — «Всемирной иллюстрации» (№ 149). Биография Щеголенка, составленная Гильфердингом, до сих пор остается основным источником сведений о нем:

«Василий Петрович Щеголенок, крестьянин дер. Боярщины Кижской волости, 65 лет от роду²; грамоте не знает; земледелец и вместе с тем сапожный мастер; приобрел склонность к пению былин еще с малолетства, слушая своего деда и в особенности дядю Тимофея, который, будучи безногим, сорок лет сидел в углу, в доме его отца, и занимался сапожной работой. Переняв ремесло дяди, Щеголенок от него же научился и большей части тех былин, которые помнит поныне. Поет он былины не громким, но довольно приятным, хотя уже старческим голосом, соединяя, впрочем, часто в одну былинку разнородные сюжеты и не придерживаясь определенного напева в своем речитативе. Щеголенок был известен г. Рыбникову; осенью 1871 года он побывал в Петербурге. Здесь он прибавил несколько былин к тем, которые он пел собирателю в Кижках и которых тогда не мог хорошенько припомнить; при этом поверен вновь и текст былин, записанных на месте. Все былины записаны «с голоса». Щеголенок, хотя неграмотный, но большой охотник ходить по монастырям и слушать божественные книги; это отзывается отчасти и в тоне его былин».

И «Онежские былины» А. Ф. Гильфердинга Толстой тоже знал. В его записной книжке 1879 года есть выписки из былины Щеголенка «Чурила», опубликованной Гильфердингом.

Но Рыбников и Гильфердинг — далеко не единственные, кому удалось записать и опубликовать тексты В. П. Щеголенка. В разное время на протяжении более четверти века, с 1860 по 1886 год — случай единственный в истории отечественной фольклористики, — шесть собирателей записали от него 31 вариант 14 былин, общей сложностью до трех тысяч стихотворных строк. Среди этих собирателей Рыбников, Гурьев, Гильфердинг, Бессонов, Барсов, Истомина, седьмым можно назвать имя Льва Толстого. А далее добавить имена композиторов «Могучей кучки», почти всех — Балакирева, Мусоргского, Римского-Корсакова, Бородина, Кюи, слышавших олонецкого сказителя и сделавших единственную нотную запись его исполнения (о чем речь

еще впереди). Стоит упомянуть еще один факт: существует портрет В. П. Щеголенка, принадлежащий кисти И. Е. Репина. И написан он в Абрамцеве, в то же лето 1879 года.

Таков был олонецкий крестьянин-сказитель, с которым Лев Николаевич познакомился у Е. В. Барсова.

И то, что познакомился он с ним именно у Барсова, тоже далеко не случайно. У крупнейшего ученого, собирателя и издателя древнейших рукописей, были все основания называть сказителя своим другом. Они были знакомы еще с начала 60-х годов, когда Барсов преподавал логику и психологию на родине Щеголенка — в Олонецкой семинарии³, тогда же в «Олонецких губернских ведомостях» появились его первые публикации памятников народного творчества, рукописных сборников, исследования и статьи о сказителях и «вытницах», в том числе о Щеголенке (в 1861 году). И в дальнейшем, уже в Москве, Барсов неоднократно публиковал тексты, записанные от Щеголенка, с старским о нем, сказитель гостил у него.

II. Лето 1879 года. Ясная Поляна, «grand monde»

О пребывании сказителя в Ясной Поляне есть несколько свидетельств. Прежде всего строки самого Л. Н. Толстого из его письма к В. В. Стасову от 2—3 августа 1879 года, в котором он сообщает:

«У меня гостил лето податель этого письма Василий Петрович Щеголенок, олонецкий мужик, певец былин — очень умный и хороший старик».

О его жизни в Ясной Поляне рассказывают в своих воспоминаниях учитель старших детей писателя В. И. Алексеев и старшие сыновья — Сергей Львович и Илья Львович. Рассказ И. Л. Толстого, которому в ту пору было 13 лет, наиболее полный.

Илья Львович вспоминает⁴:

«Летом 1879 года у нас в Ясной Поляне гостил рассказчик былин Щеголенков.

Его звали по отчеству — Петровичем.

Его манера пересказывать былины была похожа на пение слепых, но в его голосе не было той противной гнусавости, которая в них действовала на меня всегда отталкивающе.

Почему-то я помню его сидящим на каменных ступенях, на балконе, против кабинета отца.

Когда он рассказывал, я любил разглядывать его длинную, жгутами свившуюся седую бороду, и его бесконечные повести мне нравились.

В них чувствовалась глубокая старина и веками наращенная здравая мудрость народа.

Папа слушал его с особенным интересом, каждый день заставлял рассказывать его что-нибудь новое, и у Петровича всегда что-нибудь находилось.

Он был неистощим».

Но Толстой не просто **каждый день** и с **особенным интересом** слушал сказителя и **заставлял рассказывать** что-нибудь новое. В его записной книжке 1879 года рядом со словами, выражениями, оборотами устной народной речи — их сотни, так называемых «языковых заготовок» писателя — одна за другой появляются записи легенд Щеголенка: «Инок», «Соломон», «Каменщик», «Иван Павлов», «Архангел», «Два странника», «Пластида-воин», «Дерево», «Александр, Ерыжкин и Нарышкин»...

Всего 26 легенд.

Эти записные книжки 1879 года — их три — имеют особое значение и в творческом пути, и в исканиях Толстого.

Первые записи появились еще в апреле, когда Толстой, как рассказывают близкие, чуть ли не каждый день стал выходить на старое киевское шоссе, проходившее неподалеку от усадьбы. Там он встречал и подолгу разговаривал со странниками, каликами-перехожими, паломниками, богомольцами. Эти свои прогулки на шоссе он сам полусхотливо называл выездом в «grand monde», то есть в великосветское общество.

Старший сын Толстого, Сергей Львович (в 1879 году ему было 17 лет), в своей книге «Очерки былого» рассказывает:

«В 60-х и 70-х годах по шоссе шло особенно много богомольцев и богомолков — в Киев, Соловки, Троицкую Лавру, к Тихону Задонскому в Оптину пустынь, в Старый Иерусалим и т. д. и обратно. Отец говорил, что немногими из странников руководило благочестие. Люди ходили на богомолье по разным причинам: кому плохо жилось дома, кому хотелось повидать божий мир, кто шел потому, что паломничество уважалось, и т. д....

Отец говорил, что рассказы странников заменяют народу литературу и даже газету. Он любил разговаривать с прохожими, идя по пути с ними, или присев на краю дороги. Некоторые из легенд и рассказы превратились под его пером в художественные произведения. Знание быта рабочего народа, народно-языка, местных наречий, северного, поволжского, украинского, многих поговорок и пословиц — все это он приобрел на шоссе».

О том же свидетельствует и Илья Львович:

«Хождение на шоссе стало теперь не только увлечением, но и потребностью.

— Иду на Невский проспект, — говорил он шутя и иногда пропадал до глубокой ночи.

— Встретил удивительного старика и дошел с ним до Тулы, — рассказывал он, возвращаясь без обеда, часов в десять вечера».

В один из таких выездов в «великосветское общество» Толстой взял с собой Н. Н. Страхова. В письме к Н. Я. Данилевскому от 23 сентября 1879 года тот делился своими впечатлениями ⁵:

«Однажды он повел меня с собою и показал, что он делает между прочим. Он выходит на шоссе (четверть версты от дома) и сейчас же находит на нем богомолков и богомольцев. С ними начинаются разговоры, и, если попадутся хорошие экземпляры и сам он в духе, он выслушивает удивительные рассказы...»

В записную книжку эти рассказы заносятся конспективно, для памяти — в двух-трех словах. И вот что интересно: именно здесь, в этой записной книжке, рядом с записями рассказов странников (она значится под № 9) впервые появляется имя олонечкого сказителя Василия Петровича Щеголенка. Толстой так и записывает:

«Забыто. Олонечкой губернии былинщик. Пел былинку Иван Грозного. Рассказывал про царя и царицу. Царю! звательный. Рассказ про помещика, провалившегося на льду и молившегося последнему Миколу, а *огрухнут, огрухнут*. Молится сам часа 2. «3 листовки» ⁶. Записана его молитва».

И вот сказитель в Ясной Поляне. Толстой каждый день слушает его. В его записной книжке одна за другой появляются записи легенд Щеголенка.

А рядом — выписки из словаря В. Даля, первого словаря **живого великорусского языка**, и из посланий легендарного протопопа Аввакума, незадолго перед тем опубликованные. Уже по самим этим выпискам можно судить, что так поразило Толстого в посланиях неистового протопопа. Вот лишь некоторые из них:

В кольцо скорчил.

Навозная рожка. Протолкал к матери.

Он надо мной *делает за посмех*.

Река мелкая, плоты тяжелые, приставы немилостивые, палки большие, багоги суковатые, кнуты острые, пытки жестокие, огонь да встряска, люди голодные, лишь станут мучить, ино и мрет.

Язык притуп, приплут маленько.

Нестройно в дому.

Исцелел в уме. Вышатаил пробой.

Потонку неколи писать.

Употчивали палками.
Как голубка среди вранов ныряешь.
Растопырится как пузырь в воде.

Такого языка литература ни древнерусская, ни позднейшая не знала, она действительно впервые так ярко заявил о своем существовании в посланиях и житии Аввакума. (И Толстой первым из писателей обратил на это внимание.)

В рассказах странников, в легендах Щеголенка, бывшего, по сути, таким же странником, в посланиях Аввакума Толстой впервые вплотную соприкоснулся с подлинно народной языковой культурой, открыл для себя живой родник народной речи.

«...Он стал удивительно чувствовать красоту народного языка — это свидетельство Н. Н. Страхова из того же письма к Н. Я. Данилевскому, — и каждый день делает открытия новых слов и оборотов, каждый день все больше бранит наш литературный язык, называя его не русским, а *испанским*. Все это, я уверен, даст богатые плоды».

Отметим еще одно обстоятельство: Щеголенок был известен другим как исполнитель былин, и Толстому он тоже пел былины, но Толстой записал от него только легенды...

III. Август, декабрь 1879 года. Петербург. Щеголенок и Стасов

О том, как долго пробыл сказитель в Ясной Поляне, точных сведений нет. Одни считают, что он прожил у Толстого чуть ли не год, другие — полгода, третьи — два-три месяца, месяц.

Сам Лев Николаевич и Илья Львович, во всяком случае, говорят не о месяце, а о лете. У Сергея Львовича Толстого есть еще одно немаловажное уточнение. О 1879 годе он записывает:

«Лето прошло обычным порядком: во флигеле жили Кузминские, приехал Н. Н. Страхов и другие гости. Приезжал вторично и прожил некоторое время сказитель былин В. П. Щеголенков». (Выделено мной. — В. К.)

Так что мы имеем все основания говорить о двух приездах Щеголенка в Ясную Поляну: видимо, в начале лета и позднее — в июле, августе. Можно вполне предположить, что как раз в промежутке он и побывал в Абрамцеве, в гостях у Мамонтова, где все лето 1879 года с семьей жил И. Е. Репин. Так появился известный репинский портрет сказителя, хранящийся ныне в Абрамцевском музее.

Но все это предположения. А доподлинно известно лишь одно: в начале августа 1879 го-

да Щеголенок был уже в Петербурге — у Владимира Васильевича Стасова. И эта поездка его в столицу имеет самое непосредственное отношение к Толстому.

Выше уже приводились строки письма Толстого к Стасову: «У меня гостил лето податель этого письма...» Они являются началом рекомендательного письма, с которым сказитель направился в Петербург к Стасову. А полностью письмо выглядит таким образом:

«1879 г. Августа 2... З. Я. П.

Владимир Васильевич!

У меня гостил лето податель этого письма Василий Петрович Щеголенок. Олонецкий мужик, певец былин — очень умный и хороший старик. У него есть хлопоты в Петербурге и мне пришлось в голову направить его к вам. Мне кажется, что вы более всех моих знакомых сумеете обратить его куда следует и более других охотно похлопочите с ним. — Если же вам не знакомы люди его типа, то он может быть вам и интересен. Желал бы только, чтобы письмо это застало вас в Петербурге здоровым и спокойным духом. Простите, пожалуйста, если это попадет не вовремя. Я жив здоров и все понемножку копаюсь. Прошу верить моему уважению и дружбе.

Л. Толстой».

В. В. Стасов дважды — в августе и в декабре — принимает у себя Щеголенка, берет на себя хлопоты по всем его делам, устраивает его выступления в Географическом обществе, в Археологическом институте, у частных лиц, у себя на квартире — специально для композиторов «Могучей кучки». И о каждом шаге сказителя, о всех его делах и выступлениях он посылает подробнейшие отчеты Льву Николаевичу Толстому.

Два сохранившихся письма Стасова к Толстому — чрезвычайно интересный и важный документ, дающий представление о значении личности олонцкого сказителя, сообщаящий целый ряд новых фактов из истории русской культуры. Так, например, по ним можно дополнить биографии композиторов «Могучей кучки» совершенно точным указанием на их знакомство со знаменитым сказителем.

Первое письмо датировано 12 августа 1879 года. Начинается оно с деловой части — с ответа на непосредственную просьбу Толстого «похлопотать» за Щеголенка.

«Мне кажется, — сообщает В. В. Стасов, — что я довольно ладно исполнил ваше желание, Лев Николаевич, и справил дело Щеголенка. Мы выпалим с двух батарей разом:

во-первых, Славянский комитет ⁷ пошлет ему порцию (сколько еще не знаю, но напишу вам, когда узнаю), и пошлет ему *официально* через губернатора; во-вторых, попросит за него об пенсии того же губернатора, Географическое общество, а может быть, и порцию тоже пошлет. В добавок же, я надеюсь, что и несколько частных лиц сами от себя вышлют ему малую толику. Так что все это вместе будет равняться нескольким годам его пенсии, вместе взятым...»

Но хлопоты о пенсии для сказителя — далеко не единственная забота, которую взял на себя В. В. Стасов. Ему еще хотелось, «как некогда Рябинина», затащить сказителя на заседание Географического общества и «заставить его петь его чудесные песни перед несколькими сотнями человек». А также устроить другие публичные выступления сказителя, особенно перед композиторами «Могучей кучки». Но в августе, в первый приезд Щеголенка в Петербург, это ему не удалось.

«Я очень жалел, — сетует далее В. В. Стасов, — что теперь в разезде все наши музыканты мои знакомые и приятели, вы знаете, новой нашей музыкальной школы, а то бы они тотчас записали за ним иные великолепные мотивы; я слышал песню про царя Ивана (вспомним первую запись самого Толстого о Щеголенке: «Олонецкой губернии былнчик. Пел былинку Иван Грозного...». — В. К.), и хоть я не музыкант родом, а скажу вам, что был потом в таком азарте, что целый день потом у меня играл внутри главный чудный мотив. Я дня через два потом напелвал еще частицу его Балакиреву и Римскому-Корсакову, когда они на минуту приезжали с дач в город. Они бог знает как жалели, что не были тут и не слышали, как я, Щеголенка. Но вот уже как Ганс Сакс ⁸ приедет, я их засажу целых четверо или пятеро с карандашами и линованной бумагой, в Географическом обществе, сведу туда, и они, посмотрите, какие чудеса запишут...»

В этом письме Стасова обращает на себя внимание еще одна фраза, являющаяся ответом на слова Толстого из его рекомендации. После просьбы похлопотать за Щеголенка Толстой вдруг пишет Стасову: «Если же вам не знакомы люди его типа, то он может быть вам и интересен». Эта фраза Толстого и последующая на нее реакция Стасова имеют свой довольно важный в данном случае подтекст. Известно, что в 1868 году В. В. Стасов выступил в нескольких номерах «Вестника Европы» со статьёй «Происхождение русских былин», в которой в буквальном смысле этого слова развенчивал русский эпос. «Как в отношении состава, так и подробностей,

наши былины, — провозглашал он, — довольно тощии и сильно кастрированный экстракт восточных поэм и песен, и притом точно такой же, как и наши сказки».

И вот именно к Стасову Лев Толстой посылает олонецкого сказителя со словами: «если же вам не знакомы люди этого типа...» Потому как действительно ни Стасов, ни большинство других фольклористов того времени не слышали и не видели ни одного живого сказителя. Во всяком случае, в 1868 году, когда появилась его статья, Стасов доверился в ней довольно поспешным выводам последователей так называемой «теории заимствований», которая и сама-то в ту пору делала свои первые открытия «бродячих сюжетов» в мировом фольклоре.

И Стасов довольно четко отреагировал на слова Толстого. В его письме есть прямой ответ на них:

«Такой человек или точнее, такой тип был мне не в диковинку: во-первых, я уже знал *Рябинина*, а во-вторых, мало ли сколько и какого народу я поминутно вижу? И все-таки скажу вам, Лев Николаевич, что эта встреча была мне необыкновенно приятна...»

Трофима Григорьевича Рябинина Стасов мог слышать в декабре 1871 года, когда сказитель выступал в Петербурге по приглашению Географического общества. И, судя по всему, это знакомство не прошло для него бесследно. Через 8 лет, в том же письме к Толстому, он несколько раз вспоминает Рябинина и сообщает о нем такой немаловажный для истории русской музыкальной культуры факт:

«Вот вы, например, не знаете, наверное, какую пользу принес у нас тут *Рябинин*. Его главные мотивы не только что записаны и напечатаны, но еще Мусоргский употребил один великолепный — вот уж подлинно архи-великолепный — мотив его в своего «Бориса Годунова». Это у него поют иноки Варлаам и Мисаил (помните, по Пушкину и Карамзину), когда идут поднимать народ против Бориса. Я вам скажу, это такой мотив, что просто ума помраченье! И как выходит на сцене, — немножко с оркестром, который чуть-чуть то там, то сям его притронет! Кабы вы все это знали, кабы вы все это слышали!...»

Во втором письме В. В. Стасов продолжает рассказ о Щеголенке и, главным образом, о его выступлениях.

«Приехал Щеголенок в октябре, — сообщает он, — и недели 2—3 прожил совершенно понапрасну: все нельзя было состряпать его дело. Наконец, кое-как состряпали. Во-первых, он пел в особо для того созданном собрании Географического общества, куда, при этом

случае, набежало народу человек 300. Слушали смирно и кротко, в том числе и женщины, которых было немало; много тоже аплодировали, а иные (например, Пыпин⁹) и сам председатель Этнографического отделения Майков¹⁰ — брат поэта — следили за текстом по книге Гильфердинга («Заонежские былины»), где напечатаны вместе с портретом Щеголенка и все петые им вещи».

А главное, В. В. Стасов сообщает, что ему наконец удалось собрать и «засадить» композиторов записывать мелодии Щеголенка. Сообщая о других выступлениях сказителя, он пишет:

«...В том числе пел он и у меня, на собрании специально музукусов (Балакирев, Мусоргский, Римский-Корсаков, Бородин, Кюи), и эти господа в несколько карандашей **записывали за ним не только мелодии в главном их скелете, но и во всех изгибах их мельчайших, а это нелегко!**» (Выделено мной. — В. К.)

Более того, эта запись существует. Сам Стасов в том же письме совершенно точно указывает, где она будет опубликована: «Щеголенковские будут нынче тоже изданы (несколько ранее речь шла о мелодиях Рябинына, записанных и изданных Мусоргским. — В. К.), а именно, в «Сборнике», издаваемом Институтом Калачова». О выступлении Щеголенка в Археологическом институте и знакомстве его с известным историком и этнографом Н. В. Калачовым он сообщает в начале письма, после рассказа о его выступлении в Географическом обществе: «На другой день Щеголенка пригласили петь на собрание Археологического института, устроенного здесь вот уже второй год известным, конечно, вам Калачовым. Там он провел весь день у Калачова на квартире и остался до следующего утра».

В 1880 году в «Сборнике Археологического института» (книга 3-я) вместе с сообщением о выступлении Щеголенка и были опубликованы ноты его напевов былин. И в примечании к оглавлению прямо сказано: «...Напевы олонецкого сказителя В. П. Щеголенка... записаны и положены на ноты М. А. Балакиревым и Н. А. Римским-Корсаковым, самая же ноты напечатаны гравером Шмидтом».

А в заключение письма Стасов так сообщил Л. Н. Толстому об отъезде сказителя к себе на родину:

«Щеголенок, несмотря на все уговаривания мои и других, рассудил непременно отправиться восвояси; уверял, что так ему «теплее будет», а то «прозябнуть можно дорогой», а потом еще прибавлял, что дело это ему знакомое, не привыкать стать.

Вот, Лев Николаевич, довольно подробный отчет о человеке, присланном вами к нам. Мне кажется, вы можете быть довольны...»

Лев Николаевич, получив «подробный отчет» В. В. Стасова, судя по всему, был доволен. В письме к Н. Н. Страхову от 11—12 декабря 1879 года (письмо Стасова датировано 5 декабря) он просил его:

«...Поблагодарите Стасова за Петровича и его милое письмо и попросите извинения, если и теперь не отвечу, хотя хочу ответить».

Это последнее свидетельство личных контактов Льва Толстого с олонецким сказителем Василием Петровичем Щеголенком...

IV. «Народные рассказы»

В записных книжках 1879 года — только слова, только фразы, услышанные от других, «языковые заготовки» для произведений еще не написанных; какие мысли волнуют его самого, какие идеи зарождаются — об этом пока ни слова.

Об этом мы прочитаем в «Исповеди».

Узнаем, что именно 1879 год был для него самым мучительным и переломным. Исследователи называют его началом духовного кризиса, идейного переворота — началом отречения Толстого. Сам Толстой называл его своим «вторым рождением».

Великий писатель, уже создавший к тому времени — в свои пятьдесят лет — и «Войну и мир», и «Анну Каренину», провозглашает своим идеалом «жизнь простого народа, который делает жизнь, и тот смысл, который он придаст ей».

И попытается достигнуть его — и в жизни своей, и в творчестве.

«Чем люди живы» — первое произведение из нового цикла, названного Толстым «Народные рассказы». Он открывает его. В основе рассказа легенда «Архангел», услышанная от В. П. Щеголенка.

«Два старика» — рассказ из того же цикла. И он тоже написан на основе легенды олонецкого сказителя.

«Три старца» — еще один из «народных рассказов» Толстого (их всего 22). И в основе его — легенда Щеголенка.

Это рассказы, написанные в 1881—1885 годах. Много позже Толстой вновь вернется к своим записям легенд Щеголенка. Так, уже в 1905 году, через 26 лет после их встречи, появится один из лучших рассказов «Круга чтения» — «Корней Васильев». Записал же он, как уже отмечалось, 26 легенд.

Причем Толстой первый и единственный, кто в то время записал от Щеголенка леген-

ды, лишь в 1882 году три его «мужицкие новеллы» о беглых каторжниках были опубликованы Е. В. Барсовым, а в 1896 году появилась еще одна публикация. Так часто случалось: от исполнителя записывались только былины, только песни, а он мог знать и легенды, и сказки, и пословицы, и поговорки. Щеголенок был известен как исполнитель былин, вполне естественно, что от него ждали и записывали только былины. Даже духовные стихи, наиболее близкие к былинам по манере исполнения, были записаны от него лишь однажды¹¹ (Михаилом Гурьевым, учеником все того же Е. В. Барсова еще по семинарии). Так что о духовных стихах Щеголенка мы тоже можем получить представление. Среди них есть очень оригинальные образцы, например, стих «О Кирике-младенце», который «трехгодый — без двух месяцев» победил самого «Максимьяна — царя-мучителя». Пел Щеголенок и один из самых популярных в народе духовных стихов — о бедном и богатом Лазаре. И популярном в силу своей ярко выраженной социальной окраски. В варианте Щеголенка она особенно подчеркнута. Вот как описывает он встречу богатого брата с бедным, убогим:

Жил во славе богатый,
Он роскошны ясы ел и пил,
Дороги одежды одевал;
А убогой-то Лазарь
Лежит в скорбности гною.
Выходит богатый он за ворота;
Закричит тут убогий Лазарь
Громким голосом:
«Брате мой милый, богач человек!
Христа ради, брате, напой, накорми!
Странное мое тело обуи и одий!»
Сам плюнул богатый
И прочь отошел...

На том свете, как водится, богатый попал в ад, а бедный оказался в «приветном раю». Стали мучить богатого «кряками железными», да еще на специальной колеснице «видьма высоко», чтобы видно ему было оттуда, как блаженствует бедный в раю. И вот не выдержал богатый, закричал брату:

«О брате, мой милый! Убогий человек!
Вступи, родимый, со светла раю.
Сходи-ка ты, брате, к синю морю,
Обмочи свой мизиной перст:
Закропи мои сахарны уста,
Чтобы моей душе не тошно было».

На что бедный ему отвечает из своего-то «пресветлого рая»:

«А помнишь ли, братец,
Помятуешь ли,
Как мы жили на белом свету?
Втыпоры братом ты меня на читал,
Алчного, жадного ты не напитал...»

Толстой слышал от Щеголенка и эти и многие другие произведения устного народного творчества. Есть предположение, что и многие пословицы, поговорки из его записных книжек были услышаны им от Щеголенка, равно как и отдельные слова, обороты, фразы. Без сомнения, от него он записал чисто северные, поморские названия ветров:

Северник, полуденник
Лобач, покачень — боковик.

Василий Петрович Щеголенок был не только былинщиком, но и незаурядным рассказчиком. И первым, кто обратил внимание на его рассказы, был Толстой.

Вспомним фразу из воспоминаний И. Л. Толстого:

«Папа слушал его с особенным интересом, каждый день заставлял рассказывать его что-нибудь новое, и у Петровича всегда что-нибудь находилось».

Е. В. Барсов тоже подчеркивает, что при первом знакомстве Толстой «увлекся сказами и былинами Щеголенка».

Ф. М. Истомин, видевший сказителя незадолго до его кончины, в 1886 году, пишет: «Поделившись с нами еще некоторыми преданиями о местной старине, он стал рассказывать...»

Но до Толстого никто не обратил внимания на эти его сказы, легенды, предания, никому из фольклористов даже не пришло в голову записать их. И действительно, по своим художественным достоинствам эти «мужицкие новеллы» явно уступают другим жанрам фольклора, где традиционные формы, обороты, образы вырабатывались и совершенствовались веками. Здесь же как бы «сырой» материал, еще не прошедший этой обработки.

«Логин приходит, принес сапоги шить. Был у вас старик, голова белая. Был. А вы спросили отколь? С Стебалокши. Лицо бледовато, белые да курчавые. Сыну говорит, узнал. Нет».

Разве может сравниться такой обыкновенный прозаический рассказ со сложнейшими былинными образами, метафорами того же «Грозного царя Ивана» в исполнении Щеголенка:

Когда воцарился грозный царь Иван
Васильевич,
Тогда воссияло на небе солнышко,

Прилож. III.

ГРОЗНЫЙ ЦАРЬ ИВАНЪ ВАСИЛЬЕВИЧЪ.

Медленно. Скорѣе.

Грозный Царь И - ванъ Ва - сль - е - вичъ Во - ла - - ря - си Грозный Царь И - ванъ Ва -
сль - е - вичъ, То - да во - си - и - ло, на не - бѣ со - шьш - ко, То - да

ВАРИАНТЫ ПОСЛѢДУЮЩИХЪ СТИХОВЪ.

I.
II.
III.

ПТИЦЫ. (*)

I. Довольно скоро.

И вочь то кра - . . деть погле по молоч - имъ крым - кань

II.
III.

*) Запись и первоначальное стапи не могли бытъ записаны на правой неопредѣленности нотна, а потому дабы записаны стапи какъ среднимъ.
Довольно Цезарюмъ, С. Петербургъ 30 Декабря 1879 г.

Лет. Н. Павловаго Музыкальн. № 14

Записи напевовъ были
В. П. Щеголенка композиторами
«Могучей кучки».

Тогда рыбы вси на глубь сошли,
Тогда сбежали звери в леса темныи.
Мы сидели да были до конец пальца,
Мы ели да пили до конец столца...¹²

А ведь Толстой имел дело с одним из лучших мастеров былинного эпоса и не воспользовался этим, записал только легенды?..

Правда, все былины, которые знал Щеголенок, к тому времени уже были не только записаны, но и опубликованы, но дело даже не в этом.

Вспомним все те же записные книжки 1879 года, его встречи со странниками, каликами, богомольцами, его «языковые заготовки» — выписки из Даля и Авакума. Все это звенья одной цепи.

Еще в начале 70-х годов, работая над сказками для «Азбуки» (а в нее вошли четыре

«Русские книги для чтения» и четыре «Славянские книги для чтения»), Толстой сообщает в письме к Н. Н. Страхову:

«Я написал сейчас новую статью в азбуку — *Кавказский пленник*... Это образец тех приемов и языка, которым я пишу и буду писать для больших».

Уже тогда, вчитываясь в народные сказки, былины, он пытается полностью «изменить приемы своего письма», говорит, что отныне его идеал — «язык, которым говорит народ и в котором есть звуки для выражения всего, что только может сказать поэт».

Насколько удачно? Об этом можно судить по тому же «Кавказскому пленнику» — одному из бесспорных шедевров Толстого, и таким цифрам: еще при его жизни первая и вторая «Русские книги для чтения» выдержали 28 изданий, третья — 25 изданий, четвер-

тая — 24 издания, подсчитать же последующее количество изданий детских рассказов Толстого из «Азбуки» вообще немислимо.

Но «для больших» он начал писать позже...

В посланиях Аввакума, рассказах странников и легендах Щеголенка Толстой увидел образцы такой живой устной народной речи, которая ни в каких, даже в специальных фольклорных, сборниках не зафиксирована. Из всех жанров фольклора до сих пор наименее изученным остается легенда. Толстой же нашел в легенде то, что он искал все это время: самый «свободный» жанр, не организованный в формы, законы, не канонизированный. Легенды — это всегда рассказ от себя, своими словами. В них есть сюжет, случай, но нет готовых формул — как рассказывать, которые есть во всех других жанрах, включая сказовые — сказки. И формул обязательных, иначе разрушатся законы жанра, получится не сказка, а рассказ или пересказ. Подобное происходит и с былинами, когда текст забывается, исполнитель не может вспомнить его, начинает пересказывать своими словами. В легенде он должен рассказать случай сам, у него нет готовых и обязательных формул, не потому, что легенды возникли позже всех других жанров, имеющих таковые, быть может, как раз наоборот — раньше.

Два писателя впервые обратили внимание на народные легенды, увидели близость их к живому разговорному языку — Толстой и Лесков. Единственное издание «Русских народных легенд» А. Н. Афанасьева (1859) было настольной книгой Н. С. Лескова. У Льва Толстого она тоже была. Из сборника Афанасьева в своих «народных рассказах» он использовал три легенды.

И еще — был олонечский сказитель Щеголенок, легенды, услышанные и записанные непосредственно от него.

Среди легенд Щеголенка, записанных Толстым, есть и библейские, и евангельские сюжеты, принадлежащие к числу так называемых «бродячих», но большинство относится к «местным», бытовавшим только на русском Севере, а зачастую лишь в данной местности — селе, деревне, и названные достаточно точно — «мужицкие новеллы».

Таков рассказ Щеголенка «Иван Павлов», в котором все более чем реально. Подобный случай наверняка был, причем Щеголенок рассказывает как очевидец, рассказывает от первого лица: «Я сижу, сучу пряжу...» В большинстве своем местные легенды так и возникали: на основе вполне реальных случаев, событий, дополненных народной фантазией, элементами таинственности, сказочности.

У Щеголенка таинственно само появление старика — «пришел старик рослый, белый». Нигде не говорится, что это тот самый богач Иван Павлов, который некогда «решил свое житье», узнав, что его «жена сблудила, принесла ребеночка». И вот через много лет появляется белый старик.

ЛЕГЕНДА В. П. ЩЕГОЛЕНКА «ИВАН ПАВЛОВ» В ЗАПИСИ Л. Н. ТОЛСТОГО

Богач б[ыл] Клинов, жил в Пет[ербурге], бурлачил, купился в биржу. И братан в биржу. Сделал судно брату Иван Павлов. Подряды водил. В Вологду съехал — откуп винный. Бумажек пуд свез. Толкался там. А жена сблудила, принесла ребеночка. 15 душ своего семейства, ровные, молодые, как жеребцы. Слух прошел. Приехал сосед в Пет[ербург], просил местечко. Хорошо, в кабаке. Я слышал, что Голафтеровна несет. На святках вырубку сделал 500 р. в день. Сдал хозяину. Приехал другой раз. А всё корнит в уме, что жена несет. Осмелось сказать. Хозяйка с брюхом. Бутылочку! Головой трясет. Ну, говорит, первый дом мой, а жена что сделала. Молодость горами качает. И ты не так жил. Жена родила. Пришел в кабак. Я, говорит, качнись своей стороной. Ради жениного посмеха. И запел «не кукушечка в сыром бору куковала» и заплакал. И решил свое житье. — Прошло много лет. Я сижу, сучу пряжу. Дядя[на] шьет. Пришел старик рослый, белый. Отколе. Со Стебалокши. Глянул. Нет, ты не Стебалокши. Дядина подала милостыню, хлеба. Ни слова не сказал. Шел в дом свой, а семейство разделено. И попросился ночевать. Внизу пустили. Привечают ли нищих. Логин ужином кормит. Ребятки, Марина и Василий, прискакивают. Детушки, подьте сюда, по колечку дам. Есть вверху детушки. Есть. Дам и там. Логин приходит, принес сапоги шить. Был у вас старик, голова белая. Был. А вы спросили отколь? С Стебалок[ши]. Лицо блудовато, белые да курчавые. Сыну говорит, узнал. Нет. Егорка впряги коней и ступай. Искал, покажи старика с белыми до плеч, сказал, с Стебалокши, хотел в Толовоку проехать. Ввалили в Толовоку. Искал, нашел у хозяина. Ипу старика пропащего. А старичок вот помер. Тужил, попа взяли и помер. Накрыго тряпкой. И не мытой.

Запись Толстого не так-то легко прочесть, она требует дополнительной расшифровки. Что вполне объяснимо: он записывал сразу же за рассказчиком и записывал для себя, стараясь в точности сохранить лишь то, что

было для него особенно важно, — речевые обороты, наиболее выразительные, необычные слова, и опуская связки, понятные из контекста.

О легенде «Иван Павлов» Толстой вспомнил через 18 лет. В списке сюжетов, занесенных им в дневник 13 декабря 1897 года, значится: «Рассказ Петровича (В. П. Щеголенка) про мужа, умершего странником». Но написан он был еще позднее, 22—25 февраля 1905 года. Это один из широко известных рассказов позднего Толстого — «Корней Васильев».

Сюжет щеголенковской легенды в нем почти полностью сохранен. Корней Васильев, так же как и Иван Павлов, узнает от соседа (в трактире) о неверности жены. Так же как Иван Павлов (в легенде), он «решил свое житье» — ушел неведомо куда.

«Прошло много лет. Я сижу, сучу пряжу» — так начинается в легенде рассказ о таинственном появлении седого старика. Незнанным возвращается в свой дом и герой рассказа Толстого Корней Васильев. А в конце оба они, Иван Павлов и Корней Васильев, так

и умирают, не узнавшие своими собственными детьми.

Не менее известен и другой рассказ Л. Н. Толстого — «Два странника», в котором он использовал сюжет легенды Щеголенка «Два старика».

Легенда. «Два странника собрались в Иерусалим. Собрали денег. Пришел день. Один не пошел. Один пошел...»

Рассказ. «Собрались два старика Богу молиться в Старый Иерусалим. Один был богатый мужик, звали его Ефим Тарасыч Шевелев. Другой был небогатый человек, Елисей Бодров...»

Экспозиции почти полностью совпадают. Только Толстой уже с первых фраз начинает вводить социально-психологические детали: кто, какие старики, а далее: как, каким образом собрали они деньги на дорогу. Он не пропускает ни одной возможности для художественной детализации, развертывания характера, ситуации.

И еще одна интересная деталь. Фамилия одного из стариков Шевелев. Есть сведения, что фамилия самого сказителя была Шевелев,

М. В. Нестеров. Иллюстрация к рассказу Л. Н. Толстого «Два странника». 1925 г. Акварель.



а Щеголенок — это прозвище: от щегла, щеголя. Толстой вполне мог знать об этом. Такое совпадение фамилий вряд ли случайно.

V. Две записи одной легенды. «Чем люди живы»

Но, может быть, таковы только записи, сами же рассказы Щеголенка были намного полнее, Толстой уже после мог многое восстановить по памяти?

У нас есть редчайшая возможность «проверить» Толстого — и точность его записей, и принцип их использования. Дело в том, что щеголенковская легенда «Архангел» существует в четырех вариантах:

1. Запись Л. Н. Толстого от В. П. Щеголенка.

2. Запись той же самой легенды от В. П. Щеголенка, сделанная несколько позднее священником Олонецкой губернии (его имя не указано).

3. Запись этой легенды, сделанная в Воронежской губернии А. Н. Афанасьевым и опубликованная в его сборнике «Русские народные легенды» (М., 1859).

4. Рассказ Л. Н. Толстого «Чем люди живы», созданный на основе легенды В. П. Щеголенка.

Два текста стоит привести полностью: запись Толстого и запись священника. По ним лучше всего видно, как, насколько точно записывал Толстой, как внимателен он был именно к языку. В то время как священник волей-неволей исправлял «неправильности» крестьянской речи, переводил ее на общепринятый литературный язык (что зачастую происходит и поныне при публикациях фольклорных памятников). И все-таки некоторые выражения в их записях совпадают. Они выделены курсивом.

ЛЕГЕНДА «АРХАНГЕЛ», ЗАПИСАННАЯ Л. Н. ТОЛСТЫМ ОТ В. П. ЩЕГОЛЕНКА

Арх[ангел].

В городе родила жена 2-х дочерей и стала слаба.

Господь посылает арх[ангела], вынь у родилуцу душу. Арх[ангел] вышел, младенцы по груди плавают. Вернулся назад, пожалел. Родил[ца] лежит в углу. Девочки п[лавают] п[о] г[руди]. Подя[яля] на небо. Опять посылает. Без отца мат[ери] вырастут, без Б[ожьей] милости не вырост[ут]. Арх[ангел] исполни[л], не может подняться, крылья отпали. Родилуцу похорон[или], дети остались. Брюхо



Н. Н. Ге. Иллюстрация к рассказу Л. Н. Толстого «Чем люди живы». 1886 г.

питать надо. Пришел к мастеру и работает. Много показывать не нужно. Год вскружился. Раз ухмылил подмастерье. Год другой на проходе, приходит барин: Спей сапоги, чтоб год стояли, не кривились, не поролись. Можнo. Опять ухмылил. Сложил кожу, скроил и шьет одним концом босовики. Хозяин не скажет. Утром приходит лакей, гов[орит]: Барин кончался, надо босовики. Арх[ангел] подает. И товар остальной. За работу что? Ничего. И 3-й год вскружился. Подмаст[ерь] всё работает. Что спросишь, ответит, а сам не говорит. Хозя[ин]: Отчего в 1-й год проходе, ты ухмылил? А шли девицы. А что? Мать родила в одном брюхе. Я не вынул души. Не послушался. Расска[з] весь. Без о[тца] б[ез] м[атери] д[ети] в[ы]ростут, б[ез] Б[ожьей] м[илости] н[е] в[ы]ростут. И вот они выросли. Отчего 2-й год? А барин приходил, ч[тобы] г[од] с[тояли], н[е] п[оролись], не к[ривились], а лак[ей] п[ришел], б[осовики]

спр[ашивает]. Ну коли ты архангел. Ты ставишься на крышу и поешь хорошо. Можешь спеть Хер[увимскую] в голос, в 1/2 г[олоса]. В полголоса запел, заколебалась мастерская, и он пал на колени и руки. Пришло воскрес[енье]. Херув[имский] стих, как нужно запеть. Разинулся потолок и подмастерье поднялся и крылья явились и остал[ось] назван[ье] Архангельск».

В сборнике «Русские народные легенды» А. Н. Афанасьева опубликовано еще два варианта этой легенды (ее сюжет из «бродячих»), но со щеголенковской они совпадают только сюжетно. В афанасьевских записях ангел работает не у сапожника, а у попа, при этом приводится такая колоритнейшая сцена:

«Нанялся ангел в батраки у попа. Живет у него год и другой; раз послал его поп куда-то за делом. Идет батрак мимо церкви, остановился и давай бросать в нее камень, а сам норовит, как бы в крест попасть. Народу собралось много-много, и принялись все ругать его, чуть-чуть не прибили! Пошел батрак дальше. Шел-шел, увидел кабак и давай на него богу молиться. «Что за болван т а к о й», — говорят прохожие. На церковь камень швыряет, а на кабак молится; мало бьют таких дураков!»

Объясняется же все потом: батрак на кресте увидел черта (и стал камнями стонять его), а над кабаком — ангела. Этой детали у Щеголенка нет, зато есть другая особенность, в которой чувствуется его собственная обработка. Легенда об архангеле очень удачно сведена к происхождению города Архангельска и таким образом стала «местной».

Вторая запись легенды В. П. Щеголенка была опубликована в чисто богословском журнале «Памятники древнерусской церковно-учительской литературы» (вып. 2-й, Спб., 1896, с. 215—216). Перед текстом легенды и после нее даются пояснения и комментарии, которые тоже заслуживают внимания. В начале, в предисловии, сообщается: «Русская (легенда) известна по сборнику легенд Афанасьева, и, кроме того, мы имеем ее еще в особом пересказе известного олонецкого певца-сказителя Щеголенкова, обобщенном нам одним священником Олонецкой губернии». А в послесловии добавляется: «Названный олонецкий певец-сказитель Щеголенков был выписан в Москву в 1883—84 г. (как видим, сведения не совсем точные. — В. К.), а затем побывал в имении гр. Толстого «Ясная Поляна». Толстой записал с его слов несколько рассказов, в том числе и легенду об ангеле (как передал сам Щеголенков по возвращении

оттуда сообщившему нам эти сведения местному священнику). В рассказе «Чем люди живы» Толстой переработал эту легенду...»

ЛЕГЕНДА «АРХАНГЕЛ», ЗАПИСАННАЯ ОТ В. П. ЩЕГОЛЕНКА ОЛОНЕЦКИМ СВЯЩЕННИКОМ

«Родила женщина двух младенцев-девочек. Господь бог послал ангела своего выпустить у этой женщины душу. (У Толстого: «вынь у родилицы душу».) Прилетел ангел Господен к женщине, увидел у нее двух малюток и пожалел их (у Толстого: «Младенцы по груди плавают»): не взял души у женщины. Явился на небо ангел Божий. Спросил у него Господь Бог: «Ангел Божий, взял ли душу женщины?» — «Нет, Господи, — отвечает ангел Божий, — жаль стало мне ее самой и ее малюток». В другой раз послал Господь ангела сего взять душу женщины. И опять пожалел ангел женщину и деток ее. И в третий раз послал Господь Бог. того же ангела взять душу у женщины — и отнял Господь бог у ангела крылья, и он упал на землю. Очувившись на земле, он должен был позаботиться о том, чтобы как-нибудь прокормить самого себя. (У Толстого лаконично: «Брюхо питать надо».) Вот идет он в город, видит сапожную мастерскую, входит... сидят несколько рабочих, и хозяин с ними. «Ты хозяин?» — обращается он к сапожнику. «Я», — отвечает тот. «Возьми меня в рабочие». — «Ладно, — говорит сапожник, — садись, работай». Садится, работает. Шьет день, шьет неделю, шьет месяц и год... говорит мало, а все шьет и шьет, никуда не ходит, только в праздничные дни ходит в церковь к утрени и обедне, а то и к вечерне — и никогда не смеется, только раз в течение года заметил хозяин, что он улынулся. Проходит второй год и в этом году хозяин только раз заметил улыбку своего рабочего, когда барин заказал шить сапоги, чтобы ходить в них год. Хозяин дал шить подмастерью, а тот раскроил босовики и стал шить одним концом через край, — как шьют на покойников. Увидела хозяйка и сказала хозяину, что не так шьет. Завопил хозяин: «Что ты сделал?» — говорит он подмастерью... Вдруг приезжает слуга от барина и говорит, что барин помер на обратном пути и нужно шить босовики, а не сапоги, — босовики же были уже готовы... Минул еще год, и опять только раз улынулся рабочий. Тогда хозяин спросил: «Кто ты такой? И что значит, что ты только три раза *ухмылился*» (улыбнулся — так в скобках поясняет сам священник необычное слово). Тот

отвечает: «Я был ангел Божий и послал меня Господь Бог взять душу женщины», — и рассказал все, что было и случилось. «А три раза я улыбнулся вот почему. В первый раз я улыбнулся, увидав малюток, проходивших мимо нашего окна: я вспомнил милость Божию к людям. Во второй раз я улыбнулся потому, что пришел заказчик заказывать сапоги на год, а сам доживал последний день на земле. В третий раз я улыбнулся от того, что увидел бывших детей-малюток подростками и». — «А как узнать, что ты ангел Божий, — спросил хозяин, — запой-ка херувимскую песню?» Бывший ангел спросил: «А как запеть: во весь ли голос, или средним, или тихо?» — «Средним», — сказал хозяин. Запел ангел, запел... Заплаталась хранина-мастерская, и упал хозяин от страха и умиления... В первый праздничный день после этого попросил этот бывший ангел хозяина своего сходить к обедне. Согласился тот, и когда во время обедни запел херувимскую песню, хозяин увидел, что раскрылся верх церкви и поднялся на небо ангел Божий, получив от Господа крылья. С тех пор град сей стал называться Архангельск, а преж сего он назывался иначе».

В рассказе «Чем люди живы» несколько сцен почти полностью совпадают с легендой. Особенно характерно совпадение в сцене с приходом барина.

В легенде: «Год-другой на проходе, приходит барин: Сшей сапоги, чтоб год стояли, не кривились, не поролось. Можно. Опять ухмылил. Сложил кожу, скроил и шьет одним концом босовики. Хозяин не скажет. Утро приходит лакей, говорит: барин кончался, надо босовики. Архангел подает...» Предельно лаконичная запись, полностью передающая динамику разговора.

В рассказе: Сцена с баринком здесь тоже одна из центральных, Толстой выписывает ее детально, тщательно.

«День ко дню, неделя к неделе, *вскружил* ся и год.

...Сидят раз по зиме Семен с Михайлой, работают, подъезжает к избе тройка с колокольцами возок. Поглядели в окно: остановился возок против избы, соскочил молодец с облучка, отворил дверцу. Вылезает из возка в шубе барин. Вышел из возка, пошел к Семенову дому, вошел на крыльцо. Выскочила Матрена, распахнула дверь настежь. Нагнулся барин, вошел в избу, выпрямился, чуть головой до потолка не достал, весь угол захватил.

Встал Семен, поклонился и дивуется на барина. И не выдывал он людей таких. Сам

Семен поджарый, и Михайла худощавый, а Матрена и вовсе, как щепка сухая, а этот — как с другого света человек: морда красная, налитая, шея, как у быка, весь, как из чугуна вылит».

Это лишь появление барина. Далее Толстой воспроизводит его разговор с Семеном про сапоги:

« — ...Можешь ты из этого товара на мою нугу сапоги шить?

— Можно, ваше степенство.

Закричал на него барин:

— То-то «можно». Ты понимай, ты на кого шьешь, из какого товару. Такие сапоги мне шей, чтоб *год носились, не кривились, не поролось*. Можешь — берись, режь товар, а не можешь — и не берись и не режь товару. Я тебе наперед говорю: распорются, скривятся сапоги раньше году, я тебя в острог засажу; не скривятся, не распорются до году, я за работу десять рублей отдам».

Так из одной фразы Толстой развертывает целую сцену, несколько раз обыгрывая слова, взятые из легенды Щеголенка: «Сшей сапоги, чтоб год стояли, не кривились, не поролось». А священник их выпустил, они показали ему необязательными.

В легенде, услышав эти слова, архангел «ухмылил». В рассказе эта сцена тоже развернута, дана в диалогах:

«...Михайла на барина и не глядит, а усталился в угол за баринком, точно вглядывается в кого. Глядел, глядел Михайла и вдруг улыбнулся и просветлел весь.

— Ты что, дурак, зубы скалишь? Ты лучше смотри, чтобы к сроку готовы были.

И говорит Михайла:

— Как раз поспеют, когда надо».

Сохранил Толстой и следующий эпизод, но показал его еще более усложненно, драматизированно, через реакцию сразу двух действующих лиц — сапожника и его жены Матрены.

В легенде: «сложил кожу, скроил и шьет одним концом босовики. Хозяин не скажет». Запись священника этого эпизода несколько подробнее: «Хозяин дал шить подмастерью, а тот раскрыл босовики и стал шить одним концом через край, — как шьют на покойников. Увидала хозяйка и сказала хозяину, что не так шьет. Завоил хозяин».

В рассказе: «Не ослушался Михайла, взял товар барский, разостлал на столе, сложил вдвое, взял нож и начал кроить».

Подошла Матрена, глядит, как Михайла кроит, и дивится, что такое Михайла делает. Привыкла уж и Матрена к сапожному делу, глядит и видит, что Михайла не по-сапожному товар кроит, а на круглые вырезает.

Хотела сказать Матрена, да думает себе: «Должно не поняла я, как сапоги барину шить; должно, Михайла лучше знает, не стану мешаться».

Скроил Михайла пару, взял конец и стал сшивать не по-сапожному, в два конца, а одним концом, как босовики шьют.

Подвиглась и на это Матрена, да тоже мешаться не стала. А Михайла всё шьет. Стали полудновать, поднялся Семен, смотрит — у Михайлы из барского товару босовики сшиты.

Ахнул Семен. «Как э т о, — думает, — Михайла год целый жил, не ошибался ни в чем, а теперь беду такую наделал? Барин сапоги вытяжные на ранту заказывал, а он босовики сшил без подошвы, товар испортил. Как я теперь разделаюсь с бариним? Товару такого не найдешь?»

И говорит он Михайле:

— Ты что же это, говорит, милая голова, наделал? Зарезал ты меня! Ведь барин сапоги заказывал, а ты что сшил?»

Нетрудно заметить, насколько подробно и со знанием дела Толстой выписывает все, что касается сапожного дела. И в данном случае сказало уже его личный опыт: как раз во время работы над рассказом он осваивал сапожное ремесло.

Продолжение, точнее кульминация, эпизода совпадает во всех трех вариантах, но Толстой опять же и здесь максимально использует все возможности, чтобы психологически обогатить, насытить рассказ.

В легенде: «Утром приходит лакей, говорит: Барин кончался, надо босовики. Архангел подает».

В рассказе: «Только начал он выговаривать Михайле — грох в кольцо у двери, стучится кто-то. Глянули в окно: верхом кто-то приехал, лошадь привязывает. Отперли: входит тот самый малый от барина.

— Здорово!

— Здорово. Чего надо?

— Да вот барыня прислала об сапогах.

— Что об сапогах?

— Да что об сапогах! сапог не нужно барину. Приказал долго жить барин.

— Что ты?

— От вас до дома не доехал. В возке и помер. Подъехала повозка к дому, вышли высаживать, а он как куль завалился, уж и закоченел, мертвый лежит, насили из возка выпростали. Барыня и прислала, говорит: «Скажи ты сапожнику, что был, мол, у вас барин, сапоги заказывал и товар оставил, так скажи: сапог не нужно, а чтобы босовики на мертвого поскорее из товару сшил. Да до-

ждись, пока сошьют, и с собой босовики привези». Вот и приехал».

Использовал Толстой и другие эпизоды легенды, но композиционно его рассказ построен несколько иначе. Легенда начинается с того, как архангел ослушался господя, не «вынул у родилицы душу», пожалел ее, за что и был наказан, «крылья отпали у него». Все это как развязку, объяснение Толстой переносит в конец, а начинает рассказ с того, как подвыпивший сапожник Семен наталкивается на дороге на голого, замерзающего человека. О том же, что это архангел, что его наказал господь, мы узнаем уже в конце рассказа. Таким образом, Толстой завязку сделал развязкой, оставив при этом в центре сцену с бариним в сапожной мастерской.

При сопоставлении все может показаться очень просто: ну, взял, ну, дополнил, расширил, выписал!.. О том же, как трудно давалась Толстому такая именно простота, можно судить по такому факту: сохранились 33 рукописи рассказа «Чем люди живы», из них 22 Толстой переписал набедро сам, а одиннадцать — копии с его поправками и переделками. Но и это еще не все — еще четыре раза он правил рассказ в корректурах.

Рассказ «Чем люди живы» появился почти одновременно с «Исповедью», и так же, как «Исповедь», он был воспринят по-разному. Теми, кто принимал нового Толстого, — восторженно: теми, кто не принимал его, — резко отрицательно.

Среди тех, кто принял рассказ, были два великих русских художника — Илья Ефимович Репин и Николай Николаевич Ге. И оба они иллюстрировали его. Два рисунка И. Е. Репина появились в том же 1881 году: «Встреча ангела с сапожником Семеном у часовни» (Репин сделал два рисунка этого сюжета) и «Ангел у сапожника Семена в избе». В 1889 году художник дополнил их еще одной иллюстрацией — «Сапожник Семен снимает мерку с ноги барина». А цикл иллюстраций Н. Н. Ге появился в 1886 году, даже был издан отдельным альбомом. Известно, что они очень нравились самому Толстому, а в истории русской графики относятся к числу ее высочайших достижений.

Так что и в истории русского изобразительного искусства В. П. Щеголенок оставил след.

VI. «ЗАЛОГ ВОЗРОЖДЕНИЯ В НАРОДНОСТИ»

«Я ограбил свои записные книжки, чтобы написать «Власть т ь м ы», — признавался Толстой Поллю Буайе.

Драма «Власть тьмы» написана осенью 1886 года, а записные книжки Толстой имеет в виду все те же — весны, лета 1879 года.

Фраза десятилетней Анютки, которую она повторяет чуть ли не при каждом своем появлении, реплика: «однова дыхнуть» — из записной книжки 1879 года. Равно как и десятки других. Можно только удивляться, с каким мастерством вводит их Толстой в речь Петра, Акулины, Никиты, Анисьи, Матрены.

Слова из записной книжки выделены: «Кобель потрясучий, право» — называет Анисья Петра. «Зачиврел, зачиврел твой-то старик», — говорит Матрена Анисье о том же Петре. А вот наиболее характерные выражения из речи других героев:

У меня язык помягче.

Оглошки не давай.

А как еще **окалуживает-то** дочиста.

С глушиной она, это точно.

Не малина, **не опанет.**

Намедни в **косы** руками увяз, насилу вырвалась.

Измадел как.

Пыху-то сбавишь.

Сожгло нутро. Ровно **буравком сверлит.**

Тоже **остробучился, как баба.**

Тетка Матрена **терга, терга, да пере-терга.**

Не **паит** дело-то.

Ишь, подлая, **загваздала** как.

Чего **кауришься-то?**

Петровы **кости-то дергаючи.**

Измывался он надо мной с **высюгой** своей.

Примеры можно продолжить и другими выписками и другими произведениями, в которых Толстой использовал свои «языковые заготовки».

Так что Н. Н. Страхов оказался прав, когда писал в сентябре 1879 года о языковых открытиях Толстого:

«Все это, я уверен, даст богатые плоды».

Но в данном случае не менее важно и другое — сам факт обращения великого писателя земли русской к народному творчеству и народному слову, живому источнику языка народа. Толстой поставил перед собой вполне конкретную цель: научиться писать по-новому, пройти «школу» народной словесности, устной речи народной, понять и усвоить ее законы.

И он достиг этой цели.

Недаром уже в наши дни Леонид Максимович Леонов обратил внимание на особую ценность именно малой прозы Толстого,

назвав его рассказы, созданные на основе легенд и преданий, «образцами жанрового лаконизма и простоты». «В шемяще-человеческом говоре и х, — подчеркивает Л. М. Леонов. — слышится столь несвойственный Толстому голос странника, хлебнувшего из обманчивой чаши бытия и обретшего, наконец, покой от преходящих обольщений света. У всех бывалых народов найдется по бочонку такой живой воды, к которому, и помимо кораблекрушений, полезно иной раз прильнуть пересохшими устами»¹³.

Встреча с олонеким сказителем, его легенды оставили ощутимый след в творческом пути Толстого. И все-таки сами идеи и мысли возникли значительно раньше, были результатом многолетних раздумий и наблюдений.

В 1851 году молодой волонтер Кавказской армии, еще только пишущий «Детство», заносит в дневник свое наблюдение:

«У народа есть своя литература — прекрасная, неподражаемая, но она не подделка, она выпевается из среды самого народа».

И первые свои фольклорные записи он сделал там же, на Кавказе, осенью 1853 года. Более чем за четверть века до Щеголенка Толстой записывает в дневник «изустные рассказы» гребенского казака Епифана Сехина (Епишки, а в «Казаках» — Ерошки), отмечая при этом особенности языка: «Еще восклицание в родительном падеже: «Какого гора!»

От 80-летнего Епишки он записывает редчайший вариант русской былины, бытовавшей на Тереке, которую ни до него, ни после него не удалось записать ни одному фольклористу. И в этом смысле в науке запись Толстого считается открытием.

В начале 70-х, после завершения «Войны и мира», Л. Н. Толстой, по его собственному признанию, находился «в мучительном состоянии сомнения, дерзких замыслов невозможного или непосильного».

Среди этих «дерзких замыслов» — замысел романа о русских богатырях и драмы о богатыре Даниле Ловчанине. Сохранились наброски Толстого основных сюжетных коллизий и характеров Ильи Муромца, Василия Буслаева, Алеши Поповича, Михайлы Потыка, Ивана Годиновича, Даниила Ловчанина, Чурилы Пленковича. Правда, наброски очень краткие (но с таких же начиналась «Война и мир»):

«Михайла Потык

1) Гуляка, соблазнен Лебедью Белою. И с ней.

2) Лебедь Белая изменяет для короля. Михайло окаменеваает, но Королевна оживает его.

3) Михайло с ней уединяется и исцеляет ее.

Данила Ловчанин.

Жена его — свозченица Добрыни, верна мужу; и он, и она гибнут от похоти князя».

О замысле романа и драмы о Даниле Ловчанине более подробно сообщает Софья Андреевна Толстая. В ее дневнике есть запись (14 февраля 1870 года), относящаяся как раз к этому времени — завершения «Войны и мира»¹⁴.

«Он... много думал, и мучительно думал, говорил часто, что у него мозг болит, что в нем происходит страшная работа; что для него все кончено, умирать пора и прочее. Потом эта мрачность прошла. Он стал читать русские сказки и былины. Навел его на чтение замысел писать и составлять книги для детского чтения для четырех возрастов, начиная с азбуки. Сказки и былины приводили его в восторг. Былина о Даниле Ловчанине навела его на мысль написать на эту тему драму. Сказки и типы, как, например, Илья Муромец, Алеша Попович и многие другие, наводили его на мысль написать роман и взять характеры русских богатырей для этого романа. Особенно ему нравился Илья Муромец. Он хотел в своем романе описать его образованным и очень умным человеком, происхождением мужик и учившийся в университете. Я не сумею передать тип, о котором он говорил мне, но знаю, что он был превосходен».

Замысел не был осуществлен, сам Толстой относил его к неосуществимым, но идеи остались. И главная среди них, к которой его постоянно влекли «мечты невольные», — необходимость обращения к народному творчеству.

В марте 1872 года он вновь запишет свои мысли по этому поводу:

«...Ни одному французу, немцу, англичанину не придет в голову, если он не сумасшедший, остановиться на моем месте и задуматься о том — не ложные ли приемы, не ложный ли язык тот, к[оторым] мы пишем и я писал; а русский, если он не безумный, должен задуматься и спросить себя: продолжать ли писать, поскорее свои драгоценные мысли стенографировать, или вспомнить, что и *Бедная Лиза* читалась с увлечением кем-то и хвалилась, и поисках других приемов и языка. И не потому, что так рассудил, а потому, что противен этот наш теперешний язык и приемы, а к другому языку

и приемам (он же и случился народный) *влекут мечты невольные*».

Интересно сравнить эти мысли Толстого с дневниковыми записями Михаила Михайловича Пришвина, писателя, начинавшего свой творческий путь с фольклорных записей, с усвоения поэтики народной речи на родине Щеголенка. 12 октября 1928 года М. М. Пришвин записывает:¹⁵

«Любимые мной в русской литературе вещи всегда казались письменной реализацией безграничных запасов устной словесности многомиллионного неграмотного русского народа». И далее продолжает развивать свою мысль: «У нас не Франция, где народная устная словесность давно уже выпита литераторами, и народ сам в своей устной практике питается уже литературной речью».

В конце 70-х годов, после «Анны Карениной», Толстой вновь обращается к истории. Среди его новых замыслов сначала роман о декабристах, потом о Петровской эпохе, стрельцах, наконец, о расколе. Толстой собирает материалы, добывается допуска в архивы, договаривается о поездке в Соловецкий монастырь, знакомится с историками. И среди них с С. М. Соловьевым и Е. В. Барсовым. Чем это закончилось, мы знаем: у Барсова Толстой встретился с олонекским сказителем...

И вновь вспомним его запись 1851 года: **«У народа есть своя литература... она выпевается из среды самого народа».**

В «мужицких новеллах» Щеголенка он воочию столкнулся с этой литературой. И попытался создать свои «народные рассказы».

А чисто теоретически он предначертал и даже изобразил графически свой путь тоже заранее, в письме к Н. Н. Страхову 3 марта 1872 года:

«...Заметили ли вы в наше время в мире русской поэзии связь между двумя явлениями, находящимися между собой в обратном отношении: упадок поэтического творчества всякого рода — музыки, живописи, поэзии, и стремление к изучению русской народной поэзии всякого рода — музыки, живописи и поэзии. Мне кажется, что это даже не упадок, а смерть с залогом возрождения в народности. Последняя волна поэтическая — парабола была при Пушкине на высшей точке, потом Лермонтов, Гоголь, мы грешные, и ушла под землю. Другая линия пошла в изучение народа и выплывает, Бог даст, а пушкинский период умер совсем, сошел на нет.

Вы поймете, вероятно, что я хочу сказать.

Счастливы те, кто будут участвовать в выплывании. Я надеюсь».



Рисунок Л. Н. Толстого из письма к Н. Н. Страхову.

У каждого из писателей: у Пушкина, Го­голя, Некрасова, Достоевского, Лескова, Горького, Блока, Есенина, Пришвина, Шолохова, Леонова — свой путь «возрождения в народности».

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ В. А. Гиляровский. Избранное в 3-х томах. Т. 3, с. 498—499. М., 1960.

² По имеющимся сведениям, В. П. Щеголенок (часто писали Щеголенков) родился в 1805 году, а умер — в 1886-м. Последним из фольклористов (в 1886 году) с ним встречался Ф. М. Истомин, так описывающий эту встречу: «Почтенного сказителя Василия Петровича Щеголенка, хорошо известного Географическому обществу и даже певшего свои былины в зале его в 1879 году, мы посетили на месте его жительства в дер. Боярщине Петрозаводского

уезда, в Заонежье. Сильно уже одряхлевший, свой солидный вклад в эпическую старину он мог на этот раз дополнить лишь одной былинной. Поделившись с нами еще некоторыми преданиями о местной старине, он стал рассказывать о своих поездках по разным городам России и о пребывании своем в столицах; эти последние рассказы, видимо, доставляют ему уже наибольшее удовольствие, напоминая о пережитых впечатлениях, выпадающих на долю далеко не всякого крестьянина. Это свидетельствует, что Василий Петрович совершил уже все, что мог, на поприще хранения эпической старины. Преклонная старость и дряхлость делают свое дело. «Пожил я, — за-

Своим путем последовательно и до конца шел Лев Николаевич Толстой. А среди учителей его, наставников на этом пути был олонечский крестьянин, сказитель былин Василий Петрович ЩЕГОЛЕНОК.

ключает он свои рассказы, — по-видал свету, испытал и почету, пора бы и мне теперь туда, за стариками».

³ Е. В. БАРСОВ (1836—1917) родился в семье священника в селе Логиново Череповецкого уезда Новгородской губернии, закончил духовное училище, семинарию, академию и лишь в начале 70-х годов был приглашен в Москву — библиотекарем Румянцевского музея. О своих «университетах», начавшихся с шестилетнего возраста в духовном училище, он рассказывал: «Тяжело вспомнить эти шесть лет, проведенные в этом училище: был сечен ежедневно по два и часто по три раза

в день, стоял на коленях и оставался без обеда; а в субботу каждую, кроме того, был сечен за недельные шалости... Затем я воспитывался в Новгородской духовной семинарии. Здесь мучили меня голод и тишина новгородской земли, особенно в весеннее время... Высшее образование я получил в С.-Петербургской Духовной Академии, где принадлежал к обществу «Ядро» и был не столько студентом, сколько крикуном и заговорщиком» (С. А. Венгеров. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых, т. II, Спб. 1891, с. 163). Помимо «Причитаний Северного края», в которых наиболее полно представлены плачи знаменитой Ирины Федосовой, Е. В. Барсову принадлежит фундаментальное духовное исследование о связях «Слова о полку Игореве» с древнерусской литературой и народным творчеством, он собрал свыше полутора тысяч рукописных книг.

⁴ И. Л. Толстой. Мои воспоминания. М., 1969, с. 170, 179.

⁵ Ж-л «Русский вестник», 1901, январь, с. 138.

Н. Н. СТРАХОВ (1828—1896) — известнейший литературный критик, философ. В разные годы был близок к А. П. Григорьеву, Ф. М. Достоевскому, а с 1871 года — Л. Н. Толстому. В 1872 году принимал участие в издании «Азбуки». Автор нескольких сборников статей, имевших широкий резонанс, не потерявших своего значения и поныне. Летом 1879 года неоднократно гостил в Ясной Поляне.

⁶ Имеются в виду четки.

⁷ В 1962 году в архиве Ленинградской области было найдено и опубликовано в «Ленинградской правде» (№ 303) письмо В. В. Стасова к почетному председателю Славянского благотворительного

общества В. И. Балашову, которое дает представление о хлопотах и делах Щеголенка в столице. Письмо датировано 11 августа 1879 года, то есть написано оно за день до письма к Толстому. В. В. Стасов обращается к председателю Славянского комитета:

«Многоуважаемый Владимир Иванович, прошу Вас довести до сведения Славянского комитета следующие факты: несколько дней назад был здесь, проездом из Москвы на свою родину, в Олонецкой губернии, наш знаменитый певец народных песен Василий Петрович Щеголенок, которого, как Вам известно, портрет и биография, изданы покойным А. Ф. Гильфердингом в его книге об Онежских былинах. Щеголенок был ко мне адресован графом Л. Н. Толстым с просьбой устроить, если возможно, его дело. А дело это состояло в том, что Щеголенок, получавший ежегодно по 6 рублей пособия от Петроавдского Попечительного комитета, Высочайше учрежденного 25 июня 1837 года, для выдачи вспоможений бедным, в последнее время стал получать всего только по три рубля в год от этого комитета, да и тех должен был лишиться, но по ходатайству генерал-адъютанта Альбединского продолжает получать эту микроскопическую сумму.

Из документа, находящегося постоянно при Щеголенке, я узнал, что выдачи ему были сделаны комитетом в следующем размере и порядке... (идет перечисление, после которого Стасов продолжает):

Итак, в течение 13 лет Щеголенок получил всего 72 рубля, да и то ценою каких просьб!! Печальная участь одного из последних обломков древнего нашего народного пения, с каждым днем все более и более теряющегося.

Сообщая Вам эти факты, прошу Вас сделать их известными комитету, в надежде, что он, быть может, найдет возможным что-нибудь сделать для 72-летнего старика, имеющего для нашего отечества

несомненное историческое значение.

Ваш В. Стасов».

⁸ ГАНС САКС — знаменитый нюрнбергский мейстерзингер XVI века, бывший, как и Щеголенок, сапожником (правда, по другим сведениям, Щеголенок был не сапожником, а портным). Ганс Сакс выведен в опере Р. Вагнера «Мейстерзингеры».

⁹ А. Н. ПЫПИН (1833—1904) — историк, исследователь фольклора, с 1896 года — академик. Двоюродный брат Н. Г. Чернышевского. Автор четырехтомной «Истории русской этнографии», имеющей большую научную ценность как первый и наиболее полный свод материалов по истории изучения русского фольклора и этнографии.

¹⁰ Л. Н. МАЙКОВ (1839—1900) — литературовед, этнограф, с 1891 года — академик, с 1893-го — вице-президент Академии наук. Брат поэта Аполлона и критика Валериана Майкова. Его работа «О былинах Владимирова цикла» (1863) являлась одной из первых попыток осмысления русского былинного эпоса.

¹¹ Записки Императорского Русского Географического общества по отделению этнографии. Том 3, Спб., 1873. В этом томе опубликована статья Е. В. Барсова «Об Олонечком песнотворчестве», былины и духовные стихи В. П. Щеголенка в записях М. Гурьева.

¹² А. Ф. Гильфердинг. Онежские былины. М.—Л., 1938, т. 2, с. 320. Начало былины «Грозный царь Иван Васильевич».

¹³ Л. М. Леонов. Слово о Толстом. Собр. соч. М., 1972, т. 9, с. 275.

¹⁴ Дневники С. А. Толстой. 1860—1891. М., 1928, с. 30.

¹⁵ «Контекст-74», М., 1975, с. 350.

ковского («История русской философии»), Н. Вейсбейна («Религиозная эволюция Толстого») и других исследователей, называющих «расхождение» Толстого с церковью «роковым недоразумением». Даже Н. Бердяев, отмечавший, что Толстой «был чужд религии Христа, как мало кто», утверждал, что Толстой... «много сделал для пробуждения религиозных интересов в обществе безбожников», «за это он был отлучен от церкви, именно за свои религиозные искания» (!).

Знакомство со сравнительно малоизвестными фактами творческой биографии Толстого позволяет уяснить неправомерность подобной трактовки его мировоззрения.

Говоря о Толстом как выразителе идей и настроений крестьянской бедноты, ее стремления смести до основания дворянское государство, В. И. Ленин подчеркивал: «... Идейное содержание писаний Толстого гораздо больше соответствует этому крестьянскому стремлению, чем отвлеченному «христианскому анархизму», как оценивают иногда «систему» его взглядов».

Леонид Леонов на торжественном заседании, посвященном 50-летию со дня смерти Л. Н. Толстого, сказал: «В изложении так называемой толстовской веры нигде не найти ни положенных ей богословских рассуждений о таинственных качествах надмирного существа, ни попыток с помощью мистической алгебры вписать его в космос, как это практиковалось у отцов церкви... Любому слову в философской терминологии Толстого, вплоть до столь далекого, казалось бы, от нашей современности царства божьего, найдется надежный синоним и в нынешнем гуманистическом словаре» («Правда», 1960, 20 ноября).

Б. С. Мейлах и другие советские исследователи, руководствуясь ленинскими статьями о Толстом, не раз подчеркивали, что главный методологический вывод из них заключается в требовании рассматривать весь жизненный путь, творчество и мировоззрение великого писателя как единое целое, а его противоречия после так называемого «перелома» — как сложное единство.

Одним из самых ярких проявлений этого сложного единства является история так называемых религиозных исканий Толстого. (Ред.).

ИСТОКИ И ВЛИЯНИЯ

Известно, что с пятнадцатилетнего возраста Толстой увлекся чтением Жан-Жака Руссо, которого называл впоследствии своим учи-

В своей книге «Лев Толстой в современном мире» (1975) видный исследователь жизни и творчества великого писателя К. Н. Ломунов отмечает: «Нельзя не выразить сожаления по поводу того, что наше литературоведение уделяет мало внимания истории борьбы Толстого с официальной религией и церковью. У нас пока нет ни одной работы, в которой были бы систематизированы и подвергнуты анализу и оценке документы борьбы Толстого с церковниками. Эта тема еще ждет своего исследования».

В 1978 году (вторым изданием) вышла книга Г. И. Петрова «Отлучение Толстого», автор которой предпринял попытку систематизации основных документов, имеющих непосредственное отношение к истории отлучения Толстого. Но уже сейчас ясно, что разработка столь огромной темы этим далеко не исчерпывается. Чрезвычайно важное значение имеет генезис и эволюция «толстовства», взаимоотношения Л. Н. Толстого с рядом мыслителей-современников, оказавших влияние на его мировоззрение.

В дореволюционном литературоведении да и поныне на Западе довольно широко распространен взгляд, что между Толстым и православной церковью не было антагонизма, Толстой до конца своих дней оставался философом-богословом и более того — проповедником особого, «очищенного христианства». Подобные концепции излагаются в сравнительно недавних работах В. В. Зень-

телем, портрет которого носил в юности на груди, вместо натальной креста.

«Мое отречение от вероучения, — замечает Толстой в «Исповеди», — очень рано стало сознательным... Судя по некоторым воспоминаниям, я никогда и не верил серьезно, а имел только доверие к тому, чему учили, и к тому, что исповедовали предо мной большие, но доверие это было очень шатко».

В 16 лет, готовясь к экзаменам при поступлении в Казанский университет, Толстой записывает: «Весь катехизис этот — ложь». Даже тогда, когда писатель пытался формально исполнять православные обряды, он не исповедовал основных вероучительных истин христианства, не разделял веры в догматы церкви. Характерна запись, сделанная Толстым в своем дневнике в 1852 году: «Не понимаю тайны Троицы и рождения Сына Божия...» А в июле 1853 года Толстой записывает: «Не могу доказать себе существование Бога, не нахожу ни одного дельного доказательства и нахожу, что понятие не необходимо. Легче и проще понять вечное существование всего мира...» Толстому была чужда область христианской сотериологии*, он не видел сокровенного смысла в церковных таинствах, не признавал богодохновенности Священного писания. «Вера» его ограничивалась признанием некоего абсолюта, чисто отвлеченного, спиритуального существования души, сливающейся после смерти индивидуума с мировым целым, растворяясь в ткани универсума. Такой пантеизм, по существу, противоположен христианскому персонализму. Такая «вера» близка к теософическим и оккультным учениям, развивающим мировоззренческие принципы, общие для буддизма, иудаизма и ислама, являющиеся с точки зрения христианского богословия реликтовыми формами¹.

В своем обширном исследовании «Л. Толстой и Достоевский» Д. С. Мережковский, противопоставляя в этом отношении Толстого и Достоевского, пытался показать, что в Толстом сосуществовали две противоположные сущности, два поочередно сменяющихся характера, как бы два человека: маленький мыслитель, псевдохристианин, «старец Аким» и великий подлинный язычник, «тайновидец плоти», дядя Ерощка. «Обманчивый» двойник, призрачный «оборотень», «самозванец» Толстого, не столько даже «мыслящий», сколько «умствующий» старец Аким, отпал от Христа и в своем всеотрицающем «христи-

анстве» дошел до почти совершенного безбожия, буддийского нигилизма.

Но, добавляет Мережковский, и думается, здесь он правильно угадал сущность мировоззрения гениального писателя, — «истинный Л. Толстой, великий язычник, дядя Ерощка, не отпадал, да и не мог отпасть от христианства, уже по той причине, что он и не был никогда христианином» (2, с. 33).

Судя по дневниковым записям 1847—1853 годов, в юности Л. Толстой был увлечен идеями петрашевцев и встречался с некоторыми участниками их кружка, в частности, с Н. С. Кашкиным, проявляя острый интерес к социальным утопиям своего времени². Петрашевцы, как известно, были знакомы с теорией социализма, который трактовали как всеобъемлющее учение, призванное привести общественное устройство в соответствие с потребностями земной человеческой природы и требованиями опытного знания. Демократический радикализм как декабристов, так и петрашевцев вдохновлялся деятельностью русских просветителей XVIII века, в частности, был связан с именами А. Н. Радищева и в известной мере Н. И. Новикова.

Как и Радишев, а в определенной степени в результате его влияния Л. Толстой испытал также воздействие идей известного немецкого писателя И. Г. Гердера, учение которого складывалось не без влияния масонства, но в пантеистическом миропонимании которого были сильно выражены и материалистические тенденции³. Гердер был сторонником пифагорейского учения о переселении душ, неприемлемого христианской церковью.

Большое влияние на Толстого оказала также теория о предсуществовании, в частности, в период его работы над автобиографической трилогией «Детство», «Отрочество», «Юность».

Языческое представление о переселении душ, распространенное на Востоке (в том числе Гердером, и в учениях оккультистов) имело широкие отзвуки в творчестве Толстого. Примечательно, что в 1877 году, читая профессора Макса Мюллера (автора лекций «Религия как предмет сравнительного изучения», Харьков, 1877), Толстой с досадой отмечает: «Нигде нет и речи о переселении душ, но только о бессмертии души» (ПСС, т. 48, с. 348).

Имя Гердера не случайно упоминается в «Воине и мире», а в вариантах романа остались прямые обращения героев Толстого к масонским сочинениям Гердера. В окончательном тексте романа ими навеяны отдельные фрагменты, посвященные сближению Пьера Безухова с Иосифом Алексеевичем, вступлению Пьера в масонскую ложу и дальнейшему

* Учение о спасении души, основанное на христианском откровении и соответствующих предписаниях церкви.

участию его в масонской организации. (Вспомним также разговор Наташи и Николая Ростовых перед святочными гаданиями — т. II, ч. 4, гл. 10.)

Страсть Толстого во всем доискиваться «до корня» привлекла его к изучению масонской литературы, произведений Н. И. Новикова, И. В. Лопухина и других видных русских масонов. В начале 50-х годов Толстой листал масонский журнал «Утренний свет», о чем сохранились отзывы в его дневниках. Это предварило более основательное и углубленное изучение теософии масонства в период написания «Войны и мира», а также в последующие годы: «На протяжении всей жизни он не раз обращался к сочинениям Новикова и Лопухина, читал масонские рукописи, изучал многие книги масонов, в том числе изданную московскими масонами в 1784 году книгу И. Арндта «Об истинном христианстве» (3, с. 81). Составляя позднее ежедневный «Круг чтения», а также сборник изречений «Путь жизни», Толстой не случайно включил в них множество извлечений из масонской литературы, из произведений Я. Беме, Э. Сведенборга, А. Силезиуса и других мистиков. Масонское превознесение своей доктрины как универсальной сверхрелигии, «истинного христианства» оказало значительное влияние на мировоззрение Толстого, толкая его на путь «учительства», связанный в его понимании с отрицанием художественного творчества.

Стремясь подменить собой все мировые религии (но подчеркивая свою принципиальную веротерпимость), широко раскрывая двери всем прозелитам, которые на многих ступенях после так называемого «посвящения» продолжают оставаться слепыми орудиями руководства ордена, масонство претендует на «синтез» эзотерических дохристианских учений и в первую очередь тех, что восходят, по преданию, к эпохе строительства Соломонова храма, легенда о котором играет существенную роль в масонском ритуале⁴.

Толстовское неприятие христианства во многом оказалось созвучным масонству (правда, тогдашняя «терпимость» ордена по отношению к христианской церкви была несвойственна Толстому, особенно в последние годы его жизни). В этом отношении ключевой характеристикой для понимания всей идейной эволюции Толстого является запись в его дневнике от 5 марта 1855 года: «Разговор о божественном и вере навел меня на великую, громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. Мысль эта — основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии

Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле».

Не исключено, что эта мысль возникла в состоянии экзальтации, свойственной Толстому⁵. Но не менее характерно и другое. Запись Толстого поразительно напоминает замысел Великого инквизитора в «Братьях Карамазовых». Постоянно подчеркивая свою миссию провозвестника «очищенного христианства», постоянно ссылаясь на Христа, он, по существу, отрицал его. И это заметили некоторые современники, которым казалось беспорочным, что в глубине своей души, отрицая божественность Христа, Толстой был подлинным атеистом. Спустя много лет после так называемого «обращения» Л. Толстого, М. Горький писал об этом А. П. Чехову: «Я все не верил, что он атеист, хотя и чувствовал это, а теперь, когда слышал, как он говорит о Христе и видел его глаза, ... знаю, что он именно атеист, и глубокий»⁶.

В ноябре 1855 года Л. Толстой приехал в Петербург, где часто общался с сотрудниками «Современника» — Некрасовым, Тургеневым, Гончаровым, Чернышевским и другими представителями демократических и либеральных течений. В это время он глубже познакомился с идеями французского и английского утопического социализма. Рационалистические теории и пантеистическая метафизика утопистов были ему внутренне близки, Толстой сам был по складу натуры рационалистом. Его запись в дневнике от 5 марта 1855 года, приведенная выше, переключается с доктринами «нового христианства» Сен-Симона и «социалистической религии» Оуэна.

На идейные искания Толстого наложили непосредственную печать личные знакомства писателя с декабристами. В 1860 году путешествуя по Европе, Толстой встретился во Флоренции с освобожденным из ссылки в 1856 году декабристом С. Г. Волконским (1788—1865), бывшим руководителем Южного общества. Эта встреча произвела на Толстого сильное впечатление (см. 4, с. 126). С. Г. Волконский в числе многих декабристов был масоном⁷. Тесная связь декабристов с масонскими ложами уже отмечалась советскими исследователями. А. Замалеев, в частности, указал, что идея «внутренней церкви», весьма существенная для отношений масонов с внешним миром, вполне последовательно использовалась декабристами «исключительно в антиклерикальном смысле... Священное писание было для них только формой, условным знаком для выражения политических воззрений» (5, с. 54).

К этому времени у Толстого возник замысел романа «Декабристы», начатого писателем в конце 1860 года. Роман был продолжен в следующем году, затем прерван и возобновлен зимой 1863 года, через год после женитьбы на С. А. Берс. Жена писателя впоследствии вспоминала: «Он весь погрузился в чтение материалов, писем, записок, трудно тогда доставаемых. Не помню, когда именно, но он ездил в Петербург, чтобы видеть место заключения декабристов, место, где они были повешены; он искал знакомства с оставшимися декабристами: Свистуновым, Завалишиным, Муравьевым⁸ и два раза в жизни возвращался к этой работе...» (6, с. 10).

Л. Н. Толстой написал только первые три главы в двух редакциях, но роману придавал важное значение и считал нужным сообщить о нем А. И. Герцену (в письме от 14 марта 1861 года, спустя месяц после их личного знакомства): «Декабрист мой должен быть энтузиаст, мистик, христианин, возвращающийся в 56-м году в Россию с женою, сыном и дочерью и примеряющий свой строгий и несколько идеальный взгляд к новой России». Как видим, Толстой ставит в один ряд далеко не адекватные понятия: «декабрист... энтузиаст, мистик, христианин».

Издатель «Колокола» способствовал знакомству Толстого с литературой, которая печаталась в эмиграции на «вольном станке». Герцен снабдил Толстого рекомендательным письмом к П.-Ж. Прудону (1809—1865) — одному из основоположников анархизма⁹.

19 февраля (3 марта) 1861 года, в день освобождения русских крестьян от крепостной зависимости, узнав о своем назначении на должность мирового посредника, Толстой выехал в Россию через Бельгию, где в конце марта навестил Прудона в Брюсселе. С сочинениями Прудона Толстой был знаком еще за пять лет до этого визита, о чем сохранились письменные свидетельства: читая Прудона в мае 1857 года, Толстой сделал запись: «Все правительства равны по мере зла и добра. Лучший идеал — анархия».

Прудон Толстому «очень понравился». Как отмечает крупнейший биограф Толстого П. И. Бирюков, «этот энергичный, самостоятельный мыслитель, вышедший из народа, произвел на Льва Николаевича сильное впечатление и, вероятно, имел влияние на выработку его мирозерцания. Как-то в разговоре Лев Николаевич сказал мне, что Прудон оставил в нем впечатление сильного человека, у которого есть «le courage de son opinion»*.

Известный афоризм Прудона «la propriété c'est le vol»* может быть поставлен эпиграфом любого экономического этюда Толстого» (7, т. I, с. 185).

Перед отъездом из Брюсселя Толстой написал себе сочинения Прудона и неоднократно обращался к ним в течение своей жизни. Вышедшая в 1864 году в русском переводе книга Прудона «Война и мир» могла повлиять на общее название толстовской эпопеи, первые две части которой первоначально были напечатаны под названием «1805 год». Книги Прудона Толстой позднее запрашивал у Н. Н. Страхова. В одном из писем к Страхову, благодаря его за присланную литературу, Толстой сообщает, что он «весь ушел» в чтение Штрауса, Ренана, Прудона. Давид Штраус (1808—1875), основатель так называемой тюбингенской школы, подверг сомнению исторический характер евангельских повествований. Вслед за Фейербахом он пытался создать новую «религию», основанную на чувстве человеческой зависимости от законов природы. Эрнест Ренан (1823—1892) был одним из видных романтиков рационализма. Он извещен, главным образом, своими работами по истории раннего христианства, в которых в скептическом и рационалистическом духе изображал «жизнь Иисуса».

Влияние этих мыслителей на Толстого заслуживает специального исследования. Работа Ф.-Г. Филиппа «Толстой и протестантизм» (F.—H. Philipp. Tolstoj und der Protestantismus. Giessen, 1959) представляет в этом отношении немалый интерес. Что касается влияния Прудона, оно отмечено в книге И. Аккермана «Толстой и Новый завет» (J. Ackermann. Tolstoj und das Neue Testament, Leipzig, 1927). Между тем в отечественном литературоведении тема эта почти не затронута, хотя толстовское мировосприятие и анархизм имеют важные точки соприкосновения: «Все анархисты — Прудон, Кропоткин, Макс Штирнер, Михаил Бакунин и другие, даже, наконец, сам Лев Толстой всегда рассуждали, имея в виду лишь один жизненный план, план социальный» (8, с. 29).

К концу 60-х годов относится сильное увлечение Толстого философией А. Шопенгауэра, которого он стал читать, испытывая при этом «неперестающий восторг» и горячо рекомендуя А. Фету¹⁰. А. Шопенгауэр привлекал Толстого не только отточенной лапидарностью стиля. Пессимистическая этика Шопенгауэра, учителя Ф. Ницше¹¹, убежденного, что человек сам создает себе мир суеверий,

* «Смелость своего мнения».

* «Собственность есть кража».

демонов и богов, а оптимизм — горькая насмешка над страданиями человека, предоставленного самому себе, оказали значительное воздействие на мирозерцание Толстого. Еще в 1892 году П. Е. Астафьев замечал по этому поводу: «Основная мысль учения гр. Л. Толстого о жизни есть признание, что индивидуальная жизнь, в пространстве и времени, никогда не достигающая своего назначения — блага, есть зло и нелепость, обнаруживающиеся в столь же нелепой и призрачной смерти» (9, с. 19). Прочтя позднее (в августе 1879 г.) «Притчи» Экклезиаста и «Книгу премудрости» Соломона, Толстой нашел, что они «имеют много общего с Шопенгауэром».

Отношение Толстого к Шопенгауэру менялось. «Мне всегда хочется сказать пессимисту: «если мир не по тебе, не щеголай своим неудовольствием, покинь его и не мешай другим». Но Шопенгауэра Толстой перечитывал всю жизнь, особенно ему нравились «Афоризмы и максимы», высказывания философа о бренности жизни и значении смерти. Последняя запись о чтении Шопенгауэра сделана Толстым в дневнике совсем незадолго до кончины — 7—8 октября 1910 года...

В 1869 году влияние Шопенгауэра на Толстого было особенно заметным. Толстой приобрел тогда портрет Шопенгауэра и повесил его в своем кабинете, 30 августа 1869 года Толстой сообщил А. Фету о начале им переводе основного труда Шопенгауэра «Мир как воля и представление» и предложил быть соавтором-переводчиком и соиздателем¹². С. А. Толстая записала 14 февраля 1870 года: «Все лето прошлое он читал и занимался философией: восхищался Шопенгауэром, считал Гегеля пустым набором фраз. Он сам много думал, говорил часто, что у него мозг болит, что в нем происходит страшная работа, что для него все кончено, умирать пора и пр.» (II, с. 30).

Естественно предположить, что все эти влияния психологически подготовили Толстого к переживанию того пограничного состояния, которое известно как «арзамасский ужас».

Душевное потрясение, пережитое Толстым, не прошло для него бесследно. Страх смерти проник в сознание писателя, не оставляя его до последних дней¹³. «Все тот же запах роз, и это всё есть Смерть!» — подчеркивал Толстой в стихотворении Тютчева, часто декламировал другое его стихотворение — «И гроб опущен уж в могилу» (см. 13, с. 145; 14, с. 299).

В нашем литературоведении вслед за Плехановым и Горьким не раз высказывалось мнение, что именно страх смерти заставил

Толстого обратиться к религии в поисках ответа на роковой вопрос, терзавший его далекий от веры ум, — вопрос о противоречии между конечным существованием личности и бесконечным существованием мира: «Толстой искал такого решения противоречия, при котором смысл конечного и преходящего существования личности не унижался бы, не превращался бы в бессмыслицу неизбежно предстоящим уничтожением личности, ее погашением в бесконечности мирового целого» (15, с. 60).

Влияние Ж.-Ж. Руссо, петрашевцев, масонства, декабристов, французского и английского социализма, Герцена, анархизма Прудона, «мифической школы» Д. Штрауса, пессимистической философии А. Шопенгауэра — все это, смешиваясь, превращалось в сознании гениального художника в ту «дьявольскую смесь», для взрыва которой достаточно было нескольких искр.

Переживание в Арзамасе могло быть одной из них.

«ОБРАЩЕНИЕ»

Сын Л. Н. Толстого, Лев Львович, вспоминал, как отец одно время ездил с детьми в церковь и пытался соблюдать православные обряды. Это было в домосковский период жизни, то есть до 1882 года, когда был куплен дом в Долго-Хамовническом переулке в Москве. Но продолжалось все это очень недолго.

«...Помню также стремительное его разочарование в православии. Раз за обедом [во время поста] все ели вкусные говяжьи котлеты. Отец долго косился на них, потом вдруг сказал брату Илье: — Ну-ка, Илюша, дай мне котлетки. — Илюша вскочил со стула, взял с подоконника блюдо с котлетами и подал отцу. С этого дня уже ни посты, ни православие больше не соблюдалось отцом, а началось писание «Критики догматического богословия» (16, с. 12).

Конечно, дело было не в котлетках. Отпадение Толстого от церкви имеет более глубокие корни, объясняется его неколебимым «духовным материализмом»: писатель лишь внешне старался «придерживаться» церковных предписаний. Один из современников достаточно убедительно писал об этом: «Психологию этого особенного отношения к Церкви и ее таинствам прекрасно изобразил сам же гр. Л. Н. Толстой в своем романе «Анна Каренина», именно там, где описывается молебен у постели умирающего Николая Левина... Таинства для него представляются какими-то лекарствами, он приготавливается сейчас же

ощущать их действие внутри себя. То же самое и с остальными церковными установлениями... Человек не хочет понять, что дело спасения совершается путем долгого нравственного развития, что общения с Богом можно достигнуть только в святости. Человеку хочется вдруг посредством каких-либо внешних приемов очутиться на вершине духовного развития и вкусить всех плодов его» (17, с. 14).

Важным фактором в окончательном отпадении Л. Толстого от церкви было его враждебное отношение к православному духовенству. Толстого возмущал тот факт, что служители православной церкви, пользовавшейся в то время некоторыми привилегиями, являлись своего рода чиновниками. Духовная опасность цезарепапизма, чрезмерного сращения церкви и государства беспокоила в то время многих, в частности, философов-словянофилов И. В. Киреевского, И. С. Аксакова, П. С. Хомякова.

Л. Н. Толстой к этому времени разочаровался в реформах 60-х годов и с тревогой следил за разложением патриархального уклада, пытаясь обрести последнюю поддержку в семье, что нашло выражение на страницах «Анны Карениной». Но узы брака, освященного таинствами церкви, вовсе не представлялись ему нерасторжимыми, а понимание семьи как «малой церкви» было органически чуждым. И в романе ясно намечилось то отрицание внутренней сущности церкви, которое в полной мере выявилося позже в романе «Воскресение». Проблематика «Анны Карениной» вплотную подвела Толстого к идейному перелому, с которым принято связывать его так называемое «обращение» и связанное с ним мировоззрение, отразившееся в таких сочинениях, как «Исповедь», «Критика догматического богословия», «В чем моя вера?» и другие.

Чуткий и пронизательный Ф. М. Достоевский заметил это тогда же. Подчеркивая одним из первых всемирное значение Л. Толстого как художника, он писал в «Дневнике писателя» за июль — август 1877 года в связи с только что вышедшей последней, 8-й частью «Анны Карениной»:

«Теперь, когда я выразил мои чувства, может быть, поймут, как действовало на меня отпадение такого автора, отъединение его от русского всеобщего и великого дела, *

и парадоксальная неправда, возведенная им на народ в его несчастной восьмой части Анны Карениной, изданной им отдельно. Он просто отнимает у народа все его драгоценнейшее, лишает его главного смысла его жизни» (18, с. 322).

Что подразумевал под этим Ф. М. Достоевский, выясняется в том же «Дневнике писателя», где он рассуждает о психологии сектантства (штундизме), родственной во многих отношениях проявившемуся уже в «Анне Карениной» «новому» толстовскому миропониманию:

«...Несут сосуд с драгоценной жидкостью, все падают ниц, все целуют и обожают сосуд, заключающий эту драгоценную, живящую всех влагу, и вот вдруг встают люди и начинают кричать: «слепцы! чего вы сосуд целуете, дорого содержимое, а не содержащее: а вы целуете стекло, обожаете сосуд и стеклу приписываете всю святость, так что забываете про драгоценное его содержимое. Идолопоклонники! Бросьте сосуд, разбейте его, обожайте лишь живящую влагу, а не стекло!» (18, с. 14).

«Разбить сосуд» — к этому, по сути, и призвал Толстой в своих новых сочинениях. «Исповедь» и «В чем моя вера?» появились отпечатанные на гектографе. Запрещенные цензурой, они переходили из рук в руки, вызывая самые оживленные комментарии.

Конечно, прежде всего не следует забывать, что сама «Исповедь» есть художественное произведение. И кризис, который Толстой пережил в конце 70-х годов, был не первым кризисом в его жизни. Но пережитые писателем страх смерти, «тоска небытия» (А. Блок) не были преодолены — они подверглись «анестезии», разрешились в состоянии возврата к отроческому чувству мировой слитности со всем сущим: «И странно, что та сила жизни, которая возвратилась ко мне, была не новая, а самая старая, — та самая, которая влекла меня на первых порах моей жизни...»

Выделяя это признание Толстого, Г. Флоровский пишет о его обращении: «И это бурное душевное потрясение не означало еще перемены в мировоззрении. То была точно судорога в неразумном психическом круге. То был мучительный опыт. Но круг так и не разомкнулся... Толстой сам признает и свидетельствует, что нового ничего не родилось, что сам он не переменялся. Изменилось только самочувствие»¹⁴.

Свое «новое миропонимание» Толстой изложил в сочинении «В чем моя вера?». Здесь он пытается дать свою интерпретацию Евангелия. Наставления Христа, преподанные народом в Нагорной проповеди, Толстой сводит к

* В 1877 году Ф. М. Достоевский ознакомился с идеями Н. Ф. Федорова, автора «Философии общего дела», получив по почте рукопись с их изложением от Н. П. Петерсона. См.: Б. И. Бурсов. Личность Достоевского. — «Звезда», 1969, № 12, с. 111—113.

следующим пунктам: «Не противься злу, не гневайся, не разводишься, не клянись, не осуждай, не войуй». В них, по Толстому, заключена вся христианская мораль, и на этом основании можно создать счастливую жизнь на земле или, выражаясь его терминологией, «царство божие среди людей».

До возникновения толстовства было принято считать, что заповеди евангельские относятся прежде всего к жизни отдельных людей, начертаны для них как идеал, имеют силу нравственного закона.

Толстой подверг все это коренному пересмотру:

«Как можно любить ближнего, как самого себя, когда в меня вложены ни на мгновение не покидающая меня любовь к себе и очень часто столь же постоянная ненависть к другим?.. Требования терпения и самоотвержения противны человеческой природе».

Исходя из этого, Толстой «сместил акценты», перенес евангельские заповеди, отфильтрованные рассудком, с одной почвы на другую: предложил устроить по высшим идеалам человеческой личности жизнь всего общества и государства, всех правительственных и общественных институтов, по существу, перелая на них ответственность за несовершенство человеческой природы и тем самым как бы освобождая от личной ответственности, «бремени неудобноносимого», своих последователей — толстовцев. При этом Толстой провозгласил задачу «нравственного самосовершенствования», в основу чего положил принцип «непротивления злу насилием». Интересно, что, назвав толстовское учение о нравственности «чисто-отрицательным», Г. В. Плеханов отмечал близость его проповеди к взглядам масона С. И. Гамалея: «Гамалея проповедовал нечто весьма похожее на учение о непротивлении злу насилием»¹⁵.

В Евангелии призыв Христа «не противься злему» (злему, а не злу) связан в контексте прежде всего с отрицанием кровной мести, распространенной в древности у язычников и иудеев: «Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А Я говорю вам: не противься злему. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую; и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду; и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просищему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся» (Мф. 5. 36—42).

В этих словах, как видим, содержится в первую очередь призыв прощать обидчиков, активно противиться злу добрыми делами. Логическое ударение во всей фразе подчерки-

вает предписание давать больше, чем у тебя просят, давать с избытком, творить добро, как способна только любовь. В противоположность этому Толстой провозглашает принцип непротивления злу как безусловное нравственное начало, ошибочно полагая, что оно выражает собою сущность и смысл христианской морали. Между тем, как справедливо отмечали оппоненты Толстого, «в подлинном христианском непонимании этому принципу принадлежит значение подчиненное и ограниченное. Он не есть цель сам по себе, а лишь средство для утверждения мистического начала всеединства в человеческих отношениях» (19. с. 62).

Исходя из своей проповеди непротивления, Толстой осуждал молитвы о воинстве, благословение оружия, молебны о даровании победы, считая все это несовместимым с христианским учением. На этом основании он обвинил русскую православную церковь в лицемерии. Правда, остро критикуя церковь с позиции выдвинутой им идеи непротивления, Толстой при этом совершенно напрасно прибегал к ссылкам на авторитет Христа. Все дело в том, что запрета «не войуй» и заповеди «не различать свой народ от другого», провозглашенных Толстым, в евангельских наиданиях нет. И церковь, как известно, всегда благословляла воинов и народ, когда речь шла о спасении отечества. Война допускается церковью, в этом Толстой прав, но только как проявление самопожертвования и любви к отечеству (см. 20, с. 4—5).

И в этом отношении ссылки Толстого на заповеди Христа, на авторитет Евангелия были религиозны только по форме. Толстой использует религиозные догмы и заповеди не для того, чтобы их осмыслить в соответствии с их духом, а для того, чтобы создать свое собственное толстовское учение. Даже личные встречи Толстого с представителями духовенства преследуют ту же цель.

В сентябре 1879 года писатель имел свидания и беседы по религиозным вопросам с доктором богословия митрополитом Московским Макарием (Булгаковым) и епископом Можайским Алексием (Лавровым-Платоновым). 1 октября того же года он совершил поездку в Троице-Сергиеву лавру, где осмотрел монастырскую ризницу, беседовал о религии с архимандритом Леонидом (Кавелиным), обедал с богомольцами в странноприимной палате. Упомянутые представители русского духовенства являлись видными богословами и, нужно сказать, людьми весьма образованными. На Толстого лично они произвели благоприятное впечатление, но он не перестал отвергать институт церковнослужи-

телей как ненужную инстанцию между человеком и высшими силами. А такое отрицание и есть, по существу, отрицание церкви. Вот что писал Толстой Н. Н. Страхову в начале октября 1879 года о своей встрече с духовными лицами: «Все трое прекрасные люди и умные, но я больше еще укрепился в своем убеждении. Волнуюсь, мятусь и борюсь духом и страдаю...»

7 ноября 1879 года С. А. Толстая пишет Т. А. Кузминской: «Левочка все работает, как он выражается, но увы! Он пишет какие-то религиозные рассуждения, читает и думает до головных болей, и все это, чтобы показать, как церковь не сообразна с учением Евангелия. Едва ли в России найдется десяток человек, которые им будут интересоваться» (цит. по 7, т. 2, с. 158).

Жена Толстого ошибалась. «Религиозные рассуждения» великого писателя, во многом благодаря дару его речи, силе его публицистического воздействия, находили не десятки, а тысячи прямых последователей, решивших «жить по Толстому». С годами «толстовство» в его реальном виде все более сближалось с сектантством.

8 декабря 1879 года Толстой посетил архиепископа Тульского Никандра и беседовал с ним и священником А. Н. Ивановым о народной вере, паломничестве, русском подвижничестве.

Через полтора года Толстой даже сям предпринял «паломничество», пройдя в лаптях от Ясной Поляны до Оптиной пустыни, от деревни к деревне, в сопровождении слуги С. П. Арбузова и учителя Яснополянской школы Л. Ф. Виноградова. Заслуживает внимания, что при этом, еще не достигнув Оптиной пустыни, Толстой побывал 13 июня 1881 года на собрании раскольников в селе Мананки (см. 21).

А по дороге домой, в Калуге, он имел беседу с сектантом А. С. Иконниковым, был в местном суде и расспрашивал о сектантах прокурора Ланге. Возвратившись в Ясную Поляну, Толстой получил письмо обер-прокурора Синода К. П. Победоносцева. Победоносцев сообщал о своем отказе передать известное письмо Толстого с просьбой о помиловании народовольцев — участников царевубийства 1 марта 1881 года, новому царю, Александру III¹⁶. Отказ свой Победоносцев объяснял коренным расхождением с Толстым в понимании христианства: «Ваша вера одна, а моя и церковная другая... наш Христос — не ваш Христос» (цит. по: ПСС, т. 63, с. 58—59).

Уже в этих словах обер-прокурора Синода нетрудно уловить признаки надвигающейся грозы, хотя «гром грянет» через 20 лет...

ТОЛСТОЙ, СЮТАЕВ И БОНДАРЕВ

В 80-е годы Толстой проявляет все больший интерес к сектантству, что способствует обострению его полемики с церковью, переходящей в резкие, вызывающие обличения.

Антицерковные произведения Толстого, запрещенные в России, находят себе издатель на Западе. В 1884 году на немецком языке в Лейпциге вышла «В чем моя вера?», а в 1885 году на английском в Лондоне под общим заглавием «Христианство Христа» в переводе В. Г. Чертова «Исповедь», «В чем моя вера?», «Краткое изложение Евангелия». В том же году Толстой исправил французский перевод «Краткого изложения Евангелия», сделанный Л. Д. Урусовым. В ноябре 1890 года книга эта вышла в Женеве. Идеи Толстого стали достоянием мировой общественности.

В России эти произведения ходили в списках и многочисленных гектографических изданиях. Сам Толстой охотно выступал с их чтением, популяризируя свои взгляды среди участников различных сектантских общин. В это время писатель проявил особый интерес к иудаизму, стал изучать под руководством раввина Соломона Александровича Минора древнееврейский язык (в октябре — ноябре 1882 года и позднее). С помощью раввина Соломона Толстой начал читать Ветхий завет в подлиннике, но вскоре объявил его «темной, непонятной и ужасной книгой».

Оппоненты Толстого обвинили великого писателя в упрощенчестве: «Его передача всего Ветхого Завета в пределах полторы страниц поражает целым рядом странностей, — писал один из них. — Из книги во всяком случае — даже для неверующего — глубокой и огромной он делает что-то очень узкое... Библия начинается глубоким мистическим рассказом о падении первых людей. Это событие падения — нарушение заповеди о древе познания добра и зла... В его передаче это событие состоит только в том, что люди съели от запрещенного яблока, имеющего будто волшебную силу давать могущество... Библейский рассказ о том, что люди, согрешив, внесли разложение во весь мир, разрушили грехом и хищничеством плодородие земли... В передаче Л. Н-ча становится странным рассказом, будто за грехи первых людей стали на земле расти «дурные травы, каких прежде не было» (?) (22, с. 35—36).

19 июля 1881 года в селе Патровке Толстой познакомился с А. С. Пругавиным, от которого впервые услышал о Василии Кирилловиче Сютаеве (1819—1892), крестьянине-сектанте, пытавшемся создать «свою религию». Его сын, Иван Васильевич, отказался

в 1887 году от военной службы, что особенно заинтересовало Толстого. У него возникло сильное желание познакомиться с Сютяевым.

В конце сентября 1881 года Толстой навещал семейство своего бывшего сослуживца по крымской кампании Алексея Александровича Бакунина, побывав в имении Прямухино Новоторжского уезда Тверской губернии. Оттуда для знакомства с В. К. Сютяевым заехал в деревню Шевелино.

Сютяев являлся не совсем типичным выразителем интересов патриархального крестьянства. Основным злом тогдашней жизни для него были города, которые, по его убеждению, следовало не расширять, а «нарушить», чтобы устранить сословие купцов и заставить городских жителей переселиться в деревню и самим «в поте лица» выращивать хлеб. При этом он был столь же рьяным приверженцем обществленного хозяйства, в котором все крестьянское имущество принадлежит всем, где нет даже личной собственности на одежду и предметы индивидуального пользования.

В соответствии с этими взглядами Сютяев жил с сыновьями большой неразделенной семьей. Он пас деревенское стадо... Все в семье Сютяева было общее, даже бабы сундуки были общие... Церковных обрядов и того, что в православной церкви называлось таинствами, Сютяев не признавал. Когда он выдавал свою дочку замуж, то свадьбу провел так: собрал людей вечером, дал молодоженам наставление, постелили им постель, положили их спать вместе, потушили огонь и оставили их одних (23. с. 571—572).

Знакомство с Сютяевым произвело на Толстого огромное впечатление. Он писал М. А. Энгельгардту о Сютяеве: «Вот вам безграмотный мужик, — а его влияние на людей, на нашу интеллигенцию больше и значительнее, чем всех русских ученых и писателей со всеми Пушкиными, Белинскими, вместе взятыми, начиная от Тредьяковского и до нашего времени».

В конце января 1882 года Сютяев приехал в Москву и поселился в Денежном переулке на квартире Л. Н. Толстого. В это время Толстой показывал Сютяева как своего рода «диковинку». Известно, что И. Е. Репин написал портрет Сютяева, бывший в одной из экспозиций на Кузнецком мосту, а позднее попавший в Третьяковскую галерею.

Во время всероссийской переписи зимой 1882 года Толстой, принявший в ней участие, чтобы лучше узнать жизнь городской бедноты, внимательно прислушивался к советам Сютяева. Ознакомив его со своим «Кратким изложением Евангелия», Толстой сообщил В. И. Алексееву: «...мы единомышленники

с Сютяевым во всем, до малейших подробностей» (цит. по: 7, т. 2, с. 192). А в письме к жене, не без влияния Сютяева, он писал: «Главное зло города для меня и для всех людей мысли (о чем я не пишу) — это то, что беспрестанно приходится или спорить, опровергать ложные осуждения, или соглашаться с ними без спора, что еще хуже. А спорить и опровергать пустяки и ложь — самое праздное занятие и ему конца нет, потому что лжей может быть и есть бесчисленное количество... И я разбираюсь со всем этим материалом. Перепись и Сютяев уяснили мне очень многое» (цит. по: 7, т. 2, с. 197).

Пребывание Сютяева (о котором ходили по Москве разные слухи) на квартире Толстого не осталось не замеченным городскими властями, с представителями которых, однако, Толстой отказался разговаривать. Тем не менее Сютяев уехал из первопрестольного града. Известно, что летом 1888 года он пытался проникнуть к Александру III и внушить царю, чтобы он «для блага народа велел толковать Евангелие согласно пониманию Сютяева». По словам В. В. Рахманова, придя в Петербург, Сютяев посетил Н. С. Лескова, который пытался отговорить его от этого намерения. Но Сютяев не послушался, был задержан у входа в царский дворец и отправлен в свою родную деревню. «Не допустили, — рассказывал о н. — А если бы допустили, то ли теперь было!» (см. 24).

Интересно, что этой попытке Сютяева предшествовало посещение им Толстого в конце мая — начале июня 1888 года.

Знаменательно и то, что позднее, «подражая» Сютяеву, Толстой писал из Гаспры письма Николаю II, уговаривая его отдать удельную землю крестьянам. К Сютяеву Толстой сохранял интерес до конца жизни¹⁷.

Кроме Сютяева, сильное влияние на Толстого оказал в 80-е годы другой крестьянин-сектант — Тимофей Михайлович Бондарев (1820—1898). «Бондарев является как бы вдохновителем социальных идей Толстого, как сектант Сютяев был вдохновителем его религиозных идей», — отмечает Амедей Пажес в предисловии к сочинению Бондарева «Трудолюбие и тунеядство, или Торжество земледельца» (Париж, 1890). Перевод рукописи Бондарева на французский язык был сделан по совету Л. Толстого, приложившего немало усилий, чтобы этот труд увидел свет и на русском языке (с предисловием Толстого он вышел в издательстве «Посредник» в 1906 г.).

Т. М. Бондарев проживал в деревне Иудиней Бейской волости Минусинского уезда Енисейской губернии и принадлежал к секте

«иудействующих», с неприязнью относясь ко всем другим религиозным течениям, в частности, к своим односельчанам-молоканам.

Впервые о рукописи Бондарева Толстой узнал из статьи Г. И. Успенского в № 11 «Русской мысли» за 1884 год, а получил ее по почте 13 июля 1885 года от политического ссыльного Василия Степановича Лебедева, когда писал одно из самых обличительных своих сочинений — «Так что же нам делать?». Резкие обличения привилегированных классов, в особенности помещиков, и апология «хлебного труда» крестьян в рукописи Бондарева как нельзя более соответствовали настроениям и мыслям самого Толстого. Кроме того, язык рукописи, настоянный на крепкой смеси просторечий и библеизмов, показался ему исключительно выразительным и образным: «Умилосердись над нами, богатый класс! Сколько тысяч лет, как на необузданном коне, едешь ты на хребте нашем, всю кожу до костей ты стер. Ведь это только по виду хлеб, который ты ешь, а на самом деле — тело наше; по виду только вино, которое ты пьешь, а на самом деле — кровь наша» (25, с. 8).

Дерзкая метафора, навеянная сравнением с таинством евхаристии, не могла не поразить воображения. Толстой в тот же день прочел сочинение Бондарева в домашнем кругу, причем, как сообщал на другой день в письме В. С. Лебедеву, «все встали после чтения молча и пристыженные разошлись». В том же письме Толстой попросил В. С. Лебедева сообщить ему подробности о семейном положении, религиозных убеждениях, образе жизни Т. М. Бондарева.

В тот же день в письме к Л. Д. Урусову Толстой с восторгом отозвался о рукописи Бондарева: «Вся наука экономическая ничего подобного не сказала».

Примерно через неделю Толстой написал свое первое письмо к Т. М. Бондареву, в котором сообщал, что рукопись его прочел и она была «в большую пользу и радость», но не следует надеяться, что можно от царя и министров ждать издания закона об обязательности земледельческого труда, к чему призывал Бондарев. Такого рода иллюзии Толстому в действительности были чужды: «Через министра внутренних дел и даже через царя ничего сделать нельзя, да и не следует».

27 января 1886 года В. С. Лебедев, бывший в то время сотрудником Минусинского музея, отослал Л. Н. Толстому новую рукопись Т. М. Бондарева: «Добавление к прежде написанному мною, Бондаревым, о трудолюбии и тунеядстве, почерпнутого из первоуродного ис-

точника: «в поте лица твоего снеси хлеб твой».

26 марта того же года Толстой известил Бондарева, что прочел и основную его рукопись, и прибавление к ней: «И то и другое очень хорошо и вполне верно».

Толстой прилагал большие усилия, чтобы «Трудолюбие и тунеядство» дошло до массового читателя. Благодаря его настойчивости рукопись Бондарева была набрана в журнале «Русское богатство» в 1886 году, но в последний момент остановлена цензурой. 16—17 мая того же года Толстой написал и отредактировал предисловие к рукописи. 17 января 1888 года он писал М. И. Семеновскому: «Рукопись Бондарева очень стоит того, чтобы быть напечатанной...» И Толстой добился, что в 1888 году во втором номере «Русской старины» труд Бондарева был опубликован. Однако цензура вырезала его из книжки журнала. И все же Толстому удалось провести сочинение крестьянина-сектанта через цензурные рогатки, хотя и в несколько сокращенном виде. «Трудолюбие и тунеядство» вышло в свет в 1888 году в журнале «Русское дело», за что журнал получил предостережение от министра внутренних дел. Через два года книга Бондарева появилась в Париже на французском языке, а в 1895 году Толстой написал о Бондареве статью для 5-го тома «Критико-биографического словаря русских писателей», вышедшего под редакцией С. А. Венгерова. В этой статье Толстой, в частности, писал: «Странно и дико должно показаться людям теперешнее мое утверждение, что сочинение Бондарева, над наивностью которого мы снисходительно улыбаемся с высоты своего замечательного величия, переживет все сочинения, описываемые в историях русской литературы, и произведет больше влияния на людей, чем все они вместе взятые» (26, с. 448).

30 декабря 1898 года в письме к сыну Т. М. Бондарева, Даниилу Тимофеевичу, известившему Толстого о смерти отца, Толстой отдал дань уважения его памяти: «Я высоко ценил его как писателя и любил его как человека». В том же письме Толстой охарактеризовал Бондарева как «человека очень замечательного и оставившего после себя значительное сочинение».

В своей работе «Так что же нам делать?» Л. Н. Толстой отмечал: «За всю мою жизнь два русских мыслящих человека имели на меня большое нравственное влияние и обогатили мою мысль и уяснили мне мое миро-созерцание. Люди эти были не русские поэты, ученые, проповедники, это были два живущие теперь замечательных человека, оба всю

жизнь работавшие мужицкую работу — крестьяне Сютаяев и Бондарев».

Примерно то же самое Толстой говорил А. С. Пругавину, и не только ему.

Бондарев и Сютаяев, как и Толстой, были страстными и беспощадными обличителями господствующих классов; все трое предлагали утопические рецепты, не умея уяснить реального направления и возможных результатов классовой борьбы крестьянства. Эта общность во взглядах подчеркивалась одинаково отрицательным отношением к церкви.¹

ТОЛСТОЙ И Н. Ф. ФЕДОРОВ

Если идеи Сютаяева и Бондарева были горячо восприняты Толстым как свои собственные, то от дерзновенных идей Николая Федоровича Федорова (1828—1903), влияние которых он также испытал, Толстой постоянно отталкивался. Разные исследователи единодушны в том, что «ни Достоевского (в последние годы — период работы над «Братьями Карамазовыми»), ни Л. Н. Толстого (во вторую половину жизни), ни В. С. Соловьева (почти целиком) нельзя понять и осмыслить вне исследования точек соприкосновения их идейных исканий, их творческих путей с «планами» и «проектами» таинственного московского библиотекаря» (27, с. 7); «без сопоставления с «Философией общего дела» мы никогда до конца не пойдем странного пафоса, не заметим скрытых пружин всей мыслительной работы Толстого с начала 80-х годов» (28, с. 14).

С идеями Н. Ф. Федорова Толстой познакомился впервые в 1878 году в изложении Н. П. Петерсона, который ранее учительствовал в Богучарской и Плехановской школах Толстого в Ясной Поляне (статьи Петерсона об этих школах напечатаны в журнале «Ясная Поляна», 1862, № 6 и 1863, № 11). Во время знаменитого обыска в Ясной Поляне 6 и 7 июня 1862 года, произведенного под наблюдением полковника Дурново, в отсутствие хозяина усадьбы, Петерсон, не растерявшись, унес крамольные «Письма» А. И. Герцена, что характеризует его как преданного и доверенного Л. Н. Толстому человека.

Петерсон познакомился с Н. Ф. Федоровым 15 марта 1864 года в городе Богородске (ныне Ногинск), куда поступил учителем в уездное училище и где тогда преподавал историю и географию Н. Ф. Федоров. Дата этого знакомства представляет существенный интерес, так как позволяет заключить, что уже к этому времени у Федорова сложилась основная

концепция его учения¹⁸. Петерсон пытался «распропагандировать» Федорова в нигилистическом духе, но был обезоружен, когда Федоров изложил ему свои убеждения. «Николай Федорович, — вспоминает он, — развил постепенно целое мирозозерцание, совершенно для меня новое, по которому требуется «объединение всех людей в труде всеобщего воскрешения», и я был сразу же покорен и уже навсегда» (29, с. 89).

Федоров учил о всеобщем братстве людей, призванных к умиротворению стихийных сил природы, постижению ее законов, преобразению космоса и победе над смертью, — для воскрешения всех умерших поколений, во имя полноты вселенского счастья. В борьбе за осуществление этих задач получали высокий смысл и значение все государственные институты, все общественные структуры, преодолевающие темные силы дезорганизации, хаоса, распада, энтропии. Правительственная власть и армия, которой Федоров отводил в будущем фронт мирного созидательного труда, оказывались совершенно необходимы для координации, управления и осуществления этих глобальных задач (в чем великий отрицатель Толстой был антиподом Федорова).

Летом 1879 года в вагоне поезда Л. Н. Толстой встретил Н. П. Петерсона, который рассказал ему о Федорове и о том, что познакомил Ф. М. Достоевского с изложением его главных идей. При этом Петерсон прочел Толстому ответ Федорова по поводу письма Достоевского к Петерсону от 24 марта 1878 года¹⁹, на что Толстой заметил, что это ему несимпатично.

«...Осенью того же 1878 года Лев Николаевич был в Румянцевском музее (где работал библиотекарем Федоров. — В. Н.) и познакомился с Николаем Федоровичем, начав свое знакомство с ним словами, — «а я знаю Петерсона», так мне передавал Николай Федорович», — вспоминает Петерсон (29, с. 90). По другим данным, знакомство это состоялось в начале октября (не позднее 5-го) 1881 года, о чем сохранилась запись в дневнике Толстого (см. ПСС, т. 49, с. 58). По всей вероятности, первая встреча двух мыслителей имела место осенью 1878 года, а сближение и более тесное общение последовало в октябре 1881 года. Оно сразу же приняло характер интересного и напряженного диалога двух противоположных по взглядам и образу жизни философов. Нехристианские взгляды Толстого были известны Федорову еще в то время. «Толстой, — вспоминал Федоров, — собирал подписку для одного молоканина, чтобы обеспечить ему содержание на целый год,

в который он мог бы заняться опровержением учения о Троице, и я, чтец Пресвятой Троицы, в смысле образа единодушия и совершеннейшего общества и объединения для воскресения, подписал, твердо убежденный в непоколебимости этого догмата-заповеди (это было в 1883 г.)» (30, с. 249).

Столь же твердо Толстой был убежден в обратном. Но Федоров надеялся обратить его в свою веру. Одно время они поддерживали приятельские отношения: Федоров бывал у Толстого в Хамовниках, а Толстой навещал Федорова в его «келье» на Остоженке, в Зачатьевском переулке (ныне ул. Дмитриевского). К той поре относится известная запись Толстого в дневнике от 5 октября 1881 года: «Николай Федорович — святой! Каморка. Исполнять! — Это само собой разумеется. — Не хочет жалованья. Нет белья, нет постели» (ПСС, т. 49, с. 58).

Федоров был убежден, что человеческая мысль, ее плоды — общее достояние всех, и считал предосудительным куплю-продажу идей, авторских прав и т. п. Под его влиянием Толстой отказался от гонораров за свои произведения после 1881 года: «Что-то есть особенно отвратительное в продаже умственного труда. Если продается мудрость, то она наверно не мудрость».

Толстой часто обращался за помощью к Федорову, несравненному библиографу, который, заведя каталогом библиотеки Румянцевского музея (ныне Библиотека имени В. И. Ленина), отыскивал для него самые разнообразные книги, необходимые для писательской работы²⁰.

Библиотека была для Федорова своего рода ковчегом, в котором никто не исключен из списка живых. Федоров смотрел на каждую книгу, оставшуюся в наследство от прошлых веков, как на останки самого автора, от сохранности которых в каком-то смысле зависит своевременное его воскрешение. Библиографические идеи Федорова на несколько десятилетий опередили свое время (в частности, Федоров выдвинул вопрос о международном книгообмене). В своей заметке «Что значит карточка, приложенная к книге» Федоров подчеркивал необходимость аннотаций, в которых была бы заключена вся суть произведения, как в зерне заключена вся информация о будущем растении. Федоров считал, что сам автор произведения должен составлять подобные карточки, по которым в случае гибели сочинения можно было бы восстановить его контуры и представить основное содержание (см. 31, с. 677—680).

После вышеизложенного особенно понятно негодование, которое вызвал Толстой своей

неожиданной репликой: «Эх, динамитцу бы сюда!» (32, с. 76) — произнесенной в книгохранилище Румянцевской библиотеки, куда его любезно препроводил однажды Федоров²¹.

«Это было в начале 80-х годов, — точно года установить сейчас не могу, — вспоминал А. С. Пругавин, который одно время регулярно занимался в библиотеке Румянцевского музея и многим был обязан помощи Федорова. — Я видел Николая Федоровича несколько дней спустя после только что описанной сцены. Всегда спокойный, добродушный, приветливый, на этот раз он весь горел, кипел и негодовал...

— Ведь вы же всегда любили Толстого, — заметил я Николаю Федоровичу.

— Да я и сейчас его люблю, — ответил старик тоном, в котором слышалась глубокая искренность. — Я совершенно уверен, что Лев Николаевич никогда ни одной книги не сожжет... Об этом, разумеется, и речи не может быть. Только уж очень он поразил меня своими словами...» (33, с. 7—8).

Толстой, разумеется, не сказал бы таких слов, разделяя взгляды Федорова. Но в крайностях сходятся, и при разборе дневников, писем и публицистических статей Толстого можно заметить очевидные черты схождения в их взглядах: тягу к опрошению, идеализацию крестьянства, отдельные совпадения в эстетических оценках, радикальную критику науки, оторванной от жизни, просветительские тенденции. Толстой, например, находил, что само заглавие первой части «Философии общего дела» Н. Ф. Федорова («Вопрос о братстве, или родстве, о причинах небратского, неродственного, т. е. немирного, состояния мира, и о средствах к восстановлению родства») выворочено у него из души (см. 28, с. 13—14). Все это вдохновлялось противоположными убеждениями — Толстой отрицал и воскрешение в федоровской научно-мистической интерпретации «синергии» (сорботничества человека с Богом), и традиционное церковное учение о воскресении. Правда, в самом начале сближения обоих мыслителей был период, когда Толстой увлекся максимализмом Федорова, его беспрецедентной переоценкой ценностей, радикальной критикой буржуазного строя (см. 34). Именно к этому времени (ноябрь 1881 г.) относится письмо Толстого к В. И. Алексееву, в котором он пишет о Федорове: «Не бойтесь, я не разделяю и не разделял никогда его взглядов, но я так понял их, что чувствую себя в силах защищать эти взгляды перед всяким другим верованием, имеющим внешнюю цель. Главное, благодаря этому верованию, он по жизни

чистый христианин. Когда я ему говорю об исполнении Христова учения, он говорит: «Да, это разумеется», и я знаю, что он исполняет его. Ему 60 лет, он нищий, все отдает, всегда весел и кроток».

Профессор И. А. Линниченко подтверждает это высказывание Толстого: «Л. Н. Толстой не только высоко ценил нравственные качества Николая Федоровича, но прямо преклонялся перед ним, видя в нем одно из лучших воплощений своих теорий о любви к ближнему и опрощения жизни» (цит. по: 27, с. 16).

«Защищать» взгляды Федорова, однако, Толстой не стал, ограничившись попыткой их изложения перед высокоученой аудиторией. Следующий эпизод свидетельствует о том, насколько идеи Федорова об освоении других планет в целях заселения их в будущем поколениями воскрешенных людей казались тогда смехотворными:

«Л. Н. Толстой в начале 80-х годов пересказывал увлекавшие его тогда проекты Федорова членам Московского психологического общества во главе с профессором М. М. Троицким. На недоуменный вопрос: «А как же уместятся на маленькой земле все бесчисленные воскрешенные поколения» — Толстой ответил: «Это предусмотрено: царство знания и управления не ограничено землей». Это заявление было встречено, по словам Буслаева (Ф. И. Буслаева. — В. Н.), «неудержимым смехом присутствующих» (35, с. 97).

Вот как об этом повествует сам Федоров: «Толстой тоже признавал неестественность брака для человечества, но, отрицая его, он ничего не ставил на его место. Конечно, воздержание от сочетания и рождения не сохранит жизни. Нужно познание и управление процессом жизни, чтобы начать дело возвращения жизни отцам, то есть всеобщее воскрешение, — это и будет Царство Божие, новое небо и новая земля. В довольно близком к этому изложению виде Толстому известно было это учение о воскрешении. В беседе с Троицким, профессором психологии, и другими членами психологического общества Толстой даже излагал это учение, конечно, в смешном виде, предлагая избрать автора этой теории членом психологического общества. Так Троицкий передавал этот разговор Буслаеву» (30, л. 424—425).

Упомянув об этом случае, А. К. Горностаев считает, что Толстой не в шутку, как полагает Федоров, а всерьез излагал его учение: «Федорову легче думать, что он, в сущности, ничего не потерял в Толстом, что Толстой и прежде лишь в шутку приближался к его заветным мыслям...» Общество встретило

«неудержимым смехом» попытку подобной проповеди. Попав между Спиллой и Харибдой, Толстой мало-помалу отступился, замолчал и отошел в сторону. Началась полоса специально «толстовских увлечений» и «толстовской проповеди» (28, с. 16).

Как мы знаем, полоса толстовских увлечений и проповеди началась еще до знакомства писателя с Н. Ф. Федоровым, но Толстой, по всей вероятности, действительно пытался заинтересовать учением Федорова, проверить реакцию образованного общества на головокружительные и фантастические проекты²². Вопрос этот нуждается в дополнительном изучении. Воспоминания И. М. Ивакина позволяют в этом отношении кое-что уяснить. Вот как он вспоминает вечер 24 июня 1885 года, проведенный среди обитателей яснополянской усадьбы:

«За чаем толковал с Львом Николаевичем и Татьяной Андреевной о воскрешении Николая Федоровича. Это воскрешение Л. Н. сопоставил с теорией брата своего Сергея Николаевича, которая заключается в том, что мир состоит из частиц, изменяющих формы своего сочетания в бесконечности пространства и времени, и что, следовательно, возможна и такая комбинация, что раз уничтожившееся снова придет в прежнюю форму. Разница та, что у Николая Федоровича все представляется сознательной деятельностью человечества, а у Сергея Николаевича — простому процессу» (36, с. 45).

Через несколько дней, 5 июля, когда вновь зашел разговор о Федорове, Толстой сказал И. М. Ивакину: «Николай Федорович говорит, что между людьми братства потому нет, что нет общего дела; будь оно, было бы и братство; делом этим он считает воскрешение. Я же говорю, что братство может быть и без общего дела, пожалуй, просто вследствие того ужаса нашего положения, который есть прямой результат отсутствия братства. Он этого не хочет понять. У него есть пункт помешательства, которого у меня, должно быть, нет. Я ему говорил: поставьте вы общее дело целью, не определяя его точно. Но с философской точки зрения его построение правильно, он прав, ставя человечеству такую задачу, если только отодвигать ее исполнение в бесконечность времени» (36, с. 51—52).

Федоров не хотел отодвигать общее дело «в бесконечность времени», полагая, что наука находится на пороге великих свершений, а социальное неустройство требует немедленной деятельности, которая даст разумный выход человеческой энергии, душевному размаху русской природы, жаждущей «беззаветной отваги, удалы, жажды самопожертвования».

желания новизны, приключений. Известный процент характеров с подобными наклонностями выделяет всякая община... Ширь русской земли способствует образованию подобных характеров; наш простор служит переходом к простору небесного пространства, этого нового поприща для великого подвига» (31, с. 282). «Мир дан не на погляденье и не на созерцанье», — любил говорить Н. Ф. Федоров, призывая к общему делу объединенного человечества и отвергая толстовское «неделание».

Принципиальные расхождения обоих мыслителей, связанные с проблематикой смерти, бессмертия души и воскрешения, выявились окончательно несколько позднее. Сергей Львович Толстой вспоминает, что в ту пору Федоров еще надеялся на «обращение» великого писателя: «При каждой встрече с моим отцом он требовал, чтобы отец распространял эти идеи. Он не просил, а именно настойчиво требовал, а когда отец в самой мягкой форме отказывался, он огорчался, обижался и не мог ему этого простить» (37, с. 138).

Толстой, со своей стороны, пытался заинтересовать Федорова восточными учениями, склонить его к буддистскому пониманию души как потока сознания, растворяющегося в мировом универсуме. В таком случае отпадала сама постановка вопроса о воскрешении: личное «я» исчезало в мировом целом, воскрешать было некого. Как вспоминает И. М. Ивакин, в декабре 1886 года Толстой заходил к Федорову домой, чтобы оставить ему книгу Биля о Будде. Общение их продолжалось. Авторитет Федорова в глазах Толстого неизменно был велик. По предложению Федорова Толстой передал свои рукописи на хранение в Румянцевский музей. В сентябре 1887 года Федоров сообщил Ивакину, что графиня С. А. Толстая сама привезла их в библиотеку... «Мы пошли навстречу Николаю Федоровичу — смотрим, он и сам идет, сгорбясь, в поношенном, потертом, выцветшем пальто...

— Ну, теперь вы здоровы? — сказал Николай Федорович, — мы слышали, что вы были больны...

— Этого я не признаю; было то, чему быть должно.

— Болезнь быть не должна, — строго ответил Николай Федорович» (36, с. 96).

Ивакин вспоминает далее, как Толстой упомянул о воздухоплавании, а Федоров заметил, что, к сожалению, все это клонится не к общению, а к разединению людей. А разединение и без того уже велико. Толстой внезапно впал в тон Федорова и заговорил, что вот изобрели порох и все думали, что

теперь войнам конец, но тщетно, все осталось по-прежнему. Изобрели динамит, роборит, мелинит — и тоже ничего!.. Дойдя до угла Зачатьевского переулка, где жил Федоров, Ивакин попрощался, а его спутники пошли дальше. На следующий день Ивакин расспрашивал Федорова о Толстом и узнал, что они еще долго беседовали и ходили провожать друг друга. Через два дня Ивакин вновь видел Федорова и Толстого в библиотеке; Толстой звал Федорова к себе в гости, но Федоров после ухода Толстого на вопрос Ивакина, пойдет ли он к Толстому, наотрез отказался... По-видимому, в беседе с Толстым выявились разногласия принципиального характера: в таком случае Федоров оказывался неуступчив. Можно догадаться, что возник спор об историческом прогрессе, который Толстой начисто отрицал, а Федоров оценивал двояко: с одной стороны, он приветствовал научно-технические и социально-культурные достижения; с другой — считал, что наука и культура должны быть поставлены на службу «общему делу» и развиваться в дальнейшем под качеством иным знаком. Реплика Федорова «болезнь быть не должна» подсказывает и другое направление разговора, перешедшего, быть может, на самый серьезный предмет... о смерти и воскрешении. А. К. Горностаев считает, что все личные и принципиальные стычки Федорова с Толстым возникали на почве разномыслия по этому вопросу. Федоров до глубины души был уязвлен следующей фразой, сказанной Толстым (вероятно, в Хамовническом доме, после чего Федоров отказался бывать у Толстого):

«...Л. Толстой, держа в руках череп, усмехнувшись, сказал: «люблю эту курноску!» Аналогичная фраза была произнесена и позже, в разговоре с Н. П. Петерсоном, в апреле 1899 года (причем Л. Н., конечно, знал, что весь разговор будет передан Федорову). В статье Петерсона «Разговор с Л. Н. Толстым» (газета «Асхабад», 1899 г., № 285) эта фраза передана так: «вот, я стою одною ногою в гробу и все-таки скажу, что смерть — вещь недурная». Совершенно очевидно, что мысль, или даже не мысль, а некий вкус, настроение, продиктовавшее эти фразы, и было постоянным источником столкновений и споров обоих мыслителей. Этих фраз Федоров никогда Толстому простить не мог, то и дело возвращаясь к ним в своих полемических статьях, и заметках. «Панегиристу смерти, величайшему лидеру нашего времени» — так, например, озаглавлена одна из этих статей, еще не изданная» (28, с. 8).

Такая резкость объясняется и тем, что Федоров знал и помнил Толстого, откровенно

высказывавшего свой страх перед смертью, и не мог считать противоположные высказывания Толстого вполне искренними. И. С. Тургенев в романе «Накануне» удачно выразил ощущение, которое, по мнению С. А. Толстой, М. Горького и некоторых других лиц, близко знавших Толстого, мучило писателя на протяжении многих лет: «Случается, что человек, просыпаясь, с невольным испугом спрашивает себя: неужели мне уже под тридцать... сорок... пятьдесят лет? Как это жизнь так скоро прошла? Как это смерть так близко надвинулась? Смерть, как рыбак, который поймал рыбу в свою сеть и оставляет ее на время в воде: рыба еще плавает, но сеть на ней, и рыбак выхватывает ее — когда захочет...»

Л. Н. Толстой, характеризуя подобные мысли Тургенева, произнес примечательные слова в беседе с Г. А. Русаковым: «Тургенев был престранный человек; между прочим, меня всегда удивляла в нем боязнь смерти. Я не мог понять, как он не боится бояться смерти». Приводя это высказывание, А. К. Горностаев подчеркивает: «У Тургенева был сильный страх перед смертью, который он не умел и не считал нужным скрывать. Но страх Толстого сильнее. Это не просто страх, а страх перед страхом, так сказать, страх в квадрате. Он боялся бояться... старался уверить себя и других в обратном... в то время, как все внутреннее существо вопило в нем нескончаемым глухим звуком Ивана Ильича: «Не хочешь-у...» (28, с. 9).

Отрицая учение христианской церкви о всеобщем воскресении и, считая проекты Н. Ф. Федорова о научно-мистическом воскрешении утопией, Толстой, естественно, должен был найти некую философскую альтернативу, снимающую внутренний ужас перед «черной дырой». По существу, писатель нашел «выход» в буддизме, которым увлекся еще до знакомства с Федоровым. На призыв Федорова к «общему делу», произнесенный в узком кругу, Толстой ответил противоположной реакцией — на весь мир! — провозглашением смерти как освобождения, естественной необходимости, отменяющей все вопросы:

«Ты всех загадок разрешенье,
Ты разрешенье всех цепей.

(Е. А. Боратынский. «Смерть»)

Антропология Толстого, ставившего под вопрос единство личности и непреходящее тождество человеческого «я», естественно, вызвала именно такую реакцию. Человек для Толстого все время меняется, он пластичен и текуч до неузнаваемости, переставая быть самим собой: «Одно из самых обычных заблуж-

дений состоит в том, чтобы считать людей добрыми, злыми, глупыми, умными. Человек течет, и в нем есть все возможности...»; «как бы хорошо написать художественное произведение, в котором ясно высказывать текучесть человека, то, что он, один и тот же: то злодей, то ангел, то мудрец, то идиот, то силач, то бессильнейшее существо» (ПСС, т. 53, с. 179 и 187).

Подобные взгляды имеют место в оккультных учениях. Последователь Г. Гурджиева П. Д. Успенский, например, утверждает: «Первое, что человек должен знать, — это то, что он не нечто одно, он нечто многое. Он не имеет одно постоянное и неизменное «я» или Его. Он — всегда различен. В один момент — он один, в другой — другой, в третий — третий и т. д., почти без конца. Иллюзия единства или единичности создается в человеке, во-первых, ощущением физического тела, во-вторых, его именем, которое в обычных случаях всегда постоянно и, в-третьих, определенным числом механических привычек, которые привиты ему образованием или которые он вообразил себе» (38).

Сама жизнь казалась Толстому именно такой «иллюзией единства» (майей), а цивилизация и культура — суммой «механических привычек», от которых отдельного человека «освобождает» смерть, общество и государство — социальные потрясения, неведение, анархия... Многими исследователями справедливо отмечалось, что антиперсонализм Толстого отделяет его от христианства и приближает к индусскому мировосприятию: «Метафизика Л. Толстого, лучше всего выраженная в его книге «О жизни», резко антиперсоналистична... В личности, в личном сознании, которое для него есть животное сознание, он видит величайшее препятствие для осуществления совершенной жизни. Он много мучился, религия его была безблагодатна» (39, с. 185).

И в этом отношении между Толстым и Федоровым лежала непреходимая грань. Федоров, несмотря на ультрасовременное учение о внехрамовой литургии, отличался традиционным благочестием, его часто можно было видеть молящимся в храме Христа-Спасителя, недалеко от Румянцевского музея. «Он дорожил в православной церкви каждым ее обрядом и установлением так же, как и догматом, видя в них сокровенный смысл» (40, № 26, с. 4). Убеждения Толстого являли полную противоположность, и по мере выявления этой полярности, особенно в связи с антиклерикальными мотивами в творчестве Толстого, разрыв между двумя мыслителями становился неизбежным.

И. М. Ивакин в своих записках, фиксирующих события 80-х годов, в апреле 1889 года записал: «На другой день, когда я рассказал Николаю Федоровичу о мормонских книгах, виденных мною у Толстого, он заметил: «Прежде я говорил, что он составляет центр русских еретиков, а теперь надо сказать, что он центр еретиков всего мира!»» (36, с. 109).

Окончательный разрыв произошел зимой 1891/92 года. В ту голодную зиму, вызванную неурожаем, Толстой передал корреспонденту английской газеты «Daily Telegraph» резкую обличительную статью, обвинившую царскую администрацию в тяжелом положении голодающих крестьян. Статья эта, названная Толстым «О голоде», вышла в переводе Э. Диллона в «Daily Telegraph» в номере от 14/26 января 1892 года под заголовком «Почему голодают русские крестьяне?».

По цензурным условиям столь страстная и беспощадная критика в адрес правительственных кругов, естественно, не могла появиться в печати. Однако «Московские ведомости» в номере от 22 января того же года дали пространные выдержки из статьи в обратном переводе с английского, сопровождаемые редакционным комментарием: «Письма гр. Толстого... являются открыто пропагандой к ниспровержению всего существующего во всем мире социального и экономического строя. Пропаганда графа есть пропаганда самого крайнего, самого разнузданного социализма, перед которым бледнеет даже наша подпольная пропаганда».

В противоположность Толстому Федоров видел причины разразившегося голода в засухе, в отсутствии «метеорической регуляции», о необходимости которой писал в своих малоизвестных заметках, опубликованных без подписи или под инициалами²³. Толстому идеи Федорова о «метеорической регуляции» (искусственным вызывании дождя, управлении погодой, изменении климата и т. п.) были хорошо известны. Особенно же возмутил Федорова тот факт, что статья Толстого «О голоде» была использована на Западе в целях антирусской пропаганды. Федоров увидел в этой статье «не семена только страшной для него «розни», но открытую ненависть, вражду, неправду, а это зло для него уже было нестерпимо» (40, № 25, с. 5). Статья «О голоде» вызвала целую бурю в тогдашнем обществе, ее переписывали, она переходила из рук в руки. Возникли слухи о возможной высылке Толстого из пределов России или о заточении его в Суздальский монастырь (см. 41). Слухи эти были беспочвенны — Александр III оставался верен своему обещанию «не прибавлять к славе Толстого мучениче-

ского венца», которое дал графине Александре Андреевне Толстой (родной тетке Л. Н. Толстого, бывшей камер-фрейлиной при дворе).

Еще тогда, в 1886 году, предполагались по отношению к Толстому правительственные санкции. Они могли быть вызваны распространением литографированных «в значительном количестве экземпляров» запрещенных статей Толстого «Церковь и государство», «Что можно и чего нельзя делать христианину» и других, «производивших сенсацию» среди части петербургской и московской молодежи. В связи с этим 15 января 1886 года состоялось заседание Московского общества любителей духовного просвещения, на котором было принято решение о необходимости для общества «принять на себя почин в деле противодействия распространению толстовских сектантских бредней» (42, с. 52).

Н. Ф. Федоров, судя по всему, взял на себя «личный почин» такого рода еще раньше. Но из этого ничего не получилось. Беспрецедентная публикация Толстого в английской газете привела к окончательному разрыву между двумя мыслителями, вызванному принципиальными, глубокими расхождениями. В конце ноября 1892 года Толстой приехал из Ясной Поляны в Москву и по обыкновению зашел к Н. Ф. Федорову в Румянцевский музей.

Вот как описывает эту встречу, оказавшуюся последней, ее очевидец, заведующий отделом рукописей Г. П. Георгиевский:

«Увидев спешившего к нему Толстого, Федоров резко спросил его:

— Что Вам угодно?

— Подождите, — отвечал Толстой, — дайте сначала поздороваемся. Я так давно не видел Вас.

— Я не могу подать Вам руки, — возразил Федоров. — Между нами все кончено.

Николай Федорович нервно держал руки за спиной и, не переходя с одной стороны коридора на другую, старался быть подальше от своего собеседника.

— Объясните, Николай Федорович, что все это значит? — спрашивал Толстой, и в голосе его тоже послышались нервные нотки.

— Это Ваше письмо напечатано в «Daily Telegraph»?

— Да, мое.

— Неужели Вы не сознаете, какими чувствами продиктовано оно и к чему призывает? Нет, с Вами у меня нет ничего общего, и можете уходить.

— Николай Федорович, мы старики, давайте хотя простимся...

Но Николай Федорович остался непреклон-

ным, и Толстой с видимым раздражением повернулся и пошел» (43, с. 24, 25).

По всей вероятности, Толстой был очень сильно уязвлен. В его письме к И. М. Трегубову (в последних числах ноября) сквозит явное душевное раздражение. В письме подчеркнута полная несовместимость собственных взглядов с общецерковными. Отвечая И. М. Трегубову, приславшему статью архимандрита Антония Храповицкого «Нравственная идея догмата Пресвятой Троицы» («Богословский вестник», 1892, № 11), Толстой упрекает: «Все это уж говорено и переговорено, все это труп. И зачем его ворожить и отравлять воздух трупным запахом?.. А главное, что Вы ко мне обращаетесь с такими брошюрами? Между мною и такими элукубрациями * ведь нет ни малейшей точки соприкосновения».

Это заявление решительно удостоверяет, что взгляды Толстого к этому времени не имели «ни малейшей точки соприкосновения» и с «элукубрациями» Федорова, в учении которого нравственная идея догмата Пресвятой Троицы занимает центральное место.

Так навсегда разошлись пути Толстого и Федорова.

Многие современники вспоминали, что Толстой до конца своей жизни отзывался о Федорове, скончавшемся 15 (28) декабря 1903 года, с неизменным уважением, называя его «дорогим, незабвенным», «замечательным человеком».

Что касается Федорова, он оставил ряд суровых и непримиримых оценок толстовской философии.

Уже после разрыва, в 1893 году, Толстой написал на русском и французском языках широко известную статью «Неделание»; запрещенная в России, статья была напечатана на французском языке в «*Revue des Revues*», 1893, № 4. С оценкой этой статьи связана неизданная заметка Н. Ф. Федорова «Резюме философии Л. Толстого»:

«Это безусловная нирвана, новый нигилизм, самая злая нетовщина. Однако именно к ней, ко всему отрицательному, ведут его наставления. Студентам он говорит: «не учись!», чиновнику — «не служи!», призываемому к воинской повинности: «откажись!», подданным — «не плати податей!..» Под выставку «хорошо бы подложить динамитцу!»; музеи и библиотеки «надо бы сжечь!»; музеи в храмы — «хуже кабаков!» (30, с. 246).

По поводу статьи Толстого «Не убий!», написанной в 1900 году (первоначальное на-

звание «Кто виноват?») и опубликованной почти во всех европейских газетах (см. запись Толстого в дневнике от 16 октября 1900 г.), Н. Ф. Федоров писал:

«...Говоря об убийстве в ветхозаветном смысле, Толстой забывает об убийстве в новозаветном смысле, о котором говорится в Нагорной проповеди... В этом смысле, в самом глубоком смысле, все, вредящее словом и делом суть убийцы...» (30, с. 304): «В противоположность прокламации Толстого, мы должны признать убийство виною, грехом не других только, а самих себя, т. е. всеобщим, наследственным грехом, — и всем в совокупности, в союзе, при том всеми своими силами и способностями, надлежит искупить грех убийства противоположно ему добродетелью» (30, с. 296).

Необходимо отметить, что в отличие от большинства дореволюционных исследователей, которые считают Л. Толстого учителем нравственности, Н. Ф. Федоров оценивал его учение как «имморализм». «Неделание», по мнению Федорова, является почвой для возникновения большего зла, чем то элементарное зло, которого пытаются избежать, придерживаясь пассивной философии «неделания».

Учение Толстого (толстовство) в его чистом виде оборачивается историческим нигилизмом, отказом от творчества в истории, отрицанием культуры, пустым призывом к «опрощению»; в этом основное противоречие Толстого, так как жизненная неправда «преодолевается» отказом от всяческих задач, от творчества, от поступательного исторического развития. Оценивая «учительство» Толстого с позиций классовых интересов пролетариата, В. И. Ленин писал: «...движению вперед мешают все те, кто объявляет Толстого «общей совестью», «учителем жизни». Это — ложь, которую сознательно распространяют либералы...» (44, с. 71).

Касаая историсофских воззрений Толстого, отрицавшего исторический прогресс человечества («общего закона движения вперед человечества нет, как то нам доказывают неподвижные восточные народы»), В. И. Ленин дал общую оценку его мировоззрения:

«Вот именно идеологией восточного строя, азиатского строя и является толстовщина в ее реальном историческом содержании. Отсюда и аскетизм, и непротивление злу насилем, и глубокие нотки пессимизма, и убеждение, что «все — ничто, все — материальное ничто...» (45, с. 102).

Многие построения Толстого, по существу, тождественны концепциям джайнизма, буддизма или индуизма; идея «непротивления»

* Elucubratus — тщательно подготовленный (латин.).

является попыткой перенести на европейскую почву восточную идею ахимса (или «ахинса» — санскр. — непричинение боли или зла). Отрывая подобные понятия от восточной традиции, осмысливая их по-своему, Толстой оперировал христианской терминологией, но употреблял ее в системе иных координат, в ином семантическом плане. Богословская терминология становилась у Толстого таким образом не более чем словесной драпировкой, использовалась писателем с целью выхолащивания ее от церковного, духовного смысла.

Отрицательное отношение писателя к православной церкви отчетливо проявилось и в его художественных произведениях, в особенности в 90-е годы.

ОТЛУЧЕНИЕ

Повесть «Крейцера соната», над которой Толстой работал несколько лет (1887—1889, первая публикация 1891 г.), по своей проблематике, остроте социальных и антиклерикальных обличений вплотную примыкает к роману «Воскресение» (1889—1890, 1895—1896, 1898—1899 гг., публикация в 1899 г. в журнале «Нива»), выход которого непосредственно предварил отлучение писателя от церкви.

В «Крейцеровой сонате» Толстой не только вскрыл моральную распущенность своего круга, но одновременно объявил несостоятельными нравственные устои самого церковного брака. Эта несостоятельность, по Толстому, связана с неверным пониманием любви, которая, возникая из сознания бессмысленности индивидуального бытия, должна быть направлена не на личность, а на безличное целое.

Толстой самым решительным образом отрицает в повести все христианские символы, отвергает понимание брака как таинства, считая все это насквозь фальшивым.

По словам В. Шкловского, в повести выявился взгляд Толстого, в полной мере развитый в романе «Воскресение» (тема Нехлюдова и Катюши Масловой), что «любви вообще нет и половой акт так отвратителен, что его нельзя совершить с любимым человеком» (23, с. 693).

Не допущенная вначале к печати, повесть после публичного прочтения (28 октября 1899 г. в Петербурге на вечере у Кузминских и 29 октября в редакции издательства «Посредник») стала переписываться во множестве экземпляров и вскоре разошлась по всей России (петербургские студенты-филологи, например, в марте 1900 года издали 600 эк-

земпляров повести на ротаторе), вызвав нескончаемые толки и жаркие споры.

Обер-прокурор Синода К. П. Победоносцев 6 февраля 1890 года писал о «Крейцеровой сонате» своему другу Е. М. Феоктистову, начальнику Главного управления по делам печати: «Прочел я первые две тетради: тошно становилось — мерзко до личности показалось... Правда, говорит автор от лица человека больного, раздраженного, проинкнутаго ненавистью к тому, от чего он пострадал, но все чувствуют, что идея принадлежит автору. И бросается в глаза сплошь почти отрицательное... Произведение могучее. И когда я спрашиваю себя, следует ли запретить его во имя нравственности, я не в силах ответить «да». Оболжвит меня общий голос людей, дорожащих идеалом, которые, прочтя вещь негласно, скажут: а ведь это правда. Запретить во имя приличия — будет некоторое лицемерие» (цит. по: ПСС, т. 27, с. 593—594).

И это был далеко не единственный голос, предвещавший бурю. Еще до публикации, 2 марта 1891 года, в годовщину восшествия на престол Александра III, харьковский протоиерей Т. Буткевич сказал на проповеди в кафедральном соборе, что граф Л. Н. Толстой «больше всех волнует умы образованного общества» своими сочинениями, отличающимися «разрушительной силой и растлевающим характером», проповедующими «неверие и безбожие». Назвав «Крейцерову сонату» Толстого «нескладным, грязным и безнравственным рассказом», проповедник выразил надежду, что «благочестивейший государь пресечет своевременно его разрушительную деятельность» (см. 46).

Тогда же, в 1891 году, в Одессе вышли «Восемь бесед Высокопреосвященного Никанора (Бровковича. — В. Н.), архиепископа Херсонского и Одесского» (под грифом «Против Льва Толстого»), в которых автор доказывал, что «ересуечение графа Льва Толстого разрушает самые основы не только православно-христианской веры, но и всякой религии» (47, с. 41), посягая на «основы общественного и государственного порядка» (47, с. 120).

После аудиенции С. А. Толстой у Александра III император позволил издать «Крейцерову сонату», но... лишь в Полном собрании сочинений. В июне 1891 года в типографии Мамонтова была напечатана 13-я часть сочинений гр. Л. Н. Толстого с «Крейцеровой сонатой». Появление повести сразу вышло за рамки чисто литературного события, породив оживленные дискуссии о браке как отжившей форме семейных отношений.

Одновременно были предприняты попытки русской православной церкви «вразумить» Л. Толстого. В марте 1892 года писателя посетил ректор Московской духовной академии архимандрит Антоний Храповицкий, но его увещание, судя по всему, оказалось безрезультатным.

А вскоре впервые прозвучало слово «отлучение». 29 апреля 1892 года С. А. Толстая сообщила мужу из Москвы: «Вчера Грот (Николай Яковлевич Грот. — В. Н.) принес письмо Антония, в котором он пишет, что митрополит здешний хочет тебя торжественно отлучить от церкви» (48, с. 261).

Так что вопрос об отлучении поднимался уже тогда — в 1892 году, после выхода «Крейцеровой сонаты».

Известно было, что и сам Толстой не прочь «пострадать» и не раз объявлял об этом. А в известном разговоре с Константином Леонтьевым (в 1890 г.) так и сказал: «Напишите, ради бога, чтоб меня сослали. Это моя мечта» (49, с. 135).

Но Александр III оказался верен своему слову, а усилия Синода не простирались дальше увещательных мер.

После смерти императора, последовавшей в 1894 году, перед Синодом вновь встал вопрос об отлучении Толстого, о чем известно, в частности, из письма К. П. Победоносцева к профессору С. А. Рачинскому от 26 апреля 1896 года: «Ужасно подумать о Льве Толстом. Он разносит по всей России страшную заразу анархии и безверия!.. Точно бес овладел им — а что с ним делать? Очевидно, он враг церкви, враг всякого правительства и всякого гражданского порядка. Есть предположение в Синоде объявить его отлученным от церкви во избежание всяких сомнений и недоразумений в народе, который видит и слышит, что вся интеллигенция поклоняется Толстому». В то же время церковь продолжала свои попытки «образумить» писателя, но без видимых результатов.

Как явствует из «Отчетов о состоянии Тульской епархии» за 1886—1899 годы, безуспешными оказались все шаги, предпринятые поочередно тульскими архиереями: архиепископом Никандром, епископом Иринеем и епископом Питиримом на протяжении ряда лет.

26 сентября 1897 года к Толстому в Ясную Поляну по благословению тульского архиерея приехал протоиерей Дмитрий Троицкий. И он тоже пытался примирить писателя с церковью (50, с. 14—16). Приезды отца Дмитрия повторялись и позже — в 1901 и 1902 годах (уже после отлучения Толстого), а последний приезд состоялся 4 января 1909 года, когда

Толстой уже не выбирал приличествующих выражений. Об этих посещениях вспоминает Лев Львович Толстой: «Одно время из Тулы стал ездить к нам тульский тюремный священник. Это была не первая попытка со стороны духовенства вернуть Толстого-старика к православию. Отец принимал этого священника и подолгу беседовал с ним. Худой и нервный, необыкновенно симпатичный, этот батюшка, однако, не имел успеха и потом прекратил свои посещения» (16, с. 59—60).

Особые сетования приходского духовенства села Кочакова вызывал тот факт, что Толстой старался все земледельческие и прочие работы проводить в дни официально принятых церковных праздников (не менее 93 дней в году), когда работа считается грехом. Даже в великие праздники, даже на пасхальной неделе Толстой демонстративно работал, что было открытым вызовом церкви. Писатель занимался полевыми работами, обходил крестьянские дворы, помогал бедным крестьянам крыть хаты соломой, смазывал печи и т. п., многих увлекая своим образом действий.

Епископ Тульский и Белевский Питирим сообщал в упомянутых «Отчетах»: «Граф Лев Толстой позволяет себе открыто обнаруживать свое полное неуважение к обрядам Православной Церкви. Так, в отчетном году был следующий факт. 31 августа священник села Трасны прибыл с крестным ходом к станции Ясенки и здесь на Крапивенском шоссе при большом стечении народа ожидал святую Владимирскую икону Божией Матери из села Грецово Богородицкого уезда. Когда на шоссе показалась означенная икона, священник и окружающий его народ увидели, что справа по отношению иконы, прорываясь через народ, ехал кто-то на сером коне с надетой на голову шляпой. Минуту спустя всем стало очевидно, что это был граф Лев Толстой. Как оказалось, Лев Толстой ехал близ иконы в шляпе от села Кочаков 4—5 верст и время от времени делал народу внушение, что собираться и делать иконе честь совсем не следует, потому что это очень глупо, и вообще оскорбительно говорил по поводу святой иконы... Он, очевидно, хотел показать в глазах других свое прямое злонамеренное действие против веры и Церкви Православной. Разъезжая на коне и в шляпе близ иконы Богоматери, он позволил себе в то же время язвительно кощунствовать над нею» (51, с. 20).

Подобное отношение Л. Н. Толстого к иконописным изображениям засвидетельствовано в воспоминаниях и других современников. Так, например, Евгений Львович Марков, известный романист и критик второй половины

XIX века, рассказывал Н. П. Петерсону, что однажды, на прогулке по Москве с одним из воронежских сектантов, Толстой, указывая на Иверскую икону божией матери, сказал: «Она — презлая» (30, примеч. Н. П. Петерсона на с. 276).

Профессор С. Н. Булгаков вспоминал о своей беседе с Л. Толстым в Гаспре, в Крыму, в 1902 году: «Я имел неосторожность в разговоре выразить свои чувства к Сикстиние (Сикстинской Мадонне Рафаэля. — В. Н.), и одного этого упоминания было достаточно, чтобы вызвать приступ задыхающейся, богохульной злобы, граничащей с одержанием. Глаза его загорелись недобрым огнем, и он начал, задыхаясь, богохульствовать» (52, с. 108).

Таким образом, в своей последовательной и непримиримой борьбе с православной церковью Толстой доходил до самых воинствующих жестов. В них проявлялась страстная натура, которой была чужда всякая половичатость. Николай Иванович Тимковский, оценивая взаимоотношения Толстого с «толстовцами», писал:

«Хотя Лев Николаевич и тогда уже исповедовал страстно принцип непротivления, но никогда не казался мне человеком смирившимся в каком бы то ни было смысле... Все в нем — глаза, манеры, способ выражения — говорило о том, что принцип, заложенный в него глубоко самой природой, — отнюдь не смирение и покорность, а борьба, страстная борьба до конца... если бы он действительно был такой «непротivленный», то вряд ли нажил бы себе столько яростных врагов... вплоть до знаменитого отлучения...» (38, с. 47).

Интересен рассказ Н. И. Тимковского о встрече с Толстым в предпасхальные дни в Москве, в Охотном ряду. Толстой, по своему обыкновению, тотчас же заговорил о том, что его особенно занимало в ту минуту и о чем он, по-видимому, только что думал: «Представьте себе: вдруг, точно по мановению жезла, миллионы, Десятки миллионов принимаются готовить куличи и пасхи. Чем это объяснить? Только тем, что они видят в этом какую-то истину. Иначе — какая сила могла бы заставить эти миллионы? Так и во всем: дайте им познать другую истину... и все эти миллионы бросят свои куличи и будут так же усердно делать другое... — Вообразите, что сегодня все убедились в ненужности этих тротуаров, лавок, городских, мостовых, домов и всего, что мы здесь видим: тогда завтра же от всего этого не останется камня на камне. И так непременно будет». — Он долго говорил на эту тему с ожесточенным нетерпением, сильно стуча по камням тротуара пал-

кой; моментами казалось, что он производит какие-то заклинания и вот-вот вызовет на свет могучего духа. Но вызывать было незачем: этот могучий дух сидел в нем самом» (33, с. 49).

Не менее характерна реакция Толстого на традиционное церковное таинство — крещение. Так, 12 января 1899 он следующим образом ответил на просьбу одного из своих корреспондентов быть крестным отцом его ребенка:

«Считаю невозможным принимать какое бы то ни было участие в одном из самых жестоких и грубых обманов, которые совершаются над людьми и который называется крещением младенцев».

Еще в «Критике догматического богословия» (1879—1880 гг.) Толстой утверждал, что служители культа «под видом каких-то таинств обманывают и обирают народ». А в «Воскресении» эта критика достигла своего апогея. Описывая божественную литургию в 39-й и 40-й главах первой части романа, Толстой, по словам Н. Н. Арденса, не жалеет сатирических красок, чтобы доказать: «Тут лгут все — и священник, манипулирующий «за перегородкой», и хор, затвердивший какие-то непонятные речения, и все молящиеся, которые кланяются и механически машут руками, и тюремные надзиратели, и арестанты, брэнчащие своими кандалами» (53, с. 496).

Изображая священнослужителя, совершающего евхаристию, Толстой именует иконстас «перегородкой», ризу — «парчовым мешком», престол, на котором совершается пресуществление святых даров, — «столом», дароносицу — «чашкой», дискос — «блюдцем», воздух — «салфеткой».

В целом, акцентируя внимание на антагонизме народа и правящих классов, к которым Толстой причисляет духовенство, писатель внушает читателю, что не может быть никакого совпадения интересов разных социальных групп, никакой «божественной гармонии», о которой мечтает духовенство. Как отмечает Н. В. Карпов (54, с. 32), Толстой обличает представителей церкви «снизу доверху» — от рядового священника до обер-прокурора святейшего Синода К. П. Победоносцева. Последний выведен в «Воскресении» под именем Топорова («говорящая» фамилия, напоминающая о топоре, орудии казни).

В 21-й и 27-й главах третьей части романа с нескрываемой авторской симпатией нарисован образ безмянного сектанта-анархиста, обличающего царя и царские власти.

Заслуживает внимания и тот факт, что весь гонорар, полученный за публикацию романа «Воскресение» в журнале «Нива», был

отдан Л. Н. Толстым на перевозку четырех тысяч сектантов-духоборцев в Канаду²⁴.

После выхода «Крейцеровой сонаты» и «Воскресения» стало очевидно: за все девятнадцать веков своего существования христианская церковь не сталкивалась с такой силой беспощадных обличений, сарказма, последовательного отрицания. Всем — и официальным властям, и церковным — стало ясно, что ни о каком примирении Толстого с церковью не может быть речи.

В ноябре 1899 года архиепископ Харьковский Амвросий, член святейшего Синода, составил проект постановления Синода об отлучении Толстого (55, с. 165—167).

В марте 1900 года митрополит Киевский Иоанникий, первенствующий член Синода, секретным циркуляром обязал все духовные консистории объявить подведомственному духовенству «о воспрещении поминовения, панихид и заупокойных литургий по графе Льве Толстом в случае его смерти без покаяния» (13, с. 158).

В том же году первенствующим членом Синода был назначен митрополит Петербургский и Ладужский Антоний. С этим назначением связано появление слухов, о которых в своем дневнике А. С. Суворин писал 15 июня 1900 года:

«Рассказывают, что митрополит Антоний разослал по всей России секретные циркуляры с строгим наказом всему духовенству не признавать графа Толстого православным. В этом циркуляре граф объявляется непослушным, враждебным критиком православной церкви и еретиком» (56, с. 242).

Известно также, что в литературных кругах консервативного толка вопрос об отлучении Толстого обсуждался на несколько лет раньше, поводом для чего послужила статья В. В. Розанова «По поводу одной тревоги гр. Л. Н. Толстого» («Русский вестник», 1895 г., август). В ней В. В. Розанов публично «отчитал» Толстого за отступление от православия.

В знаменитых «Трех разговорах...» В. С. Соловьева, появившихся спустя несколько лет («Книжки недели», 1899 г., октябрь), крупнейший русский философ-идеалист ясно выразил свой взгляд на Толстого как на «религиозного самозванца, фальсификатора христианства», предтечу лжемессии. В образе молодого князя — «моралиста и народника» В. С. Соловьев резко высмеял последователей Толстого, за которыми не признал никакой, даже относительной, правды. Все это в известной мере предвосхитило постановление Синода об отпадении Толстого от церкви, которое нельзя считать чем-то неожиданным.

Наконец, 24 февраля 1901 года «Церковные ведомости при Святейшем правительствующем Синоде» опубликовали Определение Святейшего Синода от 20—22 февраля 1901 года, № 557, с «Посланием верным чадам Православной Греко-Российской Церкви о графе Льве Толстом». В нем говорилось:

«Известный миру писатель... граф Толстой, в прельщении гордого ума своего восстал на Господа и на Христа Его и на святое Его достояние, явно перед всеми отрекся от вскормившей и воспитавшей его Матери, Церкви Православной, и посвятил свою литературную деятельность и данный ему от Бога талант на распространение в народе учений, противных Христу и Церкви, и на истребление в умах и сердцах людей веры отеческой, веры православной... В своих сочинениях и письмах, во множестве рассеиваемых им и его учениками по всему свету, в особенности же в пределах дорогого Отечества нашего, он проповедует, с ревностью фанатика, ниспровержение всех догматов Православной Церкви и самой сущности веры христианской... и, ругаясь над самыми священными предметами веры православного народа, не содрогнувшись подвергнуть глумлению величайшее из Таинств, святую Евхаристию. Все сие проповедует граф Лев Толстой непрерывно, словом и писанием, к соблазну и ужасу всего православного мира, и тем неприкрасно, но явно перед всеми, сознательно и намеренно отторг себя сам от всякого общения с Церковью Православной. Бывшие же к его вразумлению попытки не увенчались успехом. Посему Церковь не считает его своим членом и не может считать, доколе он не раскается и не восстановит своего общения с нею... Посему, свидетельствуя об отпадении его от Церкви, вместе и молимся, да подаст ему Господь «покаяние и разум истины» (2 Тим., 2,25).

Постановление Синода, составленное К. П. Победоносцевым и отредактированное митрополитом С.-Петербургским и Ладужским Антонием, совместно с членами Синода митрополитами Феогностом и Владимиром, архиепископом Иеронимом, епископами Иаковом, Маркеллом и Борисом, было одобрено Николаем II, перепечатано всеми газетами и многими журналами, а впоследствии появилось в самых различных изданиях.

24 февраля 1901 года, то есть в тот же день, было издано распоряжение Главного управления по делам печати за № 1576 «о появлении в печати сведений и статей», относящихся к постановлению Синода. Однако, несмотря на это постановление, со страниц многих консервативных органов печати посыпались резкие обвинения и призывы по-

каяться, адресованные Толстому. Доходило и до «чудовищных, несовместимых со здравым смыслом, выдумок» (57, с. 22). Так, в «Тульских епархиальных ведомостях» за подписью Михаила С-ко (М. А. Сопощко, род. в 1869 г., член «Союза русского народа») появилась следующая заметка:

«Замечательное явление с портретом графа Л. Н. Толстого. Многими лицами и в том числе пишущим сии строки замечено удивительное явление с портретом Л. Н. Толстого. После отлучения Толстого от церкви определением богоучрежденной власти выражение лица графа Толстого, приняло чисто сатанинский облик: стало не только злобно, но сврепо и угрюмо... Впечатление, получаемое от портрета гр. Толстого, объяснимо только присутствием около его портретов нечистой силы (бесов и их начальника дьявола), которым усердно послужил во вред человечеству трехокаянный граф» (цит. по: 57, с. 23).

Это сообщение, которое может показаться теперь нелепым, написано было вполне серьезно. С отлучением Толстого вообще связаны разные исключительные случаи, в том числе и курьезные. Писатель рассказывал, например, как одна старушка, прочитав об отлучении, явилась к нему с просвиркой, желая таким образом хоть немного «уврачевать его рану»: «Скушайте ее, Лев Николаевич, во славу божию, на доброе здоровье!..» (33, с. 48)²⁵.

В день отлучения, 24 февраля 1901 года, как отмечает в своем дневнике от 6 марта С. А. Толстая, толпа студентов и рабочих, собравшись в Москве на Лубянской площади, кричала: «Ура Льву Николаевичу! Привет великому человеку!» В Хамовнический переулок хлынул поток телеграмм, писем, адресов, корзин с цветами, посетителей — с изъявлением солидарности с Толстым и выражением негодования в адрес Синода. В многочисленных гектографических и рукописных копиях появились язвительные карикатуры, сатирические стихотворения анонимных авторов — «Голуби-победители», «Лев и ослы», «Сон Победоносцева», в которых высмеивался Синод и превозносилась непреклонность Толстого. В то же время, со стороны правых кругов раздалась критика в адрес Синода: отлучение вместо анафемы (а Толстой не был предан анафеме*) было сочтено слишком мягкой, недейственной мерой.

Всемирная слава писателя, его огромная популярность к этому времени были так велики, что народ не безмолвствовал:

«По всей Москве только и разговоров, что о студентах и об отлучении Льва Николаевича, на стороне которого симпатия всего простого народа — извозчиков, лавочников, прислуги, не говоря уже о фабричных рабочих (58, с. 17); мужики объясняют это отлучение так: «Это все за нас; он за нас стоит и заступает, а попы и взъелись на него»²⁶. Таковы были отклики современников.

Западная пресса освещала события в искаженном свете. Татьяна Львовна Сухотина-Толстая, дочь писателя, находившаяся в то время в Риме, писала матери 4 марта 1901 года:

«Во всех иностранных газетах были известия о том, что Лева (Лев Львович Толстой. — В. Н.) арестован домашним арестом в Петербурге, а папа выслан в Ясную Поляну без права выезда. Были напечатаны подробные разговоры, будто бы происходившие в нашей семье. Вы будто бы стояли за выезд за границу, а папа был против... Мне здесь грозят большими неприятностями за искаженный разговор с одним студентом, который я сегодня опровергла в газете» (цит. по: 59, с. 373).

18 марта 1901 года Л. Н. Толстой получил телеграмму об избрании его почетным членом Гейдельбергского литературного общества в США, штат Огайо. А несколько позднее его избрали почетным членом Юрьевского университета в Дерпте (ныне Тартуский университет) одновременно с протоиереем Иоанном Кронштадтским²⁷. Последний так объявил о своем отказе в письме на имя ректора университета: «Я не желаю ни под каким видом быть членом той корпорации, хотя и почетной и высокоученой, которая поставила меня, по прискорбному недоразумению, на ряду с безбожником графом Л. Толстым, злейшим еретиком нашего злополучного времени, превзошедшим в своем высокоумии и гордыне всех бывших когда-либо еретиков. Не хочу быть рядом с антихристом» (60, с. 263—264).

Несмотря на аналогичные заявления других церковных деятелей, Лев Толстой был избран почетным членом Юрьевского университета. Но нужно учитывать и то обстоятельство, что отлучение Толстого от церкви, выявив в тогдашнем обществе широкий спектр расхождений, почти всеми, даже близкими к церкви людьми, расценивалось не как сакральный акт (каким была бы анафема и в известной степени было отлучение), а как преходящая своего рода политическая мера

* И в этом отношении, как правильно указывает Г. И. Петров в своей книге «Отлучение Льва Толстого» (1-е изд. 1964 г., 2-е 1978 г.), А. И. Куприн в известном рассказе «Анафема» допустил фактическую неточность.

воздействия. Начальница Казанского Родионово-Казем-бека (урожденная Толстая, родственница писателя) писала, например, митрополиту Антонию: «Послание Синода написано и мягко, и даже симпатично, но все же несвоевременно. Зачем прибегать к мерам, которые приводят к обратным результатам и вместо того, чтобы укреплять церковь, расшатывают ее?» (цит. по: 57, с. 35).

Широкое распространение получило письмо С. А. Толстой, направленное 26 февраля, то есть через два дня после отлучения, митрополиту Антонию. Жена Толстого писала: «Горестному негодованию моему нет пределов. И не с точки зрения того, что от этой бумаги погибнет духовно муж мой: это не дело людей, а дело Божье... Но с точки зрения той Церкви, к которой я принадлежу... которая громко должна провозглашать закон любви, всепрощения, любовь к врагам, к ненавидящим нас, молиться за всех, — с этой точки зрения для меня непостижимо распоряжение Синода» (61, с. 146—147).

Из ответа митрополита Антония от 16 марта 1901 года можно было уяснить одно:

«О Вашем муже, пока жив он, нельзя еще сказать, что он погиб, но совершенная правда сказана о нем, что он от Церкви отпал и не состоит ее членом, пока не покается и не воссоединится с нею» (62).

Представители духовенства все еще надеялись, что отлучение заставит Толстого «покаяться и воссоединиться» с церковью...

Все ждали ответа самого Толстого. И он последовал 4 апреля 1901 года.

«...Учение церкви есть теоретически коварная и вредная ложь, практически же соборание самых грубых суеверий и колдовства...» — вновь провозглашал Толстой. И заявлял: «Я действительно отрекся от церкви, перестал исполнять ее обряды и написал в завещании своим близким, чтобы они, когда я буду умирать, не допускали ко мне церковных служителей, и мертвое мое тело убрали бы поскорей, без всяких над ним заклинаний и молитв... Если есть что священное, то никак уже не то, что они называют таинством, а именно эта обязанность обличать их религиозный обман когда видишь его» («Миссионерское обозрение», 1901, № 6) ²⁸.

Таков был ответ Толстого, ставший еще одним (и при этом одним из самых сильных) выступлений писателя против церкви. Не удивительно ли, что и после этого не хотели расстаться с мыслью о возможности его покаяния? Епископ Ямбургский Сергей, ректор Санкт-Петербургской духовной академии (будущий патриарх Московский и всея Руси,

1943—1944 гг.), писал о Толстом после его отлучения: «Ему обратиться теперь труднее, чем кому бы то ни было. Но покуда он здесь... до тех пор мы можем надеяться на милость Божию...» (17, с. 17).

Таковым надеждам не суждено было сбыться. Вся деятельность Толстого после отлучения подтвердила непреклонную силу его поистине титанического противоборства, нанесшего очень ощутимый удар не только русской православной церкви, но и всему дореволюционному строю.

И в этом тоже сказалась особенность Толстого как «зеркала русской революции». Недаром известный польский писатель Я. Ивашкевич отмечает: «...Ересь Толстого как нельзя более красноречиво свидетельствует о его революционности. То, как Толстой понимал борьбу с церковью, освещает нам эпическую фигуру автора «Воскресения» заревом бунта и революции» (63, с. 194). Столь же справедливо мнение Розы Люксембург: «...сила Толстого и центр тяжести его умственной работы лежат не в положительной пропаганде, а в критике существующего, и здесь он удивляет своей разносторонностью и смелостью, напоминая этими качествами утопистов классиков — Сен-Симона, Фурье и Оуэна. Ни один из дошедших до нас освященных институтов существующего строя не избег его жестокой, уничтожающей критики» (цит. по: 64, с. 9).

Чрезвычайно интересна последующая эволюция Толстого, непосредственные причины и следствия духовного кризиса, вызвавшего уход писателя из Ясной Поляны, предсмертное посещение Оптиной пустыни и Шамординского монастыря. Это неожиданное посещение расценивается некоторыми исследователями как попытка покаяния и примирения с церковью²⁹. Приверженцы весьма и весьма спорной применительно к Толстому версии о «блудном сыне» пытаются выдать желаемое за действительное, как это делает, например, И. А. Бунин в своем знаменитом «Освобождении Толстого». Психологически это понятно и заманчиво, ведь тема блудного сына, воплощенная в шедеврах мировой литературы и искусства, подкупает и умиляет идеалом примирения и прощения.

Но при любом самом «плюралистическом», более или менее объективном подходе к данной проблеме следует учитывать слова самого Толстого, записанные им после беседы с архиепископом Тульским Парфением 22 января 1909 года: «...возвратиться к церкви, причаститься перед смертью я так же не могу, как не могу перед смертью говорить похабные слова или смотреть похабные картинки, и потому все, что будут говорить о моем пред-

смертном покаянии и причащении, — ложь...» (65, с. 296—297).

Противоречия Толстого во многом объясняются постоянным столкновением в нем двух стихий: художественной и рассудочной. «Если в первой стихии он гениален, то во второй упорен. Если в художественном периоде своей жизни он с божественной щедростью рассыпает дары своих созерцаний и своих вдохновений, то в периоде рассудочном он с нехлюдовским упрямством «прет против рожа»... Нехлюдовское отрицание таинства брака и таинственного смысла влюбленности и любви отвергается художником Толстым... нехлюдовская критика искусства есть совершенная бессмыслица перед грандиозным фактом художественного творчества Толстого... нехлюдовскому космополитизму и воляпоковской отрешенности от своей национальности противостоит целомудренно скрывае-мый, но страстный и яркий патриотизм автора «Войны и мира»... (66, с. 246); «В «Войне и мире» сам Толстой, сколько имеет сил, воскращает своих отцов, влагая весь свой великий талант в это дело...» (67, с. 178).

И здесь мы вправе сказать, что, возложив на себя вериги провозвестника «новой религии», Толстой как всякий гениальный художник, не вмещается в прокрустово ложе ложной идеологии, в данном случае толстовства. Хотя

Толстой и считал, что борется с извращениями христианства, за якобы правильно понятое им учение Христа, это его субъективное мнение находится в вопиющем противоречии с действительностью.

Борьба великого писателя с церковью, его богоборчество и богоискательство — одна из ярких страниц истории русской культуры, философии, религии. В оценке этой борьбы, ее слабых и сильных сторон, марксистские исследователи опирались и опираются на основополагающие работы В. И. Ленина, который считал Л. Н. Толстого плохим диалектиком. При этом не забываются и негативные стороны этой борьбы, вылившейся в теории и практике толстовства в типично сектантское движение. Мятущуюся, терзаемую противоречиями натуру Толстого очень точно охарактеризовал в свое время М. Горький:

«В нем, как я думаю, жило дерзкое и пылкое озорство Васьки Буслаева и часть упрямой души протопопа Аввакума, а где-то наверху или сбоку таился чаадаевский скептицизм» (68, с. 290).

Не менее точно и другое высказывание, Г. В. Плеханова, который писал: «Толстой *втолковал* известные мысли в Евангелие под влиянием великих социальных идей нашего времени» (69, с. 5—6).

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ В своем «Обращении к духовенству» (1902 г.) Л. Н. Толстой писал: «Для нас истинная религия есть христианство в тех положениях его, в которых оно сходится с основными положениями браманизма, конфуцианства, таотизма, еврейства, буддизма, магометанства» (!).

² См.: Б. М. Эйхенбаум. Толстой и петрашевцы. — «Русская литература», 1959, № 4; Г. Галаган. Л. Толстой и петрашевцы. — «Русская литература», 1965, № 4; А. Шифман. Был ли Лев Толстой петрашевцем? — «Вопросы литературы», 1967, № 2.

³ См.: K. Bittner. Herder und Radischev. — «Zeitschrift für slavische Philologie», 1956, Bd. XXV, h. I.

⁴ Ср.: Л. Н. Толстой. Война и мир, т. 1, ч. 2, гл. 1—4, 12; ч. 3, гл. 7—8. См.: Г. В. Вернадский. Русское масонство в царствование Екатерины II. Пг., 1917; А. Г. Пыпин. Русское масонство XVIII и первой четверти XIX в. Пг., 1916; Масонство в его прошлом и настоящем. Сб. Т. I и II. М., изд-во «Задруга», 1916.

⁵ См.: Г. Б. Сегалин. Эвродатология личности и творчества Л. Толстого. — «Клинический архив гениальности и одаренности». Вып. 3—4. Т. V. Свердловск, 1930; А. М. Евлахов. Конституционные особенности психики Л. Н. Толстого. Предисл. Луначарского. М.—Л., 1930.

⁶ А. М. Горький. Материалы и исследования. Т. 2. М.—Л., АН СССР. с. 189.

Ср.: «О буддизме и Христе он говорит всегда сентиментально, о Христе особенно плохо, — ни энтузиазма, ни пафоса нет в словах его и ни единой искры сердечного огня» (М. Горький. О Толстом. — Воспоминания. Берлин, 1923, с. 45); «Слова» Бог», «Отец Небесный» в сочинениях Толстого встречаются весьма часто, но значение их совсем другое... Толстой поясняет их так: «Лучшие качества людей и есть тот бог, который живет в них», «божество есть ум, сердце и воля людей» (см. 12); Известен «странный афоризм» Толстого, который приводит М. Горький: «Бог есть мое желание» (Собр. соч. в 30-ти томах, т. 29, с. 135).

⁷ В ложе «Трех Добродетелей» А. Н. Муравьев (о нем см. при-

меч. 8) был избран в надзиратели в апреле 1817 года, а с июня того же года стал наместным мастером.

⁸ Имеется в виду Александр Николаевич Муравьев, основанный совместно с Никитой Михайловичем Муравьевым, П. И. Пестелем и кн. С. П. Трубецким в 1817 году тайное общество «Союз спасения».

⁹ См.: Д. П. Маковицкий. Яснополянские записки. Вып. 1—2. М., 1922—1923, записи от 20 мая, 28 августа и 6 октября 1905 г.; Н. Н. Гусев. Летопись жизни и творчества Льва Николаевича Толстого. 1828—1890. М., 1958, с. 231. Н. Н. Гусев обращает внимание на то, что Прудон в своем письме к Герцену 11 апреля 1861 года упоминает о двух русских, посетивших его с письмами Герцена, но о Толстом говорит, что он явился к нему «иным путем». По всей вероятности, Толстой, имевший рекомендательное письмо Герцена, познакомился с Прудоном, не прибегая к помощи письма.

¹⁰ Л. Н. Толстой. ПСС, т. 61, письмо 288. См. также: Б. М. Эйхенбаум. Толстой и Шопенгауэр. — «Литературный современник», 1935, № 11; «Русская старина», 1890, 9, с. 647.

¹¹ См.: В. Г. Шеглов. Граф Л. Н. Толстой и Ф. Ницше. Ярославль, 1897; Н. Е. Davis. Tolstoy and Nietzsche. A problem in biogr. ethics. New York, 1971.

¹² Л. Н. Толстой. ПСС, т. 61, письмо 288. Начальги Толстым перевод неизвестен, труд А. Шопенгауэра «Мир как воля и представление» был переведен А. Фетом. О влиянии философии А. Шопенгауэра на романы Толстого см.: I. Bayley. Tolstoy and the novel., L., 1966.

¹³ «Высокопочтенный Лев Николаевич последние годы имел слабость охотно беседовать о смерти... я заметил ему как бы для утешения (в начале 90-х гг., на собраниях в Московском университете. — В. Н.), с какой стати он так занят этим вопросом о смерти, когда он за свои великие труды уже *бесмертен* при жизни и будет *таковым* же после смерти! На что он мне ответил: «Да я-то не буду ничего чувствовать и сознавать» (И. Н. Янжул. Страх смерти. Разговор с графом Л. Н. Толстым. Спб., 1910, с. 4).

¹⁴ Г. Флоровский. Пути русского богословия. Париж, 1937, с. 403—404. Ср. с оценкой Д. Н. Овсяннико-Куликовского, который видел в учении Л. Толстого суррогат религии, годный разве «для группы образованных сектантов», а само учение характеризовал следующим образом: «Его учение сухое, расудочное, рационалистическое. Это религия не души, а силлогизмов» (сборник «Л. Н. Толстой. К 80-летию великого писателя». Спб., 1908, с. 24).

¹⁵ Г. В. Плеханов. Соч. Т. XXIV. М.—Л., 1927, с. 193; т. XXII, М.—Л., 1925, с. 279.

¹⁶ Письмо Л. Толстого к Александру III, написанное в марте 1881 года, дошло до царя через Н. Н. Страхова, профессора К. Н. Бестужева-Рюмина и великого князя Сергея Александровича. (См. 7, т. 2, с. 177.)

¹⁷ В декабре 1908 года Толстой перечитал очерк А. С. Пругавина «Сютаевцы» (в книге «Религиозные отщепенцы», вып. 1, М., 1906), в феврале 1908 года прочел о Сютаеве статью В. В. Рахманова («Минувшие годы», 1908, 8), а 27 октября 1910 года, незадолго до смерти, — рукописные воспоминания о Сютаеве П. Н. Гастева.

См.: Д. П. Маковичкий. Яснополяские записки. Вып. 1 и 2. М., 1922—1923.

¹⁸ Возникновение главных идей своего «учения о воскресении, как деле общим для всех сынов» Н. Ф. Федоров относит к осени 1851 года (см. 30, с. 35).

¹⁹ Письмо Ф. М. Достоевского впервые было полностью опубликовано в «Русском архиве», 1904, № 3, с. 402—403. Ответ Н. Ф. Федорова по поводу этого письма, без подписи автора, опубликован в газете «Дон, 1897, № 80, а позднее — в сборнике «Всееленское дело». Вып. 1. Одесса, 1914, с. 24—30.

²⁰ См.: В. Ф. Булгаков. О Толстом. Воспоминания и рассказы. Тула, 1964, с. 66—67; А. Гинкен. Идеальный библиотекарь Н. Ф. Федоров. — «Библиотекарь», 1911, вып. 1 (имеется отд. оттиск).

²¹ А. С. Пругавин (см. 33, с. 7) передает реплику Л. Толстого иначе: «Ах, если б все это... сжечь!»

²² С этими идеями связано условное понимание Н. Ф. Федоровым Апокалипсиса: если люди «придут в разум истины», покаются (подобно ветхозаветным жителям Ниневии) и будут стремиться искупить грехи смертоубийства противоположной добродетелью воскрешения, то Страшного суда не должно быть.

²³ Об управлении силами природы. — «Левенские Губернские Ведомости», 1892, № 130 и 132; Каразин и господство над природою. — «Русский Архив», 1892, № 5; К вопросу о памятнике В. Н. Каразину. — «Наука и жизнь», 1894, № 15—16; Разоружение. Как орудие разрушения обратить в орудие спасения. — «Новое время», 1898, 14 октября и др.

²⁴ См.: В. Д. Бонч-Бруевич. Доборцы в Канадских прериях. Пг., 1918. «За два года, 1898—1899 годы, в Канаду выехало более 7700 членов секты» (И. Малахова. Духовные христиане. М., 1970, с. 68).

²⁵ См. также: В. Скворцов. К истории отлучения Л. Н. Толстого. — «Колокол», 1915, 10 ноября.

²⁶ См.: В. И. Срезневский. Отражение в русском обществе отлучения Л. Н. Толстого от церкви по сведениям департамента полиции. — «Толстой. Памятники творчества и жизни». Вып. III. М., 1923, с. 103—138.

²⁷ Протоиерей Иоанн Кронштадтский (Сергиев) причислен к лику святых Собором русской православной церкви за границей 3 июня 1964 года.

²⁸ Впервые «Ответ Синоду...» Л. Н. Толстого был опубликован в «Листках Свободного слова», 1901, № 22.

²⁹ См.: «Новое об умершем Л. Н. Толстом». М., 1910; А. Ксю-

нин. Последние дни Толстого в монастырях. — «Новое время», 1910, 24 ноября; А. Ксюнин, Уход Толстого. СПб., 1911; В. А. Макалов. О Льве Толстом. Париж, 1929; Nicolas Weisbein. L'evolution religieuse de Tolstoy. Paris. 1960; И. А. Бунин. Освобождение Толстого. — Собр. соч., т. 9, М., 1967, с. 5—165.

ЦИТИРУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА*

(1). В. И. Ленин. Лев Толстой, как зеркало русской революции. Полн. собр. соч., т. 17.

(2). Д. С. Мережковский. Л. Толстой и Достоевский. Полн. собр. соч., т. XI, М., 1914.

(3). С. М. Некрасов. Поиски «истинного христианства» русским масонством XVIII века и Л. Н. Толстой. — Социально-психологические аспекты критики религиозной морали. Сб. трудов. Вып. 3. Л., 1976.

(4). А. В. Гольдштейн. Вблизи Толстого. Т. I. М., 1922.

(5). А. Замалеев. Декабристы и христианство. — «Наука и религия», 1975, № 12.

(6). С. А. Толстая. Дни и заботы Льва Николаевича. — «Неделя», № 370.

(7). П. И. Бирюков. Биография Льва Николаевича Толстого. М.—Л., 1923, тт. 1—4.

(8). Георгий Чулков. О мистическом анархизме. Спб., 1906.

(9). П. Е. Астафьев. Учение графа Л. Н. Толстого в его целом. Критический очерк. 2-е, дополн. изд., М., 1892.

(10). F. Nietzsche. Werke in drei Bänden. München. Bd. II. 1955.

(11). Дневник Софьи Андреевны Толстой. 1860—1891. М., 1928.

(12). Проф. Н. Ивановский. Граф Лев Николаевич Толстой и его учение. Спб., 1903.

(13). Толстовский ежегодник. М., 1912.

(14). Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников. Т. I, М., 1955.

(15). В. Ф. Асмус. Мировоззрение Толстого. — «Литературное наследство», т. 69, кн. 1, М., 1961.

* Ссылки на произведения Л. Н. Толстого, цитируемые по Полному собранию сочинений в 90 томах (ПСС), приводятся в самом тексте.

- (16). Л. Л. Толстой. В Ясной Поляне. Правда об отце и его жизни. Прага, 1923.
- (17). Епископ Ямбургский Сергей (Страгородский). По поводу «верую» Л. Толстого. Психология его отречения. — «Свобода и христианство», кн. 13, Спб., 1906.
- (18). Ф. М. Достоевский. Дневник писателя за 1877 год. Берлин, 1922.
- (19). Евг. Трубецкой. Спор Толстого и Соловьева о государстве. — «О религии Льва Толстого». Сб. (статей) 2-й. М., «Путь», 1912.
- (20). Русская Православная Церковь и Великая Отечественная война. Сборник церковных документов. М., 1943.
- (21). С. П. Арбузов. Воспоминания бывшего слуги гр. Л. Н. Толстого. М., 1904.
- (22). Иеромонах Михаил. Церковь, литература и жизнь. Сб. статей. М., 1904.
- (23). В. Шкловский. Лев Толстой. М., «Молодая гвардия», 1963.
- (24). В. В. Рахманов. Крестьянин-коммунист. — «Минувшие годы», 1908, № 8.
- (25). Е. И. Владимиров. Тимофей Михайлович Бондарев и Лев Николаевич Толстой. С предисл. и под ред. Н. Н. Гусева. Красноярск, 1938.
- (26). Критико-биографический словарь русских писателей и ученых, составленный С. А. Венгеровым. Спб., 1897, т. V.
- (27). А. Остромиров. Н. Ф. Федоров. 1828—1903—1928. Биография, Харбин, 1928.
- (28). А. К. Горностаев. Перед лицом смерти. Л. Н. Толстой и Н. Ф. Федоров. Харбин., 1928.
- (29). Н. П. Петерсон. Н. Ф. Федоров и его книга «Философия общего дела» в противоположность учению Л. Н. Толстого о непротивлении и другим идеям нашего времени. Верный, 1912.
- (30). Н. Ф. Федоров. Материалы к т. 3 «Философии общего дела». — Отдел рукописей Гос. библиотеки СССР имени В. И. Ленина, фонд Н. П. Петерсона, № 657.
- (31). Н. Ф. Федоров. Философия общего дела. Т. I, Верный, 1906.
- (32). Н. Н. Гусев. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1881 по 1885 год. М., 1920.
- (33). Сборник воспоминаний о Л. Н. Толстом. М., 1911.
- (34). Н. А. Сетницкий. Капиталистический строй в изображении Н. Ф. Федорова. Харбин, 1926.
- (35). С. Г. Семенова. Николай Федорович Федоров (Жизнь и учение). — «Прометей», т. XI, М., 1976.
- (36). Толстой в 1880-е годы. Записки И. М. Ивакина. — «Литературное наследство», т. 69, кн. 2, М., 1961.
- (37). С. Л. Толстой. Очерки былого. Изд. 3-е. Тула, 1965.
- (38). П. Д. Успенский. О психологических возможностях человеческой эволюции. Рук., пер. с англ.
- (39). Н. Бердяев. Русская идея. Париж, 1971.
- (40). П. Я. Покровский. Из воспоминаний о Н. Ф. Федорове. — «Московские ведомости», 1904, № 25—26.
- (41). А. С. Пругавин. Предпологавшееся заточение графа Льва Николаевича Толстого в Суздальский монастырь. М., «Посредник», 1908.
- (42). «Московские церковные ведомости», 1886, № 4.
- (43). Г. П. Георгиевский. Л. Н. Толстой и Н. Ф. Федоров. Из личных воспоминаний. Ркп. — Отдел рукописей Гос. библиотеки СССР имени В. И. Ленина, фонд Г. П. Георгиевского, без шифра.
- (44). В. И. Ленин. Толстой и пролетарская борьба. Полн. собр. соч. т. 20.
- (45). В. И. Ленин. Толстой и его эпоха. Полн. собр. соч., т. 20.
- (46). О лжеучении графа Л. Н. Толстого. «Южный край», Харьков, № 3494 от 5 марта 1891 года.
- (47). Восемь бесед высокопреосвященного Никанора, архиепископа Херсонского и Одесского. Одесса, 1891.
- (48). С. А. Толстая. Письма к Л. Н. Толстому. М., 1936.
- (49). Памяти Константина Николаевича Леонтьева. Спб., 1911.
- (50). Протоиерей Дмитрий Троицкий. Православно-папьярское увещание гр. Л. Н. Толстого. Сергиев Посад, 1913.
- (51). Отчеты о состоянии Тульской епархии за 1886—1899 годы. — «Неделя», 1969, № 39 (499).
- (52). С. Булгаков. Автобиографические записки. Посмертное издание. Париж, 1946.
- (53). Н. Н. Арденс (Н. Апостолов). Творческий путь Л. Н. Толстого. М., 1962.
- (54). Н. В. Карпов. Антиклерикальные мотивы в романе Л. Н. Толстого «Воскресение». — «Русская литература XX века. Октябрьский период». Сб. 6. Тула.
- (55). «Вера и Церковь». 1903, № 1.
- (56). Дневник А. С. Суворина. М.—Пг., 1923.
- (57). Г. И. Петров. Отлучение Льва Толстого. М., 1964.
- (58). «Листки Свободного слова», 1901, № 23.
- (59). Н. Н. Гусев. Летопись жизни и творчества Льва Николаевича Толстого. 1891—1910. М., 1960.
- (60). П. Сергеенко. Толстой и Иоанн Кронштадтский. — «Толстой и его современники. Очерки». М., 1911, с. 255—264.
- (61). Дневники Софьи Андреевны Толстой. Ч. 3. М., изд-во «Север», 1932.
- (62). «Церковные ведомости», 1901, № 17.
- (63). Толстой и зарубежный мир. — «Литературное наследство», т. 75, кн. 1.
- (64). В. Вартамян, Л. Н. Толстой и Леонид Андреев как идеологи трудящихся классов. Баку, 1909.
- (65). Б. Мейлах. Уход и смерть Льва Толстого. М.—Л., 1960.
- (66). Вл. Эрн. Толстой против Толстого. — «О религии Толстого». Сб. (статей) 2-й. М., «Путь», 1912.
- (67). Н. Скатов. Спор двух утопистов. — «Звезда», 1978, № 8.
- (68). М. Горький. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 14.
- (69). Г. В. Плеханов. Толстой и Герцен. «Литературное наследие Г. В. Плеханова». Сб. VI. М., 1938.

Личная библиотека какого-либо выдающегося деятеля всегда предоставляет огромные возможности для изучения внутренней жизни, творчества, вкусов и интересов данной личности. Вот почему исследователи вновь и вновь обращаются к кремлевской библиотеке Ленина. Издан каталог книг, собранных Владимиром Ильичем, который включает около 10 тысяч названий. Но не все знают, что этим не исчерпывается книжная сокровищница кремлевской квартиры Ленина и Крупской. Надежда Константиновна жила здесь до последних дней, до февраля 1939 года, и, конечно, библиотека продолжала пополняться. Еще 20 тысяч книг и журналов собрали Крупская и младшая сестра Ленина Мария Ильинична Ульянова с 1924 по 1939 год. Книги, собранные до 1923 года, называют личной библиотекой Ленина, но само собою разумеется, что ею пользовались и Надежда Константиновна и Мария Ильинична. Необходимо также отметить, что некоторые книги, поступившие в 1924 и 1925 годах, были заказаны Владимиром Ильичем. В некоторых изданиях

мы видим на отдельных страницах пометки Ленина, а рядом пометки Крупской или М. И. Ульяновой. Так, в рабочем кабинете Ленина хранятся «Письма к Л. Кугельману» Карла Маркса, книга переведена с немецкого языка Марией Ильиничной Ульяновой, а редакционная правка и предисловие сделаны Владимиром Ильичем. На титульном листе надпись: «Экземпляр Н. Ленина. 29.VII.1920. Москва». Сохранилась надпись Владимира Ильича на странице V «См. после стр. VIII — синим карандашом».

Дублет этой книги с надписью В. И. Ленина на второй странице обложки «Oulianoff 24 Rue Beaunier, Paris XIV-me» с пометками и подчеркиваниями на страницах 65, 66, 88—90 синим, черным и красным карандашами, сделанными рукой Владимира Ильича, передан на хранение в ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС.

Этот уникальный экземпляр совместного труда является наглядным примером, как глубоко и серьезно занимались все Ульяновы пропагандой марксизма в России.

В библиотеке имеется еще одно собрание писем Маркса к Кугельману издания 1920 года. Небезынтересно заметить, что Крупская работала над этим произведением К. Маркса в то же самое время, когда Ленин вновь в августе 1920 года обратился к этому труду.

Рукою Надежды Константиновны сделаны пометки на страницах 7, 9, 10, 46, 47 и 115 синим карандашом. Видимо, Крупская сознательно пользовалась другим изданием, так как не хотела, чтобы ее пометки наслаивались на ленинские пометки, понимая, что все, что отмечено рукою Ленина, принадлежит истории.

Среди писателей, которые оказали на Ленина и Крупскую большое влияние, которые прошли через всю их жизнь, первое место, несомненно, принадлежит Льву Николаевичу Толстому. Толстой был единственным писателем, которому Владимир Ильич посвятил целую серию специальных статей и о котором прочел в эмиграции ряд рефератов.

К художественным и особенно педагогическим сочинениям Л. Н. Толстого постоянно обращалась Крупская в своей творческой и педагогической деятельности. И совершенно не случайно первая статья Надежды Константиновны о Толстом по времени примыкает к статьям Владимира Ильича. Так, последняя статья Ленина «Л. Н. Толстой и его эпоха» появилась в № 6 легальной большевистской газеты «Звезда» за 22 января 1911 года, а в конце того же года в № 12 журнала «Свободное воспитание» опубликована статья Крупской «Лев Толстой в оценке французского педагога». Защищая Толстого от филистерских нападок буржуазного педагога Ед. Куни¹, Надежда Константиновна утверждает, что гениальность Толстого как художника помогала ему глубоко и правильно отражать русскую действительность и ставить вопросы, которые волновали современное ему общество. «Великий художник, он, как никто, умел рассказывать человеческую душу, раскрывать ее святая святых. И не только душу взрослых, также душу ребенка умел видеть Толстой...

Толстой не мог не видеть, как тесно связана педагогическая деятельность с существующим строем, той средой, в которой она протекает, с мировоззрением самого педагога. Волнуясь и спеша, ставил Толстой ряд вопросов в этой области и страстно искал их разрешения.

Его громадная заслуга в том, что он каждый самый, казалось бы, чисто педагогический вопрос (о программе чтений, наказаниях и пр.) ставил резко, во всей его широте, не вне времени и пространства, а в тесной связи с окружающей действительностью. Допустим, что Толстой неправильно решал тот или иной вопрос, но он ставил его не как узкий специалист, а как «гражданин земли родной», мучительно искал ответа на него и заставлял искать и читателя.

Таковы заслуги Толстого как педагога. Его влияние, несомненно, наложило свою неизгладимую печать на русскую педагогическую мысль»².

И Владимир Ильич и Надежда Константиновна любили активно работать с книгой — на полях писались замечания, в текст вносились исправления, делались подчеркивания и разнохарактерные пометки.

Книг почти не покупали, пользовались публичными библиотеками всех городов, где приходилось жить. Поэтому мы не знаем, какие издания произведений Толстого использовал Ленин в своей работе над статьями о нем. Знаем, что, найдя у друзей отдельный том «Анны Карениной», он перечитывал его несколько раз.

Личная библиотека Ленина и Крупской начала формироваться лишь после того, как они переехали в Кремль, и, как уже говорилось, за пять лет выросла до 10 тысяч книг и журналов. Пользуясь проспектами издательств, заказывали новые книги, но много покупали у букинистов. Кое-что из книг было сохранено для Владимира Ильича в России сестрами, кое-что привезли с собой. В разделе «Художественная литература» (всего здесь 88 разделов) книги Л. Н. Толстого занимают первое место. Здесь и сыгнское 20-томное собрание сочинений Л. Н. Толстого, вышедшее в 1912—1913 годах. Всем книголюбам хорошо знакомы эти великолепные тома в серых кожаных переплетах с чеканным барельефом на обложке. Несомненный интерес представляют первые три тома «Посмертных художественных произведений» Л. Толстого, которые вышли в 1911—1912 годах под редакцией последователя и друга Льва Николаевича В. Г. Черткова. Имеется также несколько разрозненных томов 11-го и 12-го изданий сочинений Л. Толстого и отдельное издание «Ответа Синоду» (1906 г.).

После смерти Ленина, пополняя библиотеку, Крупская приобретает тома Полного собрания художественных произведений Л. Н. Толстого, начавшего выходить в 1928 году, повести «Детство», «Отрочество», «Юность» (М., 1937); роман «Анна Каренина» (М., 1934); каталог рукописей Л. Н. Толстого, ч. 1—2 (М., 1937). В год, когда вся страна отмечала 100-летие со дня рождения

величайшего русского писателя, покупает Крупская «Юбилейный сборник. Л. Н. Толстой» (М.—Л., 1928 г.); «Л. Н. Толстой, 1828—1928. Сб. статей к 100-летию со дня рождения» (М., 1928), «Письма Толстого и к Толстому» (М., 1928). Можно видеть в библиотеке Надежды Константиновны такие редкие теперь книги, как: С. Толстая. Дневники. 1860—1891 (Л., 1928); Л. Н. Толстой и Н. Н. Ге. Переписка (М.—Л., 1930); Л. Н. Толстой и В. В. Стасов. Переписка. 1878—1906 (Л., 1929); Толстой Л. Л. Правда о моем отце. Пер. с фр. (Л., 1924).

Уже этот перечень говорит о том, как внимательно, неуклонно, год за годом собирает и штудирует Надежда Константиновна произведения Толстого и литературу о нем. Исследователи деятельности Толстого знают, что в юности Крупская переписывалась с Ясной Поляной. В годы, когда она оканчивала гимназию и искала свое место в жизни, ее внимание привлекли статьи Льва Николаевича. В одной из своих автобиографических работ Надежда Константиновна писала:

«...я усердно читала сочинения Льва Толстого. Он очень резко критиковал роскошь и праздность богачей, критиковал государственные порядки, показывал, как все делается для устройства сытой и приятной жизни помещиков и богачей и как пропадают, гибнут от чрезмерного труда рабочие, как надрываются над работой крестьяне. Л. Толстой умел очень ярко изображать вещи. Я продумала все то, что сама видела вокруг себя, и увидела: Л. Толстой прав. По-другому я посмотрела на борьбу революционеров, лучше я поняла, за что они борются. Но что делать? Террором, убийством отдельных особенно вредных чиновников и царей делу не поможешь. Л. Толстой указал такой выход — физический труд и личное самоусовершенствование. Я все стала делать сама по дому, а летом исполняла тяжелую крестьянскую работу. Изгнала всякую роскошь из жизни, стала внимательной к людям, терпеливее. Но скоро я поняла, что от этого ничего не меняется, и несправедливые порядки будут продолжать по-прежнему су-

ществовать, сколько бы я ни надрывалась над работой. Правда, я ближе узнала крестьянскую жизнь, научилась попросту разговаривать с крестьянами и рабочими, но какой же это был выход!»

Вполне естественно, что, стоя на распутье, молодая девушка решила обратиться к человеку, который поражал ее своею смелостью, принципиальностью, искренностью, литературной славой. Конечно, она волновалась, когда писала письмо самому Толстому! Обнадеживало только одно — писатель в своем «Ответе тифлисским барышням», которые просили его помочь в поисках общественно полезной деятельности, предложил девушкам обращаться к нему. Толстой предлагал им переделывать литературу, издаваемую для народа. В отделе рукописей Государственного музея Л. Н. Толстого навсегда сохранилось письмо восемнадцатилетней Надежды Крупской от 25 марта 1887 года:

«Многоуважаемый Лев Николаевич!

Вы, в Вашем ответе на обращение к Вам тифлиских барышень с просьбою о деле, говорите, что у Вас есть для них дело — исправление насколько возможно книг, издаваемых для народа Сытиним.

Может, Вы дадите возможность и мне принять участие в их труде.

Последнее время а каждым днем живее и живее чувствую, сколько труда, сил, здоровья стоило многим людям то, что я до сих пор пользовалась чужими трудами. Я пользовалась ими и часть времени употребляла на приобретение знаний, думала, что ими я принесу потом какую-нибудь пользу, а теперь я вижу, что те знания, которые у меня есть, никому как-то не нужны, что я не умею применить их к жизни, даже хоть немножко заглядить ими то зло, которое я принесла своим ничегонеделанием... Когда я прочла Ваше письмо к тифлисским барышням, я была так рада!

Я знаю, что дело исправления книг, которые будут читаться народом, дело серьезное, что на это надо много умения и знания, а мне 18 лет, я так мало еще знаю... Но я

обращаюсь к Вам с этой просьбой потому, что, думается, может быть, любовью к делу мне удастся как-нибудь помочь своей неумелости и незнанию.

Поэтому, если возможно, Лев Николаевич, вышлите и мне одну, две таких книги, я сделаю с ними все, что смогу. Лучше другого я знаю историю, литературу.

Простите, что я беспокою Вас своею просьбою, отрываю от дела...

Н. Крупская

Мой адрес: Петербург. Угол Знаменской и Итальянской улицы, дом 10/28, кв. 47. Надежде Константиновне Крупской»³.

Мы специально почти полностью приводим это письмо, так как оно отражает духовную зрелость Надежды Константиновны, направление ее исканий, ее критическое отношение к своим знаниям, которые при присуждении ей золотой медали были очень высоко оценены государственной экзаменационной комиссией. Уже в этом письме проглядывает будущее направление всей жизни Крупской. Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что и в юности Крупской были чужды многие принципы философского учения Толстого. Ее активная натура требовала действия, борьбы с окружающей несправедливостью.

Очевидно, письмо ее понравилось Толстому, так как вскоре из Ясной Поляны пришла посылка — роман А. Дюма «Граф Монте-Кристо» и письмо старшей дочери Льва Николаевича Татьяны Львовны. К сожалению, ни первое, ни последующее письма Татьяны Львовны не разысканы. Судьба профессиональной революционерки не позволяла иметь личный архив, ведь Надежда Константиновна уничтожала даже письма Владимира Ильича! Конечно, Надежда Константиновна была счастлива, получив ответ. Значит, Толстой верит в ее силы! Хорошо зная французский язык, она сверила роман с оригиналом, скрупулезно, слово за словом проверила правильность перевода, правомерность сокращений. Страшно было отправлять свой труд на суд Толстого! Вот что она писала во втором своем письме: «Многоуважаемый Лев Николаевич,

Вы прислали мне книгу «Граф Монте-Кристо» — издание Сытина. Я сравнила ее с оригиналом и постаралась восстановить общую связь, которой в ней не было. Потом выпустила бессмыслицы, которые там встретились.

Если то, что я сделала, годится, то будьте так добры, дайте мне еще книгу для переделки.

Мой адрес: станция Николаевской железной дороги Окуловка. Обречье. Имение Левина. Надежде Константиновне Крупской.

Н. Крупская. 4 июня 1887 г.»⁴.

На обоих письмах Крупской есть отметка: «Отвечено», но мы не знаем, что ответила вторично Татьяна Львовна. На этом переписка Надежды Константиновны с Ясной Поляной оборвалась, но не ослаб интерес Крупской к творчеству Толстого и особенно его педагогическим идеям, ведь уже в те годы она твердо знала, что будет педагогом. Мечтала стать сельской учительницей. Однако даже с блестящим аттестатом ей не удалось достать такого места. Ее талант проявляется в частных уроках, которые она дает для заработка. Спокойная, доброжелательная, отзывчивая, она умеет завоевать сердца детей, стать не только их наставницей, но и другом. Она понимает, что духовная атмосфера, в которой протекают занятия, имеет очень большое значение в достижении хороших результатов. Через много лет Надежда Константиновна напишет: «Самое сильное впечатление на меня произвели педагогические высказывания Льва Толстого, устроившего у себя в 70-х годах сельскую школу, учившего там пару лет. Тогда Л. Толстой был далек еще от всякого «толстовства», с любовью отдался педагогическому делу, замечательно писал об учащихся, о ребятах, о методах преподавания, умения подойти к ребятам, замечательно сумел он вскрыть всю поэзию, всю радость, которую дает педагогическая профессия»⁵.

Она была благодарна Толстому за любовь к детям, за то совершенно особое отношение к ним, которое встречалось только у самых выдающихся педагогов, таких, как Песталоцци или Ушинский. Характерно, что Лев Тол-

стой и Крупская вынесли совершенно одинаковые впечатления от знакомства с хваленой европейской школой. Так, Лев Николаевич во время своего путешествия по Европе в 1860 году посетил школу в Париже, о которой писал: «Когда смотришь на французского школьника в школьной обстановке, то кажется: господа, какие глупые ребята, как они зубрят, какие глупые ответы дают учителю. Потом посмотришь на того же школьника, когда он очутился на улице, то увидишь совершенно другого ребёнка, развитого, остроумного, читающего библиотечные книги, берущего книги для взрослых, с уважением читающего их».

Ровно пятьдесят лет отделяют это высказывание писателя от статьи Надежды Константиновны «В швейцарской школе». Долго добивалась Крупская разрешения ознакомиться с образцовой женевской школой, писала специальное прошение, ждала ответа, с нетерпением и завистью (вспоминая бедные школы родины) посматривала на высокие, светлые здания школ, рассеянные по городу. Получив наконец разрешение, ходила день за днем на разные уроки в разных классах, знакомилась с библиотекой, беседовала с педагогами. «Я полностью использовала свое право, — пишет Крупская. — Я видела много разных школ, но ниоткуда не выносила я такого тяжелого, гнетущего впечатления, как из этой образцовой женевской школы... Я никогда не представляла себе, что муштровка и дрессировка могли бы где-либо так систематически, скажу прямо, так бесчеловечно проводиться. Личность ребенка оценивается исключительно с точки зрения благонравия, послушания, внимания. Меня поразило, что в женевской школе на уроке совершенно не выступает индивидуальность ученика, не видно более способных, менее способных детей, более интересующихся предметом и менее интересующихся им, все одинаково отвечают одними и теми же словами. Присутствуя в различных классах, на самых различных уроках, я ни разу не слышала, чтобы кто-либо из учительниц или учителей предложил детям вопрос, на который можно было бы ответить по-своему. Все

вопросы ставятся так, что на них надо ответить или словами учительницы, или словами книжки»⁶.

Какая разница с порядками Яснополянской школы! Там не задавали уроков, там разрешалось учить то, что нравится, там поощрялись вопросы и инициатива, там лелеяли и развивали ростки самостоятельного мышления и пытались увязывать обучение с окружающей действительностью! Какая разница принципов буржуазной школы с теми принципами новой школы в рабоче-крестьянском государстве, которые будет проводить Крупская после свершения Октябрьской революции!

Годы не изменяют отношения Надежды Константиновны к педагогическим идеям великого гуманиста. Конечно, эти идеи трансформируются в свете принципов марксистско-ленинского понимания классового воспитания подрастающего поколения. И не только к детям прилагает Крупская систему развития личности, которую провозглашал Толстой. Октябрьская революция, освободив трудящихся от векового гнета, впервые в истории человечества дала возможность широким трудящимся массам учиться, пользоваться достижениями науки и культуры, выдвигать из своей среды талантливых, одаренных людей. Революция пробудила тягу к знаниям, показав всему миру, как много может сделать свободный народ, как быстро он будет изживать безграмотность, невежество, бескультурье. Вся страна превратилась в новостройку и в одну большую школу. За учебники и тетради сели не только дети, но и взрослые, ведь более 90 процентов населения страны не знало элементарной грамоты! Надежда Константиновна захвачена этой работой, она стремится привлечь к ней старое учительство, всю интеллигенцию, которая приняла Советскую власть. В своем письме к известному русскому педагогу и писателю, который до революции возглавлял созданное Л. Н. Толстым издательство для народа «Посредник», И. И. Горбунову-Посадову, Надежда Константиновна пишет:

«Многоуважаемый Иван Иванович, много раз собиралась написать Вам по приезду в Россию, но так и не собралась до сего дня. Захватила жизнь и работа. Все время прожила в одном из здешних рабочих районов, Выборгском, и сжилась с ним душой. Знаете, у Толстого в его педагогических статьях есть рассказ, как в школе слушала рассказы из священной истории дворовая девочка: никогда слова не проронила и только губами шевелила и вдруг раз прекрасно рассказала прослушанное. Толстой пишет, что ему стало даже жутко, точно он подсмотрел тайну пробуждающей души. У Толстого это не этими словами сказано, но все равно смысл такой. Так вот теперь, когда живешь с массой, часто переживаешь такое чувство, точно присутствуешь при тайне одухотворения, очеловечения жизни масс. И мне ужасно жаль, что нет художника, настоящего, который мог бы в художественном произведении отразить этот процесс. И так жалеешь, что нет в живых Льва Николаевича»⁷.

Этот образ пробуждающейся человеческой души Надежда Константиновна вспоминает во многих своих статьях и выступлениях. Как и Владимир Ильич Ленин, после революции Крупская всячески пропагандировала произведения великого русского писателя, приветствовала новые издания его романов, повестей, рассказов для детей. Следила за выходящей о Толстом литературой. Выступая перед молодежью, Крупская приводит жизнь Льва Николаевича как пример организованности, творческой активности, умения правильно использовать свое время.

Стоит в рабочем кабинете Ленина в Кремле 20 томов произведений Толстого. На многих страницах IV и XVI томов можно видеть пометки Надежды Константиновны.

Нередко можно прочесть в ее письмах: «Перечитала я педагогические сочинения Толстого». Читает она так же, как читал Ленин, — с карандашом в руках. И вот на полях, в тексте подчеркивания NB (Nota bene), сделанные красным, синим, лиловым, малиновым карандашами. Иногда на одной странице мы

видим разновременные пометки. Теперь трудно сказать, когда они сделаны.

Особенно много пометок Крупской в статьях: «Воспитание и образование», «О народном образовании», «Кому у кого учиться писать: крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?».

Наша новая педагогика, у истоков которой стояла Крупская, создавалась на совершенно новых принципах. Необходимо было воспитать совершенно новое поколение людей — будущих строителей коммунизма. Крупская, педагог-марксист, тесно увязывала воспитание и образование с существующей действительностью, классовой борьбой пролетариата, учитывала весь комплекс воспитательных средств и взаимодействия их с окружающей средой. Она подчеркивает следующее положение Толстого: «Весьма обыкновенно слышать и читать мнение, что домашние условия, грубость родителей, полевые работы, деревенские игры и т. п. суть главные помехи школьному образованию, — может быть, они, точно, мешают тому школьному образованию, которое разумеют педагоги, но пора убедиться, что все эти условия суть главные основания всякого образования, что не только они не враги и не помеха школе, но первые и главные деятели ее»⁸. Особо подчеркивает Надежда Константиновна все положения Толстого о связях обучения с жизнью. Жирная черта красным карандашом выделяет слова: «А всякое обучение должно быть только ответом на вопрос, возбужденный жизнью», положения о связи школы с государством, с общественной жизнью, дифференцированный подход к обучению в разных условиях жизни и труда учеников.

«В свое время Л. Н. Толстой наметил совершенно правильный путь. Его педагогические книжки, хотя они и защищают с общественной точки зрения весьма парадоксальные идеи, с точки зрения педагогической имеют громадную ценность. Там есть такая статейка: «Кому у кого учиться писать: крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?» В ней дается образец того, как можно ребят

втягивать в писание учебников. Толстой проделал большую работу с ребятами. Здесь у нас есть великолепнейший образец коллективной работы, где сам писатель Толстой становится как бы на задний план: он умел вытянуть из ребят всю сумму их наблюдений, сумму опыта и определенным образом этот опыт комбинировать. От одного ребенка он берет способность обобщать, от другого — умение практически подойти, в результате получается высокохудожественная вещь»⁹.

Вместе с тем Крупская подчеркивает мысли Толстого о мастерстве и знаниях самого преподавателя. В детстве она на себе испытала рутинную систему гимназий, где преподавали люди, не любившие ни детей, ни своего предмета. Когда же она перешла в гимназию Оболенской, где подобрался очень сильный состав педагогов-энтузиастов, прогрессивно мыслящих и стремившихся действительно передать свои знания учащимся, она поняла, как много значит педагогический талант. Всю жизнь Крупская проповедовала идею, которую подчеркивает у Толстого в статье «Воспитание и образование»: «Хочешь наукой воспитать ученика, люби свою науку и знай ее, и ученики полюбят и тебя и науку, и ты воспитаешь их; но сам не любишь ее, то сколько бы ты ни заставлял учить, наука не произведет воспитательного влияния»¹⁰.

Да, прежде чем воспитывать других, воспитай самого себя. Ломка старой школы, создание новой педагогики, новой, невиданной системы народного образования требовали учительских кадров, а их было так мало. Народный комиссариат просвещения столкнулся с саботажем старой интеллигенции. Первые годы старые педагоги очень неохотно шли на службу Советской власти. А новых педагогов не было — они еще воевали на фронтах гражданской войны или учились. Но те, кто уже начал работать, трудились самозабвенно, с огромным энтузиазмом. Неустанно растит Крупская кадры новых, советских педагогов. Она читает лекции в университете имени Свердлова, выступает на съездах и совещаниях, пишет многочисленные

статьи в газетах и журналах о самых различных аспектах народного образования. И она призывает советских педагогов учиться не только наукам, но прежде всего любви к ребенку, искусству быть педагогом. Так, в статье «На некоторые злободневные темы» в 1928 году Крупская писала:

«Преподавание — искусство. Как художник, музыкант испытывает муки творчества и величайшее наслаждение в процессе своей работы, так и учитель мучается, если ему не удастся спаять работу класса, поставить на определенные рельсы, заразить ребят своим интересом к делу. Конечно, учитель тогда только может достичь дружной коллективной работы класса, если он любит и знает свой предмет. Очень характерен в этом отношении был Лев Толстой. Его педагогические сочинения служат яркой иллюстрацией того, как умел он организовать коллективные рассказы ребят, коллективное писание сочинений, как заострял их наблюдательность, будил устремление к творчеству»¹¹.

Большой интерес представляют ее пометки и в XVI томе сочинений Толстого, в статье «Что такое искусство?». Следует отметить, что пометки сделаны двумя карандашами — лиловым и розовым (точно такого цвета карандаши и сейчас стоят в стаканчике на письменном столе в кабинете Ленина), то есть к этой статье Крупская обращалась, по крайней мере, дважды. Иногда карандаши отмечают разные строки, иногда сливаются вместе. Мы не знаем, сколько лет разделяют эти пометки, да это и не суть важно. Очевидно, обращение Крупской к этой теме связано с выработкой новых школьных программ, которые предусматривали и занятия музыкой, и изобразительным искусством. Известно, как много боролась Крупская вслед за Лениным за то, чтобы широчайшим массам были доступны все художественные сокровища страны. Она отдала много сил на пропаганду музеев, театров, такого нового тогда вида искусства, как кино.

Какие же мысли Толстого выделяет Надежда Константиновна? Это прежде всего

суждения о тесной связи искусства с обществом, о том, что оно всегда выполняет общественный заказ. Толстой на ярких примерах показывает, что извращенное искусство декадентов не может быть понятно народу, так как создано на потребу узкого круга избалованных гурманов, для щекотания нервов вершущих буржуазного общества.

Дважды подчеркивает Крупская положение Толстого о том, что утонченное искусство, которым так кичатся современные художники и их защитники, могло вырасти только «на рабстве народных масс». Лев Николаевич гневно восстает против самого существования искусства меньшинства, искусства избранных. «Не может быть непонятно большим массам искусство только потому, что оно очень хорошо, как это любят говорить художники нашего времени. Скорее надо предположить, что большим массам непонятно искусство только потому, что искусство это очень плохо или даже вовсе не искусство»,¹² — писал Толстой. Отмечает Надежда Константиновна и остроумный рассказ Толстого о том, как плохой поэт, пишущий непонятные стихи, смеялся над непонятными картинами плохого художника, а потом Толстой имел возможность видеть обратную картину — этот самый художник потешался над стихами ранее смеявшегося поэта. Конечно, Крупская подчеркивает и слова Толстого об искусстве будущего, которое будет принадлежать народу и создаваться народом. Эти слова сохранили свою актуальность и сейчас, когда принципы, выдвинутые Толстым, так полно осуществляются в нашей стране. Ленин много раз подчеркивал, что гениальная художественная одаренность Толстого помогала ему предвидеть будущее, правильно отражая истинное положение общественных явлений... «Доступна делается художественная деятельность всем людям из народа потому, что вместо теперешних профессиональных школ, доступных только некоторым людям, все будет в первоначальных народных школах обучаться музыке и живописи (пению и рисованию) наравне с грамотой, так, чтобы всякий человек,

получив первые основания живописи и музыкальной грамоты, чувствуя способность и призвание к какому-либо из искусств, мог бы усовершенствоваться в нем, и в-третьих, потому, что все силы, которые тратятся на ложное искусство, будут употреблять на распространение истинного искусства среди всего народа»¹³.

Совершенно точно можно датировать пометки Крупской на дневниках Толстого «Яснополянская школа». Заботясь о пропаганде педагогического наследия Льва Николаевича, она обратилась с предложением написать по этому вопросу к директору Музея-усадьбы «Ясная Поляна» Л. П. Морозову. Такую работу Институт Наркомпроса РСФСР поручил написать И. И. Левченко. Он обратился к Надежде Константиновне с просьбой принять его, чтобы побеседовать о теме книги, услышать пожелания Надежды Константиновны. В своем ответном письме Надежда Константиновна пишет: «Товарищ Левченко, очень извиняюсь, что так долго не отвечала на Ваше письмо. Мне хотелось перечитать статью Льва Николаевича об Яснополянской школе. Они в свое время произвели на меня громадное впечатление, но это было лет пятьдесят тому назад. Самое важное у Толстого — это любовь к ребятам, уважение к личности ребенка и умение наблюдать ребят, это во всех его произведениях есть — мне еще в детстве мать читала отрывки из «Войны и мира», и я их запомнила на всю жизнь. Но эпоха 1862 года очень уж интересна, и мне хотелось с этой точки зрения подойти к работе в Яснополянской школе. Но живу я так, что времени у меня ни на что не хватает — а теперь еще и глаза подсаживают, — вот и затянулось наше свидание. Бываю в Наркомпросе я каждый день часов с двенадцати. Когда Вы приедете, Вас пропустят ко мне, тогда поговорим подробно. Кстати, расскажите про Яснополянскую школу»¹⁴.

И. И. Левченко работал заведующим учебной частью Яснополянской средней школы имени Л. Н. Толстого. Их свидание с Надеждой Константиновной состоялось в ноябре

1938 года. Очевидно, это было последнее обращение Надежды Константиновны к произведениям Толстого, через несколько месяцев ее не стало.

Невозможно, да и нет необходимости каждую отчеркнутую у Толстого мысль искать цитированной или впрямую отраженной в произведениях Крупской. Важно подчеркнуть, что ей импонировал сам дух толстовских высказываний о педагогике и искусстве. Вот почему она обращается к его произведениям, вот почему имя Толстого упоминается в ее собственных работах более ста раз. И вот почему так много писала и говорила Крупская об отношении к Толстому Владимира Ильича Ленина, так ратовала за широкое распространение произведений величайшего писателя мира, так пропагандировала его педагогиче-

ские идеи. Теперь, когда Толстой уже много лет является любимейшим, популярнейшим и одним из самых читаемых писателей, мы вспоминаем слова Ленина в статье «Л. Н. Толстой»: «Чтобы сделать его великие произведения действительно достоянием всех, нужен социалистический переворот»¹⁵.

30-тысячная библиотека Ульяновых в Кремле... Книги с пометками, дарственными надписями, сопроводительными письмами. У каждой книги свой путь в эту библиотеку, и каждая из книг может помочь лучше, глубже, полнее понять духовный мир В. И. Ленина и Н. К. Крупской. И пометки Надежды Константиновны на сочинениях Толстого — это лишь одно из немногих открытий, которое подарила нам эта бесценная библиотека.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Имеется в виду французский педагог Ед. Куни. Статья Ед. Куни «Толстой и Яснополянская школа» помещена в журнале «Воспитание» за 1911 год. (*Примеч. авторов.*)

² Н. К. Крупская. Пед. соч., т. I, с. 196—197, М., Издательство Академии педагогических наук, 1958.

³ Н. К. Крупская. Пед. соч., т. II, с. 9—11.

⁴ Н. К. Крупская. Пед. соч., т. II, с. 11.

⁵ Н. К. Крупская. Пед. соч., т. 5, с. 583.

⁶ Н. К. Крупская. Пед. соч., т. I, с. 106—108.

⁷ Н. К. Крупская. Пед. соч., т. II, с. 179.

⁸ Л. Н. Толстой. Пед. соч., М. Учпедгиз, 1953, т. IV, с. 70—71.

⁹ Н. К. Крупская. Пед. соч., т. III, с. 116—117.

¹⁰ Л. Н. Толстой. Пед. соч., М. Учпедгиз, 1953, с. 269.

¹¹ Н. К. Крупская. Пед. соч., т. III, с. 342.

¹² Л. Н. Толстой. Собр. соч., т. 15. М., 1964, с. 137.

¹³ Л. Н. Толстой. Собр. соч., т. 15. М., 1964, с. 214.

¹⁴ Н. К. Крупская. Пед. соч., т. II, с. 697.

¹⁵ В. И. Ленин. Собр. соч., т. 20, с. 19.



С. А. Берс до замужества.

С. А. Толстая начала писать свои воспоминания, которыми она сама дала название «Моя жизнь», 24 февраля 1904 года. Она не успела закончить свой обширный труд, хотя продолжала работать над записками и после смерти Толстого в 1910 году; к декабрю 1915 года они охватывали годы с 1844 по 1901 год. Последние девять лет жизни с Толстым остались недописанными.

Мемуары состоят из восьми частей, в каждой из которых материал расположен по отдельным главам, посвященным либо отдельным лицам, либо событиям, либо произведениям Толстого.

Мемуаристка пользовалась выписками из дневников в писем Толстого, писем к Толстому, своей собственной перепиской с разными лицами и другими находящимися в ее распоряжении материалами.

Записывая в «Ежедневниках» о работе над «Моей жизнью», она часто сетует, что «мало материалов», что «нет нужного для всякого писания вдохновения» и что возврат к прошлому и радостен и мучителен. «Весь день занималась своими «Записками», — пишет она 30 марта 1912 года. — Трудно! Что интересно и дорого мне, к тому

равнодушна будет публика. Работа над «Моей жизнью» заглушает немного сосущее мое сердце горе, и хорошо жить прошедшим, хотя оно и безвозвратно» (С. Л. Толстая. Дневники в двух томах. Т. 2. М., «Художественная литература», 1978, с. 372, 428. Далее ссылки на это издание).

Отсутствие нужных ей материалов приводило иногда к отрывочности записей, фрагментарности, неполноте в освещении тех или иных событий.

Описывая свою жизнь, С. А. Толстая старалась исходить из главного: жизни и творчества Л. Н. Толстого. Толстой — центральная фигура ее жизнеописания. Обычно, рассказывая о том или ином событии, она в центре внимания читателя ставит высказывание самого Толстого, а вокруг него она строит свое повествование. С. А. Толстая не пересказывает Толстого, она предпочитает давать точную ссылку на его письмо, устное высказывание или дневниковую запись, а затем комментирует и дает свою оценку событию.

«Стараюсь писать больше то, что касается Льва Николаевича, — пишет она в записи 1894 года, — как несомненно самого значительного и любимого члена семьи».

Упорно продолжая свой труд, Софья Андреевна часто сомневалась в его необходимости и ценности, поэтому читала отрывки, советовалась, рассказывала окружающим о своей работе над записками. «Вечером читала отрывками Варе и Душану Петровичу свои записки «Моя жизнь», — записывает она в «Ежедневнике» 25 ноября 1916 года, — и оба очень одобрили и хвалили мой труд» (указанное издание, с. 440).

Во имя чего писала С. А. Толстая свои записки, чего ждала от своего труда? Довольно распространенным было мнение, что «Моя жизнь» была написана Софьей Андреевной Толстой в свою защиту перед грядущими поколениями. Это как бы умаляло значение ее труда, предопределяло отрицательное к нему отношение.

Во «Вступлении», написанном в день начала работы, сама С. А. Толстая пишет о «неверных сведениях», которые существуют о ней и которые ей бы хотелось рассеять своими воспоминаниями. Но пишет она не только и не столько о «неверных сведениях» и «резких недоразумениях», которые необходимо опровергнуть, сколько о многогранной, разнообразной жизни семьи Толстого. А кроме того, почему это обязательно плохо, если Софья Андреевна Толстая стремится реабилитировать себя? Это ее право.

Фотографии С. А. Берс в детстве и юности.



Мы можем соглашаться или не соглашаться с ее аргументами, но рассказ о ее жизни, о ее ошибках и заблуждениях помогает понять многое и в ней, и в Толстом...

Нельзя сказать, что мемуары «Моя жизнь» были малоизвестны. Небольшие отрывки из них публиковались в периодической печати еще самой С. А. Толстой; использовались они в исследованиях о Толстом, включались в комментарий мемуарной литературы о писателе. И все-таки этот источник до последнего времени был известен только в отрывках, по которым трудно было представить мемуары в целом. 150-летний юбилей Толстого впервые дал возможность познакомиться самого широкого читателя с довольно обширным, целостным материалом из «Моей жизни».

Редакция журнала «Новый мир» отдала многие страницы своего восьмого номера за 1978 год воспоминаниям С. А. Толстой с 1862 по 1901 год.

Теперь на страницах альманаха «Прометей» продолжается знакомство с новыми страницами «Моей жизни».

Софья Андреевна называет свои записки наивными и пишет, что они «о будничной, материнской жизни» (указанное издание, с. 348), но это придает особую естественность ее повествованию.

Отстаивая самостоятельность своих взглядов, С. А. Толстая могла быть наивна в своих оценках событий и людей, она не всегда могла понять огромный духовный мир, которым жил Толстой, но в каких-то чертах она под стать Толстому: трудолюбива, есть в ней и смелость, и сила воли, и известная проницательность, и прямодушие, не лишена она и литературного таланта.

Важно также отметить (чему доказательство многие страницы ее воспоминаний), что с ранних лет, еще не будучи женой Толстого, она понимала, что перед ней человек необыкновенный и писатель необычайной талантливости.

Уже в первые годы семейной жизни она чувствовала необытность духовной жизни Толстого. «Недосыгаема была для нас эта гениальная душа, по-своему одинокая и величественная», — пишет она. Все дальше уходил Толстой от семьи в своем духовном одиночестве, и С. А. Толстая с горечью признается, что «требования духовные Льва Николаевича были не по силам его семье».

Никогда не была она равнодушна к его художественному творчеству. Целые главы «Моей жизни» посвящены писанию «Войны и мира» и «Анны Карениной», «Крейце-

ровой сонаты» и «Власти тьмы» — это не просто произведения, написанные Толстым, это веки и ее жизни. Через «Мую жизнь» проходят три темы: творчество, природа, музыка. И во всех трех увлечениях, составлявших любовь Толстого на протяжении всей его жизни, он нашел в жене верного соучастника, который мог понять и умел разделить вместе с ним чувство восторга и упоения.

Субъективность мемуаров «Моя жизнь», разумеется, дает возможность для очень различного их восприятия. Они искренни, в этом их «незащищенность» перед читателем, который может по-своему оценить 48-летнюю семейную жизнь Толстых. Хотелось бы только напомнить мудрые и справедливые слова Максима Горького, писавшего в очерке «О С. А. Толстой»: «Жить с писателем, который по семи раз читает корректуры своей книги и каждый раз почти заново пишет ее, мучительно волнуясь и волнуя; жить с творцом, который создает огромный мир, не существовавший до него, — можем ли мы понять и оценить все тревоги столь исключительной жизни?»

Нам неизвестно, что и как говорила жена Льва Толстого в те часы, когда он, глаз на глаз с нею, ей первой читал только что написанные главы книги. Не забывая о чудовищной проницательности гения, я все же думаю, что некоторые черты в образах женщин его грандиозного романа знакомы только женщине и ею подсказаны романисту» (М. Горький. Собр. соч. в 30 т. Т. 14. М., «Художественная литература», 1951, с. 308).

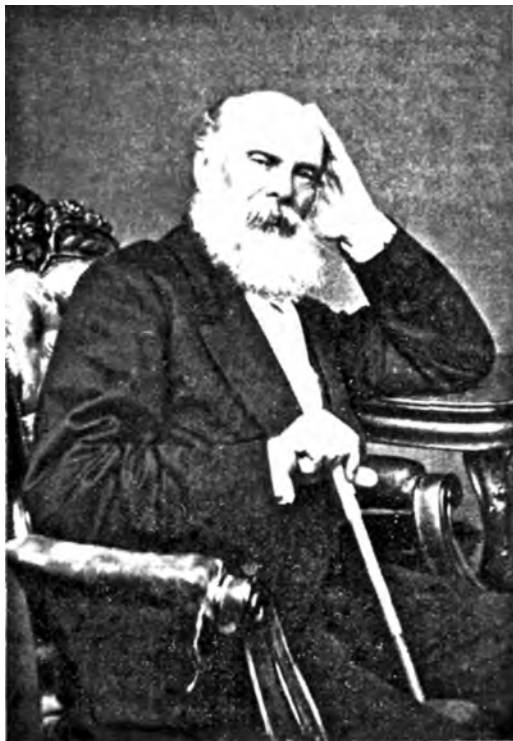
* * *

Настоящая публикация готовилась по машинописному тексту «Моей жизни». Весь цитируемый материал сверен с источниками — и опубликованными и хранящимися в рукописном отделе Государственного музея Л. Н. Толстого.

Комментарий составлен кратко, учитывая недавнее переиздание «Дневников» С. А. Толстой и обширный справочный материал в литературе о Толстом.

*Публикация и подготовка текста
И. А. Покровской и Б. М. Шумовой
Государственный музей Л. Н. Толстого*





Отец Софьи Андреевны, Андрей Евстафьевич Берс. 1862 г. Москва. Фотография М. Б. Тулинова.

ВСТУПЛЕНИЕ

В прошлом году Владимир Васильевич Стасов просил меня написать мою автобиографию для женского календаря. Мне показалось это нескромно, и я отказалась.

Но, чем больше я живу, тем более вижу, сколько накапливается разных недоразумений, неверных сведений по поводу моего характера, моей жизни и многого, касающегося меня. А так как я, сама по себе, ничего не значу, а значение моей совместной 42-х летней супружеской жизни с Львом Николаевичем не может быть исключено из его жизни, то я решила описать, пока еще только по воспоминаниям, свою жизнь. Если будет время и возможность, постараюсь включить еще некоторые подробности и хронологические сведения, взятые из писем, дневников и прочих источников.

Постараюсь быть правдива и искренна до конца. Всякая жизнь интересна, а может быть, и моя когда-нибудь заинтересует кого-нибудь из тех, кто захочет узнать, что за существо была та женщина, которую угодно было богу и судьбе поставить рядом с жизнью гениального и многосложного графа Льва Николаевича Толстого.

Гр. Софья Толстая.

24 февраля 1904.

Часть I

1855. ЗАНЯТИЯ И ДЕЖУРСТВО

Кроме уроков, мы, две сестры, должны были сами себе шить и чинить белье, вышивать, читать по вечерам вслух матери не менее 30-ти страниц в один раз. Хозяйство тоже было отчасти в наших с сестрой Лизой руках. Уже с 11-ти летнего возраста мы должны были рано встать и варить отцу кофе. Потом мы выдавали кухарке из кладовой провизию, после чего к 9-ти часам готовили все к классу.

Хозяйничали мы с сестрой Лизой по очереди: сначала одну неделю одна дежурила, потом другую — другая. Но потом дежурство стало месячное, и мы должны были сдавать друг другу все в порядке: кладовую, шкаф с сухой провизией, шкаф с книгами и столовое белье. Также надо было наколоть на месяц сахару, намолотить кофе и чисто вымыть все полки в шкапах. Помню я, как раз я колола сахар, и вошел наш дядя Костя, меньшой брат моей матери. «Как? Ты сахар колешь? — сказал он. — Какой стыд! Ma petite cousine * и занимается делом экономки. Ты себе все руки испортишь».

Моя мать рассердилась и сказала, что Костенька портит ее детей и внушает им глупости.

ДЯДЯ КОСТЯ

А между тем этот самый дядя Костя имел огромное влияние на мое духовное развитие, и он был первый и единственный человек в детстве моем, который внес художественную искру в мое воспитание. Он жил в Москве и готовился к экзамену в университет. Воспитывался он в Дерптском университете, отлично говорил по-немецки и по-французски, был образован, прекрасно играл на фортепиано, но

* Моя маленькая кузина (франц.).

от застенчивости и от волнения никогда не мог выдержать экзамен, что погубило его жизнь, так как незаконность рождения¹ и отсутствие диплома не давали ему никаких прав. Не выдержав и в Москве, он впоследствии уехал с тою же целью в Киев, что было для нас, детей, величайшее горе.

Он не учил нас, но всегда, когда приходил или гостил у нас на даче, он чем-нибудь интересным займет нас. То исправлял он наши почерки и показывал, как надо хорошо писать, то рисовал с нами, и всегда красиво, тонко, изящно, и я подражала ему. А то заставит писать ноты наизусть или, сыграв что-нибудь легкое, посадит за рояль и велит проиграть то же самое. Играл он удивительно талантливо: сам Николай Рубинштейн говорил ему: «Я дорого бы дал, чтобы играть Шопена так, как ты!» Иногда он садился вечером за рояль, импровизировал музыку для балета и заставлял нас с сестрой плясать балет, что я очень любила. Прислушиваясь к звукам импровизации дяди Кости, я принимала, стараясь быть грациозной, те позы, которые соответствовали музыке. То нежно-грустные, то бурно-веселые, сопровождаемые быстрым танцем; то, я помню, становилась на пальцы ног или одной ноги. Это все было очень весело.

Когда мы стали постарше, он раз на даче созвал нас, детей, и читал нам «Повести Белкина» Пушкина. Как сейчас помню, как весело, выразительно прочел он нам «Барышню-крестьянку», и какое огромное это произвело на меня впечатление.

Во все области искусства он вводил нас, и на всю жизнь осталась во мне эта страсть ко всем искусствам, эта жажда знания, желание понять всякое творчество. И разбудил это во мне мой любимый до самой старости — дядя Костя Иславин.

До самой его смерти в 1903 году мы остались с ним в самых близких, дружелюбных отношениях. В старости он часто путал меня с моей матерью, с нее он перенес свою привязанность на меня и называл меня часто вместо «София» — «Люба». Имя моей матери.

1856. ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ НА ДАЧЕ

Одно мое воспоминание о дяде Косте связано и с мужем моим, графом Львом Николаевичем Толстым.

Жили мы на даче, в Покровском Глебова-Стрешнева. Мы уже пообедали, когда вдруг видим: идут к нам пешком дядя Костя и Лев Николаевич. Появление их всегда возбуждало восторг во всей нашей семье.



Мать Софии Андреевны, Любовь Александровна Берс. Москва. Фотография 1860-х гг.

— Ну, девочки, кто дежурная? Давайте нам с Левочкой обедать, — сказал дядя Костя. — Мы хотели обедать у Бахметевых, в большом доме, да опоздали и ужасно голодны.

Мы побежали с сестрой Лизой в кухню. Почтенная, старая кухарка наша, прожившая всю жизнь в нашей семье, Степанида Трифонова, уже сняв свой беленький чепец и фартук, ушла к себе наверх и лежала на высокой перине и еще более высоких подушках. Мы не смели ее беспокоить. Сами подожгли дрова, разогрели обед и сами служили своим любимым гостям.

— Славные девочки, — говорил Лев Николаевич. — Как хорошо накормили нас².

Он, видимо, любовался нами, и это придавало еще более радости нашим трудам.

Лев Николаевич бывал у нас редко, так как и в Москве он бывал только проездом. Помню, в одно из своих посещений он собрал нас: брата Сашу, двух моих сестер и меня, —



Соня, Таня и Лиза Берс. Конец 1850-х гг.

и учил нас петь хором. Сначала мы пели коротенькое четырехстишие, кажется, очень старинное. Вот слова:

«С тобой вдвоем, коль счастлив я,
Поешь ты лучше соловья,
И ключ по камешкам течет,
К уединенью нас влечет»³.

Сестра Таня пела первый голос, я — второй, сам он пел басом. Еще пели мы «Херувимскую» Бартинянского⁴, и Лев Николаевич сердился, когда кто фальшивил.

Раз ходили мы с ним гулять в Тушино, и как всегда, и впоследствии, он любил отыскивать новые дороги и места, так и тогда он завел нас в болото, где я завязла и потеряла калоши, за что мне был строгий выговор от матери. Вообще я легко теряла вещи, была беспорядочна, быстро и легко все забывала, увлекаясь чем-нибудь. Потеряла я раз новый

зонтик и плакала от страха перед матерью, которая всегда говорила один упрек:

— Отец ваш все силы отдает, работает на вас, а вы ничего не бережете.

Слезы мои увидел отец, велел скрыть от матери потерю зонтика и в следующий свой приезд из Москвы привез мне новенький, белый с розовым зонтик, который привел меня в большой восторг. Сквозь улыбку, моя мать все-таки упрекнула меня в небрежности и забвении трудов отца.

КОНЕЦ ЯНВАРЯ 1854. СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ ВОЙНА

В это время в квартире нашей должны были произвести ремонт, и мы переходили в другую квартиру напротив. В ту минуту, как я несла какие-то ящики и шкатулку моей матери, к крыльцу нашему подъехал Лев Николаевич и объявил нам, что едет на войну в Севастополь, приехал с нами проститься, и заедет в Ясную Поляну к своим⁵.

Известие об отъезде на войну Льва Николаевича меня поразило так тяжело, что я, поставив шкатулку матери, тут же, в пустой комнате села на пол и уткнула голову в сиденье мягкого стула, и начала рыдать. Я тогда же решила непременно идти в сестры милосердия, как только буду большая, чтобы за ранеными ходить, за Львом Николаевичем, не соображая ни о годах, ни о продолжительности войны. Вскоре к нам заезжал и граф Сергей Николаевич Толстой, красавец в мундире Стрелкового батальона императорской фамилии. Но Сергей Николаевич со своим батальоном до места войны не дошел, мир был заключен раньше.

В эту зиму впервые прочла я «Детство и отрочество» Льва Николаевича. Никакое чтение во всей моей жизни не произвело на меня такое сильное впечатление, как сначала «Давид Копперфильд» Диккенса и «Детство и отрочество» Толстого. Когда я кончила эту толстую книгу перевода «Давида Копперфильда», то мне стало невыносимо грустно, точно я навсегда рассталась с самыми дорогими, близкими людьми⁶. Чтением же «Детства и отрочества» я не ограничилась и переписывала, заучивая наизусть, любимые места.

1855—1856. ТЕАТР

Вообще все мое детство и первые годы молодости я много провела в театре. По службе своей в придворном ведомстве, отец мой имел право на даровую ложу; и вот мать моя,

не любившая оставлять девочек без себя дома, возила нас часто в театр. Она очень любила, например, оперу «Жизнь за царя», а так как нам уже надоело, то я часто спала на диванчике в темной комнатке за передней частью ложи. Эту оперу я певала всю наизусть, и впоследствии часто играла ее для матери.

Возили нас и в Малый театр, где тогда играл знаменитый актер Щепкин. Как сейчас вижу я его небольшую, толстенную фигуру в роли городничего в гоголевском «Ревизоре», и в роли Фамусова в комедии Грибоедова «Горе от ума». В этой же комедии играла знаменитая в то время актриса Александра Ивановна Колосова. Лучшей Лизы я и после никогда не видала. Умерла Колосова еще совсем молодая; но такой сердечной, горячей, искренней игры я встретила разве только в талантливой итальянской Дузе, которую видела в Москве уже десятки лет позднее.

Но частые посещения театра незаметно втянули меня в любовь к опере, и вообще к музыке. Целый ряд опер переслушала я в своей юности. Сначала увлекла меня легкая музыка «Марты» Флотова, «Фенеллы» Обера, Лучии, Сомнамболы и других. Прослушав оперу, я тотчас же брала из абонеента (мы были абонированы у Эрлангера на ноты) оперу, разыгрывала ее и пела с начала до конца. Голос у меня был большой, но первобытный, и я совсем не умела и не могла им владеть. Вдруг возьму фальшивую ноту, вскрикну от ужаса, что не попала, и сейчас же замолчу.

Как-то раз Лев Николаевич уговорил нас ехать в его любимую оперу «Дон Жуан» Моцарта и сам поехал с нами⁷. Он очень восхищался любимыми мотивами, указывая их и нам, двум сестрам. Очень было интересно и весело с ним в этот вечер. Помню смешной разговор наших соседей по ложе, Михаила Николаевича Лонгинова и Полторацкого. Они разбирали нашу с сестрой наружность, и Лонгинов, поставив руку ниже носа, сказал про меня: «Jusque ici charmante, la bouche horrible!»*. Это был, как мне кажется, первый толчок в моей жизни, который заставил меня подумать о моей наружности и о том, что она может иметь значение.

ДОМАШНИЕ СПЕКТАКЛИ

Посещение театров навело нас на мысль и самим устроить спектакль. Первое, что мы играли, был водевиль «Ворона в павлиньих перьях». Мне было тогда лет 14-ть, и мне, как

самой бойкой, дали мужскую роль Антона-маркера. Сестра Таня играла Парашу, сестра Лиза — ее мать. Играли и брат, и его товарищи кадеты. В водевиле было много куплетов на мотивы разных песен и романсов. Мать взяла все нужные для водевиля ноты и, отдав мне их, сказала: «Учи Таню». У меня была хорошая память, и я быстро выучила и слова, и мотивы, и с голоса учила Таню. Как только сестра моя запела, так все сразу поняли, что голос у нее не обыкновенный, а исключительно хороший. Звук, так называемый *timbre** голоса, был такой прелестный, мягкий, гибкий, манера петь и чутье такие верные, что и отец, и мать, и все, слышавшие ее, обратили на нее внимание. Впоследствии Лев Николаевич описал и весь тип, и голос моей сестры Тани в своей Наташе «Войны и мира». Когда его спрашивали посторонние, кого он описал в Наташе, он отвечал: «Я взял Таню, перетолок ее с Соней (т. е. со мной) и сделал Наташу».

Роль маркера в водевиле «Ворона в павлиньих перьях» мне, бойкой, 14-ти летней девочке, очень нравилась. С каким восторгом я пела глупые куплеты:

«Лишь вошел, от всех поклон,
Ласка и приятство,
Вот что значит миллион,
Что значит богатство».

Последние куплеты мы с сестрой пели с большим одушевлением и этим пленили зрителей. Начинались они словами:

«Мамашенька, Парашенька,
Пожалуйста, ручки,
Прелестные, чудесные,
Подарю вам штучки».

Спектакль прошел очень весело, и разохотил нас играть еще летом следующего года. На этот раз мы выбрали водевиль «Что имеем не храним, потерявши, плачем». И еще коротенькую, но совершенно подходящую для моей сестры Тани, пьесу «На хлеб и на воду», всю состоящую из куплетов и танцев. Играли мы на этот раз на даче, в Покровском. Гостей было очень много, и мы особенно старательно поставили и разучили пьесы. Декорации мы раскрашивали частью сами, ставили с помощью брата и его товарищей кадетов. У меня была драматическая роль жены, разводящейся с мужем, и учил меня актер Степанов, заставляя по несколько раз иногда повторять

* До сих пор очаровательно, рот ужасный (франц.).

* Тембр (франц.).

одну и ту же фразу, даже просто слова. «Истинные друзья!» — громко выкрикивал актер. «Истинные друзья!» — повторяла я. «Нет, так, громче». — «Истинные друзья! — выкрикивала я. — И вы надеетесь на помощь этих людей?» — с негодованием продолжала я. И так шло дальше мое ученье роли. Мужа моего играл кадет Поливанов, и мы в то время были по-детски влюблены друг в друга.

Но в то время, как мы играли, речи о будущем нашем еще не было. Просто весело было, и когда важная фрейлина Мария Аполлоновна Волкова, чопорная и старая, в порицание мне сказала: «mais Sophie joue comme une veritable actrice * » , — я не только не огорчилась, но была в восторге.

Сестра моя Таня, грациозная, тоненькая девочка, в водевиле «На хлеб и на воду», где она играла наказанную в карцере пансионерку, превзошла себя и привела всех в восторг своим голосом.

Театральные мои способности еще раз пришлось проявить в доме князя Алексея Васильевича Оболенского, Московского губернатора, женатого на Сумароковой. Они жили в Всехсвятском, недалеко от Покровского, у них было много детей, из которых старшая, Катя, впоследствии была замужем за знаменитым профессором С. П. Боткиным. Мы были с ними знакомы, и вот княгиня просила нас с сестрой участвовать в спектакле, устраиваемом ею, на что мы и согласились. Мне было уже 17 лет, сестре 18. Играли сначала Соллогуба старинную пьесу «Беда от нежного сердца...»⁸, которую, прорепетировав несколько раз, так и не сыграли в публике, а потом «Женитьбу» Гоголя. В первой пьесе я играла роль Настеньки; во второй — роль свахи. Лев Николаевич в то время жил в Москве, бывал у нас почти ежедневно и, как говорится, ухаживал за мной. Он выхлопотал и себе приглашение и смотрел нашу игру. Меня всю раскрасили, набили подушек вокруг моего стана, но трудно было сделать пожилую сваху из 17-ти летней девочки.

Осенью того же года я уже вышла замуж за Льва Николаевича⁹, и уже много лет позднее ставили в Ясной Поляне для дочери моей Тани различные пьесы и в числе их «Плоды просвещения»¹⁰. Это был последний домашний спектакль в моей жизни.

1861. ЭКЗАМЕН

Зато на экзамене русского языка, который так же, как французский, был мною взят

главным предметом, — я прямо отличилась. Приготовлена я была очень хорошо. На все вопросы были полные ответы. Но экзамен русского языка охватывал и всемирную литературу. И профессор русского языка Тихонравов, шепелявя и глядя на меня с насмешкой, начал со мной спор о существовании или несуществовании Гомера. Как только я говорила о данных за существование Гомера, он тотчас же доказывал противное. Когда же я ему называла те аргументы, которые существовали против, он оспаривал меня. Я наконец чуть не заплакала и говорю ему: «Вы профессор, я не могу с вами спорить». Он тут совсем рассмеялся.

Сочинений надо было написать три: первое было «Ломоносов и его сочинения», второе — «Словосочинение существительного, сравнительно с церковнославянским языком» и третье — музыка. Я дома еще говорила всем своим, что я ужасно желала бы написать сочинение о музыке, и когда я стояла за Тихонравовым с этим желанием, а он точно нарочно медлил и держал во рту кончик пера, — то я точно воздействовала духовно на него и чуть не вскрикнула от удивления, когда он на большом листе бумаги написал: «Музыка».

Я была в восторге; помню, что я начала словами: «Музыка существовала во все времена и составляла потребность не только отдельных людей, но целых народов». Потом я разделяла музыку на дикую, на народную, на итальянскую, возникшую у трубадуров, и довела эти ступени до Бетховена и новейших времен.

Когда Тихонравов прочел мое сочинение, он нагнул на бок голову, улыбнулся и, поговорив через стол с Иловайским, профессором истории, и Сергеевским, он передал им мое сочинение. Оба просмотрели его и возвратили Тихонравову. Я была ни жива, ни мертва, мне казалось, что все надо мной смеются, что Тихонравов, осуждая мое сочинение, показывает его другим. Но он медленно подписал внизу страницы: «Отлично» — и, глядя мне в упор в глаза, молча передал мне лист.

Когда я уже была замужем, мой отец в письме своем ко мне и к Льву Николаевичу пишет об этом: «И Соня делается когда-нибудь автором; недаром она привела в восторг Тихонравова своим сочинением. Ну-ка, отличись, моя красавица, напиши нам повесть. Стоит только захотеть, если ты удачно и верно опишешь твоего мужа и всю твою эпизоду со всей предшествующей твоей жизнью, то интереса в этом много найдется».

Я была в восторге от высокой отметки; а позднее, когда я вышла замуж за Льва Нико-

* Но Софи играет как настоящая актриса (франц.).

лаевича, Тихонравов сказал, что Льву Николаевичу и следовало жениться на такой жене, у которой было верное литературное чутье, и что сочинение мое было лучшее в году из всех сочинений экзаменующихся девиц. Зато грамматическое сочинение я совсем не могла написать, сколько ни думала, и сколько ни вертела пером, чувствую, что те два часа срока, которые даются для писанья сочинения тут же, в стенах университета, проходят очень быстро. Тогда я обратилась за помощью к соседке своей, девице Даль, племяннице того, кто собрал пословицы. Она охотно мне продиктовала кое-что, и после ее помощи я и от себя что-то вспомнила и кое-как скомкала свое «Словосочинение существительного, сравнительно с церковнославянским языком».

Уже почти все экзамены были кончены: французский экзамен я держала у своего же учителя, старичка m-g Pascault, и получила тоже «отлично», хотя плохо написала сочинение о *Siècle de Louis XIV**; оставался только экзамен истории у молодого, румяного и доброго профессора Иловайского, как вдруг, я заболела сильнейшим коклюшем.

Я была в отчаянии, что все пропало даром, но отец, который сначала боялся пускать меня на экзамен, даже не давал лошадей, чтобы ездить на экзамены, а ходила я в университет пешком, увидев мои успехи, выхлопотал мне позволение постом держать экзамен истории. Коклюш продолжался долго, и постом мне было еще не совсем хорошо, но я все-таки отправилась на свой последний экзамен истории. В то время, как я старательно излагала историю восстания Малороссии и Богдана Хмельницкого, страшный приступ кашля меня остановил, и я совсем задохнулась. Иловайский испугался и стал быстро повторять: «Довольно-с, хорошо-с». Он написал мне: «Очень хорошо», и тем и кончились мои экзамены.

Диплом на пергаменте на звание домашней учительницы мне выдали только в июле, и я с гордостью и восторгом читала на нем напечатанное имя мое с отметками за экзамены:

За русский и французский предметы: «Отлично».

За математику: «Хорошо», за историю и закон божий: «Очень хорошо» и т. д.¹¹.

Кроме своих личных занятий, мы, две старшие сестры, учили кое-чему меньших братьев: так, например, я учила музыке брата Володю, но помнится мне, мы оба нередко плакали, не могу вспомнить, по какой причине.

МОИ ГЛУПЫЕ ЗАНЯТИЯ

Описав свои научные занятия, я должна упомянуть и о тех праздных и глупых занятиях, которым я предавалась в детстве и первой молодости.

Например, одно время я страшно увлекалась разными коллекциями. Какой только дряни не было в моем шкапчике, когда я выходила замуж. Тут были и камушки, и раковины, и сушеные цветы, и картиночки, которые мы все собирали, вырезывали, и моя мать, заказав ширмы из белых, липовых досок, красиво подобрала эти вырезушки и наклеила их на ширмы. А то одно время я собирала и изучала гербы, рисуя и раскрашивая их, и вешая их даже на стене над моим диваном. Когда я бросила это глупое занятие, я увлеклась просто рисованием. Училась я рисовать только одну зиму, и то раз в неделю, в субботу. Наш горбатый учитель, Иван Николаевич Важенев учил весело, увлекательно, но односторонне. Он любил чрезвычайно тонкую отделку; и мы, срисовывая черным карандашом головки с оригиналов, отделявали их чуть ли не пунктиром. Сам он хорошо рисовал пером и тушью. До акварели мы не дошли, только тушью немного порисовали; а красками так и не пришлось поучиться рисовать хотя я страстно этого желала.

Помню, знакомый наш, Александр Данилович Майн, заметив мою любовь к картинам и рисованью, принес мне два больших альбома — один со снимками с Дрезденской, другой — с Берлинской галереи. Я прямо была поражена богатством и разнообразием этих снимков. «Что же картины?» — думала я с восторгом, и страстное желание увидеть самые картины так и осталось у меня на всю жизнь неудовлетворенным. Чтобы лучше вникать в эти картинки, я пыталась их срисовывать, я сидела над ними целыми часами, и когда, через несколько времени, Майн унес свои альбомы, я долго грустила, что у меня отняли такую радость. Рисовать я всегда любила; но ко всем искусствам у меня было много страсти, но мало, вероятно, способности, и главное, не было времени ими заниматься. Всякое практическое дело легко меня забирало. Например, когда мы переезжали с дачи в Москву или наоборот, то всегда укладывалась с мама я. и очень это любила. Если мама, бывало, летом едет в Москву рожать, то меня берут сидеть около нее, помогать ей с новорожденным. Раз отец хотел меня увезти на дачу, а вместо меня на смену привезти старшую сестру. Я спряталась за дверь, долго меня искали, и когда нашли, я стала плакать и просила меня оставить ходить за матерью.

* О веке Луи XIV (франц.).

Мне было тогда лет 12-ть.

А то мать моя задумала собрать шелковые лоскутки, нарезать их треугольниками и начала из них шить и делать одеяло. Разумеется, главной работницей оказалась я, так как умная и образованная сестра Лиза всю жизнь проводила за серьезными книгами, а слабенькая, балованная сестра Таня не употреблялась ни на какое трудное дело.

Нужно ли что купить — посылали меня. Нужно ли что поднять, сдвинуть, перенести куда вещи, детей, или убрать отцу или матери комнату получше — все заставляли делать меня, как самую здоровую, сильную и мало занимающуюся науками девочку. Когда я вышла замуж, моя мать часто говорила, что она осталась как без рук.

ФЕВРАЛЬ 1862. ПРОИГРЫШ «КАЗАКОВ»

Вспомнила я сейчас эпизод из жизни моей, касающийся Льва Николаевича. Пришел он раз вечером к нам в Кремль. Мы пили чай в столовой и очень ему обрадовались, как всегда. Лев Николаевич казался немного расстроенным, если не сказать сконфуженным. Скоро он сам нам выяснил причину его настроения.

— А я сделал непростительную глупость, — начал он каяться, — вчера проиграл на китайском биллиарде тысячу рублей и сегодня продал Каткову в «Русский вестник» свою повесть «Казак». Я давно ее написал¹².

— Как? Выходит, что вы проиграли свое сочинение? — с ужасом спросила я, и вдруг, разрыдавшись, убежала в свою комнату, где продолжала горько плакать.

Лев Николаевич очень удивился и сказал моей матери, что уста младенцев всегда глаголят истину. Мне было тогда, кажется, 16-ть лет.

Моя мать спрашивала меня, что именно меня так огорчает, и с неудовольствием прибавила:

— И что тебе за дело?

Но я не могла легко вынести главное то, что этот поступок развенчивал моего идола, того писателя, который имел столь сильное влияние на меня, которого я с детства, прочитав «Детство», боготворила. И вдруг он продал, проиграл маркеру свою душу, то есть святую святых самого себя. Это казалось мне невыносимым.

1861—1862. ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ДОМА

Так вот, в этот последний год мой дома, знаменитый 1861 год по освобождению

крестьян, жила я очень содержательной для себя жизнью.

Читала я и страстно, и много, о чем уже упоминала раньше; немного занималась музыкой, пением, рисованием. Приходилось учить маленьких братьев и много шить. Нам давали скроенную материю, белье, и мы обданы были сами его шить; и часто бывало, что скроенные рубашки лежат в моем красненьком сундучке, а я в это время увлекаюсь чем-нибудь более для меня интересным.

Зима 1861—62 года пролетела незаметно и скоро. Первая и последняя зима моей жизни, почти свободная для занятий по моему выбору.

Внешняя жизнь не была радостная. Отец мой начал сильно хворать, и желудком и горлом, и настроение его было ужасное.

ПРИЕЗД ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА С РЕБЯТАМИ В 1862 г.

Весной 1862 года, еще мы не переезжали на дачу, как приехал к нам из Ясной Поляны, проездом на кумыс в Самарскую губернию, Лев Николаевич, и привез двух крестьянских ребят из своей школы: один был сын солдатки Чернов (написавший в школе рассказ «Солдаткино житье»), другой — кроткий и милый Васяка Морозов, сын крестьянина Ясной Поляны¹³. Мы очень им обрадовались, общение с крестьянскими ребятами нам, городским барышням, было непривычно, но интересно, и мы очень старались с этими мальчиками: показывали им картинки, разговаривали с ними, и Лев Николаевич наблюдал нас и, казалось, одобрял.

Пробыли они с нами один день; Лев Николаевич потом приходил к моему отцу и просил его, чтобы он послушал его легкие, нет ли у него чахотки, и дал бы ему разные советы. Два брата Льва Николаевича умерли чахоткой, и он всю жизнь потом ее опасался и принимал против нее меры. И на этот раз он ехал на кумыс в Самарскую губернию, и взял двух ребят, чтоб ему было не так одиноко и скучно. Отец мой нашел легкие Льва Николаевича совершенно здоровыми и организм очень крепкий и сильный. Но на кумыс Лев Николаевич все-таки поехал. Спросил еще он моего отца: можно ли ему жениться, т. е. имеет ли он, по своему здоровью, право жениться. И на этот вопрос отец мой ответил утвердительно.

Не знаю, насколько Лев Николаевич поверил ему, но на кумысе он все-таки пробыл более двух месяцев¹⁴.

Часть II

1862. ТЕТЕНЬКА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА

Тетенька Татьяна Александровна¹⁵ очень ценила всякое внимание к ней; а, к сожалению, мы, тогда молодые, были очень эгоистично заняты друг другом и недостаточно ценили это доброе, кроткое, самоотверженное существо. Как будто так и должно было, чтобы она нас любила, терпела и баловала своей любовью. И даже сердиться, бывало, на нее за то, что она любит «покушать», что ей покупают миноги и семгу к вербной субботе. А какие же у ней были радости и развлечения? Никаких. Только бы все кругом нее были веселы и счастливы. Намешает она, бывало, варенья из синенькой чашечки в граненую кружку и пьет на ночь маленькими глотками эту сладкую воду, промачивая свои засохшие старческие уста, а я думаю, что тетенька жадная. Как жестоки могут быть молодые!

По вечерам тетенька Татьяна Александровна садилась на свой жесткий красного дерева, синий диван с головками сфинкса, на котором спала, и приглашала Наталью Петровну¹⁶ разложить пасьянс. «Душечка, Наталья Петровна, сегодня какой разложим пасьянс?» — спрашивала она. «Умственный, — отвечала Наталья Петровна, нюхая с наслаждением табак. — Или «семилетний», или «бессмертный». И вот раскладывались старые карты, и началось оживление старушек. «Пропустили, Наталья Петровна, вот сюда туз», — горячилась тетенька. «Ах, боже мой, в и жу», — оправдывалась Наталья Петровна. Если пасьянс выходил, то обе старушки оживлялись и приходили в восторг. Как я ни старалась, я не могла полюбить ни пасьянсов, ни безика, в который иногда играли старушки и даже Лев Николаевич.

Окончив переписку для Льва Николаевича, я приходила в комнату тетеньки и скучала, глядя на оживленные занятия картами старушек. Тогда я переносилась мыслями домой, в свою семью, где было столько и дела, и оживления, и веселья, и мне делалось жаль себя. Я старалась найти свою какую-нибудь личную жизнь, создать свое дело, и часто, не находя его, впадала в апатию, грустно переходя от переписывания Льву Николаевичу к набиванию ему папирос и штопанью чулок и носков.

Так я пишу в дневнике в ноябре 1862 года: «Тяжело, что я думаю его (Льва Николаевича) мыслями, смотрю его взглядами, напрягаю, им не сделаюсь, себя потеряю».

Посетителей бывало очень мало. В эту зи-

му 1862—63 года приезжала иногда дочь моего деда от второго брака — Ольга Исленьева. Меня мучила ревность, когда Лев Николаевич играл с ней в 4 руки и любовался ее красотой. Осенью мы ездили с ней и с Львом Николаевичем верхом, и помню, что хотя мы, по-видимому, дружили, но были чужды друг другу. Она холодная, разумная, я — горячая и неразумная — все было у нас разное. С ней приезжал и мой дед Исленьев, который раз в Туле очень обыграл Сережу, брата Льва Николаевича, и мне было и совестно, и грустно.

Некоторые из студентов школ продолжали еще свои занятия и посещения нас; но отношения с ними были тяжелы, особенно под зорким наблюдением Льва Николаевича¹⁷. Он постоянно останавливал меня, делал при них конфузацие меня замечания и всякое мое оживление вызывало в нем подозрительность и ревность.

Когда он уезжал на охоту, в Тулу, в Москву — тогда я всегда писала свой дневник,

С. А. Толстая. Фотография 1863 г.



мрачный и скучающий. Можно подумать, что я всегда была такая. А Лев Николаевич писал большей частью тогда свой дневник, когда косвенно хотел меня уязвить или упрекнуть в чем-нибудь. Так как и то, и другое случалось довольно редко, то и дневники того времени очень коротки, и их немного.

Жили же мы очень дружно, почти всегда были веселы, и любили так сильно друг друга, что были совсем поглощены в взаимные интересы. Порою являлись у Льва Николаевича опасения за мою молодость и страх, что я буду скучать. Вероятно, эти опасения возникли у него вследствие прочитанных им слов в моем дневнике, где я пишу: «Мне тесно и душно здесь, и я сегодня убежала, потому что мне все и всё стало гадко». «...Голоса веселого никогда не слышно, точно умерли все».

Но я старалась скрывать это и считала себя же виноватой в своих молодых порывах. Весь день мой был поглощен тем, что делает Лев Николаевич, что ест, что пишет, что читает, в каком расположении духа и проч. Когда же его дома нет, я опять-таки живу его интересами: пойду в его кабинет, уберу все, пересмотрю в комодах его белье и вещи; перечитаю на столе его бумаги и стараюсь всеми силами войти в его умственный мир, понять его.

1863. РЕБЕНОК И ХОЗЯЙСТВО

Чем дальше я переносусь в свои воспоминания, тем яснее они возникают в моей памяти. Но есть целые периоды моей жизни, которые в подробностях исчезли из моей памяти.

После рождения моего первенца¹⁸ вся энергия моя сосредоточилась на нем, на его трудном физическом воспитании, на его болезнях и развитии. Все остальное было второстепенно. Для Льва Николаевича же первое было его творчество — и все остальное было второстепенно; хотя еще одно дело, в совершенно уже другой области, а именно хозяйство — занимало и увлекало его одно время очень сильно. Он накупал скотину, пчел, кур, все заводил в огромном количестве, пускал телят под коров, чтобы воспитать их крупными и красивыми, целыми днями летом пропадал на пчельнике, в лесу, за рекой, сидя в избушке в полном одиночестве, и сам огребая рои и сажая их. Жизнь пчел, как я уже писала раньше, так заинтересовала его, что одно время, летом, он только о них и говорил, читал книги о пчелах, заказывал особенные рамочные ульи и забывал весь мир. Часто я скучала одна дома без него, а то бегала за речку Воронку на пчельник и носила туда ему обед, или ходила вечером с ним пить чай. Приду,

смотрю, Лев Николаевич с сеткой на голове что-то делает с пчелами и тотчас же начинает мне рассказывать, как он сажал рои, как крупную пчелу — матку — с маленькими крылышками он едва мог усмотреть, и она тяжело вползла в улей. Или скажет: «Посмотри и послушай, как гудят трутни».

Наблюдал он особенно внимательно работниц-пчел и показывал мне, как они носят «колошки» — что-то желтое на задних лапках. И кроме пчел — ничто уже не интересовало его в жизни.

Помню, раз приехал Фет, и мы отправились с ним вечером на пчельник, к Льву Николаевичу, пить чай. Был прелестный июньский вечер, и всюду виднелись на траве светлячки, блестя своим переливчатым зеленоватым светом. Лев Николаевич, который в то время мне обещал, когда будут деньги, купить такие же, как у моей сестры Тани, изумрудные серьги, — взял в руки два светящихся жучка и, приставив шутя к моим ушам, сказал: «Вот тебе изумрудные серьги, чего же лучше?»

Фету эта шутка понравилась, и он прислал мне вскоре потом стихотворение, кончающееся словами:

«В моей руке твоя рука,
Какое чудо.
А на земле два светляка,
Два изумруда»¹⁹.

Страсть к хозяйству у Льва Николаевича очень хорошо выразилась в письме его к моему отцу, Андрею Евстафьевичу Берсу. Он, между прочим, пишет:

«Есть в Москве некто барон Шепинг. У этого барона есть удивительные японские свиньи... Я... видел у Шатилова пару таких свиней и чувствую, что для меня не может быть счастья в жизни, пока не буду иметь таких же».

Дальше Лев Николаевич просил отца купить и прислать пару поросят, за которыми придет в Москву подвод и деньги.

Впоследствии с заводом свиней произошли разные трагикомические события. Лев Николаевич нанял ходить за своими драгоценными японцами бывшего старшину, пропившегося и изгнанного, думая сделать этим ему одолжение. Но отставной старшина страшно обиделся и перестал кормить свиней. Одна за другой издыхала, Лев Николаевич недоумевал, предполагал эпидемические болезни, огорчался и ничего не уяснил. Впоследствии этот самый старшина говорил, что когда свинья еще питалась, он ей дал немного корма, а уж утихнет, так он мимо пройдет.

Другой эпизод тоже очень огорчил Льва Николаевича: насолил он окороков и послал Алексея Степановича, своего человека, как самого надежного, в Москву, не сообразив, что скоро пост. Была оттепель, окорока все осклизли, испортились, дело подошло к масленице, кроме того, отделка была самая плохая, и никто не покупал ветчины. Так ее за бесценок куда-то и спустили, и Льва Николаевича это очень огорчило.

В другом письме своем к моему отцу Лев Николаевич пишет подробно о своем хозяйстве. Это письмо уже позднейшее, 1865 года.

«Кроме многих радостей жизни, которыми я пользуюсь, есть еще большая радость следить за расположением и улучшением растений и животных моих».

Далее следует подробное описание того, что куплено, приобретено и разведено за последние три года. И при этом мечты о будущих доходах и об улучшении пород; о росте яблонь и вообще садов.

В первый же год, т. е. в 1863-м году, Лев Николаевич насажал большой яблочный сад, говоря, что это для Сережи, который тогда родился.

Занимаясь страстно хозяйством, летом Лев Николаевич почти не писал. Хотя в этом же письме к моему отцу он упоминает об окончании 3-й части романа (в 1865 г.) и пишет так: «Дописываю теперь, т. е. переделываю... свою третью часть. Эта последняя работа отделки очень трудна и требует большого напряжения; но я по прежнему опыту знаю, что в этой работе есть своего рода вершина, которой достигнув с трудом, уже нельзя остановиться, и не останавливаясь катишься до конца дела. Я теперь достиг этой вершины и знаю, что теперь, хорошо ли, дурно ли, но скоро кончу эту 3-ю часть»²⁰.

Кроме увлечения хозяйством и, главное, своей художественной работой, Лев Николаевич постоянно думал об увеличении средств для своей семьи. Он, например, выражал в письме к отцу свое желание месяца три, четыре пожить в Москве, говоря:

«Я часто мечтаю о том, как иметь в Москве квартиру на Сивцевом Вражке, по зимнему пути прислать обоз и приехать, и пожить три, четыре месяца в своем перенесенном из Ясного мирке с тем же Алексеем, той же няней, тем же самоваром и т. п. Вы, весь ваш мир, театр, музыка, книги, библиотеки (это главное для меня последнее время) и иногда возбуждающая беседа с новым и умным человеком, — вот наши лишения в Ясной. Но лишение, которое в Москве может быть гораздо сильнее всех этих лишений, это считать каждую копейку, бояться, что у меня неостанет денег

на то-то и на то-то, желать что-нибудь купить и не мочь и, хуже всего, стыдиться за то, что у меня в доме гадко и беспорядочно. Поэтому до тех пор, пока я не буду в состоянии отложить только для поездки в Москву, по крайней мере шесть тысяч, до тех пор мечта эта будет мечтой».

Хотя впоследствии средства наши увеличились продажей и большим успехом романа «Война и мир», мы в Москву жить не ездили и чувствовали себя счастливыми и удовлетворенными жизнью в Ясной Поляне.

Мой отец так мне пишет, например, в январе 1864 года: «Твое письмо дышит счастьем, ты ничего лучшего не желаешь... Конечно, это самая лучшая жизнь, но не все ее понимают... только люди с возвышенными чувствами и люди высшего образования, которые находят ресурсы в самих себе».

Получив много денег за «Войну и мир», Лев Николаевич подарил двум племянницам Варе и Лизе, дочерям сестры Марии Николаевны, по десяти тысяч рублей на приданое,

С. А. Толстая с детьми Таней (слева) и Сережей. 1866 г.



чему я сочувствовала, нежно любя этих милых тогда девочек.

Увлечение хозяйственными делами продолжалось недолго. Мало-помалу Лев Николаевич охладевал к ним, и деятельность его в этой области ограничивалась любимым нами обоими делом — посадками лесов. Их мы посадили много, и теперь мы наслаждаемся, гуляя в уже взрослых лесах и любуясь прелестными, разнообразными насаждениями всяких пород.

1864. КОМЕДИЯ «ЗАРАЖЕННОЕ СЕМЕЙСТВО»

В зиму 1863—1864 года Льву Николаевичу вдруг вздумалось написать комедию. Сюжет ее был в том, что нигилист (в то время явление новое и модное), студент, отрицающий все, атеист и материалист, приехал в деревню к помещикам — учителем их сына, и заразил всю семью этим отрицанием, — нигилизмом, как говорили в то время. Называлась эта комедия «Зараженное семейство». Написана она была скоро, спешно и мало обработана, почему и не появилась никогда ни в печати, ни на сцене.

Нигилизм Лев Николаевич осуждал и осмеивал, вообще считая это вредным для молодежи.

Написав эту комедию, Лев Николаевич начал спешить в Москву ее ставить. Отец очень интересовался этой комедией, верил, что она будет так же хороша, как и другие произведения Льва Николаевича, и, между прочим, пишет мне:

«Я всегда был и пребуду поклонником литераторов, сочинителей музыки и всех артистов; в них я вижу «un feu sacré»*, который всегда меня согревал».

И действительно, отец мой страстно любил музыку, в молодости пел, увлекался Malibran, Viardo — и другими; был особенно впечатлителен и горяч к явлениям в мире искусства и природы, много читал, любил литературу всех народностей.

Упомянув имя m-me Viardo-Garcia, не могу не написать и моего воспоминания о ней. Когда я еще была очень мала, лет семи, вероятно, отец по просьбе m-me Viardo, приехавшей тогда в Москву, привез к ней нас двух девочек: Лизу и меня. Мы подождали в зале, и вдруг дверь отворилась очень быстро, и большими шагами, с длинными, висящими книзу обеими руками, вошла высокая брюнет-

ка с очень выпуклыми черными глазами и вишащим подбородком. Она сказала по-французски, пропев ругаду, что у нее болит горло и потому она не может «chanter pour ces petites»*. Дала нам конфет, посадила меня на колени и нежно целовала в щеки. Ее компаньонка принесла искусственные цветы и льстиво хвалила m-me Viardo за ее многочисленные таланты, говоря, что эти цветы сделаны m-me Viardo.

Страсть к искусству, любовь к природе, к цветам я всецело наследовала от моего отца. Ни в чем в мире я не находила столько душевного удовлетворения, столько подъема духа, как в искусстве и природе.

Помню еще в раннем детстве, переезжая в Покровское, на дачу, я сидела по несколько минут над яркими, только что распустившимися тюльпанами и белыми душистыми нарциссами, любуясь их очертаниями и желая их воспроизвести; помню и то поэтическое впечатление весны и природы, когда стоя у большого итальянского окна мезонина, в котором помещались мы, три сестры, я любовалась светлым отблеском видневшегося пруда сквозь деревья и вдали розовой церковью под плакучими березами. Как было хорошо тогда!

Помню и то наслаждение, которое я испытывала еще в детстве, когда дядя Костя играл Chopin, или мать моя высоким сопрано, с приятным timbre голоса, пела «Соловья» Алябьева или цыганскую песнь «Ты душа ль моя, красна девица».

* * *

В феврале 1864 года мы все-таки поехали с Львом Николаевичем в Москву и повезли комедию. Она была даже плохо переписана и мало поправлена, но все же мы мечтали поставить ее на масленице.

Несмотря на все хлопоты и страстное желание Льва Николаевича ее поставить немедленно, — это оказалось совершенно невозможно. Надо было, чтобы в Казенном театре эта комедия перешла из инстанции в другую, надо было иметь разрешение цензуры, наконец нужно было ее основательно прорепетировать, — а времени не было.

Лев Николаевич пригласил на чтение этой комедии литераторов и в том числе Жемчужникова и Островского. Островский одобрил ее, и, когда Лев Николаевич выразил сожаление, что комедия не будет поставлена именно в нынешнем году, когда интерес ее был бы самый современный, Островский, улыбаясь,

* Священный огонь (франц.).

* Петь для этих малышек (франц.).

сказал: «А ты думаешь, что люди в один год поумнеют!»²¹

Комедию мы увезли обратно в Ясную Поляну; интерес к ней совершенно остыл в Льве Николаевиче, он больше не брался за нее, и я с трудом потом собрала листы, не последовательно переписанные разными лицами к спеху, неполные и перепутанные²².

О драматической форме Лев Николаевич часто думал и хотел писать разные произведения, но она ему давалась труднее других. Фет в своих разговорах и письмах не советовал Льву Николаевичу писать в этой форме, а предпочитал форму эпическую, о чем повторял свое мнение и впоследствии, в 1870-м году.

СУРОВОСТЬ ЖИЗНИ

В это лето Лев Николаевич увлекался пчелами, и, пригласив раз с собой на пчельник, он велел запрячь телегу, положил в нее разные вещи, нужные на пчельнике, он посадил меня в нее, сам взяв вожжи. Я была беременна Таней уже пять месяцев²³, но меня не нежили и не берегли, напротив, я должна была ко всему привыкать и приспособляться к деревенской жизни, а городскую свою, изнеженную — забывать.

Ехать надо было через брод; спустившись по очень крутому берегу в речку Воронку, Лев Николаевич как-то неловко дернул вожжу, лошадь круто свернула, и меня опрокинуло из покосившейся на бок телеги прямо в воду.

Лошадь дернула, чтобы выехать на другой берег, кринолин мой завернулся в колесо, и телега поволокла меня по воде. Я слышала, как Лев Николаевич вскрикивал: «Ах! Ах!» — но не мог удержать лошадь. Но вот что значит девятнадцать лет. Ничего со мной не случилось!

В это же лето, но еще позднее, уже после уборки хлеба, поехали мы раз в катках кататься. Лев Николаевич, я, учитель музыки Мичурин, который вез в руках очень бережно порученное ему сестрой гнездышко с птенцами, Келлер²⁴ и сестра Таня на козлах, правящая тройкой. Были сумерки, мы проезжали гумно, где намели на самой дороге кучу, которой днем не было. Сестра, не видя ее, прямо наехала на эту кучу и первая слетела с маленьких козел, потом упали все мужчины; лошади, без вожжей, понесли. Лев Николаевич с ужасом кричит мне: «Соня, сиди, держись, не прыгай!» Я, держась за козла, лечу одна, тройкой, на катках, прямо к конюшне. Но вот косогор, длинная подушка от катков опрокидывается вместе со мной, и я падаю со

всего размаха на свой беременный уже 7-ми месяцев живот.

Я встала, как ошалелая, но ничего особенного не ощущала. И опять молодой, здоровый организм выдержал.

Не баловали меня в Ясной ничем. Купалась я просто в речке, даже шалаша для раздевания не было, и было жутко и стыдно. У нас, в Покровском, отец нам выстроил свою собственную великолепную купальню, а в Ясной была простота, которую Лев Николаевич и тогда старался вносить во все. Так, например, моему маленькому Сереже он купил деревенской холстины и велел шить русские рубашки с косым воротом. Тогда я из своих тонких, голландских рубашек сшила ему рубашечки и поддевала под грубые, холщовые.

Игрушек тоже покупать не позволялось, я из тряпок шила сама кукол, из картона делала лошадей, собак, домики и проч.

Как все это со временем по воле же Льва Николаевича изменилось!

1864. ЖИЗНЬ МОЯ В ЯСНОЙ С ВАРЕЙ И ЛИЗОЙ

Помню, в ту же осень мы читали вслух роман Диккенса «Наш общий друг», а Лев Николаевич читал нам вслух *Molière*'а и очень им восхищался, а мы весело смеялись, слушая прекрасное чтение Льва Николаевича, и нам было очень весело²⁵. А то иногда он, к нашей большой радости, читал нам из «Войны и мира» только что написанные им места, о чем и поминала в своем дневнике племянница Варя²⁶.

Как хорошо и содержательно мы жили в эту осень. Лев Николаевич пишет моему брату: «Точно только теперь начался наш медовый месяц!» И дальше: «Как мила Соня с своими двумя малышами»²⁷.

Сам же он работал любимую и успешную работу — роман «Война и мир», я переписывала ему усердно и охотно; вне дома развлекала его охота. Так как нельзя было беспокоить больную руку²⁸, Лев Николаевич брал с собой племянниц девочек в санях, брал собак и выгонял зайцев, позднее уже стреляя их из саней.

Иногда на меня и на девочек находило такое молодое веселье, что мы начинали танцевать, и я учила их. Варя пишет в своем дневнике:

«25-го декабря 1864 года. Соня учила нас сегодня вечером танцевать мазурку и польку-мазурку; я совсем выучилась польке-мазурке и долго экзерсировалась в зале».

По вечерам мы часто сидели втроем, и я

долго беседовала с милыми девочками. Они это очень любили, и Варя пишет даже в дневнике:

«Я очень люблю, когда Соня рассказывает. У нее всегда есть что-нибудь новое рассказать».

А Лев Николаевич иногда брал гитару у своего лакея Алексея Степановича и, плохо аккомпанируя себе, шутя пел: «Скажите ей, что пламенной душою...» и т. д.

1865. СВЯТКИ И МАСКАРАД

Варя и Лиза долго еще прожили у нас эту зиму. Лев Николаевич диктовал им, т. е. Вареньке «Войну и мир», так как сам еще плохо владел рукой. Я переписывала, возилась с двумя детьми и хозяйничала. Когда наступило Рождество, нам очень хотелось, чтобы девочкам было празднично, и мы затеяли маскарад самого первобытного, деревенского характера. Жил у нас в то время дворником — настоящий карлик. Безобразный, с огромной головой, коренастый и с большим юмором в речах и характере. Мы решили нарядить и его; и вот сделали короны золотые, достали красные шали и нарядили карлика царем, а дворовую Машу, дочь повара Николая — царицей. Они шли первой парой. Затем Вареньку одели французским зувом; Сережу, сына няни Марьи Афанасьевны, нарядили маркитанкой. Лизаньке устроили костюм маркиза, напудренного, что очень ей шло. Ее дамой была девочка, Душка, одетая маркизой.

Лев Николаевич заиграл на рояле марш, и ряженые торжественно вошли парами в маленькую столовую. Веселил всех карлик, по прозванию Мурзик, плясал и сказки рассказывал, и пел, и всякие прибаутки пускал в ход. Помню я еще скотника-немца, который, прямой как палка, весь вечер вальсировал с своей немкой-женой, точно это были две механические фигуры.

Накупили к этому вечеру всяких угощений, приготовили сладкие напитки и пустили в столовую еще много дворовых и баб. Первая плясунья и запевала была разбитная и веселая баба Арина Хролкова. Где она — там и оживление, бывало. Она и теперь жива, в 1906-м году.

Начались песни, русские пляски, толклись весь вечер в маленькой столовой, а я сидела в уголке, как сейчас помню, в нарядном шелковом платье из Москвы, и меня все это дикое, непривычное веселье — совсем не веселило. Зато девочки были в восторге, а тетенька Татьяна Александровна и сестра Машенька

радовались на них и на привычный им деревенский праздник.

Вот еще выписка из дневника Вареньки об этом вечере, когда после пляски начали играть в разные игры:

«Лучше всех игра бить по рукам. Когда пошли бегать да бить так, что на всю комнату шелкало, тут даже и большие не утерпели; первый подошел Келлер, потом Сережа, потом уже подкралась мамаша с Левочкой, и пошла работа: кто ударит покрепче, мы даже били обеими руками, и когда дело доходило до Финогеныча (карлик-дворник), тут уже все приходило в азарт и в восторг. Левочка кричал: «Берегитесь! берегитесь!» — все принимали руки, потому что карлик бросался как какой-нибудь хищный зверь, и уж беда тому, кому достанется от него; он раз даже попал Арине чуть не в лицо. Последняя игра была в жугуты».

Сойдя вниз, в детскую, я отпустила няню Марию Афанасьевну посмотреть на пляски и маскарад. В детской было тихо; горела лампада и был полумрак. Я взглянула в обе кровати, где спали мои дети, Сережа и Таня, и перекрестив их обоих, стала о них молиться с такой нежностью и умилением, которое только мать может знать и понимать. Этот мир детской мне был более приятен, чем мир веселья, мне чуждо, наверху.

Приехавшему на это веселье Сергею Николаевичу, который в начале вечера тоже нарядился каким-то тирольцем, так понравился маскарад, что он выпросил устроить и еще один, 6-го января. Обещал, что он привезет тогда и своего сына Гришу и Келлера, и мальчиков Брандт. Варя и Лиза тоже желали этого, и мы согласились.

6-го января испекли два пирога с бобами, и боб попался мальчику Мите Брандту (соседи из Бабурина); он выбрал царицей Вареньку, их так и нарядили царями; нарядили разных дворовых детей и взрослых, и ждали из Тулы Сергея Николаевича с своей компанией. Наконец, слышим колокольчики, и вскоре буквально ввалилась, внося морозный воздух, целая толпа людей.

Тут были и какие-то два музыканта с круглой гитарой и, кажется, скрипкой. Учитель Келлер нарядился великаном, испугавшим всех, мальчики были паяцами и еще чем-то. Нарядились у меня в комнате, и потом, когда все собралось, началось такое шумное веселье, что у меня разболелась с непривычки голова, особенно когда стали зажигать бенгальские огни, и я опять ушла в детскую. Так продолжалось до третьего часа ночи. Странный был случай в этот вечер. Сидит сестра Марья Николаевна в комнате

тетеньки и следит за пасьянсом. Тут же и тетенька на своем синем, жестком диване, и Наталья Петровна, и я сзади на кресле. В столовой и гостиной музыка, песни, пляска. Варя и Лиза в восторге, Сергей и Лев Николаевич на них радуются. Вдруг Машенька резко оборачивает назад голову и говорит с досадой: «Кто это меня по плечу ударил?» Я говорю: «Что ты, Машенька, бог с тобой, никто к тебе и не подходил». Она не верит, говорит, что глупые шутки. Нишулу я ее убедила, что ей показалось.

И потом, из письма, полученного вскоре после этого, мы все узнали, что Валерьян Петрович, муж Марии Николаевны, умер именно в тот день и час, когда Мария Николаевна почувствовала удар по плечу, один, в своем Рязанском имении²⁹.

Все гости-ряженые остались ночевать и пробыли еще несколько дней, веселясь, катаясь и доставляя мне больше хлопот, чем радости. Неопытная в деревенской жизни, я не умела распорядиться в нашем маленьком тогда доме о постелях, ночлегах, еде и проч., и это стоило мне больших усилий.

ОХОТА В НИКОЛЬСКОМ

Всю осень в Никольском Лев Николаевич охотился; а то в октябре мы опять для охоты поехали в Покровское, к Машеньке, и он застрелил там лисицу и зайцев и радовался этому. Пригласил он раз и меня на охоту с гончими и борзыми в Никольском. Поставил меня с двумя борзыми на опушке леса и дал свору борзых на веревке. Собаки рвались, я едва их держала. Стою, смотрю, слушаю. Вдруг гончие погнались с лаем и визгом прямо на меня. Беру лорнет, неловко левой рукой, правая же едва держит уже рвущихся изо всех сил борзых. Смотрю — мягкими шагами, тихо выходит из леса лисица. Увидав меня, она останавливается. Не зная правил охоты, необходимости выждать, я страшно взволновалась и пустила собак. Лисица мягко повернула хвостом и ушла опять в лес.

Вдруг скачет Лев Николаевич недовольный, в каком-то азарте. «Злодейка, оттопала лисицу,» — кричит мне он. И долго не мог он мне простить, что я рано спустила борзых и дала уйти лисице.

Еще как-то в Ясной Поляне я ездила осенью на охоту с Львом Николаевичем и сестрой Таней. Близорукие глаза мои не были приспособлены к охоте, и я, как охотница, никуда не годилась. Наехала я на двух зайцев; сначала вижу, что-то шевелится. Взяла лорнет, смотрю: лежат два таких миленьких

зайца, совсем рядышком. Так мне стало их жаль; я поколебалась, дать ли знак охотникам, что я подозрела, как выражаются охотники, зайцев. Но все-таки подняла аранник и сказала: «Ату его». В это время зайцы вскочили и разбежались в разные стороны. Так их и не поймали. Но зато меня бранили и презрительно упрекали, что «вот дуракам счастье, сразу двух зайцев подозрела и не умела их взять».

* * *

В эту осень и летом Лев Николаевич усиленно охотился. Он проводил целые часы в лесу, с гончими, увлекался очень этой охотой, а летом часов по семи пропадал на охоте в болотах, с легавой, прелестной собачкой Дорой, желтым сеттером, подаренным Льву Николаевичу моим отцом.

Писал Лев Николаевич этой осенью мало, все больше читал, по вечерам особенно, материалы к «Войне и миру». Читая, он мне, как и всегда, рассказывал много интересного. Из рассказов его я хорошо узнала все исторические события, особенно 1812 год. Очень заинтересован был Лев Николаевич типом Наполеона I-го, и особенно старательно изучал все, касающееся этого императора, с его блестящим началом и печальным концом и карьеры, и жизни.

Когда для «Войны и мира» истощились материалы и нужны были новые, Лев Николаевич ездил в Москву и проводил целые часы в библиотеках и архивах. Так, например, в 1866 году, в ноябре, он пишет: «Пойду... в Румянцевский музей читать о масонах». К изучению всякого исторического факта или лица Лев Николаевич относился педантично, добросовестно.

Так, например, когда он задумал писать о декабристах, он ездил нарочно в Петербург видеть места их заключения и казни³⁰.

* * *

Ничего выдающегося не случилось у нас в то время, т. е. в конце 1866 года и начале 1867 года. Лев Николаевич даже, всегда сообщавший своему другу, графине Александре Андреевне Толстой, о всем, что касалось нас, кратко, просто пишет ей: «У нас трое детей, и у меня моя работа, которая поглощает все мое время». А меня поглощало переписывание этой работы и дети.

Никаких подробностей этого времени я не помню. Помню впечатление, которое производили на меня некоторые места из «Войны и мира», как, например, охота Ростовых и дя-

дюшка, как смерть и весь тип Платона Каратаева с его собачкой. Потом смерть князя Андрея, да и многое, многое... Я жила с этими лицами и любила их.

Иногда мне смешно было читать в «Войне и мире» описание каких-нибудь обыденных фактов из нашей жизни или из рассказов моей девичьей жизни. Например, я раз взяла руку Льва Николаевича и начала шутя целовать быстро косточки свех кисти руки и приговаривать: январь, февраль, март, апрель... и т. д. — Лев Николаевич это описал, заставив свою Наташу проделывать это с ее матерью.

Когда Лев Николаевич описал сцену охоты Ростовых и я зачем-то пришла к нему вниз, в его кабинет, устроенный им в новой пристройке внизу, он весь сиял счастьем. Видно было, что он вполне был доволен своей работой, хотя это бывало редко. Но работа и утомляла его. Иногда нервы его так ослабевали, что, читая некоторые места вслух, он не мог продолжать и плакал.

1870. ЧТЕНИЕ И ЗАНЯТИЯ ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА

Когда «Война и мир» совсем была окончена и отпечатана, Лев Николаевич начал обдумывать еще разные работы. Читал он все на свете: то увлекался чтением исторических книг эпохи до Петра I и самого царствования Петра; то читал русские былины, сказки, предания, которые приводили его в восторг. В них он искал сюжет для народной драмы, но воспользовался ими для своих детских четырех книг для чтения. В увлечении Льва Николаевича чтением былин и сказок принимал большое участие Павел Дмитриевич Голохвастов, специально занимавшийся древним русским эпосом и написавший о нем свою книгу³¹.

Желание написать драму из древнерусской или позднейшей исторической эпохи было одно время так сильно, что Лев Николаевич начал усиленно читать Шекспира, Мольера, Гете, Пушкина, изучая формы всяких драматических положений.

Вероятно, это разнообразное чтение навело его на определение, что есть поэзия. В его записной книжечке я нашла следующее в 1870 году: «Поэзия есть огонь, загорающийся в душе человека. Огонь этот жжет, греет и освещает».

Есть люди, которые чувствуют жар, другие — теплоту, третьи видят только свет, четвертые и света не видят... Но настоящий поэт сам невольно и с страданием горит и жжет других. И в этом все дело».

Приходило ему в голову написать что-либо из жизни Петра Великого, и изобразить тип Меншикова, человека сильного, энергического и из народа. Особенно нравилось Льву Николаевичу, что государственный человек выдвинулся из народа. Любовь Льва Николаевича к народу, высокая оценка, доверие и интерес к русскому народу, как красная нить, проходят и ярко выделяются и во всех произведениях, и во всей жизни Льва Николаевича.

24-го февраля 1870 года Лев Николаевич написал целый листок рассказа из времен Петра I. Большое стечение народа в Троицко-Сергиевской Лавре, стрельцы, — красивый набросок картины, — но дальше не пошло. Было написано еще несколько начал времен Петра — но ни одно из них не развилось в дальнейшее. «Не могу себе представить, и негде достать источников, чтобы ясно изобразить ежедневную жизнь и быт того времени, — говорил Лев Николаевич. — Как ели, где спали, что делали женщины, какая посуда, платья и т. д. — все это неизвестно, а выдумывать нельзя, будет фальшиво»³².

В феврале 1870 года Лев Николаевич посетил Фета в деревне Степановке Воронежской губернии, где Фет жил в то время с женой. Он сообщил Аф. Аф. Фету о своем желании написать драму или комедию, но Афанасий Афанасьевич Фет очень отсоветовал Льву Николаевичу писать в этой форме и опять говорил, что сила его в форме эпической и повествовательной.

Нравился Льву Николаевичу еще сюжет истории Мировича, желавшего освободить царевича Иоанна, но и этот замысел остался без последствий, хотя он его где-то записал 14-го февраля 1870 года.

А чтение истории продолжало увлекать Льва Николаевича. 4-го апреля 1870 года он пишет в своей записной книжечке:

«Читаю историю Соловьева. Все, по истории этой, было безобразие в допетровской России... Правительство это такое же безобразное до нашего времени».

Еще он записал следующее свое мнение: «Но как же так ряд безобразий произвели великое, единое государство? Уж это одно доказывает, что не правительство производило историю».

Чувствуется всегда во мнениях Льва Николаевича, что историю делает народ и величие или ничтожество государства зависит тоже от народа.

1871. МАСКАРАД

На другой день был маскарад. Нарядились решительно все, плясали же без исключе-

ния — все. Дядя Костя играл всякие танцы, вальсы, польки, русскую. Толстый Дмитрий Александрович Дьяков прошелся с Леонидом Оболенским русскую и трепак, но запыхался скоро, и его заменила я, тоже в русской пляске. Дети мои были прелестно костюмированы: Таня и Сережа — напудренные маркиз и маркиза, Илья и маленькая англичанка Кэт, гостившая у нас, — какими-то фантастическими клоунами. Варя тоже была паяцем, Лиза — мужиком, Маша Дьякова и я — русскими бабами, Софеш — стариком, Николенька Толстой — старухой и так далее.

Но самое поразительное явление были медведи с козой и жоаком. Жоак в лаптях был Дьяков. Один медведь — дядя Костя, другой — Николенька, а Лев Николаевич прыгал одетый козой, как молоденький мальчик. Успех был большой. Радовались и дети, и старые, добродушные тетушки, и зрелые мужчины, не говоря уже о молодежи.

1873. ОСТАЛИСЬ В КАЗАНИ

В Казани, мимо которой мы должны были плыть на пароходе, Лев Николаевич хотел узнать, прибыла ли посланная с Федором Федоровичем³³ наша карета, и пройти по городу, столь близкому ему по воспоминаниям молодости и жизни в Казани³⁴.

Пристали мы в Казани довольно рано утром, и Лев Николаевич меня предупредил с вечера, что во время нашей стоянки он выйдет с парохода и поедет с двумя мальчиками, Сережей и Ильей, узнать о карете.

Покормив Петю, одевшись и убравшись в своей женской каюте I-го класса, внизу, иду я наверх в рубку с девочками, Эмили и Лелей пить кофе. Жду мужчин и мальчиков из мужской каюты. Никого нет, а мы давно уже плывем, отчалив от Казани. Я говорю человеку:

— Доложите графу и мальчикам, чтобы шли кофе пить.

— Да их нет.

— Как нет, где же они? Поищите везде, и в 3-м классе и на палубе.

Человек обегал весь пароход, Льва Николаевича и мальчиков не оказалось.

— Они слезли в Казани и не возвращались, — сказал кто-то.

А мы все плывем и плывем. Я в отчаянии. Денег у них нет, все в легких парусиновых одеждах, да и мне жутко одной без Льва Николаевича с малыми детьми.

Я бегу к капитану и с слезами в голосе умоляю его вернуться в Казань. «Расходы за

дрова и лишнюю топку я беру на себя», — говорю я.

Капитан снял фуражку, почтительно и учтиво поклонился мне и нагнувшись над трубой, громко и спокойно скомандовал: «Задний ход». Пароход, качаясь, начал сворачивать, и мы поплыли назад, к Казани. На пароходе начался кое-где ропот, что для простого смертного не вернулись бы, а для графа вернулись. Плыли мы более получаса. Подъезжаем к пристани, стоит Лев Николаевич с поднятыми вверх руками, в позе виноватого; с одной стороны стоит Сережа, с другой — Илюша, который громко ревет. Когда они вошли на пароход, и мы предложили капитану возместить убытки, он отказался, сказав, что рад чести везти семью Льва Николаевича, и что не часто приходится ему возить такое большое семейство. Нас было с няней, поваром, лакеем, горничной и гувернерами, и братом Степой, и англичанкой — всего 16-ть человек.

Часть III

1876. НАГОРНОВ И ЕГО ИГРА НА СКРИПКЕ

Как-то раз летом приехал к нам И. М. Нагорнов, брат мужа племянницы Вари, рожденной Толстой. Этот Ипполит Нагорнов учился в Парижской консерватории, был пошлого, смазливой типа, который Лев Николаевич воспроизвел в скрипаче «Крейцеровой сонаты»³⁵. Человек он был добродушный, совсем необразованный и до того духовно бедный, что не знаешь, о чем с ним говорить. Но когда он играл на скрипке, все приходили в восторг, начиная с Льва Николаевича. Лев Николаевич, занимавшийся тогда усердно музыкой, сам аккомпанировал Нагорнову на фортепиано. Играли они довольно легкие сонаты Вебера со скрипкой; играли и Моцарта сонаты, и что-то он играл один. Но эта легкость смычка, это умение извлечь наилучшее из всякого музыкального произведения были поразительны. Я люблю скрипку менее фортепиано, но не могла не быть под обаянием его игры. Начиная с маленькой, одиннадцатилетней моей Тани и кончая сестрой моей Таней, — Варя Нагорнова, гувернантка — все были чуть ли не влюблены в Ипполита Нагорнова в дни его пребывания в Ясной Поляне.

Помню, с какой любовью я следила за Львом Николаевичем, когда он, приподняв плечи и вглядываясь в ноты, напряженно играл свою фортепианную партию, стараясь держать такт, и вместе с тем наслаждаясь и сочинением и исполнением на скрипке Нагорнова.

Впоследствии этот Нагорнов говорил Варе, что Лев Николаевич своей музыкальной чуткостью и горячим увлечением музыкой, хотя и плохо аккомпанировал, но никто в мире не вдохновлял его так. И прибавлял, что нигде на свете он так хорошо не играл на скрипке, как у нас, в Ясной Поляне. Какое страшное впечатление произвела тогда на всех соната Крейцера. Еще тогда, вероятно, она вдохновила и Льва Николаевича. А как удивительно было сыграно *Andante* из 16-й *la majeure* сонаты Моцарта! Что-то перевернулось тогда в душе и не забылось никогда.

Для всех это редкое в деревне музыкальное удовольствие было наслаждением и праздником. Но и вообще летняя жизнь наша была вся похожа на вечный праздник, как это сказала как-то моя любимая племянница Маша Кузминская, впоследствии Эрдели.

ТРИ ЭПОХИ

В моей жизни было три эпохи, имевшие большое на меня влияние. Первая была чтение «Детства и отрочества» Льва Николаевича, открывшая мне красоту слова, красоту литературной деятельности, и этим путем я ее полюбила, стала изучать литературу вообще, и всю свою раннюю молодость, 13, 14, 15 лет, я читала запоем всех русских литераторов и много иностранных в подлинниках и переводах. Но и Льва Николаевича, открывшего мне своим «Детством» сокровища литературные, я стала, конечно, поэтизируя его, любить как человека; и, несмотря ни на какие перипетии в нашей жизни — не разлюбила никогда.

Вторая эпоха моей духовной жизни — было это время познания мной красот философского мышления мудрецов, которые так много дали мне духовного развития и даже просто свою мудростью помогли мне жить. На этот путь поставил меня и потом вел и дальше князь Л. Д. Урусов, и я привязалась к нему и долго любила его за это, и тоже не разлюбила его никогда, хотя он давно уже умер³⁶. Кроме того связывала нас наша любовь к Льву Николаевичу и его интерес к религиозным работам.

И эту *tendresse* * князь Урусов распространял на всю семью мою, и на меня, на моих детей и на мою сестру Таню, с которой он играл с азартом целыми часами в крокет и пение которой любил слушать. Главное же, князь просто обожал Льва Николаевича, играл с ним в шахматы, много говорил о религиозных

вопросах и вел с Львом Николаевичем деятельную переписку. Он мне часто говорил, что мы еще доживем до того времени, когда слава Льва Николаевича распространится на весь мир.

Князя в доме любили и дети, и даже прислуга. Одна только Таня была с ним резка и не любила его. Для князя Урусова я всегда заказывала более вкусный обед, надевала более красивое платье, прочитывала то, о чем собиралась поговорить с ним, и иногда кокетничала с ним, более духовно, чем физически, стараясь ему нравиться. Но и только.

Князь принесил мне огромные букеты, привозил конфеты и книги и очень любил всем нам делать подарки: подарил мне особенно красивые ножницы, саксонскую фарфоровую куколку, веер из Парижа Тане и проч. Он дарил так весело и просто, как это редко умеют делать люди.

В моей последующей жизни часто будет встречаться имя князя Урусова, и я потому написала здесь о нем.

Кончаю свою исповедь о третьей эпохе в моей жизни, имевшей на меня большое влияние. О ней, если буду жива, напишу подробнее, когда дойду до 1895 г. Теперь же скажу коротко. Это было после смерти маленького сына Ванечки. Я была в том крайнем отчаянии, в котором бываешь только раз в жизни; обыкновенно подобное горе убивает людей, а если они остаются живы, то уже не в состоянии так ужасно страдать сердцем вторично. Но я осталась жива и обязана этим случаем и странному средству — музыке.

Весной я немного опомнилась, сталаправляться и ездила к сестре в Киев.

Вернувшись в Москву, сижу я раз в мае, после болезни на балконе; в саду уже зеленело, было тепло. Приходит Сергей Иванович Танеев, человек мне мало знакомый, и довольно чуждый. Чтоб что-нибудь разговаривать, я спросила его, где он проводит лето. «Не знаю еще, — сказал он, — ищу где-нибудь дачу в помещицкой усадьбе».

И вдруг мне пришло в голову, что наш флигель в Ясной Поляне пустой, и я ему его предложила, оговорившись тем, что буду еще советоваться с моей семьей. Сама я хваталась за все морально, что было бы совсем другое, не напоминающее мне жизни с Ванечкой, и присутствие человека, совершенно не частного моему горю да еще так хорошо играющего на фортепиано, — мне показалось желательным.

Так или иначе Танеев переехал к нам в Ясную и поселился во флигеле с своей милой старой нянюшкой Целагеей Васильевной. Он не хотел жить у нас гостем и непременно тре-

* Нежность (франц.).

бовал, чтобы флигель ему отдали внаймы, и чтобы он за все платил. Уговорились они с Таней за сто рублей в лето, и я эти деньги тотчас же определила на бедных.

Танеев много общался с молодежью, часто слышался его странный, веселый смех, когда гуляли все вместе или играли в теннис; учился он с Таней и Машей по-итальянски, играл в шахматы с Львом Николаевичем, и у них был уговор, кто проиграет, тот должен исполнить предписание противника: т. е. проигравший партию Танеев должен сыграть то, что закажет Лев Николаевич, а проигравший Лев Николаевич должен прочесть что-нибудь свое, что попросит Сергей Иванович.

Помню я, какое странное внутреннее пробуждение чувствовала я, когда слушала прекрасную, глубокую игру Танеева. Горе, сердечная тоска куда-то уходили, и спокойная радость наполняла мое сердце. Игра прекратилась, — и опять, и опять сердце заливалось горем, отчаянием, нежеланием жить.

И вот проигранная партия, и Сергей Иванович играет сонату Бетховена, As dur-ный полонез Шопена, увертюру Фрейшюца, песни без слов Мендельсона, вариации Бетховена и Моцарта и много, много других прекрасных вещей, и я прислушиваюсь, что-то внутри меня радуется все чаще и чаще, и боль сердца легче, и я жду с болезненным нетерпением исцеляющей меня музыки.

А то Танеев приглашал нас к себе во флигель слушать его оперу «Орестею», которую он играл и без голоса, как-то странно и некрасиво напевал. И я и к этой музыке, в которой много красот, прислушивалась охотно, сидя в покойном кресле и давая засыпать своему горю. Иногда Танеев и не знает, что я слушаю, как он проигрывает по несколько раз какую-нибудь песню, а я сижу на крыльце флигеля и слушаю его игру сквозь растворенные окна, и мне хорошо.

Так было два лета, отчасти и зимой. Отравившись музыкой и выучившись ее слушать, я уже не могла без нее жить: абонировалась в концерты, слушала ее, где только могла, и сама начала брать уроки. Но сильнее, лучше всех на меня действовала музыка Танеева, который первый научил меня, своим прекрасным исполнением, слушать и любить музыку. Я всеми силами старалась где-нибудь и как-нибудь услышать его игру, встретить его для той же цели, т. е. чтобы попросить его поиграть. Иногда я этого долго не добивалась, грустила, томилась жадной послушать опять его игру, или просто даже увидеть его. Пристутствие его имело на меня благотворное влияние, когда я начинала опять тосковать по Ванечке, плакать и терять энергию жизни.

Иногда мне только стоило встретить Сергея Ивановича, послушать его бесстрастный, спокойный голос, — и я успокаивалась. Я уже привыкла, что присутствие его и особенно его игра меня успокаивала. Это был гипноз; невольное, неизвестное совершенно ему, воздействие на мою больную душу.

Состояние было ненормальное. Личность Танеева во всем моем настроении — почти ни при чем. Он внешне был мало интересен, всегда ровный, крайне скрытный и так до конца не понятный совершенно для меня человек. Часто воображаешь себе за личной скрытностью что-то особенное, глубокое, значительное, и таким мне иногда казался Танеев. Казалось мне, что он подавлял в себе, в обыденной жизни, всякие порывы и страсти, которые в его музыке так красиво, неудержимо и захватывающе действовали на слушателей и обличали внутренний мир исполнителя. О моем отношении к нему и о нашем дальнейшем знакомстве напишу, когда доберусь в своих «Записках» до 1895 года. За исцеление моей скорбной души своей музыкой, хотя это было помимо его воли, и он даже этого не знал, я осталась ему навсегда благодарна и никогда и его не разлюбила. Он открыл мне впервые двери к пониманию музыки, как Лев Николаевич к пониманию словесного искусства, как кн. Урусов к пониманию и любви к философии; и раз войдешь в эти области духовного наслаждения, из них не захочешь выйти и постоянно возвращаешься к ним. Сколько я испытывала в эти 12-ть лет глубокого наслаждения от концертов и слушанья музыки. Сколько раз, измученная дома разными неприятностями, осложнениями семейными, деловыми и другими, — я, побывав в концерте, послушав хорошую музыку и даже сама занимаясь ею, — вдруг чувствовала умиротворение, радость, спокойствие, и примирялась с житейскими невзгодами. Отношение какое-то любовное к исполнителям музыкальных творений — я не хотела признавать и всегда отрицала и боялась его, хотя влияние личности Танеева одно время было очень сильно. Раз явится это отношение, — погибает значение музыки и искусства. Об этом я написала длинную повесть³⁷.

1879. ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЛА ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА

Роскоши мы никакой в доме и наших обычных привычках не допускали. Одевались и одевали детей очень просто; ели также очень просто, и самый большой расход был на воспитание детей. Но и тут мы долго, а я и всю

жизнь — сама многому учила, и постоянно оба что-нибудь работали, каждый в своей области. Кроме уроков, приходилось много шить. Я пишу сестре Тане 23-го марта 1879 года: «Я не разгибаюсь, шью. Надо же шестерых детей к лету одеть».

И в другом письме пишу: «Я шью, шью, до дурноты, до отчаяния; спазмы в горле, голова болит, тоска... а все шью, шью. Хочется иногда стены растолкать и вырваться на волю».

Захотелось мне этой весной устроить в Ясной Поляне получше цветник. И вот я выписала семян, заказала длинные деревянные ящики, которые расставили по всем окнам, и насадила множество цветов: левкой, вербены, флокс, астры и другие цветы. Все это у меня прекрасно взошло, и я с любовью пересаживала маленькие двулиственные растеньица рядышком, в другие ящики.

18-го апреля я пишу Варе Нагорновой: «Еще у меня явилась страсть к цветникам... Мы все заняты устройством цветников, копаемся в земле лопатами, всякий устраивает свою клумбу. Mr. Nief³⁸ также усердно работает».

И то, что и мать, и гувернер заняты были цветами, делало это занятие и для детей интересным, и как будто и важным. Они очень все сочувствовали и помогали перекапывать грядки. Клумба Mr. Nief была в углу, перед подъездом, совсем на новом месте и очень удалась впоследствии, когда зацвели посаженные на ней цветы.

КАК ЖИЛИ ЛЕТО 1880 г.

Как провели лето 1880 года, я почти не помню. С приездом семьи Кузминских для нас с сестрой начинался праздник лета, как мы всегда говорили. Осень и зима — это страда рабочей жизни; зато летом мы, среди забот о детях и хозяйстве, умели находить время и для веселья.

Про это лето я писала племяннице Варе Нагорновой: «Лето мы провели очень весело и хорошо. Какое было жаркое, чудное лето, и все шло у нас так ладно, дружно, здорово».

Сестра Таня и дочь моя Таня особенно умели сами веселиться и всех воодушевлять. Прекрасный голос сестры доставлял нам всем немало наслаждения, когда мы собирались по вечерам в нашей большой зале. Пели мы все и хором в то время, как Лев Николаевич играл с кн. Леонидом Дмитриевичем Урусовым в шахматы или беседовал о религиозных вопросах. Как это все уживалось — не знаю, но жизнь шла весело, дружно и содержатель-

но. Я уже не любила своего уединения с любимым мужем, как прежде, я любила развлечение, веселое оживление молодежи, общество любимых мною людей. Я даже выучилась тогда игре в винт, в карты, которые прежде в руки не брала. А то, бывало, придет князь Урусов, сядут на весь вечер играть и муж, и сестра, и князь, и мне одной скучно. Чтобы быть с ними в общении, я выучилась игре в карты. Слишком я натерпелась в жизни от уединения, и слишком далеко уходил Лев Николаевич от меня душой, чтобы я могла вновь охотно предаваться уединенной жизни. При том так весело, содержательно было общение с князем Урусовым, и так хорошо относился он ко мне и всей моей семье.

1880. КОНЬКИ

К концу октября и началу ноября опять начались наши веселые катанья на коньках. Я ничего так не любила, как это упоительное, плавное движение по льду, особенно, как это было в ту осень, когда весь большой пруд замерзал, и можно было еще без снега, носиться по всему большому пруду на коньках. Катались все: и мы, родители, и педагоги, и все дети, и приехавший часто к нам Урусов. Веселые и возбужденные мы приходили домой и с новыми силами принимались за занятия. Мы не только бегали на коньках, но мы на коньках играли в горелки, плясали кадрили, мальчики прыгали через барьеры, перегонялись и очень веселились.

1881. ПОСЛЕДНИЕ ДНИ В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ. ПЕРЕЕЗД

С грустью доживали мы свои последние дни в Ясной Поляне. Дети ходили прощаться и с любимыми местами, и с дворовыми, и крестьянскими людьми, и детьми. Понемногу начали укладываться: сколько нужно было соображений, какие везти в Москву вещи, книги, игрушки, платья и т. д.

Дети уже почти не учились, были в большом волнении и меняли настроение: то пленяла их новизна городской жизни, то огорчала разлука с старой привычной обстановкой.

Поступила новая англичанка miss Carrie, рыжая и добродушная особа. Дети привыкали к ней плохо, и это осложняло мне заботы о них.

Наконец, 15-го сентября, назначен был наш отъезд. Об этом отъезде я пишу сестре своей, Татьяне Андреевне Кузминской, следующее:

«Уложились мы, собрались, встали в восьмом часу и, напившись чаю, двинулись в Тулу на курьерский. Мне нездоровилось, было уныло, грустно, многие плакали, провожая и уезжая.

Сели мы в коляску и карету и двинулись; Левочка верхом, а Сережа, Илья и Иван Михайлович накануне вечером уехали с людьми. В Туле нас провожали Урусов, Кислинские и супруги Бестужевы».

Ехали мы во втором классе, было жарко, суетливо с разогреванием бульона и едой для детей. Помню какой-то туман был в голове от утомления, а чувств не осталось никаких.

Въезжаем в Москву, в город, и первое впечатление — громадное зарево пожара на Никольской. Сгорело много в ту ночь; убытки считались миллионами, и тяжелое чувство вызвала тогда в нас эта огненная картина пожара, с огненным небом, бегущей и кричащей толпой, летящими во весь дух пожарными.

Приехали в Денежный переулок, в дом Волконского³⁹. Встретили нас там брат Петя с женой Ольгой. Все было приготовлено: и чай, и холодный ростбиф, и постели всем; все было освещено, все обдумано.

Дом похвалили, но несмотря ни на что, все сразу поверглись в уныние и все легли спать с какой-то непобедимой тоской в душе.

И вот совершился этот большой, значительный перелом всей нашей жизни, и началась новая, непривычная и более тяжелая во всех отношениях, городская жизнь.

Часть IV

1881. ПЕРОВ И ШКОЛА ЖИВОПИСИ ДЛЯ ТАНИ

Жизнь понемногу налаживалась. Желая совершенствовать способности дочери Тани по живописи, Лев Николаевич пригласил к нам художника Перова. Он сказал, взглянув на Танины работы, что способности у нее несомненные, и назначил ей приехать к нему на пробный урок. Когда она приехала к нему на квартиру, кажется, там же, в Училище живописи и ваяния на Мясницкой, он сразу дал ей копировать головку, что она быстро и хорошо исполнила. После этого она поучилась сперва у Перова, а потом подано было прошение в Училище, и Таня поступила туда ученицей и ездила почти ежедневно.

Она была страшная шалунья, смешила весь класс, баловала и пугала Льва Николаевича своей неудержимой живостью и шалов-

ливостью. И вот раз сам Лев Николаевич повез Таню в Училище и присматривался к взрослым ученицам. Среди них была уже сравнительно довольно пожилая дама, оказавшаяся Варварой Ивановной Масловой, страстно любившей живопись и занимавшейся ею с увлечением... Только с годами я поняла, какое высокое значение имела эта чудная семья Масловых, и люблю и уважаю их до сего времени более всех бесчисленных людей, которых я встречала в своей жизни.

Вот этой-то милой Варваре Ивановне поручил Лев Николаевич свою юную шалунью Таню, и она не только добросовестно присматривала за Таней, но потом ласкала ее, звала к себе, и Таня охотно посещала их дом, который был в некотором роде центром всякого искусства. Друзьями Масловых были и художники (Маковский и его семья), и музыканты (Танеев, Чайковский, товарищ по правоведению Федора Ивановича Маслова, Аренский и другие), и много лучших, порядочных людей.

Мало-помалу все втянулись в свои занятия. Про Сережу я пишу, что он много играет, ходит в университет и сияет удовольствием⁴⁰. Товарищами его по университету были молодые графы Олсуфьевы, на всю жизнь потом оставшиеся нашими друзьями; потом князь Георгий Львов, богатый купец Савва Тимофеевич Морозов и другие.

Семья графов Олсуфьевых имела большое влияние на Сережу. У самой графини Анны Михайловны был какой-то особенный культ к науке и университету. Ее посещали постоянно самые выдающиеся профессора, которых мы там часто встречали: Усов, Максим Ковалевский, Иванюков и много других. Это уважение к науке сообщилось и Сереже, которого очень ласкали и любили в доме Олсуфьевых. Чтобы подвинуть Сережу в музыке, мы взяли ему и Тане очень хорошего учителя музыки, Николая Дмитриевича Кашкина, который, бывало, рассердится за неприготовленные уроки и говорит: «Эти дети Толстого все преспособные, но лентяи — ужас!»⁴¹

Когда я осмотрелась немного в Москве, я успокоилась на том, что переезд наш для детей вообще был полезен, и необходим для сына Сережи, которого я особенно любила и ценила. Никто не учился так добросовестно и не давал в этом отношении меньше хлопот.

1882. КОНЦЕРТ РУБИНШТЕЙНА

Приехал в то время в Москву Антон Рубинштейн, и молодой Мансуров взялся нам достать два билета на его концерт. Какое огром-

ное наслаждение доставлял он своей игрой. Не помню, в котором году раз я поехала слушать девятую симфонию Бетховена под дирижерством Антона Рубинштейна. Я раньше ее не слыхала, и впечатление было так сильно, что, выходя из собрания, я просто шаталась. Я забыла весь мир, свою жизнь, детей, и когда опомнилась, мне хотелось все повторять: «Не надо, не надо, нельзя»... Любовь к музыке часто просыпалась во мне с страшной силой и умышленно забивалась. Любить что-нибудь немножко я не умела, а любить страстно — боялась, и все-таки попадалась на это в своей долгой жизни.

ПОКУПКА ДОМА

Присмотрел он тогда дом Арнаутова⁴² с большим садом в Хамовническом переулке, и очень прельстился простором всей усадьбы, более похожей на деревенскую, чем на городскую. Помню, в какой мы все пришли восторг, когда после шумной пыльной улицы вошли в этот сад. Все было зелено, пышно; листья, трава блестели на солнце, еще не высохнув после недавнего дождя, птицы пели, как в деревне.

Дом, в котором жили хозяева, Арнаутовы, бездетные муж с женой, и большим количеством собачек, мне не понравился: весь верх — это были деревянные, полугнилые чердаки и антресоли, в которых потолки были низкие, и жить там было невозможно. Лев Николаевич обещал надстроить верх, что и исполнил не вполне. Убедив себя, что роскошь не нужна, а грешна, он надстроил для меня (будто бы) залу и гостиную, а Маше и себе оставил низкие маленькие комнаты, которыми всегда впоследствии тяготился и которые испортили весь фасад дома.

Не помню, когда именно закончена была покупка дома, этим всецело занимался Лев Николаевич, но уже 15-го мая мои дочери и малыши — Андрюша и Миша уехали с Львом Николаевичем, няней и частью людей в Ясную Поляну, а я осталась в Москве с грудным Алешей и тремя старшими сыновьями. Семья Кузминских тоже проехала в Ясную, и мне было невыносимо тяжело и грустно в Москве, тем более, что сын мой Лева заболел сильнейшей лихорадкой, экзамены держать не мог, совсем слег, и болезнь не поддавалась лечению. Потом захворал и маленький Алеша. С запертыми окнами, в духоте и тревоге жила я весь прелестный май в Москве, в Денежном переулке, без сада, в пыли, и не могла двинуться. Только Сережа меня радовал тем, что отлично выдерживал

экзамены, и Лев Николаевич, что ни проповедовал, а в душе был этому рад и пишет мне: «I hope *, что Сережа сделает мне и себе честь, во всем получить пятерки». А о своем пребывании в Ясной пишет мне: «Здесь мне невыносимо хорошо», и очень жалеет меня, и неоднократно предлагает приехать меня заменить в Москве. Но доктор не отпускал еще нас. «Леля худ, болен, кашляет, — пишу я 17-го мая, — я еще в Москве с ним и Алешей. Жарко, томительно и грустно... Окна заперты, боюсь для Алеши и Лели коклюша и жду решения доктора уехать в Ясную. Все уже там, и я радуюсь, что хотя остальным хорошо. Для Ильи я здесь бесполезна; я по пяти раз в день бегаю, его ищу (чтобы он занимался), а он то играет в бабки, то пропадает с малярами».

В конце мая Лев Николаевич все-таки приехал меня сменить и отпустил нас с Лелей и Алешей в Ясную, оставшись с Ильей и Сережей. К тому времени приехал к нам и А. М. Кузминский и остановился в нашем доме. Вскоре присоединилась к нему и моя сестра Таня. Кузминский был болен, ему нужно было сделать какую-то операцию во рту, для чего приглашен был хирург Склифосовский, и пришлось Кузминским жить в нашем доме довольно долго, до его выздоровления.

К Льву Николаевичу в то время приходил С. А. Юрьев, которому Лев Николаевич дал «Исповедь» для напечатанья в «Русской мысли»⁴³. Юрьев просил Льва Николаевича смягчить для цензуры некоторые места в «Исповеди», и, кажется, Лев Николаевич постарался. Но ничего не помогло, и «Исповедь» была все-таки запрещена Духовной цензурой. Помню, что очень умный и симпатичный священник Иванов-Платонов старался провести «Исповедь» через духовную цензуру и, просматривая это сочинение, делал свои комментарии, объясняющие и смягчающие смысл. Но о них впоследствии выразился Победоносцев, что эти комментарии только усиливают вред мыслей Льва Николаевича⁴⁴.

Вероятно, тут же вскоре был решен вопрос о покупке в Москве дома, хотя долго шли переговоры и долго колебалось решение этого вопроса. Я старательно держалась в стороне и говорила, что мне все равно, но что ответственности переезда я больше на себя не возьму. Хорошо пишет об этом моя дочь Таня в своем дневнике 5-го июня 1882 г.: «На днях опять решили не ехать в Москву. Так как маленьким очевидный вред, а Илья очень сомнительную пользу приносит жизнь в Москве, то мама и говорит, что все выгоды и приятные стороны

* Я надеюсь (англ.).

московской жизни не перевешивают неприятные стороны. Итак, мне предоставили решить вопрос, так как папа говорит, что он поедет для того, чтобы сделать кому-нибудь удовольствие, а мама говорит, что она равнодушна. А я не возьму на себя перетащить всех для своего удовольствия. Каково же мне будет видеть, что папа скучает, Машу портят на разных детских вечерах... малыши теряют свою свежесть».

Решение вопроса этого, также как и покупка дома, была всецело делом Льва Николаевича, за которое он горячо принялся и сделал все сам.

В Москве Лев Николаевич занялся купленным домом, пригласив архитектора; делал планы и желал устроить все как можно лучше, что очень трудно ему было с его непрактичностью, а главное, трудно было потому, что пришлось оторваться от умственной работы, о которой писал мне еще до приезда в Москву: «Я занимался большим сочинением⁴⁵ и в очень серьезном настроении».

ТИФ ИЛЬИ. ТЯЖЕЛАЯ ССОРА

В августе заболел мой сын Илья тифом и долго прохворал. Так как нужен был особенный за ним уход и надо было отделить его от Сережи, Лели и учителя, я взяла его наверх и положила рядом с своей спальней, в лучшую в доме солнечную комнату с дверью на балкон. Он был удивительно терпелив и кроток. Всячески старался меня как можно менее беспокоить и большую часть времени спал.

Опять осложнилась моя жизнь, и я очень утомлялась. Вероятно, это отражалось и на моем характере, и я была неприятна. Уж кто из нас двух был тогда виноват, и что было предметом нашей ссоры с Львом Николаевичем — я не помню. В дневнике моем упомянуто, что я упрекала Льву Николаевичу, что он совсем не заботится о своих детях, и что я осталась одна, а у меня сил нет нести всю тяжесть семейной жизни без помощи, а только с его помехой.

Ссора была очень бурная. Лев Николаевич громко вскрикнул, что самая страстная мысль его о том, чтобы уйти из семьи. Меня это особенно больно поранило, потому что я последнее время всегда это чувствовала, и сердилась, и огорчалась на это. Пишу в своем дневнике 26-го августа 1882 года: «Он как бы отрезал от меня сердце»⁴⁶.

Накричавшись, Лев Николаевич ушел и не приходил всю ночь. Я сидела на раздевалье и плакала.

Не зная за собой никакой вины, кроме нескольких слов упреков за детей Льву Николаевичу, я придумывала в эту ночь всевозможные причины его злобы и отчуждения. Приходила мне в голову и ревность, и я начинала думать, что он так страстно желает уйти от семьи, потому что полюбил другую женщину. В эту тяжелую ночь я то плакала, то писала дневник. Вот отрывки из него:

«Я не могу ему показывать, до какой степени я его сильно, по-старому, 20 лет люблю. Это унижает меня и надоедает ему. Он проникся... мыслями о самосовершенствовании... Я не лягу сегодня спать на брошенную моим мужем постель. Помогите, господи! Я хочу лишиться себя жизни, у меня мысли путаются. Бьет 4 часа... Если он не придет, он любит другую».

Дальше пишу:

«Он пришел, но мы помирились только через сутки. Мы оба плакали, и я с радостью увидела, что не умерла та любовь, которую я оплакивала в эту страшную ночь».

После этого долго не было между нами никаких размолвок, Лев Николаевич готовился ехать в Москву, чтобы следить за перестройкой, мебелировкой и отделкой вновь купленного дома. Мне страшно было подумать о переезде и жизни в Москве после того, как Лев Николаевич так страдал от городской жизни, и я решила ни шагу не делать сама и ни во что не входить, чтоб ни в чем не быть виноватой перед мужем и детьми. Боже мой, сколько в жизни раз я томилась этим страхом «быть виноватой», а между тем все больше и больше наваливалось на меня ответственности, и требовалось от меня решения вопросов, всегда уже с раз установившимся взглядом на это решение и готовыми упреками. И теперь хочется плакать, когда я это вспоминаю и пишу.

И не безгрешна же я, могла и я ошибаться и увлекаться в жизни. Но я одно знаю: как страстно я желала всегда, чтобы всем было хорошо вокруг меня, и чтоб все успеть сделать, что нужно.

ДОМ ГОТОВ. ВИЗИТЫ

20-го декабря дом был наконец совсем готов, мебелирован, убран, все стояло на месте, все блестело новизной и чистотой; все разместились и были очень довольны новым местопребыванием с садом и большим простором вокруг дома. Прислуга также была более довольна, чем в Денежном переулке, но вскоре оказалось с этой стороны много неудобств, которые уже со временем мне самой пришлось



Ванечка Толстой. Тула. 1893 г.
Фотография Н. Ф. Курбатова.

Т. Л. Тодстая с братьями
Андрюшей (слева) и Мишей.
Москва, 1884 г. (?). Фотография
фирмы «Гиле и Опитц».



устранить, пристроив и в сторожке, и в кухне две лишние комнаты для дворника с женой и повара и его семьи.

Пишу в конце декабря своей сестре:

«Дом готов, все очень хорошо, и я в четверг, увы, должна опять начинать всех принимать»⁴⁷.

1883. ЛЕЧЕНИЕ НАРОДА И МОЯ ЖИЗНЬ В ЯСНОЙ

В отсутствие Льва Николаевича главным моим занятием было после моих детей — лечение народа. Я радовалась бесконечно, когда удавалось помочь страждущим, особенно, если случаи были трудной и продолжительной болезни. Помню, как я хорошо вылечила 9-ти месячную лихорадку: мужик уже едва ходил, весь желтый какой-то, и вот осторожным лечением хинином, полынью и кипяченым, горячим молоком я его к лету совсем поправила, и он мог работать. А то из деревни Рвы приезжал несколько раз молодой парень с раной на ноге: он три месяца не мог ходить, а в три недели уже был здоров. Случаев исцеления были сотни, но я их теперь, конечно, не помню. Еще от ревматизма я вылечила молодую девушку Румянцеву. Ее на простыне только могли повертывать, так она страдала, а с моего лечения и до сих пор жива и здорова. Помню еще, какую радость я доставила матери, нашей крестьянке, Ольге Ершовой, вылечив раствором ляписа глаза ее единственной дочке.

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ УБИРАЕТ ПОКОС ВДОВЫ

Как только Лев Николаевич вернулся из Самары, он взялся за покос вдовы Матвеевой из Ясной Поляны. Целые дни он косил, дочери его с этой вдовой трясли сено; даже я, желая испытать эту работу и не расставаться на целые дни с Львом Николаевичем и дочерьми, ездила под Засеку, в чудное по красоте природы местечко на полянке, грести и трясти сено. О нашей жизни в то лето хорошо пишет моя дочь Таня в своем дневнике:

«Папа целыми днями косит, мы ему обед возили и убрали несколько возов сена для одной вдовы в деревне»⁴⁸.

В то время гостил у нас Николай Николаевич Страхов, и я помню, как он на нас всех радовался и как смеялся, когда мы с сестрой Таней, уж очень развеселившись, плясали вдвоем венгерскую польку с фигурами, которой нас учили еще в детстве. И дети все от

этого зрелища пришли в какой-то дикий восторг. По-видимому, в то время у нас было очень весело и дружелюбно, так как, уехав от нас, Николай Николаевич Страхов, который прожил у нас 16 дней, пишет 16-го августа 1883 года:

«С великою нежностью смотрел я на Вас, и общее благополучие Ясной Поляны просто восхищало меня».

В этом же письме Страхов пишет, что Фет горюет о том разъединении, которое произошло между ним и Львом Николаевичем, вследствие его новых идей, и приводит слова Фета:

«Она (знакомая)... начала распространяться о солидарности (бывшей) наших мыслей с Львом Николаевичем. То ли это теперь? Конечно, сущность (абстрактная) лиц от такой перемены не пострадала. Но где тот жгучий интерес взаимного ауканья?» (Последние два слова были Льва Николаевича в письме к Фету⁴⁹.)

Еще Таня пишет в своем дневнике о строгости к ней отца; а между тем он иногда любил общаться с молодежью, и Таня описывает, как раз собралась она на террасе и сидели все на полу, и пришел Лев Николаевич. Тут была Таня, ее кузина Леночка, девочки Кузминские, Коля Кислинский, вероятно, и наши мальчики, и Лев Николаевич предложил всем, чтобы каждый рассказал о самой счастливой, самой несчастной и самой страшной минуте своей жизни. Все смутились, и ни один из мол'одых не решился рассказать. Похитрее говорили, что не помнят; поправднее — что не хотят. И скоро разговор перешел на любимую тему — о любви.

1884. ЖИЗНЬ В МОСКВЕ. НАЧАЛО ПОВЕСТИ «СМЕРТЬ ИВАНА ИЛЬИЧА»

Таня в то время писала копию с портрета отца, написанного Крамским, и жила спокойно, изредка бывая у знакомых, в опере и раз в симфоническом концерте, куда возила ее Варвара Ивановна Маслова.

Так как я сама никуда не могла ездить, я устроила для себя и детей по вечерам чтение вслух. Так мы читали «Записки из мертвого дома» Достоевского, а то раз, кажется, 4 декабря, Лев Николаевич прочел нам вслух отрывок из написанной им повести «Смерть Ивана Ильича». Я пишу об этом сестре: «Мрачно немного, но очень хорошо; вот пишет — то, точно пережил что-то важное, когда прочел и такой маленький отрывок. Назвал он это нам: «Смерть Ивана Ильича». Левочка был все время очень мил, добр, даже ласков

с чужими. Он отделяет статью и обещает после этой статьи продолжать этот прочтенный им рассказ. Дай-то бог!»

Статья эта была из сочинения «Так что же нам делать?» о жизни в городе и деревне, и готовилась к печати, в январскую книгу журнала, кажется, «Русская мысль»⁵⁰.

По воскресеньям, вечерами, чаще всех посещал нас Фет и громко, откровенно выражал свое восхищение мной. Меня это трогало чрезвычайно мало, я всегда относилась к этому с шуткой, и только позднее оценила его отношение ко мне и то высокое мнение, которое он имел обо мне.

Раз принес мне Фет в одно из воскресений в начале декабря 1884 года посвященное мне следующее стихотворение:

Когда стопой слегка усталой
Зайдете в брошенный цветник,
Где под травкою одичалой
Цветок подавленный приник,
Скажите: «Давнею порою
Тут жил поклонник красоты;
Он бескорыстною рукою
И для меня сажал цветы»⁵¹.

Иногда по вечерам, в воскресенье, да и в другие дни, сын мой Сережа играл на рояле, и делал большие успехи, и всем доставлял удовольствие своей игрой. Но как ни стройно, уютно и семейно шла наша жизнь в это время, Лев Николаевич все-таки уехал 7 декабря в Ясную Поляну, где собирался писать и отделять уже в корректурах свою статью.

1885. РАБОТЫ В ПОЛЕ

Вся жизнь молодежи шла совсем вразрез с жизнью Льва Николаевича, хотя дети, особенно дочери, уже начинали приближаться к отцу. Сам он все лето работал усиленно с крестьянами: вставал с рассветом, и бывало, я проснусь часов в пять, шесть, а его постель уже пуста рядом с моей, и он уйдет на работы тихонько, чтобы не разбудить меня. Целые дни он то пахал, то косил траву или рожь. Возил сам сено, которое убирал вдовам и сиротам. В это же лето он уже начинал поговаривать о вегетарианстве и избегал есть мясо. Все это меня очень мучило; мне казалось, что Лев Николаевич надрывал свои силы в непосильной работе, а кроме того, я чувствовала, что сочувствовать, участвовать в этих работах ни я, ни мои дети серьезно и всецело не могли.

Трагизм положения все более осложнялся; презрительное отношение мужа к моей жизни,

моему хозяйству и трудам семейным, издательским и другим, заражало и детей, и я часто чувствовала их иронию, когда они говорили о моих корректурах и изданиях. Старшие дети все-таки жалели иногда меня и помогали мне. В августе Сережа вызвался ехать в Самарское имение и устроить там хозяйственные дела. Таня же усердно читала мне корректуры и брала на себя хозяйство домашнее и надзор за детьми, когда я уезжала.

ВСЕ ДЕЛА

Как больно мне было, когда раз сижу я наверху, в гостиной, занята ужасно книжными делами, слышу, бегут по лестнице, потом через залу детские ножки маленького Алеши, которому было четыре года. Он взшел в гостиную уже тихими шагами и стал передо мной, у моего письменного стола, подперши обеими ручками лицо. Он молча, грустно смотрел на меня своими большими серыми глазами с чрезвычайно длинными ресницами.

— Ты что, Алеша? — спросила я его.

— Мама, посиди со мной немножко.

— Ах, Алеша, некогда, милый, у меня все дела.

— Все дела, дела, — картавя повторил мальчик, — никогда не посидишь со мной.

Он постоял еще немножко и, грустно решительными шагами, как бы отчаявшись, ушел. Ох, эта фраза! С какой болью она отзывалась потом всю мою жизнь в моем сердце, когда умер этот прелестный мальчик⁵², так законно желавший участия любимой матери в его жизни. Не лучше ли бы было его отцу, вместо того, чтоб шить сапоги, месить лепешки, возить воду и рубить дрова — разделить труд семейной и деловой жизни с женой, и дать ей досуг для материнской жизни? И ничего так меня в жизни не забирало, как материнство. Отношение же Льва Николаевича к семье меня возмущало всю жизнь. Он писал, например, что, живя с нами, он чувствует себя еще более врозь с семьей, чем когда он в отлучке. В одном из своих писем я пишу ему:

«Ты забываешь часто, что ты в жизни впереди Сережи, например, на 35 лет, впереди Тани, Лели, например, на 40, и хочешь, чтоб все летели и догоняли тебя. Это непонимание. А я вижу, как они идут, падают, шатаются, спотыкаются, опять весело идут по пути жизни, и стараюсь тут помочь, там поддержать и зорко смотреть, чтоб не свернули куда-нибудь, куда можно провалиться безвозвратно. Насколько я это умею и могу — это другой вопрос. Но я никогда, пока живу и не совсем с ума сошла, не скажу, что я врозь от семьи,

и не помирилась бы с мыслью, что я с детьми своими совсем врозь, хотя и живу вместе. Так вот что огорчило меня».

Пусть судят нас бог и добрые люди в тех тяжелых осложнениях, в которые поставила нас судьба. Всеми силами я стремилась не допускать в душе своей упреков мужу, но они чувствовались. Писала же я ему, стараясь заглушить эти упреки, следующее 23 октября 1885 г.: «Мы испытываем то же, что и ты, т. е. сильное желание тебя увидеть и быть с тобой, но есть мотивы более серьезные, ради которых надо жертвовать этой радостью, — мотивы эти — именно душевное спокойствие и умственный труд».

Иногда я очень радовалась, когда чувствовала прежнюю нашу, ничем не нарушенную любовь, теперь омраченную новыми стремлениями; так я пишу:

23 октября: «Твое коротенькое письмо сегодня, милый друг, как-то особенно тронуло меня. В первый раз я почувствовала, что ты потянул за ту сердечную нить, которая нас с тобой связывает, и я стала веселее».

1-го ноября Лев Николаевич приехал в Москву. Печатанье Полного Собрания сочинений подходило к концу, и только 12-я часть была запрещена цензурой в том виде, в каком я ее набрала, еще без «Смерти Ивана Ильича», задержанной Львом Николаевичем для окончательного исправления.

1886. Л. Н. ПЕШКОМ ИЗ МОСКВЫ С М. А. СТАХОВИЧЕМ И Н. Н. ГЕ

А этот великий писатель, Лев Николаевич Толстой, о котором кричал весь мир, шел в то время по большой дороге в лаптях из Москвы в Ясную Поляну. 4 апреля 1886 года, вечером, после обеда, запрягли большую коляску, наняли извозчика и выехали за заставу, на Киевское шоссе, одетые по-дорожному и в лаптях, Лев Николаевич и его спутники: Николай Николаевич Ге (сын) и Михаил Александрович Стахович⁵³. Я поехала провожать их, и с грустью ссадила их, проехав заставу, за городом. Долго провожала я их глазами, и чувство грусти, и особенно беспокойства, мучило меня.

Вернулась я домой одна, в свою семью, опять почувствовав себя и одинокой, и несчастливой.

С дороги Лев Николаевич мне писал ежедневно. Наступили холодные дни с ветром, даже снегом, и все это меня тревожило. Путешественникам приходилось часто останавливаться, сушиться и греться. Только 7-го апреля они добрались до Серпухова, где в то время



Л. Н. Толстой в кругу семьи
и знакомых за игрой в шахматы
с С. И. Танеевым. Ясная Поляна.
1895 г. Фотография С. А. Толстой.

жил и служил Трескин, принявший их у себя и устроивший их, как мог, получше. У Стаховича так разболелись ноги, что он принужден был расстаться с Львом Николаевичем и Количкой Ге, и дальше поехал по поезду. Но зато к ним присоединился мужик Макей, 60-ти лет, о котором Лев Николаевич пишет, что он «моложе нас всех, — шел с нами верст 50, обувал и вообще был мужиком трех генералов».

С дороги веселый Стахович прислал мне письмо в стихах, которое прилагаю:

Графиня, должен я признаться,
В пути прескверное житье.
Грязнятся тело и белье,
И вдоволь трудно умыться.
Нас учит граф: плесни, полей
Лицо и руки без затей.
Б глухую ночь, иль утром рано,
Чайку, водицы иль винца
Я пью из чудного стакана*
И пожеланьям нет конца
Здоровья, радостей, успеха...
Шумливых встреч, живого смеха
На всю семью. А граф: скорей,
Стахович, пейте без затей!

Подбитый, сгорбленный, убогий
Бреду... и брежу наяву.
Душой, мечтатель хромомогий,
Я вижу дальнюю Москву,
Где так тепло и так уютно,
Где так смеешься поминутно,
И где, меж ваших дочерей,
Не ступишь шагу без затей.

Письмо не вышло, что за дело!
Я к вам пишу не в первый раз...
Лишь только б память уцелела
О дальнем путнике у вас;
И если в будущем случится
(Для всех грядущее темно),
Что вдруг клюкою поступится
Он, в ваше светлое окно,
То, пересилив лень и скуку,
Подняв окно едва, едва,
Улыбку, добрые слова
В его протянутую руку
Подайте именем Христа.

По дороге, еще на одной остановке, встретился Лев Николаевич с старым, 95-ти летним николаевским солдатом, озлобленно рассказавшим о том, как их, солдат, били палками за малейшую провинность при Николае Пав-

ловиче, за что и прозвали царя «Николай Палкин». Этот эпизод и послужил сюжетом для рассказа Льва Николаевича под этим заглавием⁵⁴.

10-го апреля Лев Николаевич уже был в Ясной Поляне.

1889. ПЕШКОМ В ЯСНУЮ ПОЛЯНУ

2-го мая Лев Николаевич ушел опять пешком в Ясную Поляну⁵⁵ с Евгением Ивановичем Поповым, одним из тех, которые считались его последователями. Когда наступил страшный холод и я встревожилась, что на Льве Николаевиче даже пальто холодное, добрый друг Александр Никифорович Дунаев отправился немедленно по железной дороге догонять Льва Николаевича. Но, к счастью, никто не простудился, и 4-го мая я получила из Серпухова письмо о том, что Лев Николаевич здоров, и что его подвезла, узнавшая его по портрету, до Серпухова сестра доктора Алексеева, нашего знакомого. Только 7-го мая они дошли до Тулы и отправились в Ясную Поляну, куда явился Дунаев, не найдя их дорогой.

В доме было холодно, но все понемногу устроилось, и Лев Николаевич начал усердно писать свою повесть «Крейцера соната»; переписывал ему тогда Евгений Иванович Попов, который и жил с ним в Ясной, куда еще приезжал навестить его Михаил Васильевич Булыгин, тоже считавшийся последователем Льва Николаевича.

Путешествие утомило Льва Николаевича, и здоровье пошатнулось. Он жаловался на боль под ложечкой, и хотя и пытался то поправлять статью «Об искусстве», то писать дальше «Крейцерову сонату», — но дело не шло и он был недоволен своей работой.

ГРАФИНЯ ТОЛСТАЯ И СТРАХОВ

В мае приезжали к нам два приятных посетителя: графиня Александра Андреевна Толстая и Николай Николаевич Страхов. С первой было много разговоров и споров о вере. Александра Андреевна огорчалась, что любимец, Лев Николаевич отвернулся от церкви, отвергает причастие и обряды, и она старалась обратить Льва Николаевича. Но это было тщетно. Страхову Лев Николаевич прочел свою статью об искусстве и очень считался с его мнением о ней.

* Стакан я ему подарила. (Примеч. С. А. Толстой.)

Проводив Александру Андреевну, он с радостью бросился опять к полевым работам и начал с того, что возил навоз на поле вдовы. Страхов же прожил у нас довольно долго, и когда уехал, он писал Льву Николаевичу 21 июня 1889 г.: «Всегда от Вас я получал освежение, всегда ваши речи и все ваше присутствие поднимали меня... На этот раз, после долгого промежутка, я особенно ясно почувствовал, что Ясная Поляна есть тоже центр духовной деятельности, но какой удивительный!.. В Ясной же Поляне сам центр живой, лучистый, — Вы сами с своей неустанной мыслью и сердечною работою. Видеть это — значит видеть зрелище удивительной красоты и значения».

И еще:

«...Все мучительное брожение умов разрешилось и завершается вашей проповедью, призывом к духовному и телесному исправлению, к той истинной жизни, к тому истинному благу, без которого ничтожны все другие блага, и которое никогда не может изменить нам...»

Дело вами начатое никогда не умрет»...

В этом письме Страхов упоминает о книге Стада, в которой описано его посещение в Ясной Поляне и сказаны о Льве Николаевиче именно эти слова, что он: «центр духовной деятельности»⁵⁶.

Еще было прекрасное письмо от Страхова среди лета 24 июля 1889 г. Вот выписка:

«Мне кажется, я понимаю лучше, что в Вас есть, ваше несравненно высокое нравственное стремление, вашу неустанную борьбу, ваше страдание. Нескольких таких впечатлений из последнего свидания трогают и волнуют меня. То я вижу Вас в лесу с топором, когда минутой на Вас находит совершенный мир, полная, светлая душевная тишина; то слышу ваш разговор, когда Вы называли себя юродивым, с волнением и страданием. Боже мой! Иногда думаю я: неужели никто этого не поймет?»

ГДЕ ЖИТЬ ЗИМУ?

Когда уехали старшие дети, ничего еще не было решено насчет зимней жизни. Лев Николаевич молчал и продолжал свои обычные занятия: пилил с крестьянами в лесу дрова, шил по вечерам сапоги, а утром писал то «Крейцерову сонату», то статью «Об искусстве». Я знала, что опять *решать* придется мне, и мучилась ужасно. Особенной причины переезжать в город не было. Мальчики Андрюша и Миша — были настолько еще молоды, что могли учиться дома. Оста-

валось только расстаться слевой и запустить все свои дела. Но он был уже студент, благоразумный и благонамеренный в своих действиях, и оставались дела. Льву Николаевичу, конечно, очень хотелось не ехать, а жить в Ясной. Видя мою нерешительность и мои мучения, он странно объяснял мое состояние. Пишет в дневнике 24-го сентября 1889 г.: «За обедом Соня говорила о том, как ей, глядя на подходящий поезд, хотелось броситься под него. И она очень жалка мне стала».

Грустно мне было мое одиночество в смысле духовной поддержки, дружеского совета, ласки и особенно одиноко без моей Тани. С начала осени еще гостила моя милая любимица, племянница — Маша Кузминская. Чуткая сердцем, она всегда мне сочувствовала и помогала в чем могла, учила детей по-французски, гуляла с ними. Когда она уехала в Петербург, около 25-го октября, — я совсем осиротела. Пишу сестре:

«Теперь без Маши твоей и моей Тани никому нет дела до моей внутренней жизни»...

Моя дочь Маша жила всецело интересами отца и много общалась с его посетителями.

Наконец, переговорив с приехавшим около 1-го октября сыномлевой и увидев, что он не огорчается тем, что мы останемся в деревне, а как будто даже рад испытать свои силы в самостоятельной жизни, — я окончательно решила зимовать в Ясной, и как только было решено, так всем стало и легче. Пришлось делать разные поправки в доме. Стены были грязны, я велела их белить. Печки многие оказались негодными и обрушившимися внутри — я взяла печников, и в доме поднялась пыль, суета, стук, что было очень тяжело, особенно Льву Николаевичу. Только в середине октября мог он перейти в свой кабинет внизу.

Принялась я усердно за преподавание: учила с начала осени своих двух малышек — Андрюшу и Мишу и музыке, и географии, и французскому, и немецкому, и закону божьему. Почти весь день уходил на уроки. Только к 6-му ноября приехал новый гувернер, швейцарец Holzapfel, так как Mr. Lambert не согласился оставаться жить в деревне. В конце октября приехал и русский учитель, очень хорошо рекомендованный нам нашими знакомыми Раевскими, с сыновьями которого успешно занимался этот Алексей Митрофанович Новиков.

Начались серьезные занятия. Андрюше было 12 лет, Мише 10. Учились они сначала хорошо и охотно, и тоже рады были жить в Ясной Поляне.

ПОСАДКИ

Занялась я в эту осень и посадкой деревьев. За дубовым лесом, близ дома, Лев Николаевич когда-то сажал елки на бугре, на котором ничего не росло, так плоха была земля. Елки принялись только у самого леса, а дальше — сколько их ни подсаживали, они пропадали и сохли. Так Лев Николаевич и бросил сажать. Тогда мне хотелось исполнить его мечту, и я горячо принялась за посадку. Пригласила для совета лесничего Керна, человека очень знающего и изучавшего лесное дело и за границей. Он советовал мне сажать елки с дубами, клин... в клин:



и т. д., что я и сделала. Но время показало, что подобная система неудобна.

Целые дни я проводила на посадке, измеряла с поденными и лесничим ямки, смотрела, чтоб не рвали у елок мочки. Но не скоро засадила я весь бугор. Каждый год пропадало много елочек, и я пять лет подсаживала их, пока достигла своей цели и покрыла бугор прелестной посадкой, где мы потом собирали грибы и где и теперь все охотнее всего гуляют.

В то время посажено было всего 6800 елок и 5300 дубков. Кроме того, я в азарте этой деятельности, которую в хозяйстве любила больше всего, посадила 60 груш, 60 вишен и 50 слив. Но из этого ничего не вышло. Видно, грунт нашей земли не годился.

Я думала, что эта посадка доставит некоторое удовольствие Льву Николаевичу, и ждала его одобрения⁵⁷. Но он и тут ничего не выразил, а продолжал ходить пилить деревья с крестьянами или с своими молодыми последователями, которые опять стали появляться в большом количестве.

СЕМЬЯ В ЯСНОЙ

И как только мы твердо зажили в Ясной, я была рада, что осталась в деревне и пишу Тане:

«Тихо, воздух чистый, дети заняты, папа доволен. И когда я была в Москве, мне там страшно не понравилось: уныло, грязно, скучно и мертво». «...Мы, обреченные жить при гимназиях, жалкий народ!»

Лев Николаевич все преследовал свою цель проповеди против пьянства и ездил на сходку 3-го октября, раздавая листки и раз-

говаривая с крестьянами о табаке и пьянстве, после чего писал в дневнике, что получил отпор, прибавляя: «Страшно развращен народ».

В МОСКВЕ

От больных детей и забот хозяйственных в Ясной я поехала опять на труды в Москву в октябре и потом в ноябре уже с Таней, вернувшейся из-за границы.

Остановились мы у Левы во флигеле дома в Хамовническом переулке. Он был очень рад, а я по-матерински была рада видеть, как хорошо он жил. Везде порядок, чистота, признаки культурных привычек и вкусов. Стоял рояль, висела и балалайка на стенке, было много книг; все скорее бедно в обстановке, но все гармонировало одно с другим. Он усердно ходил в университет и абонировался на симфонические концерты.

Принялась я за дела, а в виде отдыха посещала друзей.

Случайно попала я на день рождения Фета, кажется, 21-го ноября⁵⁸, а он думал, что я нарочно приехала для него, и хотел стать на колена, чтобы благодарить меня. Но мы его не допустили.

С радостью встретила я у Фета еще двух друзей: Урусова и Дьякова, с которыми обедали у Фета. После этого дня Урусов прислал мне стихи:

Люблю тебя, обширная Плющиха,
Люблю бывать я в доме Шеншина,
В душе моей стануется так тихо,
Как бы весь свет был мир и тишина.
Но вот в сей дом сошлись сегодня
душки.

Сошлись, и возмутили нам сердца,
Из старцев сделали они игрушки,
Два старца стали вдруг два молодца.

1890. ПОСЛЕСЛОВИЕ И ДРУГИЕ РАБОТЫ ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА

В то время Лев Николаевич, слыша всюду самые разнообразные отзывы о «Крейцеровой сонате», решил разъяснить свою мысль и начал писать «Послесловие» к «Крейцеровой сонате». Дело шло тихо, трудно, и Льву Николаевичу это «Послесловие» стоило немало духовного и умственного напряжения.

Посетители и тогда мешали ему работать. То приезжал Никифоров — революционер и привозил *поглядеть* на Толстого какого-то

глупого студента⁵⁹. Потом приехал некто г. Долгов, который почему-то перевел «Токологию» г-жи Стокэм, о которой я писала раньше, и просил Льва Николаевича написать к этой книге предисловие, что он и исполнил⁶⁰.

Утомившись от посетителей, Лев Николаевич думал поработать над своими статьями у своего брата Сергея Николаевича, где его никто не мог найти, и поехал в его имение Пирогово с дочерью Таней. Но недолго пробыл он там, соскучился и вернулся уже на третий день, т. е. 4-го февраля. В этот день он почему-то написал в своем дневнике:

«Люблю детей; но я одинок уже».

По-видимому, его опять начала мучить та барская жизнь, которую он так болезненно отрицал, и тот контраст деревенской жизни крестьян, который не может не бросаться в глаза и не мучить каждого хорошего и мыслящего человека. Оттого образованному классу людей легче жить в городе, где много им подобных, и тяжело составлять среди нескольких сот крестьян ту единицу, тот центр жизни в довольстве, какой составлял и наш дом в Ясной Поляне.

Принялся Лев Николаевич опять рубить дрова, а в дневнике между 6-м и 10-м февраля пишет:

«Главный соблазн в моем положении тот, что жизнь в ненормальных условиях роскоши, допущенная сначала из того, чтобы не нарушить любви, потом захватывает своим соблазном, и не знаешь, живешь так из страха нарушить любовь или из подчинения соблазну».

Тут вскоре Лев Николаевич захворал своей обычной желудочно-желчной болезнью, и видно, ему дорого стоило удерживать свое настроение, так как он о себе пишет:

«Я рад, что в самые дурные минуты я не падаю до озлобления на людей и до сомнения в истинной жизни. Только поползновение к этому».

После периода болезни он снова начал писать свою *Коневскую повесть*, как он называл будущее «Воскресение»⁶¹. Но тут работа его была неожиданно прервана. Он прочел в газетах возмутительную историю об акушерке Скублинской в Варшаве, которая брала на воспитание младенцев за деньги и систематически убивала их.

Лев Николаевич тотчас же написал злоую, обличительную статью, как бы обвинительный акт и правительства, и церкви, и общественного мнения. Но статьей этой он был недоволен и так и бросил ее⁶².

1890. НЕПРИЯТНОСТИ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА

10-го марта я тоже получила отказ от управляющего по делам печати, Евгения Михайловича Феоктистова на просьбу мою министру Дурново пропустить цензуре XIII часть с «Крейцеровой сонатой».

Феоктистов мне пишет:

«Г. Министр внутренних дел, получив письмо Вашего сиятельства, поручил мне известить Вас, что при всем желании оказать Вам услугу, его высокопревосходительство не в состоянии разрешить к печати повесть «Крейцера соната», ибо поводом к ее запрещению послужили не одни только, — как Вы изволите предполагать, — встречающиеся в ней неудобные выражения».

Отказ этот меня огорчил, я не знала, что мне делать, и выжидала, пока созреет этот вопрос для какого-нибудь решения его. Запрещение этой повести несколько не смутило Льва Николаевича, и он в то время кончал свое «Послесловие» к этой книге.

Комедия «Плоды просвещения» тоже вызвала толки и неудовольствие спиритов, которых осмеял автор. Особенно огорчился рьяный спирит, известный профессор зоологии и писатель Вагнер, написав укоряющее Льва Николаевича письмо, на которое и получил ответ, к сожалению, мною не прочитанный и мне неизвестный⁶³.

Правительство, запретив мне «Крейцерову сонату», продолжало нас преследовать запрещениями и портить нам жизнь. 18 марта был прислан в Ясную Поляну инспектор народных школ и допрашивал Машу о школе, в которой учили наши две дочери. Лев Николаевич возмущился этим посещением и точно полицейским, жандармским отношением к невинному, полезному делу дочерей. Он не принял его и не вышел к этому инспектору. Результатом этого посещения было потом требование от губернатора закрыть школу и прекратить преподавание, не основанное ни на каких законах и никем не разрешенное. К большому огорчению моих дочерей и их учеников, школа была закрыта в апреле и уже не возникла больше в том виде⁶⁴.

Губернатор Зиновьев и вся его семья была с нами в самых дружеских отношениях, и Зиновьев против своего желания должен был, на основании законов, закрыть нашу школу.

Помню, что для этой цели приезжал к нам земский начальник Сыгин, и дело было бесповоротно прекращено. Не только девочки, но и Лев Николаевич очень огорчился прекращением любимого ими дела. Таня решила тогда заняться живописью и просила меня

купить ей красок масляных и всего, что нужно, когда я, в 20-х числах марта поехала в Москву по книжным и денежным делам и, кстати, навестить Леву.

Лева тогда решил перейти на филологический факультет и не покидать университета, чему я была очень рада. Он приехал в Ясную к нам советоваться, и Лев Николаевич остался им очень доволен.

Менее доволен он был сыном Ильей, тоже посетившим нас. Писал про него, что все «шуточки, это точно приправа к кушанью, которого нет», и раскаивался, что не поговорил с ним серьезно. И как это всегда было трудно Льву Николаевичу поговорить серьезно с своими сыновьями! Всю жизнь он к этому примеривался, стремился, — и всю жизнь промалчивал свои хорошие мысли и слова. Чем это объяснить? Чувством самосохранения, страхом себя расстраивать, желанием сохранить хорошие отношения, застенчивостью чувства, — бог ведает... А лучше бы было, если б отец постарался ближе быть душою с своими детьми и энергичнее отнестся бы к тому, чтоб направить помимо пахоты и возки навоза их жизни на лучший путь, чего и я, при всем моем старании, не сумела сделать хорошо и производительно.

КУМЫС, РАБОТА, ГОСТИ

Хотя Льву Николаевичу и было лучше, но в общем поправление шло очень медленно, и мы решили делать для него кумыс, который и раньше помогал ему. Для этого мы выписали из Самарской губернии башкирца. К питью кумыса пристроилась еще и Леночка, дочь меньшая графини Марии Николаевны Толстой, сестры Льва Николаевича, и пили все, кто хотел, когда кумысу было много. Кобыл взяли своих, а кумысник приехал башкирец из Самарской губернии с своей матерью.

Во время нездоровья Лев Николаевич писал в дневнике: «Начал комедию и поправляю предисловие к пьянству»⁶⁵. По-видимому, он поправлял «Плоды просвещения» для Сборника в память Юрьева, который тогда печатался, и корректуры комедии посылались Льву Николаевичу.

Посетители утомляли ослабшего Льва Николаевича. Был Борис Николаевич Чичерин, потом Самарины, Раевские, Анненкова, опять Зиновьевы, и я, наконец, решила напечатать в «Новом времени» статью небольшую с просьбой не посещать никому Льва Николаевича по случаю его ослабшего здоровья⁶⁶. Сам он тяготился посетителями, но

в то же время оговаривал себя, считая это дурным. Так, например, он пишет в дневнике:

«Я обхожу людей, мне люди мешают. Да ведь ты живешь только людьми и только для них. Если тебе мешают люди, то тебе жить незачем. Уходить от людей — это самоубийство».

ГОРЕСТИ ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА И МОИ

Когда подумаю теперь, сколько было всего такого, что возбуждало недовольство Льва Николаевича! И мне делается невыносимо больно и жаль его.

Но требования духовные Льва Николаевича были не по силам его семье. Сын Андрюша, тогда еще мальчик, более откровенный и смелый, чем другие дети, прямо заявил: «Да разве можно делать все то, что говорит папа». И Лев Николаевич по этому поводу пишет в своем дневнике:

«Андрюша сказал все то, что думают все дети. Ужасно жалко их. Я ослабляю для них то, что говорит их мать. Мать ослабляет то, что говорю я. Чей грех? Мой». Одно знаю верно по отношению к детям: я сделала все, что было в моих слабых и неумелых силах. Лев Николаевич берег себя, не мог и не хотел тратить свою энергию и время на семью, — и был прав как художник и мыслитель. Но сделал он для детей, особенно после 3-х старших — очень мало, а для меньших — ничего.

Вот выписка из его дневника, о которой я упомянула выше: «Воспитание детей ведется кем? Женщиной без убеждений, слабой, доброй, но переменчивой и измученной взятками на себя ненужными заботами. Она мучается, и они на моих глазах портятся, навязывают страдания, жернова на шею».

Если Лев Николаевич это видел, почему же он не помог, не снял эти жернова? Дальше он пишет:

«Прав ли я, допуская это, не вступая в борьбу? Молюсь, и вижу, что не могу иначе».

И успокоившись на этом, Лев Николаевич уходил косить траву; доработался раз до головокружения, испугался и начал думать о смерти. До покоса он уходил в лес, где рубил и пилил деревья вместе с мужиками.

На покосе с стариком Севастьяном, кроме рук и всего тела, у Льва Николаевича не переставая работала голова: махая косой, он уяснял себе форму так называемого Коневского рассказа, обдумывая его, решал, что надо его начать с самого суда и высказать всю безумность суда.

Еще в июне он пишет в дневнике:

«Начал «Отца Сергия» и вдумался в него. Весь интерес — психологические стадии, которые он проходит».

Кроме двух повестей, начат был «Катехизис непротивления»⁶⁷.

Кумыс и Эмс, то, что пил в это время Лев Николаевич, сделали ему пользу. Кроме того, он бросил на время вегетарианство, и я кормила его крепким мясным бульоном. Силы его возвращались, он стал много ходить и, испытывая себя, прыгал с детьми прямо с места через стулья.

Посетители не переставали сменяться. Был профессор Сикорский, который понравился мне своим горячим отношением к своему делу, но про которого сказал Лев Николаевич, что он легкомыслен.

Потом приезжал американец Stevens, объехавший весь мир на велосипеде⁶⁸.

Приезжали еще Д. Д. Оболенский, молодой Цингер, Раевский, Суворин, редактор «Нового времени» и Миша Стахович, который после своего посещения написал мне, как всегда, милое и красноречивое письмо, и между прочим следующие слова:

«Бога же я всю жизнь буду благодарить за то возвышенное, наставительное и умное, что я вывожу неизменно из всякого посещения Ясной Поляны».

Суворин тоже рассказывал о Ясной Поляне Страхову с таким восхищением, что тронул его. Было что-то неуловимое в атмосфере нашего дома, что любило почти все, и, конечно, центром нашей жизни была умственная и художественная жизнь Льва Николаевича, а фоном для нее — милая молодежь и моя любовь к людям, к общению с ними.

ПОЖАР В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

5-го августа возник в Ясной Поляне ужасный фейерверк. Загорелась во время нашего обеда изба в нашей Яснополянской деревне. Все бросились туда. Немедленно запрягли бочки и поехали с нашей усадьбы на пожар, который быстро стал распространяться на соседние избы. Все, что было у нас ведер, все понесли на деревню. Бедная дочь наша Маша, не покладая рук, вытаскивала из колодца ведра с водой, таскала с девушками ушаты и надорвалась на этом пожаре так, что всю последующую жизнь страдала. Не помню, кто еще был из детей моих на пожаре. Вероятно, помогали все.

Не помню, сколько сгорело (дворов) домов; зрелище было тяжелое: сундуки, столы, лавки, телеги, вся домашняя утварь, все было вынесено и вывезено на улицу. Коров и ло-

шадей привязали к телегам, и коровы громко мычали. Ребята плакали, бабы выли, мужики баграми растаскивали обгоревшие бревна. Было невыносимо жаль этих людей, с которыми я прожила в Ясной Поляне столько лет.

На другое утро я пошла на деревню и раздала погорелым деньги, кажется, по 10 или по 15 рублей на каждый двор. Молча и как должное приняли крестьяне мой дар, и я подумала, что им он был даже неприятен. «Дай бог дать, не дай бог в зять», — говорит русская поговорка.

Сестра моя, Татьяна Андреевна Кузминская, на другой день устроила у себя обед и накормила всех погорельцев, а Лев Николаевич отправился в лес с мужиками рубить колья.

В короткое время, получив страховые деньги, погорельцы построили новые избы, и всегда удивляешься, как все-таки легко и быстро приспособляется наш народ ко всякому положению.

Удивительно, что Лев Николаевич, работая все время физически для бедной вдовы, для погорелых и других бедняков, и работая умственно над своими сочинениями, не мог все-таки найти спокойствия и полного удовлетворения.

1891. ПИСАНЬЯ ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА И ЕГО ЖИЗНЬ

Он много писал в то время. 6-го и 11-го февраля он поминает о своих трудах так: «Копался в статье «О Непротивлении»... Вчера писал о науке и искусстве. Мало подвинулся... Нет энергии».

И действительно, в Льве Николаевиче в то время замечалась какая-то усталость и равнодушие ко всему. Принялся он опять шить сапоги, а вместе с тем сообщил Тане и Мише Стаховичу, приехавшему нас навестить, что он задумывает большое сочинение, вроде «Войны и мира», но потом Лев Николаевич ничего не печатал, кроме «Воскресения», уже гораздо поздней. Думаю, что запрещение цензурой тогда же, в феврале, «Крейцеровой сонаты» отчасти охладило Льва Николаевича в этом его намерении.

Странно, отрицая искусство и особенно музыку, он так страстно любил ее. Помню, как раз он сел играть Шопена, и так хорошо фразировал, что тронул меня больше всякого хорошего исполнителя.

Пытались и мы с Таней тогда сыграть в 4 руки «Крейцерову сонату», но дело не по-

шло, трудно играть с листа без подготовки. В то время, когда мы играли, Лев Николаевич взял пустую корзину дорожную и, сажая в нее по [очереди младших], носил их с няней по всему дому, останавливался в какой-нибудь комнате, и дети должны были угадывать, в какой именно комнате они находились. Это очень им нравилось. А я любила, когда отец возился так или иначе с своими детьми, хотя невольно думала, что он ими не занимается, а только забавляется.

СОСЕЛ С ПЬЕДЕСТАЛА

А между тем, его радовала и весна, и все простые радости жизни. Было 23-е марта, я сидела в зале и работала, поглядывая изредка в окно на ярко освещенные и особенно красиво, по-весеннему обрисовывавшиеся стволы молодых берез на темном фоне дубов в Чепыже⁶⁹. Птицы суетились и пели так громко и весело, что слышно было их и сквозь двойные рамы окон. Слегка подморозило, и все блестело на ярком солнце. На душе было молодо по-весеннему, и чувствовался тот подъем весенней тревоги, который любишь в молодости и которого боишься с годами.

Лев Николаевич сидел тут же и завтракал.

— А я вот как глуп сегодня, — сказал он, — вот что я придумал:

«Quand est-ce-qu on se porte bien? —

Quand on a une bonne saus thé (bonne sante)»*.

Сказав это, Лев Николаевич засмеялся. Сын мой Лева тоже был весел в это время. Мы с ним вместе радовались тому, что напечатали в «Роднике» его детский рассказ «Монтекристо» и еще повесть «Любовь» в «Неделе»⁷⁰. Лев Николаевич на авторство своего сына посмотрел так: «Хорошо бы, если бы это стало делом его жизни, тогда он полюбил бы жизнь», — писал он в своем дневнике по этому поводу.

Про писательство вообще я прочла в то время интересные мысли философа Шопенгауэра, которого читала в то время:

1. Одни пишут мысли, прямо взятые из других книг.

2. Другие, садясь писать, тут же придумывают, что им писать.

3. Третьи много думали, и когда мыслей готовых много, тогда пишут.

Эти самые редкие⁷¹.

1893. КОРРЕКТУРА

В то время печаталось 9-ое издание «Сочинений» Льва Николаевича, и я держала корректуру. Работа эта крайне утомительна. Глаза мои болели и, видимо, слабели, нервы расстраивались, главное от того, что работа была срочная. Но мне не хотелось никому поручать это издание, которое я печатала особенно тщательно и с любовью. Кроме того, мне приятно было думать, что этой работой я делаю экономию на 12 рублей в день. Исправляла я не менее 6-ти листов, а корректоры брали за лист два рубля. Лев Николаевич пугался моему усердию и пишет мне:

«А ты опять вся в корректурах. Боюсь я, что ты совсем расстроишь себе нервы, и я бы советовал тебе сдать эту работу корректору».

Иногда и я, просиживая ночи, до 3-х, 4-х часов, колебалась и ставила себе вопрос: хорошо ли так усиленно, бесперывно работать? Но оторваться от этой работы я не могла еще и потому, что перечитывать опять и опять сочинения Льва Николаевича мне доставляло большое наслаждение.

Пишу Льву Николаевичу по этому поводу 25 февраля:

«Моя жизнь течет все в том же мире — «Войны и мира», в котором нахожу большое удовольствие... Как я была глупа, когда ты писал «Войну и мир», и как ты был умен! Как тонко-умно, именно гениально написана «Война и мир». Только одно: при чтении «Детства» я часто плакала, при «Семейном счастье» у меня в носу шипало, а в «Войне и мире» все время удивляешься, любишь, в недоумении — но не плачешь».

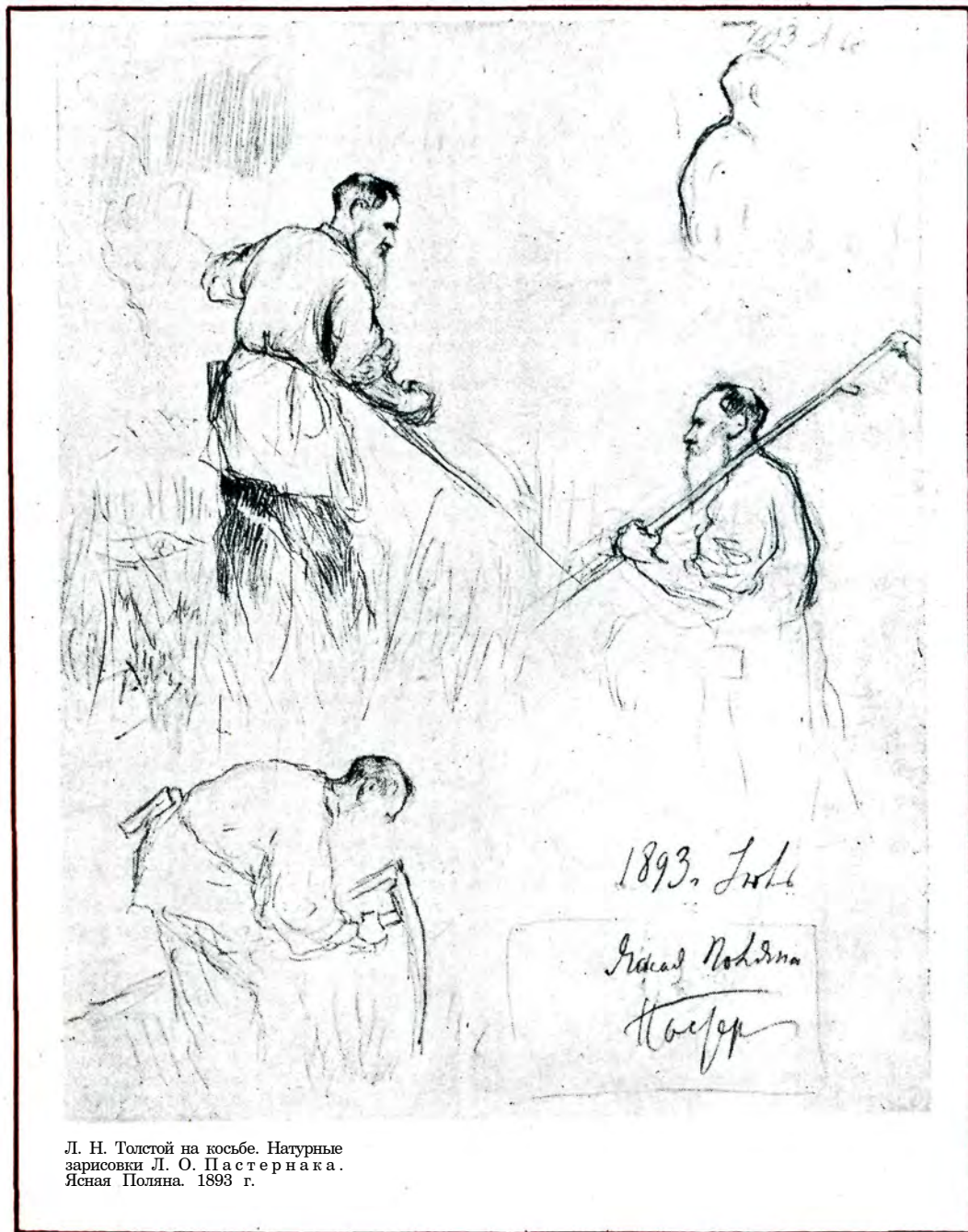
В то время, как работала я, трудился, помогая мне, и Николай Николаевич Страхов. Он выправлял все сочинения и писал мне 2-го марта:

«Очень радуюсь, что уже десять томов выправлено; теперь выправляю тот том, который будет по-вашему четвертым»...

ВЫШЛО НОВОЕ ИЗДАНИЕ, 9-ОЕ

Между тем кончалось печатание нового, более изящного, девятого издания сочинений Льва Николаевича. Из двух типографий возили книги и поступили в продажу 16-го сентября. Это дело, на которое я положила много старания, было кончено. Издание было красивое, с портретами и иллюстрациями, на прекрасной бумаге и тщательно выправленное Н. Н. Страховым. Он писал мне по поводу этого издания 24 сентября: «При вашей энергии, мне думалось, Вы никак не воздержи-

* Непереводимый французский каламбур: «Когда себя чувствуют хорошо? Когда здоровье хорошее (когда есть няня без чая)».



Л. Н. Толстой на косье. Натурные зарисовки Л. О. Пастернака. Ясная Поляна. 1893 г.



М. Л. Толстая. Ясная Поляна.
1896 г. Фотография
П. И. Бирюкова.

тесь, чтобы не похозяйничать по-своему. А между тем вы все сделали так, как я указывал. Очень я этому радуюсь! Я ведь старался сделать как можно лучше, с любовью работал над драгоценными сочинениями. Вы это поняли, вы это приняли, и я от всей души благодарю вас».

Со стороны Страхова это был любезный и деликатный ответ на мою благодарность ему. Еще бы я его не слушалась! Я рада была такому умному руководителю.

Издание это нравилось публике, хотя и было дорого. Послала я его и в разные редакции и получила от Л. Я. Гуревич такое письмо, в котором она между прочим пишет:

«Ваша идея сделать при жизни такое издание со всеми этими портретами и снимками, — глубоко поэтично. На этих томах чувствуется прикосновение любящей руки...»

1894. В МОСКВЕ. ФИЛОСОФИЯ. УЕДИНЕНИЕ

В Москве в то время жила сестра Льва Николаевича Марья Николаевна, с которой мы были очень близки и дружны всегда. Она приезжала в Москву для того, чтобы видать и говеть у батюшки о. Валентина (Амфитеатрова), которого она высоко чтит и любила. Он был священником одного из кремлевских соборов, кажется, Архангельского. Жила Машенька в гостинице «Петергоф» против Манажа. Я раз застала у нее о. Валентина и написала Льву Николаевичу свои впечатления:

«У Машеньки застала приготовления к всенощной с о. Валентином. Я его видела, лицо хорошее, но глаза не глядят ни на кого, а через, и когда меня назвали, он так бегло и неохотно взглянул на меня, как будто он правилом себе поставил ни на кого на свете не глядеть».

Жила я в то время исключительно с детьми. Утром, как встану, позову Ванечку и сына артельщика Колю, и учу их, бывало, вместе. Один пишет, другой читает. Потом делают вместе задачи. Ванечке было только 6 лет, он был необыкновенно развит, умен и на все чуток. Коля был на год почти старше. Уроки эти были сплошным весельем. Коля был очень смешлив, и, когда смеялся, Ванечка смотрел на него с покровительственной лаской и, подмигивая мне, говорил по-английски: «How I like his stupid laugh *».

Помню, Ванечка, любивший вообще писать и получать письма, написал в Ясную Поляну:

«У нас с мадемуазель была Sunday school **; мы слушали, и мадемуазель нам все рассказывала. Мы вчера с Колькой учились у мама в спальне, и я умею делать задачи — отнимать».

После завтрака мы все, часто и прислуга, добровольно расчищали перед домом каток, поливали из своего же колодца, и потом учили детей кататься на коньках. Вечером я читала вслух сказки Гримма, Андерсена, «Книги для чтения» Льва Николаевича и др.

А то раз пришел к Ванечке гость, Коля Колокольцев, и я предложила детям отправиться странствовать, что было принято с воссторгом. Сели мы на конку, поехали в Девичий монастырь. Могилы, таинственность монастыря произвели на детей большое впечатление. Зато на обратном пути отправились покупать сладости и в общем очень веселились.

Я почти никуда не ездила, много читала.

* «Как мне нравится его глупый смех» (англ.).

** Воскресная школа (англ.).

В то время прочла «Зарницы» Веселитской, «Жизнь» Потапенки, «Черный монах» Чехова и пр. Но эти повести мне надоели, и я взялась за мое любимое чтение — философию. Лева читал тогда Платона, взяла и я его читать, и с наслаждением ушла в этот отвлеченный мир мысли, делая из прочитанного выписки того, что меня больше всего поражало. Я любила вообще выписывать из хороших и серьезных книг эти умственные блески, часто своей мудростью помогавшие мне жить. Я рада была уединению и отсутствию той толпы посетителей, которых привлекали мои дочери и мой муж. Но по ним я скучала и писала им:

«Как вспомню всех вас, мне очень хочется вас видеть. Но как вспомню толпу, которую вы с собой вводите, я думаю: нет, уж бог с вами. И на что она вам, эта толпа? Большая, большая ошибка и вред всей семье этот ежедневный прием. Надо серьезно и строго держаться одного дня, или надо звать, когда хочешь видеть кого, а так — гибель нам всем».

Но хотя Лев Николаевич и соглашался со мной и отвечал на мое письмо так:

«Ты пишешь о том, что можно в Москве устроить уединение: страшно желаю этого и попытаюсь устроить это и быть как можно строже в этом», — он строг не был, и какое-то вечное любопытство и ожидание чего-то нового и интересного делало то, что он продолжал принимать всех и каждого и этим мучить и себя и нас.

Угнетенное состояние Льва Николаевича меня очень тревожило в то время, и я пишу дочери Тане в Гриневку, чтобы она мне поскорее и получше сообщила о состоянии ее отца. Он очень похудел и осунулся в последнее время. Было ли это от кашля, затянувшегося, или следствием все более и более постной пищи, — неизвестно. Но и выражение глаз его за последнее время его пребывания в Москве было совсем какое-то другое.

Хотя я и скучала и беспокоилась о них, я старалась это не высказывать и писала мужу:

«Я рада на этот раз, что вы уехали, и не ропщу на свое одиночество. Вам всем это было нужно; и мы отдохнули от толпы, от которой вы не умеете и не хотите избавляться».

Дети действительно стали серьезнее и лучше учиться. От посетителей, к которым иногда они относились с любопытством, они ничего не могли приобрести, а семейной жизни они мешали. Помню, придут от приготовления уроков мальчики к нам, родителям: сидят какие-нибудь чуждые люди, разговоры без

конца. Посидят, посидят мальчики, никто на них и внимания не обратит, скучно, ну и уйдут из дома искать развлечений. Без отца они сидели часто дома, Миша играл на скрипке, читали, бегали с меньшими детьми, никто им не мешал.

За границей Лев очень начал скучать и писал мне:

«Никогда не ценил я так вас всех. Никогда не чувствовал так сильно значения и прелесть семьи, матери, отца и всех. Грустно, грустно! Обидно, что приходится так глупо жить».

Лев Николаевич отсутствовал из Москвы три недели. Он писал, вечером Таня ему усердно переписывала. Но, соскучившись в Гриневке, он переехал около 1-го февраля в Ясную Поляну, куда приехал художник, старик, Николай Николаевич Ге. Лев Николаевич очень его любил и приезде его обрадовался. Николай Николаевич вез свою картину, чтобы выставить в Москве и Петербурге⁷².

ПОЕЗДКА В ЯСНУЮ ПОЛЯНУ. ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ В МОСКВЕ

В начале марта мне опять пришлось ехать в Ясную Поляну посмотреть на работы по пристройке дома и расчесть управляющего Бергера. Все эти практические дела утомляли мою душу. Вот что я пишу дочери Тане в Париж 3 марта 1894 г.: «Странна эта моя неподвижная семейная жизнь. Душа переживает тысячи тревог и сомнений, а жизнь семейная течет своим равномерным, и стихийным, и строгим порядком, начиная от учения, от этих милых детских громких молитв, которые я еще слышу по утрам и вечерам от Ванечки, и кончая примеркой панталончиков и др.».

А Лев Николаевич пишет мне в Ясную Поляну, что Таня из Парижа⁷³ просит передать мне всякие нежности и пишет, чтобы я не тревожилась и не суетилась, и чтобы у меня голова не тряслась, что бывало со мной от излишней усталости, а от себя Лев Николаевич прибавляет: «И я умоляю тебя о том же. Делай больше распоряжениями и словами, а не руками и ногами. Целую тебя. Марии Александровне⁷⁴, которая, верно, у тебя, наш привет».

О Льве Николаевиче я сообщала Тане, что у него письма, чтения и посетители. Что он опять дал дочери Маше статью «Тулон»⁷⁵, и она переписывает и проверяет ее.

Болезненно интересовалась Таня нами и нашей жизнью. Пишет мне: «Кабы вы знали, как мы ценим ваши письма, как ждем их,

каждые четверть часа смотрим на часы, ожидая le facteur *».

Интересно ее описание трех картинных выставок в Париже, полное декадентство. Она пишет: «Ужасное вынесла от них впечатленье, злора берет, что смеются над публикой, а потом грустно... Искусство куда-то затерялось».

Отрывочны все мои описания нашей жизни. Но и сама жизнь течет скачками, особенно в такой большой семье. Стараюсь писать больше то, что касается Льва Николаевича, как, несомненно, самого значительного и любимого члена семьи. Вот, например, эпизод из его жизни, показывающий, как он относился к музыке. У моего двоюродного брата Александра Александровича Берса, который был очень музыкант, сам играл и на рояли, отлично на скрипке и когда-то на трубе у государя Александра III, во время его жизни в Москве устраивались раз в неделю музыкальные вечера. На один из них, 11 марта, поехал и Лев Николаевич. И пишет своей дочери Тане следующее:

«Вчера, после чепухинского квартета Чайковского, я разговорился с виолончелистом, учеником консерватории. А там начали петь. Чтобы не мешать, мы ушли в другую комнату, и я горячо доказывал, что музыка зашла на ложную дорогу. Вдруг что-то перебивает мысли, захватывает и влечет к себе, требует покорности. А это там начали петь дуэт *La si darem la mano* (из Дон-Жуана). Я перестал говорить и стал слушать, и радоваться, и чему-то улыбаться. Что же это за страшная сила! Как и твой Louvre. Как за волшебство, т. е. таинственное воздействие злое — казнили, а за молитвы, — таинственное доброе прославляли, возвеличивали, так и с искусством надо. Это не шутка, а ужасная власть»⁷⁶.

СТАСЮЛЕВИЧ О ТОЛСТОМ

Но я отступила от рассказа. Любопытный произошел эпизод между М. М. Стасюлевицем и Львом Николаевичем. 28 марта Лев Николаевич просил Николая Николаевича Страхова, а Страхов по болезни передал просьбу Владимиру Васильевичу Стасову, поместить в «Вестнике Европы» драму одного из последователей Толстого под заглавием «Омут». Стасюлевиц отказался, но что страннее всего, это то, что при этом Стасюлевиц написал Стасову: «Не то что его ученики, но и сам-то Толстой

пишет каким-то мякинным языком, которым мы с Вами, Владимир Васильевич, не пишем же...» При этом Владимир Васильевич Стасов поставил целый ряд восклицательных знаков и написал Страхову: «После таких дурачеств я написал Стасюлякию, что сохранию навсегда это письмо и однажды оно будет напечатано...»

СПЕКТАКЛЬ

В середине июля вечно предприимчивая, веселая Таня затеяла в виде развлечения для Андрюши и Миши играть пьесу с крестьянскими ребятами. Однажды после обеда Лев Николаевич продиктовал дочери Маше целую пятиактную пьесу из крестьянского быта⁷⁷. Содержание ее я не помню, и где она, эта коротенькая пьеска — тоже не знаю. Верно, осталась у Маши. Мне поручено было сочинить и поставить что-нибудь эффектное для конца. Приготовления шли весь день, и представление готовилось в просторной и пустой кухне флигеля.

Спектакль сошел довольно хорошо, но без хвастовства должна сказать, что представление, выдуманное мною, имело гораздо больше успеха в публике. Мое первобытное сочинение было всем больше по плечу. На сцене разбойник, встретивший в лесу старца, который обратил разбойника к доброй жизни, и в конце пьесы был апофеоз: два ангела с крыльями, — один мой маленький Ванечка, другой — огромная кукла, оба наряженные ангелами, при бенгальском огне провозглашали раскаявшемуся разбойнику прощение от бога.

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ В ЯСНОЙ С ДЕТЬМИ

В Ясной Поляне жилось всем уютно, дружно и хорошо. Без меня Лев Николаевич и дочери больше занимались маленькими детьми и друг другом. По вечерам читали им вслух Робинзона, а потом «Дети капитана Гранта», и мой маленький умный шестилетний Ванечка с увлечением искал на карте Патагонию и Корею, где была война, и о которой им рассказывал отец. Легко и весело с маленькими, еще ничем умственно не утомленными, не то, что постарше дети. Что может быть лучше занятия досужного, без спеха и без страха!

По вечерам Лев Николаевич иногда играл с мисс Вельш в 4 руки симфонии Гайдна, которого очень любил. Днем рубил деревья для погорелых или чинил лопатой дорогу.

* Почталъон (франц.).



Л. Н. Толстой в кругу семьи и знакомых за игрой в шахматы с С. И. Тургеневым. Ясная Поляна. 1895 г. Фотография С. А. Толстой.

А то ездил в Тулу покупать для таниного Овсянникова⁷⁸ яблони. Раз он пошел к умирающему сапожнику Павлу⁷⁹ и очень был поражен его кончиной. Сначала Павел все прислушивался по направлению к окнам и спрашивал жену, не заходил ли кто за ним. Потом решительно сказал: «Идут, идут», — и умер.

Читал в то время Лев Николаевич «Семейство Полонезких» Сенкевича и так пишет о нем:

«Прекрасный писатель, благородный, умный и описывающий жизнь, правда, одних образованных классов, во всей широте ее, а не одних нигилистов, фельдшерц и студентов, как наши».

Побывав в Ясной Поляне и увидав, как жила моя семья без меня и мальчиков, я им позавидовала, но, желая всегда одного, чтобы всем было хорошо, я не звала их в Москву, а рассудила не нарушать ни их, ни нашу жизнь с сыновьями. Но часто я мечтала о счастье побывать еще раз в Ясной Поляне, обежать сад. Чепыж, елочки — все то, что я столько лет привыкла любить.

1895. «ОРЕСТЕЯ» И «ВЛАСТЬ ТЬМЫ»

14-го октября мы все собрались, кроме Льва Николаевича, Маши и Саши, в Петербург. Это было давно решено, нас очень убеждал Сергей Иванович Танеев поехать на первое представление в Петербург его новой оперы «Орестея». Всем это показалось очень весело, а мне развлекательно, как всякая музыка. Кроме того, хотелось сделать приятное Сергею Ивановичу, все лето доставлявшему нам удовольствие своей прекрасной игрой на рояли. Поехали дочь Таня, сын Миша с учителем Курсинским и я. Кроме того Мария Николаевна Муромцева и семья друзей Танеева — Масловы. Мы все остановились в той же гостинице, и нам было очень весело.

Первое представление «Орестей» совпало с первым представлением в Петербурге «Власти тьмы»⁸⁰. Успех «Орестей» был средний. Опера, в которой очень много музыкальных красот, была слишком длинна и серьезна. Скоро потом, по злобе дирижера, опера была снята с репертуара. Дирижер требовал сокращения многих мест, на что Танеев не согласился. «Орестея» мне лично очень нравилась; Сергея Ивановича три раза вызывали, и смеш-

но было видеть его на сцене с певцами в греческих костюмах, неуклюже как-то кланяющегося публике. Серьезные музыканты оценили достоинство «Орестей», но все-таки она так и исчезла из музыкального мира и до сих пор.

Представление «Власти тьмы» в Петербурге мне не понравилось, хотя, по-видимому, очень старались ее хорошо поставить. Актеры играли хорошо, но не жили тем, что представляли. Так и было в глаза, что все это игра. Костюмы, обстановка деревни, — все это было неверно. Оставляли нас еще смотреть «Власть тьмы» на Суворинском театре, но я не хотела оставаться долее и согласилась на это только Таня, оставшаяся у Маши Эрдели⁸¹.

В то время везде играли «Власть тьмы». В Ельце ее ставили Стаховичи, причем старик, Александр Александрович, прекрасно, как говорили, играл роль старика — Митрича, а Михаил Александрович, его сын, — роль Никиты. Он весь горел, как и отец, его восторгом к пьесе и интересом к постановке ее в Ельце. Не ел, не спал, страшно волновался, и результат был прекрасный.

Видела я эту драму еще у Корша, где играли еще хуже, чем в Петербурге. Общий голос всех исполнителей был, что драму эту играть чрезвычайно трудно. В Малом театре играли ее позднее и, как и все всегда, лучше, чем в других театрах. Но живее всего она шла в народном театре «Скоморох»⁸². Мы ездили смотреть 5 ноября с Соней, женой сына Ильи, и мальчиками нашими и чужими. Публики было около 1700 человек и большую частью простонародие. Очень забавно было слышать из публики разные возгласы одобрения. Когда девочка Анютка сказала: «Оставь, дедушка, свет с мышинный глазочек», — послышался гул одобрения. На хорошие слова Акима Никите кто-то крикнул: «Так!»

Актеры Малого театра сначала хотели приехать в Ясеную Поляну и просить Льва Николаевича прочитать им вслух «Власть тьмы», чтобы дать настоящий тон всей пьесе. Хотели они посмотреть и избы, и местность, приобрести костюмы и утварь. Но почему-то это не состоялось, а как мне помнится, «Власть тьмы» прочел им Лев Николаевич уже в Москве⁸³.

Помню, уже много, много позднее актриса Яворская спешно выписывала для этой же драмы в Тифлис костюмы и разные вещи из Ясной Поляны. И мы все старательно выбрали, что нужно, купили у наших баб к великой их радости и послали с нарочным в Тифлис.

В Туле ставил «Власть тьмы» Николай Васильевич Давыдов и приглашал моих дочерей играть, но я протестовала.

Повидав везде «Власть тьмы», я все-таки, несмотря на успех, была недовольна публичной, недостаточным пониманием ее. Пишу Льву Николаевичу:

«Как хотелось бы мне поднять тебя выше, чтобы люди, читая тебя, почувствовали бы, что и им нужны крылья, чтобы долететь до тебя, чтобы умилялись, читая тебя, и чтобы ты, что ты напишешь, не обидело бы никого, а сделало лучше, и чтобы произведение твое имело вечный характер и интерес».

1896. ПРЕДИСЛОВИЕ К НЕМУ

Мало передо мной материалов, касающихся этого 1896 года, особенно мало о Льве Николаевиче, так как я никогда не имела в мыслях делать то, что я делаю теперь — т. е. описывать нашу жизнь. Несмотря на это, опишу и этот год насколько могу добросовестно по тем данным, какие у меня есть в материалах и в памяти моей. По случаю несправедливой задержки администрацией Московского Исторического музея всех отданных мною бумаг на хранение, я не имела возможности пользоваться, по примеру прежних лет, находящимся в Музее материалом⁸⁴.

Много было забот семейных и других в этом году, много разных переживаний и внутренних, и внешних осложнений, но в общем все-таки было хорошо!

Перечитывала письма моего мужа и детей в этом году, и как тени прошлого быстро проходила перед моим душевным взором вся моя прошлая семейная жизнь. Сколько любви было ко мне моего мужа и моих милых старших дочерей и сыновей: Льва и Андрея. Другие сыновья, более скрытные по характерам, не любили и не умели выражать свои чувства в письмах, и потому их отношения ко мне нигде не высказаны. В общем счастлива была и эта моя семейная жизнь, как счастливы были и первые молодые годы моего замужества — любовью моего мужа.

Как хотелось бы многих воскресить (Льва Николаевича, дочь Машу) и сказать им, как я их любила и просить простить меня в том, в чем я была перед ними виновата. Поздно! Но любовь моя к умершим и живым не умерла во мне, а горит еще ярче и теплее в моем сердце, потому что многое уяснилось в моей душе к старости, перед тем, как я сама соединюсь в вечности с теми, кто уже ушел туда.

МОЯ ПОЕЗДКА В ТВЕРЬ. ТРИ СМЕРТИ

Мне пришлось ехать в Тверь, где отбывал воинскую повинность сын Андрей. Застала я его в сильном жару, и пока не приехал военный доктор и не дал свидетельство о болезни, Андрюша должен был исполнять требования начальства: ходить на караул, на учение и т. д. Меня поразила эта жестокость. Доктор не спешил посетить больного, и положение Андрюши меня так пугало, что я и сама заболела и слегла на сутки: ничего не ела, вся тряслась, как в лихорадке, пульс очень частый, удушье и сердцебиение. Военный доктор, прибывший наконец, послушав сердце, сказал, что при таком частом пульсе это начало серьезной болезни. Обеспокоившийся Андрюша пригласил доктора Петра Ильича Петрункевича, который определил, что это сильный нервный припадок, что есть шум в сердце, но что все это обойдется. Так и было. И когда Андрюше стало лучше, я вернулась домой, в Москву.

Без меня умер муж племянницы Льва Николаевича — Варвары Валерьяновны — Н. М. Нагорнов, оставив семью в 7 человек детей почти без средств. Лев Николаевич, сообщая мне об этом, пишет: «Смерть настраивает серьезно и добро».

В то же почти время было получено известие о кончине Николая Николаевича Стрехова. Хворал он недолго: раковая железа, вероятно, оставшаяся в организме после операции, сделанной в предыдущем году, зашла в мозг и отравила его, что и было причиной смерти. Умер наш старый друг в Петербурге, в Николаевском, кажется, госпитале, и сообщила нам об этом Лидия Ивановна Васелитская (по перу Микулич).

Мы все огорчились потерей такого близко человека, с которым много пришлось общаться; и он часто говорил, что напишет книгу о Ясной Поляне и ее жизни, но, к сожалению, не исполнил этого.

Тогда же известили нас и о третьей смерти в Ясной Поляне. Умерла известная всем старушка, Агафья Михайловна, Гаша по прозвищу, бывшая горничная бабушки Льва Николаевича, графини Пелагеи Николаевны Толстой. Я раньше писала о ней, и Лев Николаевич не раз упоминал о ней: она бывала его собеседницей, когда он жила в Ясной Поляне один, и сидела с вязанием чулок целые вечера с своим графом.

Хворала она один день. Пошла выпустить собак, которых ужасно любила, как и вообще животных, упала, ее положили на постель, стала трудно и редко дышать, пролежала меньше дня и скончалась. Велела нам пере-

дать благодарность за доброе отношение к ней.

Хотя менее это произвело на всех нас впечатление, но все-таки жаль было и умершего в то время нашего старого кучера Филиппа Родионовича⁸⁵, очень страдавшего раком в печени. Летом его разбили лошади, и мы думали, что рак произошел от ушиба. Помню, при этом случае погибла и любимая наша лошадь, рыжий Султан, у которого были сломаны две ноги, и она умирала в яблочном саду, куда положили ее на траву.

СУЛЕРЖИЦКИЙ

Когда дочь Таня училась в школе живописи и ваения, среди учеников был юноша Сулержицкий: умный, способный и живой малый. Он бывал у нас и очень увлекался учением Льва Николаевича. Когда пришло время отбывать воинскую повинность, он отказался от службы, а главное, от присяги. Тогда его поместили в госпиталь на испытание его умственных способностей и телесного здоровья. Мне очень жаль было этого юношу, жаль его всесторонних способностей, и я решила поехать его уговаривать поступить на военную службу, хотя всегда в душе горячо протестовала и протестую войне.

Мне дали пропуск, и я поехала в госпиталь. Передо мной отворяли много дверей, у которых стояли часовые. Я пыталась с ними разговаривать, делала им разные вопросы, но на все это запуганные люди отвечали мне только казенным, сухим и резким голосом: «Так точно-с». По коридорам и в соседних комнатах бродили в желто-серых, арестантских халатах и с любопытством смотрели на меня, даму, необычную посетительницу в их темной, неприветливой обстановке.

Вышел ко мне Сулержицкий, бледный, жалкий. Длинная, очень белая шея его неловко поворачивалась и выступала из сплывшего широкого ворота желто-серого, арестантского халата, который он поминутно запахивал. Я начала его уговаривать поступить на военную службу и не губить свою молодую талантливую жизнь. Он говорил, что не может присягать по своим убеждениям и идти убивать людей. Я убеждала его, что убивать по всей вероятности не придется, а если будет война, тогда видно будет, что делать.

Вышла я опять в эти бесконечные двери, за которыми оставались эти несчастные. В ушах моих звучали бездушные слова отупевших часовых: «Так точно-с», и на душе было тоскливо.

ДОЧЬ МАША

В конце января мы узнали о намерении Коли Оболенского жениться на нашей Маше. Это болезненно поразило нас, родителей. Когда впоследствии, несмотря ни на что, Маша все-таки вышла за него замуж, Лев Николаевич с грустью говорил про Машину замужество: «Точно породистую лошадь впрягли в телегу навоз возить».

В то время Оболенский должен был держаться в университете окончательный экзамен. После смерти отца его, кн. Леонида Дмитриевича, осталась его жена, племянница Льва Николаевича Елизавета Валерьяновна, дочь Марии Николаевны, с большой семьей, почти без всяких средств, и должна была уехать из Москвы. Она просила взять старшего сына, студента, в наш дом, и мы пожалели его, и он поселился у нас. Мне лично он был мало симпатичен, я не люблю такие типы, хотя в нем было много положительных качеств: он был не глуп, честен, недурен собой, тихого характера и, казалось, любил Машу до самой ее смерти.

Помню, как она, живая и либералка в душе, огорчилась, что Колю не забрали вместе с другими студентами в Бутырскую тюрьму. И Коля должен был в угоду ей устроить так, чтобы и его забрала полиция вместе с бунтовавшими.

О свадьбе Машинной в то время не могло быть и речи, потому что Коля держал еще экзамены, а Маша была бледна, слаба, ее лихорадило, и она кашляла. Решено было ее послать в Крым. Там приютили ее у себя Философовы и графини Бобринские. Особенно внимательно и добро ухаживала за ней старшая дочь Мисси (София Александровна). Сначала Маша затосковала, в Крыму ей казалось все скучно, и она как будто разочаровалась в том, что ожидала. Но потом расцвела весна, начались поездки по красивым местам, сопровождал их приятный товарищ — Николай Николаевич Львов; встречались старые знакомые и приобретались новые. Между прочим, Маше пришлось очень по душе старички Бакунины. Всем известный Павел Бакунин давно уже жил в Крыму, и Маша писала про него, что он старик чрезвычайно живой, интересный, увлекающийся. Чудесно рассказывает, при этом жестикулирует, глаза блестят, и он делается даже красив,

ВСЕ ТОСКА И ЗАБОТА

Совестно даже признаваться в том настроении, в котором я тогда находилась. Но не

всегда зависишь от своей воли и страдаешь сам под гнетом этой тоски, а нет сил ее преодолеть. Несмотря на условия семейной жизни, относительно все-таки довольно отрадные, тоска меня не покидала. Вместе с горем потери Ванечки⁸⁶, горевала я и от тех естественных радостях, ушедших от меня, которые мы с сестрой испытывали, живя летом вместе, наслаждаясь и природой и семейными радостями. Все это исчезло навсегда. Выдумывала я себе удовольствия и развлечения — музыку, искусства, но это уже не радости. Мне часто представлялось, что я как волчок, который пустили... Он вертится, но начинает раскачиваться, падать, и хочется опять скорее его завертеть, пока не упадет и не ляжет совсем. Опять на лето собирался приехать к нам С. И. Танеев с своей нянюшкой Пелагеей Васильевной⁸⁷, милой старушкой, и тогда все этому радовались. Танеев, кроме своей чудесной музыки, вносил в жизнь столько веселой доброты, деликатности и порядочности.

Для того, чтобы поместить и принять всех, кто должен был жить в Ясной Поляне лето, а потом зиму и осень, надо было привести в порядок дом и флигель. Лева с молодой женой предполагал там жить осень и зиму, и вот я в конце апреля отправилась в Ясную Поляну и Тулу нанимать печников, маляров, заказывать новые рамы и двери и производить разный ремонт. Хорошо было тогда в деревне, и поездка эта была мне скорее приятна. Люблю природу, особенно при ее весеннем пробуждении.

Без меня Лев Николаевич немного похворал, и Таня мне пишет: «Это удивительно! Как только вы уезжаете, он расклеивается». Еще бы! Разве видны были во всю жизнь Льва Николаевича те ежеминутные, внимательные заботы мои о нем до мельчайших подробностей еды, чистого воздуха, сна, спокойствия, которыми я его окружала.

Когда я вернулась в Москву, в Ясную Поляну поехала жить Маша, уже вернувшаяся из Крыма. Она взялась следить за работами в обоих домах. К ней приезжала Мария Александровна Шмидт, а потом приехала двоюродная сестра Вера Кузминская. Мы рады были разлучить ее с Оболенским и дать ей подумать в одиночестве о своем отношении к нему.

В Москве тоже пришлось покрасить и подновить все в нашем Хамовническом доме, так как его нанимали на время коронации Воронцовы и Ферзены. Но эти избалованные господа Ферзены, когда приехали посмотреть дом, несмотря на сад, на 16 комнат в доме, нашли, что обстановка нищенская. Жена Фер-

зена, рожденная княжна Голицына, даже расплакалась и ни за что не соглашалась жить в нашем доме, даже короткое время коронации. Так и простоял наш дом пустой.

ПЕРЕЕЗД В ЯСНУЮ ПОЛЯНУ. НОВИКОВ. ХОЛЕВИНСКАЯ.

Около 1-го мая вся наша семья переехала в Ясную Поляну, что для всех было праздником. Помню, в то время пришел к Льву Николаевичу крестьянин, Михаил Новиков, служивший тогда где-то волостным писарем. Он начитался сочинений Льва Николаевича, взяв их у своего брата, лакея княгини Волконской, рожденной Львовой. Мысли Льва Николаевича имели большое влияние на обоих братьев, особенно на младшего. И впоследствии этот Михаил Новиков общался с Львом Николаевичем, посещая его. Перед окончательным уходом своим из Ясной Поляны Лев Николаевич писал Новикову о своем намерении приехать жить у него в деревне. На это Новиков написал в ответ, отговаривая Льва Николаевича от этого поступка, очень умное и хорошее письмо, которое, к сожалению, уже не застало Льва Николаевича в Ясной Поляне⁸⁸.

Огорчившее в то время всех нас событие побудило Льва Николаевича написать два письма министрам: Горемыкину (внутренних дел) и Муравьеву (юстиции)⁸⁹. А именно: мы узнали, что арестовали и посадили в тюрьму нашу хорошую знакомую, женщину-врача, Марию Михайловну Холевинскую, только за то, что она имела у себя запрещенные сочинения Льва Николаевича. Эта прекрасная, трудящаяся, идейная девушка ничего не пропагандировала, не распространяла, а имела книги для себя, любя и почитая Льва Николаевича. В письмах он просил министров перенести преследование на него самого, а не трогать его последователей, так как корень зла, с их точки зрения, был в нем. Ни Горемыкин, ни Муравьев не были даже настолько учтивы и благовоспитанны, чтобы ответить на письма графа Толстого, и Муравьев даже сказал, что Толстого и его семью не тронут, а пусть ему служат наказанием те страдания, которые выносят его последователи — толстовцы. Хороша логика!

Я ненавидела тогда многих из так называемых «толстовцев»: слабый, праздный народ, вечно с чем-то борющийся и шатающийся по чужим домам, большей частью богатым, и живущий на чужих хлебах. Но Мария Михайловна Холевинская была бескорыстная труженица, лечившая народ, и все



Л. Н. и С. А. Толстые в годовщину их свадьбы. Ясная Поляна 23 сентября 1896 г. Фотография С. А. Толстой.

ее любили и уважали. Сослали ее в Оренбург, где она сумела тоже найти смысл жизни, и где работала еще больше, потеряв здоровье.

СТАТЬЯ ОБ ИСКУССТВЕ И ДРУГИЕ РАБОТЫ ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА

Занятый изложением статьи об искусстве, Лев Николаевич изучал его во всех областях, и тогда еще весной в Москве поехал слушать оперу Вагнера «Зигфрид». С нами был и Сергей Иванович Танеев, над которым смеялся Лев Николаевич, что он сидел в ложе с партитурой и серьезно следил по ней за оперой. К сожалению, Льву Николаевичу пришлось слышать одну из плохих опер Вагнера, и, не дослушав до конца, он уехал. Очень бранил потом и оперу, и Вагнера, и новую музыку вообще. Он писал в дневнике



Ясная Поляна. Большой пруд с
видом на деревню. 1897 г.
Фотография С. А. Толстой.

о своей статье: «Статью об искусстве надо начать с рассуждения о том, что вот за картину, стоившую мастеру 1000 рабочих дней, дают 40 000 рабочих дней. За оперу, за роман еще больше». И дальше: «Главная цель искусства, если есть искусство и есть у него цель, та, чтобы проявить, высказать правду о душе человека, высказать такие тайны, которые нельзя высказать простым словом».

Склад умственной жизни Льва Николаевича делался все более и более серьезным и сосредоточенным. Он понемногу отказывался от тех материальных и жизненных интересов, которыми еще жил последнее время. Перестал ездить на велосипеде, избегал всяких разговоров, и хотя огорчался, что сыновья его, Андрияша и Миша много времени пропадают на деревне, он берег себя и ничего им не говорил. Тяготился и посетителями, включая Черткова и Бирюкова, приезжавшими в Ясную Поляну. Читал Лев Николаевич тогда философию Шпира, и чтение это, как он писал в дневнике, подкрепляло его мысли о смысле жизни. Работал он в то время над «Изложением веры», это очень его занимало, и иногда он считал свою работу неясной, боялся, что портит ее поправками, и собирав-

ся опять и опять начать все сначала или сделать перерыв, занявшись повестью или драмой.

ДОЧЕРИ

В конце июля и первой половине августа Таня гостила опять у друзей своих, Олсуфьевых, и с ними поехала на выставку в Нижний Новгород, куда многие ехали и почему-то очень ею интересовались. Очень понравилась Тане Восточный отдел. В Нижнем жил и служил в то время наш прежний хороший знакомый — Трескин, и он во многом оказал помощь и удобства путешественникам и всюду сопровождал их.

А я, вернувшись в Ясную Поляну, сгрустилась, что нет там моей любимицы Тани, и я написала ей нежное письмо, на которое она, между прочим, ответила так: «Я так мало заслуживаю любви от вас, что удивляюсь ее проявлению. Но одно вы чувствуете твердо, что я вам верный друг, хотя часто не согласна и не солидарна с вами».

Бедная дочь Маша, стремясь всеми силами следовать учению отца, слабая и болезненная, все время старалась приводить в ис-

полнение идеи своего отца и тратила на это все свои последние силы: лечила народ, сама делала перевязки, промывая раны, присутствуя при родах женщин. Сама убирала свою комнату и мыла на себя белье в кухне флигеля, пока там никто не жил. Неравнодушный к Маше, приезжавший часто к нам Павел Иванович Бирюков возил Маше воду и дрова, помогая ей во всех ее и других трудах. Меня это беспокоило, и я жалела Машу.

ТРУДЫ ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА И МОЕ К НИМ ОТНОШЕНИЕ

Работал в то время Лев Николаевич над «Изложением веры» и писал еще «Хаджи-Мурата», но еще совсем начерно, и отзывался об этой работе, что плохо. В статье «Изложение веры» он тогда особенно бился с главой «О грехах». То уяснял, то опять путался. И какая всегда происходила в Льве Николаевиче борьба внутренняя художника и мыслителя. В сентябре, работая над «Изложением веры», он писал в дневнике⁹⁰: «Хочется писать другое, но чувствую, что должен работать над этим, и думаю, что не ошибюсь по спокойствию совести, когда этим занят, и не спокойствием, когда позволяю себе другое. Это большое благо иметь дело, в котором не сомневаешься. И у меня есть это счастье. Если кончу, то в награду займусь тем, что начато и хочется».

По приезду в Москву Стасов преувеличенно и подробно мне рассказывал, чем в мое отсутствие был особенно занят Лев Николаевич, о чем он и сообщал Владимиру Васильевичу Стасову. А именно, писал голландцу Ван-дер-Веру, письмо-статью о воинской повинности и отказе от нее⁹¹. Еще писал «Письмо либералам»⁹². Эти письма-статьи были все смелые, вызывающие, протестующие и, конечно, противоправительственные.

Я страшно взволновалась, испугалась, что правительство потеряет терпение и начнет карать Толстого за его смелые статьи. И я написала Льву Николаевичу довольно резкое письмо. Но вслед за этим тотчас же написала другое, в котором просила меня простить.

Может быть, рассказывая мне, Владимир Васильевич Стасов, по своему обыкновению громко крича, придумав мыслям Льва Николаевича и его письмам слишком резкий характер и яркие краски и потому мне так не по сердцу показались статьи. На мое тревожное и недовольное письмо Лев Николаевич мне писал, что не может руководиться моими желаниями и советами и рассуждать о том,

опасно или не опасно, а всегда будет писать то, что считает нужным по совести и своим убеждениям.

НАША ПЕРЕПИСКА ЕЩЕ

Но вообще письма Льва Николаевича ко мне отличались в эту осень особенной нежностью, но, к сожалению, он все ждал от меня, бедный, милый муж мой, того духовного единения, которое было почти невозможно при моей материальной жизни и заботах, от которых уйти было невозможно и некуда. Я не сумела бы разделять его духовную жизнь на словах, а провести ее в жизнь, сломить ее, волоча за собой целую большую семью, было немислимо, да и непосильно, хотя Лев Николаевич и писал мне тогда:

«В тебе много силы, не только физической, но и нравственной, только недостает чего-то небольшого и самого важного, которое все-таки придет, я уверен. Мне только грустно будет на том свете, когда это придет после моей смерти».

О себе он писал, что не только он совершенно здоров, но духом бодр, как давно не был, прекрасно работал и начерно кончил «Изложение веры», которое было в таком виде, что если б в то время не стало Льва Николаевича, люди поняли бы, что он хотел сказать. В то же время он начал писать что-то другое, как это сказано в его дневнике, но не названо, что именно.

В конце сентября посетили Ясную Поляну в мое отсутствие два японца: один редактор журнала, другой тоже писатель⁹³. Они всем были очень интересны, но и странны. Пели свои национальные песни и даже плясали, показывая свои национальные танцы, что страшно всех смешило, особенно молоденькую Дору, хохотавшую, глядя на них, просто до слез.

МОЯ ПОЕЗДКА В ЯСНУЮ ПОЛЯНУ. ТАНЯ В МОСКВЕ. КОНИ, СОЛОВЬЕВ

В начале октября в Москве сменила меня при Мише дочь Таня и отпустила пожить в Ясной Поляне. К ней заезжал Анатолий Федорович Кони; очень жалел, что не застал в Москве Льва Николаевича и говорил, что чувствует большую потребность его видеть, и что ему время от времени необходима эта нравственная дезинфекция его души. Просил, чтоб дали ему прочесть «Воскресение», так как он дал этот сюжет для произведения Льва

Николаевича, и очень интересовался им. Лев Николаевич, когда писал «Воскресение», всегда упоминал, что это Коневский сюжет. Кони говорил Тане, что мог бы быть полезен Льву Николаевичу советами и поправками в описании судов и всей стороны судопроизводства. Кроме того, Анатолий Федорович Кони велел передать Льву Николаевичу, что за те три года, в которые они не виделись, Кони не сделал ничего такого, за что бы ему перед ним покраснеть.

В день рождения Тани, 4-го октября, у нее были гости, в том числе Владимир Сергеевич Соловьев. Он принес Тане какой-то японский подарок, декламировал стихи и сам над ними помирал со смеху. Помню, какой у него был неприятный, громкий, порывистый хохот. Я всегда напрасно чего-то ждала от этого прославленного за ум человека и с недоумением относилась к его постоянному упорному молчанию или шуточкам. Читала его статьи и некоторые мне нравились. Но помню 2-ю или 3-ю часть статьи «О любви»⁹⁴ я прочла и вознегодовала за бессмыслицу ее.

1897. МУЗЫКА И ЛЕКЦИЯ

23-го марта вечером пришли к нам Танеев и Гольденвейзер и играли концерт Чайковского на двух фортепиано, и потом любимую Льва Николаевича сюиту Аренского. Очень было приятно и удивительно хорошо сыграно. Посещала я часто концерты и с каким-то замиранием сердца ждала 9-ю симфонию Бетховена. Писала тогда сестре, что если б не музыка, тяжела бы была трудовая, дергающая со всех сторон за сердце — моя жизнь.

Когда никого не было дома, я сама много играла, и если не делала больших успехов, то выучивалась лучше понимать музыку. Помню, какое удовольствие мне доставила опера «Дон-Жуан», которую я слушала из директорской ложи, куда меня пригласили.

Пошла я раз на лекцию в Синодальное училище, на которой священник читал «О клятве», против Толстого. Все время было досадно и злора кипела во мне, слушая эти нелепые, кощунственные, поповские парадоксы и доказательства, что клятва святая как молитва, но что люди сделали ее грешной, преступая клятве и не храня ее свято. Повидимому, публика не только была холодна, но протестующе-сдержанно отнеслась к лекции. А мне так и хотелось закричать на этого священника, чтоб он прекратил свою кощунственную болтовню.

На Святой, в народном театре давали для

народа пьесу Льва Николаевича «Первый винокур»⁹⁵. Я, к сожалению, не пошла ее смотреть, очень была занята корректурами, а пошла наши девочки и говорили, что пьеса имела в народе успех, и публика смеялась и одобряла.

В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ И ПОЕЗДКА В ПИРОВО

27-го октября я получила от Льва Николаевича письмо, в котором он писал, что узнал от сына Сережи о смерти Генри Джорджа⁹⁶, проекту которого о едином земельном налоге всегда очень сочувствовал Лев Николаевич. Смерть эта тронула его, как бы смерть очень близкого друга. Такое же впечатление произвела на Льва Николаевича смерть Александра Дюма. Сережа тогда привез отцу статью о науке Карпентера, которую он очень хорошо перевел по заказу отца на русский язык и которая очень нравилась Льву Николаевичу⁹⁷.

28-го октября я снова приехала в Ясную Поляну, застала Льва Николаевича настолько здоровым, что он верхом ездил в суд слушать дело об убийстве в Ясной Поляне нашего лесного сторожа Гусева и его старухи. Опять пришлось мне много поработать над переписыванием произведений Льва Николаевича, и мне удалось все очистить до ушиба глаза мышеловкой, вследствие которого я два дня без дела, с компрессами пролежала и этим ушибом навсегда испортила зрение правого глаза.

30-го октября Лев Николаевич пригласил меня ехать с ним к его брату в Пирогово. Не очень охотно согласилась я на это 35-ти верстное путешествие по плохой дороге, но я рада была быть с мужем вместе еще несколько дней, и вот мы поехали: Лев Николаевич к ужасу моему — верхом, а я в простых розвальнях, так как дорога была не то осенняя, не то зимняя. Даром не прошла эта поездка Льву Николаевичу: он простудился, и у него сильно заболела спина.

Впечатление от пребывания моего в Пирогове было ужасное. Сергей Николаевич, уединенно живя в деревне, точно возненавидел весь мир. О чем бы ни заговорили, он начинал изрекать самые бранные слова: профессора — это все мерзавцы, музыканты — это сукины дети, мужики — это все разбойники, подлецы и так далее. Это было так тяжело, что я предпочитала молчать. Тем более, что не считала своего деверя злым человеком, а напротив. Лев Николаевич, любя брата, как будто не замечал его настроения

и писал в дневнике, что в Пирогове ему было хорошо.

8-го ноября, после моего отъезда, явился к Льву Николаевичу его прежний, старый переписчик, Александр Петрович Иванов, и принялся за работу. В дневнике своем от 11-го ноября Лев Николаевич пишет:

«С утра писал «Хаджи-Мурата». Ничего не вышло. Но в голове уясняется. И очень хочется». И опять 19-го пишет мне о желании писать «Кавказскую повесть». А между тем 12-го писал: «Решил писать «Воззвание»⁹⁸.

Живя в Ясной Поляне с молодыми супругами, Дорой илевой, Лев Николаевич иногда раздражался на сына и писал в дневнике:

«Вчера был раздраженный разговор слевой. Я много сказал ему неприятного, он больше молчал, под конец и мне стало совестно и жалко его, и я полюбил его. В нем много хорошего. Я забываю, как он молод».

Да, дети всегда нас то радовали, то огорчали, но никогда не ослабевала забота о них. Вернувшись в Москву и узнав, что в Твери заболел Андрияша, я тотчас поехала к нему в Тверь. Но болезнь оказалась ничтожной, и мы с ним вместе приехали в Москву. Огорчал меня тогда и Миша своей распушенностью. Оставшись в классе, он плохо учился, и я

решила отдать его на полный пансион в Лицей, а не приходящим.

Я начинала волноваться и сердиться, что Лев Николаевич не едет в Москву и совсем не хочет влиять на сыновей и их воспитание. Я была, конечно, не права. Он был призван к другому. Написав ряд статей о труде, об отречении от собственности, об упрощении жизни, ему надо было это показывать человечеству на деле. И в Ясной Поляне, в одиночестве это было легче, чем в Москве. Но я очень скучала без него.

Слушая много музыки, я впервые тогда прочла биографию Бетховена, сильно заинтересовавшую меня⁹⁹. Много мне открылось и навело на разные мысли. Видно, все гении не удовлетворяются обыденной жизнью и много страдают. Бетховен был несчастлив, и даже творчество его гения не утешало его. После этого чтения я еще с большим интересом слушала его музыку.

Весь дневник Льва Николаевича того времени был полон глубоких мыслей, внимательного анализа всех движений души. Недосыгаема была для нас эта гениальная душа, по-своему одинокая и величественная. Ничто тогда извне не могло уже его сильно захватывать. Он весь жил жизнью своей души и своего творчества.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Иславин К. А. (1827—1903) — сын А. М. Исленьева и С. П. Завадовской, в замужестве Козловской. Ее брак с А. М. Исленьевым считался незаконным: все их дети носили фамилию Иславиных.

² К одному из таких обедов относится запись в дневнике Толстого 17 сентября 1858 г.: «Обед у Берса. Милые девочки!» (Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч. в 90-та томах. М., Гослитиздат, 1928—1958; т. 48 с. 17. Далее ссылки на это издание с указанием тома и страницы.)

³ Это был романс XVIII века «Ключ». Толстой любил это музыкальное произведение и пел его с учениками своей Яснополянской школы. Романс «Ключ» поет молодежь Ростовых в романе «Война и мир» (т. 1, ч. 1, гл. XVII).

⁴ «Херувимская» — музыкальное произведение композитора Д. С. Бортнянского (1751—1825), которое так же, как и «Ключ», любили петь в Ясной Поляне (см.: Т. А. Кузмина. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. Тула, 1973, с. 77).

⁵ 12 января 1854 г. Толстой узнал о своем переводе в действующую армию и решил ехать в Ясную Поляну — повидаться с близкими. 2 февраля он приехал в Ясную Поляну, очевидно, перед этим заехав к Берсам. 3 марта Толстой выехал в Дунайскую армию, в составе которой он находился всю весну, лето и осень. В Севастополь он прибыл 7 ноября 1854 г. и оставался там в течение всей осады города до сентября 1855 г.

⁶ Литературные симпатии будущей жены Толстого совпали с его собственными: по позднему воспоминанию Толстого (письмо к М. М. Ледерле от 25 октября 1891 г., т. 66, с. 67) чтение романа Дикенса «Давид Копперфильд» произвело на него «огромное» впечатление. Очевидно, впервые он читал его в русском переводе, напечатанном в «Современнике» (1851, № 1—9).

⁷ В дневнике Толстого имеется запись от 15 декабря 1856 г. о том, что он слушал «Дон-Жуана» Моцарта в Итальянской опере — «поэтическая вещь очень» (т. 47, с. 105). Очевидно, это посещение театра вспоминает С. А. Толстая.

⁸ Комедия-водевиль В. А. Соллогуба «Беда от нежного серд-

ца». — В. А. Соллогуб. Сочинения, т. III. М., 1856.

⁹ Толстой женился на С. А. Берс 23 сентября 1862 г.

¹⁰ Комедия «Плоды просвещения» была поставлена в Ясной Поляне силами семейства Толстого и их знакомых 30 декабря 1889 г. Сохранились воспоминания многих участников этого спектакля, в том числе С. Л. Толстого — «Первое представление комедии Л. Н. Толстого «Плоды просвещения» («Солнце России», 1912, № 145 от 7 ноября, с. 9—11). См. также: С. А. Толстая. «Моя жизнь» — «Новый мир», 1978, № 8, с. 75—76.

¹¹ Свидетельство С. А. Берс на звание домашней учительницы, датированное 25 июля 1861 г., хранится в отделе рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого (в дальнейшем — ГМТ).

¹² О крупном проигрыше Толстой писал В. П. Боткину 7 февраля 1862 г.: «Я здесь — в Москве — отдал всегдашнюю дань своей страсти к игре и проиграл столько, что стеснил себя; вследствие чего, чтобы наказать себя и поправить дело, взял у Каткова 1 000 руб. и обещал ему в нынешнем году

дать свой роман — «Кавказский» (т. 60, с. 417). Повесть «Казани» была напечатана в «Русском вестнике», 1863, № 1.

Этот проигрыш был последним проявлением свойственной Толстому «страсти к игре».

¹³ С. А. Толстая ошибается: «рассказ «Солдаткино житье» написал не Егор Чернов, а Василий Морозов (1849—1914) — любимый ученик Толстого, введенный в его педагогических статьях под именем Федьки. Рассказ «Солдаткино житье» был напечатан Толстым в девятой книжке «Ясной Поляны» за 1862 г. Впоследствии был переиздан в «Посреднике».

¹⁴ Толстой с учениками и слугой А. С. Ореховым выехал из Ясной Поляны 12 мая 1862 г. Вернулся они 31 июля. Егор Чернов описал эту поездку в своем сочинении: «Путешествие Чернова» (опубл. в книге: «Воспоминания яснополянских крестьян о Л. Н. Толстом». Тула, 1960, с. 45—66); В. С. Морозов написал об этом в позднейших воспоминаниях: «Воспоминания о Л. Н. Толстом ученика Яснополянской школы Василия Степановича Морозова», М., «Посредник», 1917, с. 89—126.

¹⁵ Ергольская Т. А. (1792—1874) — троюродная тетка Л. Н. Толстого, воспитательница детей Толстых после смерти их матери (в 1830 г.) и отца (в 1837 г.).

¹⁶ Охотницкая Н. П. — компаньонка Т. А. Ергольской.

¹⁷ С. А. Толстая имеет в виду студентов-учителей Яснополянской и других школ, открытых Толстым в Крапивненском уезде в 1861 г. Толстой писал в дневнике 8 февраля 1863 г.: «Студенты только тяготеют неестественностью отношений и невольной завистью, в которой я их не упрекаю» (т. 48, с. 51). Осенью 1863 г. занятия в школах не возобновились.

¹⁸ Сергей Львович Толстой родился 28 июня 1863 г. (ум. 23 декабря 1947 г.).

¹⁹ С. А. Толстая не совсем точно цитирует последнюю строфу стихотворения А. А. Фета «Я повторял: «Когда я буду богат, богат!» (1864):

В моей руке — какое чудо! —
Твоя рука.
И на траве два изумруда —
Два светляка.

²⁰ Письмо к А. Е. Берсу от 3... 4 ноября 1865 г. (т. 61, с. 111) связано с работой Толстого над романом «Война и мир». В ноябре 1865 г. Толстой окончил лишь вторую часть романа; под «3-ю частью» он разумеет здесь вторую часть первого тома «Войны и мира», очевидно, считая напечатанное в № 1 «Русского вестника» за

1865 г. — первой, а в № 2 — второй частью (под заглавием «1805 год»).

²¹ Отзыв А. Н. Островского, после того как он прослушал пьесу, был скорее отрицательный. «Это такое безобразие, — писал он Некрасову 7 марта 1864 г., — что у меня положительно завяли уши от его чтения» («Архив села Карабихи», изд. К. Ф. Некрасова, М., 1916, с. 139—140). Самому же Толстому он сказал: «Куда торопиться, поставь лучше на будущий год» (см. письмо Толстого к А. А. Толстой, т. 61, с. 115).

²² Пьеса «Зараженное семейство» не была поставлена на сцене и никогда при жизни Толстого не печаталась. Впервые она была опубликована в 1928 г. в книге: «Лев Толстой. Незнанные художественные произведения», изд. «Федерация». Перепечатана — т. 7, с. 181—324.

²³ Татьяна Львовна Толстая родилась 4 октября 1864 г. (ум. 21 сентября 1950 г.).

²⁴ Келлер Густав Федорович (1839—1904) — педагог, с которым Толстой познакомился в апреле 1861 г. в Веймаре и пригласил его преподавать в Яснополянской школе.

²⁵ О чтении вслух Мольера С. А. Толстая писала Т. А. Берсу 29 октября 1864 г.: «Левочка взял пресмешные комедии Мольера, которые я почему-то не читала, читал нам вслух. Мы ужасно смеялись, комедии уморительные, и Лева читает отлично» (ГМТ).

²⁶ Отрывки из дневника Вареньки Толстой (в замужестве Нагорновой), в том числе и запись от 18 декабря 1864 г., о чтении «Войны и мира», опубликованы в журнале «Октябрь», 1978, № 8 («Рассказы о Толстом»), с. 217.

²⁷ С. А. Толстая цитирует письмо Толстого не к А. А. Берсу, а к Т. А. Берсу от 25—26 октября 1864 г., в котором он писал: «Сона очень хороша и мила со своими птенцами и труды свои несет так легко и весело» (т. 61, с. 56).

²⁸ Толстой вывихнул правую руку 26 сентября 1864 г.

²⁹ Толстой В. П. (1813—1865) — троюродный брат М. Н. Толстой. С 3 ноября 1847 г. ее муж. В июле 1857 г. они разъехались.

³⁰ Замысел романа «Декабристы» относится к октябрю 1860 г. В 1877 г. Толстой вернулся к этому замыслу и совершил поездки в Москву и Петербург с целью сбора исторического материала.

В Петербург Толстой приехал 6 марта 1878 г., а 8 марта он осматривал Петропавловскую

крепость и слушал рассказ администрации крепости о декабристах. Свои чувства при этом Толстой называет «странными и сильными» (см. письмо Толстого к П. Н. Свистуну, т. 62, с. 395).

³¹ Речь идет о работе П. Д. Голыхвостова «Законы стиха русского народного и нашего литературного». В предисловии к этому исследованию, изданному в 1883 г., говорится, что оно вызвано к жизни Толстым и было задумано в форме писем к нему.

³² Работа над романом из эпохи Петра I продолжалась с перебивками до 1873 г., и было написано 25 вариантов начала. В 1879 г. Толстой вновь вернулся к роману и написал еще 8 вариантов начала. Замысел остался незавершенным.

³³ Кауфман Ф. Ф. — немец, губернатор трех старших сыновей Толстого, прослуживший у Толстых два года (1872—1874).

³⁴ Толстой учился в Казанском университете в 1844—1847 гг.

³⁵ Повесть «Крейцеров соната» была написана Толстым значительно позднее, в 1887—1889 гг., но, по свидетельству сына Толстого Сергея Львовича, игра И. Нагорнова послужила определенным толчком к написанию повести, и уже «в то время зародились те мысли и образы, которые впоследствии были так ярко выражены в повести «Крейцеров соната». Может быть, даже некоторые черты И. М. Нагорнова послужили для характеристики Труачевского» («Очерки былого». Тула, 1973, с. 370).

³⁶ Л. Д. Урусов умер в 1885 г.

³⁷ Повесть «Песня без слов», которую С. А. Толстая писала в течение 1895—1898 гг., не издана (ГМТ).

³⁸ Ньеф — губернатор старших сыновей Толстого, француз, бывший коммунарь, скрывавшийся в России под фамилией Ньеф. Настоящее его имя Жюль Монтель. У Толстых жил с 1877 по 1879 г.

³⁹ Семья Толстых поселилась в доме № 3 по Малому Левшинскому (бывшему Денежному) переулку.

⁴⁰ С. Л. Толстой осенью 1881 г. поступил в Московский университет на физико-математический факультет, отделение естественных наук. Параллельно с занятиями в университете он совершенствовал свое музыкальное образование.

⁴¹ С. Л. Толстой писал о Н. Д. Кашкине: «Воспитательное значение Николая Дмитриевича, как музыканта, очень велико. Ученики его, к которым имело счастье принадлежать и я, должны быть ему благодарны за то, что он указал им настоящий путь к ура-

зумению музыки («Очерки былого». Тула, 1975, с. 9).

⁴² Дом И. А. Арнаутова в Москве по Долго-Хамовинскому переулку, № 15. В этом доме Толстые прожили (по зимам) до 1901 г. В настоящее время здесь мемориальный Дом-музей (улица Льва Толстого, 21).

⁴³ Толстой читал редактору «Русской мысли» С. А. Юрьеву первую редакцию «Исповеди» («Кто я?») в начале апреля 1882 г. Чтение произвело на Юрьева «неизгладимое, сильное впечатление, и он решает «попытать возможность» напечатать сочинение Толстого в журнале (письмо С. А. Юрьева к Толстому, без даты; ГМТ).

⁴⁴ «Исповедь» была вырезана из майской книжки журнала «Русская мысль», но в редакции журнала осталось несколько корректурных оттисков произведения Толстого, с них и снимались многочисленные копии, которые расходились по всей России. Первые была напечатана М. К. Эллидиным в Женеве в 1884 г. под заглавием «Исповедь графа Л. Н. Толстого. Вступление к ненапечатанному сочинению». В России полностью впервые было опубликовано в журнале «Всемирный вестник», 1906, № 1.

⁴⁵ Толстой работал над сочинением, которое включало «Исследование догматического богословия» и «Соединение и перевод четырех Евангелий».

⁴⁶ Ссора была вызвана резким недовольством Толстого барским образом жизни его семьи в Москве. Толстой чувствовал себя одиноким в своих духовных исканиях. «Я устал ужасно и ослабел, — писал Толстой Н. Н. Страхову. — Целая зима прошла праздно. То, что, по моему, нужнее всего людям, то оказывается никому не нужным. Хочется умереть иногда» (т. 63, с. 94).

⁴⁷ Отрывок из письма С. А. Толстой к Т. А. Кузминской от 20 декабря 1882 г. приведен в сокращении и неточно.

⁴⁸ Т. Л. Сухотина-Толстая. Воспоминания. М., 1976, с. 176.

⁴⁹ Упоминания о «взаимном ауканье» можно встретить в ранней переписке Толстого с А. А. Фетом — в годы их духовной близости. Так, письмо Толстого к Фету от 16 мая 1859 г. начиналось словами: «Ау! Дяденька! Ауу! (Л. Н. Толстой). Переписка с русскими писателями, т. I, М., 1978, с. 330. В конце письма Фета к Толстому (1867 г.) читаем: «Черкните, и аукнитесь!» (там же, с. 386).

⁵⁰ Статья «Так что же нам делать?», подготовленная для журн. «Русская мысль», № 1, была запрещена цензурой в 1885 г.

⁵¹ Текст этого стихотворения написан рукой Фета на обороте второго листа издания его стихотворений: Вечерние огни. Вып. II, М., 1885. На обложке надпись: «Графине Софье Андреевне Толстой старей ее почитатель». Экз. находится в Яснополянской библиотеке.

⁵² А. Л. Толстой умер 18 января 1886 г.

⁵³ М. А. Стахович во время путешествия вел подробный дневник, отрывок из которого опублик. в журн. «Октябрь», 1978, Ха 8, с. 220 — 221.

⁵⁴ Издание статьи «Николай Палкин» в России было запрещено. Первая полная публикация появилась в 1917 г.

⁵⁵ Одна из дневниковых записей, сделанных Толстым в дороге: «Веде бедствие вино: читали «Винокура» (пьеса Толстого «Первый винокур»). Баба воронежская покупала книжку, от мужьяницы. Холод страшный. Зябли и даже заробел. Отдыхали против становаго, не входя, и потом в трактире. У отца девочки. Я дал книжки. Пришли ночевать в Богородицк, 34 версты от Тулы. Много народа: старый и молодой солдат, бабы, ребята-слесаря. Я говорил о войне. Поняли. Спал хорошо. Выходим дажкыше» (запись 5 мая, т. 50, с. 78—79).

⁵⁶ Уильям Томас Стэд, английский путешественник, в мае 1888 г. посетивший Толстого. Три главы его книги «Правда о России» (1888 г.) посвящены пребыванию в Ясной Поляне.

⁵⁷ Толстой очень любил гулять в этих посадках, которые в семье назывались Елочки. Особенно частыми прогулками стали в старости, когда хотелось уединения и покоя. «Я всегда люблюсь на эти елочки и, — говорил он, — это мое любимое место. И по утрам это — моя обычная прогулка. Иногда я сажусь и пишу» (А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого, т. II, М., 1923, с. 115). Часто приходила сюда Софья Андреевна в год смерти Толстого в моменты тяжелого душевного состояния: «...опять неутошно плакала. Ушла в елочки, пила там ветки...» (С. А. Толстая. Дневники в двух томах, т. II. 1901—1910. М., 1978, с. 202).

⁵⁸ А. А. Фет родился 23 ноября 1820 г.

⁵⁹ 1 февраля 1890 г. Толстой записал в Дневнике: «Встал бодро, пошел ходить, вернулся с намерением заняться — Никифоров с студентом. Ничего не делал — читал. Досадовал на студента, на то, что он глуп — стыдно» (т. 51, с. 15—16). Л. П. Никифоров — народник, занимался земледельческим и литературным трудом.

⁶⁰ «Токология, или наука о рождении детей». Книга для женщин д-ра медицины Алоизы Стокгэм. С разрешения автора перевел с английского С. Долгов. М., 1892. 2 февраля 1890 г. Толстой написал к ней предисловие.

⁶¹ В 1887 г. А. Ф. Кони, в ту пору прокурор Петербургского окружного суда, рассказал Толстому случай из своей судебной практики о трагической судьбе Розалии Они. Вначале Толстой посоветовал Кони самому написать рассказ на этот сюжет, однако эта история так захватила Толстого, что через год он прислал в Кони разрешения воспользоваться этой темой для своего будущего романа («Воскресение»). Именно тогда роман и получил название «Ковневской повести»; Или «Ковневского рассказа».

⁶² Статья опублик. в т. 27, с. 536—540.

⁶³ 25 марта 1890 г. Толстой ответил Н. П. Вагнеру письмом, в котором выражал сожаление по поводу того, что «огорчил, хотя и нечаянно, человека, которого любил и уважал». Далее он подробно изложил свою точку зрения на суеверия, к которым относил и спиритизм, «Суеверия, — писал Толстой, — это те ложки дегтю, губящие бочки меду, и их нельзя не ненавидеть или, по крайней мере, не смеяться над ними» (т. 65, с. 59).

⁶⁴ А. М. Новиков, учитель младших сыновей Толстого, также преподававший в школе, вспоминал о закрытии ее: «...школа существовала только месяца два: священник из соседнего села донес о существовании нижем не разрешенной школы, приехал благочинный, навел следствие, чему учат детей, ужаснулся, что не учат молитвеннику и «закону божьему». Затем приехал инспектор, детей разогнали, книги конфисковали, школу запечатали, а с графини С. А. Толстой взяли подписку, что впредь она не допустит устройства у себя школы, и поздравил ее, что она благодаря протекции губернатора еще дешево отделалась, а то сидеть бы Марье Львовне и всем нам в Тульском остроге» (Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников в двух томах. Том первый. М., 1978, с. 442).

⁶⁵ Статья Толстого «Для чего люди одурманиваются?» печаталась в качестве предисловия к книге: П. С. А. Лексева. О пьянстве. М., 1891. Запись Толстого в дневнике за 18 мая 1890 г. приведена не совсем точно.

⁶⁶ В «Новом времени», № 5110, 23 мая 1890 г. С. А. Толстая писала: «В виду того, что незнакомые посетители Ясной Поляны не могут быть всегда допущены, по причине

последнего нездоровья, к графу Льву Николаевичу Толстому, графиня Софья Андреевна просит предварительно извещать о посещении и делать запрос о возможности приема посетителей больным, что и избавило бы многих от бесполезного труда путешествия».

⁶⁷ Вероятно, имеется в виду предисловие Толстого к русскому переводу книги А. Баллу «Катехизис непротивления».

⁶⁸ Томас Стивенс (1841—1904) — путешественник, корреспондент американской газеты «New York World», ездивший из Нью-Йорка в Восточную Африку на поиски английского путешественника Стенли. 22 июня 1890 г. Стивенс посетил Толстого.

⁶⁹ Чепыж — старый дубово-липовый лес с вековыми деревьями, ближайший к дому Толстого. Место труда и отдыха Толстого. Чепыж упоминается в романе «Война и мир».

⁷⁰ Рассказ Л. Л. Толстого «Монтекристо» был напечатан, в журн. «Родник», 1891, № 4. Рассказ «Любовь» — в «Книжках недели», 1891, март, под псевдонимом Л. Львов.

⁷¹ Мысли Шопенгауэра о писательстве (из «Parerga und Paralipomena») за подписью L. — «Русские ведомости», 1891, № 80, 23 марта.

⁷² Картина Н. Н. Ге «Распятие» по распоряжению Александра III была снята с выставки. По этому поводу Толстой писал художнику: «То, что картину сняли, и то, что по нее говорили, — очень хорошо и поучительно... Снятие с выставки — ваше торжество» (т. 67, с. 81—82).

⁷³ В феврале 1894 г. Т. Л. Толстая срочно выехала в Париж к заболевшему там брату Л. Л. Толстому.

⁷⁴ М. А. Шмидт (1844—1911) — близкий друг Л. Н. Толстого и всей семьи. Рукописи многих произведений Толстого переписаны ее рукой.

⁷⁵ Антимилитаристская статья «Тулон» (окончательное название «Христианство и патриотизм») была написана по поводу заключения франко-русского военного союза.

⁷⁶ С. А. Толстая неточно цитирует письмо Л. Н. Толстого к Л. Л. и Т. Л. Толстым от 12 марта 1894 г. (см.: т. 67, с. 77).

⁷⁷ Драма Толстого «Петр Хлебник» (см.: т. 29).

⁷⁸ Усадьба в 5 верстах от Ясной

Поляны, принадлежавшая Т. Л. Толстой.

⁷⁹ Павел Петрович Арбузов, яснополянский крестьянин. Первый учитель Толстого сапожному ремеслу.

⁸⁰ Впервые в России «Власти тьмы» была поставлена в Петербурге 17 октября 1895 г. на сцене театра Литературно-артистического кружка.

⁸¹ Урожд. М. А. Кузминская.

⁸² Первая постановка «Власти тьмы» в Москве состоялась 26 октября 1895 г. в театре М. В. Лентовского «Скоморох».

⁸³ Чтение «Власти тьмы» состоялось 23 ноября 1895 г. в конторе императорских театров.

⁸⁴ Имеются в виду осложнения (после смерти Толстого), вызванные спором между В. Г. Чертковым и А. Л. Толстой, с одной стороны, и С. А. Толстой — с другой, за право владения и пользования архивом Толстого, хранившимся в Историческом музее в отдельной комнате, где обычно занималась С. А. Толстая. В одном из заявлений спорящей стороны выдвигалось требование: никого в хранилище не допускать.

⁸⁵ Филипп Родионович Егоров.

⁸⁶ 23 февраля 1895 г. семью Толстого постигло огромное горе: от скарлатины умер младший, семилетний сын Ванечка. По словам старшей дочери Толстого Татьяны Львовны, ее мать «никогда не оправилась от этого горя».

⁸⁷ Пелагея Васильевна Чжова, любимая няня композитора, прожившая с ним всю жизнь.

⁸⁸ Собираясь уйти из Ясной Поляны, Толстой в письме от 24 октября 1910 г. обратился к М. П. Новикову с просьбой найти в деревне «хотя бы самую маленькую, но отдельную и теплую хату». Ответное письмо Новикова было одним из последних четырех писем, с которым познакомился Толстой за четыре дня до смерти в Астапове. Новиков не одобрил желания Толстого уйти из дома. Он писал: «То время, когда Вы должны были и для пользы дела и в силу пробудившегося в Вас сознания переменить внешние условия жизни — прошло для Вас, и теперь изменять их надолго нет никакого смысла. Жизнь ваша на краю заката, но она дорога и мне и всем родным Вам по духу людям, и все мы только желаем одного: чтобы она длилась возможно дольше, а это возможно только в тех привычных вам условиях, в которых Вы прожили 83 года» (ГМТ).

⁸⁹ Кроме упомянутых писем, было отправлено письмо Толстого к А. Ф. Кони от 28 марта 1896 г. «Если можете, — писал Толстой, — помогите нашему милому и бедному другу — женщине врачу... Пора бы, кажется, привыкнуть к нашему русскому беззаконию и жестокости, но всякий раз поражаешься, как чем-то новым и неожиданным. Так оно бессмысленно и фантастично» (т. 69, с. 78). В начале апреля 1896 г. Холевинская была освобождена и выслана в Астрахань.

⁹⁰ Приведенный текст взят из письма Л. Н. Толстого к С. А. Толстой от 9 сентября 1896 г. (т. 84, с. 255).

⁹¹ В августе 1896 г. Толстой получил из Голландии копию заявления голландского рабочего Ван-дер-Вера об отказе от военной службы. Придавая большое значение этому факту, Толстой решил опубликовать заявление со своим послесловием, под заглавием «Приближение конца». Статья печаталась за границей. Впервые в России появилась в 1911 г. с цензурными изыятиями (см.: т. 31).

⁹² Имеется в виду ответное письмо Толстого к А. М. Кальмыковой и другим от 31 августа 1896 г. по поводу запрещения комитетов грамотности. Это письмо явилось для Толстого поводом высказаться по самым острым политическим вопросам.

⁹³ 26 сентября 1896 г. Толстого посетили японский издатель Токутоми и его сотрудник Фукай.

⁹⁴ В. С. Соловьев. Смысл любви. — «Вопросы философии и психологии», 1892, № 14 и 15; 1893, № 17; 1894, № 21 и др.

⁹⁵ Комедия «Первый винокур» написана для народного театра в 1886 г. и представляет собой переработку рассказа «Как черенок крошечку выкупал». Несмотря на запрет цензуры, игралась в народных театрах.

⁹⁶ Генри Джордж (1839—1897) — американский экономист и политический деятель.

⁹⁷ Статья Э. Карпентера «Современная наука» в переводе С. Л. Толстого, с предисловием Л. Н. Толстого была напечатана в журн. «Северный вестник», 1898, № 3.

⁹⁸ Варианты «Возвзвания» позднее составили две статьи: «Где выход?» и «Неужели это так надо?» (см. т. 34).

⁹⁹ Б. Ноэль. Бетховен, его жизнь и творения, 1892, 3 тома.



Здание московского
книгоиздательства «Посредник»
Фотография.

Публикация А. А. Виноградовой

I

Август 1905 года. Я сижу на империале конки. В руках у меня пучок корректурных гранок. Я жадно читаю одну из них. Гранка испещрена выносками, вставками, поправками. Я с напряженным вниманием вглядываюсь в эти поправки. Эти поправки — Льва Толстого — *самого Толстого!* Эти гран-

ки — его новый рассказ «Корней Васильев» — я везу к корректорше «Посредника» А. И. Борисовой. Нужно сходить с империала; я бережно прячу гранки и с жалостью оглядываю своих соседей: из них никто не читал нового рассказа Толстого! И из тех, кто спешит по улице, нет такого счастливца, как я: я счастливее всех.

С лета 1905 года я работал в книгоиздательстве «Посредник», где всё и все были полны вниманием и любовью к жизни и мысли Л. Н. Толстого; где печатался тогда «Круг чтения» с его новыми рассказами. В «Посреднике» сходились десятки людей, близко и давно знавших Льва Николаевича; там всегда можно было застать кого-нибудь, от Бирюкова до простого мужика, только что вернувшихся из Ясной Поляны и полных рассказами о Льве Николаевиче, передававших с любовной точностью его мысли и слова. Я тогда же стал записывать кое-

что из того, что в обилии тогда слышал. Теперь вижу, что это «кое-что» очень невелико в сравнении с тем, что могло бы быть записано. Из этого «кое-что» я хочу здесь привести также только «кое-что». Думается, оно не лишено общего интереса*.

Осенью 1905 года «Посредник» решил издавать народный журнал. Заведовать сборанием материала и подготовкой его был приглашен поэт-рабочий Ф. Е. Поступаев, а я у него был в помощниках. Поступаев писал обличительные стихи, но это не мешало ему любить и передавать другим любовь к совсем иным созданиям искусства. Любимой его книгой был «Пан» Гамсуна, тогда мало кому известный. Однажды он прочел мне теперь всем известного, а тогда почти никому неведомого «Каменщика» Брюсова.

— Кто это? — воскликнул я в восторге.

— Это Брюсов.

Брюсов — это автор «О, закрой свои бледные ноги» — автор самого популярного и самого короткого стихотворения в России 1900-х годов. Поступаев стал читать другие его стихи «L'Ennuï de vivre». Я, знавший Брюсова по этому однострочному стихотворению и по ругательным рецензиям в журналах, был поражен. Когда к нам зашел Н. Н. Гусев, впоследствии секретарь и биограф Л. Н. Толстого, а тогда секретарь «Посредника», мы его усадили, и Поступаев прочел ему Брюсова. Гусев был растроган.

И у нас троих зародилась несбыточная мечта: а что, если эти стихи прочесть самому Льву Николаевичу? Это было очень страшно: Брюсов был «декадент», а Лев Николаевич не только «декадентских», но и вообще стихов не любил: мы знали это хорошо и по «Что такое искусство?», и по его предисловию к «Крестьянину» Поленца, и по его устным отзывам, доходившим до нас. Он не любил Некрасова и Алексея Толстого: где ж тут соваться с Брюсовым? Но чем страшнее, тем больше хотелось: мы успели полюбить многое в «Urbi et orbi...».

И вот Поступаеву представился случай поехать в Ясную Поляну. Он уезжал, а я ему шепнул: Федор Емельянович, а вы улучите минутку и прочтите Льву Николаевичу «Каменщика» и «L'Ennuï de vivre».

Поступаев вернулся из Ясной Поляны и много рассказывал о Толстом.

— А Брюсов? — тихонько спросил я его. — Читали?

— Читал. Со страхом. А он слушал. Нахмурился, брови сердитые. «Не люблю, — сказал, — стихов. Это все пустое. Ну, уж читайте».

Я начал с «Каменщика». Нарочно не поднимал на него глаз, чтобы не остановиться. Думаю: дочитаю — и кончено. Прочел и глянул на него. Вижу: брови подобрались, хмурость сошла, и ушам своим не верю: — Это хорошо, правдиво и сильно.

Тут я ободрился и попросил позволения еще прочесть.

— Читайте.

Я начал, а начинаются стихи с четверостишья, осмеянного во всех журналах:

Я жить устал среди людей и в днях,
Устал от смены дум, желаний, вкусов,
От смены истин, смены рифм в стихах,
Желал бы я не быть «Валерий Брюсов».

Я исподтишка глянул на него: слушает, весь слушает. Дальше:

Не пред людьми — от них уйти легко,
Но пред собой, перед своим сознанием.
Уже в бывшее цепь уходит далеко,
Которую зовут воспоминаньем.
Склонясь, иду вперед, растущий груз
влада
Дней, лет, имен, восторгов и падений.
За мной мои стихи бегут, крича,
Грозят мне замыслов недовершенных
тени.
Спят глаза сверканья без числа,
Слова из книг, истлевших в сердце-
сцепле,
И женщин жадные тела
Цепляются за звенья цепи.

Слушает — да как! Мы так не умеем, а я дальше:

И думы... Сколько их в одеждах золотых,
Заветных дум, взлелеянных с любовью,
Принявших плоть и оживленных кровью!..
Есть думы гордые, мои исканья Бога.
Но оскверненные притворством и игрой.
Есть думы-женщины, глядящие так строго;

* Некоторые из моих записей были уже напечатаны в журнале «Путь» (1913, № 8), но я решаюсь их перепечатать здесь по следующим причинам: а) я печатаю их здесь в более полном виде; б) печатая без искажений, сделанных ради цензуры; в) журнал «Путь» был настолько мало распространен, что напечатанная в нем статья моя «Из памяти о Л. Н. Толстом» не имеется даже в библиотеке Толстовского музея.

Есть думы-карлики с изогнутой спиной.

Куда б я ни бежал истоптанной дорогой —

Они летят, бегут, ползут за мной!

Слушает, слушает. Брови совсем добрые!

О, если б все забыть, быть вольным, одиноким!

В торжественной тиши раскинутых полей

Идти своим путем, бесцельным и широким,

Без будущих и прошлых дней...

Я кончил. А он молчит. Хорошо молчит. И вдруг сказал:

— В этих стихах есть что-то библейское.

И повторил, тронутый:

— Что-то от Библии.

Таков был отзыв сурового стихоборца Льва Толстого о стихах «декадента» Валерия Брюсова. К сожалению, мне не удалось сообщить самому поэту этот отзыв Толстого*.

С весны 1906 года потек впервые в России целый поток анархической литературы. Главное место в ней занимал Кропоткин. В «Посредник» хаживал молодой человек, высочайшего роста и добрейшей души, Николай Максимович Кузьмин. По убеждениям он колебался между Толстым и Кропоткиным. Осенью вышла книжка Кропоткина «Мораль анархизма». Кузьмин поехал с нею в Ясную Поляну — ему страстно хотелось знать, что скажет чтимый им Толстой о моральном трактате не менее чтимого им Кропоткина. Вернувшись от Толстого, Кузьмин вот что рассказал:

— Тотчас же по приезде он дал Льву Николаевичу «Мораль анархизма». Лев Николаевич ее прочел. Все сидели в столовой. Речь шла о революции, о политике, о государстве и сама собою перешла на Кропоткина. Все были согласны в том, что Кропоткин — выдающийся ученый и человек очень замечательный по нравственным качествам. Лев Николаевич молчал. Немного спустя он сказал: «Кропоткин — умный человек, и он образованный человек...»

* «В воспоминаниях самого Ф. Е. Поступаева («Лев Николаевич Толстой. Юбилейный сборник». Собрал и редактировал Н. Н. Гусев. ГИЗ, 1929, статья: «У Л. Н. Толстого», с. 238—240) рассказывается о чтении автором Л. Н. Толстому стихов Брюсова несколько иначе, чем у С. Н. Дурьлина. Мы считаем рассказ С. Н. Дурьлина более точным, так как он был записан со слов Ф. Е. Поступаева, через несколько дней после этого чтения, а воспоминания Ф. Е. Поступаева написаны в 1928 году. (Примеч. Н. Н. Гусева.)

Кузьмин был в восторге.

«И он — добрый человек, — продолжал Лев Николаевич радовать милейшего Кузьмина и вдруг закончил: — А все-таки Кропоткин — дурак!»

Все были поражены. Софья Андреевна сказала: «Левочка, что ты говоришь? Как грубо!»

«Да, он дурак, — упрямо продолжал Лев Николаевич. — Он не понимает того, что понимал простой мужик Сютяев; что все, решительно все — «в тебе», — Бог, живущий в каждом человеке».

Такова была оценка Толстым морального трактата Кропоткина; из которого возникла впоследствии его объемистая «Этика».

В сентябре 1907 года «Посредник» начал издавать журнал «Свободное воспитание»; идейно этот журнал был детищем IV тома сочинений Толстого и его Яснополянской школы.

Журнал этот просуществовал десять лет и вошел уже в историю русской педагогики как единственный орган, ратовавший за реформу педагогики, воспитания на основе свободы, то есть признания творческой личности ребенка. В журнале участвовал и Лев Николаевич. Для первого же номера журнала он дал свою статью «Беседы с детьми по нравственным вопросам». Это был возврат к педагогическим работам после 30-летнего перерыва: статья отражала его занятия с крестьянскими детьми, веденные им летом 1907 года. Однако тогдашние педагогические журналы почти не обратили внимания на это третичное выступление великого писателя на педагогическом поприще.

Лев Николаевич читал «Свободное воспитание». В одной из первых книжек журнала я изложил только что вышедшую немецкую книгу профессора Л. Гурлитта «Воспитание мужественности». Гурлитт доказывает необходимость творческого воспитания личности, считая истинно мужественными таких людей чистой воли и напряженного творчества, как Лютер, Р. Вагнер. К изложению мыслей Гурлитта я присоединил несколько своих замечаний о необходимости педагогической свободы для творческого воспитания личности. Лев Николаевич, занимавшийся тогда с деревенскими детьми географией и нравственными беседами, прочел мою статью. Тогда же через И. И. Горбунова мне был передан отзыв Льва Николаевича:

— Я согласен: свобода. Свобода нужна, но свобода всегда бывает для чего-нибудь

и от чего-нибудь. Свобода от насильственного обучения — это понятно, но для чего нужна человеку свобода? Можно ею воспользоваться для чего угодно. Настоящая свобода возможна только при соблюдении нравственного закона. Только религиозный человек — свободный человек.

Этот переданный мне И. И. Горбуновым отзыв Льва Николаевича выражал окончательный взгляд его на верховную задачу воспитания и образования.

Кажется, в апреле 1908 года я получил от Гусева письмо из Ясной Поляны. Он под секретом сообщал мне, что Лев Николаевич хочет написать против смертной казни и нуждается в материалах. Лев Николаевич нуждался не в тех материалах, которые пополнили бы его сведения о числе совершенных в России в те годы смертных казней и не в официальных сведениях о них. Гусев просил меня подыскать и выслать для Льва Николаевича наиболее живые и правдивые описания смертных казней, почерпнув их из известной мне литературы мемуаров.

Я послал, что мог найти.

Это Толстой готовился писать «Не могу молчать».

Конечно, и мысли, и чувства этого пламенного вопля против смертной казни были давно уже страдальным достоинством ума и сердца Толстого, и здесь Все уже давно было готово и ясно до ужаса.

Но суровая требовательность к себе как к писателю (все равно, что бы ни писалось: «Война и мир» или «Не могу молчать») привычно требовала, чтобы эти мысли и чувства еще и еще раз оперлись о крепкую почву подлинной действительности. Великому знатоку человеческой души нужно было знать, как *переживают* смертную казнь и приговоренные к ней, и свидетели ее. Вот почему ему нужно было прочесть целый ряд описаний смертных казней для того, чтобы написать пламенное воззвание «Не могу молчать», так же как нужно было прочесть целые горы исторических книг и мемуаров, чтобы написать роман «Война и мир»: Толстой всюду и всегда был один и тот же. Меня, помню, поразила тогда его глубокая, удивительная писательская добросовестность.

Я слушал рассказы о Толстом, читал корректуру с его поправками, знал довольно близко его друзей, делал в «Свободном воспитании», как умел, то дело, которое мы все, его делавшие, выводили из Яснополян-

ской школы, но, к удивлению многих, не ехал сам в Ясную Поляну. Я видел — на примере «Посредника», — сколько рук и с какою иногда величайшею нуждою стучали в дверь Толстого, отрывая его от труда, и мне было совестно без особой, прямой нужды, протягивать еще одну лишнюю руку и стучать в его трудовую дверь.

Но в 1909 году И. И. Горбунов, редактор «Посредника», сказал мне просто:

— Поедемте в Ясную. Я еду туда с корректурами. Повидаете старика.

Я согласился, и мы поехали. Я провел в Ясной Поляне весь день 20 октября 1909 года, с раннего утра до позднего вечера. В самый день посещения, выбирая удобную минуту, я записал там же, в Ясной, все слова самого Льва Николаевича и все содержание его речей. По приезде в Москву, 22 октября, я набросал вчерне весь рассказ о своем посещении Толстого, а 26—28 октября рассказ был пополнен описательной частью и принял тот вид, в котором он здесь печатается. Так как слова Льва Николаевича даны в нем в том самом виде, в котором я их записал — иные тут же, иные через несколько минут после, и так как весь рассказ вылился в одно целое впечатление, я не меняю в нем ни слова. Не сомневаюсь, что я не совладал девятнадцать лет тому назад со всеми своими впечатлениями, вынесенными из Ясной Поляны, и многое упустил, но зато я ничего не прибавил и не переименовал, как неизбежно бывает с воспоминаниями, записанными через долгий срок. Перечитывая теперь записанное в 1909 году, я вижу, что основное мое впечатление — глубокого трагического противоречия между Толстым и всем, что его окружало, — уловлено мною верно: через год он разорвал тень этих противоречий. Но кое-какие впечатления 1909 года, — например, впечатления от лица, речи и чтения Льва Николаевича, — мне хотелось бы дополнить: они живы во мне и через 19 лет, и хочется их сохранить полнее, чем они отражены в записи 1909 года, когда самым неотложным казалось записать его мысли, темы и проч.

Эти свои дополнительные впечатления, ни в чем не разнствующие от записи 1909 года, я не сливаю с этой записью, а помещаю после нее.

То же немногое, чем хотелось дополнить запись 1909 года при самом ее изложении, я помещаю в примечаниях к ней, везде оговаривая, что это — примечание 1928 г..

Вот что я записал в 1909 году.

II

Л. Н. Толстой — бесконечная, трудная, прекрасная загадка. Кому удастся ее решить безошибочно? Все обычные решения — не решения, а только приближения к решению, сделанные с точностью до одной десятой, одной тысячной и т. д. «Вещи познаются сравнением». Но среди нас, в нашей современности, Толстого не с кем сравнить, и ему нет подобных. Он — свидетель и обитатель иной современности, чем наша, и только там можно найти ему подобных. Эта его современность отделена от нашей, в которой довелось ему жить, давностями в столетия и тысячелетия; для нас его современность — не современность, для нас — это такое бесконечное, дряхлое, ветхое прошлое, о котором мы не можем и помыслить. Для него — это живая современность. Там с древними проро-

ками, основателями религий, мудрецами, во всю жизнь создавшими одну книгу или вовсе не создавшими книг, там он — не одинокий, как среди нас, там он — один из мудрецов. Для нас же он — *последний мудрец*, как был когда-то последний пророк, как будет, может быть, когда-нибудь последний ученый.

Единственное, что я хотел бы сказать о нем, это о том невозможном пересечении и столкновении двух современностей, его и нашей, которое я видел около него и которое поражает меня, когда я думаю о нем, последнем мудреце наших дней. Скажу я лишь то, что сам видел и слышал.

Была поздняя осень. Солнце взошло поздно, но по-летнему ярко. Дождей не было, всходы пропали, суля к лету голод, но в воздухе

Л. Н. Толстой
с единомышленниками на
хуторе Буткевичей. 1891 г.
Русаново (Одоевский уезд
Тульской губернии). Слева
направо: А. В. Алехин,

П. Г. Хохлов, Л. Н. Толстой,
С. И. Рошин, А. С. Буткевич,
Е. Ф. Буткевич, А. С. Буткевич,
Е. В. Буткевич.
Фотография
Е. С. Томашевича.



было тихо и ясно. Седой иней лежал на земле, на опавшем листу, на деревьях Яснополянского парка.

Лев Николаевич уже встал и ушел на прогулку. Вчера * к нему приезжали из Москвы поэт И. А. Белоусов с граммофонщиками и заставили его на четырех языках наговорить для граммофона, по инициативе Общества литераторов, чем утомили Льва Николаевича до чрезвычайности. Он просил писателя-крестьянина С. Т. Семенова: «Я вас до конца жизни не забуду, если вы избавите меня от них». Но С. Т. Семенов не забыл Л. Н. Толстого.

— Должно быть, на старика напала сегодня хорошая мысль, — говорит мой спутник, объясняя отсутствие Льва Николаевича.

А кругом идет обычная утренняя суетня богатого дворянского дома: работают ножами на кухне, в комнатах — обычное будничное «утро». Мы поднимаемся по лестнице и переходим в столовую.

Входит Александра Львовна Толстая. Она похожа на отца: те же грубоватые, сильные черты лица и та же простота и вместе мягкость обращения. Александра Львовна — вся в заботах об отце. Поездка в Москву, шум встречи и особенно проводов на Курском вокзале, когда приветствующая толпа прямо напирала на Льва Николаевича, так что его спутники опасались за него, вчерашняя история с назойливыми граммофонщиками расстраивают Льва Николаевича и ломают ему здоровье, и без того старчески хрупкое.

Особенно возмущает Александру Львовну фельетон С. Яблоновского в «Русском слове», в котором он пишет, что хотя Толстому и тяжело достались московские проводы, но ради общественной пользы их надо было бы повторить, если б Толстой вновь проезжал через Москву.

Разговор наш прерывается возгласом Андрея Львовича **, из-за двери протягивающего какое-то письмо и заявляющего: — Саша, вот прочитай, очень интересное письмо. Ты вслух прочти. И Иван Иванович послушает. О непротивлении злу.

Александра Львовна с удивлением читает письмо. Оно оказывается письмом управляющего именем Андрея Львовича «Таптыково», находящимся в Тульской губернии. Он доносит, что ночью на усадьбу

было совершено вооруженное нападение крестьянами. Они стреляли в стражника-черкеса. Черкес выстрелил и пробил у одного мужика полушубок, но никого не ранил.

Вскоре появляется и сам Андрей Львович. Здоровается.

— Читали? Как жаль, что черкес его не убил, а только прострелил полу!

— Слава Богу, что не убил, — отзывается Иван Иванович, и между ними завязывается разговор. Андрей Львович доказывает необходимость карать, сажать в тюрьмы, убивать, вешать. Иван Иванович доказывает обратное. Александра Львовна с горькой невозмутимостью смотрит на брата. Она приглашает нас прочесть и проверить вместе с нею новое писание Льва Николаевича — возражение П. В. Струве на его статью «Рокковые вопросы», в которой Струве подвергает почтительному разбору статью Льва Николаевича «Неизбежный переворот»...

В бывшей «Гусевской» комнате *, где на стене висит прекрасная фототипия «Иван Гус на костре» с надписью «Реформатору Толстому в память реформатора Гуса» ** — мы читаем и правим статью Льва Николаевича. Она существует в двух редакциях. Первая, более резкая, написана в остроумной полемической форме; в ней Лев Николаевич признает свое невежество перед, «кажется», профессором г. Струве; вторая редакция более мягкая и распространенная, чем первая. Но Лев Николаевич недоволен обеими и печатать статью не хочет ***.

Струве прислал Льву Николаевичу известный сборник «Вехи» и сначала произвел хорошее впечатление на Льва Николаевича — прежде всего, конечно, самой мыслью говорить об интеллигенции не как о соли земли, призванной учить народ. Но при ближайшем знакомстве он вынес от сборника обратное впечатление: его неприятно поразила яркая интеллигентность всех приемов, рассуждений и языка авторов, критикующих интеллигенцию. По словам Александры Львовны, Лев Николаевич «так и не мог понять некоторых мудреных слов и выражений сборника». Он составил даже особый словарь этих недоступных его пониманию интеллигентских слов, почерпнутых из сборника «Вехи».

* Комната, где работал секретарь Льва Николаевича — Н. Н. Гусев. (Примеч. 1928 г.)

** Эта картина была прислана Л. Н. Толстому в июле 1909 года обществом «Славия». (Примеч. И. И. Гусева.)

*** Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч., Юбилейное издание. М., ГИХЛ, 1928—1958, т. 38, с. 336—340. (Примеч. ред.)

* По данным Н. Н. Гусева, И. А. Белоусов посетил Ясную Поляну 18 октября. (Примеч. ред.)

** Четвертый сын Л. Н. Толстого, родился в 1877 году, умер в 1916 году.

В октябре же написана другая, прочтенная нами, статья Льва Николаевича — письмо, предназначавшееся для «Руси», по поводу письма одной дамы, им полученного. Эта дама обличала его за выступление против смертной казни, находя, что именно из этого, что никто не должен убивать, и вытекает обязанность государства — убивать преступивших эту заповедь. Лев Николаевич отмечает это поразившее его письмо как характерное для верхних слоев общества. Впрочем, и этой своей статьей он недоволен и не предполагает печатать.

А вот Андрей Львович, присутствующий при нашем чтении, очень доволен, только не письмом своего отца, а письмом дамы: он просит его в оригинале и внимательно перечитывает.

Кроме этих статей, я прочел еще новые статьи «Разговор с крестьянином» о земле и о непротииении и статью, которую Лев Николаевич называет «Чингис-хан с телеграфами»*. В ней Лев Николаевич вспоминает о том, как, бывало, на его памяти, народ с энтузиазмом встречал Николая I, путешествовавшего по России, и как теперь встречает с ненавистью путешествующего Николая II и доказывает, что уважение к власти в народе исчезает и недалеко то время, когда это уважение совсем исчезнет.

Зовут к завтраку.

Софья Андреевна — моложавая для своих 65 лет, из которых она, по ее словам, одиннадцать лет кормила детей, — вся захвачена историей нападения на усадьбу Андрея Львовича. Она, как барыня из «Плодов просвещения», мечет слова, скучные, упорные, женские слова, обращенные на Льва Николаевича и его воззрения.

— Я ночи не сплю, — говорит она, — мне все кажется: лезут, нападают — и я же не смею вести черкеса! Я не смею дать ему ружье!

И она сыплет без конца сетованиями, упреками, укорами. Она уже жалуется на свою судьбу.

— Мне всегда вспоминаются слова папа, — обращается она к Андрею Львовичу. — Он мне раз сказал, что супруги всегда тянут с двух концов за лист бумаги — и живут до тех пор вместе, пока лист не разорвется.

— Вы с отцом рвете лист уже сорок лет, — ну, и рвите еще, — отвечает Андрей Львович. Скучно, тяжело, совестно.

Из передней доносится голос Льва Николаевича. Иван Иванович устремляется к нему, и они, забыв о завтраке, углубляются в кабинет Льва Николаевича в чтение корректур его новой статьи. Через некоторое время слышу голос Льва Николаевича и выхожу ему навстречу. Вот он — Лев Толстой.

Старый, старый старик. На кого он похож? На деревенского деда: такие живут на пчельниках, прекрасные светлого старостью старики; на престарелого батюшку сельского, на дьякона-простаца. Он весь седой, у него белая, чистая, прекрасная седина; серебристые волосики переплетаются в серебряную мягкую ткань; только в усах легкая желтизна. Чудесная прекрасная старость! Как молодости не завидовать ей? Старчески ясные глаза; их цвет — цвет воды Белого моря: сине-серый и мутно-прозрачный. Но как внимательно, быстро, как запоминающе он смотрит! Кажется, сразу видит всего человека и все, что в человеке. Какой он живой со своей быстрой, деятельной походкой частыми шагами; какой он не старый, хочется сказать, несмотря на свою глубокою, такую ясную, несомненную старость. Он весь с головы до ног, от своей вогнутой худой старческой шеи, до нависших белых бровей до темной блузы, до веревочки, перекинутой через шею, на которой привешены у него спрятанные в боковом кармане часы, — он весь знакомый, тысячу раз виденный, как старый дед, которого с детства привык видеть, потом уехал от него и вот приехал и вот опять видишь. Он что-то говорит Александре Львовне. Иван Иванович называет ему меня. Я невольно долго задерживаю его руку в моей.

И сразу мы оба заговариваем о Гусеве.

— Я видел его сегодня во сне, — говорит Лев Николаевич, — как живого видел, как будто бы он со мной и не ставался.

— И хорошо видели? — спрашиваю я.

— Прекрасно, прекрасно*.

Уходим в столовую. Лев Николаевич завтракает. И опять видно, какой он старик: жует медленно, долго, на обе стороны: кажется, борода и нос тоже жуют.

Разговор сразу вернулся к попытке «экспроприации» у Андрея Львовича. Собственно, нет разговора, но Софья Андреевна и Андрей Львович усердно вызывают Льва Ни-

* Была напечатана под названием «Пора понять». См.: Л. Н. Толстой. Юб. изд., т. 38. (Примеч. ред.)

* Сон этот произвел такое сильное впечатление на Льва Николаевича, что он в тот же день, 20 октября, писал Гусеву: «Всю нынешнюю ночь видел вас во сне, милый Николай Николаевич, и видел, что вам хорошо, что у вас друзья, что вас ценят, и что мы с вами хорошо говорили». (Н. Гусев. Из Ясной Поляны в Чердынь. М., 1911, с. 44. (Примеч. 1928 г.)

колаевича на разговор. Опять черкесы, «звери без души», стражники, непротвиление злу. Говорит больше всех Софья Андреевна.

— Ты, — обращается она к Льву Николаевичу, — вот ничего не говоришь о том, что они могли убить управляющего, Ванечку — его сына (а он у него один), — Андриюшу, детей... Ты всегда на стороне этих мужиков и зверей, а о тех, в кого они стреляют, ты не думаешь...

И долго, и утомительно до неловкости она повторяет одно и то же.

Лев Николаевич сначала только повторял: — Да, да... вот какая беда случилась.

Потом стал говорить. По-старчески тихо, мягко, как-то особенно терпимо и обстоятельно, как будто в первый раз ему приходится объяснять все это ребенку, который не понимает чего-то самого важного и нужного и в первый раз пришел спросить об этом Толстого, — отвечает он Софье Андреевне. А она — опять не могу не вспомнить барыню из «Плодов просвещения», — беспрестанно перебивает его и, в сущности, не слушает.

Есть что-то непередаваемое в манере говорить Толстого. Она обезоруживает противника и спорящего не словами, не доводами, хотя они всегда терпеливо обоснованы и все даются по существу, но самой терпимостью, простым спокойствием, какой-то мягкой и решительной уверенностью в правоте истины, которую должны же все понять, которая так очевидна. Я не знаю лучшего слова, передающего самую основу бесед Толстого, как душкинское слово «уверчивость». Его речи уверчивы. Тот, кто поймет, что значит это редкое слово, тот поймет, как говорит Толстой.

— Есть только два средства заставить людей не насильничать, не воровать и не убивать, — говорит Лев Николаевич. — Один способ — средство страха — способ ненадежный. Другой — внутреннее сознание людей, что убивать и совершать насилия грешно, — единственно верный.

Софья Андреевна не слушает и снова спрашивает, что же делать с этими «зверями», жуликами, экспроприаторами, революционерами? И Лев Николаевич опять терпеливо повторяет все, что он только что говорил. На этот раз он начинает в обратном порядке. Он говорит, что из двух способов уничтожить насилие первый — это пробуждение нравственного сознания... На этот раз Софья Андреевна не дает ему договорить, восклицая:

— Сентиментальность!

Вступает Андрей Львович:

— Ты послушай дальше папа. Второй способ, о котором он сейчас скажет, как раз для жуликов подойдет...

Софья Андреевна перебивает и сына. Она утверждает, что в России теперь ни у кого в народе уже нет внутреннего сознания и остается лишь один способ страха и наказания. Она ссылается на то, что пишут об этом в «Гражданине»*, хотя тут же оговаривается, что не сочувствует его направлению.

Лев Николаевич по-прежнему мягко отвечает:

— Если бы действительно так было, как ты говоришь, то нас давно бы и в живых не было.

И подробно объясняет, что *нам* (он подчеркивает это *нам*: он все время говорит о *нас*, не отделяя себя от Софьи Андреевны и Андрея Львовича) надо больше всего стараться жить в мире с мужиками, больше всего надеяться на средство религиозного сознания, потому что благодаря тому, что оно еще живо в народе, он не творит насилий над нами.

Сам собой, однако, как-то утихает разговор о стражниках и мужиках. Лев Николаевич беседует с Горбуновым о новой серии народных изданий «Посредника» по религии, задача которой — дать краткие извлечения и характеристики из основных книг всех религий мира.

Он рад, что составил книгу мыслей «На каждый день». Она облегчает ему ответы на бесчисленные письма, получаемые им с разными вопросами религиозного и нравственного содержания.

— Один студент, Крашенинников, спрашивает, зачем нужны страдания, если Бог есть любовь. Это все оттого, что «Бог — творец» и проч. Раз он — творец, то как же сотворил такое гадкое место, где есть страдания? Это всегда спрашивают юноши и молодые люди. Я ему послал два дня из «Июня» и «Июля» «На каждый день». Там все очевидно, и прекрасно, и подробно. Там есть и Иоанн Златоуст, и стойки, и новые... Не понимают, что в страданиях освобождается дух и умалется плоть»**.

Александра Львовна спрашивает Льва Николаевича, хочет ли он принять мужика, который приехал к нему из Воронежской губернии. У него, по ее словам, лицо умное и светлое; ей хочется знать, ошиблась она в нем или нет?

Андрей Львович замечает:

* Газета, издававшаяся князем В. П. Мещерским, крайне правая по направлению. (Примеч. 1928 г.)

** Письмо студента В. Е. Крашенинникова было получено 19 октября 1909 года. По поручению Л. Н. Толстого ответ был послан где-то между 20 и 29 октября 1909 года. (Примеч. ред.)

— Они всегда так: поговорят, поговорят, потом попросят денег на дорогу.

Лев Николаевич уходит беседовать с мужиком.

Проходит полчаса. Иван Иванович заходит на минутку в комнату Льва Николаевича и видит, что мужик что-то показывает Льву Николаевичу в Евангелии.

Появляется Лев Николаевич и просит Александру Львовну дать мужику книг и накормить его.

— Такой умный мужик, — делится Лев Николаевич впечатлениями. — Он объяснял мне Нагорную Проповедь, и все понимает прекрасно, духовно. И совсем один: у него в деревне борьба с попом. Я говорю ему: «Не надо спорить, не надо ожесточаться». Но как подумаешь, что ведь все против него!.. Всегда все с этого начинают.

Лев Николаевич надписывает ему свою карточку.

Как-то случайно между рассказом о мужике разговор заходит об январской книжке «Русской мысли» за этот год.

— Это сумасшедший дом, — говорит Лев Николаевич. — Я вчера весь вечер читал, прочел повесть, рассказ и стихи*. В мое время редакторы старались в январскую книжку помещать все лучшее... Я отмечал пустые места в повести «Конь бледный». 319 мест! Или совсем пустые, или стоят одни «ну»... Сколько этих «ну»? А ведь они получают с листа. Это значит 180 рублей лишних. И подумать: эти деньги они отнимают у этого честного, умного, прекрасного мужика, — вот как тот, что был у меня.

— Стоило вам, Лев Николаевич, читать и отмечать! — говорит Иван Иванович.

— Нет, отчего же? Я прочел два рассказа и стихи. Сумасшедший дом.

Я просмотрел потом ту книжку «Русской мысли», которую читал Лев Николаевич. По словам Александры Львовны, Лев Николаевич

«по своему обычаю читать такие произведения» (ее выражение) прочел повесть Ропшина* кусками, идя от конца к началу. Читая, он отметил те 319 пропусков, пустых мест, «ну» и проч., которые так его возмутили. О повести он сказал еще, что Ропшин пытается дать своим героям, революционерам, религиозную основу их деятельности: это очень характерно.

— Он сознает, стало быть, что в самой деятельности его революционеров нет никакой основы.

Рассказ, прочитанный Толстым, — «Белая березка» Ф. Сологуба. На нем очень интересные обильные отметки Льва Николаевича. Они уясняют требования Толстого к языку.

Он подчеркнул все слова и выражения, которые ему не нравятся. Несомненно, ему не нравится и самый сюжет рассказа: некий мальчик Сережа любит какую-то девочку. Его дразнят этой любовью. Особенно дразнит румяная кузина Лиза. Он обнимает белую березку в саду и шепчет ей слова любви.

Сологуб пишет: «Легкое трепетание пробежало по тонкому телу березы, зашевелили веселые, невинные листочки нарядного деревца, и туманивший голову запах, сладкий запах северной белой березы нежно обвеял мальчика».

Толстой недоволено подчеркнул эпитеты к «листочкам» — *невинные*, к березе *северная*; они излишни: все листочки — невинны, виновных листочков не бывает; все березы — северные — южных нет. Сологуб рассказывает про Сережу: «Он ушел в свою тесную каморку наверху, сел у окна и глядел на розоватое, странное и милое небо». Толстой зачеркивает «странное»; если всеми видимое и всем ведомое небо — странно, то что же тогда не странно в мире? Вот к мальчику пришла кузина Лиза, символизирующая у Сологуба жизнь. «Уж он предчувствует, что не с добром пришла. И когда же с добром приходит она, румяная и *дебелая*?.. Ласково спрашивает Лиза: — *Милый*. Лежишь, встать не можешь?..» «Румяная и *дебелая*» — сколько раз Сологуб прилагал этот эпитет к слову жизнь (или к олицетворениям ее): Толстой с неудовольствием зачеркивает «*дебелая*» и вы-

* Повесть «Конь бледный» В. Ропшина (Б. Савинкова), рассказ «Белая березка» Ф. Сологуба; стихи: «Друзьям» А. Блока, «Отречение» В. Брюсова, «Смерки» А. Белого, «Петухи» З. Гиппиус, «Ужель мою святыню...» Д. Мережковского, «Иоанн Креститель» С. Соловьева и «Ты царь. Решеткой золотой...» Ф. Сологуба. В той же книжке «Русской мысли» остались не прочитанными Толстым очерки М. Пришвина «У стен града невидимого» и повесть Н. Тимковского «Под чехлом». В отделе статей помещена была статья (25—60 с.) Льва Шестова «Разрушающий и создающий мир» (по поводу 80-летнего юбилея Толстого). Статью эту автор кончает словами: «Вероятно, статья эта не попадет на глаза Толстому... но если попадет, он, наверное, скажет обо мне, как говорил о Ницше: «рака», или «безумный, не испугавшись ни синедриона, ни гненьи огненной» (с. 60). Автор вдвойне ошибся: статья его «попалась на глаза Толстому», но, просмотрев ее, он не сказал ничего. (Примеч. 1928 г.)

* В. Ропшин — литературный псевдоним Б. В. Савинкова, одного из лидеров партии эсеров. Участвовал в убийствах министра внутренних дел В. К. Плеве, московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича. В 1909 году опубликовал роман «Конь бледный», главная мысль которого в том, что якобы всякий революционный протест, всякое революционное действие бессмысленно, бесцельно и безнравственно. В дальнейшем Б. В. Савинков встал на путь открытой борьбы с Советской властью. (Примеч. ред.)

кидывает приторное обращение «Милый». «Ночь. Спали так спокойно все деревья в саду и заслушались. Заслушались. Замечтались». Все это описание деревьев ночью зачеркнул Толстой: ему, великому реалисту, несносен сологубовский импрессионизм ритмических повторов. Объясняясь в любви, Сережа говорит березке: «Веточки раскрылись, в простор потянулись, листочками покрылись». Толстой заключает эту фразу знаком вопроса. «Примкнул к ней Сережа. Обнял руками ее тонкий ствол» — недовольно отмечает Толстой и эту фразу. К концу рассказа его недовольство явно возрастает. Сережа «прижался к нежной коре» березки, «замер в сладком восторге». «Две жизни сплелись и трепетали, и пылали пламенем любви и восторга, и вкушали горькую безнадежность ласк». Эту столь характерную для Сологуба «горькую безнадежность ласк» Толстой сопровождает пометкой: «Бред полный». Приходит смерть. Она спрашивает березку: «Чего же ты хочешь?» Истекшая сладким соком, шептала белая березка: «Только мгновения! Темен быт, и тяжки оковы существования, — о, дай мне только одно пламенное мгновение!» И с воплем безумного счастья упали на землю, умирая, два трепетно холодеющие тела». Этот до крайности типичный для творчества Сологуба эпизод, эта жалоба: «темен быт, и тяжки оковы существования» — встречает самую суровую оценку со стороны Толстого: «полное сумасшествие»*.

Беседа с мужиком наталкивает Льва Николаевича на мысли о современном положении деревни, об отрубных участках, покровительствуемых правительством Столыпина, о праве отца передавать землю помимо желания сына и выходить из общины и т. д. Он относится совершенно отрицательно и к насаждению отрубных хозяйств, и к этому праву продажи земли, и к проводимому правительством разрушению общины. Заходит речь о народном пьянстве, о депутате Государственной думы М. Д. Чельшеве, известном своею борьбою с народным пьянством, и о придуманных им ярлыках. Эти ярлыки, указывающие на вред вина как яда, должны быть прилепляемы, по мысли Чельшева, к каждой бутылке водки, выпускаемой в продажу. К составлению текста этих ярлыков Чельшев привлек Толстого. Лев Николаевич хочет дать составленный им ярлык и своему

недавнему собеседнику мужику, который и курит, но Лев Николаевич надеется, что перестанет. Ярлык не удается отыскать в бумагах. И опять Толстой заводит речь о «сумасшедшем доме» современной литературы.

— Андреев их всех талантливее в этом сумасшедшем доме. Оттого у него такой успех.

И от «сумасшедшей литературы» переходит к другому «сумасшедшему» — к городу и городской жизни. Лев Николаевич с ужасом говорит о ней. Недавний двукратный проезд его через Москву толкнул его, давно не покидавшего яснополянских полей, лицом к лицу с городом, — и он весь охвачен своей давней, еще более окрепшей нелюбовью к городской цивилизации, к шуму, суете и ложной занятости современного города. Все, что он видел в Москве в эти проезды через нее, — весь рост Москвы как города: многоэтажные дома, трамвай, автомобили, неудержимый людской поток, стремящийся по улицам к центру, — все эти формы городской цивилизации неприятны ему, и жизнь, протекающая в этих формах, кажется ему глубоко ложной и безумной. И, сочувственно улыбаясь, он, счастливый тем, что ни этого шума, ни этого вопля города не доносится в окна, говорит мне, жалея меня:

— А вот вам завтра возвращаться в этот сумасшедший дом.

Я взглядываю на него. В манерах Толстого говорить и ходить, в его движениях, во всем есть что-то бесконечно спокойное и чуждое нашей городской суетливости с ее беспрерывными сменами впечатлений и действий.

Вспоминая недавнюю какую-то телеграмму В. Г. Черткова, Лев Николаевич качает головой и добродушно подсмеивается над европейской слабостью Черткова к телеграммам. Чертков любит телеграфировать, как истый европеец, и шлет Толстому телеграммы, а Лев Николаевич считает лучшим способом передвижения — пешком и на лошадях, не любит жизненной спешки, телеграмм, телефонов: зачем торопиться и тревожить людей?

Воронежский мужик хочет проститься.

— Может, никогда больше не увидимся.

— Конечно, не увидимся, — говорит с легкой Лев Николаевич и спускается вниз с мужиком.

Через несколько минут нас с Иваном Ивановичем зовут туда же: Лев Николаевич будет читать сам свой «Разговор с крестьянином».

* Вчитываясь теперь в эти отметки Толстого, вижу, что он зачеркнул все особенности языка и слога Сологуба, сурово поставил крест над всем его творчеством. (Примеч. 1928 г.)

В небольшой уединенной комнате читает Лев Николаевич свой «Разговор» между стариком крестьянином и заночевавшим у него в избе прохожим. «Разговор» затрагивает вопросы о земле, о солдатстве, о налогах и т. д. Лев Николаевич, поджав левую ногу, располагается на диване, рядом с ним я, поодаль Иван Иванович, напротив Льва Николаевича — мужик.

Читает он превосходно. Его чтение — величайшая простота: нет ни игры голосом, ни искусственно найденных и удерживаемых интонаций. Если закрыть глаза, то покажется, что присутствуешь при простой беседе какого-нибудь умного старика со случайным, много видевшим на своем веку прохожим. Беседуют они чинно, не спеша, взвешивая каждое слово: дело у них идет не о пустяках, а о самом важном для крестьянина, — они беседуют, а ты наслаждаешься не тем даже, о чем они говорят, а прекрасной, чистой, образной, настоящей народной речью, где каждое слово живет своей особой жизнью, блестит своей особой окраской.

Мужик следит за разговором с горящими глазами.

К концу разговора Лев Николаевич устает и дочитать статью передает Горбунову. Потом указывает мужику на ремингтонный список «Разговора» и говорит:

— Я бы тебе и это дал, да не хочу, чтоб ты из-за меня в беду попал. А те книги держать можно.

Мужик восклицает:

— Вот когда бы такой разговор начать в деревне, да если б докончить его дали! А то разве так договорить дадут?

В передней Лев Николаевич прощается с мужиком:

— Смотри осторожнее. А то мне будет горе, если ты из-за меня потерпишь.

Лев Николаевич отправляется на обычную прогулку верхом, на этот раз не на Делире, на котором ездит обыкновенно, а на Желтом.

Александра Львовна, Иван Иванович, В. М. Феокритова и я идем гулять. Ясная Поляна производит хорошее впечатление — вид у нее зажиточной деревни. На деревне любопытная встреча.

У одной из изб стоит маленькая невзрачная старушка. Лицо у нее все в мелких, мелких морщинках, — из таких лиц, про которые говорят: лицо как печеное яблоко.

— Знаете, кто эта старуха? — спрашивает Александра Львовна. — Это ученица Льва Николаевича.

И опять вспоминаешь: как он-то стар, если его ученица из его знаменитой Яснополянской

школы * такая старуха, а ведь он старше ее, по крайней мере, на 20 лет. Очень мало осталось в живых его учеников, а учениц, кроме этой, и вовсе не осталось **. А учитель, на нашу радость, жив.

Бродили в поле. Невдалеке виден погост, белая церковь, где погребены родители Льва Николаевича, его воспитательницы: Т. А. Ергольская и П. И. Юшкова, его умершие дети.

После прогулки верхом Лев Николаевич спит. В шесть часов обед. Все сходимся за столом.

По дороге к дому Лев Николаевич встретил охромевшую собаку Белку.

— Вы бы полечили собаку, — говорит он В. М. Феокритовой, переписчице на ремингтоне.

— Я смотрела. У нее ничего нет.

— У ней что-то внутреннее. — И Лев Николаевич подробно объясняет, что, по его мнению, «внутреннее» болит у собаки.

— А другая собака, я видел, ловит мышей.

— Что же, мыши вредят плодовым деревьям, — вставляет Софья Андреевна. — Очень хорошо делает, что ловит.

А Лев Николаевич обращается к внуку, Илюше Толстому.

— Она ест мышей. Схватит — и хляст, хляст. Это так противно.

Речь заходит о лошадях. Александра Львовна подсмеивается над словаком Маковицкий, который не понимает какого-то русского выражения, относящегося к верховой езде. А Лев Николаевич с хитрым видом произносит такое слово, которого никто не понимает.

— Слепок.

И объясняет Маковицкому, что оно значит: «это всем интересно» ***.

Разговор идет живой и непринужденный. Лев Николаевич проголодался с прогулки. Он с удовольствием пьет квас и потчует им меня и других. Пьет квас и приговаривает:

* Я глубоко ценил Толстого-педагога и немало писал о нем в 1900—1910-х годах, например: «Толстой, как школьный учитель» («Свободное воспитание», 1910, ноябрь); посещением Толстого и объяснением его личности навеяна моя статья «Вечные дети» (там же, 1909, ноябрь. (Примеч. 1928 г.)

** Это была Ольга Ершова, рассказ которой про Льва Николаевича, записанный с ее слов Т. Л. Сухотиной, напечатан в «Толстовском ежегоднике на 1912 г.» М., 1912, с. 109—112. (Примеч. 1928 г.)

*** Увы! Я не знаю, что означает это слово. В 1909 году я упустил записать объяснение Толстого, а теперь не могу вспомнить. Когда я развернул словарь Даля, то оказалось, что в нем нет слова «ослепок». (Примеч. 1928 г.)

— А я у Магомета прочел, что самое сладкое питье — проглоченное слово гнева.

Обед кончен, но все остаются за столом. Опять вспоминаются современные писатели. Лев Николаевич все не может простить Ропшину его «ну», пустых мест и лишних 180 рублей, отнятых у мужика. Софья Андреевна вспоминает Дорошевича и его фельетоны в «Русском слове». Лев Николаевич соглашается со мной, что созданный Дорошевичем и перенятый всеми фельетонистами, особый «гоно-рарный стиль» с выделением из фразы отдельных слов и превращения их в самостоятельные строки, ведет к опошлению и извращению русского языка — опошлению, которому вообще содействует газетный язык.

Опять Толстой вспоминает о Леониде Андрееве. Заходит речь об его последних пьесах — «Анатэма» и «Анфиса»*. Лев Николаевич их еще не читал, но содержание знает. В «Русском слове» он прочел пародию на «Анфису»; в пародии герой любит не трех родных сестер, как в пьесе Андреева, а целых тринадцать сестер, и всех с именами на букву «А»: Анфису, Агафоклею, Анисью и т. д. Лев Николаевич много смеялся над пародией и теперь просит принести номер «Русского слова» и прочесть пародию вслух. Читает И. И. Горбунов напыщенно — трагическим голосом.

Лев Николаевич заразительно смеется — и со всеми хочет поделиться своим смехом:

— Очень смешно! И совсем без злобы... А бабушка у него в пьесе такая есть?

— Есть, — отвечаю я. — Она слепа, но все видит и слышит, как вещая.

— И, наверное, просто была обыкновенная старушка, — говорит Иван Иванович, улыбаясь.

— Вероятно, Андреев замыслил представить что-то в роде греческого фатума, — говорю я.

— Да, да, — отвечает Лев Николаевич. — Как легко стали теперь все писать стихи! Какие, богатые рифмы! Так умеют теперь это делать. Даже здесь, в газете.

— Когда сравниваешь старых поэтов — Фета, Тютчева с новыми, видишь, что у стариков нет таких изысканных рифм, размеров и т. д. Каждый современный третьестепенный поэт разнообразнее их в этом отношении, — говорю я.

— Да, — соглашается Лев Николаевич. — Зато у Тютчева ни одного слова нельзя за-

менить другим. Они не поймут, что самое прекрасное — просто. Я видел недавно картины в кинематографе. Мне больше всего понравилось самое простое: идет баба за водой на закате. Что может быть проще? Это так просто и прекрасно: она медленно, не торопясь, как будто ее никто не видит, проходит за водой к речке. А солнце садится. Или: под вечер овцы бредут под горку. Тихо. Я с наслаждением смотрел. И это так просто и прекрасно.

Опять возвращается Лев Николаевич к Андрееву.

— Я недавно перечитывал его рассказы. У меня есть два тома. Первые его рассказы прекрасны. Принеси, Саша.

Александра Львовна приносит I и III томы рассказов Андреева. Лев Николаевич их перелистывает:

— Как раз все самое слабое и пустое больше всего у него понравилось, и он подумал, что так-то и надо писать. Вот рассказ «Молчание». Начало и середина — прекрасные, а конец — фальшивый, приподнятый, выдуманный. То же и «На реке». А теперь он почти всегда так пишет*. Если он у меня будет, я скажу ему это**.

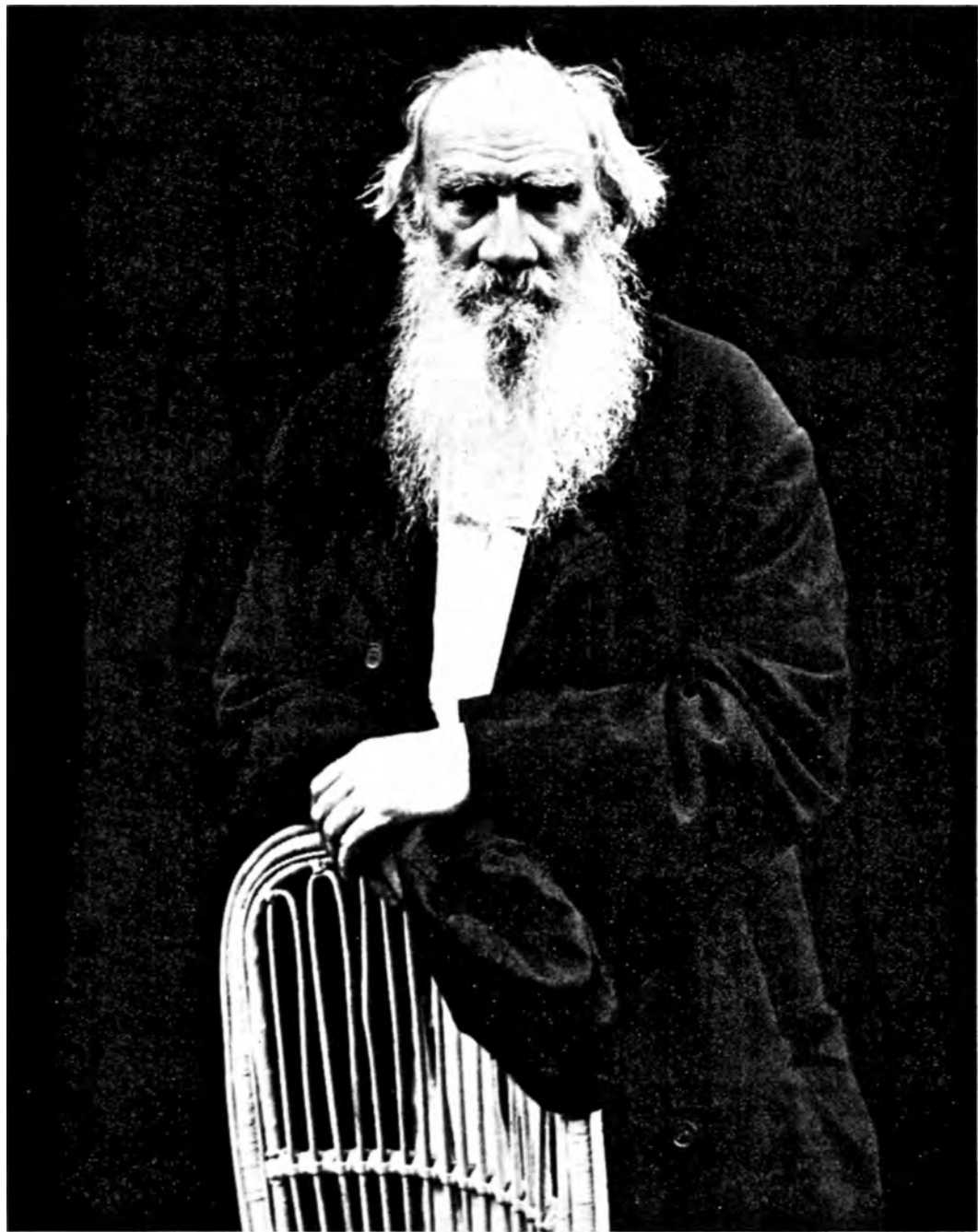
Лев Николаевич делает несколько замечаний о вредном влиянии славы и денег на талант Андреева.

И. И. Горбунов рассказывает со слов поэта И. А. Белоусова о пьяной истории, учиненной Андреевым на вокзале в присутствии Белоусова. Андреев поссорился с каким-то неизвестным господином, и дело дошло до того, что Андреев и тот господин обменялись визитными карточками для дуэли, и история благо-

* Не привожу оценки рассказов Андреева, сделанной Толстым по 5-балльной системе и тогда же мною выписанной; под каждым рассказом Лев Николаевич ставил Андрееву балл. Оценка эта впоследствии была приведена в статье А. Е. Грузинского «Яснополянская библиотека» («Толстовский ежегодник, 1912 г.», М., 1912, с. 141). Внесу только две поправки в сообщение Грузинского. Он пишет: «Молчание» — носит отметку 5 на третьей главе, там, где о Иван ночью падает на пустую постель дочери». Точнее сказать: пятерка Толстого стоит под частью рассказа, до слов: «В ту ночь это было...» После отметки, поставленной под рассказом «Ложь» (ноль), у Грузинского пропущена помета Льва Николаевича: «...ложного рода». Об отношении Толстого к Андрееву и его творчеству см. заметку Н. Н. Гусева к «Переписке Л. Н. Толстого с Л. Андреевым», — «Толстой и о Толстом. Новые материалы». Сборник 2, М., 1925, с. 67—68; там же библиография вопроса об отношениях Л. Н. Толстого и Л. Н. Андреева. (Примеч. 1928 г.)

** Леонид Андреев гостил в Ясной Поляне 21—22 апреля 1910 года. (Примеч. ред.)

* Обе пьесы впервые были поставлены в Москве в сезон 1909—1910 годов. «Анатэма» шел в Художественном театре. «Анфиса», запрещенная в Малом, шла в театре Нелюбина. (Примеч. 1928 г.)



получно разрешилась только потому, что господин, прочтя на карточке имя и фамилию Андреева, возопил: «Что же вы раньше не сказали, что вы — Леонид Андреев!»

Лев Николаевич выслушал рассказ, но привел в ответ на это прекрасный отзыв о личности Андреева, который ему дал поэт Леонид Семенов *, ныне ушедший в народ, подобно Александру Добролюбову **.

— А его мнением дорожу! — заключил Лев Николаевич. И видно, с какою любовью он относится к ним обоим — к Леониду Семенову и Добролюбову, и как много значит в его глазах их мнение.

— Он недавно посетил меня, — говорил Лев Николаевич о Добролюбове.

От Андреева речь переходит к театру. Мы с И. И. Горбуновым рассказываем Льву Николаевичу, как в Москве слепо увлекаются театром: один год — «Брандом», другой — «Жизнь человека», третий — «Синей птицей», четвертый — «Анатэмой». Иван Иванович объясняет это так:

— До семи часов вечера люди заняты, кипят, вертятся как белка в колесе. Вот подходит вечерние свободные часы. Что делать? Одни одурманивают себя вином, другие — театром.

Я по привычке повторяю:

— Когда для смертного умолкнет шумный день,

И на немые стогна града...

Это стихотворение горячо любят Лев Николаевич (оно вместе с другими стихотворениями Баратынского и Тютчева включено в «Круг чтения»).

— Да, да, — говорит Лев Николаевич. — Пушкин знал это и выразил удивительно.

— И в эти страшные часы, — говорю я, — когда человек остается один ночью с самим собой, он боится себя и спешит уйти в театр. А там, после театра, сон.

— А утром — газеты, — продолжает Лев Николаевич. — Когда я был в Москве, я поразился. Люди идут, едут, спешат, бегут —

и читают, читают на ходу газеты. Это отравя. Это для меня было ново. В мое время не было так. Да и газет почти не было. Одни «Московские ведомости». Я сам чувствую себя утром как-то не по себе, если нет писем. А ведь знаю, что это не нужно и вредно для меня.

Лев Николаевич встает и зовет:

— Ну, пойдёмте толковать ко мне о религиозных книжках.

— Я вас не изгоняю, — обертывается он ко мне ласково, видя, что я думаю, что приглашение относится к одному Ивану Ивановичу Горбунову.

Мы втроем уходим в кабинет Льва Николаевича.

Там тихо, в его кабинете.

У одной стены маленький круглый старинный столик, на нем простая старинная лампа под абажуром; рядом кресло. На стене много фотографий. Еще несколько столов и горок. А по главной стене тянется большая полка с энциклопедическим словарем Брокгауза. Над полкой в огромных, прекрасных гравюрах — «Сикстинская мадонна» — гравюрах, а не в гравюре: отдельно Мадонна, отдельно Сикст, отдельно св. Варвара, херувимы *. Из кабинета дверь в спальню Льва Николаевича.

Иван Иванович Горбунов подробно докладывает Льву Николаевичу обо всех своих планах относительно новой серии изданий «Посредника» по истории религии. Серия должна заключать в себе изложение учений и выбранные места из основных книг великих религиозных учений, начиная с древнейших китайских, индусских и кончая новыми.

Начинают обсуждение с древних китайских мудрецов. Как тихо, полный какого глубокого внимания и интереса говорит о них Лев Николаевич! Он их любит, он с ними волнуется, с ними спорит, с ними единомыслит, и они — ему подлинники современники, не то что мы с телеграммами, газетами, Л. Андреевым, театром, Сологубом и пр. У него среди них есть друзья, есть единомышленники, но есть и противники.

* Леонид Дмитриевич Семенов, талантливый поэт и писатель, автор рассказа «Смертная казнь», изданного с предисловием Толстого. Внук знаменитого ученого и деятеля освобождения крестьян П. П. Семенова-Тян-Шанского, он после успешных выступлений в литературе ушел в народ и, став последователем религиозного учения Александра Добролюбова (см. о нем дальше), жил простым батраком у крестьян той самой местности Рязанской губ., где у его деда было имение. Работая безвозмездно у крестьян, он проходил путь внутреннего духовного делания. Он был убит в 1917 году. Толстой вел с ним замечательную переписку в 1907—1908 годах. См. о Л. Семенове мой некролог: «Бегун». — Газета «Власть народа», 1 апреля 1918 года. (Примеч. 1928 г.)

** А. М. Добролюбов был в Ясной Поляне в начале сентября 1903 года. (Примеч. ред.)

* Помню, эта «Сикстинская мадонна» в кабинете «отрицателя» Толстого произвела на меня тогда сильнейшее впечатление: я ждал найти в его комнате «Распяtie» или «Что есть истина?» Ге — и вдруг: этот «чистейшей прелести чистейший образец» — картина Рафаэля, величайшее из изображений Богоматери. В украшениях и уранстве своего кабинета волен же был Толстой: у него было там только то, что он хотел, чтобы было. И вот там висела в чудесных, огромных (нигде я больше таких не видал) гравюрах «Сикстинская мадонна». Меня поразило и обрадовало это тогда, и до сих пор ощущаю эту радость. (Примеч. 1928 г.)

— В книжку мыслей Ми-Ти, — говорит Лев Николаевич, — надо вставить и Мен-Цзы. Это ведь с ним полемизирует Ми-Ти. Иначе будет непонятно. Ми-Ти совсем отвергает и насилие, и государство. А Мен-Цзы — это китайский Павел (апостол). Он хочет примирить все учения с властью, с государством.

Как он говорит о мудрецах, об умерших за 2000, за 3000 лет до нас, мы так говорим о новой книге Мережковского, о новом течении в искусстве. Какое недоразумение, что он живет с нами, что мы считаем его своим современником и спорим с ним, не понимаем его! Он — их современник, он — не наш, он — современник тех, кто в вечности, кто думал только о вечносущем, а не о меняющихся признаках видимого. И книги, окружающие его, книги их мыслей, их и его, а не нашей современности.

Отвлекаясь от китайцев и повторяя любимую мысль своей старости, что религия любви у всех одна, он показывает полученную им из города Александрополя (Закавказье) книгу Атрпега «Секта Бабизм», излагающую жизнь и учение Баба, явившегося в мусульманстве провозвестником чистого и высокого религиозного учения *. Об учении этом Лев Николаевич говорит с большим уважением и высказывает мысль, что оно может много действовать религиозному обновлению застывшего в суевериях мусульманства. Но его печалит, что и в изложении учения последователей Баба, и в их отношении к продолжателю дела Баба, преследуемому турецким правительством Бега-Уллы, вкралось уже немало новых суеверий и есть уже попытки окутать личность Баба и Бега-Уллы легендами почитания.

— Всегда так бывало, — говорит Лев Николаевич. — С бабизмом повторяется то, что было с буддизмом и с другими религиозными учениями. Чистое учение трудно сохранить среди людей, еще не готовых его принять. Учение подменяется почитанием личности основателя.

Вот почему так важно, по мнению Льва Николаевича, издание таких общедоступных книг, в которых великие религиозные учения прошлого предстали бы в их чистом, даже чистейшем виде. И. И. Горбунов говорит на это, что долг «Посредника» — это сделать, и что это возможно сделать с китайцами, с буддизмом и пр., но как быть с христианством? Что скажет духовная цензура?

Лев Николаевич думает, что и это возможно. Он считает крайне важным издать в новой серии «Посредника» особую книжку, в которой выражена была бы самая сущность христианского учения, но словами, почерпнутыми исключительно из древнейших христианских первоисточников.

— Это будет метафизика христианства. Я думаю, что цензура ничего не будет иметь против. Надо выбрать места из Евангелия, из посланий, в особенности из Иоанна.

От христианства Лев Николаевич переходит к буддизму. Кроме изложения учения Будды, должна быть книга и об учении Веданты. Лев Николаевич достает книжку английского журнала.

— Я получил «Vedic Magazine», журнал веддийский, из какого-то индусского городка. Там есть прекрасная статья о Ведах и Канте *, «Майя» — ведь это предельность видимого мира, за которым скрыто вечное. Это прекрасно. Это совершенно как у Канта.

И Лев Николаевич сегодня же хочет написать письмо в редакцию журнала с просьбой указать лучшие сочинения о Ведах и помочь «Посреднику» в издании книжки о них.

Иван Иванович передает Льву Николаевичу для просмотра «Шесть систем индийской философии» Макса Мюллера.

— Прочту, непременно прочту, — отзывается Лев Николаевич. — Только горе, что он — ученый. Ох, эти ученые! Это ведь не шутка, Сергей Николаевич, что он — ученый! — внезапно обращается он ко мне, улыбаясь. Берет свою новую книжку «На каждый день. Июль» и читает оттуда рассуждение Лихтенберга, современника Канта:

— «Изучение естественной истории дошло, наконец, в Германии до безумия. Хотя для Бога человек и насекомое — равноценны, однако для нашего разума это не так. Как много должен человек привести в порядок, прежде чем он дойдет до птиц и мотыльков! Изучи свою душу, приучи свой ум к осторожности в суждениях и сердце к миролюбию. Научись познавать человека и вооружись мужеством говорить правду на благо твоих ближних. Навостри ум своей математикой, если не найдешь для этого никакого средства; остерегайся только классификации букашек, поверхностное знание которой совершенно бесполезно, а точное уводит в бесконечность. «Но Бог бесконечен в насекомых

* Н. Н. Гусев приводит другое название книги — «Имат» (о беханизме). См.: Н. Н. Гусев. Летопись жизни и творчества Льва Николаевича Толстого. 1891—1910, с. 721. (Примеч. ред.)

* Н. Н. Гусев отмечает, что Л. Н. Толстой читал в журнале «Vedic Magazine» статью «Платон и Шанкара Агария». См. Н. Н. Гусев. Летопись... с. 719. (Примеч. ред.)

так же, как в солнце», — скажешь ты. Я охотно признаю это. Он неизмерим и в песке морском, разнообразностей которого еще никто не систематизировал. Если ты не чувствуешь особенного призвания ловить жемчуг в тех странах, где этот песок находится, оставайся здесь и возделывай свое поле: оно требует всего твоего прилежания; и не забывай, что вместимость твоего мозга конечна. Там, где сидит какая-нибудь история бабочки, нашлось бы, может быть, место для мыслей мудрецов, которые могли бы вдохновлять тебя». С любовью, медленно читает Лев Николаевич дорожке ему мысли.

— «Научись познавать человека, изучи свою душу, приучи свой ум к осторожности в суждениях, сердце к миролюбию!»

Он это совсем не читает, он *говорит* это: кажется, он кого-то ласково увещевает.

— «Там, где сидит история бабочки, нашлось бы место для мыслей мудрецов»... — опять говорит он с сокрушением, со скорбью о том, что вместо возможного богатства человек довольствуется нищетой. И кажется: не нам с Иваном Ивановичем, в тесной комнате, в тихий вечерний час говорит последний мудрец, скорбящий о том, что гибнет вселенская мудрость, та мудрость, которая нужна, не философу одному, а говорит он это *всем*, говорит огромному несчастному, «сумасшедшему дому», который сам лишил себя вдохновения высоких мыслей и вечной правды, предпочтя им жалкую, ненужную «историю бабочки».

Прочел неторопливо и благоговейно, — и роется спешно в «Энциклопедическом словаре», ищет, нашел, дает мне:

— Вот прочтите.

Читаю вслух резко отчеркнутое карандашом место о том, что знали в науке 14 тысяч особей вида *muscidae*, затем узнали 16 тысяч, потом еще столько-то узнал какой-то ученый *. Лев Николаевич хитро улыбается.

Я рассказываю ему, как Бернарден де Сен-Пьер задумал описать всесторонне одно земляничное растение и пришел к заключению, что для того, чтобы изобразить все условия жизни и развития земляники, надо исследовать все влияния почвы, климата, страны, затронуть все опытные науки, — иначе говоря, описать весь мир.

И. И. Горбунов замечает:

— Да, вот он понял и написал «Paul et Virginie».

— Я не знал этого, — улыбается Лев Николаевич, — но ведь и Дарвин так же. Ну, хорошо: человек произошел от обезьяны, а обезьяна от кого? А тот, от кого произошла обезьяна, от кого? А тот от кого? А тот от кого? — И мы так никогда не кончим.

Иван Иванович выходит за какой-то книгой. Лев Николаевич, захваченный своей любимой темой, говорит мне взволнованно:

— И в этом огромном потоке современных книг, газет, журналов тонут немногие прекрасные, вечные мысли...

Какой-то еврейский раввин прислал Толстому письмо, в котором обращает его внимание на слова Христа в Евангелии: «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего, и ненавидь врага твоего» (Лев. 19, 17—18), а я говорю вам: «Любите врагов ваших, благословляйте ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Мф., 8, 43—44). В словах Христа есть ссылка на книгу Левит (19, 17—18), между тем в соответствующем тексте книги Левит нет никакой заповеди о ненависти к врагам.

— Кто из вас моложе? — спрашивает Лев Николаевич, с улыбкой оглядывая меня и Ивана Ивановича. — Принесите мне Библию.

Я отправляюсь за Библией, и Маковичкий через некоторое время приносит ее из библиотеки.

Лев Николаевич просит меня отыскать и прочесть нужное место из книги Левит. Читаю: «Не враждуй на брата твоего в сердце твоём; обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха. Не мсти и не имей злобы на сына народа твоего; но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь (Бог ваш)» (Лев. 19, 17—19).

Читая по просьбе Льва Николаевича дальше: «Когда поселится пришлец в земле вашей, не притесняйте его. Пришлец, поселившийся у вас, да будет для вас тот же, что туземец ваш: любите его, как себя; ибо и вы были пришельцами в земле Египетской. Я Господь Бог ваш» (Лев. 19, 33—34).

Места, которые я читаю, уже подчеркнуты кем-то. Лев Николаевич вспоминает, что это подчеркивал он сам перед писанием «В чем моя вера».

— Да, да, Христос здесь спутал, — говорит он, — может быть, просто не знал. Это у меня уже давно было отмечено.

Обсуждение будущих изданий «Посредника» по религии окончено. Иван Иванович мечтает, что впоследствии он издает вторую их серию, посвященную менее значительным мыслителям и основателям религиозных учений. Лев Николаевич на это грустно улыбается, чуть покачивая головой:

* К сожалению, я не мог выписать тогда этого места из Словаря Брокгауза и оттого, может быть, путаю цифры и названия. В энциклопедическом словаре, хранящемся в Ясной Поляне, конечно, хранится отметка Льва Николаевича в соответствующем томе. (Примеч. 1928 г.)

— Вы, должно быть, собираетесь прожить еще сто лет, Иван Иванович. Нет, уж я не доживу. Придется вам одним.

Он глубоко задумался и как-то особенно покорно и уверенно-грустно промолвил:

— Счастливый вы человек, Иван Иванович, — думаете, что все сделается, все будет хорошо... А я вот так не думаю. Делаю только для души, потому что так и адо, — надо говорить и кричать, как петух...

Я получаю от Льва Николаевича на память портрет с надписью и спрашиваю его о Гаршине (биографию которого я писал тогда), о свидании его с Гаршиным, но он все забыл. Виногато улыбается:

— Ничего не помню. Забыл.

Я рассказываю ему о свидании Гаршина с Лорис-Меликовым *. Лев Николаевич заинтересовался.

— Это очень важно. Это нужно. Помню его «Четыре дня». Прекрасный рассказ. Я жалею, что не поместил его в «Круг чтения». Гаршин был прекрасный человек. Что-то помню прекрасное, чистое, доброе, страдающее.

Лев Николаевич разрешает мне справиться в его дневниках у Черткова, нет ли там записей о свидании с Гаршиным.

Он устал. Мы прощаемся. И невольно как-то выходит: я не могу ограничиться пожатием руки, я его целую.

Я видел Льва Николаевича еще раз в тот же вечер. Перед этим я говорил о Гаршине с Софьей Андреевной. Очевидно, ей сказал о моей работе над биографией Гаршина сам Лев Николаевич, потому что она сразу заговорила со мной о Гаршине.

Вечером, позднее, Лев Николаевич пришел к чайному столу уже перед самым моим отъездом. Он пришел прочесть только что им написанное письмо к редактору вестейского журнала.

Несколько мимоходных его замечаний. Оказывается, он любит игру на балалайке и, улыбаясь, замечает, что она очень попра-

вилась сыну Генри Джорджа, когда он был в Ясной Поляне: наоборот, пластинки граммофона с песнями каторжан, записанными композитором В. Гартевельдом, Льву Николаевичу не нравятся:

— Разве можно увеселяться чужими страданиями?

Назавтра он ждет к себе тульского ксендза для беседы. Заходит речь о священниках. Иван Иванович вспоминает о тульском священнике, который является каждый год в Ясную Поляну и беседует со Львом Николаевичем в надежде вернуть его в православие.

— Вот вы писатель, — обращается ко мне Лев Николаевич. — Вот напишите рассказ: молодой человек, добрый, хороший, учится в семинарии, честный, умный. А тут семья, отцовское место пропадает, если он священником не сделается. А там женят, своя семья, дети. Так и запутался, и уж никогда не выйти. У католиков не так. Нельзя осуждать. Они несчастные.

Лев Николаевич трогательно и ласково говорит Софье Андреевне, которая собирается ехать в Москву со мною, что он хочет побыть с нею перед ее отъездом. И они уходят в его комнату. Через несколько минут Лев Николаевич выходит опять к нам. Он просит Софью Андреевну сшить ему поддевку, вместо его блузы, поверх которой он накидывает вечером вязаную шерстяную куртку. Он зябнет по вечерам.

Надо ехать. Я еще раз прощаюсь.

Ночь холодная, прекрасная, звездная, и луна светит. Мне дают надеть поверх пальто суконную свитку Льва Николаевича. Едем. А звезды в аллее парка горят так чудесно, так четко, так близко, словно удерживают меня возвращаться в «сумасшедший дом» от великой тишины «последнего мудреца» наших скудных дней.

1909 г.

III

Я уже сказал, что меньше всего уложилось в мою запись 1909 года впечатление от *лица* и *речи* Льва Николаевича. Это впечатление было огромно — и не могу не попытаться его здесь выразить: оно живо во мне и сейчас.

Из слов же Льва Николаевича не могу понять, как я мог пропустить в своей записи его ответы на три мои вопроса, заданные ему в один из разговоров с ним. Они у меня уцелели в записи 1913 года.

Я спросил Льва Николаевича, какое произведение русской художественной прозы он

* После покушения (в 1880 г.) Млодецкого на жизнь всесильного тогда министра внутренних дел М. Т. Лорис-Меликова, перед исполнением смертного приговора над Млодецким, Гаршин явился к Лорис-Меликову ночью и умолял его со слезами пощадить и простить Млодецкого. Лорис-Меликов приветливо принял и выслушал Гаршина, но казнь вскоре была совершена. Потрясенный происшедшим и сам находясь на гранике безумия, Гаршин исчез из Петербурга и явился в Ясную Поляну. Подробности этого посещения и интересовали меня. О них по моей просьбе еще в 1906 и 1907 годах спрашивали Льва Николаевича И. И. Горбунов и Н. Н. Гусев, и тогда еще Лев Николаевич мог еще припомнить кое-что из встреч с Гаршиным. (Примеч. 1928 г.)

считает наиболее совершенным в чисто художественном отношении. Он, не задумываясь, ответил:

— «Тамань». Это совершенство. Я видел снимок с рукописи: она вся до того исчерчена, что ничего нельзя разобрать. В повести нет ни одного лишнего слова, ничего, ни одной запятой нельзя ни прибавить, ни убавить. Так еще писал только Пушкин.

— А Толстой? — спросил я, сдерживая улыбку.

— Н е т а к , — улыбнулся Лев Николаевич.

И я задал третий вопрос: какое из своих произведений он считает лучшим с чисто художественной точки зрения? Он ответил:

— «Бог правду видит, да не скоро скажет»*.

В Толстом меня поразила больше всего красота его старости. Ее-то я и пытался выразить в своих неумелых словах. Красота эта была действительно могоуча, но, теперь вспоминая, и двойственна: то давала впечатление какой-то силы — «да он вовсе не старый: он — мореный дуб, которому веку нет», — но тут же виделась хрупкость, тонкая фарфоровость этой красоты. Когда он садился на лошадь и ехал, прямой, как юноша, а Маковицкий еле-еле поспевал за ним, сторбленный и маленький, — радовала сила этой старости; но когда он сидел в своей комнате, зябко кутаясь в вязаную куртку, наброшенную на плечи, и я смотрел на его худую шею, всю в морщинах, на тончайший снежный лен его волос, мне он казался таким хрупким, фарфоровым, что сердце сжималось в тревоге: «Ох, Боже мой, да ведь как же уберечь этот тончайший и хрупкий белый фарфор? А уберечь необходимо неотложно: ведь нельзя же не видеть, что ему цены нет, что он один на весь мир». И вот эта шея. Я вижу ее перед собой.

Сзади нельзя было без бесконечной жалости смотреть на него. Морщинки, бороздки, желобочки этой шеи были точь-в-точь такие, как бывают у натрудившихся донельзя за свой век деревенских стариков, которым одного только желаешь до боли: покоя, покоя, покоя, покоя. Вот и ему, великому писателю, до боли желалось такого покоя, как деревенскому натрудившемуся старику. А покоя ему не было.

* Из разговоров с Софьей Андреевной я упомянул уже про ее рассказ о Гаршине. Мы с ней говорили еще о Фете; она была тонкой ценительницей его поэзии и личности. И я тогда же подумал: «Вот кому женой она должна бы быть: Фету! По же совменне — отнюдь не соединене поэзии и хозяйственности: поэзия — сама по себе, практическая сторона жизни — тоже сама по себе».

И от него пахло деревней — каким-то ржаным, родным, святым запахом исконной среднерусской деревни. Казалось порою нелепостью, временною причудой, чьей-то шуткой то, что он ходил по паркету, говорил с нами о Леониде Андрееве, о стихах, ел серебряной ложкой, и светская моложавая дама в тщательной прическе — жена — говорила ему «ты». На пчельнике, на пашне он казался бы выросшим в землю, любовно и матерински держимым ею.

Я всматривался в его лицо, когда он читал свой «Разговор» воронежскому мужику, и думал: такое, точно такое и должно было быть лицо у того, кто написал «Бог правду видит», и вместе с тем у того, кто создал «преданья русского семейства» и Кутузова в «Войне и мире». Необыкновенная *народность* лица Толстого поражала. Толстой — среднерусская лесная береза, выросшая в тенистом парке, насаженном и выхоженном заботами поколений, с липовыми аллеями, с кустами роз, — буyno-прекрасная, крепкая, смиренная, простая береза. По лицу Толстой — мужик. Если бы воронежскому мужику дать читать «Разговор», а Льва Николаевича посадить вместо мужика, слушать его — перемены бы не было: один крестьянин постарше, другой крестьянин помоложе, но оба крестьяне. По лицу Толстой — мужик, затесавшийся в толпу бар, интеллигентов, европейцев. В собрании, на балу, на диспуте в университете его лицо, — если б мы с детства не привыкли к мысли, что это — лицо автора «Войны и мира», — среди лиц профессоров, депутатов и т. д. казалось бы нам лицом случайно зашедшего мужика, истопника, дворника, ходока из деревни и т. п.; оно давало бы приблизительно то же впечатление, какое производят на сцене лица мужиков в «Плодах просвещения» в окружении профессоров, бар, гостей и т. п. Лицо Толстого от мужика отделяла, а к нему мужику приближала только немужичья одежда, которую он носил до середины 1880-х годов, когда он перестал ее носить, а стал одеваться попросту, его всюду принимали за мужика и «по одежде» и по лицу встречали, а по автору «Войны и мира» провожали.

В 1927 году я много беседовал о Толстом с Н. В. Карницким. Это крестьянин по занятиям, воззрениям, языку, одежде, по всему. А был он сын священника Василия Карницкого, священнодействовавшего в 1870-х годах на погосте, близ Ясной Поляны, где похоронены родители Льва Николаевича, священника, дававшего уроки его детям. Н. Карницкий еще мальчиком знал Льва Николаевича и купался с ним. Вот что ему запомнилось:

дело было в начале 1880-х годов. Сидит Карницкий на вокзале, ждет поезда и видит: в третьем классе, с мужиками, Толстой. До отхода поезда осталось мало времени. Толстой сидит, будто и не едет с этим поездом. Карницкий подошел к нему.

— Что же вы, ваше сиятельство, не садитесь в вагон? Время ехать.

— Да вот билета мне не дают.

Толстой был в полушубке и в сапогах. Поезд был дальний, продавали билеты только во второй класс, и кассир счел невозможным пустить овчинный полушубок и сапоги с дегтем в мягкий вагон. Карницкий бросился туда, сюда, нашел знакомое начальство, уверял, что этот мужик — граф Толстой. Поглядели на Толстого и нашли оправдание кассиру:

— Ну, где его тут разбирать с мужиками, что он граф. Он как мужик.

Когда убедились наконец, что в полушубке был действительно Толстой, кто-то из начальства подошел к нему и почтительно спросил:

— Пожалуйста, ваше сиятельство, в вагон.

А полушубок улыбался:

— Да вот меня не пускают.

— Пустят, пожалуйста.

И начальство отворило Толстому дверь в вагон второго класса. Но не так-то просто было войти ему в полушубке в вагон. Публика с изумлением обернулась на него. В самом деле: мужика сажают в мягкий вагон! Только потом, когда мужик был окончательно внедрен начальством в вагон, кто-то признал в нем Толстого.

Особенно мужиком казался Лев Николаевич в деревне, среди подлинных мужиков. Даже хорошо знавшие его люди, случалось, не узнавали его в деревенской обстановке. Евгения Васильевна Буткевич, жена врача Андрея Степановича Буткевича, рассказывала мне следующее происшествие. Она с мужем и маленькой дочкой жили неподалеку от Ясной Поляны, в Русанове; муж ее, врач, «жил на земле», крестьянствовал, а она вела хозяйство. Жили очень просто и скудно. Однажды она в сенях избы умывала маленькую дочку. В умывальнике не хватило воды, а у девочки все лицо было намылено. Видит она: в дверях на пороге стоит какой-то мужик, старик. Она протянула ему ковш и попросила:

— Дедушка, зачерпни, пожалуйста, в кадку воды и подай умыться.

Дедушка зачерпнул, подал, даже полил, и тут только, хорошенько взглянув на услужливого дедушку, она с ужасом узнала, что дедушка этот был Толстой, пришедший к ее

мужу. Стыду ее не было пределов, а дедушка весело смеялся.

Но ей нечего было стыдиться, что она приняла Толстого за крестьянского дедушку: он и был таким дедушкой.

По лицу — он сгусток русского народа. В его лице сгустились народные русские черты. Можно указать тысячи хороших лиц в русском народе и теперь и особенно в недавнем и давнем прошлом, так сказать, *параллельных* лицу Толстого: это лица... верных крестьянскому труду, исконных землепашцев, крестьян северной и средней России, но лица, при верности земле, осмысленные, согретые мыслью о небе, высокодушевные Акимы («Власть тьмы») и Аксеновы («Бог правду любит»).

У Толстого лицо народно, национально в высшей степени.

Народно лицо Толстого и прекрасно своей народностью, народна и речь его — и так же прекрасна.

Я перечел все жалобы Льва Николаевича на граммофончиков и вспомнил собственное свое негодование на то, что они потревожили его мудрый покой, а теперь думаю: «Какое было бы счастье, если бы не мучая Льва Николаевича и не отрывая от дела, а как-нибудь незаметно для него, вот так, как Маковицкий записывал при нем же его слова, — если бы граммофончики были умнее и записали бы *живую* речь Льва Николаевича, не его специальное для граммофона чтение, так тяготившее его, а его живую, непринужденную, ненарочную, так сказать, *речь!*» Слушать эту живую запись живой речи Толстого было бы нам теперь и величайшей радостью, и величайшим же стыдом.

В живой речи Толстого сказывалась та живая «Совесьть языка», о которой когда-то Гиляров-Платонов писал как о великом хранителе — свойстве великого русского языка: эта «*совесьть языка*», которой у нас осталось так мало и в живой, и в литературной речи, не допускала в речь Толстого ничего чуждого живой силе, мудрой глубине и светлой ясности исконной русской народной речи*. Недаром он с некоторым негодованием составлял словарики слов, употребленных интеллигентными авторами «Вех» и будто бы ему «неприятных», непонятны были ему, конечно, не самые эти повсюдные теперь в газетах и в речи интеллигентские слова, а неприятно было то, зачем они нужны при неисчерпаемом

* Об этой «совести русского языка» Лев Николаевич писал г-же Пейкер еще в 1873 году по поводу попытки издавать народный журнал.

богатстве русского языка и зачем ими пятнать и уродовать глубину и ясность русской речи.

В его речи не было вовсе этих пятен и язв, которыми недугуе наша речь. В его устах — что бы он ни говорил: шутил ли, рассказывал ли что-нибудь, излагал ли самые важные истины, в его устах русский язык был неизменно один и тот же «великий и могучий русский язык» (Тургенев). Речь его была ярка, выразительна, точна, а между тем она была совершенно проста: тем же самым языком, каким он разговаривал с воронежским мужиком, он говорил и о Канте, и о Тютчеве, и о философии Веданты: никакого упрощения речи для первого, никакого осложне-

ния — для вторых. На все хватало тех же самых емких и живых оборотов речи: ни понижать, ни повышать склада и лада речи ему не было никакой надобности. Склад речи оставался тот же: высокий в своей простоте и простой в своей подлинной глубине. Мужик, с которым он разговаривал обо всем: о боге, об евангелии, о земле, о Генри Джордже, о рекрутчине, не переспрашивал у него ни одного слова: все было понятно ему, каждое слово в устах Толстого. Но если б Толстой внезапно переменял слушателя и мужика заменил бы профессором, а оставил бы те же темы разговора, ему не пришлось бы менять склада речи, вводить новые, более мудреные слова и речения. Он остался бы с тою же речью,

Л. Н. Толстой в яблоневом саду. 1903 г. Ясная Поляна. Фотография С. А. Толстой.



с той же речевой простотой и ясностью, при всей крепкой ее выразительности и емкой точности.

Ни один русский писатель из тех, кого я знал за четверть века, не обладает и в малой степени такую живую и чистую речь, какой обладал Толстой. Послушать его теперь было бы, повторяю, стыдно: это был бы наглядный образец, как *надо* говорить по-русски, а наша речь послужила бы тогда не менее наглядным образцом того, как *не надо* говорить по-русски.

Чтение Толстого было прямым продолжением его *живой речи*.

«*Чтение...*» Написал это слово и сознаю, что его надо зачеркнуть. Нет, он *не читал*.

Если «читать» значит что-то противоположное «говорить», то он, конечно, не читал: он говорил, рассказывал, передавал, научал, исповедовался — что угодно, только не «*читал*». Но, если читая, он не «читал», а говорил, то это был особый разговор: какой-то более емкий по смыслу, более сгущенный, чем обычный, такой, при котором, пожалуй, словам было более «тесно», чем при обычном разговоре, а мыслям «просторно», — тоже просторнее, чем при обычном разговоре.

Вот и все отличие. Но опять — это была сама простота, читал ли он свой «Разговор», или мысли Лихтенберга, не та упрощенность, не то нарочитое опрощение языка, к которым мы прибегаем, беседуя с людьми малообразо-

Л. Н. Толстой возле деревни
Ясная Поляна. 1908 г.
Фотография В. Г. Черткова.



ванными, и про которые не грех вспомнить половицу: «Простота хуже воровства», — это была та простота, которая завершает собою громадные творческие усилия ни в чем не погрешить против великой совести великого языка и в этом стремлении заставляет учиться у московских просвирен (Пушкин) и у яснополянских крестьянских детей (Толстой).

IV

Я вернулся из Ясной Поляны. В душе было какое-то непротивление добру. Я пережил еще раз общение со Львом Николаевичем, сев восполнять, обрабатывать свои яснополянские записки на другой же день после приезда в Москву. В течение нескольких недель Толстой как будто стоял за моими плечами — тот же внимательный и уверчивый и как будто смотрел на меня ласково строгими глазами. Под действием этих серых, просветленных старостью до голубизны глаз, захотелось глубже взглянуть в себя и перечесте те страницы моей жизни, которые еще недавно казались содержательными и нужными. Это перечитыванье я начал еще до поездки в Ясную Поляну, но с приезда оттуда оно пошло прилежней и внимательней. Этот взгляд на себя был мне очень нужен, и мне душевно полегчало после него. Мне захотелось результатом моей встречи с самим собою поделиться с тем человеком, кто несравненно сильнее меня испытал на себе действие этих любящих строгих старческих глаз. Это был мой старый друг Н. Н. Гусев. Вскоре после приезда из Ясной Поляны и послал ему в его чердынскую ссылку письмо, в нем я, между прочим, писал:

«Те годы после 1905, годы 1906, 1907, часть 1908 я вспоминаю с грустью, с тоской, с сожалением. Я тогда много мучился, много мучил других, — и в конце концов, несмотря на мои увлечения то тем, то другим, был глубоко несчастен. Но из того мучительного времени я вынес, по крайней мере, одно твердое и несомненное, что мне крайне нужно: я не верю и никогда не поверю, что то, что мы (то есть так называемая русская интеллигенция и все привлеченные ею к ее мыслям и действиям) делали тогда, что мы думали и о чем говорили, я не верю, чтобы это нужно было делать, думать, говорить»

«Не обвиняй никого». Это можно соблюдать из религиозного чувства и сознания, но я даже и не так прихожу к этому: я испытал на себе, что жить, не соблюдая этого, просто жить по-человечески, без отчаяния и злобы,

нельзя. Это своего рода закон самосохранения. Если не хочешь истребить себя — в прямом смысле — самоубийством, в менее прямом, но не менее сильным — тоской, отчаянием, скукой, отвращением к людям и Богу — «не суди!»

Эту выдержку из моего письма, в более пространным виде, Гусев послал в Ясную Поляну Льву Николаевичу.

Только после смерти Льва Николаевича я узнал, что этим несколькими строкам выпало счастье оставить какой-то след в его великой душе. 14 января 1910 года Лев Николаевич писал Гусеву в то же Корепино, в ссылку:

«Только что собирался и все откладывал ответ на ваше письмо о Шашкове, милый друг Н. Н., как получил ваше второе письмо о Сереже. Спасибо большое вам, милый друг, что пишете часто. Мне всегда нужно и радостно знать о вас. На первое письмо хотелось сделать два замечания: первое то, что не поддавайтесь чувству раздражения на тех, кто делает все то, что тяжело нам, а берите пример с Сережи. Я смело советую это вам, потому что этот самый совет нужен мне, может быть, более, чем вам. Всегда борюсь с этим недобрим чувством осуждения».

«Сережа», о котором это писалось, читал это с двойным чувством — радости и стыда. Радостно было мне, единственный раз в жизни бывшему у Толстого, слышать из его уст это дедовское «Сережа»: так много ласки было в этом великом старом сердце и так кровно близок был ему всякий человек, не лишенный хотя бы малого роста любви к истине, — радостно, но еще более стыдно! В своем смиреннии великий писатель, неуклонный изыскатель истины, не только своему другу предлагал «брать пример с Сережи», но и сам готов бы первый следовать этому «примеру»!

А этот самый «Сережа», читая это ее стыдом тогда и еще с большим стыдом перечитывая теперь, чувствовал про себя, что если и мог бы быть «примером», то только примером человека, с которого никому и ни в чем не следовало брать примера. И тем стыднее было это читать, что то, что Львом Николаевичем бралось от «Сережи» в «пример» Гусеву и себе самому — самые мысли и настроение «Сережиного» письма — было в значительной степени взято от духовного богатства самого Льва Николаевича — из его сочинений и от личного общения с ним.

Со времени письма Толстого к Гусеву прошло восемнадцать лет, но до сих пор оно остается одним из самых сладких и вместе с тем самых стыдных воспоминаний моей жизни.

* * *

Между моим посещением Ясной Поляны и кончиной Льва Николаевича прошел всего год. В течение этого года я, как и прежде, записывал «вести из Ясной Поляны», которые доходили до меня от тех людей, которые приезжали оттуда после общения с Львом Николаевичем. Вот некоторые из моих памяток за этот последний год его жизни.

* * *

Вот памятка со слов П. И. Бирюкова.

В 1910 году в присутствии Льва Николаевича рассказывали о патриотическом обеде, данном на дворянских выборах в Туле. Один из обеденных ораторов при общем восторге участников обеда восклицал:

— За веру мы готовы на костер, за отечество — на плаху, за царя — на смерть...

— А за двугривенный — на все, — тихо закончил Лев Николаевич.

Весной и летом Лев Николаевич дважды выезжал из Ясной Поляны — ездил к Черткову в Крекшино (через Москву), к Сухотиным в Кочеты. Как-то в одну из поездок он сидел, дожидаясь поезда, на железнодорожной платформе. Рядом с ним на лавочке сидели его спутники и много публики. Какой-то пожилой мужик, как после оказалось, слепой, услышав, что здесь находится Толстой, встал со скамейки (он сидел на краю) и, несмотря на недовольные замечания сидевших, упрямо продвигался вдоль скамейки, дотрагиваясь рукою до каждого из сидевших и приговаривая:

— Который Толстов-то? Ты не Толстов?

Когда очередь дошла до Льва Николаевича, он сам назвал себя. Мужик сказал серьезно и печально:

— Что же ты, Толстов, смотришь? Ведь непорядки! Сына моего зря держат.

Никто ничего не понимал. Оказалось из расспросов, что слепой жаловался на какие-то непорядки в психиатрической лечебнице, где у него находился родной сын. В представлении мужика «Толстов» был как бы верховным попечителем и надзирателем за правдой в Русском государстве, и у попечителя этого власть была так велика, что он всюду мог и должен был прекращать всякую неправду.

Не хочется обойти памятку, сделанную на основании рассказа покойного Сергея Дмитриевича Николаева (1861—1920 гг.), известного переводчика Генри Джорджа. Друг Льва Николаевича, человек большого

сердца и точной мысли, он летом 1910 года жил с семьей в близком соседстве с Ясной Полянкой и много общался с Львом Николаевичем. Он передавал последние свои разговоры с ним о религии. Сергея Дмитриевича поразило, что Лев Николаевич, некогда озглавивший свою знаменитую книгу «В чем моя вера?», теперь избегал этого слова, отвергал религию как *веру* и противопоставлял ей религию как *сознание*. Однажды, говоря на эти темы, Сергей Дмитриевич выразился:

— То, что открыл мне о Боге Христос...

Лев Николаевич остановил его и сказал твердо:

— То, что я знаю о Боге и любви, мне сказал вовсе не Христос. Это сказал мне Лев Николаевич. Бог не есть вера, а точнеее, достовернейшее знание.

Николаев был поражен и просил разъяснений.

Смысл дальнейших речей Льва Николаевича был тот, что в душе каждого человека лежит божественное начало и сознание бога. Никто извне не может *открыть* человеку это начало и это сознание *помимо* самого их носителя, то-есть помимо самого человека. Таким образом, существует не вера, а знание о боге.

Поразившие его слова, как это часто бывает, благодаря их резко запечатлевающейся необычной форме Николаев запомнил слово в слово. Дальнейшая же беседа с Львом Николаевичем была передана им уже без сохранения ее словесной оболочки, но с той верностью ее основному смыслу, которая так естественна была для человека ясного мышления и большой любви к Льву Николаевичу.

Две следующие записи были мною сделаны на основе сообщения также покойного — Петра Прокофьевича Картушина (умер в 1916 г.). Это был замечательный человек. Биограф Толстого не обойдет его молчанием. В 1907—1910 годы он много общался и переписывался с Львом Николаевичем. Черноморский казак, красавец, высокого роста, цветущего здоровья, обладавший довольно значительными средствами, Картушин испытал глубокий душевный переворот: он оставил все и пошел к Толстому искать правды. Свои средства в 1906—1907 годах он давал на дешевое издание самых крайних сочинений Толстого, которые не печатал даже «Посредник» из опасений правительственных кар: на деньги Картушина издательство «Обновление» издало «Приближение конца», Солдатскую и Офицерскую памятки «Конец века», «Ответ Синоду» и т. д. Сам Карту-

шин вел жизнь добровольного бедняка. В письмах друзьям он нередко писал: «Помоги, брат, свободиться от денег». И действительно, от них «свобождался»: его деньги шли на дешевые издания прекрасных книг, на бесплатную их раздачу, на поддержку людей, желавших «сесть на землю», то есть заняться земельным трудом, и множество других дел.

Но этот человек кристальной души не нашел себе религиозного покоя и у Толстого. В 1910—1911 годах он увлекся жизнью и религиозным движением Александра Добролюбова. Некогда зачинатель русского символизма, «первый русский декадент», Добролюбов (род. 1875 г.) сделался послушником в Соловецком монастыре, а в конце концов принял подвиг странника, исчезнув в русском мужицком море. Картушина привлекало в Добролюбова и это его странничество, и его участие в тяжелом народном труде (Добролюбов работал безвозмездным батраком у крестьян)... Но, полюбив Добролюбова, Картушин не разлюбил Толстого. И одним из заветных желаний Картушина стало сблизить Толстого с учением Добролюбова, которого, впрочем, Лев Николаевич знал лично.

Толстой встретил Картушина, как всегда, ласково и любовно.

Картушин долго и много говорил ему о жизни и учении Добролюбова, вкладывая в свои слова всю душу. Он особенно подробно остановился на мысли, что учение Добролюбова по высоте и характеру нравственных требований, вполне родное тому учению, которому следует сам Лев Николаевич: Добролюбов также отрицает насилие государственное, религиозное, общественное, личное, также в основу всего кладет закон любви, так же, как Толстой, утверждает, что истинная религиозная жизнь невозможна для того, кто не стремится жить «трудами рук своих», кто не стремится к половому воздержанию и т. д.

Лев Николаевич внимательно, молча слушал, не, перебивая ни одним словом. Когда Картушин кончил, он коротко сказал:

— Я себе нашел, а вы себе — ищите!*

И через малое время добавил:

— Впрочем, я не возражаю против Добролюбова...

П. П. Картушин передавал мне одно свое наблюдение над Львом Николаевичем за последнее время перед его смертью и одно слышанное им признание Льва Николаевича.

* Дальнейшая судьба Картушина была глубоко скорбна. Ему пришлось пойти на войну в качестве санитаря. Его чуткая душа не выдержала ужасов войны, свидетелем которых он был, и в 1916 году он покончил с собой.

И то и другое представляются мне очень важными.

Общаясь с Толстым, Картушин заметил, что в разговорах о лицах, давно ему известных, случалось, он путал одного с другим, ошибался в имени, отчестве, фамилии, профессии, внешнем виде и других подобных внешних отличиях одного лица от другого, но в то же время он никогда не путал людей одного духовного склада с людьми другого нравственного уклада, иными словами, духовные личности людей он хорошо и точно помнил, а во всем внешнем, случалось, делал ошибки.

Картушин высказал это самому Льву Николаевичу. Лев Николаевич подтвердил ему, что это так и есть, что он часто и сам... смущается этим, так как «спутанные» могут этим обидеться, да и обижаются. А между тем он чувствует, что их *внутренне* не спутал. Говоря математическим языком, он вынес во многих отдельных людях за скобки то, что есть в них духовно-общего, вынес за скобки то, что людей данного духовного склада объединяет в один духовный тип, а внутри скобок осталось лишь то, что разъединяет этих людей: различия национальные, общественные, имена, фамилии, возраст и проч. Люди одного духовного склада кажутся ему все на одно лицо. Он помнит это лицо, всегда узнает этот их «склад» и «уклад» душевный, но во всем остальном путает их одного с другим.

Я легко понял Картушина: так же, как этих многих, Лев Николаевич забыл и Гаршина. И на мой вопрос в 1909 году отвечал, с одной стороны, что — «ничего не помню, забыл», а с другой стороны, что «помнит — что-то прекрасное, чистое, доброе, страдающее». *Забыл* слова, поступки, походку, все внешнее, *помнит* — душу, помнит то, почти не определимое словами *внутреннее*, что есть основа человека.

Мне представляется теперь, что наблюдение чуткого Картушина и признание самого Льва Николаевича, да и слова его о Гаршине, дают возможность понять глубже еще одну чрезвычайно важную особенность религиозной мысли Толстого и его суждений о различных религиозных учениях и об их основателях.

В 1912 году я часто общался с человеком, очень примечательным. Это был японец, Даниил Павлович Конисси, профессор старейшего японского университета в Киото. Он еще в Японии, под влиянием архиепископа Николая Японского, принял православие, овладел русским языком, затем приехал в Россию, обучался в Киевской духовной академии, потом бывал на лекциях в Московском универ-

ситете. В начале 1890-х годов познакомился с В. С. Соловьевым и Л. Н. Толстым. В «Вопросах философии и психологии» он поместил свои переводы китайских мыслителей Лао-Си и Конфуция. Толстой относился к нему тепло и сочувственно. В 1912 году Конисси много рассказывал мне о Толстом. Один рассказ я записал тогда же. Вот он.

Однажды Лев Николаевич долго расспрашивал Конисси об его семье, детстве, воспитании и слушал его рассказ о том, как он случайно забрел в православную миссию на беседу архиепископа Николая о Христе, и эта беседа произвела на него сильное впечатление, и он стал посещать миссию, где и принял православие.

Лев Николаевич внимательно слушал. Когда Конисси кончил свой рассказ, он сказал, что все-таки не понимает, почему Конисси сделался православным христианином.

— Зачем вам это было нужно? — спросил он. — У вас, у японцев и у китайцев, есть свои великие мудрецы, у вас есть Конфуций, Лао-Си, Ми-Ти.

V

Уход Л. Н. из Ясной Поляны произвел на меня потрясающее впечатление, и я настолько не одинок был в своем впечатлении, что это дает мне право писать о нем, вспоминая пережитое «у Толстого» и слышанное «о Толстом».

Я еще сидел над газетой, перечитывая в десятый раз известие о ночном «уходе» Л. Н. из Ясной Поляны, как ко мне вбежал поэт Ю. Анисимов, крича:

— Ты знаешь, Толстой ушел!

«Уход» Толстого для нас был величайшим событием, таким примерно, как если б гора, настоящая гора, действительно двинулась бы куда-то по евангельскому слову.

Ушел! Он ушел!

Теперьшим поколениям трудно понять, что значило это для нас.

Толстой действительно представлялся не нам только, а всему русскому обществу огромной, высочайшей горой, предельной вершиной русского народа и русской культуры. Подошвы этой горы, ее склоны, ее скалы, утесы, ручьи, водопады, леса, луга — все было великолепно и единственно; ее вершина сияла ослепительно алмазами своих вечных — востину и несомненно вечных — снегов, вознося их в синее, тоже вечное, небо. Высота этой горы и чистота этих снегов — личности и учения Толстого — была несомненна, непрекращаема и очевидна для всех нас. Но мы,

люди русской равнины 90-х и 900-х годов, не поднимающиеся выше подошв этой горы, мы не могли не думать: «Гора прекрасна и высока, снега ее чисты и белы, но она одинока и недоступна, снега холодны, и наша равнина по-прежнему остается в мраке и унынии: гора не сходит в равнину...»

Мы, даже те, кто, как я, не мог оправдываться полным незнанием Льва Николаевича, — мы стояли пред Толстым, как пред горой, которая, сияя и сверкая вечными снегами, молчала на один наш вопрос. Для меня он слагался так: «Вот все, кто заимствовал от него, как от горы, лишь малую долю его чистых алмазов — его мыслей и чувств, — все, — как милый мне Картушин, как десятки, сотни других, — все стремятся осуществить, исполнить то, чему он учит: бросают свои семьи, отказываются от денег, от преимуществ образования, от общественного положения, — и уходят, как нищие, как странники, «взыскивать невидимого града» правды и любви, уходят и тонут в народном море, разделяя все его невзгоды и труды, все уходят, а он — источник и первый двигатель всех этих уходов, — он остается неподвижен, — живя в осуждаемой им же самим своей усадьбе, в условиях жизни, столько раз им обличенных, — и никуда не уходит... Неужели же, думалось, неужели же он, гора, не делает того, что делают холмики и бугорки?»

В этих раздумьях у меня лично не было ни малейшего осуждения Толстого. В этом было страстное, почти религиозное ожидание. Казалось, если б он это сделал — если бы гора тронулась, — равнины не могли бы остаться мертвы — в них загорелся бы огонь религиозной жизни. Что это было не мое только одинокое чувство, свидетельствует замечательное письмо некоего студента Бориса Манджоса, с которым он в первой половине 1910 года обращался ко Льву Николаевичу: «Вы пишете в одном из своих сочинений о всех своих исканиях правды и Бога. А что, если Вы прошли все шаги в своих исканиях и не сделали только одного последнего, чтобы спасти человечество?..»

Теперь, после «ухода», после 18 лет изучения последнего периода жизни Толстого, теперь мы знаем, что сам Толстой *знал*, чего хотели от него мы, любившие его или удивлявшиеся ему, — и сам давно и глубоко хотел того же. В ответ этому студенту Толстой писал: «Ваше письмо глубоко тронуло меня. То, что вы мне советуете, составляет заветную мечту мою... Нет duda, чтобы я не думал об исполнении Вашего совета». *Теперь* все знают это, но *тогда* — это знали, быть может, 3—4 человека во всем мире. Для всех же гора

оставалась по-прежнему великолепной и по-прежнему неподвижной. И образовалось такое отношение к Толстому в русском обществе: да, великолепно все, что он говорит, но сам же он показал, как далеко это от жизни; вот и у него, у кого такая была и есть сила *сказать*, нет силы *исполнить*. Я так не говорил и не думал: после посещения Ясной Поляны я понял, как безмерно тяжело ему его сидение в «усадьбе», и я думал примерно так: «Что ж, прекрасно и его сидение там, он стар, ему 82 года, он слаб, даже поездка в Москву приводит его к болезни, он уже не уйдет никуда, хорошо было бы и то уж, если б как можно дольше он продолжал свое яснополянское сидение...» Я понимал, сколько добра в его ежедневном, невидном труде, во всем, что исходит от него, я жалел и любил его... Но... Но одна мечта... с грустью и скорбью была похоронена навеки: мечта-надежда на то, что он встанет и пойдет, — и этот его шаг уходя... разбудит духовно спящих — русское общество и культуру. Хотелось до тоски, до отчаяния хотелось услышать эти будящие совести, как грозные «шаги командора», тихие старческие шаги его, с котомкой странствующего по необъятным русским полям... Эта мечта была так прочно погребена, что рука моя не поднялась бы написать ему то, что написал не знавший его лично студент: зачем причинять ему боль? Не уйдет. Скорбь и соболезнуя, доживет в Ясной Поляне. Умрет, не уйдя. 82 года. Какие уж тут «шаги командора»? Старость. Болезнь. Немощь. Гора останется горой: прекрасна и неподвижна.

И вдруг это известие! Невероятное, безумное: гора тронулась с места.

Ушел! Он ушел!

Вдруг совсем новое значение получили его 82 года, старость, болезнь, старик, великий сиделец Ясной Поляны, которому — ах, будем же добры и справедливы к нему! — которому и лета, и болезнь, и семья, и труды, и долготные привычки — все, казалось бы, разрешало сидеть там, где с такой славой сидел он больше полувека, — он ушел!

«Все-таки вертится!» Он ушел — ночью, тайно, безвестно. А мы, мы, молодые, ничем не связанные, легкие на подъем, мы недвижны.

Ушел! Куда? Конечно, в путь подвига, в путь труда и испытания. И неизвестно куда. В народное море, на самое дно. К чему-то светлому, в какой-то неведомый строящийся град Добра и Красоты.

И сразу же засверкал вывод-вопрос:

Ушел он — с 82 годами: может быть, и мы сможем сдвинуться с места и уйти от своих

университетов, рефератов, стихов, книг, от всевозможных маленьких кружков с большими претензиями, от умных и неумных «слов, слов, слов», от внутреннего и внешнего безделья. И не только мы, но все, все, кто упрекал его рачительной Софьей Андреевной, хозяйственно продававшей его сочинения, все русское общество, может быть, и все тоже «уйдем» куда-то от нашей «Софьи Андреевны» — от внутренней лжи, пошлости, от самодовольной неподвижности нашей общей жизни?

В те дни, когда было только известно, что Толстой «ушел», но не было известно еще ни про Оптину, ни про Шамордино, ни про Астапово, — уход казался, повторяю, величайшим, таинственно-двигающим всю русскую культуру и жизнь событием. Это именно гора, высшая точка России, ее ледяная вершина, сдвинулась с места и пошла к неведомому пророку.

Помню, в промежуток между первым известием об «уходе» и первым же известием об «Астапове» состоялось заседание Религиозно-философского общества памяти Вл. Соловьева. Случилось так, что доклад, пришедший на это заседание, доклад А. Белого был посвящен на две трети Толстому: «Трагедия творчества. Достоевский и Толстой». На докладе была куча народа. Тут были: Струве, Брюсов, Макс Волошин, Эллис, Евг. Трубецкий, Булгаков, Бердяев, С. Котляревский, Эрн и др. «Уход» Толстого был в мыслях и подмышках всех присутствовавших и говоривших. Только один из последних, поэт Эллис, заявил, что напрасно в Достоевском и Толстом видят каких-то пророков, что пророки бывали не такие, а вот какие (следовало описание пророка по «Теократии» Вл. Соловьева) и что пророки не кощунствуют, а Толстой кощунствовал (он имел в виду известную главу в «Воскресении»). Это был единственный выпад против Толстого в обществе, где, говоря вообще, Толстого-мыслителя не любили. Но этот выпад встретил резкую отповедь со стороны Струве.

— Кощунщиком, — говорил он, — можно назвать лишь того, кто, веря во что-либо, сам же глумится над предметом своей же веры, кто, признавая нечто святыней, сам же оскорбляет эту святыню. — И он сослался на пример Розанова. — Толстой же не верит и говорит, что не верит в то, над чем он, по Вашим словам, кощунствует. Наоборот, его отношение к предмету его веры, к его святыне, поражает своей серьезностью, своим величайшим благоговением и суровым служением своей истине и святыне.

Докладчик А. Белый говорил с редким

одушевлением о необходимости религиозного искусства, со страстным натиском утверждал его неизбежность и признавал вслед за Толстым, что искусство возможно только на религиозном основании и что истинно великое искусство всегда и навсего религиозно.

Тогда, помню, встал, весь застегнутый в черный сюртук, холодный... Брюсов, и, держась за спинку стула, отчеканил:

— Все признают, что наука автономна от религии, что философия независима от религии, что политика имеет свои основания, отличные от религиозных. Почему же одно искусство так несчастно, что не может существовать самостоятельно и нуждается в подпорках религии?

И Белый обрушился на Брюсова. Брюсов был одинок в этот вечер.

Это был замечательный вечер. Говорили, говорили, спорили, спорили, со всем блеском таланта и тонкой культуры, а в душе у каждого о, — я верю и почти *знаю*, что у каждого, — поднялся вопрос: «А он что? Где он теперь? Куда он *идет*? И почему *мы* — не идем?»

Было и радостно, и стыдно.

Казалось, вот-вот, еще миг, еще усилие — и наши горки, пригорки, холмики и бугорки так же, как его Великая Гора, перестанут быть неподвижными и двинутся... в какую-то новую страну благого и вечного делания.

Я шел по Арбату утром. Бежали стремглав мальчишки с пуками телеграмм, с криком:

— Толстой умер!

Это было ужасно.

Обрывалась величайшая, святейшая надежда, которую давал «уход» Толстого: увидеть горение Толстого на вселенском вольном воздухе, а не в спертой атмосфере своей усадьбы, того места, откуда он бежал...

Я сжимал в руке бюллетень. Сердце больно билось. «Улица» — прохожие, проезжие, с тротуаров, с мостовой, с пролеток извозчиков, из окон трамваев, из дверей магазинов, — рвала из рук газетчиков, удвоившихся за толстовские дни, телеграммы, газеты. Они брались с бою. Те, кто не успел купить, заглядывали в чужие газеты, нагоняли прохожих, читавших газету на ходу, и на ходу же, не отставая, через голову читавшего, прочитывали сами известия из Астапова, или на лету спрашивали читавших: «Правда ли, Толстой умер?»

Такое нападение на газетчиков в жажде вестей, какое было в день смерти Толстого, я видел в жизни еще только один раз:

в день объявления войны Германией в 1914 году.

В канун похорон Льва Николаевича у меня не было ни копейки денег. Я не мог ехать в Ясную. И человек, мне не близкий, сказал мне:

— Как же можно не ехать! Вы должны ехать. Вот вам деньги.

На Курском вокзале было столпотворение. К счастью, я взял билет на городской станции. Громадное большинство жаждавших попасть на Козлову Засеку, попасть не могло: дополнительных поездов или не было вовсе (не помню хорошо), или был всего один. Вагонов добавочных не давали. Пытались ехать кружным путем, через Брянскую и Павелецкую линии, с пересадкой на Тулу, но это было безнадежно: они не попали бы к похоронам. Самое простое было бы нанять автомобиль и мчаться в Ясную. Но автомобили тогда были наперечет в Москве, и это могли сделать единицы (так проехали в Ясную Брюсов с депутатией от литературно-художественного кружка).

В вагоне никто не спал.

Вслушиваясь в разговоры ехавших, я поразился большому числу самых различных людей, лично знавших Толстого. Обнаружилось с очевидностью, что это был человек, обладавший величайшей в мире личною связью с людьми, его современниками.

Еще не рассвело, когда поезд подошел к станции Козлова Засека. Было уныло на душе. Толпы народа ждали прихода поезда из Астапова. Студенты-распорядители (сами себя произведшие в эту должность) пытались навести какой-то порядок. Ничего этого было не нужно. Все было подавлено и хмуро-тихи. Над всем — над людьми и ноябрьской природой — было тихое уныние. Вот и поезд из Астапова. К платформе подошел он тихо, будто со стыдом, что возвращает сюда только прах того, кого увез так недавно отсюда еще полным жизни, с душой, жаждавшей нового бытия. Вагон, в котором было тело Льва Николаевича, был будничным товарный вагон, крашеный в унылый кирпичный цвет.

Все обнажили головы. Была полная тишина.

Вот он, Лев Николаевич: простой гроб на руках у сыновей и друзей.

Так ненужны и жалки казались привезенные из Москвы депутациями венки. Ничего не нужно. Вот он, Лев Николаевич. Возвращается вновь в Ясную Поляну. Ненадолго уходил из нее, но все-таки, все-таки: как хорошо, что он уходил! Какой прекрасный конец дал ему бог: *жить*, как он хотел, *жить* странником, жить юродивым («если б я был один, я был бы юро-

дивым, т. е. не дорожил бы ничем в жизни» — письмо к Фету от 1877 г.); «я бы жил так, как представляю себе жизнь ученика Христа — нищим, бродягою, слугою всем» («Внешнее и внутреннее единение», письмо 1890 г.) ему не судил бог; но он дал ему радость — умереть странником, под чужой кровлей, на чужой постели, там, где застала его смерть: на новом пути в жизнь и труд.

Слезы подступали к горлу.

Крестьяне Ясной Поляны подняли гроб. Скучный напев «Вечная память» однообразно неся всю дорогу до Ясной. И думалось: лучше бы нести его тихо, лучше бы дать ему тихо войти в Ясную Поляну, как тихо он из нее ушел.

Разные были лица в толпах и тысячах, шедших за его гробом. Я помню лицо Григория Петрова, бывшего священника; помню сосредоточенные лица Бердяева, С. Н. Булгакова, Г. А. Рачинского; помню писателей, студентов, рабочих, крестьян; и разное было на этих лицах: была печаль, были слезы, было одинокое уныние; было и праздное любопытство; было и желание хоть здесь, хоть в гробу, достигнуть великого человека; но было и сдерживающее слезы умиление, и горе, и глубокая бесконечная скорбь, и что отличительней всего было для *этих* похорон — была в некоторых лицах грустная радость сквозь слезы. Я так переводил ее на язык слов: «Плачем, что никогда не услышим тебя, что ты бездыханным возвращаешься со страннического своего пути, но слава богу, что ты вышел из него. Спасибо тебе и за то, что ты звал на него. Спасибо и за то, что пошел по нему. Может быть, и мы пойдем когда-нибудь...»

Этот перевод, думается, был верен, так как в других я переводил близкое к тому, что было тогда во мне самом.

А «бессмертная пошлость людская», говоря словами любимого Толстым поэта, делала свое дело. Не могу без отвращения и теперь

вспомнить грубо-вежливого окрика, раздавшегося внезапно с одного из холмов и резавшего, как ножом, осеннюю тишь природы и мудрую тишину похорон:

— Pardon! Одну минуту!

Это был окрик кинематографщика, желавшего «обессмертить» своим аппаратом (тогда не было еще отвратительного слова: «заснять») похоронное шествие, он желал только на одну минуту задержать последний путь Толстого!

Кто-то с негодованием прикрикнул на него.

Шествие не остановилось.

Я вспомнил ужас Льва Николаевича перед всякими кинематографщиками, граммофонщиками и прочими «цивилизаторами».

Тихо-тихо приближался Толстой к Ясной Поляне.

У ворот усадьбы было настоящее море народное — любезное Толстому мужицкое море. И его гроб потонул в этом море.

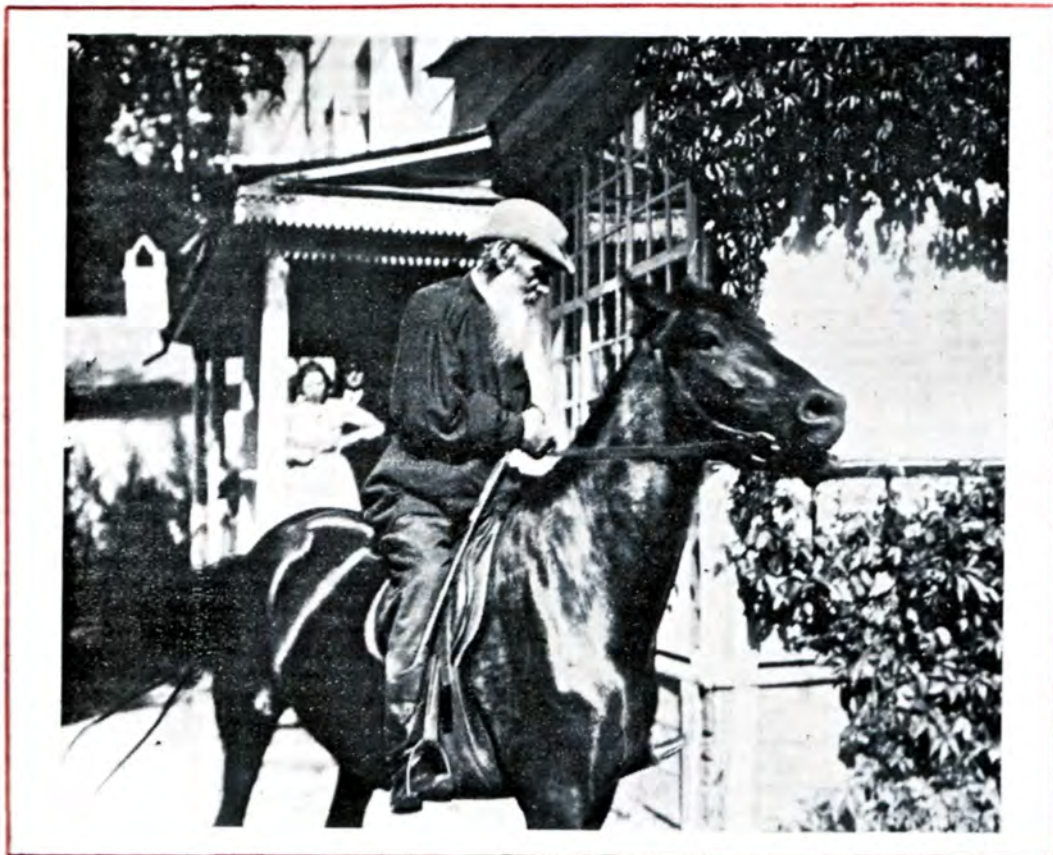
Я поклонился ему земно.

Мне не хотелось ни «прощаться», ни ждать опускания в землю — всего того, без чего не уходишь с обычных похорон. Как я не пошел бы искать его живого на то дно народного моря, в которое он хотел уйти, так не хотелось и теперь пробираться к его гробу чрез эти волны мужицкого моря. Чувствовалась только бесконечная, бесконечная благодарность к нему — и она была так жива, и он был так жив, так несомненен в своей жизненности, что эта жизнь, это живое связывалось не с могилой в Заказе, а скорее связывалось со всей Россией, куда лежал этот путь, и больше, чем с Россией: с чем-то огромным и светлым, как вселенная.

Я поклонился еще раз ему издали и вышел из толпы.

Томск. 1928 г. Январь

С. Дурьлин



Л. Н. Толстой верхом на Зорьке
около террасы яснополянского
дома. 1903 г.
Фотография С. А. Толстой.

« »

Яков Иванович Бутович (1881—1937) — коннозаводчик и коллекционер картин на конные сюжеты. Собрание, составленное им у себя в Прилепах под Тулой, было Бутовичем передано Советскому государству и положило основу Музею коневодства, находящемуся ныне в Тимирязевской сельскохозяйственной академии в Москве. Картинная галерея музея имеет как специальную, так и

художественную ценность: работы Серова, Клодта, Лансере, Сверчкова, Петра Соколова, Савицкого и др.

Назначенный хранителем галереи, Я. И. Бутович написал в 1923—1924 годах два обширных труда — биографии художников, представленных в его собрании, и «Коннозаводские портреты Н. Е. Сверчкова». Материалы из этих рукописей использовались в искусствоведческой литературе. Текст самого Бутовича непосредственно не публиковался.

Обосновавшись около 1909 года в Прилепах (12 верст от Ясной Поляны), Бутович познакомился с А. Л. Толстым, Т. Л. Толстой-Сухотиной и вообще со многими людьми толстовского окружения. Знакомство Бутовича с самим Толстым осталось формальным, дальнейшему сближению могла препятствовать репутация Бутовича, человека незаурядного, исключительно знавшего свое дело, но в то же время склонного к авантюризму. Темная ишпордная история, положенная Куприным в основу рассказа «Изумруд», связана с отцом и братом Бутовича, также коннозаводчиками из Каспер-Николаевского уезда Херсонской губернии. «Херсонский помещик» Я. И. Бутович вполне

был бы уместен среди гоголевских персонажей, сочетая в себе по-ноздревски и даровитость, и удал, и неразборчивость в средствах. Фигура заметная, но не случайно упоминается в «Театральном романе» М. Булгакова, рисующем Москву 1920-х годов, когда, будучи членом Государственного управления коннозаводства (Гукон), Бутович пользовался известностью и за пределами круга конников. Вероятно, он, «бывший помещик, ныне директор музея», подразумевается в романе Пантелеймона Романова «Три пары шелковых чулок» («Товарищ Кисляков»). Черты Я. И. Бутовича, в частности его слог, манера говорить и писать, приданы коннозаводчику Бурмину из повести Петра Ширяева «Внук Тальони».

Разбор «Холстомера», составленный Бутовичем, интересен в ряде отношений. Он содержит мемуарные сведения о Толстом, неизвестные из других источников. Вместе с тем это как бы живой кусок быта, описанного Толстым, в особенности во всем, что связано с Никитой Серпуховским, которому Бутович типологически родственен. Наконец, мнение Бутовича, авторитета в коннозаводстве, подтверждает важность для творческой работы Толстого специальной осведомленности в предмете, которая характерна для Толстого и в обращении к истории, военному делу, сельскому хозяйству, судопроизводству и т. п. Важен при этом метод ознакомления Толстого со специфической сферой.

С. Л. Толстой свидетельствует, что его отец «ни разу в жизни не был на скачках». По словам С. А. Стахович, Толстой «любил лошадей и, как говорится, понимал и них, но заводского дела не знал». С. А. Стахович рассказывает также, что существовал список «Холстомера», который Толстой давал читать знакомым коннозаводчикам, а те делали на рукописи свои заметки. Некоторые из них Толстой принял и оставил в тексте повести.

Рукопись Я. Н. Бутовича хранится в архиве Музея коннозаводства ТСХА.

Д. Урнов

О «ХОЛСТОМЕРЕ»

(Из «Коннозаводских портретов»
Я. И. Бутовича)

...Упомяну еще о большой картине Сверчкова «Холстомер» (по одноименному рассказу Л. Н. Толстого), написанной также в 1891 году и имеющей, на наш взгляд, тесную связь с его коннозаводскими портретами. История Холстомера, как она передана нам Толстым в его повести, настолько интересна, что мы позволим себе здесь возможно подробнее остановиться на этом рассказе, приведем еще нигде не опубликованные сведения о М. А. Стаховиче, которым, собственно говоря, и был задуман сюжет этой повести, рассмотрим все имеющиеся в нашем распоряжении данные о происхождении и жизни Холстомера и постараемся ответить на вопрос, действительно ли существовала когда-либо эта лошадь или же это миф, легенда, как полагают некоторые иппологи.

Имя известных коннозаводчиков Стаховичей теснейшим образом связано с именем Холстомера: А. А. Стахович в своей молодости заинтересовался рассказами старых коннозаводчиков о необыкновенной резвости Холстомера, пробегавшего 200 сажень в 30 секунд, еще в начале 80-х годов в Москве, на извест-



Я. И. Бутович.
Фотография.

ном шабловском бегу, устроенном для своих рысаков еще гр. А. Г. Орловым-Чесменским. Так как лошади с именем Холстомер никогда не было в Хреновом *, то Стаховичу лишь после долгих изысканий и расспросов стариков удалось установить, что Холстомер было не имя, а кличка, под которой скрывался знаменитый Мужик 1-й. Эту кличку (Холстомер) дал Мужик 1-му за его длинный и просторный ход — словно холсты меряет — сам гр. А. Г. Орлов-Чесменский. Результатами своих изысканий А. А. Стахович поделился с своим братом Михаилом Александровичем, который задумал написать повесть: «Похождения пегого мерина», и сообщил ее план А. А. Стаховичу.

М. А. Стахович — автор известных пьес «Ночное», рассказа «Наездники» и стихотворения «Песнь табунщика» — вскоре после этого разработал ее сюжет, и А. А. Стахович после трагической смерти брата передал, вернее, рассказал Толстому ее содержание, как себе представил таковое его покойный брат, и Толстой впоследствии воспользовался сюжетом и написал своего бессмертного «Холстомера».

В своем месте мы подробно будем говорить о том, как А. А. Стаховичу удалось заинтересовать Толстого, а теперь перейдем к трагической гибели М. А. Стаховича и скажем о том, как было совершено и как было раскрыто это дерзкое преступление. М. А. Стахович был елецким предводителем дворянства, почти безвыездно жил в своей любимой Польне, но жил несколько уединенно и обособленно: не держал повара, а пробавлялся холодными закусками, обходился почти без прислуги. Эта уединенность и оказалась причиной его трагической смерти. Как-то осенью, когда еще была сухая погода и дорога, он получил крупную сумму денег за проданную пшеницу и в тот же день был задушен и брошен в колодезь, приблизительно между двумя и четырьмя часами дня. Подозрение пало на бурмистра и конторщика, но они доказали свою непричастность тем, что в день убийства в четыре часа дня их видели в одном трактире в городе Задонске, где они вели с местными купцами переговоры о продаже партии хлеба. Таким образом, их алиби было установлено, и виновники убийства не найдены. Прошло около года — А. А. Стахович не мог примириться с мыслью, что преступники гуляют на свободе, и предпринял ряд шагов, дабы раскрыть преступление и найти убийц. Пользуясь своими большими связями и знакомством в Петербурге, он



И. Е. Репин. А. А. Стахович.
1897 г. В., кар.

добился того, что Министерство юстиции приняло участие в этом деле и командировало в Елец и Польну одного из своих молодых следователей. Молодой человек был талантлив, энергичен и честолюбив — страшно хотелось ему отличиться, раскрыть преступление, и он сделал для этого все, что было в его силах. Однако все его поиски были тщетны, и, потеряв наконец всякую надежду, он решил вернуться обратно в Петербург. Молодой человек отличался религиозностью и перед своим отъ-

* Известный центр коннозаводства. (Примеч. ред.)

ездом решил съездить помолиться к Тихону Задонскому, заказав хорошую тройку. Ранним погожим утром вышел он на крыльцо поповской гостиницы в Ельце, в самом безнадежном настроении духа, и не думал, не гадал, что всего лишь через несколько часов нити преступления будут в его руках и он уличит преступников и блестяще закончит свою командировку.

У подъезда стояла разномастная тройка поджарых лошадей, и следовательно уселся в тарантасе, и тройка тронулась в путь. В городе и слободой лошади шли вяло, разминались и ничем не обращали на себя внимания седока. Но, отъехав верст пять-шесть, начали оживляться, вздергивать головами и просить вожжей. Ямщик гикнул, подобрал вожжи, и тройка птицей понеслась по ровному Задонскому шоссе и все прибавляла ходу, на ровном месте тарантас стало закидывать, и колокольчик замер под дугой, от резкой езды захватывало дух и замирало сердце... Вот показался крутой спуск к реке, вдаль виднеется мостик, и ямщик свистнул, и тройка перешла сразу и покорно на свой трясущий, спокойный машок. «Ну, брат, ты и мастер», — не удержался и похвалил следовательно ямщика. «Да что, барин, лошади не те: в прошлом году мы бы поехали не так, вот была у меня тройка, птицы — не лошади. Позарился я на деньги, да вот об эту самую пору и загнал коренника и правую пристяжку — целела вот только она, — и ямщик указал кнутом на левую пристяжную лошадь. — И случилось то на этом самом тракту. Только еще подальше от города так верст на двенадцать. Подрядили меня двое, чтобы их доставить за два часа в Задонск за семь катерин, и наказали ждать у дуба в Польненском лесу, после обеда к двум часам. Пришли, сели. «Пошел, делай!» И я бросился наперерез на Задонский тракт и так ехал, так делал, что раньше четырех и доставил их в Задонск. Они, вишь, продали пшеницу задонским купцам и должны были ответить до четырех часов, а то им была большая неустойка. Да, деньги, конечно, большие, да еще и на чай дали. Да что деньги, лошадей жаль — таких уж больше не добуду!!»

Тройка опять, тронула ходом, а ездок не знал, что он, грезит или же действительно сидит в тарантасе и едет к пресвятому Тихону на поклонение. Чуть было не крикнул ямщику: «Стой, пошел назад в Елец!». Но сердце подсказало другое: «В Задонск, помолись и поблагодари угодника». Слова замерли на устах, и следовательно продолжал свой путь. Часа через два благополучно прибыли в Задонск, следовательно горячо помолился перед мощами угодника и на другой день не торо-

пясь вернулся в Елец — и прямо к прокурору. Ямщика немедленно задержали, допросили, поехали в Польну — он показал дуб, где ждал. Туда привели бурмистра и конторщика. «Они, они вот эти ездочки мои», — воскликнул ямщик. «Ездочки», по принятому обычаю, пали на колени и во всем признались. Так было раскрыто это таинственное преступление, долго волновавшее не только Елецкий уезд, но и всю Россию, и убийство Стаховича было отпущено.

М. А. Стахович был старшим братом А. А. Стаховича, он положил основание знаменитому впоследствии польненскому заводу и принадлежал к талантливой фамилии Стаховичей, давшей не одного выдающегося государственного и общественного деятеля и немало потрудившейся на коннозаводском поприще. Он очень рано окончил Московский университет, после чего сейчас же уехал за границу, где слушал, преимущественно в Германии, знаменитых профессоров того времени. Вернувшись в Россию, Стахович врастался в литературных кругах и был близок и хорош с Тургеневым, Аксаковым и некоторыми другими. Он был также своим человеком среди славянофилов и принимал участие в кружке Хомякова и Киреевского. Стахович всей душой был предан делу освобождения крестьян от крепостной зависимости...

М. А. Стахович сам хорошо владел пером и был не чужд литературных занятий, он написал немало стихов и несколько пьес и рассказов, которые и были в свое время напечатаны. Его муза имела преимущественно лирическое направление, и среди его стихов есть очень талантливые и удачные. Стахович собрал также много народных песен, которые он лично переложил на музыку. Наибольшей популярностью среди его литературных произведений пользуется «Ночное» — пьеса, которая по настоящее время не сходит с репертуара театров. Нам известно, что он также написал театральную пьесу из жизни Лебедянских бегов, озаглавленную «Наездники», и мы читали ее когда-то в Польне в рукописи. Напечатана ли была эта пьеса или нет, мы сейчас хорошо не помним. Перу Стаховича принадлежит также и несколько научно-исторических исследований, из которых обращает на себя особое внимание его работа «История, этнография и статистика Елецкого уезда».

Часть зимы Стахович жил в Петербурге и Москве (на государственной службе он не состоял), но душа его больше лежала к деревне, где он и проводил значительную часть года. Стахович был типичным народником в лучшем смысле этого слова, он любил народ, многих своих крепостных он пустил на волю

и вообще был в высокой степени гуманен с крепостными. Народу он посвятил много своих песен и стихов. Михаил Александрович сам вел хозяйство, направляя его на поднятие не только своего благосостояния, но и благосостояния своих крестьян, которые не могли это не сознавать, а потому не только ценили, но в уважали его. Мы уже указали, что он вел в деревне простой, хотя и несколько замкнутый образ жизни, но тем не менее соседи-помещики нередко посещали его. Местное дворянство очень ценило Стаховича. В доказательство чего достаточно привести хотя бы следующий факт: во время Крымской кампании, когда, как везде, значительная часть дворян Елецкого уезда была призвана в ополчение, то Стаховича дворянство единогласно избрало уездным предводителем, несмотря на его сравнительную молодость и либеральный образ мыслей. Местный губернатор несколько отрицательно отнесся к этому избранию, но дворянство просило утвердить своего избранника, говоря, что тогда они будут уверены, что семья их останется на попечении надежного и верного человека.

В коннозаводском отношении М. А. Стахович не вполне определившаяся величина, так как он слишком недолго занимался этим делом, чтобы до конца выяснить здесь свое лицо. Однако следует заметить, что у него, также как и у его младшего брата А. А. Стаховича, был конный завод в Польне, и некоторые старые ельчане говорили нам, что он любил и понимал это дело. Этому нетрудно поверить, так как уже в то время в Елецком уезде начинало зацветать коннозаводское дело и будущие знаменитые елецкие коннозаводчики Хрущев, Коротнев и другие уже начали свою полезную и впоследствии столь видную коннозаводческую деятельность. По соседству с Елецким уездом и недалеко от Польны также находились знаменитые заводы И. Н. Лермонтова и М. И. Кожина, где коннозаводская жизнь уже была ключом и где можно было вполне набраться конских впечатлений и совершенно окупиться в этот своеобразный и столь интересный мир. Спортивная деятельность также не была чужда М. А. Стаховичу, и лошади его принимали участие на Лебедянских бегах, и Стахович был одним из видных деятелей этого старейшего в России бегового общества.

Стахович умел также вносить много поэзии, много светлых и прекрасных мыслей во все, за что бы он только ни принимался, и память о нем будет долго жива среди коннозаводчиков и охотников. Пятнадцать лет тому назад я просил А. А. Стаховича написать воспоминания о Холстомере, что он и исполнил

в 1907 году. Я тогда же напечатал эти воспоминания в издаваемом мною в то время коннозаводском журнале. Воспоминания эти для нас особенно дороги и важны. А. А. Стахович в продолжение своей долгой жизни касался в литературных заметках и коннозаводских статьях несколько раз Холстомера, но делал это между прочим и лишь вскользь, тогда как в этих последних воспоминаниях он впервые передал по памяти план и содержание повести, как таковые рисовались его брату Михаилу Александровичу, и сообщил нам, как хотел обработать этот сюжет и что предполагал написать М. А. Стахович. Весьма интересно было бы выяснить, действительно ли М. А. Стахович написал, хотя бы вчерне, в набросках, «похождения пегого мерина» и этот черновик впоследствии затерялся в его бумагах, или же он не успел это сделать и ограничился лишь составлением плана и рассказами брату о предполагаемом содержании этой повести. Получить точный ответ на этот вопрос ныне, к сожалению, невозможно, но на основании некоторых данных следует предположить, что вчерне похождения пегого мерина были набросаны и что этот черновик затерялся. Ввиду громадного интереса этой первоначальной схемы рассказа, ибо ее-то, конечно, и сообщил А. А. Стахович Л. Н. Толстому, приведем полностью из воспоминаний А. А. Стаховича следующий отрывок: «Покупает мерина Холстомера в Хреновом богатый московский купец. Тут просторное поле для описания быта этих первых страстных охотников резвых орловских мерин, за которых платили они большие тысячи. Переходит Холстомер к гвардейскому офицеру, времен императора Александра Павловича. За лихую цыганскую пляску лихой гусар дарит знаменитого в Москве пегого рысака столь же знаменитому Илье, тогдашнему главе цыганского хора. Вozил Холстомер, может быть, и цыганку Танюшу, восхищавшую своим пением впоследствии и А. С. Пушкина; попадает Холстомер и к удалу-молодцу-разбойнику, а под старость уже разбитый жизнью и ногами, переходит к сельскому попу, потом в борону мужика и умирает под танущником. В памяти у меня осталась из разговора с братом, чуть ли не пятьдесят лет тому назад, сцена: на постоялом дворе, по дороге из Москвы в Нижний, шел кутеж купца, ехавшего с приказчиком на ярмарку к Макарию с двумя лихими бандуристами и плясунами. Еще до света, после кутежа подымается купец, кончил чаепитие, начали выносить перину и подушки, грузно ложится на них в тарантасе хозяин, гремя большими бубенцами, выезжает громаздкий тарантас со двора.

Когда уехали вчерашние сапожники, просыпаются и бандуристы. Умылись, помолились богу, не спеша закладывают в тележку пегого мерина, выезжают и они. Едет не шибко, вдали засинел лес, которым идет большак верст на пять. «По расчёту времени кушпы должны были в него уже въехать, — рассказывает табунщику Холстомер. — Натянул хозяин вожжи — я пошел. «Эх, не догоним и х», — говорит товарищ, и в первый раз в жизни оскорбил меня ударом кнута! Что тут было, уж я не знаю! Как не разбилась вдребезги тележка, как уцелел передок, о который до крови я отбил себе ноги (для полного моего хода оглобли были коротки); вцепились ездки в четыре руки за вожжи, понесся я (рысью) как птица... Замелькали только верстовые столбы; налетел я на задок тарангаса и чуть не опрокинул его. «Держи правей!» — только успел крикнуть ямщик, сворачивая лошадей; а уж мои седоки соскочили, забегали с двух сторон, заработали кистенями, — ямщик свалился...

Тут в первый раз в жизни учуял я запах человеческой крови».

Из этого отрывка ясно видим, как М. А. Стахович представлял себе похождения пегого мерина и во что вылился бы этот рассказ, если бы преждевременная смерть не положила предел его планам и художественным замыслам. Теперь, когда мы познакомили читателя с личностью М. А. Стаховича, рассказали в общих словах, как и при каких обстоятельствах был им задуман «Холстомер», нам следует указать, какая сторона походов пегого мерина особенно притягивала к себе внимание Стаховича. Как это ни странно, но в схеме рассказа (и плана), как их передает нам А. А. Стахович, коннозаводская сторона повести не только не разработана, но даже и не намечена, по крайней мере, об этом нигде не только не упоминает А. А. Стахович, но и не дает на это нам даже отдаленных намеков. А вместе с тем как коннозаводчик и страстный любитель лошади М. А. Стахович должен был бы обратить особенное внимание именно на эту сторону вопроса, как ему особенно близкую и хорошо знакомую. Тем больше, конечно, заслуга Л. Н. Толстого, который не ограничился одной, так сказать, беллетристической стороной походов пегого мерина, но и дал нам превосходное описание рысистой лошади вообще, ее жизни (начиная от рождения), карьеры и вплоть до ее иногда трагического конца!

Перейдем теперь к тому, когда и при каких обстоятельствах Л. Н. Толстой впервые познакомился с сюжетом повести «Похождения пегого мерина», которую так и не успел на-

писать М. А. Стахович, и какое впечатление произвел на него этот рассказ.

А. А. Стахович в 1859 или в 1860 годах, как он сам об этом пишет, ехал с Толстым на почтовых из Москвы в Ясную Поляну и дорогой рассказал Льву Николаевичу сюжет задуманной М. А. Стаховичем повести «Похождения пегого мерина». Рассказ Стаховича заинтересовал Толстого, и Лев Николаевич по приезду в Ясную Поляну набросал похождения пегого мерина. Таким образом, сюжет стал известен Толстому благодаря М. А. Стаховичу между 1859 и 1860 годами. Так как в некоторых изданиях сочинений Льва Николаевича после «Холстомера» в скобках ставится год 1861-й, то я полагаю, что впервые Толстой набросал эту повесть именно в 1861 году, то есть через некоторое время после того, как этот сюжет был ему сообщен Стаховичем. Установить точно, когда, в 1860 или в 1861 годах, были сделаны Толстым первые наброски «Холстомера», будет возможно лишь тогда, когда будут опубликованы все рукописи толстовского архива. Многих читателей ввело в заблуждение указание года (1861) в собрании сочинений Толстого, и они полагали, что именно в 1861 году был написан и опубликован «Холстомер», Первоначально, до детального ознакомления со всеми материалами, мы также полагали, что «Холстомер» был написан и опубликован в 1861 году, теперь же с полной точностью нами установлено, что в 1861-м, а может быть, в 1860-м, были сделаны лишь наброски походов пегого мерина, окончательная же обработка повести относится к 80-м годам, когда впервые и был напечатан «Холстомер»*.

Мы имеем подтверждение справедливости и точности вышеприведенных слов А. А. Стаховича в воспоминаниях дочери Льва Николаевича Т. Л. Сухотиной, посвященных ею «Холстомеру». Эти воспоминания еще нигде не были напечатаны и войдут в издаваемое нами сочинение о Сверчкове, ибо написаны Сухотиной по нашей просьбе для этого издания и дают интересные подробности о присылке Сверчковым в подарок Толстому двух акварелей (собственно гуаши), изображающих Холстомера в молодости и в старости. В своих воспоминаниях Т. Л. Сухотина говорит, что в 50-х годах Лев Николаевич ехал на своих лошадях из Москвы в Ясную Поляну и подвозил в своей коляске молодого, но известного коннозавод-

* Впервые «Холстомер» был напечатан в 1886 году в III томе 5-го издания Собрания сочинений Л. Н. Толстого. (Примеч. ред.)

чика А. А. Стаховича, который и рассказал Толстому о судьбе одной пегой лошади, родившейся в Хреновском государственном заводе и проданной за пегую масть. Стахович тогда же рассказал, что его брат, Михаил Александрович, собирался написать повесть об этой лошади, но внезапная трагическая смерть безвременно унесла в могилу талантливого автора «Ночного», и повесть осталась ненаписанной. Стахович, по словам Сухотиной, ознакомил Толстого с содержанием повести, как ее себе представлял покойный Михаил Александрович, и Льва Николаевича очень захватил сюжет повести, и он просил у Александра Александровича разрешения воспользоваться им.

Нами здесь передан этот эпизод совместной поездки Стаховича с Толстым так, как его рассказывает Т. Л. Сухотина, и в общем, за исключением некоторых незначительных подробностей, ее рассказ вполне совпадает с тем, что писал в своих воспоминаниях Стахович о своей поездке с Толстым из Москвы до Ясной Поляны. Таким образом, не подлежит никакому сомнению, и в этом оба источника сходятся, что Толстой впервые узнал о похождениях пегого мерина от Стаховича, заинтересовался сюжетом и, по-видимому, тогда же возымел желание написать на эту тему повесть. Что же касается точно даты, когда именно была начата повесть «Холстомер», то на этот вопрос затрудняется ответить и Т. Л. Сухотина... Существует одно письмо Льва Николаевича к Фету, от 60-х годов, в котором Толстой, между прочим, сообщает, что: «Теперь я пишу историю пегого мерина, и к осени, я думаю, напечатаю». Однако, как замечает Т. Л. Сухотина, ни к той осени и ни к многим последующим «Холстомер» не был напечатан. В дальнейшем в своих воспоминаниях Сухотина говорит, что в 80-х годах, когда Лев Николаевич вновь отвлекся от литературы, его супруга Софья Андреевна предприняла новое издание Полного собрания сочинений своего мужа и, желая дать читателям что-нибудь новое, не бывшее еще в печати, пересмотрела все находившееся в портфеле Льва Николаевича, где и нашла повесть о пегом мерине. Эта повесть была написана лишь вчера и требовала, конечно, обработки. Софья Андреевна обратилась с просьбой к Льву Николаевичу просмотреть и исправить рассказ, на что последний ответил согласием, и уговорила Льва Николаевича просмотреть и закончить повесть и ее напечатать. Если бы не просьба Софьи Андреевны, весьма возможно, что повесть так бы и осталась лишь в черновике, не была бы опубликована и ныне бы мирно лежала под спудом в

толстовском архиве *. Татьяна Львовна повествует далее, что Лев Николаевич, принявшись за художественную работу, так ею увлекся, что буквально проработал всю повесть наново.

Однако есть еще одно обстоятельство, почему Толстой так долго не заканчивал и не хотел печатать «Холстомера» и даже полагал, что он появится в печати лишь после его смерти. Так как ни Стахович, ни даже Сухотина никогда и нигде об этом ни полсловом не обмолвились, то мы приведем здесь из воспоминаний Д. Д. Оболенского следующие строчки, которые ясно указывают нам, что «Холстомер» не был так долго закончен и не печатался не только потому, что Толстой отвлекся от литературной работы, но и потому, что он считался с тем, что сюжет этой повести заимствован, а кроме того, до некоторой степени фантастический: «...Я как теперь помню, как-то Л. Н. Толстой в отъезде поле в избе мне рассказывал, что он написал фантастический рассказ «Историю одной лошади», и на мой вопрос: почему же он не напечатает этого рассказа — гр. Л. Н. ответил: «Да, я не люблю фантастическое, да и сюжет мне сообщил Стахович. Рассказ этот появится после моей смерти, вероятно». Это был ныне уже появившийся на свет божий «Холстомер», но тогда Л. Н. рассказывал его немного иначе и многое впоследствии прибавил». Из этих слов Д. Д. Оболенского видно, что удерживало, между прочим, так долго Толстого от напечатания «Холстомера», и в этом отношении приведенный рассказ князя очень важен и интересен. Не менее важно, конечно, и указание на то, что когда появился в печати Холстомер, то многое было иначе и прибавлено. Мы полагаем, что первоначальные наброски Толстого о похождениях пегого мерина, вероятно, были очень близки к тому, что рассказал Толстому Стахович, и лишь в 80-х годах Толстой окончательно перерабатывал повесть, вероятно, оставив лишь сюжет, все же остальное изменил по-своему. Нами уже была приведена выдержка, указывающая, как себе представлял Михаил Александрович Стахович эти похождения мерина, и, сравнивая их с окончательной, опубликованной редакцией «Холстомера», мы, конечно, видим, насколько Толстой самостоятелен в своем изложении и как это все далеко от того, что представлял себе и о чем мечтал Михаил Стахович.

* Видимо, Л. Н. Толстой начал работать над «Холстомером» в 1863 году. См.: Л. Н. Толстой. ПСС. Юб. изд., т. 26, с. 664. (Примеч. ред.)



Н. Е. Сверчков. Холстомер в старости. 1887 г. Картон, кар.

Существует небольшая книжка воспоминаний кн. Оболенского, в которой он, между прочим, говорит о своих встречах и охотах с Толстым, но мы имеем не ее в виду, а выше ссылались на его последние отрывочные воспоминания, которые были им написаны в 1907 году для издаваемого нами тогда конно-заводского журнала, в которых он также говорит о своих встречах и охотах с Толстым, относящихся именно к середине 60-х и началу 70-х годов, то есть как раз в тот промежуток времени, когда в портфеле писателя имелся лишь черновой, вероятно, первоначальный набросок «Холстомера».

Итак, мы рассмотрели все данные и все материалы, относящиеся к вопросу, когда написан «Холстомер», и теперь можем с полной уверенностью утверждать, что впервые с сюжетом повести Толстой ознакомился в 1859 или же в 1860 годах и в том же 60-м году, а может быть, в следующем, он сделал наброски походов пегого мерина, окончательная же редакция и даже коренная переработка всей повести была произведена в начале 80-х годов, когда впервые и был напечатан «Холстомер». Когда «Холстомер» появился в печати, то повесть имела очень большой и шумный успех, и сейчас же стали появляться иллюстрации к ней. Первым откликнулся, конечно, Сверчков и написал Холстомера в молодости и его же в старости. Они были сделаны и чуть тронуты акварелью.

Сверчков послал их в подарок Л. Н. Толстому, о чем имеется соответствующая надпись на одном из Холстомеров. Вот как рассказывает Т. Л. Сухотина о получении Толстым этих произведений Сверчкова: «Как-то зимой в наш дом, в Москве, принесли посылку для Льва Николаевича. Он поручил мне ее распечатать. Помню свое чувство восхищения при виде двух прекрасно исполненных акварелей, изображающих: одна — молодую, а другая — старую пегую лошадь. Я, разумеется, сразу догадалась, что это изображение Холстомера в молодости и в старости. Также не трудно было угадать, что так мастерски написать лошадь в России может только один Сверчков».

На первой акварели Холстомер изображен молодым красавцем. Он бежит, подняв красивую голову, и прямо, не сгибая, выкидывает вперед ноги, словно холсты меряет. Прекрасный, полный глаз, блестящая шерсть, гладкое копыто свидетельствуют о его молодости, а богатая кость, постановка шеи и прекрасные лады обличают его высокие крови.

На второй картине Холстомер — старый, измученный мерин, с отвислой губой, остатком хвоста и гусклой лохматой шерстью. Уши у него опущены, выражение лица строго терпеливое, глубокомысленное и страдальческое. «Мне не новость страдать для удовольствия других», — как будто говорит он. Спина у него испещрена старыми побоями. Люди взяли от него все, что он мог дать им в молодости, а теперь, когда он едва передвигает больные ноги, его отдали табунщику, чтобы на нем пасти лошадей. Холстомер изображен Сверчковым в ту минуту, когда молодые кобылки, пробегая табуном недалеко от старика, задрают его своим молодым ржанием и когда он, вдруг вспомнив свою молодость, отвечает им трагическим бессильным голосом. И далее: «Лев Николаевич с большим интересом и восхищением рассматривает картины. Но в тот период своей жизни он был далек от художественных интересов и старался, насколько возможно, опроститься. Поэтому он не пожелал взять эти картины себе и тут же подарил их мне. Я в то время училась живописи в Московской школе живописи и валяния и очень была увлечена искусством. Поэтому отцовский подарок очень восхитил меня. Я повесила картины в своей комнате и постоянно любовалась на них. И отец, заходя ко мне, часто обращал внимание на них и делал по поводу них свои замечания. Помню, что ему нравилось в старом Холстомере то, что художник сумел в замученном, искалеченном старике показать его породу. В молодом Холстомере он находил шею слыш-

ком тонкой и не вполне правильно поставленной».

Я несколько раз видел эти гуаши у Т. А. Сухотиной в Ясной Поляне и считаю, что Сухотина очень хорошо описала Холстомера, как его изобразил Сверчков, а потому мне остается лишь добавить, что среди всех художников один лишь он создал действительно два великих художественных образа, которые вполне отвечают гениальному литературному изданию Толстого. Ныне оба эти Холстомера составляют собственность толстовского музея в Москве и обращают на себя всеобщее внимание посетителей.

Сверчков несколько раз повторял своих Холстомеров, и два писанных маслом полотна этой лошади составляли собственность петербургского богача Елисеева и где ныне находятся — неизвестно. Он также вылепил из воска замечательные по своей экспрессии модели Холстомера, которые были раскрашены самим художником и принадлежали его супруге, точное повторение модели было сделано Сверчковым для художника Соломки, но где теперь находятся эти произведения, положительно неизвестно. Заслуживает нашего внимания то обстоятельство, что Сверчков, по-видимому, и сам был вполне удовлетворен созданными им художественными образами и часто их повторял, отнюдь не создавая новых образов Холстомера, ибо, по-видимому, считал раз сделанные вполне удачными, с чем, конечно, нельзя не согласиться. Помимо Сверчкова, эта тема интересовала и многих других художников, как, например, профессора Ковалевского, но этот сухой и строгий рисовальщик совсем не чувствовал рысистую лошадь, и его Холстомер напоминает не рысака, а какую-то ремонтную кирасирскую лошадь. Из остальных художественных образов Холстомера следует упомянуть ряд удачных иллюстраций к этому рассказу профессора Самокиша и очень хороший рисунок головы Холстомера молодого и рано умершего художника Пирогова.

В первой главе повести Толстой рисует нам картину раннего утра и жизнь просыпающегося конного двора. Тут же он нас знакомит с табунщиком Нестором и впервые упоминает о пегом мерине. В нескольких метких словах набрасывается мастерский облик старого табунщика и очень живо рисуется сцена выпуска маток с ее неизбежной возней, криком, сборами табунщиков... С первой же страницы этой повести Лев Николаевич обнаруживает большое знание коннозаводского быта и исключительную наблюдательность. Такие выражения, как «тяжелые матки» или «осыпанная грачкой Жолдоба», которая всегда идет

впереди табуна, и другие мелочи указывают нам на полное знание автором табунской жизни. Особенно удачно подмечена Толстым характерная черта, заключающаяся в том, что обыкновенно одна какая-нибудь лошадь идет всегда в табуне передом, и никто из других лошадей не решается оспаривать этого ее первенства.

Вторая глава повести с коннозаводской точки зрения должна считаться одной из интереснейших глав рассказа, ибо в ней Толстой описывает нам подробно экстерьер пегого мерина. После небольшого введения о том, как пришел и расположился у реки табун, что делал Нестор и бурая кобылка-забияка, как три часа краду спокойно и, не обращая ни на кого внимания, ел пегий мерин, Толстой переходит к его описанию и здесь обнаруживает точное знание экстерьера лошади и в метких, ярких и, что самое главное, верных выражениях рисует нам облик этой замечательной лошади. Наряду с высокохудожественным образом старого пегого мерина Толстой дает бесподобное описание рысистой лошади вообще и в заключение говорит о том, что только одна порода в России могла наделить эту лошадь такими исключительно высокими качествами, и подразумевает при этом орловскую породу лошадей.

В третьей главе автор описывает табунную пастьбу лошадей... Пастьба табуна в полном разгаре, утро близится к полудню; солнце уже выбралось выше леса, роса обсохла, тучки кудрявятся, звенят жаворонки, и табун незаметно продвигается вперед. Таков общий фон этой красивой главы, и на этом фоне ярко вырисованы различные типы рысистых кобыл и даны с коннозаводской точностью характеристики возрастов, то есть проведено и указано различие между тем, как держат и ведут себя в табуне старые матки, холостые, подсосные, молодежь и, наконец, сосунки. О старых кобылах Толстой говорит, что они степенно выступают впереди других и показывают возможность идти дальше. О подсосных он пишет, как они следят и беспокоятся о своих жеребятках, беспредельно гогочут, и озираются. В лице молодой кобылы Атласной, шерсть которой блестит и переливается на солнце, которая низко опустила голову, так что ее шелковистая челка закрывает ей лоб и которая играет с травой, то есть щиплет и бросит ее, — Толстой рисует нам замечательно верный тип холостой кобылы, для которой табун не столько отдых и корм, сколько развлечение и прогулка. Так же жизненны, метки и верны описания поведения и игр сосунков, и столь же хороши характеристики молодых кобылок: то они притворя-

ются уже большими и степенно ходят, то собираются отдельной гурьбой, то резвятся, обнюхиваются, фыркают... Среди этих кобылок наибольшей шалуньей была бурая кобылка — та самая, которая в следующей главе сыграет столь важную роль в судьбе пегого мерина, и благодаря ей он расскажет и признается табуну в том, что он не кто иной, как знаменитый сын Любезного 1-го и Бабы.

Эта глава заканчивается описанием того, как бурая кобылка вскружила голову чалому крестьянскому меринку, и Толстой замечает, что ежели от одного звука ее голоса чалая лошадка могла ошалеть, то что же бы с нею стало, если бы она увидала всю красавицу шалунью. Далее Толстой дает описание бурой кобылки и делает это с такой любовью и таким пониманием, что ему может позавидовать любой коннозаводчик и охотник. Несомненно, что Толстой не только любил рысистую лошадь, но и превосходно ее знал и немало в своей жизни наблюдал ее.

В следующей, четвертой главе Толстой описывает нам, как любимым занятием молодежи и особенно бурой кобылки было дразнить старика. Как к этому относился пегий мерин, что он по этому поводу думал и как переносил эти обиды и горести. Эти-то шалости молодежи и обиды, наносимые старику, и переполнили чашу терпения мерина, и он, обычно равнодушно переносивший эти оскорбления и молча отходивший в сторону от обидчиц, не выдержал, больно ударил и укусил ворону лысую кобылку, после чего вся молодежь табуна приняла, должно быть, за личное оскорбление эту дерзость и весь остальной день решительно не давала кормиться старику и ни на минуту не оставляла его в покое. В тот же вечер, загоня табун, Нестор, увидав, что к нему приехали кумовья, бросил мерина на варке, даже не расседлав его, и поспешил скорее в избу. Вследствие ли оскорбления, нанесенного лысой кобылке, правнучке знаменитого Сметанки, и кем же — пегим меринком, даже не помнящим родства, и оскорблению поэтому аристократического чувства всего варка или же потому, что мерин в высоком седле, без седока ночью на варке, представлял необычное зрелище для лошадей, но в эту ночь на варке происходило нечто необыкновенное. Мерина гоняли, били, с оскаленными зубами бегали за ним по двору, как старые, так и молодые лошади, и гулко в ночной тиши раздавались звуки копыт об его худые бока, и слышалось его тяжелое кряхтение. Наконец мерин, не будучи более в силах переносить удары, остановился посреди двора, на лице его выразилось злобное бесилие, потом он приложил уши, и вдруг сде-

лалось что-то такое, от чего затихли все лошади. Самая старая в табуне кобыла Вязопуриха подошла к мерину, понюхала его и вздохнула. Вздохнул и мерин... Рядом многочислый заканчивается глава. Внимание наше напряжено, и сердце учащенно бьется при мысли: что же случилось? Заинтригованному читателю трудно догадаться о том, что последует далее и почему лошади вдруг так изменили свое отношение к пегому мерину. Ответ на этот вопрос мы, конечно, найдем в следующей главе, но как гениально выйдет из этого положения Толстой и как красива и неожиданна будет та форма, в которую он облечет свой рассказ.

Начиная с пятой и кончая восьмой главой, Толстой рассказывает нам жизнь пегого мерина и все пережитые им мытарства с самого его рождения и вплоть до того момента, когда пегий, уже на склоне лет, попадает верховым под седло к табунщику. Пегий мерин рассказывает табуну по ночам всю свою жизнь, и сообразно с этим его повествование разбито автором на пять ночей. Ночь первая начинается признанием пегого мерина, который объявляет неподвижно и в глубоком молчании стоящему вокруг него табуну, что он не кто иной, как знаменитый Мужик 1-й, сын Любезного 1-го и Бабы, прозванный Холстомером за длинный и размашистый ход, равного которому не было в России. Далее он рассказывает о своем рождении в Хреновском заводе, своей ранней юности и о том, какое впечатление произвело на всех то обстоятельство, что он родился пегим, то есть той масти, которая считается господствующей у простых лошадей и столь редка, что почти никогда не встречается у лошадей кровных. Очень тонко и верно описаны Толстым сцена свидания Бабы (матери Холстомера) с знаменитым хреновским производителем Добрым 1-м, варковая жизнь маток и сосунов ранней весной, выпуск на траву и пр. Ночь вторая посвящена Холстомером рассказу о том, как его в августе разлучили с матерью, как он прожил этот первый год своей самостоятельной жизни, как он дружил с верховым Милым, и, наконец, он останавливается на истории своей несчастной первой любви к Вязопурихе, на этом безумном увлечении молодости, которое навсегда исковеркало и погубило его жизнь, ибо на другой день после этого его сделали меринком и подарили конюшему. В этой же пятой главе (ночь первая) в различных изданиях при напечатании рассматриваемой нами повести обычно повторяется одна и та же грубая опечатка, искажающая весь смысл следующей фразы: «...сбыл с завода за то, что я обижал его любимца Лебеда», следует чи-

тать «не обижал» (от слова «обидеть»), а «объезжал» (от слова «объезжать»). Таким образом, вся фраза приобретает совсем другой смысл и отвечает (в исправленном нами виде) тому, что было написано Толстым.

Следующей ночью, когда уже народился месяц и узкий серп его освещал варок, Холстомер рассказывает о том, как случайно обнаружили его выдающуюся резвость и какое это имело для него последствие. Главная заслуга рысистой породы — резвый ход — явилась причиной изгнания Холстомера из Хреновой, и вот как это случилось. На кругу проезжали знаменитого Лебеда, а конюший, возвращавшийся из Чесменки на своем Холстомере, подъехал к кругу и решил его примерить с Лебедем. Холстомер обехал Лебеда, и перепуганное начальство, боясь, что весть о том, что выложили такую необыкновенную по резвости лошадь да еще подарили ее конюшему, дойдет до графа (подразумевается Орлов-Чесменский), решило его поскорее сбыть с глаз долой, и конюший его продал за 800 рублей барышнику из Коренной. Таким образом, в возрасте трех лет Холстомер навсегда покинул Хреновую... Мастерски и с большим знанием призовой езды рысаков описана здесь Толстым сцена езды на кругу Лебеда, его резвый, но все-таки щегольской ход, спорость и совсем иной тип хода у Холстомера и прочие тонкости рысистой езды, отличающие в Толстом большого знатока призового дела. Перечитывая именно эти замечательные строки повести, посвященные езде рысаков, я вспомнил рассказ старика Бибикова, который близко знал Толстого в молодости и который сообщил мне однажды следующее: «Как-то с конного завода гр. С. Н. Толстого, брата Льва Николаевича, был приведен в Тулу на призы жеребец Горноста́й, сын Жолдобы, лучшей матки толстовского завода. Читатель, конечно, помнит, что в своем «Холстомере» Толстой под именем Жолдобы описал одну из знаменитых хреновских кобыл. На бегу присутствовал и Лев Николаевич. Горноста́й выиграл первый приз, и тогдашний губернатор Исленьев вручил наезднику выигранный кубок. Наездник был так растроган, победой, что поцеловал руку Исленьеву, чем очень возмутил Толстого. Лев Николаевич долго не мог успокоиться, ходил по кругу, возмущался холопством наездника и говорил, что наездник отравил ему весь этот день...»

Четвертой ночью, когда затворили ворота и вновь все затихло, Холстомер рассказал табуна о своих наблюдениях, которые он сделал, переходя из рук в руки, от одного хозяина к другому. Дольше всего он останавливается на своей службе у гусарского офицера

и потом у старушки, что жила у Николы Явленного. Мы не будем следить шаг за шагом за этими похождениями Холстомера, а отметим лишь, что именно здесь Толстым описана жизнь дорогой городской лошади, даны типы кучера, барина и конюха, описаны запяжки того времени, словом, мы введены автором совсем в иной мир, уже не коннозаводский, а мир городской конюшни, с ее интересами, и, наконец, тут же описана неподражаемая по своей верности и красоте сцена встречи на езде двух резвых городских рысаков. «Один миг, звук, взгляд, и мы уж разъехались и опять одиноко летим каждый в свою сторону...»

Пятой ночью Холстомер повествует о том, что его счастливая жизнь кончилась скоро, но перед этим случилось самое радостное событие в его жизни. Как-то Холстомер повез князя на бег. На бегу состязались между собой знаменитые Атласный и Бычок. Князь вдруг, совершенно неожиданно, велел кучеру Феофану выехать на круг. Выехал и Атласный. Обоих рысаков выравняли и затем пустили в бег. Несмотря на то, что Атласный ехал с поддужным, а Холстомер в тяжелых городских санях, он на завороте кинул Атласного и пришел первым. Хохот, крики и рев восторга приветствовали победителя. Вскоре после этого Холстомер был искалечен князем (погоня за любовницей) и попал к барышнику, от него к старушке, после ее смерти к красноярцу, затем к мужику, от него к цыгану, и, наконец, его купил приказчик и определил верховой лошаду к табуна. «И вот я здесь...» Так при гробовом молчании табуна заканчивает Холстомер свои скитания, и в следующей, девятой главе Толстой вновь ведет рассказ от своего имени.

Эта девятая глава начинается описанием сцены вечернего возвращения табуна. Старуха Жолдоба вновь фигурирует здесь и, проходя, косится на две фигуры: молодого хозяина и толстого обрюзгшего военного. В дальнейшем следует описание осмотра табуна хозяином и его гостем. Здесь хорошо подмечены чувства, волновавшие хозяина лошадей при этом осмотре, его желание все показать, похвастать породой лошадей и пр. Проходя мимо Нестора, который сидел на пегом, гость хлопнул его рукой по крупу и сказал: «Такой-то и у меня был пегий, помнишь...» И вдруг Холстомер слабо и старчески заржал: он узнал в госте своего бывшего любимого хозяина, когда-то блестящего военного богача-красавца князя Серлуховского.

Обе предпоследние главы (X и XI) могут быть объединены, ибо в них ведется речь о том, как жил и принимал гостей хозяин кон-

ного завода, рысистый охотник крепыш-сангвиник, приводятся интересные беседы и разговоры хозяина с гостем о рысаках, езде, покупках и продажах лошадей и пр. Много говорит Серпуховской о своем пегом, приводит подробности его покупки и заканчивает упоминанием, что пегого знала вся Москва. Он также рассказывает и о своих кровных лошадях и вспоминает знаменитую езду Холстомера, когда он объехал Атласного. В заключительной главе Толстой рассказывает, как Васька ночью ездил в кабаки и продержал Холстомера до утра, Холстомер лизался с мужицкой лошадей и от нее заразился чесоткой. Когда обнаружили болезнь Холстомера, его решено было уничтожить, и тихим, ранним и ясным утром драч свел его в лошину и там прирезал. Замечательно описана сцена последних минут Холстомера, его ощущения и переживания и наконец смерть... Теперь мы находим уместным и по ходу изложения совершенно необходимым подробно и всесторонне разобран и выяснить вопрос о том, существовал ли в действительности когда-либо Холстомер или же все это сплошной вымысел, легенда, миф.

В описи Хреновского завода, которая была впервые напечатана в 1839 году, от имени дочери гр. А. Г. Орлова-Чесменского, Анны Алексеевны, ни среди заводских производителей, ни в числе приплодных лошадей лошади с именем Холстомер не значится, что и дало повод некоторым любителям и писателям по вопросам коннозаводства, как, например, Северцеву, утверждать, что раз нет документальных данных, то, стало быть, Холстомер никогда и не существовал. Впрочем, высказывая это на словах, Северцев, часто выступавший в специальной литературе в 60-х и 70-х годах, ни разу не выступил печатно по вопросу о том, существовал ли в действительности Холстомер, и, как мы уже сказали, предпочитал в печати обходить этот вопрос молчанием. Также и другие авторы печатно ни разу не выступали и не привели веских данных, о том, существовал ли Холстомер в действительности или же это не более как красивая легенда. Посмотрим теперь, на чем основывали сторонники существования Холстомера свои доводы и почему они неопровержимо верили в то, что Холстомер не только существовал, но и есть не кто иной, как вороной Мужик 1-й, сын Любезного 1-го и Бабы. Первые печатно об этом заявил А. А. Стахович, который, обращаясь с детства в коннозаводских кругах, утверждал, что многие старинные коннозаводчики из числа тех, которые еще помнили гр. Орлова-Чесменского, говорили ему о Холстомере и его необычай-

ной резвости. Сведения, собранные Стаховичем, весьма важны и, я бы сказал, вески, ибо он ссылался на таких коннозаводчиков-ветеранов, как В. П. Воейков и И. Д. Ознобишин. Разберемся в этих рассказах и прежде всего остановимся на личности Воейкова. Воейков еще ребенком, как он сам об этом говорит, бывал на шабловском бегу в Москве и часто видел самого Орлова. Засим, имея с молодых лет громадный завод, большие связи и состояние, он вращался в коннозаводских кругах, бывших очень близкими к созданию орловской рысистый породы, и, конечно, должен был много знать и слышать. Засим не кто иной, как Воейков, когда Хреновский завод был куплен у гр. А. А. Орлова в казну и стал достоянием государства, принимал этот завод и был его первым казенным управляющим. Воейков также близко знал Шишкина и в молодости купил немало хреновских лошадей, почти сверстников и сверстниц Холстомера. Словом, не подлежит никакому сомнению, что именно Воейков был вполне осведомлен о том, что делалось в Хреновой, и не только мог знать, но, вероятно, и знал многое об этом заводе и его порядках, что другим не только не было известно, но и не могло быть известно. Именно Воейков утверждал, что Холстомер был резвейшей лошадей графа и пробегал на шабловском бегу 200 сажень в 30 секунд. Резвость, конечно, настолько выдающаяся, что о ней не могли не говорить и ее не могли не запомнить охотники. Точное указание как дистанции, которую столь резво пробегал Холстомер, так и секунд говорит в пользу того, что сведения эти не вымышлены, а отвечают действительности. Лично мы склонны отнестись с полным доверием к словам Воейкова и полагаем, что Стахович был совершенно прав, опубликовав их и придав им полную веру. Помимо Воейкова, то же утверждал и знаменитый коннозаводчик своего времени И. Д. Ознобишин. Здесь следует подчеркнуть, что Ознобишин всю свою жизнь посвятил только коннозаводской деятельности, ничем другим не занимался и, кроме того, отличался большой правдивостью. Он был соседом Воейкова и, вероятно, слышал о Холстомере именно от него. Однако, как я уже указывал в этой работе, Ознобишин преклонялся перед гением Орлова, тщательно изучал его жизнь и коннозаводскую деятельность, имел немало материалов о деятельности графа и, стало быть, не только мог, но, по всей вероятности, и проверил справедливость слов Воейкова. Вот почему свидетельство Ознобишина и его уверенность в том, что Холстомер не только существовал, но и был резвейшим рысаком

своего времени, для нас не только интересны, но и крайне важны. Еще ценнее утверждение Кабанова, сына И. И. Кабанова, который был одним из первых управляющих Хреновским заводом, еще при жизни графа, и с которым Орлов был в переписке. Кабанов должен был знать от отца и, вероятно, не раз слышал от него рассказы о первых орловских рысках, так сказать, родоначальниках рысистой породы, и не мог, конечно, Кабанов-отец не рассказать сыну о необыкновенной резвости Холстомера, раз тот был лучшим рысаком его времени. Таким образом, утверждения Кабанова-сына для нас имеют сугубо важное значение и к ним следует отнестись с полным доверием и большим вниманием, как к словам лица, утверждения которого покоились на рассказах его отца, близкого и преданного слуги графа, не только знавшего, но и управляющего Хреновским заводом именно во времена Холстомера и, стало быть, хорошо знавшего этого рыска. Не только старинные коннозаводчики и охотники были уверены в существовании Холстомера, но и торговцы лошадьми, имеющие свои сведения из совсем других источников, обыкновенно от управляющих заводами, наездников, маточников и старших конюхов, также подтверждали и верили в существование Холстомера. Так, например, известный московский старожил и замечательный ездок, торговец лошадьми Сафонович даже уверял, что Холстомер бежал необыкновенно редким и длинным махом — «словно мерил холсты», отчего и дано графом этой лошади прозвище Холстомер. Другой торговец, Бодров, проживающий постоянно в Козлове и бывший в 30-х годах любимцем наших коннозаводчиков, говорил, что И. Н. Рогов считал Холстомера резвейшим рысаком времен графа, которого граф отправил из Москвы в Хреновое в производители, а вскоре после смерти графа его выхолостили. Следует еще упомянуть, что

А. А. Стахович, желая проверить правдивость всех этих коннозаводских рассказов, расспрашивал С. П. Жихарева, и этот последний подтвердил сведения о быстроте Холстомера и добавил, что по всем слышанным им в то время отзывам современников, лично знавших Холстомера, это была действительно резвейшая в то время лошадь. С. П. Жихарев, как и Воейков, еще ребенком помнил графа и не раз бывал на его московском бегу. Жихарев — автор известных «Записок студента», впоследствии сенатор и выдающийся деятель, в своих воспоминаниях посвятил немало строк Орлову-Чесменскому, и приведенные в его воспоминаниях сведения послужили впоследствии В. И. Коптеву богатым материалом для его

биографии, посвященной графу Орлову. Вот почему свидетельству Жихарева, лично спрощенного А. А. Стаховичем и помнившего еще самого Орлова и знавшего лиц, которые видели на бегу Холстомера, особенно важно тем, что вполне совпадает с теми сведениями и данными о Холстомере, которые мы имеем из совсем других, то есть коннозаводских кругов. Мне остается еще добавить, что во второй половине 70-х годов в газете коннозаводчиков и любителей лошадей появились воспоминания девяностолетнего старца Петра Прохоровича Поясова, бывшего крепостного Орлова-Чесменского, проживавшего на покое при Подовском конном заводе кн. Н. А. Орлова. Эти воспоминания были записаны со слов старика тогдашним управляющим Подовским заводом А. Н. Алифатовым и засим опубликованы. Что особенно важно в этих рассказах, то это тот установленный Н. Д. Лодыгиным факт, что Поясов мало путался в своих рассказах и обладал хорошей памятью. За год до печатания воспоминаний Лодыгин посетил Поды, целый вечер беседовал с Поясовым, и когда через год получил для напечатания в своей газете эти воспоминания, то счел возможным и необходимым сделать следующее примечание: «Мы вынесли убеждение, что, несмотря на преклонные годы Поясова, он еще многое очень хорошо помнит и мало в своих рассказах путается так, что к большей части им рассказываемого можно отнестись с доверием. Общеизвестна в коннозаводских кругах добросовестность Лодыгина как редактора заводских книг и его беспристрастное отношение к генеалогии орловского рыска, а потому после сказанного им о воспоминаниях Поясова к ним следует отнестись с полным доверием. Хотя Поясов в своих воспоминаниях и не упоминает о Холстомере, однако после того, как Стаховичем были опубликованы сведения о Холстомере, то А. Н. Алифатов опросил Поясова, и тот на вопрос Алифатова, не помнит ли он, была или нет в Хреновском заводе лошадь Холстомер, отвечал, что так прозвали за длинный ход вороного Мужика 1-го. Алифатов тогда же выступил в печати и подтвердил предположения Стаховича.

Таким образом, целый ряд лиц свидетельствуют нам о том, что Холстомер существовал и был резвейшим рысаком графа. Так как все эти свидетельства были основаны лишь на рассказах, хотя и весьма компетентных лиц, и не было найдено никаких печатных источников, то к этим рассказам многие отнеслись весьма скептически. Вследствие этого у некоторых коннозаводчиков и охотников создалось убеждение, что все это рассказы, и

они не верили в то, что когда-либо существовал Холстомер; своим неверием, конечно, заражали и других. Само собой разумеется, что если бы удалось найти какое-либо печатное указание современников о Холстомере или же разыскать ссылку на заводскую книгу, то тем самым вопрос был бы окончательно разрешен и было бы с неопровержимой точностью доказано существование Холстомера. Нам удалось разыскать подобное указание, и его-то мы здесь и приведем, чем и разрушим раз и навсегда легенду о том, что Холстомер — это миф и что он никогда не существовал. В середине прошлого столетия на страницах исторического журнала «Русский архив» появились три письма гр. А. Г. Орлова-Чесменского к его управляющему Кабанову. В третьем из этих писем, написанном в 1807 году, сентября 17-го числа, из села Остров Орлов пишет: «Взятые же лошади все переменялись к лучшему. Один Холстомер не совсем еще исправился, нередко приталкивает и т. д.». Итак, с опубликованием этой выдержки из собственноручного письма гр. Орлова не подлежит более никакому сомнению, что Холстомер существовал, и вышеприведенные строки письма Орлова к Кабанову указывают нам и на то, как граф интересовался этой лошастью, если о ней даже специально упоминал в письме к своему управляющему. Прав был, как видим, Стахович, утверждавший со слов старинных коннозаводчиков и охотников о том, что Холстомер существовал, и теперь, надо думать, этот вопрос будет считаться раз и навсегда разрешенным.

Итак, Холстомер действительно существовал и был резвейшим рысаком графа. Почему же мы не находим его имени в описях Хреновского завода?

На этот вопрос, как нам кажется, ответить нетрудно. Дело в том, что Холстомер было не имя, а прозвище, и под этим прозвищем был известен вороной Мужик 1-й, сын Любезного 1-го и Бабы. Об этом свидетельствуют многие старинные коннозаводчики, а также Поясов — сверстник Холстомера. Раз подтвердилось само существование Холстомера, и оно нами неопровержимо доказано ссылкой на собственноручное и опубликованное письмо графа, и таким образом рассказы прежних коннозаводчиков совпали с действительностью, то нет основания предполагать, что и в другом, а именно в их утверждении тождества Холстомера с Мужиком 1-м, кроется недоразумение. По-видимому, и в этом они были правы, и, стало быть, надо искать в заводских книгах не Холстомера, а Мужика 1-го. Откроем первую, изданную в России заводскую книгу (1839), и там на странице

202-й среди заводских жеребцов найдем и прочтем:

«Мужик 1-й (выхолощ. 1812) Вороной, род. 1803 году от Любезного 1-го; мать Баба от иноходца, выведенного из Бухары, бабка вороная, выписанная из Голландии № 4».

Таким образом, отпадает и этот козырь из рук сторонников легенды о том, что Холстомер никогда не существовал, ибо он не внесен в заводскую книгу, и мы видим, что Холстомер, он же Мужик 1-й, не только был внесен в заводскую книгу Хреновского завода, но и числился там заводским производителем, и даже указан год, когда он был выхолощен (1812).

Теперь нам остается разобраться в вопросе, был ли в действительности Холстомер пегий масти и каким образом случилось, что этот резвейший и лучший рысак графа оказался выхолощенным. По преданиям тех же коннозаводчиков, к которым, как мы уже видели, необходимо отнестись с полным доверием, Холстомер, он же Мужик 1-й, был не воронопегий, а вороной, но имел во весь лоб лысину и имел также все четыре ноги белые, то есть был почти пегий. Вот за эту-то масть, вернее — за обилие отмет, его и невзлюбило хреновское начальство, так как хорошо известно, что во все времена существования рысистой породы отметины в рысистых лошадях тщательно преследовались и отметистые лошади лишь в совершенно исключительных случаях получали заводское назначение. Немалую роль в этом сыграла, конечно, и мода, ибо городские охотники совершенно не покупали для езды отметистых лошадей. Коннозаводчики не могли не считаться с требованиями рынка, который предъявлял спрос на лошадей без всяких отмет, а потому они и тщательно изгоняли из своих заводов вообще отметистых лошадей, не говоря уже о таких, как Холстомер, который был настолько отметист, что напоминал собою даже пегую лошадь. В то время ходячим мнением у московского купечества, а стало быть, и у провинциальных охотников, было убеждение, что кто ездит на пегих или же отметистых лошадях, у того жена будет отличаться легким поведением и не будет верна мужу. По этому поводу была также весьма распространенная народная поговорка. Разумеется, с течением времени и развитием бегового дела все эти предрассудки, как нелепые и ни на чем не основанные, были оставлены, но для того времени они имели, несомненно, свое значение. Нельзя отчасти не согласиться с тем, что если у лошади большие отметины, то такая масть не особенно благородна, так как все эти белые отметины вносят чересчур много пестроты во

внешность лошади и мешают цельности и глубине впечатления, но из-за этого совершенно отказываться от отметистых лошадей, по меньшей мере, нецелесообразно и с коннозаводской точки зрения прямо-таки преступно. Мать Холстомера, стало быть, не была пегой в полном смысле этого слова, но по обилию и величине отмет, несомненно, эта лошадь весьма напоминала собой пегую лошадь. Обилие отмет у Холстомера весьма понятно, если мы обратимся к его происхождению: ведь его мать Баба была дочерью выводного из Бухары иноходца, стало быть, лошади восточного, азиатского происхождения, а общеизвестно, что восточные лошади весьма часто бывают и сами отметисты и передают таковые

отметины своему приплоду, причем эти отметины зачастую имеют весьма своеобразную и даже подчас некрасивую форму. До рождения в Хреновском заводе в 1803 году этого вороного отметистого жеребенка, которому было дано имя Мужика 1-го, в этом заводе преобладающими именами, так сказать, любимыми и наиболее часто повторяющимися были имена Лебеда, Горностая, Араба, Аха, Барса, Барсика, Ворона, Быстрого, Доброго, Добрыни, Красавца, Кролика, Летуна, Любимца и т. д. и т. д., и лошадей с такими и им подобными названиями были серии, например, пять Горностаев, несколько Добрых, Столько же Лебедей и проч. Мужиком же был впервые в 1803 году назван сын Любезного 1-го и

Л. Н. Толстой на Дешире в окрестностях Ясной Поляны. 1908 г. Фотография К. К. Буллы.



Бабы, и я позволяю себе в виде догадки, ни для кого не обязательной, высказать предположение, что и само имя Мужик было ему дано при рождении именно за его масть, столь близкую к пегой масти, которая в России встречалась, да и сейчас встречается лишь среди простых крестьянских лошадей, а отнюдь не является мастью породистых. Верно ли мое предположение, сказать сейчас, конечно, невозможно, но не следует забывать, что и Толстой, описывая сцену осмотра только что родившегося Холстомера, заставляет конюшего воскликнуть: «...и в какого черта он уродился, точно мужик». Так или иначе, но с легкой руки именно этого жеребенка прозаическое имя Мужик водворилось как в Хреновском заводе, так и во многих других рысистых заводах России и стало не только популярным, но и особенно любимым. Вспомним хотя бы серию знаменитых Мужиков в известном Тулинском заводе.

Итак, Холстомер не был пегий, но по облику примет был очень близок к пегим лошадям, и потому ни М. А. Стахович, ни Л. Н. Толстой не очень погрешили против истины, именуя его пегим рысаком.

Как видно из заводской книги 1839 года, Холстомер был выхолощен уже в 1812 году, то есть в год Великой Отечественной войны и нашествия французов. Каким образом могло случиться, что сравнительно недавно до этого присланный из Москвы самим графом Орловым в производители Хреновского завода Холстомер, этот резвейший рысак своего времени, вдруг был выхолощен и, очевидно, продан с завода? Ответ на этот вопрос дают нам те немногочисленные исторические данные о Хреновском заводе, которые мы имеем в воспоминаниях прежних охотников и коннозаводчиков, в разное время напечатанных в спортивной литературе и ныне, конечно, давно забытых. Из этих воспоминаний узнаем, что вскоре после смерти графа преданный его слуга и знаток лошади Кабанов, е которым граф был в переписке и, вероятно, посвящал его в свои коннозаводские планы, покинул Хреновую и на его место был прислан из Москвы графиней бурмистр новгородских деревень, который и принял в заведование Хреновской завод. Дела в Хреновой было немало: двести тысяч десятин земли, огромное скотоводство, салотопенный и другие заводы, словом, бурмистр скоро понял, что не справиться ему с конным заводом, в делах которого он ничего не смыслил и, как человек честный, просил графиню снять с него заведование конным заводом. Графиня прислала своего берейтора-немца, который и пробыл в этой должности около двух лет. Орлов

умер в декабре 1808 года, и вот с 1809 года и по 1813-й (знаменательный год назначения управляющим Хреновским заводом даровитого и впоследствии знаменитого русского коннозаводчика В. И. Шишкина) в Хреновском заводе воцарились беспорядки, было междоусобице, и особенно много вреда причинил этот немец-берейтор, который не понял и не сумел оценить высоких достоинств тогдашних хреновских лошадей, среди которых многие, по близкому в них присутствию арабской крови, были невелики ростом. Немец-берейтор, желая сразу увеличить в приплодах рост, выхолостил всех тех первоклассных рысистых производителей самой высокой крови, которые были мелки. Среди других был выхолощен им и Холстомер (он же Мужик 1-й). Весьма возможно, что немец-берейтор выхолостил Холстомера и за пестроту, и не сумел он простить этому замечательному рысаку его отметки и, выхолостив его, конечно, принес громадный и трудно поправимый вред Хреновскому заводу. Невольно здесь вспоминается незабвенный творец орловской рысистой породы, который, несмотря на отметины Холстомера, не только оценил его, угадав в нем знаменитого производителя, но и послал его в Хреновской завод. Орлов был чужд предвзвешенности времени, не обратил никакого внимания на масть Холстомера и, конечно, в заводском деле стоял на голову выше всех своих современников, а потому, проживи он еще несколько лет, то от Холстомера в Хреновском заводе получились бы невиданные рысаки. Недаром же от одной только и то случайно выпущенной из Хреновского завода жеребой от Холстомера кобылы родился Старый-Атласный, который и стал родоначальником всего частного коннозаводства. О Старом-Атласном мы будем говорить, разбирая породу и заводскую деятельность Холстомера, теперь же не можем еще раз не подчеркнуть здесь того необыкновенного чутья, дара интуиции, которыми был в такой исключительной мере одарен Орлов — этот гениальный творец двух пород орловской рысистый и верховой. Итак, в 1812 году Холстомер стал меринком, покинул Хреновую и погиб для рысистого коннозаводства.

Мужик 1-й-Холстомер родился в Хреновском заводе в 1803 году от Любезного и Бабы. Любезный 1-й был одним из лучших хреновских производителей, и о нем Поясов в своих воспоминаниях говорит, что его граф брал в Москву, где он и наезжался; о нем старик вспоминает, между прочим, что Любезный имел шею «в прикороть». Тот же Поясов говорит, что изредка в Москву приводились и кобылы, которых потом, по испытании их,

снова отправляли в Хреновое. Из этих кобыл старик запомнил только четырех: Любушку, Феноменку, Амазонку и Бабу, дочь чалого бухарского иноходца, которого старик также помнил. Здесь важно указание на масть бухарского иноходца, из которого узнаем, что он был чалый. Имеется также сообщение другого лица о том, что когда в царствование императора Павла I Орлов попал в опалу и был сослан за границу, то проживал несколько лет в Дрездене, где с ним было только две лошади — кобылы Амазонка и Баба. На них ездил Семен хромой, впоследствии получивший прозвание дрезденский, который упал с Бабы и повредил себе ногу, из чего можно, конечно, заключить, что эта кобыла была строптивого характера. Амазонка была дочерью Барса — родоначальника и Цесарбрихи. Как и Баба, она оставила замечательное потомство в Хреновском заводе, где дала, между прочим, Нечаянную, мать Полкана 3-го, родоначальника знаменитой в рысистом коннозаводстве линии Полкана. Значит, были хороши по себе и по езде Амазонка и Баба, если они брались не только в Москву, но и возились в Дрезден. Таким образом, испытания через постоянную езду на различные дистанции играли весьма важную роль в деле образования рысистой породы, ибо им подвергались не только заводские жеребцы, но и кобылы, на которых ездил граф Орлов, как мы это видим на частном примере кобыл Амазонки и интересующей нас Бабы. Своей заводской деятельностью обе кобылы впоследствии вполне подтвердили высокое о них мнение графа Орлова, и, конечно, не случайно, что именно они обе стали матерями резвейших хреновских лошадей. О Любезном 1-м нам еще со слов В. И. Коптева известно, что он был необыкновенно широк, но сух, имел прекрасную шею с отличным зарезом, арабскую голову и выразительные глаза. Рост его был 2 аршина 3/2 вершка. Он пал 25 лет от роду, то есть в 1819 году, и В. И. Шишкин приказал похоронить его на конном дворе подле манежа, у самой стены, где была вырыта яма, и он был поставлен в ней стоя, в попоне, капоре и уздечке. За Любезного 1-го иностранцы предлагали графине баснословную по тому времени сумму — 100 тысяч рублей, но, к счастью, это предложение было отклонено, и Любезный 1-й умер в Хреновой. Таковы те сведения, которые имеются об отце и матери Холстомера. Принимая во внимание, что о других хреновских лошадях того времени нет буквально никаких сведений, придется признать, что и Любезный 1-й и Баба были действительно совершенно исклю-

чительными лошадьми в заводе Орлова, если о них все же дошли до нас эти, хотя и отрывочные, но полные глубокого интереса сведения. Вне всякого сомнения, что Любезный 1-й был самым знаменитым производителем в прежнем Хреновском заводе, и неудивительно, что его так ценил сам В. И. Шишкин. И что же? Шишкин покинул Хреновую в 1831 году, а прямая мужская линия Любезного 1-го прекратилась в Хреновом уже через три года, то есть в 1834 году. И если имя его до сего времени не забыто и память о нем все еще живет в летописях рысистого коннозаводства, то этим он обязан своим двум дочерям — Догонянке, которая дала Лебеда 2-го, и Похвальной, от которой родился Горностай 4-й. Это два лучших хреновских жеребца, основавших две самостоятельные и самые блестящие по призовым успехам линии в рысистом коннозаводстве. Если хреновское начальство по совершенно непонятным для нас основаниям уже в 1834 году утерало или же злонамеренно пресекло линию Любезного 1-го в Хреновском заводе, то зато Шишкин, действуя случайно или же по заранее обдуманному плану, получил от сына Любезного 1-го — Мужика 1-го (Холстомера), жеребца Старого-Атласного, который и стал родоначальником всего рысистого частного коннозаводства. Таким образом, линия Любезного 1-го умерла для Хреновой, но воскресла для всех остальных рысистых заводов России!

Как мы уже писали, Лев Николаевич был не только большим любителем лошади, но и знатоком ее: он часто навещал известный рысистый завод своего брата С. Н. Толстого при селе Пирогове, недалеко от Ясной Поляны, и некоторых кобыл, как, например, Жолдобу, он так хорошо запомнил и, видимо, так ценил, что через много лет, создавая тип замечательной рысистой матки, старейшей и лучшей в табуне, в котором служил под конец своей жизни Холстомер, назвал ее этим именем. Увлекался Толстой и степными лошадьми — башкирами и киргизами, приводил их и в свое тульское имение, устраивал для них скачки с кровными и полукровными лошадьми и был сам превосходным ездоком и ездил верхом до глубокой старости. Имел он также в своем самарском имении и большой косяк кобыл, жеребцов, для которого лично покупал у знакомых коннозаводчиков и в Москве, и об одной такой покупке я сообщу здесь со слов кн. Д. Д. Оболенского, стараясь по возможности точно передать рассказ князя так, как он мне его когда-то сообщил.

Однажды зимой в Москве Л. Н. Толстой зашел утром к кн. Д. Д. Оболенскому в гостилицу «Дрезден» и просил князя посмотреть и

высказать свое мнение о рысистом жеребце, которого Толстой облюбовал для своего самарского имени, где заводил тогда большой косяк кобыл. Толстой стал описывать формы жеребца, подчеркнул, что он вороной масти, очень густых и капитальных форм, имеет волнистую гриву и такой же хвост, словом, так жизненно и ярко описал на словах виденную им лошадь, что она как живая представилась в воображении Оболенского! Князь говорил мне, что Толстой так увлекся, описывая ему формы жеребца, и так их ярко и красиво описал, что у Оболенского невольно родилось представление о том, что эта лошадь, вероятно, происходит из знаменитого Снявинского завода и породы его Ларчика, так как описание Толстого вполне подходило под тот установившийся тип детей Ларчика, которыми когда-то славился Снявинский завод. Оболенский поспешил высказать Толстому свои предположения, на что Толстой ответил, что он еще не видел аттестата, но что помещанин, владелец жеребца, обещал на завтра достать аттестат. Тут же решили и условились на другой день ехать к помещанину смотреть лошадь. Жеребец оказался не только завода Л. И. Снявина, но и действительно сыном знаменитого хреновского Ларчика. «Однако вы знаток», — сказал Толстой Оболенскому, просматривая аттестат, и тут же купил лошадь. Не отрицая глубоких познаний в лошади кн. Оболенского, мы от себя позволим добавить, что, конечно, надо было быть Толстым, чтобы так описать лошадь, дабы она не только как живая предстала в воображении Оболенского, но и это описание позволило князю угадать ее происхождение!

Как видим, Толстой был большой знаток лошади и тем не менее, когда он отделял свою повесть о пегом мерине, то по его просьбе А. А. Стахович, как он сам об этом писал, послал ему специальные сведения о Хреновском заводе 1803 года и также сообщил происхождение Холстомера, которое Толстой забыл. Очевидно, что, работая над Холстомером, Толстой переживал свои коннозаводские впечатления и мастерской рукой запечатлел их в этой повести. В воспоминаниях А. А. Стаховича находим еще следующие строки о том, как писался Холстомер: «Мой сын рассказывал мне, как при нем, заканчивая повесть, Лев Николаевич говорил, что после тяжелого труда, многолетних писаний философских статей, начав писать литературную вещь, он легко и вольно чувствует себя и, точно купаясь в реке, размашисто плавает в свободном потоке своего творчества.

Когда Толстой писал смерть Холстомера, мой сын стоял за его стулом и с восторгом

следил, как ложились на бумагу чудные строки... а гениальный писатель с улыбочкой говорил: «Вот вам петушок, еще петушок» — как говорят детям, складывая и отдавая им бумажные петушки. Т. Л. Сухотина-Толстая передавала мне также, что когда Лев Николаевич по просьбе своей жены Софьи Андреевны стал внимательно и с любовью прорабатывать всю повесть наново, то в это время в Ясной Поляне гостили дети А. А. Стаховича: Софья Александровна и Михаил Александрович, и Лев Николаевич постоянно поручал Михаилу Александровичу Стаховичу делать своему отцу письменные запросы относительно разных подробностей жизни и уклада конного завода, и между Ясной и Пальной завязалась деятельная переписка.

Так добросовестно и внимательно относился к своей художественной работе Толстой, и частное рысистое коннозаводство должно гордиться тем, что прародителя всех конных заводов, знаменитого Холстомера воспел в своей повести Лев Николаевич Толстой.

Мы уже упоминали о том, что Сверчков много раз писал Холстомера и наконец в 1891 году на закате своих дней создал замечательное произведение, большую картину, изображавшую табун рысистых маток, где центральной фигурой является именно Холстомер. Картина изображает пастбу табуна, в который попал под конец своей страдальческой жизни старый мерин. Он стоит одиноко, направо в углу картины, и невольно притягивает к себе внимание зрителя. Сверчков изобразил его таким, как описал его нам Толстой: наевшись до отвала травы, он задремал, брюхо его отвисло, ребра выдаются, уши беспомощно опущены, губа отвисла, он весь в побоях и пролежнях, масть его стала грязно-буро-пегой, с загрязненной репьями гривой, глубокими старческими впадинами над глазами, разбитыми и искалеченными ногами и жидким вытертым хвостом. Тип Холстомера разработан Сверчковым замечательно и навсегда останется в иппической живописи как лучшее изображение Холстомера в старости. У ног мерина брошено его седло, и поодаль табунщик Нестор закуривает свою трубочку. Нестор одет в казакин, туго подпоясан ремневым поясом с набором, и кнут его захлестнут через плечо. В этой фигуре Сверчков создал замечательный собирательный тип, согласный с изображением Толстого, — тип охотника-табуника, которые ныне перевелись на Руси... Небольшая мочажина протянулась от середины дуга и теряется вдаль. Караковая кобылка, балуясь, тянет из нее воду, и весь табун на рысах подходит к мочажине. Вдали за табунем виднеется вер-

хом с высоко поднятым в правой руке кнутом второй табунщик Васька, по-видимому, только что завернувший ушедший было табун; налево на картине две замечательные по своей красоте кобылы: очевидно, молодая Атласная, которая по ходу щиплет травку, снимая лишь одни верхушки, и за ней, гордо подняв голову, бежит на рысях белая красавица кобыла; тут же спугнутый зайчонок, заложив назад уши, удирает во все лопатки... Старуха Жолдоба идет впереди табуна, и прекрасно переданы ее формы — старой, много пожившей и много жеребившейся матки. Вдали за рекой на чалой лошадке едет с мешками на мельницу мужичок, и шалунья бурая кобылка, отделившись от табуна, высоко подняв хвост султаном и оглашая задорным ржанием окрестную тишину, гордой рысью бежит ей навстречу... Изображенные на картине матки табуна, а их двадцать пять, являют нам лучшие типы орловской породы. Кто хоть раз увидит эти фигуры, уже никогда их не забудет. Чтобы написать табун таких маток, надо было видеть и знать наши лучшие рисистые заводы начиная с Хреновой, как их видел и знал Сверчков. Работая над этим табуном, создавая тип каждой отдельной кобылы, Сверчков, несомненно, весь жил в воспоминаниях: ему грезились орловские кобылы еще старой Хреновой, перед ним в воображении проплывали болдаревские, воейковские, толевские и тулиновские лошади и, может быть, целые табуны этих славных заводов. Отсюда связь табуна на Холстомере с коннозаводскими портретами Сверčkова, ибо, не напиши художник на своем веку портретов и не побывай на многих заводах, задача создания подобного рисистого табуна маток была бы неисполнимой... А вверху над табуном, в голубом небе, в кудрявых розовых облаках разгорается свет утренней зари и освещает еще несбитые луга, покрытые росой и паром ржаные поля, уходящие к реке, и мелкий, но частый луговой кустарник. Таков сюжет этой замечательной картины. Каково же красочное впечатление, оставляемое этим самым большим полотном Сверčkова, написанным им в последние годы его жизни, а именно в 1891 году, то есть тогда, когда

художнику было уже 74 года? В этой картине вы не найдете ни яркости и многосложности колорита, ни динамизма краски, ни, наконец, бурного движения, то есть всех тех характерных признаков, которыми отличаются произведения, написанные художником в 60-х и 70-х годах — в эпоху расцвета его таланта. Можно подумать, что вместе с годами для художника погасли и краски живописи или, точнее, перешли смягченные, полные высокого благородства цвета старости в симфонию серебристо-бледно-зеленых тонов, так стройно сливающихся в один сплошной и гармоничный аккорд. Таково красочное впечатление от этой картины, и если мы теперь перейдем к композиции, то и здесь вынуждены отметить, что композиция, сложная и интересная, выдержана верно и замечательно хорошо. Кроме того, в этом произведении нет никаких «выигрышных», так сказать, привычных приемов, столь неизбежных у знаменитых, старых и много поработавших мастеров, так что и в этом отношении Сверчков на склоне лет создал замечательное произведение, которое является лебединой песней в его творчестве.

Приведу здесь со слов П. В. Сверčkовой, жены Николая Егоровича, интересные подробности и рассказ о том, как в одну ночь Сверчковым была создана вся композиция этой картины. Вот что рассказала мне об этом жена художника. Однажды, проснувшись поздно ночью, Поликсена Владимировна увидела, что Николай Егорович еще не ложился. Испугавшись и подумав, что с ним что-нибудь случилось, она наскоро оделась и спустилась вниз в мастерскую, где с вечера остался ее муж. И вот что она увидела: Николай Егорович сидел, задумавшись, перед мольбертом, с углем в руках, направо на столе лежала раскрытая книга и догорала лампа, а на мольберте стоял большой холст, на котором была уже закончена композиция табуна. Итак, Николай Егорович, читая повесть Толстого о пегом мерине и переживая давно минувшее, в одну ночь нарисовал своего Холстомера и в живописных образах увековечил нам лошадиные типы, созданные гением Толстого.



Л. Н. Толстой. 1907 г. Ясная Поляна. Фотография В. Г. Черткова.

Около 50 статей посвятил Л. Н. Толстому известный критик и публицист М. О. Меньшиков, до 1902 года страстный защитник писателя, а затем столь же страстный обличитель толстовства.

Записные книжки Меньшикова почти не появлялись в печати, за исключением нескольких отрывков в «Книжках Недели» (1900, ноябрь). Между тем его записи открывают новые факты биографии Толстого, расширяют представление об уже известных.

Михаил Осипович Меньшиков (1859—1918) — с середины 80-х годов сотрудник либеральной петербургской газеты «Неделя» (1866—1901). В 90-е годы — сторонник философии Толстого. С сентября 1900 года фактически заведовал «Неделей». В 1901 году перешел в «Новое время», где долго, будучи ведущим публицистом, ориентировался на официальную линию, проводимую этой газетой. Как «нововременец», Меньшиков часто подвергался резкой критике демократической печати. Но вместе с тем Меньшиков не вмещается в рамки только «нововременца». Вот, например, как характеризовал его А. М. Горь-

кий в своей известной статье 1909 года «Разрушение личности»: «Возьмем Меньшикова, которого ныне злее всех ругают те, кто становится этически похож на него, и ругают главным образом именно за это все возрастающее сходство; каков бы ни был Меньшиков теперь, но в ту пору (имеются в виду годы его сотрудничества в «Неделе». — *Ред.*) его работа имела неоспоримое культурное значение: он отвечал запросам наиболее здоровой и трудоспособной группы интеллигенции того времени — городским и сельским учителям. Сравните вариации на тему проповеди «мелких дел» у господ Струве и иже с ним — и вы узнаете за Меньшиковым преимущество искренности, таланта, понимания настроения своей публики.

Невозможно представить, чтобы Меньшиков, редактор «Недели», допустил в своем журнале столь грубые выходы, как статья Чукковского о В. Г. Короленко, статья Мрежковского о Л. Андрееве, Бердяева о революции и прочие выпады, допущенные «Русскою мыслью» наших дней».

С переходом Меньшикова в «Новое время» начались принципиальные расхождения его философских и политических позиций со взглядами и убеждениями Толстого, что вызвало охлаждение и в их дружеских отношениях. В 1905-м и особенно в 1908—1910 годах Меньшиков неоднократно выступал с критикой отдельных работ Толстого-публициста, но всегда высоко ценил его как художника.

Встретились Толстой и Меньшиков в январе 1894 года в Москве, в доме писателя. Это был период их душевной близости. Толстой записал в дневнике 24 января (о прошедшем месяце): «Познакомился ... с Волкенштейном и Меньшиковым: оба внешне хорошие, добрые, умные последователи — особенно Меньшиков».

В этом знакомстве принимали участие Н. С. Лесков и писательница Лидия Ивановна Беселитская-Божидарович (1857—1936); псевдоним В. Микулич, приятельница Меньшикова, его соседка по даче в Царском Селе. Она не раз бывала у Толстых, переписывалась с их дочерьми.

В июле 1893 года у Лескова в Мерреколе читали по рукописи новый труд Толстого «Царство божие внутри вас». 28 июля Лесков передал Толстому, что «самое веское», сказанное о статье, «исходило от очень умного Меньшикова...»

В письме от 20 июля Меньшиков обращался к Толстому: «Чувствую neodолжимую потребность, переступая все приличия, выразить Вам мою искреннюю благодарность за написание «Царствия божия» <...>. Вся она <статья>, а в особенности ее выводы и заключения, производят захватывающее, могучее впечатление, будят стыд и совесть и желание быть лучше». 3 августа Толстой отвечал: «Я давно знаю вас и люблю ваши писанья. И потому мне очень дорог был ваш отзыв».

Завязывается переписка. Она отражает сложность отношений писателя и публициста: взаимные симпатии, постепенно проявляющееся несходство политических убеждений о народе и государстве, страдания от этого и желания взаимопонимания. Так, еще в письме от 22 октября 1895 года Меньшиков признавался Толстому: «...для меня нет большей радости, как совпасть с Вами во взглядах. Зато тяжело чувствовать и расхождение е Вами во мнениях».

В Юбилейном собрании сочинений Л. Н. Толстого опубликовано 25 его писем Меньшикову; 35 писем Меньшикова к Толстому хранится в архиве Толстого. Они использованы в примечаниях к толстовским письмам, а некоторые воспроизведены полностью.

Наиболее оживленной была переписка в 1895—1898, 1900 годах. После 1900 года письма Толстого становятся единичными; последнее, в 1908 году, свидетельствует об окончательном разрыве их дружеских связей. На это письмо Меньшиков не ответил.

Ряд заметок о Меньшикове и его статьях находим в записных книжках и дневниках Толстого.

Приводимые в данной публикации фрагменты из записных книжек Меньшикова отражают лучшее время в его отношениях с Толстым.

1896 год. В журнале «Книжки Недели», издававшемся при газете «Неделя», Меньшиков помещал статьи в защиту теории Толстого о непротывлении злу насилем. 24 марта Толстой писал ему: «... я читал собравшимся к нам друзьям вашу прекрасную статью о насилиях в образованных кругах и очень хвалил ее» («Смысл свободы», — «Книжки Недели», 1896, февраль). 16 мая Толстой занес в дневник: «Прекрасная статья Меньшикова «Ошибки страха». Как радостно» («Ошибки страха». — «Книжки Недели», 1896, апрель—май). 9 июня он обращался к автору в письме: «Вчера прочел вслух вашу третью статью «Ошибки страха». Очень благодарю вас за ту радость, кот<орую> я испытывал, читая эти статьи. Они прекрасны и делают много добра людям» («Книжки Недели», 1896, июнь).

За июньскую книжку журнал получил предупреждение, печатание статей Меньшикова было прекращено, и он был удален из «Недели», о чем известил Толстого в письме от 17 июня. Он поехал в Ясную Поляну за утешением и был тепло принят Толстым.

1900 год. Второму описанному Меньшиковым приезду предшествовали годы укрепления его дружбы с Толстым. В письме от 2(?) октября 1897 года Толстой выражал искренние симпатии к Меньшикову: «Узнал от Буланже, что вы больны, и захотелось сказать вам, что я вас люблю и общаюсь с вами душою, читал ваши прекрасные, совсем не похожие на то, что и как пишется теперь, особенные статьи и радуюсь <...> помните же, что я ваш друг, любящий вас» (статья «Элементы романа». — «Книжки Недели», 1897, июнь—сентябрь). 11 октября Меньшиков откликнулся: «Навсегда запомню то, что Вы пишете в конце /<...>/. Воистину Вы мой добрый друг и моя опора, и Вы не подозреваете, до какой степени тесно я живу с Вами душой, не расставаясь ни на один день».

В 1898 году Толстой участвовал в организации помощи голодающим. Закончив статью «Голод или не голод?», он просил Меньшикова отдать ее в печать: «Вообще позвольте вам вполне поручить это дело», — заверял Толстой 25 мая. И несколько позже: «Я знаю, что все, что вы сделаете, будет хорошо». Меньшиков приложил огромное количество энергии и через В. П. Гайдебурова напечатал статью (с цензурными пропусками) в газете «Русь» (1898, № 4—6). В связи с этими хлопотами Толстой замечал Меньшикову в письме от 20 июня: «Меня очень порадовало то, что вы так горячо отнеслись к этому вопросу, видно, как он глубоко интересует вас. И в этом взгляде вашем, мне кажется, мы с вами совершенно согласны, и это всегда очень радует меня».

В те годы Меньшиков выполнял в Петербурге и другие поручения Толстого. Так, 23 апреля 1899 года уведомил, что был у издателя А. Ф. Маркса, в журнале которого «Нива» печаталось «Воскресение», и говорил о переводах романа.

22 января 1900 года Меньшиков «должен был отказаться от работы в «Неделе» (о чем уведомил Толстого), так как В. С. Соловьев в статьях «Под пальмами. Три разговора о мирных и военных делах» («Книжки Недели», 1899, октябрь—ноябрь; 1900, январь) резко нападал на учение Толстого о непротывлении злу насилем.

1901 год. Поездка в Ясную Поляну связана с заболеванием Толстого малярией.

1902 год. Меньшиков делает ряд записей о посещениях Толстого в Гаспре.

11 августа 1906 года состоялось их последнее свидание. Судя по записям Д. П. Маковицкого, Толстой и Меньшиков спорили об ученых и их мирозерцании. «Спор был острый», — свидетельствует Маковицкий. Сам же Толстой через несколько дней, 24 августа, делает такую заметку в дневнике: «Были и Меньшиков и, слава богу, совсем с другой стороны был настолько приятен, что с удовольствием вспоминаю об отношении с ним».

Записные книжки Меньшикова дополняют некоторые моменты в «Летописи жизни и творчества Л. Н. Толстого». Благодаря публикуемым записям уточняются дни, когда Меньшиков гостил в Ясной Поляне в 1896 году. Встречи же 1901—1902 годов вообще известны не были, в биографии Толстого этих лет существовали значительные пробелы.

6—9 июля 1901 года. В «Летописи» сказано лишь об улучшении здоровья Толстого, о чтении Библии и 12 июля — об окончании статьи «Единственное средство». Теперь мы знаем, что Толстой в эти дни думает о романе, посвященном жизни в деревне; его волнует земельный вопрос; он рекомендует картины художника Орлова; обсуждает проблемы, поднимаемые периодической печатью.

1 и 11 мая 1902 года. В «Летописи» отмечены лишь изменения в состоянии здоровья Толстого. Между этими датами — пропуск. Выясняется: Толстой в эти дни беспокоится о судьбе революционера, приговоренного к казни; спорит о судьбе народа и отношении народа к правительству; думает о настроениях в среде петербургских писателей; делится соображениями о своем сочинении. Как всегда, даже во время тяжелой болезни, не прекращается напряженная умственная работа Толстого. Он в курсе литературной и политической жизни страны.

Публикацию подготовили: А. С. Мелкова (вступительная статья, примечания), О. М. Меньшикова, М. Б. Поспелов (тексты).

1896

15 июля. На моих глазах пример того, как великий человек наполняет собою мир. О чем бы разговор среди образованных людей ни зашел — подождите немножко: непременно будет упомянуто имя Толстого.

Благословенное, милое мне имя человека, которого я истинно люблю за его честнейшую из душ.

*

Толстой подобен Волге: явившись в русскую землю, он будет орошать ее целые века, целые поколения будут питаться им и плыть в волнах его духа к вечности.

20 августа. Ясная Поляна.

— Я всегда поражался вашей производительности, как вы много и скоро пишете...

— Зато и плохо...

То есть могло бы быть лучше.

— Этого я не скрою, но и при всем том...

*

— Вы именно пишете, не умаляя правды, нашли такой способ выражения, когда можно говорить истину без компромиссов.

*

— Соловьев всего менее философ: он, если угодно, поэт, критик — иногда блестящий, публицист, но не философ, у него нет серьезного, добросовестного отношения к вопросам.¹

Читал вечером и восхищался «Гаргантюа» Рабле.²

Ездили с женой в монастырь и разговор <ивали> с монахом.

— Отчего не исповед<уетесь>?

— Грех делать посредником между собой и богом человека.

— Грех причащаться?

— Грех.

Ужас монаха.³

*

— Опыянение (гашиш и пр.) не увеличивает чувства счастья, а ослабляет то сознание, которое сдерживает чувство счастья. Без контроля сознания чувства расходятся...

*

Графиня о Чехове⁴: «Мы бы его приняли а bras ouverts»^{*}.

О Лиде <Веселитской>: «Что она нас так забыла? Вот бы хорошо, если бы она приехала. Ах, как бы это было хорошо! Я ее искренно люблю — уж кого я люблю, то уж люблю искренно...»

*

Толстой о Шопенг<ауэре>⁵: В его философии, в самом корне лежит глупейшее недоразумение, плачевная ошибка, на доказательство которой приложен огромный талант и гений: ошибка, что жизнь не имеет смысла. А смысл у жизни есть, и именно тот, что каждый должен исполнять волю пославшего, исполнить свое назначение и умереть.

*

Об «Утопии» Мора(?): Все это оттого, что счит<ает> целью жизни счастье⁶, тогда как счастье недостижимо. У одного — одно, у другого — другое, да и у одного не одно счастье. А цель жизни иная — исполнить свое назначение в жизни.

*

— Позвольте сказать вам, то есть вам, конечно, нечего говорить об этом — вы и сами это хорошо знаете, но мы должны самим себе постоянно говорить и поддерж<ивать> друг друга в той мысли, что единственное правильное отношение к правительству — это говорить ему истину без всякой утайки, без малейших компромиссов.

*

«Quo vadis» не понравилось ужасно: видно, что Сенкев<ич> не знает и знать не может, как жили во врем<ена> Нерона. Приписывает тогдашним патрициям и

триб<унам> чувства совр<еменных> европейцев⁷. Если бы римлянам тех времен вздумалось написать роман вроде Беллами⁸ — какая вышла бы чепуха, как мало они угадали бы XIX век. Историч<еский> роман писать крайне трудно. Я писал «Войну и мир» — я мог еще по жив<ым> воспомин<аниям> понять тогдашних людей. «Декабристов» писать было труднее, хотя я знал некоторых⁹. Пробовал роман из Петровской эпохи — ничего не вышло¹⁰. Бился, бился — вижу, что чего-то не понимаю, не могу влезть в душу тогдашних людей, а иначе писать нельзя.

*

— Нравственное сост<оение> общества (и народа: нравы его заметно падают) зависит от таинств<енных> причин, и тут все идет волною. Прежняя, христ<ианская> нравственность в народе внушена подвижниками церкви, старцами, отшельниками, которых было очень много совсем неизвестных, — и я помню таких, — вроде Тих<она> Задон<ского>, Сераф<има> Саровского и др.¹¹ В обществе — масонство. Теперь поднимается волна христианского рационализма.

*

Физ<ическая> сила: в молодости поднимал железный каток рукой. Купается два раза, плавает сильно и хорошо. Еще не очень худощав, но жалуется, как мускулы атрофировались за последние годы.

*

Декаденты возмущают его — везде пошли: и в науке, и в философии. Любит повторять, что мы паразиты, живущие на шее народа... (не исключая и себя).

*

От Пушкина не ждал более, чем он дал. «Бориса Годун<ова>» ставит низко, даже <и> «Евг<ения> Онег<ина>». ¹² Гоголя — высоко: надо было иметь высокую душу, тоску по совершенном человеке, чтобы уметь так остро заметить комич<ескую> сторону жизни. Особ<енно> ценит религиозное настр<оение>, выразившееся в «Переписке с друзьями».¹³

*

— Беда многих писателей, что они говорят не своим языком, а каким-то искус<ственным> (по поводу Диккенса), например, Некрасов, в большой мере Достоевский, Щедрин, Лесков.

* С распространениями объятиями (франц.).

— Меня очень поразило, что Лесков так всецело примкнул к нам на старости лет, но я всегда ждал бессознательно, что он возьмет да и выкинет что-нибудь...

— Мед — растит <ельный> или жив-
<отный> продукт?

— Растительный... а что?

— Так... Казуист <ический> вопрос.

— Да, то есть, пожалуй, животный, как молоко...

По-видимому, застал его врасплох. Любопытно, будет ли он есть мед.

21 августа. Ясная Поляна. Отношения Толстого к жене напоминают отношение бога к природе. Если бы я создавал мифологию, я изображал бы Высочайший дух влюбленным в материю.

Со стороны глядя, зачем, казалось бы, абсолютному разуму, блаженному в своем покое, тратить время и энергию на одушевление природы, к чему?

1900

5 августа. Ясная Поляна.

9 утра. Беседка в углу. Тихое, ясное утро. Только что приехал, отпустил извозчика у ворот, пошел по густо-песчаной аллее среди старинных берез к дому. Навстречу мужичок, вежливо поклонился; воз сена с мальчиком наверху и жеребеночком сзади. Лакей разговоривал с мужиком у веранды.

— Дома граф?

— Дома, но еще не вставали. Пожалуйста в комнаты, хоть на веранду.

Вероятно, лакей узнал меня.

Я поглядел на валявшихся на траве собак.

— Не съедят?

— Нет, смиренные.

Я пошел на вышку на дороге, где и сижу. Желтые, уже скошенные поля.

Я сел под липами, недалеко от дома. Скоро 10 ч.

— Михаил Осипович! — слышу радостный голос.

Иду к нему, он уже вышел. Поцеловались.

— Здравствуйте, друг мой! Что вы так рано? Я вас ожидал около 10-го, кто-то мне сказал. Но вы приехали как раз вовремя, так как я все время хворал и вот теперь выхожу. Очень, очень рад, что вы приехали, откровенно скажу, что это мне большое удовольствие.

С<офья> А<ндреевна> говорила, что Л<ев> Н<иколаевич> очень хочет дожидаться правнуков и с большим нетерпением ждал внуков.¹⁴

Часто выражает <мысль>, что уже немало осталось жить, что скоро конец, и он готов и спокоен.

— Я вам показывал вчера язык?

— Нет, покажите.

— Сегодня не стоит; вчера был обложен, такой скверный вкус. Простите, что я рассказываю об этом, вам неинтересно.¹⁵

— Нет, помилуйте...

Часто вспоминал Тургенева.

— Он очень много сделал для литературы тем, что не искал покровительства и первый показал пример независимости писателя. Разница резкая в сравнении с прежними...

— Напри<мер>, с кружк<ом> Жуковского, — заметила.

— Именно.

— Много терплю от того, что плохо пережевываю, и от этого моя болезнь, может быть. Тургенев сказал как-то: «Вы не едите, а метете себе в рот».

— У меня был брат Николай, человек такой удивительный, что я даже и не пытался его когда-нибудь описать. Необыкновенный ум, доброта, деликатность, обширная образованность... Тургенев остроумно заметил, что, чтобы быть писателем, моему брату недоставало только писательских недостатков.¹⁶ Я перефразирую иногда эти слова в отношении многих писателей, у них только и есть писательского, что недостатки писателя.

— Помню Тургенева не ранее, как с 40-летнего возраста. Однажды пришел к Фету. Там читал Полонский свои стихи, и нараспев. Стали говорить, что плохо. Тургенев возражал.¹⁷

— Поразительно хорошо и пусто теперь пишут. Возьмите стиль — превосходен. Достоевский писал отвратительно — и все же чувствовали, что он летел...

— Брат Николай, который много-много меня научил всему... Поразительная фантазия, способность рассказывать сказки, то комические, то ужасные — целыми вечерами.

И <неразб.> какое, очевидно, слышал что-то о масонах, о моравских братьях, рассказывал, что есть Фанфаронова гора; чтобы взобраться на нее, нужен целый год искусства. Что в том враге закопана зеленая палочка и на ней написано слово, от которого зависит все счастье человеческого рода.¹⁸

1901

Суббота, 7 июля, 12 ч. дня. Еду из Москвы в Ясную. Крайне тревожная телеграмма в «Н^овом» вр^емени»¹⁹ — Толстой в безнадежном состоянии. Страшное горе, и сейчас же собрался, и, хотя на вокзале в 7 веч^ера прочел уже успокоит^ельную телегр^амму», все-таки поехал. Томительная жара.

8 июля. Взял номер у Чернышева в Туле, помылся, переоделся, извозчик в час с четвертью (поворот на 14-й версте) и издалека узнал.

С веранды вышли Колечка Ге²⁰ в парусиновой блузе. Все холодно, пустынно, как

М. О. Меньшиков.
Фотография
1890-х гг.



глуб^окой> осенью. Он был с нек^им> господ^ином>, к^ото>рый оказался Зинченко. Тоже толст^овец>, пострадавш^ий> за печатание сочинен^ий> Л^ьва> Н^иколаевича>, за отказ от православия посланный в Астрах^ань>, устраивавш^ий> там литер^атурно>-драмат^ические> вечера, пописывающ^ий> в «Астрах^анском» вестн^ике>» и вернувш^ийся> с оттисками стеек Л^ьва> Н^иколаевича>. Упрекал меня, что я не устроил его в «Нед^елю» «... Появились изящн^ый> князь Н. Л. Обол^енский»²¹, Маша²², Сухотин.²³ Снач^ала> Обол^енский> сказал мне, что Л^ьва> Н^иколаевич> страшно слаб, целое утро работал и прошался со всеми родными (Миша,²⁴ Илья²⁵ и пр.), что сегодня нельзя его видеть. Я сказал, что и отлично, пусть отдохнет, и что я остановился в Туле и завтра еще раз заеду узнать о здоровье. Пришла Маша и сказала Зинч^енко>, что Л^ьва> Н^иколаевич> до того слаб, что извиняется, что не может его принять, а что он, мо<жет> б^ыть>, передаст Н. Н. Ге.

— Нет, я могу подождать, когда ему будет легче.

— Но ему все время так трудно: гораздо лучше, если вы передадите через Н^иколая> Н^иколаевича>, и папа вам ответит.

— Все равно, я могу и через две недели приехать.

— А не лучше ли, если предвар^ельно> вы сообщите Н^иколаю> Н^иколаевичу> и пр^очее>.

Я сказал, что все устраив^ается> прекрасно, что мы вдвоем и отправимся на Козловку. Тогда Зинч^енко> вызвали (снач^ала> ушла Маша, вызвала Ге, Ге вызвал Зинченко, Маша вернулась).

— Ради бога, Михаил Осипович, вы не приним^айте> то, что гов^орилось> Зинченко, на свой счет; папа страшно рад вас видеть, и мы не отпустим вас.

Через некот^орое> время сначала вызв^ают> Ге, тот вызыв^ает> Зинч^енко>, и в его отсутствие Маша перед^ает>, что папа просит меня. Пошли наверх, через ряд комнат, в спальню. Поздоровался с Софьей Андреевной, в белом, копошивш^ейся> в углу.

За ширмами кровать, и в полусвете необычайно слабое, истомленное, осунувшееся лицо Т^олсто>го. Похудел, съезжился до жалости. Радостно спросил, как я поживаю?

— Я — что, вот вы, Лев Николаевич, как?..

— Я прекрасно, — вот болен и очень счастлив, чувствую себя совсем хорошо. Ясно чувствую, что переход близок и легок, что

сознание не только не хуже, а лучше прежнего и таким останется и там. Для перехода туда этот экипаж как раз хорош. Очень хорошо себя чувствую... Ну, как ваши дела с «Неделей»?

Я объяснил.

— Ох, жаль, очень жаль, — она ничего и теперь издается, только вас нет. Скажите, вам очень трудно было идти в «Нов<ое> вр<емя>»? ²⁶

— Очень трудно, и трудно оставаться, но что поделаешь...

— Да, да, конечно — главное, надо, чтобы было где работать, — я так и понял, что вы хотите быть полезным. Я был уверен, что вам очень неприятно рядом с Сигмой — какая гадина! ²⁷

— Ну, как Лидия Ивановна?

Я передал поклон, рассказал.

Так как я дал слово Марии Львовне не больше <ольких> минут, то сейчас же и прервал беседу, сказал, что завтра, если можно, зайду. Он пожалел, что я в Туле остав<ился>, пригласил на завтра в 3 часа.

На другой день утром приехал с Машей, прогулка с Сергеевко ²⁸ к Худоярову колодцу, чай под липами, малина со сливками, яйца всмятку, потом на Коз<лову> Засеку, заблудились. Оттуда на извозч<ике> в Ясную, за грибами большой компанией, и после 3-х Маша меня вызвала.

Вид значительно свежее вчерашнего: видимо, начинает крепнуть, сейчас же заговорил о том, как еще много есть о чем сказать, жалел очень, что не написал книги в похвалу землед<ельческого> труда, где бы были описаны все его живот<орные> свойства...

— Ведь вы писали, Лев Николаевич, о счастье в деревне... ²⁹

— Надо бы беллетристич<ескую> вещь, роман — очень жалею, что не сделал. Одобрил вашу статью об образовании, ³⁰ но нужно брать шире вопрос. Очень важно обсужд<ать> и выставить в центре всего земельный вопрос.

— Он сам собою разрешился бы как следствие нравственного закона.

— Да, но нужно так же показать и с экономической стороны.

*

Вчера в беседе я сказал, что читал его ответ Синоду ³¹ и нахожу в высшей степени внушительным и сильным, сказано именно то и так, как нужно.

Толстому, видимо, не безразлично мое мнение.

— Очень рад слышать это именно от вас, — сказал он значительно и был растроган.

А сегодня на мое замеч<ание> о новом письме — Антонию митрополиту ³² сказал, что отвечать не следует и он просит этого не делать.

Говорил что-то не вполне внятное для меня (я слишком был поглощен зрением) о жизни вне времени, о том, что только здесь на земле есть прошлое и будущее, а там нет, и потому там есть возмож<ость> знать и будущее.

Я попрощался «до Москвы», он усмехнулся:

— Какая для меня Москва? ³³ — И прибавил: — Неужели вы нарочно приехали?

— Да как же не приехать, Лев Николаевич?

Он, видимо, был тронут этим. Я поцеловал его и сказал: «До свидания». Едва не заплакал.

Потом Маша: Папа позабыл сказать вам, чтобы вы получше поклонились Лидии Ивановне.

*

Впечатление всегда удивительно освежающей ванны, огромного нравственного подъема, как после чтения его дневника или «Кюлосьев» ³⁴.

— А вы смотрели мои картинки? Маша, покажи ему (фотографии и картинки Орлова ³⁵, худож<ника>).

*

— Гольденвейзер — он замечательн<ый> мол<одой> человек, — вот и не был в университете, а обширного образования. ³⁶ Как много теперь истинно образов<анных> людей, не прошедших правилн<ой> школы.

С<офья> А<ндреевна> рассказывала, что, когда она обкладывала грудь ватой, натирала ноги спиртом, а живот смесью масла и хлороформа, Лев Николаевич как-то растроганно произнес: «Не думай, душечка, что я тебе благодарен...»

*

Узнав, что я из Риги и остановился в Туле, непременно настаивал, чтобы ночевал у них, и Мария Львовна тоже сказала, что иначе папа будет очень беспокоиться.

Я остался, согласившись на этот довод.

*

Побывши с Толстым, еще приближ<аешься> к нему, чувствуешь (т. е. я чувствую) истинное воскресение всего хорошего, на что моя природа когда-либо была способна. Мне хочется плакать и любить всех, и мо-

литься, и быть святым. Казалось бы, все сбросить с себя дурное, все отдал бы богу. Одно воспоминание о нем приподнимает необычайно.

*

Софья Андреевна объясняла болезнь так: еще в прошлом ноябре он как-то отправился гулять, заблудился, просил мужика вывести его — тот отказался: «Тут пропадешь с тобой в этой глуши — тут разве одним волкам дорога». Толстой пришел домой сильно утомленным и простуженным и начал хворать малярией. А нынче припадок так случился: Усов, доктор^{3 7}, — прописал 12 соленых ванн, но строго запретил после них выходить на воздух, особ<енно> вечером, чтобы не простудиться. Лев Николаевич получил известие из Москвы, что его знаком<ые> мужики получили наконец наследство после умершего в богадельне какого-то родственника — 450 р., и поехал вечером в 9 ч. за 4 версты сказать им это, чтобы завтра приходили за деньгами.

— Я умоляла его не ехать, — опомнись, говорю, — холодно, 9 градусов, а тебе запрещено после заката.

— Нет, говорит, я проедем. Пешком устану, а на лошади ничего.

— Ну, что же, ведь его не свяжешь. Поехал и вернулся озябший, да потом скрывать стал, хотел подавить волей болезнь...

*

11 июля. Увидел Толстого, и опять загорелся огонь какой-то в моей душе. Любовь к нему сердечная, восторг к добру. Очень хочется быть чистым, безупречным и для дела божия. Прощаясь, он два раза вздохнул глубоко и обдал меня могучим — как из меха — дыханием своим. Я подумал — пусть дух твой войдет в меня. «Дух, который на тебе, пусть будет на мне тройне», как в Библии. Но, вспоминая себя, знаю, что не гожусь, не достоин. Подними меня!

13 июля. Сама графиня тотчас, с 1-го слова при свидании — о себе, как всегда. Как она страшно устала, как она чуть дышит от этих хлопот (а вид — здоровехонкий), как она о себе никогда не думает и только о других и пр. Это у нее мания — всегда сворачивать на себя и говорить только о себе. Мне пришло в голову, что великий муж, заставивший ее 13 раз носить по девять месяцев, т. е. в течение почти 10 лет, свое семя, перерождавшее ее путем совместной жизни с плодом, не мог сообщить ей своего гения, но приблизил ее к сумасшествию. Жаловалась, что только теперь поняла, до какой степени она потеряла жизнь для себя, отдавая для других, для

мужа и детей, — теперь дети выросли, муж умирает — и она теперь только ясно сознала, что он скоро умрет — и она останется одинокой, как в пустыне, не способной ни для какой личной жизни. От нее все взяли, всю душу, и только теперь она поняла ошибку для себя — выйти за человека, который был настолько старше ее. (Врет — всегда жаловалась на это, и крайне бестактно, и теперь, в 57 лет, не может забыть, что она моложе мужа на 16 лет). И теперь, видимо, чувствует себя еще женщиной, которой нужен мужчина, и чуть-чуть молодится. Вся в белом, в кружевах, в прическе, к<ото>рая к лицу. Постоянно повторяет о болезни Л. Н.: «Во всяком случае, это долго продлиться не может, он не протянет долго».

1902

5 мая <Гаспра>. Роскошная дача — дворец гр<афини> Паниной, кругом залитый цветами и благоуханием сад: кипарисы, магнолии, глицинии, азалии, розовые каштаны, персики; внизу синее море, кругом величественные горы, — а там, в огромной комнате, на кровати под одеялом, лежит больной старик, слабый, как ребенок, дряхлый, стонущий от боли в кишках.

Коснеющим языком он говорит все те же старые, вечно свежие, милые для меня мысли. «Он вдохновлен был свыше».

*

Сказал, что очень рад меня видеть, давно ли я здесь, просил рассказывать, что там, в Петербурге. Издаю ли я журнал?

— Отчего же мне не прислали?

Я сказал, что хочу понемножечку развить его*, но написать что-нибудь серьезное нет ни охоты, ни средств.

— Да, так лучше. Раз вы имеете возможность так хорошо, как вы всегда это делаете, и легко говорить, то лучше писать тогда только, когда есть что сказать, не связывая себя. «Да вот вы пишете — и рядом Сигма», — прибавил он грустно. Говорил о наслаждении, какое доставляет ему Чехов³⁸, о Горьком — как плохи его последн<ие> вещи и как его разделили, хотя он оч<ень> милый и талантливый³⁹ (что-то в этом роде говорил), что все эти молодые — Скиталец, Бунин — подражают Чехову, но не в ясности его таланта, а в неясности.⁴⁰

* Имеется в виду «Письма к ближним». Спб., 1902—1916.

Очень хвалил Рёскина.⁴¹ просил разыскать на столе 2-е изд. Поленца («Крестьянина»), он прибавил эпитафию из Рёскина⁴². — Сильно трудно его читать, но временами он поднимается до высокого порыва. О государе, о письме своем к нему (Софья) Андреевна говорила, что письмо передано и государь... назвал Толостого идеалистом и сказал, что сам он бессилён что-нибудь сделать).⁴³

*

Обедал у них с Алтшуллером — молодым красивым доктором, — назад он подвез меня в своей коляске...⁴⁴

Дают хинин по 20 г, от чего он оглох. Пульс и сердце превосходны. В последнее время прибавил в теле, а то — говорит Мария Львовна — совсем был «голодный индус».

Зимой было мученье, холодно, дачу не натопить, бессонные ночи, постоянный страх.

*

Сегодня Льва Николаевича видел уже в столовой сидящим на диване, с ногами, протянутыми на стул, в желтой вязаной фуфайке и в длинных сапогах из сафьяна. Он ел свою кашу и запивал красным вином, потом тапиоку на красном вине. Сегодня лучше, хотя температура еще держится высокая и слабость. Говорили дольше, около часу, о петербургском религиозно-философском собрании. Ему Х... привез протоколы, но он не собрался прочесть их — показались неинтересными.⁴⁵ Говорил, что некоторым мысли изложены в статье «О религии».⁴⁶

— Вчера у меня было умственное событие, — сказал он шуточно. — Мне кажется, я даже нерелигиозному человеку в состоянии доказать бытие божие, просто научно.

Я попросил объяснить.

— Религия есть отношение человека к остальному миру. Это отношение не может быть к миру чувственному, к оторванному в пространстве и времени, — и то и другое бесконечно. Не может быть отношения единицы к ряду бесконечных чисел — их пришлось бы интегрировать для этого. Следовательно, отношение возможно к целому вне времени и пространства, следовательно, бог есть дух.

Я плохо понял и, может быть, не точно записываю.

*

6 мая. 1/4 4-го, сижу у фонтана графини Паниной, перед балконом. Жаркий день. При-

ехал в час и до сих пор еще не видел Толостого. Ему хуже, температура, повидимому, все держится, вчера его знобило... Софья Андреевна дала телеграмму Щуровскому:⁴⁷ «С 25 апреля повышенная температура. 8-й день понос. Прошу дать совет». Намек, что не худо бы приехать.

Его состояние духа тоскливое. Мария Львовна тоже строга — «старик не веселит», и Коля Ге⁴⁸ остался. Все очень грустно. Но тем не менее после завтрака оживление — laun-tennis, с одной стороны князя — Коля с сестрой,⁴⁹ с другой, графы — Сергей Львович с Сашей.⁵⁰ Лучше всех князь, потом Саша, Сергей и уж затем бедняк, слабенькая, жалкенькая княжна, горбоносая, с длинными зубами, тощая. Саша — богатырь, чуть не убила Марию Львовну, поправ ей шаром в шею: той сделалось дурно...

Сижу — и, кто знает, может быть, уже никогда не увижу его больше. Может быть, он здесь и умрет, в этом раю земном, среди близких родных, среди целой семьи остающихся живых замыслов, у подошвы гор, склонившихся над морем. Фонтан струится что-то говорящей струйкой. Слышно жужжанье мух в горячем воздухе, отдаленные крики петухов, посвистывание птишек. В просвете между деревьями видно синее сонное море.

Кажется, нигде в свете не было бы удобнее работать, как здесь — в особенности верхний балкон, огромный, мраморный, откуда все море пред глазами и бездна воздуха и света.⁵¹ Но работе, видимо, конец. Он теперь диктует отдельные мысли вроде шопенгауэровских «Parerga und Paralipomena».⁵²

Осталось 1/2 часа, я уже с большим огорчением думал, что меня забыли, что придется идти на мальпост, не попрощавшись с Толостым. Но вот вышла Саша и громко закричала: «Михаил Осипович! Вас папа зовет!» Я пошел за ней. Надо было пройти столовую, залу, и уже в третьей комнате он на кровати... Довольно оживлен, немного уснул.

— Как рад, что вижу вас в третий раз!

*

7 мая. 3/4 9-го утра. Говорили с Львом Николаевичем о Розанове, о его идее, что Христос — Антихрист.⁵³

— Он бойко пишет, но ничего понять нельзя. Это новый род писателей, которые чем туманнее, тем кажутся публике глубже. Ужасный вред от них. Вместо того чтобы делать трудное дело — разрушение суеверий, они утверждают их.

*

Просил меня, чтобы я в точности узнал, было ли постановлено судом (о Балмашеве) ходатайство о монаршем милосердии.⁵⁴

— Это для меня важно, чтобы оценить мои отношения к нему (госуд<арю>).

Довольно длинный и оживленный спор на тему — кто виноват в ужасном упадке народной жизни и свободы. Я настаивал на том, что виноват сам народ, что он — стихия — выдвигает из себя такое правительство, какое находится в соответствии с его природой, что, если бы рабство было несносно, народ бы и не снес его, напротив: народ дает правит<ельству> средства для каких хотите насилий. Солдат, которого бьют, произведенный в унтера, сам бьет. Необходимо весь народ призвать к покаянию и внушить, что все виновны.

Против меня спорили Серг<ей> Льв<ович> и Л<ев> Н<иколаевич>. Они соглашались, что, конечно, в некотором смысле все виноваты, но правительство развращает народ. Именно правительство, — «вы не знаете народ... мы не знаем народ...» — поправился он (вечно остерегаясь сказать что-нибудь неприятное). — Он в своей массе совершенно чужд правительству, не знает совсем о его делах, приписывает им не то значение. Он невежествен<ен>, темен...

— Но почему же в течение тысячелетий он остается невежествен<енным>, темным? Значит, в его природе нет стремления к свету, любознательности, способности. И не так уж трудно понять то, что происходит.

ПРИМЕЧАНИЯ

1896 г.

¹ Вл. С. Соловьев (1853—1900) — философ. В журнале «Книжки Недели» напечатал в 1896 году стихотворения и статью «Личность и общество» (май). В статье «Заметки» («Неделя», 1896, № 18, 5 мая) Меньшиков полемизировал с Соловьевым, доказывавшим в «Вестнике Европы», что самодержавие ограничено сверху законом «высшей власти — божией <...>, ответственностью пред человечеством и народом».

² Книга сохранилась в библиотеке Толстого в Ясной Поляне. (Fr. Rabelais. La vie de Gargantua et de Pantagruel. Notice biographique et littéraire sur Francois Rabelais, par L. Barré. Paris (титульный лист отсутствует).)

³ С 10 по 15 августа Толстой и его жена ездили в Шамордино, в монастырь. Поездка состоялась по просьбе С. А. Толстой, тяжело переживавшей смерть в 1895 году любимого, последнего сына Ванечки.

⁴ В семье Толстого очень полюбили Чехова после знакомства с ним в Ясной Поляне 8—9 августа 1895 года. Меньшиков пытался выступить в роли свата и сблизить с Чеховым старшую дочь Толстого, Татьяну Львовну (1864—1950), увлеченную Чеховым. Об этом см. в сообщении «Т. Л. Толстая и А. П. Чехов» («Яснополянский сборник». Тула. 1974).

⁵ А. Шопенгауэр (1788—1860) — немецкий философ, мысли которого Толстой использовал в «Круге чтения» (1906), сборниках «Мысли мудрых людей на каждый день» (1903), «На каждый день» (1907—1910) и др.

⁶ Т. Мор (1478—1535) — английский утопический социалист. О его сочинении «Утопия» (1516) Толстой упоминает в статье «Приближение конца», законченной 24 сентября 1896 года (т. 31, с. 84).

⁷ Г. Сенкевич (1846—1916) — польский романист. Его

— Все-таки трудно допустить, что виноват народ. Виноваты мы, обеспеченные, виновато правительство.⁵⁵

*

О поэзии Бальмонта⁵⁶ выразился, что это, как сказал какой-то дипломат, plus qu' un crime, c'est une faute. *

*

О своей болезни: «Теперь видно конец, и знаете, как хороша эта близость к смерти. Начинаешь думать, что смерть — дар божий».

Я молчал. Очень жаль его, но я чувств<овал>, что ему еще не так плохо.

*

Пругавину велел сказать, чтобы он непременно издал первые свои книги (о Сютяеве и народ<ных> пророках), что они оч<ень> хороши и важны.⁵⁷ «Я его очень люблю». Насчет газеты (Пругав<ин> просил сказать, что у него есть знакомая дама, к<ото>рая сейчас дает полторааста тысяч на народную газету, если Толстой напишет, что это нужно) сказал, что обыкнов<енного> типа газета ничего не стоит. Для того чтобы извещ<ать> народ о том, что госуд<арь> имп<ератор> соизволил то-то и то-то, есть «Сельск<ий> вестн<ик>»,⁵⁸ а народу нужно религиозную газету, к<ото>рая давала бы сведения о религиозн<ом> движен<ии> за границей:

— С народом нельзя вилать, говорить уклончиво, как говорят в печати.

* Грубая ошибка, более чем преступление (франц.).

роман-эпопея «Quo vadis» (1894—1896) («Камо грядеши») охарактеризован Толстым как «искусственное, фальшивое, грубо сшито из исторических подробностей произведение...» (в варианте предисловия к роману В. фон Поленца «Крестьянин» — т. 34, с. 526).

⁸ Э. Беллами (1850—1898) — американский писатель, журналист, автор социально-утопического романа «Looking backward. 2000—1887», 1888 г. Роман сохранился в русском переводе в библиотеке Толстого в Ясной Поляне: «В 2000-м году». Из «Книжек Недели», СПб., 1890. Меньшиков дал его анализ в статье «О литературе будущего» («Книжки Недели», 1892, декабрь).

⁹ Толстой работал над романом «Декабристы» в 1863, 1877—1879, 1884 гг. С декабристом С. Г. Волконским (1788—1865) (прототипом героя романа П. И. Лабазова) он выдвинулся в декабре 1860 — январе 1861 года во Флоренцию. Кроме того, в 1878 году познакомился с П. Н. Свистуновым, А. П. Беляе-

выи, М. И. Муравьевым-Апостолом. Был знаком с Д. И. Завалишиным, П. И. Колошиным, М. И. Пущиным, А. М. Исленьевым.

¹⁰ «Роман времен Петра I» (1870, 1873, 1879) закончен не был.

¹¹ Тихон Задонский (1724—1783) — знаменитый духовный писатель, жизнь которого — пример аскетизма. Серафим Саровский (1759—1833) — отшельник, живший в Саровской пустыни Тамбовской губернии. Истории их вошли в «Жития святых».

¹² У Толстого было несколько изданий сочинений Пушкина. Поэмы Толстого на текстах «Евгения Онегина» и «Бориса Годунова» есть в экземпляре: «Сочинения Пушкина с приложением материалов для его биографии», т. 4. Спб., изд. П. В. Анненкова, 1855.

¹³ В библиотеке Толстого сохранились «Сочинения и письма» Н. В. Гоголя в 6 тт., т. 3. Спб., изд. П. А. Кулиша, 1857 («Певести. Переписка с друзьями. Авторская исповедь»), с многочисленными пометами Толстого.

1900 г.

¹⁴ Разговор о внуках зашел в связи с рождением в Ясной Поляне 20 июля внука, Павла Львовича Толстого. Первая внучка, Анна Ильинична Толстая-Попова, родилась 24 декабря 1888 года. Умерла в 1954 году. Первый правнук Толстого — С. Н. Хольмберг (род. в 1909 г.), сын А. И. Толстой-Поповой.

¹⁵ В конце 1899 — январе 1900 года Толстой серьезно болел (камни в печени). Меньшиков навестил Толстого в это время, что видно из его письма А. П. Чехову от 19 января 1900 года (ГБЛ).

¹⁶ Н. Н. Толстой (1823—1860) — автор рассказов «Охота на Кавказе» (подпись: Н. Н. Т.; «Современник»). Спб., 1857, № 1—2). Об этой черте брата Толстой писал в «Воспоминаниях» (т. 34. с. 350).

¹⁷ Толстой познакомился с Тургеневым в ноябре 1855 года в Петербурге, вернувшись с Крымской войны. Тогда же он вошел в круг петербургских литераторов. Тургеневу было 37 лет. Известная дата знакомства с Фетом — не ранее 4 февраля 1856 года.

¹⁸ О Франфоровой горе, моравских братьях и зеленой палочке см. в «Воспоминаниях» Толстого (т. 34. с. 385—387). Он похоронен на месте, где, по рассказам Н. Н. Толстого, была зарыта зеленая палочка.

1901 г.

¹⁹ Вероятно, тревога Меньшикова была вызвана заметкой в

№ 9098 «Нового времени» от 4 июля: рубрика: «Корреспонденция «Нового времени» («По телефону»)», с. 1: «Москва, 3-го июля. Собравшиеся в Ясной Поляне по поводу болезни гр. Л. Н. Толстого врачи признали положение великого писателя безнадежным». Обнадеживающие сведения появились со следующего, № 9099, 5-го июля: «В настоящее время граф поправляется: температура нормальная, пульс 84». Толстой заболел 27 июня, простудившись на верховой прогулке. Положение было особенно опасным 1 июля. Об этом говорилось в «Новом времени», № 9100, 6 июля, и подчеркивалось: «Вообще непосредственная опасность миновала». («Телеграммы 5-го июля», «Козлово Засека, 5-го. Ясная Поляна»). У Толстого был приступ грудной жабы при малярии.

²⁰ Николай Николаевич Ге (1857—1939) — старший сын художника Н. Н. Ге, последователь Толстого.

²¹ Николай Леонидович Оболенский (1872—1934) — внучатый племянник Толстого, муж его дочери Марии Львовны.

²² Мария Львовна Толстая-Оболенская (1871—1906) — вторая дочь Толстого.

²³ Михаил Сергеевич Сухотин — (1850—1914) — муж Т. Л. Сухотиной-Толстой.

²⁴ Михаил Львович Толстой (1879—1944) — шестой сын Толстого.

²⁵ Илья Львович Толстой (1866—1933) — второй сын Толстого.

²⁶ Последняя статья Меньшикова в «Неделе» X — «Тихие речи» V «Священное право», 1901, № 5, 4 февраля (подпись: М. О. М.). Газета прекращена 29 июля 1901 года, на № 30. Таким образом, Меньшиков работал в ней около 16 лет. В «Новом времени» он сотрудничал с 28 апреля 1901 г. по 19 марта 1917 г.

²⁷ Сигма — псевдоним С. Н. Сыромятникова (1860—1934), публициста и писателя, сотрудника «Нового времени». В письме к Толстому от 16 апреля 1898 года Меньшиков так характеризовал его: «...очень легкомысленный человек и несколько наглый...» в № 9067 и 9074 «Нового времени» за 1901 год статьи Симы и Меньшикова даны в соседних подвалах.

²⁸ П. А. Сергеевко (1854—1930) — писатель, автор книги «Как живет и работает гр. Л. Н. Толстой». М., 1898.

²⁹ О счастье жить в деревне Толстой писал в статье «Так что

же нам делать?» (1882, 1884—1886), в гл. XXXVIII—XXXIX, говоря о том, что земледельческий труд «самый плодотворный и радостный» (т. 25, с. 382—383).

³⁰ М. Меньшиков. Свое и чужое. VI. Органическое образование. — «Новое время», 1901, № 9088, 24 июня. 5 апреля статьей «Накануне реформы» газета открыла разговор о реформе школы. Под рубрикой «Свое и чужое» Меньшиков выступил против насилия над личностью ребенка, что было близко взгляду Толстого на воспитание. В указанной статье говорится: «Как и в игре, пусть бы сама природа ребенка решала, что ему нужно, и пусть бы школа только давала материал для этого нужного».

³¹ 24 февраля 1901 года в № 8 «Церковных ведомостей», а затем и в других газетах было опубликовано «Определение святейшего Синода от 20—22 февраля 1901 года № 557» об отлучении гр. Льва Толстого от православной церкви. 4 апреля Толстой закончил «Ответ на постановление Синода от 20—22 февраля и на полученные мною по этому поводу письма» («Миссионерское обозрение», 1901, № 6, июнь).

³² В «Прибавлении» к № 12 «Церковных ведомостей» от 24 марта 1901 года С. А. Толстая поместила ответ митрополиту Антонию по поводу определения Синода. Там же был напечатан ответ Антония (от 16 марта).

³³ После этого разговора Толстой лишь один раз был в Москве — 3—4 и 18—19 сентября 1909 года, когда ездил к В. Г. Черткову в имение Крекшино, в 36 км от Москвы. 19 сентября, в 12 часов дня, Толстой навсегда покинул Москву; его провожали толпы народа.

³⁴ «Спелые колосья». Сборник мыслей и афоризмов, извлеченных из частной переписки Л. Н. Толстого. Составил с разрешения автора Д. Р. Кудрявцев. Вып. 1 и 2. Carouge e, Genève, 1895.

³⁵ Н. В. Орлов (1863—1924) — любимый художник Толстого. Рисовал сцены из народного быта. В 1909 году был издан альбом его картин: «Русские мужики» с предисловием Толстого. См. о нем: С. И. Софронюв, Художник-передвижник Н. В. Орлов. М., 1965.

³⁶ А. Б. Гольденвейзер (1875—1960) — пианист, автор мемуаров «Вблизи Толстого». М., 1922—1923 (тт. I—II). В те же дни был в Ясной Поляне (приехал 5 июля), зафиксировал в своей книге чтение Толстым Библии 6—9 июля и окончание статьи «Единственное средство» 12 июля. Разговор

об образовании Гольденвейзера возник, возможно, в связи со статьей Меньшикова «Свое и чужое», V. «Учительский вопрос», в «Новом времени», № 9074, 10 июня. Здесь Меньшиков выступал против схоластики и рутины в старой школе (узости, идолопоклонства, формализма, против изучения «мертвых» языков), утверждая, что она отучала человека самостоятельно мыслить: «Школа вводила новое невинное поколение в умственную инерцию своей культуры, в поток привычных мнений, заставляя верить без критики и проверки во множество вещей прямо нелепых».

³⁷ П. С. Усов (1867—1917) — московский врач, доктор медицины, был при Толстом во время его болезни в Астапове, в 1910 году.

1902 г.

³⁸ В те годы Чехов жил в Ялте и несколько раз навещал Толстого в Гаспире: 12 сентября, 5 и 14 ноября 1901 года; 17 января и 31 марта 1902 года. Возможно, Толстой говорит о рассказе Чехова «Архирей» («Журнал для всех», 1902, № 4, апрель), который он хвалил в разговоре с В. С. Мироллобимым 14 октября 1902 года («Литературное наследство», т. 68. М., 1960, с. 874).

³⁹ Горький жил неподалеку от Гаспры, в Олеше; несколько раз навещал Толстого в доме Паниной. Толстой посетил Горького в Олеше 23 и 31 декабря 1901 года.

⁴⁰ Толстого огорчало отсутствие в Чехове интереса к религиозно-нравственным вопросам.

⁴¹ Дж. Рёскин (1819—1900) — английский мыслитель, теоретик искусства. Толстой включил 40 мыслей Рёскина в I-й том и 36 мыслей во 2-й том «Круга чтения» (1906). В библиотеке Толстого сохранился ряд книг Рёскина.

⁴² В. фон Поленц (1861—1903) — немецкий писатель. В 1901 году Толстой написал предисловие к этому его роману. В начале 1902 года вышла книга «Крестьянин». Роман Вильгельма фон Поленца. Перевод с нем. В. Ведикиной. С предисловием графа Льва Николаевича Толстого. М., «Посредник», 1902. В предисловии Толстой сформулировал мысли о произведениях истинного искусства. В марте того же года П. А. Буланже предложил Толстому добавить во 2-м издании книги эпиграф из Рёскина. Толстой ответил согласием в письме от 23 марта (т. 73, с. 224), 2-е издание, с эпиграфом, появилось в том же, 1902 году.

⁴³ 16 января 1902 года Толстой закончил письмо Николаю II о земельном вопросе. Оно было переда-

но адресату великим князем Николаем Михайловичем, посетившим Толстого в Гаспире (т. 73, с. 184—191).

⁴⁴ И. Н. Альтшуллер (1870—1943) — земский врач Ялтинского уезда, лечащий Чехова и Толстого. Жил в Ялте.

⁴⁵ Религиозно — философское общество в Петербурге существовало с конца 1901 года. На собраниях общества присутствовали знакомые Толстого: В. С. Мироллобов, В. П. Гайдебуров, И. Е. Репин, сын Л. Л. Толстой, Д. С. Мережковский, М. О. Меньшиков. Отчеты печатались в журнале «Новый путь», в отделе «Записки религиозно-философских собраний».

⁴⁶ Возможно, статья «О религии» (1865) или «Что такое религия и в чем сущность ее?», поправки к которой Толстой диктовал в феврале 1902 года.

⁴⁷ В. А. Щуровский (1852—1939) — московский врач-терапевт, профессор, лечащий Толстого. Приехал в Гаспир 11 мая, после этой телеграммы.

⁴⁸ Н. Н. Ге находился в Гаспире с 16 апреля по 14 мая 1902 года.

⁴⁹ Наталья Леонидовна Оболенская (1881—1955), в замужестве Абрикосова.

⁵⁰ Сергей Львович Толстой (1863—1947) — старший сын Толстого; Александр Львович Толстой (1884—1979) — младшая дочь.

⁵¹ На этом балконе сделаны известные фотографии — Толстой и Чехов.

⁵² Труд Шопенгауэра «Парерга и параллеломена» (тт. 1—2, 1851) Толстой читал в июне 1894 года. Теперь он диктовал дочери мысли, которые вошли в его дневник и записку книжку 1902 года (т. 54, с. 118—124, 268).

⁵³ В. В. Розанов (1856—1919) — публицист и философ, сотрудник «Нового времени».

⁵⁴ С. В. Балмашев (1882—1902) — студент Киевского университета, 2 апреля 1902 года застрелил в Петербурге министра внутренних дел Д. С. Сипягина в знак протеста против репрессий правительства. Повешен в Шлиссельбургской крепости 3 мая. Меньшиков писал 21 мая Толстому о неясности слухов о Балмашеве.

⁵⁵ Расхождение Меньшикова с Толстым в вопросе о народе намечалось еще в 1898 году. Тогда, в письме от 13 июня, говоря о статье «Голод или не голод?», Меньшиков возражал: «Вы <...> пишете в статье, что упадок народного духа за последние 20 лет произошел от

презрения к народу правящих классов, от подавления свободы его канцелярщиной, от розог и т. п. Я согласен, что и это презрение, и анархия сельских законов, и розги не могут не угнетать народ, но думаю, что все перечисленное зло есть не причина упадка народного духа, а следствие его <...> Нет, упадок духа нельзя сваливать с народной ответственности на «начальство» — виноват во всем сам народ, и это следует ему внушать <...> упадок народного духа начинается с богоотступничества, с измены правде, с привычки терпеть зло...»

В письме от 21 мая 1902 года он признавался Толстому: «Последний разговор наш меня сильно смутил, и мне показалось, что я неправ. Обвиняя народ, и без того как бы обвиненный и постоянно казнимый, я как будто перехожу на сторону сильного. Но я не могу простить народу именно эту способность выдвигать силу и преклоняться пред ней <...> Мне Ваша защита показалась необыкновенно трогательной и взволновала меня — Ваша любовь к народу, который Вы знаете так глубоко <...> Мне нужно некоторое время и усилие, чтобы перейти к новой точке зрения, но я чувствую, что иду к ней. Это тем легче, что выны тех, кого Вы обвиняете, я ни на минуту не отрицал».

Спасибо Вам, дорогой Лев Николаевич, что, преодолевая болезнь и слабость, Вы все-таки приняли меня и поговорили со мной. Верьте, что общение с Вами — самое дорогое, что есть у меня в жизни..

⁵⁶ К. Д. Бальмонт (1867—1942) — поэт. Посетил Толстого в Гаспире 14 ноября 1901 года вместе с Горьким и Чеховым; затем — 22 ноября. Переписывался с Толстым, посылал свои книги.

⁵⁷ А. С. Пругавин (1850—1920) — публицист. Его книга: «Раскол — сектанство. Материалы для изучения религиозно бытовых движений русского народа. Вып. I: Библиография старообрядчества и его разветвлений» (М., 1887) с дарственной надписью сохранилась в библиотеке Толстого. В 1904 году вышла книга, тоже сохранившаяся в библиотеке писателя с дарственной надписью: «Религиозные отщепенцы. (Очерки современного сектанства)». Вып. I. СПб.; В. К. Сютаев (1819—1892) — крестьянин Тверской губернии, сектант, проповедник теории нравственного самоусовершенствования, оказал большое влияние на религиозно-нравственное учение Толстого. О нем Толстой писал в статье «Как что же нам делать?» (1882, 1884—1886) (т. 25, с. 233—234, 386, 834—836).

⁵⁸ «Сельский вестник» — петербургский еженедельник (1881—1916).

М. .

Имя Михаила Михайловича Бахтина (1895—1975) ныне достаточно широко известно, и едва ли имеет смысл приводить в этой краткой вступительной заметке общие сведения о его жизни и деятельности. Речь пойдет только о публикуемом материале.

Это запись лекций М. М. Бахтина, прочитанных в 1922—1923 годах перед группой учащихся старших классов средней школы в Витебске. Лекция была записана одной из слушательниц — в то время школьницей, впоследствии студенткой словесного отделения Ленинградского института истории искусств, Р. М. Миркиной.

Запись делалась не стенографически, поэтому в ней, вполне возможно или даже неизбежно, имеются пропуски, а также сокращенные конспективные пересказы тех или иных суждений лектора. Но каждый, кто хорошо знаком со стилем речи М. М. Бахтина, согласится: перед нами во многих отношениях верная передача этой речи.

Нельзя не сказать хотя бы вкратце о самом характере этих лекций. Совершенно ясно, что определяющую роль сыграл в данном случае самый состав слушателей. М. М. Бахтин с редким уважением и вниманием относился к любому собеседнику и слушателю (этого не мог не заметить всякий, кто с ним общался). И он читал свои лекции именно так, как можно и должно было читать школьникам.

Разборы произведений Л. Н. Толстого осуществлены, так сказать, на уровне первой стадии их филологического постижения. На этой стадии литературовед с необходимостью должен подойти к литературным героям так, как если бы они были реальными личностями. Эта необходимость глубоко раскрыта в работах одного из молодых учеников М. М. Бахтина — донецкого литературоведа В. В. Федорова. Сам М. М. Бахтин именно в те годы, когда были прочитаны публикуемые лекции, писал:

«Эстетический анализ... должен как-то транскрибировать этический момент, которым созерцание овладевает путем сопереживания (вчувствования) и соэтики; совершая эту транскрипцию, приходится отвлекаться от художественной формы... необходимо отделить чисто этическую личность от ее художественного воплощения в индивидуальную эстетически значимую душу и тело...»

Транскрибировав в пределах возможного этический момент содержания... собственно эстетический анализ должен понять значение всего содержания в целом эстетического объекта, то есть как содержание именно данной эстетической формы, а форму — как форму именно данного содержания, совершенно не выходя за пределы произведения. Но этический момент... можно обособить и сделать предметом самостоятельного исследования... можно сделать предметом и актуальных, моральных и политических, оценок»^{*}.

В лекциях, запись которых публикуется, М. М. Бахтин в значительной мере останавливается именно на этой первой ступени исследования — частности, «отвлекаясь от художественной формы». Достаточно сравнить эти лекции с книгой М. М. Бахтина о Достоевском, а также с его предисловиями к XI и XIII томам Полного собрания художественных произведений Л. Н. Толстого 1929 года, дабы отчетливо представить себе, в каком направлении должен был идти дальнейший, углубляющийся в собственно художественную суть творчества Толстого анализ.

Но в своих лекциях М. М. Бахтин в основном не идет далее первой стадии исследования — и, очевидно, только ради того, чтобы лекции могли быть всецело поняты юными слушателями. Лишь учитывая это своеобразие задачи лектора, можно понять и объективно оценить публикуемые записи.

Остается добавить, что публикуемый материал представляет собой небольшой фрагмент записи целого курса по истории русской литературы, в который вошли лекции о писателях XVIII века, о Жуковском, Ватюшкове, Крылове, Шишкове, Грибоедове, Пушкине, Лермонтове, Тютчеве, Гоголе, Чаадаеве, Тургеневе, Гончарове, Достоевском и др.

Позднее, уже в Ленинграде, Р. М. Миркина записала лекции М. М. Бахтина о писателях XX века (Брюсов, Бальмонт, Ф. Сологуб, Вяч. Иванов, А. Белый, И. Анненский, Блок, Ахматова, Кузмин, Гумилев, И. Северянин, Хлебников, Маяковский, Есенин, Ремизов, Замiatин, Л. Леон, Сергеев-Иценский, Вс. Иванов, Федин, Эренбург, А. Толстой, Тынянов, Зощенко).

Лекция о Л. Н. Толстом — первый опыт публикации этих обширных записей (их общий объем — около 18 авторских листов).

Лекции эти, как мне представляется, по-своему весьма интересны, притом интересны с разных точек зрения — и как «подступы» к исследованию творчества Толстого, и как выражение своеобразных позиций М. М. Бахтина, и, если угодно, как образец педагогического решения (лекция для школьников).

В заключение нельзя не выразить благодарность Р. М. Миркиной, которая тщательно записала лекции М. М. Бахтина и более полувека хранила эти записи.

В. Кожин

«ДЕТСТВО». «ОТРОЧЕСТВО». «ЮНОСТЬ»

Основной темой трилогии является противопоставление целостной природы и рефлексивного духа. Сначала в Николеньке воплощена рефлексия: голос «я» и все то, что противопоставляется этому «я». Абсолютная чистота, детская наивность Николеньки дают возможность ясно обозначиться этим двум «я»: «я для себя» и «я для другого». То он живет для себя, то строит свои мечтания по внешне выраженному пути. Ему нужно согласовать

^{*} М. М. Бахтин. Вопросы эстетики и литературы. М., «Художественная литература», 1975, с. 40—41, 42. (См. также далее.)

эти два «я»: «я для себя» и «я для других», а они начинают не согласовываться. Отсюда его психологическая неловкость, неуклюжесть. Дружба Николеньки с Нехлюдовым — это попытка выйти из разлада и хотя бы в общении с одним человеком остаться самим собой, сойтись с ним своим глубинным «я». Но горе в том, что определение в мнении других разрушает «я для себя», природное единство.

В продолжение всего творчества Толстой будет располагать мир по этим двум категориям, пока «я для других» станет всей культурой, а «я для себя» — одиноко.

«КАЗАКИ»

В «Казаках» тема противопоставления природы и культуры выражена чрезвычайно ясно. Неотъемлемая природа — это дядя Ерошка, дух — Оленин. Но Оленин — носитель осложненного культурного начала: созерцающая природную жизнь казаков, он в себе переживает эту антитезу.

Что же такое дух, который ощущает в себе Оленин? Это — способность видеть себя в сознании других, восприятие своих чувств, своих поступков в своем сознании и в сознании других. Две оценки, двойная рефлексия вызывает конфликты, которые Толстой связывает с культурой и ее целями. С его точки зрения, психологическое расположение человека к самооглядке дурно. Не нужно слушать совесть, подсказывание которой и есть рефлексия: она разрушает природную целостность человека. Рефлексия не заставила Оленина отказаться от Марьянки, а лишь ставила его в фальшивое неловкое положение. Сознание добра и зла вносит неуверенность, разлад и ложь. Рефлектирующему Оленину противопоставляются казаки. Казаки безгрешны, потому что они живут природной жизнью.

ВОЕННЫЕ РАССКАЗЫ

По форме военные рассказы — очерки. Тенденция всякого очерка — не иметь фабулы; в нем изображаются типы людей или картины быта. Но в военных рассказах центр тяжести не в изображении типа русского солдата и не в изображении быта. Объединяющим художественным центром в них является проблема войны. Война организует все рассказы, все в них сгруппировано вокруг решения этой проблемы.

Первой встает идея героизма. Военный героизм — трезвый, простой, сдержанный, негероический героизм. И здесь Толстой почти принимает войну.

Вторая идея выступает на первый план в последних севастопольских рассказах: это неприятие войны. На развитие этой мысли сильное влияние оказал Руссо. Участники войны, воюя друг с другом, не настроены враждебно. Наоборот, они полны добродушия и любви; они не враги. Психологически боевого настроения, военного одушевления, жестокости, которая сказывается в разгаре войны, нет у ее участников. Война — это внешняя сила, не зависящая от воюющих; она не нужна и настоящего оправдания не имеет. Такая постановка проблемы войны характерна для Толстого.

«ВОИНА И МИР»

Толстой работал над «Войной и миром» четыре года. Первоначально он замыслил писать роман о декабристах. Но эта тема вызвала интерес к эпохе Наполеона, когда слагались взгляды декабристов. Сделав небольшие фрагменты о декабристах, Толстой начал писать роман, названный им «1805 год». В процессе работы он продолжил тему войны с Наполеоном, захватил 1812 год и издал весь роман под названием «Война и мир».

Менялась не только тема, но и характер романа. Документальная точность, изображенные персонажи в свете исторических картин — вот что вначале выступило на первый план. Но впоследствии вся конкретная основа отошла, главное место заняла психологическая задача. Так развивалась и образовывалась эта эпопея.

«Война и мир» — хроника. Образы главных действующих лиц изображены генетически: Пьер, князь Андрей, Николай Ростов, Наташа не даны готовыми. Поэтому их нужно рассматривать в каждый момент их жизни и таким путем характеризовать.

Анализ романа можно вести разное. Можно расчленив его по семьям, можно осветить отдельных персонажей. Проще и удобней второй вариант. Начать лучше с Пьера, который появляется в самом начале и проходит через весь роман.

Пьер. Уже в первой сцене у Анны Павловны Шерер рельефно обрисовывается образ Пьера. Этот человек ко всему относится патетически серьезно, во всем ищет значительности. Отсюда его неловкость и мешковатость. (В светском обществе нужно все разглаживать водичей.) Неумение Пьера держать себя в светском обществе объясняется еще его крайним самолюбием и постоянной рефлексией. Но к нему все относится с симпатией, потому что он очень добродушен.

В доме князя Андрея раскрывается еще одна особенность Пьера — сознательный отказ от деятельности, нежелание решиться на какой-либо шаг. Пьер не хочет занимать действующую позицию в жизни; он делает только то, что ему велят другие. Пусть все делается само собой, что будет, то будет. Но у Пьера нет страха жизни, как у Обломова. Напротив, он любит судьбу и подчиняется ей не потому, что хочет быть спокойным. Это здоровая фаталистичность. Пассивность Пьера, устранение от жизненной борьбы объясняются и его патетической серьезностью. Влага свой пафос в интересы всего мира, он не занимается устройством своей личной жизни.

Рядом с патетической серьезностью, застенчивостью, фатализмом в Пьере сказывается и сластолюбие человека, любящего пожить. Прежде чем проститься с жизнью в кутежах, он хочет насладиться ими в последний раз у Курагина. (Это — диалектика слабовольного человека.) Его плоть, тяжелое тело дают себя знать. В состоянии опьянения он весь отдается порыву; внутреннего сдерживающего импульса у него нет.

В сцене смерти графа Безухова очевидны пассивность Пьера и неумение держать себя при умирающем отце. Он делает лишь то, что ему велят другие.

На бадю у князя Василия снова сказывается совершенное подчинение Пьера другим людям. Господству других людей Пьер подчиняется целиком и даже усваивает для себя их мнение. Мнение других определяют не только его практические дела, но и душевные. Пассивность приводит к тому, что такой важный шаг, как женитьба, совершается по инициативе других. Как это происходит? Пьер чувствует, что все хотят, чтобы он сел рядом с Элен, и он садится рядом с ней. Сперва она кажется ему глупой, но под влиянием мнения других он начинает ею интересоваться. Происходит воздействие общественного гипноза: Пьер поддается мнению других и начинает думать так, как все хотят, чтобы он думал. Новому отношению к Элен способствует и его сластолюбие.

После женитьбы Пьер разочаровывается в Элен. Остановиться он ни на чем не может. Он требует абсолютного оправдания каждого своего поступка в отдельности и всей жизни в целом, но не находит этого. В состоянии внутреннего перепутья Пьер после разговора с одним масоном вступает в масонскую ложу. Но и в этом он вскоре разочаровывается. Сам Толстой к масонству относился недоброжелательно. Идеи масонства были ему близки, но он не видел единства между его целью и внешним выражением. Попав в масонство, люди теряют его главный смысл и придают значение только

мелочам. Вообще Толстой считал, что, как только правило воплощается вовне, его первоначальный смысл умирает, форма становится самодовлеющей, внешняя сторона затмевает внутреннюю. Против идейного масонства Толстой ничего не имел, но существующее он отвергал. В конце концов, после одного заседания, где доклад не был принят по чисто внешним соображениям, Пьер убеждается, что находится в смертельном механизме, и выходит из масонской логи.

После разрыва с масонами Пьер изменился. В нем уже нет прежней восторженности, неловкости. Он менее дорожит мнением других, более замкнут, сосредоточен и все усилия направляет на поиски внутреннего пути.

Наступил 1812 год, началась война с Наполеоном. Пьер отнесся к этой войне с некоторым энтузиазмом и отправился на поле сражения. Но главное здесь не влияние военных событий на Пьера, а описание сражений самих по себе.

Пьер снова в Москве. Несмотря на то, что он порвал с масонством, некоторый мистицизм в нем еще остался. Он переводит свое имя и имя Наполеона на цифры и устанавливает, что между их именами существует какая-то мистическая связь. Отсюда Пьер делает вывод, что ему нужно убить Наполеона. Здесь подчеркнут мистицизм Пьера, его юношеская вера во все необыкновенное, неординарное, подчеркнута уверенность, что ему предстоит особенный путь, что его судьба особенная. Психологически это не совсем правдоподобно, но художественно оправданно: сгушенная простота ярче оттеняет ту простоту и смирение, к которым Пьер вскоре приходит.

В Москве Пьера обвинили в поджоге и повели на плац, где расстреливали. Здесь он встретился с Даву. Сначала эти два человека почувствовали себя людьми, но при появлении адъютанта вновь начались между ними нечеловеческие отношения. То же самое пережил Пьер во время расстрела. Какая-то грубая, внешняя сила овладевает человеком и заставляет его убивать других людей, несмотря на внутреннее неодобрение убийства. В человеке свято то, что он живет и хочет жить. Такая простота в концепции человеческой сути, сведение ее к биологизму характерны для Толстого. Государство, наука, красота — все пустяки перед природной жизнью человека. Под влиянием вынесенных впечатлений с Пьером происходит встряска: все то, что несколько дней назад казалось существенным, как, например, его математические вычисления, представляется вздором.

Вскоре Пьер попадает в плен и знакомится с Каратаевым. Каратаев стал для Пьера откровением: он обобщил для него все им пережи-

тое. Каратаев — это простота. Тема простоты с этого времени становится движущей в творчестве Толстого.

Толстой понимал простоту не как цельность, а как разоблачение ненужной сложности. Поэтому Каратаев и изображен дурачком. В нем скучная простота, простота как оскудение, обеднение, уничтожение всего того, что непросто. Из такой простоты вытекает и фатализм Каратаева. Он верит в промысл, но эта вера не оптимистическая: бог не оставит меня. Христианин, например, Жуковский, понимает промысл как добро, благо, разумную силу, которая получит свое оправдание в потустороннем мире. Толстой же в понимании промысла почти язычник. Его бог скорее напоминает языческого Пана или Будду, чем христианского бога: хорошо то, что не от меня исходит, в чем не «я». Вопрос, что хорошо и что плохо, для Каратаева отсутствует. Он и не ждет ничего хорошего, с ним хорошо и не поступают. Но он принимает все то, что не от него исходит. Так что фатализм, как и простота, носит у Толстого отрицательный характер. У Каратаева нет личных взглядов, личной воли. На каждый повод он откликается общими изречениями народной мудрости — пословицами. Даже наружность у него неопределенная: он весь круглый какой-то, не имеет своего лица. Простота Каратаева, его всепринятие и отказ от себя поражают Пьера. Наиболее яркое выражение эти особенности получили во сне Пьера, типичном толстовском сне. В нем полное растворение себя в природе, отказ даже от разума.

В плену у французов после всех предыдущих событий и в особенности после встречи с Каратаевым начинается опрощение Пьера. Он приходит к выводу, что идея счастья и удобства относительны: босой не более несчастлив, чем одетый в узкие лакированные туфли. Счастье, богатство объективно не существуют. Важно лишь внутреннее, субъективное состояние человека.

В Орле Пьер окончательно опрощается. Он уже знает, что хорошо, что плохо, становится уверенным человеком. В нем отпали самолюбивые, личные, ложные самоображения. Поэтому он уже не подчиняется мнению других и принимает собственные решения. Так, он отказывает в деньгах французу и отдает их итальянцу.

Вскоре после духовного переворота, который произошел в Пьере, он женится на Наташе. Последние сцены романа посвящены проблемам семьи. Все, что касается романтики брака, здесь отсутствует. Любовь Пьера и Наташи — это любовь упрощенная. И любовь Толстой понимал упрощенно.

Следует отметить автобиографичность образа Пьера. Толстой в ранней молодости был так же застенчив, безалаберен, не умел держать себя в обществе, не сумел сделать карьеры. В позднем Пьере автобиографичен вывод, к которому он приходит.

Князь Андрей. Он появляется перед нами как человек сухой, трезвый, скептически настроенный. Но далее становится видно, что этот сухой, трезвый человек очень фантастичен. Князь Андрей в своих мечтах идет еще дальше Пьера. Ему нужно все: он мечтает о спасении России, о том, чтобы стать Наполеоном, и т. п. Это странное честолюбие рождает в нем уверенность, что ему предстоит свершить высокий жизненный путь. На каждое дело он смотрит как на возможный пьедестал, на котором он возвысится над всеми. И с этим желанием внешней славы начинается его путь.

Под воздействием честолюбивых замыслов князь Андрей отправляется на войну. Сначала все идет так, как ему представлялось это в мечтах. Но его ранят, и, лежа раненым на поле сражения, он увидел небо. На фоне этого неба все его былые мечты и даже сам Наполеон показались маленькими и ничтожными. Небо для Толстого не промысл божий, не высота, правда и истина, а чисто природный абсолютный покой, разоблачающий суету на земле. Небо — это природное небытие, природная бескачественность облаков, которым ничего не нужно, которые ничего не хотят.

После ранения князь Андрей поселится в деревне. И здесь он продолжает относиться ко всему скептически. Но после разговоров с Пьером и Николаем Ростовым снова чувствует, что может жить. Возрождение к жизни — значило возвращение к честолюбивым замыслам. Он покидает деревню и снова возвращается в Петербург.

В Петербурге князь Андрей встретил Наташу и полюбил ее. Но после отказа Наташи заложенная в нем основа мизантропии усилила. Противопоставив общественной жизни, до которой ему уже не было дела, семейную жизнь, которую он хотел устроить с Наташей, князь Андрей решил, что и тут все незначительно. Свой неудачный жизненный опыт он обобщил до общих пределов. Эта склонность к обобщению характерна и для самого Толстого. Тургенев бы сказал: «Я один несчастлив, другие счастливы», и стремление к единению было бы индивидуальным. Толстой же свой личный жизненный опыт обобщал до пределов всего мира.

Наступает 1812 год, и князь Андрей уходит на войну. В Бородинском сражении он ранен, и снова в нем происходит перелом, начавшийся под Аустерлицем. Ему открылось

всепоглощающее нечто — всеобъемлющая природа, и он всех разлюбил и все забыл. Он простил Анатолия Курагина не потому, что полюбил его, а потому, что забыл все обиды. Для него остался только страдающий человек, который хочет жить. Вся философия Толстого построена на отрицании: на все, что выше простой жизни, он налагает запрет. Важно только одно: жить, жить голым процессом жизни. Всей сложности индивидуальных жизненных отношений, культурному пафосу, патриотизму, войне с Францией, всем ценностям, движущим историей, Толстой противопоставляет простую палатку и голого, страдающего человека в ней. И если это необходимо для истории, то история не нужна, не оправдана и ничего не стоит. Только одно важно: природа. Все остальное — мираж. Природа обесценивает, отрицает историю.

При встрече с Наташей князь Андрей испытывает такие же чувства, как при встрече с Анатолом: чувства прощения и сближения. И здесь, как и там, отрицательный момент выступает на первый план. Это сближение не начало новой жизни, а начало конца. Надежда на личное счастье для князя Андрея отпадает. Он мирится со всеми лишь потому, что они жалки и их нужно простить. Новыми глазами смотрит князь Андрей на мир и на людей, которые не понимают всей важности с ним совершающегося и, как непонимающие, ничтожны. Быть проповедником, объяснить евангелие он не в состоянии, потому что чувствует, что его евангелие не для живых (они понять ничего не могут), а для мертвых. И в таком состоянии все большего и большего отчуждения князь Андрей находится до самой смерти.

Николай Ростов. Он занимает среднюю позицию между князем Андреем, Пьером и Каратаевым. Николай далеко не такой умный и замечательный человек, как Пьер или князь Андрей, но в нем заложена природная основа. Благодаря присущей ему природной, органической мудрости он интуитивно идет по правильному пути. Это не умом умный человек, а чутьем природным, которое и руководит им. Так, в отношениях с Соней Николай совершенно пассивно отдается обстоятельствам. Сначала он любит Сою, и любит вполне искренне, но затем природное чутье подсказывает ему, что эта партия нецелесообразна, и он женится на княжне Марье.

Способность верить не себе, а природе, которая тобой руководит, была присуща и Толстому. В этом отношении Николай — автобиографическое лицо. Жизнь Толстого была необычайно органической, с точки зрения индийских мудрецов — классической. Юность он посвятил наукам. В последующие годы пре-

дался кутежам и разгулу. В 35 лет женился и занялся приобретением богатства и славы. На склоне лет — отрекся от мирской суеты и посвятил себя служению богу.

Наташа. Она по замыслу похожа на Николая. И ей присущи непосредственность, умение стать на правильный жизненный путь.

Уже в отношениях к Борису проявляется природная инстинктивность Наташи. Она его любит, и любит искренне, наивно и непосредственно. Но, когда это нужно, она так же непосредственно и природно уходит от него.

В любви к Курагину и решении бежать с ним сказывается восторженность Наташи. Но уход с Курагиным нарушил бы природную целесообразность ее жизни. И ей удастся и здесь остаться на правильном пути.

История с Курагиным, встреча с князем Андреем (обручение, разрыв, примирение и смерть его) содействовали тому, что Наташа окончательно сложилась. Она выходит замуж за Пьера. Пьер и раньше был ей симпатичен, но той поэзии, которой было овеяно ее чувство к князю Андрею и Курагину, здесь не было с самого начала. И Пьер к этому времени стал другим. Их роман развертывается в иных тонах.

В эпилоге мы не узнаем прежней Наташи. Это не та поэтическая, грациозная Наташа, какой мы ее раньше видели. Она стала матерью, и ее материнские обязанности стали для нее всем. Толстой мастерски подобрал эпизод, в котором особенно выпукло выступает прозаическая сторона сферы женщины-матери. Критика обычно указывает, что изменение Наташи психологически неправдоподобно. Но нам думается, что психологическое правдоподобие здесь как раз выдержано. Путь Наташи — это классический путь почти всех женщин. Но отсутствие художественного такта здесь имеет место: перемена в Наташе не подготовлена. В эпилоге она слишком резко отличается от Наташи, которую мы знали до сих пор. Необходимая непрерывность в развитии образа нарушена, но психологически Толстой свой замысел выполнил. Он считал, что романтика любви в браке отпадает; супруги должны прийти к мудрой, прозаической простоте. Все в мире заблуждение, мудра только природа.

Война. В факте войны Толстого поражала какая-то своеобразная неадекватность между переживаниями людей и происходящими событиями. Он видел, что история творится как непонятная людям сила, помимо их желания. Что-то совершается и завладевает людьми; ни воля, ни разум, ни сознательная деятельность не имеют с этим ничего общего, бессильны перед ним. Люди являются лишь пешками,

марионетками, игралищем в руках судьбы. Князь Андрей, Пьер, французы сознают, что делают не то, что нужно, что ими завладевает какая-то чужеродная, непонятная, привходящая сила. Судьбу битвы решают не талант полководца, не воля людей, а темная, стихийная сила. Участники битвы не понимают ее в целом: каждый действует сам по себе и чувствует прежде всего растерянность. Общее сражение — это ложь, выдумка и мираж. Но потом его участники, подтасовывая факты, освещают события в романтическом духе. Так, Николай Ростов не хочет лгать, но бессознательно подчиняется иллюзорному, общепринятому взгляду на войну. Для солдат война равно ничего не значит. Военный пафос им не нужен: ими руководит простая, природная мудрость. События истории не касаются простого народа, если не задевают личной жизни людей. Неадекватность между действительной жизнью человека и той фикцией, которую называют войной, красной нитью проходит через весь роман. Такое изображение войны не совсем правдоподобно, но художественная ценность его очень велика. Все поступки, факты и события чрезвычайно мастерски подобраны Толстым для оправдания своих взглядов на историю. Для художественного изображения правдоподобие необязательно.

Кутузов. Он знает, что от него ничего не зависит, что все делается само собой, и ничего не предпринимает. Поэтому и озлобления к французам у него нет. Кутузов — фаталист: он видит, что противопоставить грубой, стихийной силе, которая руководит войной, ничего нельзя, и всецело подчиняется ей.

Мир. Не только война, но и внутренняя мирная политика, с точки зрения Толстого, есть область каких-то фикций, не задевающих истинной жизни людей. Единственная сфера, где он видит живую жизнь, силу, адекватную природе, не изъеденную рефлексией, — это семья. Но далее, в последующих произведениях, историческое движение проникает и в семью. И в семье внешняя сила начинает захватывать внутреннюю жизнь людей.

«АННА КАРЕНИНА»

Этот роман резко и существенно отличается от «Войны и мира». История и связанные с ней задачи (колоритное изображение эпохи и людей этой эпохи) отпадают. В изображении характеров на первый план выступает философичность. Каждое действующее лицо — определенная установка к проблеме мира: добра, зла и т. д.

Некоторые критики усматривают сходство «Анны Карениной» с античной трагедией.

И действительно, некоторое сходство между ними есть. В тоне и манере повествования предусматривается финал: гибель героев предпринимается. Анна, как ни старается успокоить себя, чувствует, что происходит что-то роковое, что она обречена. Но на этом сходство кончается: взгляд на вину в античной трагедии и в романе Толстого разный. В древней трагедии вина была наследственной, но за нее надо было расплачиваться. У Толстого понимание вины христианское: воля человека свободна, он может согрешить, может и не согрешить. Вина — это грех, за который совершивший его должен ответить.

Анна. Ее нужно рассматривать не как характер (кто она), а как положение (что с ней и что она сделала). Она полюбила Вронского, будучи замужем, и в этом ее основная вина.

Анна увлеклась Вронским с первой встречи. Главной причиной ее увлечения было впечатление, произведенное ею на него: она увидела в его взгляде собачью преданность, увидела, что он побежден, и это привлекло к нему.

На балу Анне казалось, что встреча с Вронским лишь эпизод, который не будет иметь продолжения. Она завтра уедет, и все будет кончено. По дороге в Петербург она продолжает так думать, но сознание ее начинает двоиться. Она сопереживает героине читаемого романа и готова выйти из того положения, которое до сих пор считала нормальным и хорошим.

Увидя Вронского на станции, Анна еще острее почувствовала, что это не конец, но успокаивала себя тем, что в Петербурге все забудется. Душевная лазейка еще больше ослабила ее волю; она еще глубже втянулась в грех и подпала под власть рока.

При встрече с мужем Анна заметила в нем те черты, которые раньше не замечала. Ею овладевает иная жизнь, но она утешает себя тем, что ничего не произошло, бояться нечего и предпринимать ничего не нужно. И эта душевная лазейка еще более втягивает Анну в новую жизнь.

Как видно, здесь не генетическое становление личности, а кризис, катастрофа с самого начала. Толстой показывает, как положение, завладевая душой, не обогащает ее, а предопределяет, становится для души роком. Глухое, темное сознание говорит Анне, что новую жизнь построить нельзя, что счастье невозможно. Это сознание прежде всего конкретизируется в отношениях с сыном. Сережа испытывает неловкость и недоумение в присутствии Вронского и не знает, как отнестись к появлению этого нового человека. И Анна чувствует, что ее отношения с Вронским ненормальны, что рано или поздно он ее покинет. Но теперь

эти два человека уже несвободны. Они связали себя, разойтись им нельзя, выхода нет, и только смерть развяжет запутанный узел.

Но роды Анны дали их жизни новое направление: не разрывая формально с мужем, она уезжает с Вронским за границу. Там они зажили счастливо, но вскоре отношения их усложняются. Анна чувствует, что она связывает и тяготит Вронского, что слишком отдавалась этому человеку. Это заставляет ее опасливо относиться к каждому его поступку и шагу. Она подозрительно относится к каждому новому знакомству, не зная, как будет истолковано их положение.

Вронский надеялся, что в Петербурге их отношения с обществом уладятся сами собой, но это оказалось делом невыполнимым. Анна, в свою очередь, не хотела ни с чем считаться и вела себя вызывающе. Все это привело к скандалу. Жизнь в Петербурге оказалась слишком тяжелой, и они уезжают в деревню.

В деревне положение Анны и Вронского не улучшается. Вронский не может удовлетвориться замкнутой жизнью. Он начинает увлекаться общественной деятельностью, баллотируется на выборах и надеется стать предводителем дворянства. Анна, видя, что Вронский хочет найти такую сферу в жизни, в которой она принять участие не сможет, начинает неодобрительно относиться к его общественным интересам. Но Вронский не хочет посвятить себя целиком Анне, а Анна о налаживанье своей семейной жизни не заботится. Она чужой человек не только в хозяйстве, но и в детской. Будучи женой Каренина, она была хорошей хозяйкой и матерью. Теперь, не чувствуя под собой базы, фиктивную семью она устроить не может. Все же она пытается выйти из ненормального положения, хлопочет о разводе, но так и не получает его.

Жизнь Анны приняла безнадежно ненормальный характер. Выхода быть не может. Ей остается только одно — пресечь грех, задуть свечу.

Падение Анны, ее связь с Вронским — грех, который неизбежно ведет к гибели. В этом и смысл эпиграфа к роману — «Мне отомщение, и аз воздам». Это слова бога. Право судебное принадлежит только ему, и он всегда воздает за грехи. Анна чувствует эту силу, но зависящую от нее и все же заложенную в ней. Здесь Толстой опровергает понимание вины в великосветских романах, например, у графа Салиаса, и в поэзии Лермонтова и Тютчева. В обычной трактовке авторов великосветских романов и в более углубленной трактовке Лермонтова и Тютчева герой и героиня гибнут от кары общества. Обществу противопоставляется святость свободы внутреннего

чувства. У Толстого же все дело не в суде света, а во внутреннем суде над собой. Всякое нарушение закона наказуется внутренне. Раз человек отклонился от истинного пути, гибель неизбежна, все попытки спастись напрасны. Это имманентный человеческой природе закон. И бог эпиграфа — это природный, иудейский бог, грозный и карающий, который живет в человеке. Старичок сна Анны и есть мстящая, возмездующая природа. Отрицательная сторона и здесь, как всегда у Толстого, торжествует.

Левин. Это образ становящийся, генетический. В нем соединены все автобиографические черты в Пьере, Николае Ростове, Нехлюдове (герое «Юности» и «Утра помещика»).

Близость к Пьеру особенно резко проявляется там, где начинается искание смысла жизни и бога. И способ искания, и итог, к которому они приходят, — тождественны. Они оба приходят к тому пониманию смысла жизни и бога, который дан солдатам, крестьянам. Их бог прост, непосредствен, стихийно жив. С Пьером Левин связан и психологически. Оба стремятся все теоретически обобщить, анализировать каждое жизненное явление. Сближает их и застенчивость. Эти взрослые, больные, здоровые люди детски застенчивы из-за постоянной рефлексии, рассуждения, что и как думают о них другие.

С Николаем Левина сближает природный инстинкт. Хотя он постоянно спорит, но решает у него спор не мысль и убеждения, а инстинктивная природная сила, которая указывает ему правильный путь. Общей является и их практическая деятельность. Оба они хозяева, вопросы хозяйства стоят для них в центре внимания. Проблема хозяйства всю жизнь занимала и Толстого, сначала как помещика и потом в плане личного труда. Во взгляде на брак Левин также близок Николаю своим прозаизмом. На первый план здесь для них выступает чисто природный долг. В мечтах Левина о семейной жизни особенно ярко подчеркнут их прозаизм. Он мечтает о том, как с женой будет выхаживать породистое стадо коров.

Кити. Она напоминает Наташу своей органичностью, умением угадывать, как нужно поступать в том или ином случае. Но образ ее вышел бледным.

Алексей Александрович. Это человек системы: для каждого положения у него заготовлено правило. Но перед ним предстала такая жизнь, которую нельзя было подвести под обычные нормы и системы, и это его смутило более всего. Сначала он пытался подвести все происходящее в его семье под шаблоны: под шаблон дуэли, под шаблон развода (Анна

неверная, злая жена и должна пострадать), под шаблон религии (мне нет дела до ее внутреннего состояния; это дело ее совести и религии; дело мужа сохранить внутреннее спокойствие). На стремлении к шаблонизации построен образ Алексея Александровича. Он не хочет признавать индивидуальной личной жизни и вдруг становится героем этой жизни. Анна оказалась тайной, загадкой, и мысль, что в ней есть какая-то своя личная жизнь, поразила и ужаснула его. Но когда Анна заболела, с ним произошло размягчение: в нем проснулся бог всепрощающий, христианский, тогда как в душе Анны преобладает бог угрожающий, иудейский. Но, однажды пробудившись, Алексей Александрович не мог долго удержаться на индивидуальной позиции. Шаблон опять победил в нем, и чувство всепрощения, умиления он старается ввести в русло христианской мистики, чему отчасти способствовало и влияние графини Лидии. Как раньше в государственных делах, так теперь в религиозных Алексей Александрович подыскивает общепринятые нормы, шаблоны, которые дала ему религия, и тем убивает индивидуальные чувства, раз проснувшиеся в нем. Шаблон в нем доведен до крайности и принимает даже несколько карикатурный характер, к чему так редко прибегал Толстой.

Вронский. Это светский человек, который вначале живет как все. Но в нем есть индивидуальная сила, и она делает его героем трагедии. Вронский несколько похож на князя Андрея. И у него уверенность, спокойствие, пренебрежение к людям базируются на честолюбии, но более внешне и трезвом, чем у князя Андрея. Он не мечтает быть Наполеоном, а хочет занимать лишь видимое положение, хочет первенствовать в каждом отдельном моменте. Внешнее честолюбие — его основной двигатель. Но, познакомившись с Анной, Вронский меняется. Сначала он думает, что у них обыкновенная светская связь, но потом понял, что эта страсть гораздо существеннее и глубже, понял ее роковой характер. В нем начинается разлад между страстью и самолюбием. Он не хочет дать растворить себя в этой страсти, не хочет быть только любовником. На этой почве возникает катастрофа. Вронский постоянно пытается быть еще кем-то, но чувствует, что больше никем быть не может. Его, как и Анну, победила роковая сила их страсти. Важная военно-административная карьера ждала его, но он связал себя с силой, которая потребовала его целиком и постепенно разрушила его первоначальный жизненный замысел. Роковая сила затянула его, и после смерти Анны ему ничего больше не осталось, как искать смерти.

Степан Аркадьевич. Он контрастен и Левину и Вронскому. Ярче всего контраст сказался в их отношении к любви. Степан Аркадьевич далек от страсти, подобной той, которую переживает Вронский. Еще дальше он от органического счастья в браке Левина. Он ведет себя как и Анна, но возмездия для него не наступает. Толстой освобождает его от вины. Это противно морали, но не художественному замыслу. Дело в том, что Стива все жизненные явления воспринимает в страшно облегченном виде. Облегчение и есть основной тон, на котором построен его образ. Для него нет страсти, к любви он подходит шутя, поэтому даже внешнего кризиса, как у Вронского, у него быть не может. Степан Аркадьевич обладает умением подходить к жизненному явлению так, что оно становится легким, незначительным, превращается в анекдот. Так он, чистокровный Рюрикovich, придя к ростовщику за ссудой, не чувствует нелепости, униженности своего положения и сочиняет анекдот: «У жида два часа дождался». Его элегантность и легкость создают такую атмосферу, в которой все явления жизни улеγχаются, даже рок обезвреживается. Поэтому для него нет ни вины, ни возмездия.

ВТОРОЙ ПЕРИОД В ТВОРЧЕСТВЕ ТОЛСТОГО

Ко времени окончания «Анны Карениной» в творчестве Толстого начался так называемый кризис. Но происшедшему в нем перемену кризисом в собственном смысле назвать нельзя: провести непрерывную линию между первыми и последними его произведениями очень легко. Те темы и те идейные установки, которые начали преобладать во втором периоде творчества Толстого, имелись уже в начале пути. Его творческий облик, конечно, изменился, но строгого кризиса он не пережил.

«ЧТО ТАКОЕ ИСКУССТВО?»

Параллельно с изменением взгляда на религию менялись и художественные взгляды Толстого. Он отрицает самостоятельную ценность художественного творчества, признает его лишь постольку, поскольку оно решает нравственные и религиозные проблемы.

В трактате «Что такое искусство?» Толстой сначала критикует эстетику красоты и затем переходит к изложению своей эстетики. По его мнению, искусство только тогда имеет цену, когда оно заражает нас моральными, добрыми чувствами. Второй тезис — общедоступность истинного искусства. Хорошо только то искус-

ство, которое понимают все; если его понимают немногие — оно выдуманно. Так Шекспир был объявлен ничтожным художником, отвергались Бетховен и Бах, поскольку их музыка не для всех. Там, где Толстой стремится доказать правоту своих взглядов, он слаб, преднамеренно искажает и не желает понять отрицаемых им художников. Но, переходя к теории вчувствования, он развивает эту теорию очень глубоко, хотя вновь открывает уже открытое до него Липпсом*.

Исходя из своих новых взглядов на искусство, Толстой отрицательно относится к своим собственным произведениям и пишет сказки для народа. Сказки эти — образцовые художественные произведения, и они получили широкое распространение в народе.

«СМЕРТЬ ИВАНА ИЛЬИЧА»

Фабула в этом произведении как художественно значимый момент отсутствует. Человек жил, заболел и умер. Происходит самое обыкновенное или самое ужасное. Толстой резко подчеркивает, что самое обыкновенное и есть самое ужасное и бессмысленное.

Произведение начинается с факта смерти. Это создает своеобразие, непреодолимое художественное впечатление: с самого начала на первый план выступает смерть. После того как мы познакомимся с героем в гробу, Толстой вводит нас в жизнь этого человека и потом завершает круг — снова приводит к его смерти.

Обычное сознание людей при столкновении со смертью Толстой изображает парадоксально, но, если взглянуть глубже, очень правильно. Факт смерти не занимает подходящего места в сознании людей, окружающих Ивана Ильича. Между случайностями и ничемностями, в массе мелочей такое значительное явление, как смерть, потонуло, затерялось. Они все знают, что смертны, но знают это поверхностно, живут с невысказанной, молчаливой предпосылкой своего бессмертия. В этом плане особенно характерен Шварц, напоминающий Стиву Облонского. На один миг ему сделалось страшно, но он успокоил себя тем, что умер-то Иван Ильич, а не он. Обычное сознание людей факта смерти не усвоило и живет тем, что лично для них смерть невозможна.

Иван Ильич руководствовался желанием жить легко и приятно. При этом был шепетил и допустимым для себя считал лишь то,

что допускали в его кругу вышестоящие люди. Совершая поступки нехорошие, но присущие всем, он был спокоен, и совесть его не мучила. Он сумел сделать свою жизнь будто бы хорошей и нравственной, хотя нравственной она не была.

На службе Иван Ильич стремился чувствовать себя легко и приятно. Легко подошел он и к женитьбе. Женился он не по расчету и потому считал и этот свой шаг нравственно безупречным. Здесь не было ни греха, ни страдания, все шло легко и приятно. Когда в семье возникла угроза нарушить эту приятную жизнь и начались семейные конфликты, он сумел огородить себя службой. И все пошло гладко, ровно и морально, пока не произошло важное событие: он заболел.

Сначала Иван Ильич стремился воспринять свою болезнь так, как она отображалась в сознании других, но ничего из этого не получилось. Он перестал верить в слепую почку, а главное, понял, что жизнь уходит. Иван Ильич мог жить своим отображением вовне, когда считал, что жизнь его вечна. Но когда это убеждение было отнято, он понял, что его жизнь была ложью. И теперь его чувства уже неадекватны обману и фальши других. Все окружающие понимают его болезнь не так, как он сам: то, что для него является самым важным — он ведь умирает, то для других лишь случайность. Только Герасиму чувства Ивана Ильича близки не только внешне, но и внутренне. Герасим понимает, что и он должен будет умереть, и потому правильнее всех других оценивает болезнь Ивана Ильича. В Герасиме живо природное начало, которое направляет его; поэтому его фигура оттеняет фальшь всех других, но духовного просветления в нем нет.

Иван Ильич понял, что живет один, что самое существенное происходит в одиночку. Жизнь, отраженная в сознании других, это фикция, мираж, фальшь. Никому, кроме бога, который в его душе, нет до него дела. Он пересмотрел всю свою жизнь и ничего светлого в ней не нашел. Оказалось, что эта легкая и приятная жизнь тяжела и неприятна. Перед лицом смерти она оказалась ненужной.

После разоблачения тщеты и ничтожности былой жизни начинается умирание. И по мере того как все хуже становится Ивану Ильичу, тем ясней становится его прозрение. Отрицая все свое прошлое, он утверждает себя в боге. И когда он окончательно отрешился от своей былой жизни, наступило последнее прозрение, возникнул свет. Этот белый свет ничего не имеет, все исключает. Это не добро, а развязка с этой жизнью. Отрицательное начало торжествует.

* Теодор Липпс (1851—1914) — немецкий философ и эстетик психологического направления. (Примеч. ред.).

«ХОЗЯИН И РАБОТНИК»

Здесь герой — не слабый человек, не барин, совершенно потерявшийся во лжи внешнего отображения, как Иван Ильич. Брехунов — купец, вышедший из крестьян, практический, трезвый человек, кулак, извлекающий из всего выгоды. Укорененность его потребностей, его здравомыслие близки Толстому. Но все же жизнь Брехунова отринута им, потому что тот чувствует себя все-таки довольным хозяином, несолидарным с работником. Настоящая, истинная пара: хозяин — бог, человек — работник.

Перед лицом смерти все обычное смелось со своих мест, и душа установилась в мире новых ценностей. Вседовольство жизнью, кулачество Брехунова, его эгоизм в последний миг отошли, и он вступил на истинный путь.

Критики считают переход, происшедший в душе Брехунова, неподготовленным. Мы считаем, что он подготовлен, но не психологически, а символически. Метель — это символ жизни с ее случайностями и блужданиями. И только перед лицом смерти к Брехунову пришло просветление: он почувствовал себя работником.

«КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА»

Основная тема этого произведения — семейная жизнь и ее развенчание. Брак — трудное и ужасное дело, но никто этого не хочет понять. В прежних произведениях Толстого — брак явление положительное и дается в качестве благожелательного конца. Жизнь людей, не сумевших вступить в брак, остается незавершенной. В браке осуществляется жизнь «для себя». Там жены как другого нет: винить ее в чем бы то ни было значит винить самого себя.

В «Крейцеровой сонате» Толстой пытается доказать, что высшая ценность жизни — воздержание от брака: нравственное усовершенствование человека не связано с деторождением. В идеальной матери он разоблачил Софью Андреевну, считая, что продолжение себя в детях и внуках — это случайное дело, которое не поможет найти себя. Вообще Толстой считал, что половой сфере отводится слишком большое место. Дурной чувственностью, похотью, в сущности, мотивируются все явления обычной жизни. В этом он обвинял и искусство. Пластику он ненавидел, как особого возбудителя чувственности, и считал ее преступлением. В этом смысле Толстой сближается с Отто Вейнингером, который в своей книге «Пол и характер» старался доказать, что поло-

вое влечение — основной двигатель культуры. Эта книга написана весьма остроумно и талантливо, но научной критики не выдерживает.

Рядом с рассуждениями о половой проблеме в «Крейцеровой сонате» изображается жизнь человека. И если рассуждения Познышева односторонни, неубедительны и прозаичны, то те страницы, где изображены его отношения с женой и рост ненависти к ней, поразительно художественны, гениальны.

Большая роль в «Крейцеровой сонате» отдана заглавию. Во-первых, оно отмечает фабульный момент: Познышев считает, что исполнение сонаты сблизило его жену со скрипачом. Во-вторых, оно раскрывает внутренний смысл повести: музыка ставит человека в ложное положение, и потому она вредна. В контексте души Бетховена «Крейцера соната» — это одно, для всех остальных — другое. Люди под влиянием музыки, одержимые чужим сознанием, им несвойственным, вышли из обычной, нормальной для них колеи и совершили два преступления: прелюбодеяние и убийство.

«Крейцера соната» — одно из самых взволнованных и страстных произведений Бетховена. И там, где ждали от прозаического произведения, так озаглавленного, поэтических глубин, оказалось преступление.

«ВОСКРЕСЕНИЕ»

Главный герой «Воскресения» Нехлюдов автобиографическая фигура и появляется не впервой. Но здесь в изображении Нехлюдова сказывается и результат объективного наблюдения: он совсем иным путем приходит к тем выводам, к которым пришел Толстой. Нехлюдов переживает индивидуальную трагедию: он связан с Катюшей Масловой. Толстой же в аналогичной ситуации меньше всего думал бы о Катюше. В тот момент, когда он понял бы неправоту своей жизни, он делал бы все не ради Катюши, а ради правды, ради бога. Нехлюдов все строит на своих отношениях к Катюше, думает лишь о том, как исправить то зло, которое он ей причинил. И только из любви к Нехлюдову Катюша освобождает его от всяких обязанностей по отношению к ней. В тот момент, когда Нехлюдов почувствовал себя освобожденным, он понял, что все, что случилось с ним, помогло ему найти истинный путь. Он увидел, что все дело не в Катюше, а в том, что он каждым шагом своей жизни способствовал злу. Одна задача и одна вина у человека: перед собой и перед богом, а не перед реальной Катюшей.

Амплитуда романа чрезвычайно широка. Это светское общество, тюрьма, суд, церковь и т. д. Все стороны культурной жизни освещены отрицательно.

«ВЛАСТЬ ТЬМЫ»

Приемы построения этой драмы своеобразны: все действующие лица по-разному воплощают идею власти тьмы. Все, что не относится к этой идее, отбрасывается, поэтому все персонажи нереалистичны, почти символы. В средневековых моралите изображаемые фигуры олицетворяли нравственные понятия и потому были символически; но постепенно они выродились в аллегории, ярлыки. У Толстого благодаря его художественной гениальности символические образы страсти и греха становятся живыми людьми. Все во «Власти тьмы» от начала до конца символизируется под определенную идею, но художественное достоинство драмы от этого не снижается.

Никита. У него нет морального рефлекса, нравственная воля, выбирающая между добром и злом, отсутствует. Он ведет себя так, как диктуют ему другие, и потому преступление его носит пассивный характер. Он виновен в том, что поддался дурному влиянию. Никита знал, что готовится убийство Петра, но не пресекал преступление, следовательно, хотя и бессознательно, одобрял его. Его вина в том, что тьме он дает власть над собой.

Когда Никита занимает место Петра и становится хозяином, он начинает сожалеть о происшедшем. Но, совершив грех раз, он легко поддается новым грехам. Первый грех ослабил его, и он снова подчиняется злу, хотя сам не зл: принимает участие в новом преступлении — убийстве ребенка. Но убийство ребенка dokonало его, и совесть его проснулась. Пока человек верит своей совести, он на правильном пути, чист и добр. Но как только он позволит управлять собой другим, начинается самое страшное. Когда Никита освободился от власти других, он понял, что победил.

Аким. Он по художественному замыслу Толстого представляет человеческую совесть, для которой внешний мир не существует. Он считает, что нужно жить по-божьи. А бог для него, как и для Толстого, это господство совести. Религия, церковь, обряды не имеют для него значения. Для того чтобы жить по-божьи, следуя своей совести, нужно научиться не считаться с мнением других людей. Но, если я чувствую, что поступаю хорошо и встречаю одобрение других, это меня губит. Поэтому нужно быть нелепым, юродивым. В таком случае сознание других не сможет замутнить

совесть, ибо добро показано в таких внешних формах, которые для других неприемлемы. Аким бежен, лицо у него незначительное, промысел почти позорный (он занимается очищением всевозможных ям), говорит одними междометиями. Так что торжество чистой совести воплощено в неадекватный образ. И такой представитель доброго начала не только ориентируется во внешней жизни, но становится деятелем: он научил Никиту не бояться людей. Тьма кроется не в прелюбодеянии, а в боязни мнения других людей. При этом нельзя ориентироваться на то, что будет, что произойдет в конечной цели: оценка поступков должна происходить в полном отступлении от конечных результатов.

Матрена. Для нее нравственных правил не существует, для нее все позволено. Суть ее характера выражает ее язык: это большой и богатый язык народной мудрости. Говорит она, как Каратаев, пословицами, поговорками, прибаутками, народными изречениями. Но теперь коллективное начало в языке Толстой оценивает отрицательно. Общий, коллективный взгляд на вещи выражает лишь попытка к житейскому устройству, тогда как совесть всегда индивидуальна. В Матрене выражен обычный житейский взгляд на вещи, который знает лишь одну ценность — практический успех. Общий взгляд и есть центральный носитель тьмы. Зло существует где-то, объективно, но Матрене наиболее подходящий медиум, проводник зла.

Петро. Главное значение этого персонажа фабулическое, но небольшое идейное задание выполняет и он. Петр занимает среднее место между двумя мирами: миром Акима и миром Матрены. С одной стороны, он очень ценит внешнее положение, гордится своим богатством, но вместе с тем перед смертью начинает чувствовать притяжение другого начала. Он денег не забывает до конца, но прощает всех и благолепно, спокойно расстается с жизнью. Смерть принесла просветление. Тема смерти занимает большое место в позднем творчестве Толстого. Смерть является пробным камнем всей жизни человека: жить плохо еще можно, но умереть плохо совсем не годится.

Митрич. Он пьяница, нравственной воли у него нет. Поэтому устроить свою жизнь, сыграть определенную роль он не может. Хотя он понимает совершившийся грех, судит обо всем правильно, но принять участие в происходящем, даже осудить до конца он не в состоянии.

Анисья. Она похожа на Матрену. Ею тоже владеет мирская сила, и она также умеет устраиваться на пользу себе. Но Анисья лишена инициативы и ума Матрены.

Акулина. Ее положение интереснее и сложнее, чем положение Анисьи. Сначала она участвует в делах Никиты, в особенности в последнем преступлении — убийстве ребенка. Но в конце она признает себя главной виновницей. В признании ею руководит не желание спасти свою совесть, что было главным для Никиты, а желание спасти его. Акулиной руководит не совесть, а женский героизм любви.

Маринка. Это забитая, но добрая девка. Ее образ имеет главным образом фабулическое значение.

«ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ»

Здесь представлены два мира, которые все время переплетаются: мир господ и мир крестьян. Сюжетное единство пьесе придают горничная и дворовый.

Идейный замысел пьесы — разоблачение просвещения. Просвещение, оторванное от жизни, оторванное от нравственных корней, становится злом, пустой светской забавой. Оно создает пустой, фиктивный мир, в котором живут господа. Их всех объединяет занятие спиритизмом, представленным как высшее достижение науки. И оказывается, что наука, отрешенная от реальной почвы и реальных целей, не дает критерия для нужного и ненужного. Такое понимание науки носит явно карикатурный характер: слишком подчеркнута ее ненужность, интерес к ней как проявление праздности.

Господам, живущим в мире фикций, противопоставляется реальный мир крестьян, которые знают, что хотят и что делают. Крестьяне в своих действиях руководствуются насущной необходимостью. Они поставлены в такие условия, что должны заниматься самым необходимым; в противном случае они умрут с голоду. Отсюда в их жизни нет ничего фиктивного и лишнего; она серьезна и значительна.

Мир городской прислуги занимает среднее место между этими двумя мирами. С одной стороны, они еще не вполне отделились от мира крестьянских нужд, с другой — уже вошли в фиктивный мир города.

«ХАДЖИ-МУРАТ»

Это одно из самых законченных посмертных произведений* Толстого. Характер героя очень удачно выражен в образе цветка. Этот образ, сопротивляющийся жизни, является эмоциональным ступком всей темы. В основе — противопоставление двух миров: мира горцев, к которому принадлежит сам Хаджи-Мурат, культурному, преимущественно политическому миру русских. Эта тема в значительной степени близка раннему творчеству Толстого, его кавказским и севастопольским рассказам. Хаджи-Мурат напоминает дядю Ерощку. Он так же воинствен, жесток, целен, мудр, как природа. И культурный мир по сравнению с органической, природной жизнью горцев оказывается суетой и вздором.

Так что в этом произведении новое, более углубленное возрождение старых тем.

«АЛЕША ГОРШОК»

По художественному совершенству — это самое замечательное произведение Толстого. На нескольких страницах изображена жизнь мальчика Алеши: как он родился, вырос, сделался дворником и умер. Внешне его образ ничем не замечателен и не привлекателен: он и физически слаб и жалок, и духовно почти идиот. Алеша юродивый, но он не сознательно юродствует; это просто нищий духом человек. Но он дорог Толстому своей внутренней, практической ориентировкой: Алеша знает, что ему нужно делать. А деланье это сосредоточено на послушании, на служении всем. Он и умирает без страха, потому что знает, что как он здесь делал то, что приказывал хозяин, так и там будет делать то, что ему прикажут. Для Алеши смерти нет, есть лишь переход от одного хозяина к другому.

* «Хаджи-Мурат» впервые опубликован в 1912 году. (Примеч. ред.)



М. Н. Толстая. 1911 г.
Телятинки.
Фотография В. Г. Черткова.

«Единственная сестра» — рассказ о Марии Николаевне Толстой, написанный по семейным преданиям внуком Толстого Сергеем Михайловичем Толстым, проживающим в Париже.

В сентябре 1978 года Сергей Михайлович приезжал в Москву, чтобы принять участие в юбилейных торжествах в честь 150-летия своего великого деда.

С. М. Толстой возглавляет во Франции «Общество друзей Толстого», почетным председателем которого является президент Франции Валери Жискар д'Эстен. «Обществом друзей Толстого» было организовано во Франции празднование 150-летия писателя; в международном симпозиуме «Л. Толстой и наша современность», входившем в программу праздника, приняла участие группа советских ученых; в торжественной обстановке состоялось открытие мемориальной доски на доме, где помещался отель «Мёрис» (улица Риволи), — здесь жил Толстой

в 1857 году, о чем рассказал в своей речи на открытии С. М. Толстой.

По профессии врач, Сергей Михайлович в то же время верен семейной литературной традиции. Он известен как автор и переводчик нескольких книг. Им была задумана и осуществлена интересная работа о роде Толстых.

«Семейная хроника» — так называется эта книга; каждая из ее глав представляет собой литературный портрет кого-либо из предков, родных и близких Л. Н. Толстого, начиная с основателя рода графа Петра Андреевича Толстого, сподвижника Петра I. Завершает книгу глава о Льве Николаевиче Толстом. «Семейная хроника», написанная в подлиннике по-французски, в ближайшее время будет выпущена в свет одним из французских издательств.

Мария Николаевна, младшая из детей Толстых, пережила своих четырех братьев. Она умерла двумя годами позже Льва в монастыре, где обрела наконец покой после долгой и бурной жизни.

Она интересна нам не только как сестра Льва Толстого.

Родившись при крепостном праве, она умерла за два года до первой мировой войны;



М. Н. Толстая.
1860-е гг. Алжир.

есть еще люди, помнящие ее, — она жила во времена, сравнительно недавние, но навеки ушедшие. Личность Марии Николаевны позволит нам вновь погрузиться в мир толстовской семьи, установить те привязанности, которые существовали в этой семье, проследить, как относились братья Марии к испытаниям, выпавшим на ее долю в семейной жизни и во время связи со шведским дворянином, отцом ее внебрачной дочери.

Мария Николаевна рано осиротела, ее воспитывали тетки, очень баловавшие девочку, прежде всего милейшая тетенька Туанетта, обожавшая ее так же, как и братья, которые исполняли все ее прихоти и заботились о ней. После смерти отца ее увезли в Казань, к тетеньке Полине. Там ее отдали в пансион для благородных девиц, где она училась

французскому, хорошим манерам, танцам и музыке, то есть всему, что считалось в ту пору необходимым и достаточным для жены дворянина. Живая, веселая, умная, с прекрасными черными глазами, «с таким неопределимо приятным выражением важности и наивности, что они не могут не остановить внимания», Мария Николаевна послужила прототипом Любочки в «Отрочестве».

Мария не была красавицей, но обладала большим обаянием. Едва она вышла из пансиона, как ее троюродный брат Валериан Толстой, человек много ее старше, соблазнившись свежей прелестью шестнадцатилетней девушки, попросил ее руки. Тетки не возражали — напротив, они по разным причинам были в восторге от этого брака. Тетенька Полина, опекушка Марии Николаевны, не прочь была снять с себя ответственность за сироту, а тетенька Туанетта верила, что племянница будет счастлива в браке, и радовалась, что она останется в кругу семьи. Ведь Валериан приходился племянником знаменитому Толстому-Американцу и самой тетеньке Туанетте, он был сыном ее нежно любимой сестры Елизаветы.

Брак, однако, оказался неудачным. В 1847 году после свадьбы супруги поселились в Покровском, прекрасном имении, принадлежавшем Валериану, оно находилось в 80 верстах от Ясной Поляны и в 20 верстах от Спасского, имения Ивана Тургенева. Совсем юная, наивная, неискушенная, Мария в начале супружеской жизни не догадывалась об истинном характере своего мужа. В первые четыре года у нее родилось четверо детей: Петр, Варвара, Николай и Елизавета. Валериан часто отлучался из дому: ездил то по делам (вплоть до самой Сибири), то на охоту, которой страстно увлекался, а то жил, и временами подолгу, у крепостной крестьянки, родившей ему несколько детей, с которой он не порвал и после брака. По возвращении домой он вел себя как жестокий и требовательный деспот, держал в страхе жену, детей и многочисленную челядь. Свекрови Марии, нежно к ней привязанной, некоторое время удавалось скрывать от молодой женщины горькую правду. В 1852 году Мария Николаевна родила четвертого ребенка и после этого стала вести жизнь, если не более счастливую, то более приятную. Теперь она могла оставить детей на попечение нянюшек и пользоваться некоторой свободой. Живая и веселая, она была душой вечеров в Покровском, куда съезжались окрестные помещики и ее братья. Братья часто навещали ее, она столь же часто навещала их, как в деревне, так и в Москве. Они много музицировали; прекрасная пиани-

стка, Мария часами играла Шопена, Моцарта, Бетховена на великолепном рояле, подаренном ей братом Львом. В Москве она никогда не пропускала музыкальных вечеров, вдохновителем которых был знаменитый Николай Рубинштейн. На эти вечера Мария приходила в сопровождении братьев или одной из своих подруг — мадемуазель Чихачевой. Она всегда была желанной гостьей, тем более что вслед за ней неизменно появлялся уже известный в то время брат Лев, за которым охотились все матери, имевшие дочерей на выданье. Многие девушки, в том числе мадемуазель Киреева и Чичерина, были в него влюблены. В своих воспоминаниях мадемуазель Чихачева описывает, как вел себя Лев на концерте: «Он изъяснял удовольствие, поднимая глаза к небесам, прижимая руки к сердцу, а в минуты наибольшего восторга даже осенял себя крестным знамением».

24 октября 1854 года Мария познакомилась со своим соседом по имению Тургеневым. Валериан, такой же страстный охотник, как и Тургенев, счел долгом вежливости нанести писателю визит. Дело происходило в разгар охотничьего сезона. Тургенев, в ту пору самый известный писатель России, читал «Детство» и захотел познакомиться с родственниками молодого писателя, с которым он никогда не встречался, но чей талант произвел на него такое сильное впечатление; он нанес ответный визит Толстым. Тургенев был тогда очень хорош собой, бесконечно обаятелен... Молодые люди буквально рвали его романы друг у друга из рук, узнавали себя в его героях, ночами обсуждали его произведения, отражавшие дух эпохи, нашедший несколько лет спустя конкретное воплощение в реформах Александра Второго. Тургенев даже предвосхитил реформу 1861 года, отменившую крепостничество, и освободил своих крестьян еще до реформы. Образованный, свободно говорящий на четырех-пяти языках, подолгу живший за границей, Тургенев был убежденным либералом: в какой-то мере наверняка в противовес своей матери, чудовищной Варваре Петровне, чье суровое и даже жестокое обращение с крепостными было известно всем в Орловской губернии.

Легко представить себе, какое впечатление произвел такой человек на молодую двадцатидвухлетнюю женщину, уже пять лет фактически заточенную в деревне. Тургенев, как известно, быстро воспламенялся, он ухаживал за многими женщинами, однако ни с одной из них никак не хотел себя связывать. Это мешали его отношения с прославленной Полиной Виардо. Так он разбил множество слишком доверчивых сердец: некая маде-

муазель Сабурова от любви к нему даже потеряла рассудок — эта драма легла в основу романа Тургенева «Ася».

Правда, в ту пору, когда Тургенев познакомился с Марией, он был на «повороте жизни», несомненно и то, что чувство к Марии было сильнее его обычных увлечений. Как знать? Будь Мария свободна, Толстой и Тургенев, возможно, породнились бы...

Через несколько дней после первого визита в Покровское Тургенев написал своему другу Некрасову: «Жена графа Толстого, сестра автора «Отрочества» — премилая женщина — умна, добра и очень привлекательна... Жаль, что отсюда до них около 25 верст. Она мне очень нравится...» Двумя днями позже он пишет Анненкову: «...сестра его одно из привлекательнейших существ, какие мне только удавалось встретить! Мила, умна, проста, — глаз бы не отвел, — и продолжает: — на старости лет (мне четвертого дня стукнуло 36 лет) — я едва ли не влюбился. Я вижу отсюда, как у вас круглятся глаза и губы, раскрывшись, испускают звук: кгха, кгха — что по-вашему значит смеяться, но не могу скрыть, что поражен я в самое сердце. Давно не встречал столько грации, такого трогательного обаяния... Останавливаюсь, чтобы не завратиться — и прошу Вас хранить

Дети М. Н. Толстой: Варя, Коля и Лиза. 1860 г.



все это в тайне». Далее Тургенев выражает желание увидеть ее снова в Москве и в Р. С. добавляет: «Вы подумаете: эка влюбчив, старый черт! Что делать? Чувствительным сердцем наделен от природы, Павел Васильевич! Но повторяю усиленную просьбу о содержании всей этой операции хранить в тайне». И добавляет: «В «Отрочестве» Толстой описал свою сестру под именем Любочки... Только у ней теперь ноги «не гусем», и талия прекрасная».

Тургенев и супруги Толстые постоянно встречались, между ними установились близкие отношения. Мужчины охотились вместе, и с охоты Валериан часто возвращался с Тургеневым. Иван Сергеевич оказался очень прост и приятен в общении. Он тетешкал четырехлетнюю Варвару и, если вечер не проходил в разговорах и чтении, играл в бирюльки с Марией Николаевной, раскладывал с ней пасьянсы... Тургенев любил читать вслух, и, по словам Марии, читал великолепно, «просто... как бы толкую», свои произведения и произведения других писателей. Они много музицировали, и Тургенев, большой знаток, был так восхищен игрой Марии, что даже написал об ее таланте Полине Виардо.

Тургенев, бесспорно, один из лучших русских стилистов, написал мало стихов в собственном смысле этого слова, но в душе он был поэтом. Его «Стихотворения в прозе» — подлинные шедевры. Мария меж тем стихов не любила, они казались ей «выдуманными» и не трогали ее. Желая привить Марии любовь к поэзии, Тургенев сердился, декламировал... кричал, умолял, обращая внимание Марии на красоты стиха, но так и не смог ее переубедить. В один из таких вечеров они поссорились, и Тургенев уехал не простившись! Прежде он посещал Толстых чуть не каждый день, после этого целых две недели не показывался в Покровском... За эти две недели он написал повесть «Фауст», посвятил ее Марии) потом, не выдержав разлуки, приехал и прочел ей повесть в глубине парка, в беседке, где они всегда встречались. Там же он несколько позже прочел ей «Евгения Онегина». В основу сюжета «Фауста» легли отношения автора с прелестной соседкой.

Тургенев, несомненно, был искренне увлечен Марией. Разговаривая о ней с соседями, он сказал: «Если взглянешь на нее хоть раз, теряешь рассудок и падаешь на землю, как скошенный стебель».

Тургенев часто уезжал за границу и оттуда писал Марии многочисленные письма; не меньше двадцати из них сохранилось. Это письма человека разочарованного и смири-

шегося, свидетельствующие о неудавшейся личной жизни. В письме от 25 декабря 1856 года, посланном из Парижа, Тургенев пишет, что рад был узнать, что она выздоровела, сообщает, что надеется летом увидеться с ней и ее братьями, Львом и Николаем, в России, пишет, как он счастлив тем, что ей понравился «Фауст», признает справедливость ее замечаний о «двойном человеке в нем». «Только Вы, может быть, не знаете причины этой двойственности. Я буду с Вами тоже откровенен. Видите ли, мне было горько стареться, не изведав полного счастья и не свив себе покойного гнезда. Душа во мне была еще молода и рвалась, и тосковала». Далее он с горечью пишет, что ему не удалось устроить свою жизнь правильно и благоразумно. «Когда Вы меня знали, я еще мечтал о счастье, не хотел расстаться с надеждой; теперь я окончательно махнул на все это рукой... К чему вздувать пепел? Огня все-таки не добудешь... «Фауст» был написан на переломе, на повороте жизни — вся душа вспыхнула последним огнем... Это не повторится». В длинном дружеском письме, написанном 4 июля 1857 года из Германии, он пишет, что надеется скоро ее увидеть и «мысль об этом свидании доставляет мне большое удовольствие». Заканчивается письмо словами: «Не извольте сомневаться в этом и знайте, что я искренне и крепко к Вам привязан».

Искренность этих грустных, разочарованных писем подтверждает следующий факт: 23 июля 1857 года, когда Тургенев лечился в Баден-Бадене с Львом Толстым, который, к слову сказать, проводил больше времени в казино, чем у источников, Толстой получил письмо из России, по всей вероятности, от Николая; в письме сообщалось, что Мария рассталась с мужем, у которого в ту пору было четыре любовницы. Одна из них в порыве ревности принесла Марии письмо, адресованное другой даме; в этом письме муж Марии строил планы на случай своего возможного вдовства... Это Мария не смогла снести, она забрала детей и уехала в Москву к Николаю. Она сказала, что не желает больше быть «старшей султаншей в гареме своего мужа».

И тут Тургенев, до этого намеревавшийся в августе 1857 года вернуться в Россию, уезжает в Булонь лечить болезнь мочевого пузыря модной тогда электротерапией. Оттуда он вместе со своим другом Воткинским отправляется в Рим; из Рима в ноябре 1857 года он пишет письмо Льву Толстому, в котором объясняет, почему он изменил свои планы. Он страшится суровой русской зимы, писал он, и собирается провести это время под более

благоклонным небом Италии. Позволительно усомниться и спросить себя, не вызвано ли столь внезапное изменение маршрута недавним разрывом Марии и Валериана. Тургенев, наверное, боялся, что ему придется часто видеться с Марией, утешать ее — и бог знает, как это может осложнить его жизнь... Зная ее пылкий нрав, он не хотел вновь будить те чувства, на которые уже не мог ответить, потому что у него страстное увлечение прежних лет сменилось тихой дружбой.

Лев по возвращении из-за границы поселяется в Москве вместе с сестрой и ее детьми. В первые недели между ними нередки столкновения — слишком несхожи их взгляды на жизнь, их характеры, но взаимная привязанность побуждает их идти на уступки. «Так что когда мы вместе, — пишет Толстой Тургеневу, — нам хочется улыбаться, чувствуется что-то приятное, невысказанное между нами. И это невысказанное есть благодарность друг к другу и то, что любим друг друга больше, чем ожидаем». В ответ Тургенев пишет: «С Вашей сестрой жить легко — но Вы не умеете жить легко. Вы хотите во всем полноту и ясность... Вы беспрестанно щупаете пульс своим отношениям с людьми и собственным ощущениям — все это мешает гладкому и легкому течению дня».

В июне 1858 года Тургенев возвратился в Россию и навестил Марию в Пирогове; она жила там в домике, который построила себе неподалеку от имения брата Сергея. В длинном письме к Полине Виардо Тургенев подробно рассказывает об этом визите: «Я провел три очень приятных дня у своих друзей: двух братьев и сестры, прекрасной и очень несчастной женщины. Она вынуждена была разойтись со своим мужем, своего рода деревенским Генрихом VIII, преотвратительным».

Эта встреча, во время которой много муцировали, оставила у Тургенева самые приятные воспоминания. Толстой же оценил ее совершенно иначе. Несколькими днями позже он записал в дневнике: «Тургенев скверно поступает с Машенькой. Дрянь». Что произошло? Возможно, что предупредительность, внимание Тургенева, комплименты Марии и, в частности, ее игре, чрезвычайно лестная надпись на подаренном ей экземпляре недавно вышедших «Сказок», его галантность (не исключено, что именно в этот день он поцеловал оброненный Марией платок) — все это волновало молодую женщину и крайне раздражало Льва; он думал, что речь идет всего-навсего об интрижке. Как и полагается брату, он оберегал сестру. Николай после первых же встреч с Тургеневым писал Льву:

«Мария в восхищении от Тургенева... но Маша плохо знает свет, и она может очень ошибаться насчет такого умного человека, как Тургенев».

Примерно через год, в 1859 году, приехав в Санкт-Петербург, Лев навещает Тургенева и имеет с ним объяснение, во время которого выражает свое неудовольствие его поведением с Марией; они снова ссорятся. Тургенев уезжает в Спасское и по дороге останавливается в Ясной Поляне, чтобы повидаться с Марией наедине. О чем они говорили? Дал ли он ей понять, что «роман» окончен? В утливом — и только — письме, написанном вскоре после этой встречи, он говорит лишь о своих произведениях, о своей дружбе с Николаем и о своей полной несовместимости со Львом. «Я люблю все, чего не любит он и наоборот: мы созданы совершенно антиподами». Через несколько дней он пишет Боткину: «...С Толстым покончил все свои счеты, как человек он для меня больше не существует».

Тем не менее напрашивается предположение, что во все усиливающемся ухудшении отношений между двумя писателями вскоре после Тургенева с Марией сыграл куда большую роль, чем эта чуть ли не «физиологическая несовместимость». Литературное соперничество тут, очевидно, ни при чем — оба писателя восхищались творчеством друг друга. Тургенев одним из первых признал талант своего молодого собрата и способствовал его известности за границей. Толстой посвятил один из своих первых рассказов Тургеневу; он говорил, что язык Тургенева так прекрасен, что после него трудно писать. Хотя характеры у них были совершенно несхожие, их тянуло друг к другу, однако стоило им сойтись, как их с такой же силой отталкивало друг от друга: страстные и нередко парадоксальные взгляды одного и либерализм другого были несовместимы.

Почти через два года, в мае 1861 года, несмотря на те не слишком лестные суждения, которые они высказывали друг о друге, Тургенев по возвращении в Россию пригласил к себе Толстого; прекрасным весенним днем они отправились в карете Тургенева к их общему другу Фету. Фет вышел на крыльцо встречать их. Все, казалось, предвещало мирную встречу, но на следующий же день, за завтраком, разразилась бурная ссора. Раздраженный постоянными придирками Толстого, Тургенев вышел из себя и крикнул: «Замолчите, не то я дам вам в рожу».

Два письма с извинениями, отправленные одно вслед за другим, едва предотвратили «смертельную» дуэль, на которой настаивал Толстой. Разрыв длился 17 лет, писатели по-

мирились лишь в 1848 году, после трогательного письма Толстого: «Иван Сергеевич! В последнее время, вспоминая о моих с вами отношениях, я, к удивлению своему и радости, почувствовал, что я к вам никакой вражды не имею. Дай бог, чтобы в вас было то же самое. По правде сказать, зная, как вы добры, я почти уверен, что ваше враждебное чувство ко мне прошло еще прежде моего.

Если так, то, пожалуйста, подадимте друг другу руку и, пожалуйста, совсем до конца простите мне все, чем я был виноват перед вами. Мне так естественно помнить о вас только одно хорошее, потому что этого хорошего было так много в отношении меня. Я помню, что вам я обязан своей литературной известностью, и помню, как вы любили и мое писание и меня. Может быть, и вы найдете такие же воспоминания обо мне, потому что было время, когда я искренно любил вас. Искренно, если вы можете простить меня, предлагаю вам всю ту дружбу, на которую я способен. В наши годы есть одно только благо — любовные отношения с людьми. И я буду очень рад, если между нами они установятся.

Гр. Л. Толстой».

Тургенев тут же ответил на письмо и в августе 1848 года приехал в Ясную Поляну, где очаровал всех. Уже смертельно больной, в июне 1883 года он написал Толстому известное письмо, в котором пишет, как рад он был быть современником Толстого, и умоляет «великого писателя земли русской...» вернуться к литературной деятельности.

Мария Николаевна некоторое время жила на Гиерских островах, где при ней умер брат Николай. После этого она долго не возвращалась в Россию. Жестоко оскорбленная Валерианом, обманутая Тургеневым, она искала забвения в путешествиях. Она переезжала из Марселя в Париж, из Франкфурта в Веве, в надежде, что перемена обстановки вернет ей спокойствие и здоровье. Ей чудилось, что у нее начался туберкулез, ее мучили всевозможные недомогания: то у нее болели руки, то голова, она выискивала у себя симптомы все новых болезней. На самом же деле жизнь доказала, что она обладала завидным здоровьем, а болезни, одолевавшие молодую еще женщину (ей в ту пору было слегка за тридцать), носили психосоматический характер, она чувствовала себя одинокой, несчастной, и ей казалось, что лечение на водах в Эксле-Бен принесет ей облегчение. Там же, в Эксле-Бен, она познакомилась с прекрасным шведом, виконтом Гектором де Кленом, которого полюбила; связь их длилась несколько лет. Здоровье ее улучшилось, она была счастлива.

Клен ее обожал, вдобавок, он был хорош с детьми. Зимы они провели в Алжире, этот солнечный край так очаровал северян, что они ездили туда три года подряд. Во время последней поездки в Алжир Мария поняла, что она беременна — 20 сентября 1863 года она родила в Женеве дочь Елену.

Братья Марии знали о ее связи со шведом; в июле 1862 года, когда она приезжала поведаться в ними в Ясную Поляну, она поделилась с ними своей тайной. На следующее лето Сергей навестил любовников в Бексе и по возвращении из Швейцарии долго обсуждал планы сестры со Львом. Мария надеялась устроить свою жизнь с Кленом, тем более что недавняя реформа Александра Второго разрешила развод. Заметим, что Россия тогда была одной из немногих стран в Европе, где был официально разрешен развод.

Мария написала тетеньке Туанетте о рождении ребенка. Известие это было как удар грома среди ясного неба... Его хранили в строгой тайне. Лев был потрясен. Горестное душевное состояние Марии вдобавок ко всему еще усугубляли долги — она задолжала 4000 франков и не могла уехать из пансиона, где жила со своими детьми. Как она дошла до такой жизни? Неужели швед не мог ей помочь? В октябре 1863 года Лев писал сестре: «Милый, милый, тысячу раз дорогой друг мой Машенька. Рассказать тебе, что я чувствовал, читая твое письмо, я не могу: я плакал и теперь плачу, когда пишу. Ты говоришь: пусть братья мои судят, как хотят. Кроме любви к тебе... и жалости ничего нет и не будет в моем сердце. Упрекнуть тебя не поднимется рука ни у одного честного человека... Теперь что делать? Первое — выдти за него замуж, второе — ребенка ни в коем случае не брать себе, а отдать его мне. Третье — важнее всего — скрыть от детей и от света... Я, может быть, приеду сам и привезу деньги, может быть, Сережа... Дело не за мной, а за деньгами, которые рублей 1000 — я надеюсь собрать в неделю. Одно знай, что судить тебя я и тетинька (*тетя Туанетта*) не будем и сделаем для тебя все, что можно, сделаем».

Через несколько месяцев, в январе 1864 года, братья встретились с Валерианом Толстым; тот признал свою вину перед женой и составил прошение о разводе. После чего Лев поехал к архиепископу, и тот быстро решил дело в пользу Марии. Лев предлагал также договориться с Валерианом о размере месячного содержания, которое тот обязан выплачивать жене и детям.

В трогательных письмах Мария благодарила близких за их любовь и заботу. Своей

любимой тетке Туанетте она писала по-французски 9 февраля 1864 года: «Благодарю Вас за письмо: оно меня очень обрадовало. Но знали бы Вы, как тяжело у меня на сердце... теперь Вам известно все обо мне, и у меня упал груз с души. Почему Вы говорите, дорогая тетенька, что мы никогда более не увидимся? Надо надеяться, что мы — так или иначе — скоро увидимся и, возможно, гораздо скорее, чем Вы думаете; когда я счастлива, мне хочется, чтобы Вы все делили со мной мою радость; когда я несчастна, — я понимаю, что только в России, подле моих близких, я могу забыть все, что мне пришлось перенести! Надо вручить себя Господу — Он устроит мою судьбу, и если на то будет Воля Его, Он всех нас соединит, Он даст мне силы вынести это новое испытание, возможно, еще более тяжкое, чем все остальные. Передайте Льву, что я получила прощение*. Я его еще не подписала — мне боязно! Я должна подумать. Сообщите Льву о том, что пишет граф В. (ее муж), и судите сами. Он мне пишет, что развод очень повредит его положению и доставит ему много неприятностей и т. д. Возможно, он преувеличивает, но я знаю, как он самолюбив, и понимаю, что ему будет нелегко. Имею ли я право так поступать? Мне кажется — да, для меня это очевидно, но суждение мое, наверное, пристрастно: ведь он принес мне столько страданий...» В письме Сергею, написанном в тот же день, она умоляет его приехать за ней. Ей не хочется отрывать его от цыганки Маши, которая должна вот-вот родить, но без него она никак не может решить очень важные вопросы касательно ее развода, судьбы ее дочери Елены, к тому же ей необходимо узнать, как он отнесется к ее возможному браку с Кленом: «Если можешь, Сергей, сделай для меня эту жертву. Помнишь, прошлый год ты мне говорил в Бексе: «Как можно оставить тебя одну за границей — вдруг с тобой что-нибудь случится, что мы тогда будем делать?» Сейчас именно такой крайний случай, и я чувствую, что мне требуется присутствие одного из вас: судьба моя решается, мне страшно, но в конце концов все в руках Божьих. Я готова ко всему. Конечно, я хочу быть свободной, но это еще ничего не решит. Он любит меня искренне и глубоко, но у него слабый характер, семья имеет на него очень сильное влияние, и если борьба с ними окажется выше его сил, я пожертвую собой и, чего бы мне это ни стоило, расстанусь с ним».

В следующем письме Мария Николаевна

вновь просила о помощи. Письмо это до нас не дошло, но из ответа Льва, написанного в марте 1864 года, мы узнаем, что Мария Николаевна не только обременена долгами, но вдобавок еще находилась в полной растерянности: она не знала, как поступить с Кленом. Лев написал ей, что он уладит все денежные дела, и обещал в самом скором времени выслать необходимую сумму. Тетенька Туанетт, — писало и, — решительно против *твоего* брака, и теперь он, пожалуй, присоединится к ее мнению. Он обещал уговорить Сергея поехать в Веве, в противном случае он поедет сам. У Льва только что родился его первенец Сергей, жена его ждала второго ребенка, и, помимо всего, он в ту пору самозабвенно редактировал «Войну и мир». Далее Лев писал: «Я так понимаю, что тебе нужно от нас — не материальной, не физической помощи, которую можно передать по почте, но излить душу *своему* человеку, и ты давно уж всего... лишена этого... Ах, Машенька, ради бога, сделай милость, приезжай. Посмотри, та рана, которая кажется тебе такой страшной, так затянется временем и переменой условий жизни, что ты не узнаешь ее. Сережа, ты знаешь, бывает и мнителен и не в духе, но когда дело дойдет до сердца, то он оживает и делается другим человеком. Я уверен, что тебе будет легко и отрадно высказать ему все... Во-первых, сердце его ему укажет верно, во-вторых, со стороны все виднее, в-третьих, у него практического понимания жизни всегда было больше, чем у всех нас».

В другом письме, адресованном старшему брату, Мария писала:

«Вот, Сергей, как обстоят мои дела. Я теперь очень изменилась, веришь ли? Я чувствую некую радость (может быть, радость несколько сильно сказано), во всяком случае, приятное чувство вины перед близкими, у меня теперь нет той гордыни, той нетерпимости, столь свойственной женщинам добродетельным и несчастным, которые чувствуют себя несправедливо обиженными. Да, всем нам так или иначе суждено пасть — для того мы рождены. Но к добру или к злу послужит нам это падение, вот в чем вопрос. Добродетель дается нелегко...»

Сергей смог поехать в Швейцарию лишь в апреле 1864 года. В июне он увез в Россию Марию Николаевну и ее двух детей — сына Николая она оставила в швейцарском пансионе, маленькую Елену, чьим крестным отцом стал Сергей Николаевич и которой он дал свое отчество, поручили кормилице.

Проскальзывавшие в письмах Марии Николаевны намеки о вновь ожидающем ее

* О разводе.



тяжелом испытании по приезде Сергея в Швейцарию в апреле 1864 года прояснились. Гектор и Мария решили расстаться навсегда... Мы мало знаем о Клене; известно только, что он был хорош собой, образован, любил музыку, но был бесхарактерен и беден — он оставил Марию в долгах. Вдобавок он явно находился под сильным влиянием своей семьи, не желавшей его брака с Марией Николаевной — матерью четырех детей, которой к тому же предстоял развод. Клен бросил Марию Николаевну, вернулся в Швецию и вскоре женился.

В 1874 году, через десять лет после разрыва, Мария случайно встретила Клена в Эксе, где он лечил сердце. А через несколько месяцев как-то вечером в Ясной Поляне в самый разгар веселья Мария Николаевна вдруг вскрикнула и сердито спросила, кто ударил ее по спине, чья это глупая шутка. Все удивились: оказалось, никто к ней не подходил... На следующий день пришла телеграмма, извещавшая о смерти Клена! Следом Мария получила письмо от вдовы Гектора, в котором та сообщала о смерти мужа и писала о тех глубоких чувствах, которые он питал к Марии.

Последние пятьдесят лет жизни Марии можно разделить на три периода. Для первого — он длился около пятнадцати лет (приблизительно до ее пятидесятилетия) — характерна возбужденность, нервозность: Мария Николаевна буквально не находила себе места. Второй — он продолжался десять лет — отмечен поисками Бога. И, наконец, третий принес ее душе и телу умиротворение в спокойной и ясной обстановке монастыря.

По возвращении в Россию Мария Николаевна не могла нигде обосноваться. Она переезжала из деревни, где она жила то у одного, то у другого брата, в Москву, из Москвы уезжала за границу. Хотя она была молода (ей исполнилось 34 года), свободна (Валериан умер вскоре после ее возвращения), личная жизнь ее не устроилась. Неизвестно, представлялись ли Марии возможности ее устроить, но, если и представлялись, поневоле встает вопрос: захотела бы она ими воспользоваться, не убоаясь бы новых обманов. Ее дочери, Варвара и Елизавета получали образование в России, сын Николай и маленькая Елена — в швейцарских пансионах. Она переживала кризис, как душевный, так и физический, ее тяготила и мучила необходимость

держат в тайне рождение незаконной дочери. Лев и Сергей, тетенька Туанетта старались окружить ее заботой, внести в ее жизнь теплоту и ласку, но ни их привязанность, ни преданная любовь всей семьи не могли изменить печальных обстоятельств ее жизни...

Мария Николаевна часто уезжала за границу — сначала предлогом для этих поездок служили выезды к сыну в Веце, позже, когда он окончил пансион, — лечение в Эксе. На самом деле она уезжала, чтобы заниматься воспитанием маленькой Елены, которую не осмеливалась привести в Россию.

Шли годы, старшие дочери Марии Николаевны вышли замуж. Елизавета 18 лет от роду, в январе 1871 года, вышла замуж за князя Леонида Оболенского. Мария Николаевна решительно противилась этому браку: она считала, что дочь слишком молода, слаба здоровьем, и требовала отложить свадьбу по меньшей мере на год. Девушка обратилась за помощью к дяде Льву; тот повез ее к знаменитому врачу Захарьину; Захарьин, внимательно обследовав Елизавету, разрешил брак при условии, что она непременно будет жить в деревне. Елизавета в порыве благодарности кинулась на шею дяде, который сказал ей: «Если ты будешь смотреть на замужество как на легкую, свободную и праздничную жизнь, то тебя ждет много огорчений и разочарований. Смотри на нее серьезно, как на большой труд, и тогда все будет хорошо. Жизнь вообще есть труд».

В день свадьбы дочь по обычаю на коленях просила у матери благословения, она просила Марию Николаевну простить ее за то, что выходит замуж против материнской воли. Мать заплакала, поцеловала дочь, но в церковь не поехала.

Через год другая дочь Марии Николаевны, Варвара, вышла замуж за Николая Нагорнова. Ее дядя Лев совершенно неожиданно реагировал на этот брак. Он очень любил Варвару, хорошенькую белокожую брюнетку с вьющимися волосами и живыми, веселыми глазами. Толстой писал о предстоящей свадьбе своей родственнице Александре: «... Варя (*уменьшительное от Варвара*) моя любимица, выходит замуж за Нагорнова, и я в первый раз испытал чувство жестокого отца, какие бывают в комедиях. Хотя в молодом человеке нет ничего дурного, я бы убил его, если б он мне подвернулся на охоте! И я своей мрачностью расстроил их ребяческое, так называемое, счастье; не могу иначе». И злоба, и угрозы — явно шутливые — носили преходящий характер. Впоследствии Нагорнова, точно так же, как и Оболенского, очень полюбили в семье Толстых.

У Нагорнова был брат Ипполит, прекрасный скрипач, воспитанник Парижской консерватории, чей талант высоко ценил Толстой. Елизавета Оболенская в своих воспоминаниях пишет, как не сочеталась фатоватая внешность музыканта с необычайной тонкостью и эмоциональностью его игры. Вполне возможно, что эту его особенность Толстой заимствовал для характеристики героя «Крейцеровой сонаты», о котором он писал: «тонкий, благородный вкус, совсем несвойственный его характеру».

В 1872 году Елизавета родила сына Николая, которого Толстой крестил и который позже женился на второй дочери писателя Машеньке и стал его зятем. Елизавета чуть не умерла родами. По этому случаю Лев писал Александре Андреевне: «Сестра измучилась родами, болезнью Лизы и совсем забыла про себя и стала такая хорошая, какая она была всегда...»

Обе дочери Марии Николаевны поглощены семейной жизнью, материнством, ее сын Николай после краткого пребывания в армии, куда он пошел по совету дяди Льва, поселился в Покровском. Мария Николаевна осталась одна. О впечатлении, которое она производила на окружающих, писала ее дочь Елизавета: «...Жизнь ее... производит впечатление какого-то беспокойного, бесцельного, безрадостного скитания».

Мария Бибикова, дочь Сергея Николаевича Толстого, описывает в своих воспоминаниях Марию Николаевну (та летом постоянно жила у брата, в Пирогове): «Среднего роста, с годами располневшая, она всегда одевалась в темное, голову покрывала платком; ее круглое лицо с тонкими губами и мясистым носом с вывернутыми ноздрями отражало все перемены ее настроений, глаза ее, то серьезные, то смеющиеся, то сердитые, то печальные, живо и вызывающе искрились из-под очков (она страдала близорукостью)».

В детстве она была очень капризной и осталась такой до старости. Некоторыми чертами характера она походила на свою бабушку, графиню Пелагею. Она имела склонность к мистике, верила в привидения и любила рассказывать о призраках, которые, по ее словам, неоднократно ей являлись. Она была очень суеверна и не начинала никаких дел ни в понедельник, ни в пятницу — считала, что эти дни несчастливые. В своих предсудках она заходила так далеко, что однажды за ночь оборвала целую клумбу в парке у брата Сергея потому, что на ней росли цветы, приносящие, по мнению Марии Николаевны, несчастье, — надо сказать, что ее брат поутру был не в восторге от этой спасательной опера-

ции. Она была лакомка, очень любила поесть; если какое-нибудь блюдо ей приходилось не по вкусу, она попросту отталкивала тарелку. Приготовления ее ко сну носили церемониальный характер: окна законопачивались так, чтобы ни один луч света не мог проникнуть сквозь них, постель следовало стелить строго определенным образом, в ином случае наутро она жаловалась, что всю ночь не сомкнула глаз! Ее верная горничная Гаша, никогда не расстававшаяся с ней (за время путешествий она даже изучила французский), была предана ей душой и телом и спала так чутко, что стоило только Марии Николаевне позвонить в колокольчик, лежавший у ее изголовья, как Гаша бросалась на зов.

Несмотря на ее причуды, на требовательность, вполне, впрочем, характерные для «барынь» того времени, все знавшие Марию Николаевну, и родственники, и друзья, и простой народ, очень любили ее за простоту, веселость, добродушие. Когда природная веселость побеждала, никто не умел так расшевелить молодежь, как она; черта характера, свойственная также и Николаю и Льву. Лев, хотя многие представляют его суровым и непреклонным моралистом, тоже умел заразительно веселиться; он любил шутки, не брезговал каламбурами, с удовольствием организовывал игры, в которых участвовала молодежь, наводнявшая дом. Он ставил спектакли, пьески, писал специально для домашних представлений сценки, даже знаменитую комедию «Плоды просвещения» впервые сыграли его дети и их друзья. Изобретенной им игрой «Нумидийская конница» любила забавляться молодежь: докучного гостя после его ухода запрещалось критиковать, но не успевал гость закрыть за собой дверь, как Лев Николаевич вскакивал, поднимал правую руку вверх и, высоко скидывая колени, на цыпочках бесшумно обегал все комнаты, за ним бежали дети. Потом все возвращались на свои места. Молодость духа Лев Николаевич сохранял до конца жизни. Отец рассказывал мне, что однажды его мать вышла к столу с опозданием — семья и несколько друзей ждали ее в большой зале. Вдруг Лев Николаевич подал знак, и все собравшиеся полезли под стол, накрытый скатертью, спускавшейся до самого пола. Увидев пустую комнату, Софья Андреевна удивилась, но тут из-под стола с хохотом выполз на четвереньках ее прославленный муж, а за ним остальные гости.

Мария Николаевна умела организовывать прогулки, пикники, экскурсии, очень любила рассказывать истории о привидениях, о морских путешествиях, о поездках в Алжир. Рас-

сказывала она так увлеченно, что однажды, показывая племянникам, как молятся мусульмане, она с такой силой стукнула лбом об пол, что вдрызг разбила обретенную какой-то из племянниц фарфоровую куклу. Она не чуждалась народных увеселений и на масленицу обходила всю московскую ярмарку: русские горы, балаганы, фокусников, медведей, качели — весь тот живописный русский фольклор, который обессмертил Стравинский в своем знаменитом балете «Петрушка». Мария Николаевна ходила по ярмарке в сопровождении толпы молодежи, впереди, расчищая ей путь, бежали два «шута» в пестрых лохмотьях, которые откалывали всевозможные колена.

Мария Николаевна была очень набожна и не пропускала ни одной службы. При этом она не забывала о своих удобствах: едва она входила в церковь, церковный сторож должен был подстелать коврик, чтобы ей было удобно преклонить колени. Она часто ходила на богомолье, как-то раз она увела с собой большую группу родственников и друзей в монастырь, расположенный в ста двадцати верстах от ее имения. Богомольцев сопровождал груженный припасами экипаж, где пассажиры могли отдыхать. Однако Мария Николаевна, в обычной жизни очень изнеженная, на богомолье никогда не отдыхала в экипаже, спала в сараях и даже на сене, ничуть тем не тяготясь.

В 1879 году Леночке (*ее дочери Елене*) исполнилось 16 лет, она завершила свое образование в Швейцарии. Сергей и Лев настоятельно советовали сестре привезти дочь в Россию, и в следующем году Мария Николаевна отправилась за ней. Красивую, прекрасно образованную, свободно владеющую тремя языками и притом не знающую ни слова по-русски Елену дяди и двоюродные сестры встретили с распростертыми объятиями, все ее полюбили. Она более всех детей Марии Николаевны походила на мать: музыкантша, очень непосредственная и прямая, она, как и мать, была подвержена капризам и частым переменам настроения. Властная, независимая Мария Николаевна, которая никогда не считалась с мнением света, тем не менее сначала выдавала дочь за свою воспитанницу, очевидно, во избежание щекотливых вопросов. Лев, однако, быстро поставил все на свои места и представлял Елену не иначе как свою племянницу, дочь сестры.

В эту пору у Марии Николаевны начинаются углубленные религиозные искания; несомненно, на нее сильно повлияла преждевременная смерть сына, последовавшая в 1879 году. Лев Николаевич пережил религиоз-

ный и духовный кризис одновременно с сестрой. Но у него кризис имел другой характер, куда более страстный, тревожный и мучительный. Он полностью отошел от официальной религии, тогда как Мария Николаевна обрела покой и мир в лоне церкви.

В июле 1882 года Толстой купил на окраине Москвы деревянный дом с большим садом, уберегшим дом от пожара в 1812 году. Семья стала проводить зиму в этом доме. В рабочем кабинете писателя с низким потолком, где стоял письменный стол с резными перильцами, один за другим сменялись люди: все считали за честь, за счастье попасть туда. Толстой был теперь малодоступен: дети и племянники видели его редко, встречались с ним лишь за столом. Все с нетерпением ожидали его появления, ловили на лету его слова. Он находил что сказать каждому: с одним делился серьезной мыслью, с другим шутил. Детей он обожал, с ними он был особенно шутлив и ласков.

Мария Николаевна также проводила зиму в Москве. После приезда дочери из Швейцарии ничто не влекло ее за границу. Она любила Елену, но часто ссорилась с ней. Музыка стала занимать в жизни Марии Николаевны все большее место. Она участвовала в концертах, познакомилась со скрипачом Большого театра, которого приглашала к себе, они далеко за полночь играли наедине дуэты. Но ни музыка, ни литература, ни дочь Елена не могли заполнить всей ее жизни. В эту пору Мария Николаевна, нередко прихварывавшая, познакомилась с доктором Трифоновским, знаменитым гомеопатом, известным своей добротой и бескорыстием. У него была большая практика, но пациентами его были по преимуществу бедняки, поэтому он не составил себе состояния. Их отношения — поначалу лишь отношения врача с пациенткой — вскоре переросли в дружбу. Они часами философствовали, говорили о религии, о загробной жизни, о воскресении мертвых. Эти беседы с человеком таких возвышенных взглядов, к которому она питала привязанность и восхищение, увлекали Марию Николаевну. Как ни любила она своего брата Льва, с ним она не могла говорить на эти темы; не могла мириться с его неприятием церкви. Вначале бурные споры брата и сестры кончались ссорами, потом по молчаливому согласию они стали избегать опасных тем. Отрицание Львом Николаевичем божественности Христа не столько оскорбляло, сколько огорчало Марию Николаевну — она замыкалась в молчании, но лицо выдавало ее чувства...

В 1888 году Мария Николаевна решила порвать с прежней жизнью и посвятить себя

богу. В эту пору она познакомилась с отцом Валентином Амфитеатровым и стала его духовной дочерью. Он посоветовал ей посетить Оптиную пустынь, знаменитый монастырь, где настоятелем был отец Амвросий, описанный Достоевским в «Братьях Карамазовых» под именем отца Зосимы.

Отец Зосима был старец. Старец — явление исключительно православное. Это нечто вроде христианского гуру — духовник, пророк и даже чудотворец, врачующий и тело и душу. Повествуя о старцах, Достоевский рассказывает о власти, которую старец имеет над теми, кто, забыв себя, подчиняет свою волю старцу. Повиновение старцу выходит за пределы обычного послушничества, оно создает нерасторжимую вечную связь между старцем и тем, кто надеется, отказавшись от себя, научиться властвовать собой и благодаря этому избежать участи тех, кому за всю жизнь так и не удается обрести свое подлинное «я».

Мария Николаевна приехала в монастырь с дочерью Елизаветой. На крыльце в окружении большой толпы она увидела отца Амвросия, маленького человечка, облаченного в белую рясу, тщедушного, изможденного постом и молитвой. Мужчины и женщины разных сословий, среди них многие приехавшие издалека, теснились, пробираясь к старцу, протягивали ему больных детей, все ожидали благословения святого человека, чьи большие черные глаза, лучистые, умные и добрые, внимательно вглядывались в каждого. Благодаря молитвам и созерцанию, но — в не меньшей мере — и благодаря тому, что он постоянно сталкивался с людскими несчастьями, метаниями и бедами, отец Амвросий хорошо знал человеческую душу и сразу понимал, что мучает тех, кто к нему обращается.

Когда толпа рассеялась, Мария Николаевна долго беседовала со старцем; беседа эта действовала на нее благотворно и успокоительно: участь ее решилась.

Некоторое время спустя отец Амвросий поехал с ней в Шамординский монастырь, находившийся в двенадцати верстах от Оптиной пустыни. Монастырь этот раскинулся на поросшей дубовым лесом горе, нависшей над речушкой, приотливно петляющей по русской равнине и теряющейся в ее бесконечных далах. Отец Амвросий выбрал место для кельи Марии Николаевны и сам нарисовал план постройки; в этой келье Мария Николаевна окончила свои дни.

Ближних поразило решение Марии Николаевны. Им не верилось, что она сможет соблюдать суровый монастырский устав. До-

станет ли у нее сил отказаться от мирских радостей, от привычки к комфорту? Это далось ей нелегко. Ей пришлось преодолеть раздражительность и природную властность, есть невкусную и скудную пищу, вставать на рассвете, безропотно повиноваться старшим — задачи невероятной трудные для женщины независимого характера, которая никогда никому не подчинялась. Несмотря на самые добрые намерения, поначалу Марии Николаевне случалось перечить монахиням. Как-то одна из монахинь, пожаловавшись настоятельнице на плохой характер Марии Николаевны, услышала в ответ: «Да, характер у нее нехорош, но душа у нее детская, чистая, а это дороже хорошего характера». Постепенно благодаря трудам и молитвам характер Марии Николаевны переменялся. Дочь, вскоре навещавшая ее, застала мать такой, какой давно не видала: «спокойной, радостной, даже выражение лица изменилось». Елизавета осведомилась, не тоскует ли мать по музыке и литературе. «Как ты не понимаешь, что все это для меня кончено, не нужно», — ответила ей мать.

Мария Николаевна занималась монастырским хором, чтение ее составляли священные книги. Веселость, доброта, ласковость завоевали ей расположение монахинь. Она была очень жалостлива, часто посещала монастырскую больницу, знала, как подбодрить каждого, приносила больным сладости, подарки. Однако она сохранила свою прежнюю прямоту, тут она ничуть не изменилась, когда одна из монахинь посоветовала ей облить водой из считавшегося святым колодца больную внучку, Мария Николаевна ответила: «Ну, вода хоть и святая, а все лучше не обливаться».

Когда Лев впервые посетил ее в монастыре, сестра рассказала ему, что по уставу монастыря монахини должны строго соблюдать обет послушания. «Вас тут шестьсот д у р , — сказал Л е в , — одна умная, ваша игуменья». Игуменья ему очень нравилась своим здравым умом и душевностью. Сестра посмеялась и пересказала его слова монахиням, которые, в свою очередь, добродушно посмеялись. В один из своих приездов в Ясную Поляну Мария Николаевна привезла брату в подарок подушечку, на которой вышила: «От одной из шестисот шамординских дур». Раздосадованный и смущенный Лев (он уже давно забыл эту шутку) сказал: «Это я был дурак, а вы все умные». Он не расставался с этой подушечкой, она всегда лежала на его кровати в Ясной Поляне.

С возрастом брат и сестра все сильнее привязывались друг к другу. Лев писал ей од-

нажды: «Твое письмо почти до слез тронуло меня и твоей любовью и тем истинным религиозным чувством, которым оно проникнуто». Кончается письмо словами: «Твой брат по крови и по духу... Очень люблю тебя». В хорошие минуты они, как в детстве, до слез смеялись над воспоминаниями о своих былых проказах.

Очень хорошо иллюстрирует их отношения случай, рассказанный моим дядей Ильей. Во время одного из своих наездов в Ясную Поляну Мария Николаевна — неизменно набожная и с годами все более близорукая — молилась на угол, где, как ей казалось, висели образа. Не видя больше образов, она спросила у горничной, почему их убрали, и в ответ услышала, что в этом углу образа никогда не висели, а ютились мухи, которых горничная смела метелкой. За обедом Лев, увидев, что она посыпает репу сахаром, сказал: «Как это ты ешь репу с сахаром? Это грех чревоугодия. Тебя за это Бог накажет, и мухи не спасут». Все разразились хохотом.

Однако Лев в отличие от Сергея лишь изредка позволял себе шутить над призванием Марии Николаевны.

С годами Мария все реже приезжала в Ясную Поляну: силы ее убывали, она быстро уставала, кроме того, ей каждый раз приходилось испрашивать разрешения архиерея, который давал его весьма неохотно после того, как в 1901 году Лев Николаевич был отлучен от церкви. И Мария Николаевна, хотя ей и хотелось повидать брата, все реже покидала свою тихую обитель.

Обстановка в Ясной Поляне с каждым годом ухудшалась, стала не той, что прежде. В годы, последовавшие за его религиозным и духовным кризисом, Лев Николаевич, всецело поглощенный соображениями религиозного и общественного порядка, препоручил жене не только домашние дела, но и издание своих книг. Он отказался от всего имущества, поделив его между близкими, а также от авторских прав на произведения, вышедшие после 1880 года; его семья получала доходы лишь с произведений, написанных до 1880 года.

Софья Андреевна надеялась, что страстные поиски истины и смысла жизни так же быстро пройдут, как и многие прежние увлечения ее мужа: «комильфо», игра в карты, охота, педагогика, сельскохозяйственные и военные реформы, которыми он когда-то не менее пылко увлекался; она надеялась, что он вернется к литературе... но она ошибалась. Лев Николаевич считал, что после долгих и мучительных поисков он обрел истину, и теперь хотел, чтобы весь мир и, естественно, прежде всего его семья разделили его взгляды. Но не

сыновья, а три дочери пошли вслед за ним по пути к этим нравственным и духовным вершинам.

Софья Андреевна, не только любящая и верная жена, но и примерная помощница этого выдающегося человека, в то же время оставалась матерью, хранительницей очага. Она не могла в корне переменить привычный уклад жизни, пойти на то, чтобы ее дети не учились, а работали на земле или занимались каким-либо ремеслом. Можно ли ее в том винить, как это делали многочисленные толстовцы? Необходимость постоянно перестраиваться, в одиночку решать сложные проблемы изменила ее характер, и без того склонный к пессимизму, а позже привела к настоящему неврозу. Нечто подобное случается и с людьми вполне уравновешенными под влиянием куда менее веских обстоятельств.

Невестка и племянники всегда радостно принимали Марию Николаевну, но ей приходилось быть свидетельницей бурных ссор между пожилыми супругами, вызванных решительным несоответствием их взглядов. Но так как супруги были нежно привязаны друг к другу, им долгое время все же удавалось достичь некоего *modus vivendi*. Лишь начиная с 1907 года обстановка, дотоле напряженная, временами стала открыто тяжелой, мучительной, а подчас и вовсе непереносимой.

Ухудшение семейного климата совпало с возвращением из Англии Черткова. В Англии он все десять лет ссылки занимался изданием и распространением запрещенных сочинений своего учителя. Высокому, плотному, очень методичному, с некоторой склонностью к педантизму, этому бывшему гвардейскому офицеру, происходившему из знатной семьи, удалось присвоить себе или получить право входить в кабинет писателя — право, которым дотоле пользовалась только Софья Андреевна, — и обсуждать с ним его произведения. Иногда Чертков добивался от Толстого передачи отдельных сцен, и тот шел на это, чтобы не ссориться с Чертковым. Еще не успевали просохнуть чернила на листках, исписанных Толстым, как Чертков читал их и прятал в недостижимые для Софьи Андреевны места. Кроме того, Чертков боялся, что со смертью учителя он перестанет быть главным редактором его трудов. Поэтому он составил письмовозвещание, где ему совместно с Софьей Андреевной доверялось издание трудов Толстого. Но, по-видимому, и этого Черткову было мало. Он так упорно настаивал на своем, что Толстой, как он ни сопротивлялся, все же написал 22 июля 1910 года тайное завещание: в нем единственной наследницей называлась его

младшая дочь Александра. В дополнении, датированном 31 июля, он просил ее не пользоваться своими правами. Все произведения Толстого по этому завещанию становились всеобщим достоянием, а Чертков их единственным издателем и редактором. Вопрос о завещании кажется мне ключевым: оно вызвало самые сложные и противоречивые чувства всего толстовского окружения. Образовались два противоположных лагеря: с одной стороны Софья Андреевна, которую поддерживали и ждали некоторые из ее близких; с другой — все толстовцы во главе с Чертковым, поддерживаемые Александрой Львовной — секретарем и страстной ученицей отца. Другие дети, почти все уже женатые и замужние, бывали в Ясной Поляне лишь наездами.

К этому времени слава Льва Николаевича перешагнула за пределы России и воссияла над миром, слава не только одного из величайших писателей всех времен, но и слава пророка. Несмотря на это, Мария Николаевна понимала, что Левочка глубоко несчастен. Жена, ученики шпионили друг за другом, ревновали друг к другу, терзали друг друга и его. Лишенный той любви, к которой он всю жизнь стремился, Толстой хотел лишь ясности, покоя, необходимого, чтобы приготовить к смерти, «великому врагу» или «великой избавительнице», чье приближение он чувствовал. В эту пору Толстой стал таким смиренным и кротким, что многие считали его святым, меж тем он оказался между двух огней: пленник своего собственного учения,

Дом М. Н. Толстой в Пирогове.
1907 г. Фотография В. Г. Черткова.





Шамордино. Дом, в котором жила М. Н. Толстая. Фотография конца 1890-х — начала 1900-х годов.

он огорчал жену, не желая огорчать Черткова. В «Дневнике для одного себя», который он прятал от нескромных взглядов, в том числе и чертковских, в голенище сапога, он писал: «**30 июля** 1910 года, Чертков вовлек меня в борьбу, и борьба эта очень тяжела, и противна мне. **2 августа...** Очень понял свою ошибку, надо было собрать всех наследников и объяснить свое намерение, а не тайно. Я написал это Черткову. Он очень огорчился». И несколькими днями позже: «От Черткова письмо с упреками и обличениями. Они разрывают меня на части... Уйти от всех».

В последний приезд Марии Николаевны в Ясную Поляну дочь Елизавета застала ее в слезах: Марию Николаевну казалось, что она никогда больше не увидит своего любимого брата.

Через несколько месяцев, 22 октября

1910 года, Мария Николаевна, гуляя в Шамордино с дочерью, встретила монахиню, которая поведала ей потрясающую новость: она только что видела Льва Николаевича в Оптиной пустыни, и он просил ее передать сестре, чтобы та его ждала. В шестом часу — уже начало смеркаться — он появился — жалкий, дрожащий, на голову был низко надвинут коричневый башлык, из которого торчала седая борода. Потрясенная Мария Николаевна сказала ему: «Я рада тебя видеть, Левочка, но в такую погоду... Я боюсь, что у вас дома не хорошо». — «Дома ужасно», — ответил он и заплакал. Немного успокоившись, он стал описывать чудовищную обстановку, царящую в Ясной Поляне; сцены ревности, которые жена устраивала ему из-за Черткова, были ему тяжелы. Он был измучен телесно и душевно. Последние несколько месяцев после бурных упреков, которыми осыпала его Софья



Андреевна, у него начинались судороги, сопровождаемые временной амнезией. «Еще один такой припадок, и мне конец, — сказал он. — Но я хотел бы умереть в памяти». И он снова заплакал. Он рассказал им, как ночью застал жену врасплох: она рылась в его бумагах, искала завещание. Это было последнее толчком, побудившим его уйти из дому. Он признавал, что Софья Андреевна больна, нервна, но он не хотел насильно помещать ее в клинику, и ему осталось одно — уйти из дому. «Я хочу совершенно изменить свою жизнь...» Мало-помалу он успокоился; за чаем сестра спросила его, понравилось ли ему в Оптиной пустыни. «Очень, — ответило н. — И я бы с удовольствием там остался жить, только бы меня не заставляли ходить в церковь». Он хотел снять домик подле монастыря. Они говорили о том, о сем. Мария Николаевна, давно уже оставившая разговоры о привидениях, некогда любимой теме ее бесед (она вечно описывала коварно улыбающихся великанов с злыми глазами, одетых в черное, проникавших сквозь стены и затворы, чтобы ее похитить), в этот вечер рассказала, что прошлой ночью дверь внезапно распахнулась и она услышала, что в сенях кто-то ходит, постукивая палкой. Наутро после этой страшной ночи ее соседка по келье увидела, что дверь закрыта на ключ. Из этого она заключила, что к ней являлся «враг».

Уходя, Лев Николаевич обнял сестру и сказал: «Видишь, как хорошо: теперь мы будем часто видеться...» Он не сразу нашел выход и пошутил: «Я, как «враг», запутался в сенях».

На следующее утро из Ясной Поляны приехала Александра Львовна, она привезла отцу письма от братьев и сестер; она рассказала, что мать бросилась в пруд, пытаясь покончить с собой. Потрясенный этим известием, Лев Николаевич решил ускорить свой отъезд, разбудил в три часа ночи своего верного врача Маковидко и уехал... Он умер неделей позже в маленькой комнате начальника станции Астапово... Мария Николаевна больше его никогда не видела.

Бегство Толстого среди ночи из дому, где он провел большую часть своей жизни, пневмония, вынудившая его остановиться на маленькой станции Астапово, семейные раздоры, тайное завещание стали темой бесчисленных обсуждений в газетах. Родственники,

друзья, губернатор со свитой, жандармы, тайная полиция, духовенство, корреспонденты русских и иностранных газет — все, вплоть до операторов «Пате-Синема», ютились в вагонах, размещенных на запасных путях, в маленьком зале ожидания и буфете. Все были встревожены и возбуждены до крайности. Мельчайшее событие, малейшие подробности тут же разносились по всему свету. Два телеграфиста были буквально завалены беспрерывным потоком телеграмм (число их достигло 1081) и писем, которые посылались и приходили между 13 и 20 ноября 1910 года. Впоследствии они были собраны в книге «Астаповское дело». Читать эту книгу тяжело, но, несмотря на ее сухость, а может быть, именно благодаря ей она производит впечатление удивительной достоверности и страстности. Это подлинный «монтажный лист», позволяющий минутой за минутой следить за развитием драмы: тут и правительство, обеспокоенное исключительно возможностью нежелательных манифестаций, и духовенство, стремящееся вернуть Толстого в лоно церкви хотя бы *in extremis*, разброд и смятение, царившие в обществе, сложные чувства толстовского окружения... Многие из этих текстов были зашифрованы, настоящее их значение стало понятно лишь позже.

«Истину люблю... много... истину люблю», — сказал Толстой сыну Сергею утром 20 ноября. Это были его последние слова перед тем, как он потерял сознание. День смерти Толстого стал днем всеобщей скорби. Люди плакали на улицах, Дума и даже парижская палата депутатов прервали работу. Горький плакал, он писал трогательную статью, в которой говорил, что его, как и многих, осиротила смерть Толстого. К Льву Толстому относились как к воплощению совести мира. Знали, что, пока он жив, он будет бороться против злоупотреблений, несправедливостей, будет защищать невинно пострадавших. Надеялись, что, если он выживет, он отсрочит, а то и предотвратит надвигающуюся войну. Потрясение, вызванное его смертью, отражало силу его влияния на общественное мнение.

В отрочестве я, бывало, плакал вечерами в постели оттого, что мне не случилось знать его... Для близких умер не писатель, а муж, отец, брат и дед, удивительный во всех отношениях человек, временами его было трудно понять, но он обладал редкостным обаянием. Никогда больше они не увидят, как он, усталый после долгой работы, выходит из кабинета — сильная рука засунута за пояс рубахи — отдохнуть в кругу семьи: играет в вист с сыновьями, в шахматы с зятем, слу-

Мария Николаевна и Лев Николаевич в день его рождения на балконе яснополянского дома. 28 августа 1908 г. Фотография С. А. Толстой.

шает музыку, принимает участие в разговоре, рассказывает своим высоким голосом с поразившем его событии, беседует на философские или политические темы. Никогда больше они не увидят, как он по-молодому сидит на лошади, как гибка, легка, стремительна его походка, когда он уходит на прогулку, и как тяжелеет его походка, когда он возвращается с прогулки, с букетом полевых цветов в руках. Никогда больше не поразит он их, как поразил когда-то моих родителей, в ту пору молодоженов, когда, неожиданно вернувшись, они застали его одного в темном зале: он увлеченно играл прелюдию Шопена. Никогда больше они не увидят удивительной улыбки, освещавшей все его лицо, не услышат его своеобразного смеха, долгого и заразительного... Они вспоминали выражение его лица, когда он с неудовольствием сдвигал косматые брови, вспоминали его горький и тревожный взгляд, свидетельствующий о душевных страданиях, которые ему пришлось пережить в последние месяцы...

Теперь все поняли, что значило жить бок о бок с таким человеком, и разбирались в своих отношениях с ним. Его жене, прожившей с ним сорок восемь лет, разрешили пройти к умирающему мужу, лишь когда он потерял сознание, для нее происходящее казалось страшнее античных трагедий.

Что послужило причиной внезапного отъезда и последовавшей за ним трагедии? То, что Толстой застал жену, когда она рылась в его бумагах, было лишь поводом, позволившим осуществить давние планы. Моя тетка Татьяна Львовна в очерке «О смерти моего отца» писала: «Но в жизни человека никогда не бывает, чтобы одна какая-нибудь причина преимущественно перед другими побудила бы его совершить тот или иной поступок. И это в особенности справедливо для такой богатой, страстной и сложной природы, как мой отец. Его поведение была результатом целого ряда причин, сочетавшихся, смешивавшихся, сталкивавшихся, противоречивших друг другу. Верно, что в последние годы жизни жена его не понимала и очень осложняла его жизнь, верно и то, что та относительная роскошь, в которой они жили, тяготила его, он желал жить просто, удалиться от мира, жить среди крестьян и рабочих. Он уже писал об этом в 1897 году в письме, так и не отданном жене. Письмо это нашли в бумагах лишь после его смерти. Он писал ей: «Главное же то, что как индусы по 60 лет ходят в леса, как всякому старому религиозному человеку хочется последние годы своей жизни посвятить богу... так и мне... всеми силами души хочется этого спокойствия, единения и хоть не полного

согласия, но не кричащего разногласия своей жизни с своими верованиями, с своей совестью». Далее он благодарил ее за самоотвержение и любовь, которые она ему давала всю их длинную тридцатипятилетнюю жизнь, и не укорял ее за то, что она не пошла за ним.

Помимо ума, доброты, таланта, Лев Николаевич был наделен от природы незаурядным здоровьем, силой, чувственностью: в нем было нечто роднившее его с животным миром в лучшем смысле этого слова. Он сохранил полноту и силу чувственных восприятий, утраченную большинством людей цивилизованного мира. Он с особой остротой воспринимал все окружающее, в особенности явления природы.

В ту трагическую ночь 28 октября 1910 года он был истощен духовно и телесно. Не чувствовал ли он в глубине души, возможно, сам себе не отдавая в том отчета (потому что замышлял в ту пору начать новую жизнь), что все кончено и смерть близка? И вот Лев Николаевич ушел, как уходит индусы, чтобы спасти «то, что иногда и хоть чуть-чуть есть во мне»; возможно, на этот поступок его толкнул древний инстинкт: так старый олень, предчувствуя свой конец, уходит из стада и удаляется умирать в чашу...

О смерти брата Марию Николаевну известила телеграмма ее дочери Елизаветы; позже та приехала к матери и до глубокой ночи рассказывала ей о последних минутах Льва Николаевича. Мария Николаевна хотела отслужить по нем панихиду. Каковы же были ее горе, возмущение и негодование, когда иеромонах ей сказал: «В церкви нельзя молиться за человека, не признающего церкви и притом отлученного». Не в силах мириться с подобной нетерпимостью, Мария Николаевна ушла из церкви. Духовник Марии Николаевны понял, какой нравственный конфликт она переживает, и разрешил ей молиться за брата у себя в келье, дабы не вводить других во искушение.

На следующий год на пасху Мария Николаевна написала своей невестке Софье Андреевне замечательное письмо:

«22 апреля 1911 года.

Христос Воскресе!

Милая Соня, очень рада была получить твое письмо: я думала, что, испытавши такое горе и отчаяние, тебе не до меня, и это мне было очень грустно. Я верю, что, кроме того, что ужасно потерять такого дорогого человека, но что тебе очень тяжело. Ты спрашиваешь, какой я могла сделать вывод из случившегося. Как я могу знать, из всего того, что слышала от разных людей, близких Вашему дому, что правда, что нет. Но я думаю, как говорится, что нет дыма без огня, вероятно, было что-нибудь неладное.

Когда Левочка приехал ко мне, он сначала был очень

удручен, и когда он мне рассказывал, что ты бросился в пруд, он плакал навзрыд. Я не могла его видеть без слез; но про тебя он мне ничего не говорил, сказал только, что он приехал сюда надолго, думает нанять избу у мужика и тут жить. Мне кажется, что он хотел уединения: его тяготила Ясная Поляна, яснополянская жизнь (он мне это говорил в последний раз, когда я была у вас) и вся обстановка, противная его убеждениям, он просто хотел устроиться по своему вкусу и жить в уединении, где был никто ему не мешал, так я поняла из его слов.

До приезда Саши он никуда не намерен был уезжать, а собирался поехать в Оптину и хотел непременно поговорить со старцем. Но Саша своим приездом на другой день перевернула все вверх дном. Когда он уходил в этот день ночевать в гостиницу, он и не думал уезжать, а мне сказал: «До свидания, увидимся завтра». Каково же было на другой день мое удивление и отчаяние, когда в пять часов утра, еще темно, меня разбудили и сказали, что он уезжает! Я сейчас встала, велела подавать лошадей, поехала на гостиницу — но он уже уехал, и так я его и не видала!

Не знаю, что между Вами было, тут во многом виноват ***, но что-нибудь да было особенное, иначе Л. Н. в свои лета не решился бы так внезапно ночью в такую погоду, собравшись скоро, уехать из Ясной Поляны.

Я верю, тебе очень тяжело, милая Соня, но ты все-таки себя не упрекай, все это случилось, конечно, по воле Божьей. Дни его были сочны, и Богу угодно было послать ему последнее испытание через самого ему близкого и дорогого человека.

Вот, милая Соня, какой вывод я могла сделать из всего этого ужасного события. Как он сам был необыкновенный человек, и кончина его тоже была необыкновенная. Я надеюсь, за его любовь к Христу и работу над собой, чтоб жить по Евангелию — он Милосердный, не оттолкнет его от себя.

Милая Соня, ты на меня не сердись, я откровенно тебе написала, что я думала и чувствовала... я хитрять перед тобой не могу. Ты мне все-таки очень близка и дорога, и я всегда буду тебя любить, что бы там ни было. Ведь он, милый мой Левочка, так тебя любил.

Не знаю, в состоянии ли я буду приехать летом на могилу Левочки, после его смерти я стала очень слаба, никуда положительно не хожу, только еду в церковь, одно мое утешение. Приезжай к нам поговеть, открой свою душу старцу, он все поймет и успокоит тебя. Бог все простит и покроет своей любовью. Припади к нему со слезами — мир водворится в твоей душе. Ведь... это все была вражья работа. Прощай, будь здорова и покойна. Любящая тебя сестра Машенька».

Однако в этом году Мария Николаевна все же приехала на лето в Ясную Поляну вместе с дочерью Еленой и внуками, но жила не в большом доме, а неподалеку, в имении Александры Львовны, откуда неоднократно ездила молиться на могилу брата.

Умерла она мирно, тоже от воспаления легких, 6 апреля 1912 года. За несколько дней до смерти ее спросили, не желает ли она согласно обычаю принять схиму; она сказала, что ей надо подумать, прежде чем принять такое решение, она боится, что, если выздоровеет, не сможет исполнить всего, что требуется от схимников, но немного погодя

призвала иеромонаха и дала согласие. Ее благословили иконой Казанской Божьей Матери. Она успокоилась, примирилась с мыслью о смерти и сказала: «Что ж, я довольна... пожила только страшно немного — плохо молилась, много сердилась...» Перед смертью она бредила по-французски, ей мерещилось, что она говорит с отцом Елены: «Зачем вы пришли? Вас не должны здесь видеть, уходите, уходите...» Наутро, когда жар спал, она просила у всех прощения. За час до кончины она улеглась поудобнее, подложила под щеку думку и закрыла глаза: вскоре голова ее соскользнула с подушки и опустилась на грудь.

Назавтра весь монастырь пришел проститься с усопшей — она лежала на столе в своей спальне, облаченная в черное монашеское одеяние, лицо ее было закрыто черным покрывалом, на котором был вышит белый крест. В углу комнаты монахини громко читали Священное писание; уходя, каждая по очереди клала земной поклон перед матерью Марией и приподымала покрывало, чтобы в последний раз взглянуть на ее ясное и доброе лицо, светящееся улыбкой...

Прожив двадцать один год в Шамординском монастыре, Мария Николаевна оставила там по себе самую лучшую память. Неровности ее характера сгладились. Все любили ее за доброту, прямоту, благородство чувств, правдивость и отсутствие мелочности. Она жила своей внутренней жизнью и поэтому не замечала интриг, неизбежных там, где живут шестьсот монахинь. Она всегда была занята — читала, рукодельничала, много думала и не обращала никакого внимания на крупные и мелкие дразги своих товарок. Но такое покойное состояние духа далось ей не сразу, а лишь в результате большой работы над собой, над своим характером и страстями и лишь благодаря смирению и послушанию, налагаемому уставом. По свидетельству всех, кто знал ее в конце жизни, она производила отрадное впечатление человека успокоившегося, ее бурная натура наконец обрела мир и равновесие в монашеской среде, которую она сама выбрала.

Перевод с французского
Л. Беспаловой



Л. Н. Толстой и Д. П. Маковицкий
в спальне писателя. 1909 г.
Ясная Поляна.
Фотография В. Г. Черткова.

«Яснополяские записки» Д. П. Маковицкого, четырехтомное издание которых вышло к 150-ти летнему юбилею Л. Н. Толстого в «Литературном наследстве», один из ценнейших документов о последних шести годах его жизни.

Автор публикуемой статьи — кандидат исторических наук, доцент кафедры чехословацкой истории Карлова университета в Праге Стефан Я. Колафа многие годы посвятил розыску материалов о жизни и деятельности Д. П. Маковицкого. Статья написана по заказу редакции «Прометей».

60—70-е годы XIX века — труднейший период словацкой истории. В 1867 году завершилось так называемое «примирение» между Австрией и Венгрией. Правящие классы Австрии и Венгрии разделили сферы влияния в рамках австро-венгерской монархии. В новой обстановке правящие круги Венгрии приступили к последовательной ассимиляции словацкого народа. В течение 70-х годов прошлого столетия были закрыты три последние гимназии, где преподавание велось на словацком языке. Неудивительно, что в таких условиях во всех слоях словацкой общественности усиливалась традиционная тяга к России, к великому русскому народу, с именем которого связывались надежды на сохранение самобытности и самостоятельности словацкого и чешского народов.

В это время в небольшом словацком городке Ружомберке родился Душан Петрович Маковицкий (10 декабря 1866 г.).

Отцом Душана был зажиточный словацкий купец и предприниматель Петр Маковицкий, принадлежавший к только что сформировавшейся национальной буржуазии. У Душана было десять братьев и сестер. Но нужно сказать, что он с раннего детства своим характером отличался от всей семьи. Отец, естественно, прочил ему купеческую карьеру, однако Душан сначала стихийно, а потом сознательно отказывался от нее. О его характере свидетельствует одна деталь. Когда отец составлял завещание, в котором передавал свое наследство многочисленным потомкам, то о Душане сделал оговорку: написал, что он своей «нереальной» жизнью может служить примером сотням тысяч людей, однако «что касается имущества, то он слишком хочет помогать другим». По этой причине отец поручил опеку над частью наследства Душана его старшим братьям.

Мировоззрение Маковицкого формировалось в годы учебы. Начальную школу он окончил в родном Ружомберке, где преподавание велось на словацком языке. Уже в то время Душан и его сверстники-словаки поняли, что значит быть представителем угнетенного народа. И тогда же он впервые осознал, что такое Россия. Атмосферу, в которой он жил в эти годы, прекрасно выразил его близкий друг и последователь Л. Н. Толстого Альберт Шкарван (1869—1926), записавший в своем дневнике: «В те времена, когда я выросал, Россия была всеобщей надеждой всей словацкой молодежи, которой, как известно, были жестоко преграждены все пути для самостоятельного развития. Кроме того, все видные словацкие деятели испокон веков показывали нам на северного (русского) брата

не только как на представителя великой внешней силы, но также как на народ особо одаренный, с основами нового будущего, коренным образом отличающегося от материалистической, суровой, нехристианской цивилизации Запада. Мы воодушевлялись Россией как страной блестящего будущего и свободной жизни, мы были русофильских взглядов — словацкие юноши все без исключения».

Важную роль в этой ориентации словацкой общественности 70—80-х годов прошлого столетия играла русская литература и ее великие представители Гоголь, Тургенев, Достоевский, Толстой. Первые словацкие журнальные переводы рассказов Толстого начали появляться с 1876 года. При этом необходимо отметить особую черту в восприятии его произведений, на которую обратил внимание выдающийся словацкий писатель и общественный деятель того времени Светозар Гурбан-Вааянский. «...Для нас, ведущих борьбу за первоначальные основы народной жизни», писал он о словаках в статье «Граф Л. Н. Толстой как художник и мудрец», «заброшенных за рубежи чужих стихий», романы Толстого «пробуждают живой интерес к России и ее народу».

В борьбе за национальное самоопределение узкие круги словацкой интеллигенции надеялись не столько на свой собственный народ, сколько на помощь извне, со стороны царской России. Выразителем этих интересов и был Светозар Гурбан-Вааянский. В рамках этой славянофильской концепции он интерпретировал и произведение Толстого, бывшего для него олицетворением славянской России, славянского могущества, славянского ума, славянского величия. С успехами романов Толстого во Франции и других западноевропейских странах связывал он грядущие успехи всего славянства, в том числе и освобождение словацкого народа. Эти взгляды в большинстве своем разделяла и словацкая учащаяся молодежь, включая Маковицкого, который осенью 1895 года стал студентом медицинского факультета Карлова университета.

В самом конце 80-х годов среди чешской и словацкой студенческой молодежи в Праге появилось несколько последователей Толстого, которые приняли нравственную и критическую сторону деятельности Толстого и по примеру яснополянского писателя подвергали критике современное общество. Среди этих последователей оказался и Д. П. Маковицкий, в марте 1890 года впервые посетивший Москву. Он поселился в центре города в гостинице «Петергоф» и стал непосредственным свидетелем студенческих волнений в Петровско-Разумовской сельскохозяйственной акаде-

мии и расправы над студентами. В амфитеатре Исторического музея он слушал 22 марта лекцию профессора Зверева о Л. Н. Толстом. И вскоре мы встретим имя Маковицкого среди авторов письма пражских студентов к Толстому.

Упомянутое письмо было отправлено в Ясную Поляну в декабре 1890 года. «Сегодня получил письмо студентов из Праги», — сообщил Л. Н. Толстой 31 декабря своему другу В. Г. Черткову. Ответные письма из России оказались в руках Маковицкого и его словацкого друга Шкарвана, также бывшего студентом медицинского факультета Карлова университета. С этого момента они завязали переписку с Л. Н. Толстым и его окружением.

Весной 1891 года Маковицкий закончил университет. К этому времени он уже прочно стоял на позициях Толстого и решил посвятить свою жизнь распространению его произведений в словацкой и чешской среде. Спустя много лет Альберт Шкарван в черновом наброске статьи о Д. П. Маковицком, хранящемся ныне в Литературном архиве Матицы Словацкой в городе Мартин, писал: «Проповедь яснополянского апостола, очистившего столь радикально учение Христа от чуждых ему, церковью и государством примешанных элементов мистицизма, всякого рода догматов, суеверий и языческого насилия, не прозвучала среди словаков впустую и запустела хотя и не широкие, но зато тем более глубокие корни в сердцах некоторых людей. Среди последних занимает первенствующее место в Словакии и Чехии хорошо известный врач Душан Маковицкий».

С осени 1891 года по весну 1894 года Душан Петрович проходил медицинскую практику в клиниках Инсбрука и Будапешта. В этот период он поддерживал письменные связи с Толстым, распространял и переводил его нравственно-этические и художественные произведения. Кроме того, по примеру московского издательства «Посредник» он задумал основать особую библиотеку в двух сериях: одну для простых читателей, вторую — для более образованных. С этой целью он привлекал других словацких переводчиков и сотрудников, среди которых был и Альберт Шкарван.

Как ни робки были первые плоды деятельности Маковицкого, но и они вызвали бурю негодования со стороны официального словацкого общества.

Острая критика, появившаяся на страницах светской и духовной прессы, заставила Маковицкого задуматься. Свои сомнения и внутренние противоречия он хотел преодолеть благодаря разговору с Толстым. «Завтра

уезжаю в Россию к Толстому... не иду туда из-за любопытства, развлечения, с легким сердцем — иду, потому что должен, что-то толкает меня», — писал он 25 августа 1894 года своей племяннице Богдане Шкульгеты¹.

В Ясную Поляну он прибыл 2 сентября того же года и прожил в ней шесть дней. После возвращения на родину свои наблюдения и разговоры с Толстым он описал по отдельным дням в пространной статье «У Л. Н. Толстого», опубликованной в журнале «Slovenské pohády». О своем приезде в Ясную Поляну, о первой встрече с Толстым Маковицкий рассказывал следующим образом:

«Было девять часов. Навстречу мне вышел слуга и спросил, чего мне нужно. «Лев Николаевич еще не встали», — ответил он мне. Вдруг вошел Толстой и заговорил со мной. Я сказал, кто я: словак из Венгрии и что пришел для того, чтобы увидеть его. «Мне это очень приятно», — сказал Толстой и пожал мне руку. Он попросил меня оставить вещи на лавочке, так как уборка в доме была еще не закончена, и провел меня на веранду. После

чего переговорил коротко с крестьянином, который ждал на дворе и что-то просил. Вырвал лист из записной книжки, написал несколько слов и дал крестьянину, чтобы тот пошел к управляющему. Потом он вернулся ко мне. «Вы хорошо говорите по-русски; где вы учились?» Он еще у меня кое-что спросил и сказал: «Я вернусь скоро, я только несколько минут погуляю». Он спустился с веранды с другой стороны, пошел вдоль фасада дома и повернул в парк. Я наблюдал за ним, пока он не скрылся за деревьями. Только потом я очнулся. Чувство блаженства охватило меня: так вот, досталось тебе счастье увидеть Толстого, скажи спасибо богу. Какой он простой, тихий, милый. Но какой он старый и дряхлый! Я представлял себе его намного моложе. А он сгорбленный, работой изнуренный старец, на лице усталость, грусть, будто у него какие-то боли. Глаза у него глубокие, серые, спокойные, приветливо смотрящие; густые длинные брови; он широкоплеч, когда-то был он высокого и крепкого роста; лысый, в накрахмаленной крестьянской рубашке, опоясанной ремнем; борода у него белая как молоко, почти по пояс»².

Общий вид города Ружомберка.
1924 г.
Почтовая открытка.



Уже в этот первый приезд Маковицкий рассказывал Толстому о Венгрии и Австрии, об угнетенном положении словацкого и чешского народов. «Утром приехал очень интересный доктор славянин». Такой была первая запись в дневнике Толстого о докторе Маковицком. «Много интересного, — продолжал Толстой, — рассказывал о том зловредном влиянии, которое производит патриотизм в маленьких народностях Австрии. Они грызутся между собой и с верховной властью, и им кажется, что они заняты очень важными делами».

Шесть дней провел Маковицкий в Ясной Поляне, после чего Толстой направил его к своим друзьям в Москву и Кострому — к В. Г. Черткову и П. И. Бирюкову.

Личное свидание с Толстым и его друзьями оказало решающее влияние на дальнейшую деятельность Маковицкого. По совету Толстого он начал интересоваться нравственно-религиозным и анархическим движением в Венгрии и других европейских странах, особенно же увлекся сочинениями Кропоткина. Но главное внимание он и впредь уделял

распространению этических и художественных сочинений Л. Н. Толстого.

С осени 1894 года Маковицкий стал врачом в городе Жилине, в северо-восточной Словакии. По примеру московского «Посредника» он издает на собственные средства две серии книг. В серии «Почительные чтения» (для простых читателей) вышли восемнадцать отдельных тетрадей словацких переводов таких работ Толстого, как «Пора опомниться», «Богу или мамоне», «Чем люди живы» и другие. В серии «Почительная библиотека» (для интеллигентных читателей) он напечатал «Христианское учение», «Почему люди одурманиваются», «Крейцерову сонату», «Воскресение». Причем словацкое издание романа «Воскресение» в переводе Альберта Шкарвана, осуществленное еще в 1899 году, является одним из первых нецензурных заграничных изданий этого романа.

Эта просветительная деятельность Маковицкого вызвала подозрение властей и бурную реакцию со стороны официального словацкого общества. Одна из газет того времени опубликовала в 1897 году брошюру

Улица в Ружомберке, 1922 г.
Почтовая открытка.
В центре отмечены два
дома: * где родился
Д. П. Маковицкий, ** где он умер.



«Плоды учения гр. Л. Н. Толстого» (за год перед этим отпечатанную в Санкт-Петербургской Синодальной типографии), автором которой был украинский националист консервативного толка А. И. Добрянский. Брошюра ставила своей целью развенчать и опровергнуть учение Толстого и показать пагубность его влияния на молодое поколение в Словакии. Эта критика была направлена прежде всего против Альберта Шкарвана, друга Маковицкого, который под влиянием идей Толстого в 1895 году отказался от военной службы в австро-венгерской армии, после тюремного заключения летом 1896 года покинул пределы австро-венгерской монархии и до февраля 1897 года находился в России рядом с Толстым. Вся брошюра самым непосредственным образом касалась и Маковицкого. «Легко, конечно, предаваться спорту толстовскому юноше (Д. П. Маковицкому. — С. К.), которому высокоблагородный отец его, уважаемый во всей Словакии... сделал возможной беззаботную учебу...» — иронически замечал по поводу Маковицкого Светозар Гурбан-Ваянский в своем заключении к брошюре.

Д. П. Маковицкий и
А. А. Шкарван. 1896 г. Жилин.
Фотография М. Рек.



А в результате типографы отказывались печатать новые тетради, а книгогорговцы — продавать новые публикации Маковицкого.

Л. Н. Толстой был информирован о положении его дел. «Знаю про вас по письмам вашим к Евгению Ивановичу (Попову) и жалею, что не имею возможности известий прямо от вас. Мы все вас любим и рады знать про вас», — писал Толстой 11 сентября 1895 года в письме к Маковицкому и добавил: «Не унывайте в том, что жизнь ваша не такая, какую бы вы желали ее видеть. Это участь всех тех, кто стремится к христианскому совершенству. Страшно не то, чтобы не достигнуть того, чего для себя, для своей души хочешь, а страшно то, чтобы, не достигнув этого, перестать хотеть этого». «Дай бог вам всего хорошего и побольше твердости — мне кажется, что этого вам не хватает», — подбадривал его Толстой.

Последователи Толстого, как известно, подвергались преследованиям со стороны царских властей. В феврале 1897 года вынужден был эмигрировать в Англию В. Г. Чертков, а с ним покидал Россию и словак Альберт Шкарван. При этом Маковицкий стал своеобразным связующим звеном между Толстым и его последователями. На своей квартире в словацком городе Жилине он принимал тех, кто выезжал из России за границу, а также тех, кто возвращался на родину. Одновременно он стал главным звеном нелегальной транспортной группы, которая занималась доставкой в Россию толстовской (и вообще эмигрантской) литературы, издаваемой Чертковым в Англии и Бирюковым в Швейцарии. Эту литературу он пересылал по определенным адресам в Россию и даже в Среднюю Азию или перевозил лично. Одновременно он вывозил из России за границу корреспонденцию Толстого.

Чертков доверял Маковицкому самые ответственные поручения. Так, в ноябре 1897 года Маковицкий побывал у Чертковых в Англии и оттуда направился прямо в Россию к Толстому, захватив с собой последние нелегальные издания Черткова. На обратном пути он увез рукопись дневников Толстого. В Ясной Поляне он был 28 и 29 ноября. «Нынче утром приехал Маковицкий, милый, кроткий, чистый. Много радостного рассказал про друзей», — записал Толстой в дневнике. И продолжил: «Разговаривал с Душаном. Он сказал, что так как он невольно стал моим представителем в Венгрии, то как ему поступать? Я рад бы случаю сказать ему и уяснить себе, что говорить о толстовстве, искать моего руководства, спрашивать моего решения вопросов — большая и грубая ошибка. — Ни-



Л. Н. Толстой в кругу родных и знакомых, среди которых Д. П. Маковицкий. 1901 г. Гаспра. Слева направо: Л. Н. Толстой, Н. Л. Оболенский, А. Д. Архангельский,

Т. Л. Сухотина-Толстая, Н. Л. Оболенская, М. Л. Оболенская, П. А. Буланже, Е. В. Оболенская, Д. П. Маковицкий, А. Л. Толстая, Фотография С. А. Толстой.

какого толстовства и моего учения не было и нет». И, наконец, Толстой записал: «Главное, за это время было Душан, которого я еще больше полюбил. Он составляет с Славянским (с словацким. — С. К.) Посредником центр маленькой, но думаю, что божеской работы».

С 1899 года Маковицкий был вынужден прекратить издание обеих серий «Поучительного чтения» и «Поучительной библиотеки». Венгерские власти приняли по отношению к нему репрессивные меры. Его имя неоднократно попадало в сводки тайной полиции «О на-

циональных и социалистических движениях», предназначенные лично для венгерского премьер-министра Тисзы. В 1903 году, когда Маковицкий находился в пути к Черткову, на его жилинской квартире был осуществлен полицейский обыск и конфисковано множество книг, рукописей и других материалов.

В эти годы Маковицкий оказался в родной Словакии в полной изоляции. Тем больше он тянулся к Толстому и России, вел огромную корреспонденцию со своими заграничными друзьями. Его жилинская квартира и впредь служила перекрестком дорог русских славис-

тов и последователей Толстого. Снова и снова попадали сюда ящики и бандероли из Англии и Швейцарии, содержащие нелегальные толстовские и не только толстовские издания.

В западноевропейской русской эмиграции Маковицкий встречался с представителями самых различных течений. Он познакомился с народником Бурцевым и анархистом Кропоткиным, слушал выступления Плеханова и сотрудничал с замечательным русским революционером и большевиком Владимиром Дмитриевичем Бонч-Бруевичем.

Маковицкий часто покидал своих жилинских пациентов и выезжал то в Россию, то в Швейцарию, Францию, Англию, и все с одной целью — служить Толстому и его делу. Он был уверен, что этим самым он служит социальному и национальному освобождению своего народа.

В ночь с 18 на 19 декабря 1901 года Маковицкий в третий раз выехал к больному Толстому в Крым. И вновь с поручением Черткова. В письме к своему другу Карлу Калалу он сообщал: «Моя задача: побудить Льва Николаевича, чтобы он разрешил изготовить копии всего написанного им за последние два года и послал их Черткову (это должно быть сделано без ведома жены Толстого, которая ревнует к Черткову), а одного богатого кушца (А. Н. Кошшина) надо уговорить помочь изданиям Черткова материально, чтобы они не пресекались. Миссия важная, только бы удалась»³. Кроме того, Маковицкий без два чемодана последних изданий Черткова. В Крыму он задержался на три недели. За это время Маковицкий посетил Толстого в Кореизе близ Ялты пять раз и выполнил поручения Черткова. Без ведома жены Толстого он переписал дневник писателя, через него же Толстой передал Черткову свои последние рукописи.

Во все свои приезды к Толстому, в 1894-м 1897-м и теперь в 1901 году, Маковицкий не только выполнял поручения Черткова. Он старался знакомить русского писателя с прошлым и настоящим словацкого и чешского народов, с их борьбой против угнетателей. Накануне своего отъезда в Крым он заказал в Праге специально для Толстого альбом рисунков чешского художника Эмиля Холарека «Размышления о катехизисе», который Толстой необыкновенно понравился.

Вероятно, не без посредничества Толстого Маковицкий посетил 17 декабря 1901 года в Алушке близ Ялты Антона Павловича Чехова. Отголоски этой встречи можно найти в письме Чехова к своей жене Ольге Леонардовне⁴. Маковицкий познакомил Чехова с бедственным положением словацкого народа и при-



Дом В. Г. Черткова в Англии. 1901 г. Крайстчерч. Фотография Т. А. Тапселя.

глашал его в гости в Словакию. Чехов, видимо, обещал приехать. Об этом можно судить по письму Маковицкого к Чехову, написанному несколько позже, 16 июля 1904 года, в котором он пишет: «Позволяю себе снова просить вас, чтобы вы посетили нас, словаков и русинов, в северной Венгрии». И дальше напоминает Чехову: «Вам, русским, прямо обязанность стараться хоть о своих сородичей русинов, которые гибнут...»⁵

В последний день 1901 года, 31 декабря, Маковицкий посетил в Крыму еще одного великого писателя земли русской — Алексея Максимовича Горького. По предложению Толстого он отнес Горькому упомянутый уже альбом чешского художника Холарека «Размышления о катехизисе». Горький отнесся к Маковицкому со вниманием, подарил ему на память свои книги с автографом.

В январе 1903 года Маковицкий снова в пути. По просьбе П. И. Бирюкова он едет в Женеву к своему большому другу Альберту Шкарвану, жившему в эти годы в швейцарской эмиграции. Вместе с Бирюковым он принял 10 января 1903 года участие в торжественном собрании русской эмиграции,

созванной заграничной Лигой русской социал-демократической рабочей партии по поводу 25-летнего юбилея со дня смерти великого русского поэта Н. А. Некрасова. Здесь он встречался с В. Д. Бонч-Бруевичем, которому помог в работе над брошюрой «Назарены в Венгрии и Сербии», опубликованной в следующем, 1904 году в петербургском журнале «Обозрение», а в 1905 году вышедшей отдельной книгой в издательстве «Посредник» под псевдонимом В. Ольховский. В июле — августе 1903 года Маковицкий в Англии, у В. Г. Черткова.

О положении Маковицкого в Словакии в этот период ярко свидетельствует его письмо от 19 мая 1904 года к И. И. Горбуну-Посадову. Он воспроизводит в нем рассказ одного крестьянина, у которого, так же как и у Маковицкого, был сделан обыск. В письме читаем: «Католический священник велел ему (крестьянину. — С. К.) сжечь «По-

учительное чтение», и когда он ответил, что там нет ничего против бога, то священник за то, что в вещах веры спорит с духовным, не дал ему разрешение (absolutio)*. Это первый случай репрессий, до сих пор случалось только остерегание в проповедях или privately от сношений со мной»⁶.

А Маковицкий не мог внять этим предостережениям. «Если вам могу служить как-нибудь, отпишите», — обращался он к А. К. Чертковой в Англию 12 сентября 1904 года. И прямо выражал готовность съездить к Л. Н. Толстому, если нужно, «например, копирование Дневника или подобное, как прошлый раз в Ясной»⁷. В скором времени Маковицкий снова в пути. На этот раз он едет кружным путем. Из Жилины через Вену направляется в Швейцарию — к Бирюкову и

* Так в рукописи. — С. К.

В. Г. Чертков с сотрудниками
издательства «Свободное слово»,
1901—1908 гг. Крайстчерч.
Слева направо: Саймс,

Е. И. Попов, А. Д. Зирнис,
А. П. Сергеенко, Л. Л. Перно,
В. Г. Чертков, А. К. Черткова
и Э. Я. Перно.



Шкарвану, оттуда едет к Чертковым в Англию (здесь он второй раз встретился с Кропоткиным) и прямо из Англии направляется в Ясную Поляну.

Таким образом, в четвертый раз он побывал здесь с 8 по 15 ноября 1904 года. Толстой в то время работал над составлением «Круга чтения», и Маковицкий обещал доставить ему выдержки из сочинений чешских авторов. Он передал Толстому издания Черткова и предложение написать письмо царю Николаю II по поводу происходящей русско-японской войны.

К моменту прибытия Маковицкого в Ясную Поляну не было домашнего врача. «Софья Андреевна вызвала меня приехать к ним на дольше, (на) 3—4 месяца, пока не найдут другого врача», — писал Маковицкий в письме к Черткову от 18 ноября на обратном пути из России. «Никитин (бывший домашний врач. — С. К.) принял такое место, с которого не могут звать его на войну. Врачей недостаток. Я, разумеется, очень рад, поеду, зависит от отца, отпустит ли»⁸. А своему отцу он писал: «Чувствую долг быть полезным своему народу... к которому несутся мои духовные стремления»⁹. В письме он характеризовал все существующие политические течения в Словакии и объяснял, почему он с ними расходится. А расходился он как с политической концепцией национальной буржуазии консервативного и либерального толка, так и с Светозаром Гурбаном-Ваянским, с В. Шробаром, равным образом и с католической и лютеранской иерархией и вероучением. Свой путь он видел в следовании примеру Толстого.

В полночь с 28 на 29 декабря 1904 года Д. П. Маковицкий выехал (уже в пятый раз) к Толстому. Его багаж был переполнен изданиями Черткова. В Ясную Поляну он прибыл 31 декабря. Его приезд в Ясную Поляну был, как мы видели, не случайным. Это было завершением предшествующего пятнадцатилетнего этапа жизни и деятельности. И в то же время его приезд в Россию означает начало нового, пятнадцатилетнего этапа яснополянской жизни. Ведь яснополянским врачом Маковицкий работал вплоть до 1920 года.

Свою лечебницу Маковицкий устроил в крестьянском доме в деревне Ясная Поляна и жил то в нижнем этаже дома Толстых, то в своей лечебнице.

Первой обязанностью Маковицкого в Ясной Поляне было лечение Толстого, членов его семьи, его родных и близких и крестьян окружающих деревень. Крестьян он принимал с восьми часов утра до двух часов пополудни и с этого момента, если не нужно было выезжать к больным, находился вплоть до

поздней ночи в окружении Толстого. Сам Толстой не раз говорил своему врачу, что он дружится не в медицинской помощи, а в дружбе. В денежном отношении содержала поликлинику семья Толстых и крапивенское уездное управление. Уважая Толстого и стремясь служить ему безвозмездно, он хотел совершенно отказаться от денег.

Находясь рядом с Толстым, Маковицкий был полезен писателю также своими познаниями. «Душан Петрович, вас можно спрашивать про медицину, этнографию, статистику», — сказал однажды Толстой Маковицкому. Прежде всего он старался информировать его о жизни славянских народов. «Я благодарен Душану Петровичу за все, но особенно за то, что он поучает нас о славянах», — сказал Толстой. «Нам, русским, за исключением отдельных лиц, славянофилов, для которых это специальное изучение, о славянах мало известно, и мы должны спрашивать, сколько их, где они живут и т. д. Все, что я знаю о них, это по краледворской рукописи (подлинная чешская рукопись начала XIX века. — С. К.), которая оказалась подложной»¹⁰. А 26 августа 1909 года Маковицкий записал в своих «Яснополянских записках» следующие слова Толстого: «(Как) мы счастливы, что мы через Душана Петровича знаем таких интересных людей, как славяне». Все это Маковицкий делал с определенной целью, он стремился возбуждать в своих русских собеседниках «хоть какой-нибудь интерес к словам, славянам»¹¹.

То же самое можно сказать и о помощи, которую Маковицкий оказывал Толстому при ведении обширной корреспонденции, поскольку он знал целый ряд иностранных языков. Письма Толстого и за его подписью, написанные под диктовку писателя Маковицким, расходились по разным странам. И была еще целая группа писем, составленных и отправленных им по поручению Толстого¹².

Немалую помощь оказывал Маковицкий Толстому и в литературной работе. По просьбе Толстого он переписывал по несколько раз его новые рукописи. И не только переписывал. Нередко он делал критические замечания, давал советы¹³. Известно, что благодаря усилиям Маковицкого Толстой написал статью о чешском средневековом философе Петре Хельчицком, поместил в свой «Круг чтения» выдержки из «Сети веры» Хельчицкого, благодаря стараниям Маковицкого и его друга Шкарвана Толстой написал рассказ «Шут Палечек». Немалую роль сыграл Маковицкий при возникновении последней статьи Толстого «О социализме». «Софья Андреевна напала на меня», — записал Маковицкий 23 октября 1910

года в своих «Яснополянских записках», — «что я внушил Л. Н.-чу писать эту статью и что надо ему дать свободу в выборе, что писать, потому что он склонен и к художественным писаниям. Она так волновалась и столько раз повторяла эту жалобу на мое (и особенно на чертковское) указание Л. Н.-чу, что писать, что Л. Н. сказал, что он только шутя говорил, что пишет эту статью, чтобы удовлетворить Душана Петровича».

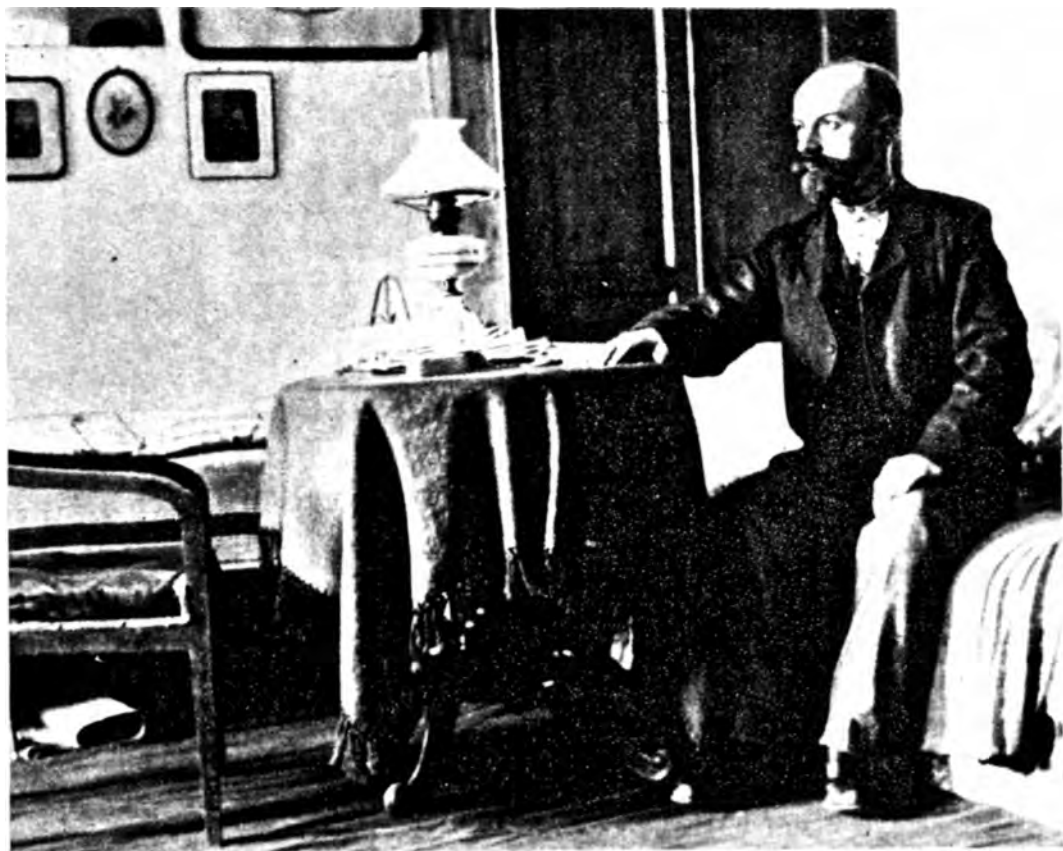
Но главным делом Маковицкого, безусловно, были «Яснополянские записки». И далеко не случайно формой изложения он избрал повседневные хронологические записи услышанного и наблюдаемого. Он сам с самого

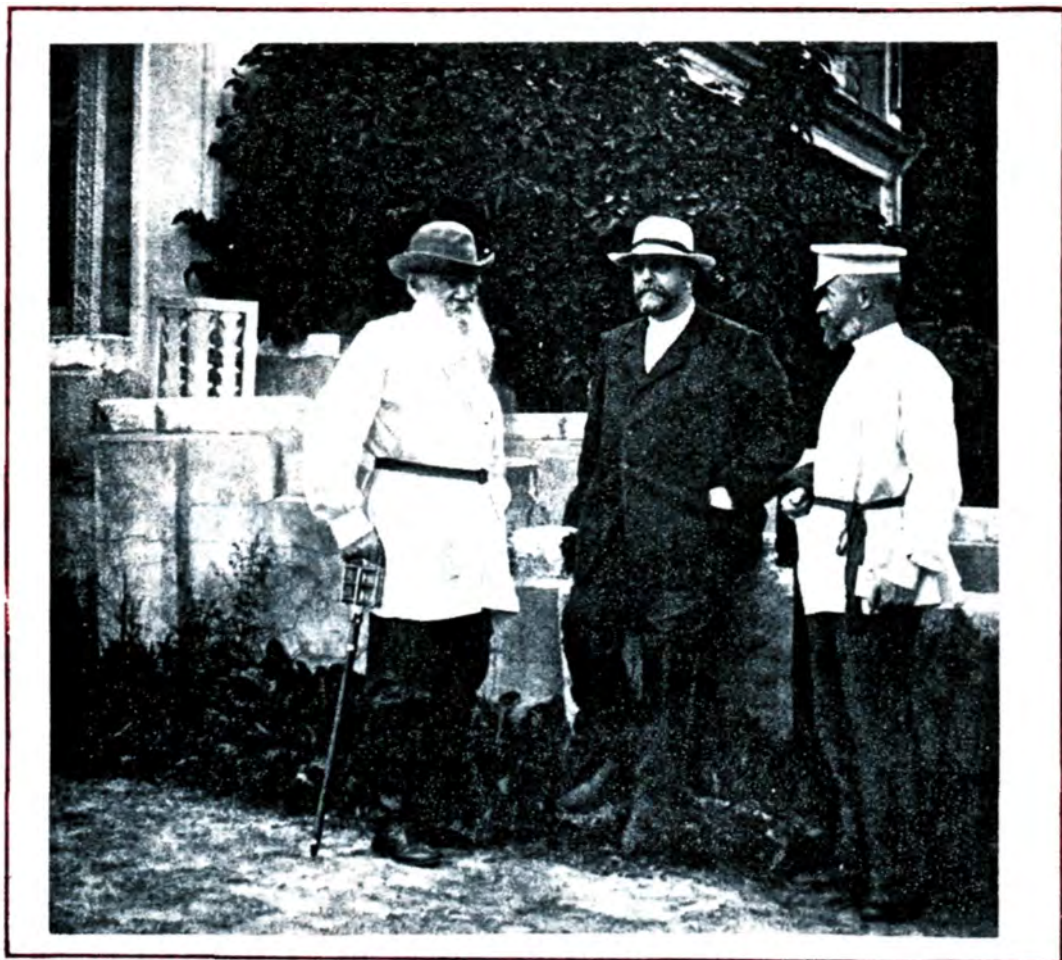
начала своей деятельности жаловался, что ему трудно писать статьи, что он не обладает даром теоретического, абстрактного мышления. Зато он обладал способностью до мельчайших подробностей воспроизводить наблюдаемые явления.

Маковицкий поставил перед собой конкретную цель: запечатлеть все наблюдаемое и услышанное в Ясной Поляне — с минуты на минуту, изо дня в день, из месяца в месяц. Таким образом он провел Толстого от первой русской революции и последующей после нее реакции вплоть до последнего дня и последнего часа 1910 года.

А делал он свои записки следующим путем:

Д. П. Маковицкий в «комнате для приезжающих». 1905 г. Ясная Поляна. Любительская фотография.





Л. Н. Толстой, В. Г. Чертков
и Д. П. Маковицкий в Мещерском.
1910 г. Фотография В. Г. Черткова.

все, что видел или слышал, записывал на небольшие карточки — «билетики». В том случае, если он присутствовал при коллективном разговоре, то «билетики» хранил в правом кармане своего пиджака. Записи же делал во время разговора прямо в кармане (почерком, разобрать который мог только он сам). Исписав первый «билетик», он помещал его в кармане в конец пачки и продолжал писать на следующем чистом «билетике». Участники разговора, кроме Толстого и самых

близких, даже не подозревали, что он делает записи. В течение дня набиралось множество «билетиков». По ночам, когда в Ясной Поляне все затихало, Маковицкий до четырех-пяти часов утра воссоздавал по этим «билетикам» образ прошедшего дня — по минутам и часам. Таким образом проходил второй этап работы над записками. Эти листы складывались в хронологическом порядке, и, когда их набралось много, большей частью за месяц, он вновь переписывал их в отдельные тетради.

придавая запискам более-менее окончательный вид. Первые тетради он писал на своем родном языке, но скоро перешел на русский язык, и на русском написано подавляющее большинство тетрадей. Первые же словацкие тетради еще при жизни Толстого перевел на русский язык Альберт Шкарван.

Благодаря такому своеобразному методу Маковицкий создал грандиозную хронику яснополянской жизни и творчества Толстого на протяжении последних шести лет. Своим усердием и аккуратностью он поражал и заражал других. «Теперь пишут записки и секретарь Л. Николаевича Гусев и Чертков», — писал Маковицкий 26 января 1909 года в письме

к своему словацкому другу Иосифу Шкульте-ты. «Гусев благодаря моему настаиванию и Чертков пишет, кажется мне, благодаря моему примеру. А то сколько раз он ни начинал, он никогда не выдержал. Извини самовосхваление»¹⁴. Л. Н. Толстой со временем, конечно, узнал о деятельности своего врача. Но он не только не возражал против составления записок, но даже иногда, когда проходил, по его мнению, важный разговор, делал все, чтобы его врач смог как следует записать его.

«Я грешен: пишу дневник, этим и оправдываю свое пребывание у вас, может быть, будут полезны», — сказал 18 апреля 1907 года

Л. Н. Толстой и Д. П. Маковицкий
у въездных яснополянских башен.
1910 г. Фотография
А. Н. Савельева.



Маковицкий Толстому. И эти слова тоже занес на свою карточку.

Смертью Толстого заканчивает Маковицкий свои «Яснополянские записки». Теперь он приступил к их уточнению, проверке и подготовке к печати. Прежде всего нужно было рукописные тетради отпечатать на пишущей машинке, чем и занялись под диктовку Маковицкого его помощник Беленький и некоторые другие. Таким образом, возник печатный черновик в трех экземплярах. А редакцией этих машинописных копий занялся бывший секретарь Толстого Н. Н. Гусев и некоторые другие из родных и друзей Толстого (М. С. Сухотин, В. Г. Чертков и другие). И затем отредактированный машинописный черновик нужно было вновь отпечатать на машинке, приготовить, таким образом, окончательный чистовой вариант. Об объеме работы свидетельствует объем записок — 4000 машинописных страниц. Подготовка машинописных копий была закончена в основном к январю 1914 года, накануне первой мировой войны.

О ходе всех этих работ рассказывают письма Маковицкого из России в словацкий Ружомберк к брату Петру Маковицкому. Вот несколько выдержек из этих писем¹⁶:

11 февраля 1912 года:

«Гусев работает над Записками добросовестно и с большим удовольствием. И если бы получилось так, что я бы вдруг скончался, прошу ему дать окончить редакцию Записок. Заплатить ему за работу начиная с 15 января (января русского) 50 рублей в месяц. Записки издать по-русски и за границей в полном виде у Отты (в Чехии. — С. К.), или в «Возрождении» (толстовское издательство в болгарском Бургасе. — С. К.) и в «Посреднике» (у Ив. Ив. Горбунова). На русское заграничное издание, на печатание и бумагу, отвести 3000 крон, они с прибылью вернутся. Внутреннее значение Записок заключается в полном нецензурированном издании. В них необыкновенно важные слова Л. Н. — о царях, о государственных и общественных деятелях, исторических событиях».

5 декабря 1912 года:

«В течение месяца переписывается на «ремингтоне» в черновике 200—300 страниц Записок (...), в чистовике меньше. Если таким образом дело пойдет дальше, то работы еще на весь год.

Предварительный расчет на дальнейшее продолжение и завершение переписки черновика, редактирование и переписка чистовика Записок предполагает 12-месячный срок:

переписка на «ремингтоне» черновика в трех экземплярах (Беленький под мою диктовку) по 20 рублей в месяц 240 рубл.
редактирование (Гусев) по 50 рублей в месяц (но Гусев от половины отказался) 300 рубл.

переписка чистовика (Варвара Михайловна) в пяти экземплярах около 350 рубл.
бумага и др. около 50 рубл.

Эти деньги я буду просить из дома. Я знаю, что они в два раза превышают годовые проценты из капитала, оставленного мне отцом, но что же делать. «Записки» в настоящее время для меня самая важная задача».

16 сентября 1913 года:

«Если получится так, что я не смогу закончить работу, то прошу тебя передать Записки Гусеву, пусть он окончит редакцию и опубликует их. А если умрет вдруг Гусев, то Федору Алексеевичу Страхову (с ним я об этом не говорил, но он согласится) (редактору Свода мыслей Л. Н. Толстого у Черткова). Напечатать сначала в журнале («ежемесячнике») и потом книжкой у И. И. Горбунова (в «Посреднике»). Журнал Исторический Вестник (консервативный) давал два года тому назад 75 р. за один печатный лист, печатных листов 100 (больше 100). Горбунову предоставить как он сам захочет, хоть и даром. Посредник погружен в долги, и издание имеет не спекулятивный, из-за прибыли, но идейный характер.

Из гонорара отдать 1500 р. Гусеву, по 300 рубл. на издание «Посредников» (рассказов Толстого для народа и др. популярных христианских сочинений) таким людям, которые такие сочинения захотят издавать или же их уже издают. (Указанную сумму передать на издание «Посредника») украинского, польского, чешского, лужицкосербского, словенского, сербского (издавать его хочет Иован Максимович, учитель гимназии, Белград, Далматинская ул., 7) или же хорватского, болгарского и 600 р. (для издания) словацкого. Болгарские «Посредники» два уже, вот почему сумму разделить между ними (Христу Досеву, Бургас, и Георгию Стоялову Шопову, София)».

27 января 1914 года:

«Записки я, наконец, в Ялте, все переписал. Осталось еще 2/3 отредактировать с Гусевым. Издаваться будут около Нового года 1915».

Закончить эту грандиозную работу Маковицкому, однако, не удалось. С началом первой мировой войны рухнули все планы издания «Яснополянских записок», а сам Маковицкий оказался в крайне затруднительном положении. Он поставил свою подпись под воззванием «Опомнитесь, люди-братья» —

против войны. Все, кто прямо или косвенно был связан с этим воззванием, в том числе и Маковицкий, были брошены в тюрьму. Только в декабре 1915 года он был временно выпущен на волю. «Все время со дня 6 декабря, когда нас выпустили из тульской тюрьмы, провел безвыездно в Ясной (Поляне), где занимался по-прежнему лечением», — сообщал Маковицкий в письме к П. И. Бирюкову от 9 марта 1916 года¹⁶. 21 марта того же года начался суд над толстовцами. Маковицкий, обвиненный в шпионаже в пользу Австро-Венгрии, оказался перед московским военным судом совместно с теми, кто подписал и распространял воззвание против войны. В своих показаниях на суде дочь Толстого Татьяна Львовна сказала о Маковицком: «Я еще хочу сказать о любви Душана Петровича к России: он был, так сказать, звеном между Венгрией и Россией и считался там русофилом. На днях, когда его выпустили на поруки, я посмотрела на него, такого старого, бледного, слабого, спросила его: «Душанчик, где вы свою жизнь окончите?» И он сказал, что не в Венгрии, куда он вернуться не может из-за своей любви к России, так как там за последнее время было 4000 казней за русофильство (...) Он всегда выражал свою любовь к России»¹⁷.

Арест и тюремное заключение Маковицкого вызвали протест со стороны прогрессивной русской интеллигенции. Члены Академии наук по Отделению русского языка и словесности и по Разряду изящной словесности В. М. Истрин, Н. П. Кондаков, Н. А. Котляревский, В. Н. Перетц и А. А. Шахматов 3 марта 1915 года обратились с письмом к товарищу министра внутренних дел В. Ф. Джунковскому. «Мы, нижеподписавшиеся члены названного Отделения, а также Разряда изящной словесности, имевшего в своем составе почетного академика гр. Л. Н. Толстого, встревожены постигшею Д. П. Маковицкого участью. Мы помним о том значении, какое имел Д. П. Маковицкий в личной жизни нашего великого писателя, и о неопенимых услугах, оказывавшихся им в течение многих лет гр. Л. Н. Толстому. Не зная, в чем именно обвиняется Д. П. Маковицкий, мы тем не менее решаемся ходатайствовать перед Вашим Превосходительством о возможном к нему снисхождении, причем справедливое и снисходительное суждение о проступке Д. П. Маковицкого должно, как мы думаем, исходить из оценки тех его высоких душевных качеств, которые привлекали к нему любовь и дружбу гр. Л. Н. Толстого. Впрочем, Д. П. Маковицкий заслуживал бы самого внимательного к себе отношения еще и по своему бескорыстному и самоотверженному

служению ближним — делами милосердия и врачебным искусством» — говорилось в их обращении¹⁸. А. А. Шахматов и И. И. Горбунов-Посадов отправили в пользу Маковицкого собственные письма.

Вернувшись в Ясную Поляну, он уединился среди крестьян и служил им как врач, почти совсем прекратив связи и с бывшими своими русскими друзьями, и с родиной. Здесь сказались условия военного времени. Однако, как ни старался он отвлечься от происходивших событий, ему это никак не удавалось. «Революция, война волнуют», — признавался он в письме к О. В. Завалиевской 4 августа 1917 года. «Но все больше сторонюсь их, ухажу в христианское мировоззрение, и понимаю Л. Н.-ча, как он не интересовался (его не увлекали) событиями 1904 — 1907 гг., как он ясно чувствовал единое на потребу, а другое считал пустыми делами»¹⁹.

Он и впредь относился к войне отрицательно. Как последователь Толстого он, естественно, не был сторонником революции, однако он сумел заметить целый ряд положительных результатов революционных событий. «Идея господства одной нации над другой этой войной кончается, как и (идея господства) человека над человеком, господина эксплуататора», — записал он в свой дневник через несколько дней после свершения Великой Октябрьской революции — 2 декабря 1917 года²⁰. Он приветствовал национализацию земли и в том же дневнике в 1918 году записал, что «теперь земля в Центральной России (и вообще в Великороссии) довольно справедливо распределена, нет не только крупных собственников (капиталистов, помещиков, светских и духовных сановников), но нет даже большей разницы между крестьянами, земля у всех и почти поровну».

В грозные годы революции и гражданской войны он лечил крестьян и поддерживал связи с новыми советскими властями. Маковицкий категорически отказался вступить в ряды чехословацкого военного корпуса, созданного в апреле 1917 года, того корпуса, который сыграл контрреволюционную роль в период гражданской войны.

Весной 1919 года Маковицкий заболел сыпным тифом и вплоть до октября следующего года был прикован к постели. Кроме тифа, пришлось ему преодолеть еще двенадцать таких тяжелых заболеваний, как воспаление легких, воспаление почек, ишиас, экзему по всему телу и др. Одна лишь яснополянская девушка Матрена Константиновна Орехова, почти пятнадцать лет помогавшая ему в лечебнице, не побоялась больного и

старательно за ним ухаживала. Она стала его опорой, и он решил жениться на ней.

По мере выздоровления он снова, как об этом свидетельствуют дневниковые записи, стал интересоваться происходящими событиями. 10 июля он отмечает, что Красная Армия вытесняет польских интервентов, здесь же находим записи о приезде в Ясную Поляну 22 участников II конгресса Коммунистического Интернационала, среди которых находилась чешская писательница коммунистка Гелена Малиржова. Спустя некоторое время, уже после смерти Маковицкого, в 1921 году, она опубликовала в чешской коммунистической газете «Руде право» статью памяти Маковицкого. Гелена Малиржова свидетельствует, что Маковицкий «шел еще дальше, чем сама дочь писателя» Татьяна Львовна, что из уст Маковицкого она не слышала «ни одного слова гнева против большевиков».

Как показывают дневниковые записи 1920 года, Маковицкий приветствовал, что в Советской России «нет санкционированного капитализма, фабриканства, владычества угольными и другими шахтами, железными дорогами, пароходами», что повышается инициатива крестьян, сокращается рабочий день, разрешен национальный вопрос.

Только сейчас создались условия для поездки на родину. И 20 октября 1920 года Маковицкий вместе с женой покинул Ясную Поляну. Сопровождал его Адольф Каглер, немец, уроженец Северной Чехии, пленный, который с 1916 года также работал в Ясной Поляне и там же женился. В музее Л. Н. Толстого в Москве Маковицкий оставил свой личный архив, а Н. Н. Гусеву свои «Яснопо-

лянские записки». В сопровождении жены и Каглера 2 ноября он выехал транспортом пленных из Москвы. 21 ноября, спустя месяц после выезда из Ясной Поляны, он прибыл на родину.

Но, вернувшись, он оказался в совершенно чуждом ему мире. Бывшие его друзья давно забыли про заветы Толстого, а некоторые стали государственными деятелями буржуазной Чехословакии. Планы Маковицкого на возобновление издания словацкого «Посредника» казались им смешными. Ему, больному, который всю жизнь лечил других и раздавал все свое добро, пришлось теперь задумываться над тем, где жить, как добывать себе деньги на пропитание. «Мне хотелось бы больше заниматься переводами и изданием «Поучительного чтения», но приходится зарабатывать на пропитание... Моя жена, слава богу, скромная и одинаковых со мной религиозных взглядов. Она не может привыкнуть. Горы ее душат, и люди кажутся ей «без души». В Ясной Поляне у нее были люди глубоко духовные, подбор из великой России. Таких у нас, естественно, нет», — признавался Маковицкий в письме к своему чешскому другу Ф. Веселы 21 января 1921 года²¹. Есть у него и такое, еще более горькое признание: «Мы были большими там, где нас понимали. Здесь же мы меньше горошины. То, что в нас самое драгоценное, это никто не оценит, это здесь никому не нужно»²².

А результат был трагическим. 12 марта 1921 года Душан Петрович Маковицкий, покинутый всеми, покочил жизнь самоубийством на чердаке родного дома в городе Ружомберке.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Архив Д. П. Маковицкого в Доме-музее национальной письменности в Праге.

² U. I. N. Tolstého, Dr. Dusana Makovického. Turčiansky sv, 1898, с. 1—2.

³ Архив К. Калала в Доме-музее национальной письменности в Праге.

⁴ Štepan J. Kolafa. K souhvězdí ruské literatury: D. Makovického u Tolstého, Čechova a Gorkého. Karlova Universita, Praha, 1973, с. 44.

⁵ Там же, с. 115.

⁶ Центральный гос. архив лит. и искусства в Москве, ф. 122, № 852.

⁷ Там же, ф. 552, № 3626.

⁸ Архив В. Г. Черткова. Государственный музей Л. Н. Толстого в Москве.

⁹ Материалы И. Галека в бумагах его дочери Елены Галековой в Праге.

¹⁰ Д. П. Маковицкий. Яснополянские записки. Редактировал Н. Н. Гусев. Вып. 2. Москва, 1923, с. 24.

¹¹ J. Rotnàgl, V. Bulgakov, Si Tolstým, Liptosky Sov Mikulis, с. 45—46.

¹² Архив Д. П. Маковицкого в Доме-музее национальной письменности в Праге.

¹³ Д. Маковицкий. Яснополянские записки. 6 декабря 1909 года. Государственный музей Л. Н. Толстого.

¹⁴ Там же.

¹⁵ Оригиналы писем хранятся у автора данной статьи С. Я. Коллафы.

¹⁶ Архив П. И. Бирюкова в Государственном музее Л. Н. Толстого в Москве.

¹⁷ Архив Н. К. Муравьева, там же.

¹⁸ Архив Д. П. Маковицкого, там же.

¹⁹ Там же.

²⁰ Архив Д. П. Маковицкого у его племянника Д. Маковицкого в Братиславе.

²¹ Архив М. Калмы-Веселы в Праге.

²² Журнал «Slovenská politika» № 68, 1921, 24 марта.



Александр Добролюбов.
Фотография 1895 г.

Начинается биография Добролюбова в среде далекой и даже враждебной Толстому — в среде зарождающегося русского символизма. Для этого литературного течения он также был авторитетом. Но чтобы найти источник этого авторитета, не обязательно обращаться к творчеству Добролюбова. «Личная его биография гораздо интереснее литературной его деятельности» — категорически сформулировано в редакционной заметке из венгерской «Русской литературы XX века». Добролюбов-поэт стал жертвой собственной биографии. Жертвой потому, что даже среди символистов мало кто, кроме В. Брюсова, И. Ореуса-Коневского и отчасти А. Белого, обнаружил действительное знакомство с его стихами. Точно по молчаливой договоренности ему было навсегда отказано в праве быть поэтом.

Основания к этому были. И дело здесь не в том, что стихи Добролюбова слабы, а в колоритности его поступков, на фоне которых стихи меркли. В 1895 году он издает свой первый сборник стихов «Natura naturans. Natura naturata». К этому времени его имя в узком кругу символистских читателей уже прочно окутано ореолом легенд. Поэтому к книге обращаются только за подтверждением уже сложившегося представления. Стихи единодушно признаются «странными», «нечитаемыми», а по существу, остаются просто непрочитанными. Замысловатые претензии автора — пустые страницы, странное посвящение — служат удачной мишенью для критических стрел.

Между 1898 и 1899 годами Добролюбов оставляет декадентство и уходит странствовать, скитаясь сначала по монастырям, позднее среди сектантов. Его имя сразу обрастает новыми легендами, и второй сборник — «Собрание стихов» (М., «Скорпион», 1900 г.) — встречается читателем как «стихи того самого» Добролюбова, который «ушел». Третий сборник — «Из книги невидимой» (М., «Весы», 1905 г.) — воспринимается с новым оттенком: вот, дескать, каких богатырей духа вырастило русское декадентство. Так, заигнотизированные биографией, символисты прошли мимо его творчества.

Между тем даже творчество раннего Добролюбова заслуживает, наконец, прочтения. И здесь мы находим неожиданные точки соприкосновения Добролюбова с Толстым, своего рода предьсторию к их отношениям в 900-е годы: ведь творчество Добролюбова 90-х годов воплощает в концентрированном виде все то, за что обличает Толстой современное искусство, и, в частности, декадентство, в трактате «Что такое искусство». Именно в работе Толстого мы находим ответ на во-

20 июля 1907 года в дневнике Толстого появляется запись: «Единственное средство доказательства того, что это учение дает благо, это — то, чтобы жить по нем, как живет Добролюбов»¹. Можно с уверенностью сказать, что очень немногие корреспонденты и визитеры Ясной Поляны устаивались подобной оценки. Кем же был этот человек, заслуживший благосклонное внимание Толстого?

прос, почему Добролюбов остается поэтом без читателя. Попытаемся это показать.

Все, кто проявлял интерес к Добролюбову, обращали внимание на единство, существовавшее между идеями, которые он исповедовал, и жизнью. Увлечшись декадентством, Добролюбов, по словам Н. Минского, «не только писал на декадентские темы, но и устраивал свою жизнь по-декадентски, и это соответствующие слова с делом сразу окружило его ореолом, поставило выше всех писателей, которые, к какой бы школе ни принадлежали в литературе, в жизни ничем не отличались друг от друга»². Не менее самозабвенно отдавался Добролюбов проповедничеству сектантского периода и не менее ревностно устраивал свою жизнь по-сектантски.

В 90-е годы декадентство стало для Добролюбова своеобразной религией. По воспоминаниям современников, в то время он, «не шадя себя, верный своей вере, курил и ел опий, курил гашиш, склоняя к этому и других в своей узенькой комнатке на Пантелеймоновской, оклеенной черными обоями, с потолком, выкрашенным в серый цвет»³. Под стать этому было и поведение Добролюбова. В обществе он говорил «намеренную чепуху, садился посреди комнаты на пол»⁴. «Письма он писал дикие, ни на что не похожие, без обращений, изломанным почерком, точно подделываясь под бред»⁵. Довершила облик Добролюбова одежда. Он одевался «в необычный костюм (вроде гусарского, но черный, с шелковым белым кашне вместо воротника и галстука)»⁶. Бытовое поведение Добролюбова создает тот «особый ореол», о котором писал Н. Минский, и становится контекстом его стихов. Отсюда предвзятость и заданность, сквозящие во всех без исключения Оценках: от презрительно-непонимающих отзывов четы Мережковских до восторженных панегириков Брюсова. Даже в узком кругу литераторов, единственном, где могли быть потенциальные читатели, его стихи были заслонены личностью поэта. Но была и другая причина, обрекавшая его стихи на непонимание со стороны читателя. Она лежала в самой программе его поэзии.

Вдумываясь в стихи Добролюбова, убеждаешься, что они заслуживают самого пристального внимания — настолько декадентски выразительным было его творчество. Начнем с первой заповеди декадентского искусства, с индивидуализма. Добролюбов дал индивидуализму новое качество: он отказывался не от прошлых идеалов этого мира, его собственная личность полностью этот мир затмевала. В стремлении выявить свою индивидуальную точку зрения на мир Доб-

ролюбов доходит до логического конца, поскольку реальность полностью растворяется в его восприятии. «Задача поэзии, — провозглашал Добролюбов, — изображать видимое и чувствуемое в движении. Это аксиома. И вот движение, которое изображается поэтом, может быть изображено в целом ряде отдельных моментов. В каждом движении есть момент начальный, момент предельный и момент центральный. Момент центральный — это цель, сущность, объяснение всего акта данного движения. Им занималась классическая эпоха. Следующая эпоха изображала только конечный момент движения. Третья эпоха — реалистическая; она стремится изобразить движение в его целом, во всех трех моментах. Наконец, наш период — период символизма: мы изображаем только начальный момент движения, представляя остальное угадыванию»⁷. Если исходить из аксиомы Добролюбова и считать, что предмет поэзии — видимое и чувствуемое в движении, становится ясным избранным моментализмом (так он называл свой метод) принцип: личность отказывается интегрировать впечатления, поступающие из внешнего мира, она выхватывает в нем бесконечно малую величину, «момент». Обратимся теперь к практическому воплощению этой теории. Привожу начало стихотворения «Светлая»:

Горе! Цветы распустились... пьянею.
Бродят, растут благовонья бесшумно.
Что-то проснулось опять неразумно,
Кто-то болезненно шепчет: «жалю»⁸.

Событие, которое стоит за мгновенным переживанием поэта, намеренно отодвигается и в стихотворении обозначено как бы пунктиром. Так же равноправно очерчены слуховые впечатления. Все они вместе — запись одного мгновения. Так рождалась невнятица его стихов, неоднократно подвергавшаяся суровым критическим оценкам. Читатель не мог понять, о чем эти стихи, пожмая плечами, встречая противоестественные сочетания, типа: «Горе! Цветы распустились... пьянею...»

Культивируя субъективизм, Добролюбов доводил до изощренности утонченность собственного восприятия действительности. Здесь уместно процитировать самохарактеристику, данную им во второй половине 90-х годов, накануне «ухода»: «Неестественными нитями, словно неудачными путями, вьется, все развивается сдержанная, достойная смеха песнь моя. Много в ней некрасивого, и особенно все зрительное. Звуки же так самоуглубленны, изощренны и часто некрасивы в этих подробных изощренностях. Рез-

ними, мелкими чертами сплетаются стулья, столы и книги для звуков, безмолвные звучащие книги...»⁹

Моментализм Добролюбова был наиболее полной реализацией общей тенденции декадентского искусства. Но именно в полноте ее проведения этого метода и таилась самая серьезная опасность: зерно самоуничтожения было заложено в программе декадентской поэзии. С одной стороны, она стремилась дать личности возможность максимального самораскрытия. С другой стороны, она представляла ее расколотой на «миги» и «моменты», то есть в проявляющихся настолько субъективных, что они могли ничего не значить для читателя. Возникло такое искусство, которое, как писал В. Брюсов, «в своем идеале таково — что оно будет доступно только автору»¹⁰. Добролюбов и здесь оказался последовательнее других, он имел мужество отказаться от читателя. Со слов В. Брюсова он решил: «печатать не для кого, слишком для немногих»¹¹.

Судьба стихов Добролюбова может служить наглядным подтверждением мысли Толстого о том тупике, в который неизбежно должно было зайти «элитарное» искусство.

Теперь обратимся к другой важной черте декадентской программы — к культуре самоценного искусства. Пафосом, который одушевлял деятельность раннего Добролюбова, был пафос служения самоценному искусству. О себе самом этой поры он вспоминал позднее в отрывке «Разлюбленные книги»: «Я видел раньше только Тебя, отчаянье разбило бы мой ум при одной мысли сухой о возможности другого. Ибо пред Тобою ходят все, о Искусство! Праведник Мира!»¹² Само слово «искусство» пишется для Добролюбова с большой буквы. На алтарь своего божества и приносит Добролюбов все свои творческие силы.

Из признания самоценности искусства вытекает особое значение его формы, которая превращается в единственный двигатель развития. В наброске «К науке о прекрасном» Добролюбов писал: «Важен и вечен с картиной зритель, не творец. О глубине его чувства, о знанье, пожалуй, — только об этом — заботьтесь. Творец же может быть сухим, восхищающимся насильно, работать для красоты, для мысли, из праздности, для друзей, лжив, искренен, тем и другим, может заботиться только об отделке слов. А искусство — искусство, оно ни цель, ни средство, и не опровергая ничего, чудеснейшим образом присутствует всюду»¹³. По Добролюбову, художник как личность может и не выражаться в произведении, он стремился в своих стихах

выразиться как мастер — только через совершенство формы может возникнуть полноценное искусство (отсюда знаменательное сочетание — «работать для красоты, для мысли» и т. д.). Стихи становятся сложной мозговой игрой: их творец стремится раздвинуть палитру изобразительных средств, средств воздействия на читателя, единственно ради которого «работает» мастер. Категория зрителя в эстетике Добролюбова тоже требует дополнительных комментариев. Задача искусства — поразить зрителя новизной (это был побудительный мотив декадентского новаторства). Содержательная сторона этой новизны не важна, отсюда не важен и творец. Зритель мыслится как знаток, ценитель, созерцающий искусство как смену приемов творчества. Единственным мерилом для оценки становилась «начитанность», искушенность читателя в восприятии искусства. В наброске романа Добролюбов пишет о чтении стихов героя — поэта Иннокентия Игоревича Мертвого: «Стихи были прекрасны. Сразу виделась начитанность. Иннокентий принадлежал к славной современной породе, которая рождена книгами»¹⁴. К той же «породе» принадлежит и сам Добролюбов. «Начитанностью» порожден в нем страх быть банальным, пользуясь традиционной системой изобразительных средств. Это была та самая «поэзия от поэзии», появление которой приводило в негодование Л. Н. Толстого.

В эстетике Добролюбова особое значение придается отдельно звуку, о чем он писал в прозаическом отрывке «Предание о зарождении языка». «Учитель запретил касаться этого растения: оно стояло на солнцепеке, всякий листок смеялся на солнце. Учитель назвал растение самим молчанием... Я и Коля прикусили по листику, и горько стало нам на сердце... Все братья смеялись над нами: я не мог говорить. Только через восемь часов сумели мы говорить и заговорили без конца. Мне стали нравиться слова, как цветы, духи. Я упивался мягкими согласными. Особенно полюбил я с тех пор «м». Так познал я разговор, вкусив от богини Афазии. Советую Вам шествовать тою же запутанною прямеею прямой дорогой глубин»¹⁵.

Афазия — вид речевого нарушения, превращающего логической строй речи в набор звуков, — становится богиней поэзии Добролюбова. Звук приобретает самоценное значение в стихе. Идеалом искусства для Добролюбова являлась музыка, и все его стихи — попытка уйти из области слова в область музыки. Какими же путями шел Добролюбов к этой цели? Его стихи — это не реализация верленовского лозунга «музыка

прежде всего». Большинство стихотворений Добролюбова построено по законам какого-либо музыкального произведения и сопровождается указанием на форму, в которой они выдержаны. К некоторым стихам по аналогии с нотной записью музыки Добролюбов помещает указания на темп исполнения: «медленно», «медленно, с тихим упоением», «медленно и изысканно переплетаясь».

Музыкальная основа построения стихов Добролюбова осталась незамеченной, современники читали произведения Добролюбова как стихи и судили их критериями поэзии.

Лирика Добролюбова этих лет не менее выразительно-декадентская и по своим темам.

Таковы были стихи Добролюбова, собранные в книге «*Natura naturans. Natura naturata*». Как следует из сказанного, в том, что они остались не прочитанными современниками, нет исторической несправедливости: в программу его поэзии читатель не укладывался. Современники усматривали в их нечитабельности отсутствие таланта. Добролюбов талантом обладал, но талантом особого рода. Талант Добролюбова выразился прежде всего в способности так плотно уложиться в прокрустово ложе любой идеи, что она становилась прозрачной до своих последних глубин. Другой вопрос, что истинный поэт не мог столь последовательно претворять теорию в жизнь, инстинкт творца заставил бы его действовать, «несмотря на идеи». Добролюбов был лишен этого защитительного рефлекса, именно поэтому он и стал первым поэтом без читателя.

Вслед за сборником «*Natura naturans. Natura naturata*» в творческой биографии Добролюбова зияет белое пятно, поскольку рукописи этого времени были им утеряны. Сохранились лишь стихи, написанные накануне «ухода», осенью — летом 1897—1898 годов. Часть из этих произведений — все написанное стихами — была отобрана Брюсовым для сборника «Собрание стихов» (1900 г.). В рукописях стихи перемежаются с прозаическими отрывками, взаимодополняющими друг друга и рисующими ту сложную внутреннюю жизнь, которую ведет поэт в этот период.

Время, когда создавались эти стихи, было для Добролюбова переломным: декадентская вера истощивала себя. Изменились и внешние атрибуты его декадентства. В. Гишпиус вспоминал: «Он уехал из семьи и жил в меблированной комнате на Васильевском острове, ходил в университет, занимался египетской архитектурой и греческой философией, но в нем прежний Добролюбов выродился, замер»¹⁶.

Изменилось и творчество Добролюбова. Господствующей формой становятся прозаические стихотворения, своего рода философские этюды. Исчезают музыкальные заголовки, которыми пестрел первый сборник, в стороне остаются формальные эксперименты.

Перестройка системы изобразительных средств отражает перемены, происшедшие в самом Добролюбова. Напряженное бытие декадентской идеи подходит в нем к последнему рубежу. Оттесняется на второй план пафос служения искусству, пафос создания новых форм. Добролюбов уходит в продумывание идеологических аспектов декадентства. Теперь она становится для него прежде всего доктриной полного самоосвобождения личности.

«Разрешение от всяких уз идеальности и морали» запечатлевают стихи Добролюбова этих лет. Презрение к толпе, антидемократизм яростно исповедовались Добролюбовым. Сильная личность в духе философских построений Ницше воссоздается в прозаическом стихотворении «Игра слов»¹⁷. По воспоминаниям Н. Минского, поэт «однажды прочитал нам поэму в прозе, в которой рассказывалось, что несколько молодых людей пообедали «кубическим куском жареного человеческого мяса». На все вопросы автор отвечал двусмысленной улыбкой, ничего не имея против того, чтобы в нем видели одного из сотрапезников»¹⁸.

Границы собственной воли напряженно обдумываются поэтом. Их проверка запечатлена в отрывке «Из «неловкого дневника»: «Я снова оглядываю стены новой комнаты, однообразный, пошлый рисунок... Я хотел было переменить обои до переезда, но теперь у меня нет только денег. Нет! Вспомни и стыдись, в прошедшей горнице были тоже чужие обои, правда без рисунка, но ужасного желтого цвета. Итак, остается смириться... Мне был во всем предоставлен выбор: Теперь хозяйка может подавать мне утром украшенное Фором чайное блюдечко, и я не смею разбить его. Где же воля, никогда ничего не считавшая, направленная не только на себя, но и на все даже мелочи»¹⁹.

Но не только реальность — пробный камень для испытания границ воли личности, освобождающей себя «от всяких уз»: борьба переносится Добролюбовым и на небеса. Он стремится теперь не просто стать абсолютным законодателем собственной жизни, но и поразить противника, который диктует законы, управляющие человечеством в целом:

«Спасся Бог от людей и думает, что забудет о Дереве Жизни, принадлежащем пока только Богу... Зная все, должны же мы пе-

рестать быть детьми и похитить дар. В кое чем уже превзошли Его... Наша кротость лучше Его. И мы еще покажем себя! О, предчувствие падающих оболочек необходимости ступеней...»²⁰

Если воля человека признается способной управлять миром, то нет законов, которые в этой внешней реальности были бы непоколебимыми, нет абсолютных истин, все зависит от расположения и желания воли. Так возникает рассуждение: «Ах, сердце дрожит из любви к мировым вопросам: может, они просто стоят? даже знают это? А и лучше два, чем ни одного. Наконец, оба относятся дружно и не спорят о первенстве или мало, или благородно?»²¹ Оно же запечатлено в одном из стихотворений Добролюбова: «Встал ли я ночью? утром ли встал?»

Испытание внешних законов, установленных не самой личностью и повелевающих ею, подводит Добролюбова к идее самоубийства. Эта идея неизбежно должна была возникнуть: культ смерти, отвращение к реальности закономерно вели к ней, не менее закономерно приводила к этой мысли и доктрина полного самоосвобождения личности, воспринятая им из декадентства: самоубийство — последний шаг по пути самоосвобождения, нарушение последнего человеческого табу и единственный способ доказательства полноты собственной свободы. Легенды о призывах к самоубийству, исходивших от Добролюбова, складывались не случайно. О том, что такая мысль у него возникла, свидетельствует следующий отрывок:

«Мы оба решили сделаться самоубийцами, и, кто касался немного к тем же вещам, и также бесстыдно, не оскорбит меня подозрением. Я раздробил череп рассудка, но не посмел казнить груди, и продолжал существовать с невыразимой болью около трупа младшего брата»²².

Проповедуя самоубийство, Добролюбов все же не покончил с собой. Но заложенная в декадентстве энергия саморазрушения нашла другой выход: бегство из литературы было, без сомнения, актом литературного самоуничтожения. Начинается новый период его биографии — «жизнь кончилась, начинается житие». Отныне Добролюбов становится, по собственному выражению, «рыцарем странствующего ордена».

Теперь невозможно восстановить, как происходит перерождение Добролюбова в сектантского проповедника. Символисты, слагая вокруг его имени миф, сильно выпрямляли этот путь: они стремились изобразить его как религиозное раскаяние, как восстание из бездн нигилизма до вершин положительных

религиозных ценностей. Но есть свидетельства, что первоначально уход Добролюбова был далек от всякого покаяния, это была лишь смена паствы, идеи он нес «в народ» те же. «Ушел он проповедовать дьявола и свободу...» — записано в «Дневнике» Брюсова. Придя после первых странствий летом 1898 года к Брюсовым, Добролюбов, по воспоминаниям Н. Я. Брюсовой, предстал перед ними «богоборцем, отстаивающим права человека, у которых Бог хочет их отнять, обратиться его не в человека, а в «собаку человека»²³.

Но все эти подробности не мешали символистам очень скоро канонизировать Добролюбова как своего рода святого. Как авторитет жизненный, как образец поведения истинного символиста Добролюбов ставился очень высоко, и можно было бы привести целый ряд панегириков ему, принадлежащих символистам самой разной ориентации.

Странствия Добролюбова начинаются в Олонецкой губернии. Затем он попадает на некоторое время в Соловецкий монастырь. По дневниковым записям Брюсова, «его там совсем увлекли». Пребывание в Соловках было достаточно кратко, Добролюбов вскоре бежал из монастыря, не удовлетворенный монастырскими порядками. Первый вопрос, на который должен ответить исследователь жизненного пути Добролюбова, — что изменилось с его уходом в народ? Можно ли сказать вслед за символистами, что это было преодоление индивидуализма, обретение истинно положительных ценностей, позволивших преодолеть декадентство, пусть даже на религиозной основе? В 1898—1899 годах новое направление духовной деятельности Добролюбова не обозначилось еще отчетливо. Поэтому отрывочные сведения о его жизни этих лет не могут помочь в разрешении интересующего нас вопроса. Но вот в начале 900-х годов Добролюбов попадает в Самарскую губернию, где на стыке Николаевского (ныне Пугачевского района) и Бузулукского уездов оформилась секта добролюбовцев, в заветах которой и выкристаллизовалась новая вера Добролюбова. Дошедшие до нас материалы по ее истории и помогут уяснить истоки новой религиозности «брата Александра», как стал именовать Добролюбов с этих пор.

Если странствия Добролюбова начинались из желания проповедовать «дьявола и свободу», то очень скоро Добролюбов изменяет декадентскому атеизму и становится человеком религиозным. Вот как описывает друг Добролюбова петербургских лет В. Гиппиус свою беседу с ним накануне ухода Добролюбова в

Соловецкий монастырь: «Он весь переменялся страшно. В середине лета (...) пошел в Москву, обошел все монастыри и в августе вернулся в Петербург, чтобы отсюда уехать в Соловецкий монастырь послушником. Я был у него два раза. Он жил в маленькой комнате... В комнате только стол, стул и на полу тюфяк, над ним икона (...). Я спросил, что с ним (...). Он говорит, что знает истину и должен сказать ее людям. Я спросил, отчего же он уходит. Говорит, он должен наказать себя. Я спросил, что есть истина? Отвечает, что не может теперь говорить, что он «нечистый сосуд»... Он говорит, что не верил, был жесток и не любил людей. Что он любил разное и служил разному, теперь любит единое и служит единому...»²⁴ Как следует из этой записи, Добролюбова в Соловецкий монастырь приводит не желание обрести веру, а желание подготовиться к проповедованию открывшихся ему истин. Поэтому и не удаётся попытка сблизиться с церковными формами православия: церковь стремится прежде всего связать личность, направить ее в русло сложившейся религиозной традиции.

После выхода из Соловецкого монастыря начинается период странствий, которые приводят Добролюбова в Самарскую губернию — самый сектантский уголок царской России. Именно среди сектантов обретает Добролюбов подходящую паству. Личность Добролюбова как нельзя более соответствовала роли предводителя секты: сильный проповеднический дар, способность «идти во всем до конца», проводить свои идеи в жизнь с неукоснительной прямоотой. Когда начала складываться секта? Уже в 1901 году у Добролюбова были последователи. В городе Троицке (Оренбургской области) происходит суд над казаками Степаном Неклюдовым и Петром Орловым за отказ от воинской повинности, к которому их склонил брат Александр. Значит, уже в эти годы Добролюбов выступал в роли апостола новой веры. Его деятельность следующих лет частично помогает нам проследить материалы, сохранившиеся в архиве Л. Н. Толстого, в поле зрения которого Добролюбов попадает примерно с 1902 года.

В сентябре 1903 года Добролюбов совершает свой первый визит в Ясную Поляну. После визита Толстой записывает в дневнике: «Был Добролюбов, христиански живущий человек. Я полюбил его». Устный рассказ об этом визите записан И. П. Ярковым: «Как известно, Толстой принял Добролюбова за обычного странника из народа. Однако, разговариваясь, понял свою ошибку. Понял, что перед ним не типичный странник (...), а об-

разованный, или, как говорят уже в наши дни, культурный человек (...). После беседы брат Александр и брат Сергей остались ночевать у Толстого. Проснувшись утром другого дня, брат Александр обнаружил, что все его прежние крестьянское, странническое одеяние и обувь (обычные лапти) исчезли. А вместо них на стуле возле постели разложена более «приличная», городского типа одежда, около стула стоят новые сапоги.

Ему пояснили, что вся его одежда, в которой он явился к Толстому, в том числе и лапти, предана огню, сожжена, и что ему надлежит одеться в новое одеяние, которое ему любезно преподносит графиня Софья Андреевна²⁵. Добролюбов подчинился этому и безропотно оделся в предложенную новую одежду. Попрошавшись со Львом Николаевичем и его семейством, брат Александр и брат Сергей тронулись в путь. На Тульском шоссе, уже на значительном отдалении от Ясной Поляны, повстречался им бедно одетый крестьянин, мужик. Брат Александр остановил его и довольно-таки властно предложил: «Разденься, сними свою одежду, а я сниму свою. Ты оденешься в мою, а я надену твою». На недоуменный вопрос крестьянина, к чему это, Добролюбов ответил кратко: «Так надо». Крестьянин несколько заупрямился, но брат Александр проявил приличествующую случаю власть, так что крестьянин в конце концов подчинился и стал раздеваться. Разделся и брат Александр и быстро надел на себя всю немудрую, выдавшую виды крестьянскую одежду, а также и лапти, в которые был обут крестьянин. Переодевшись, брат Александр и брат Сергей приветливо попрощались с мужиком, пожелали ему всего доброго и пошли дальше. А крестьянин дальше не пошел. Одетый в исправный городской костюм и новые сапоги, он, как столб, стоял на одном месте и недоумевал: что же такое с ним произошло?»²⁶

Визитер Л. Н. Толстого заметно отличается от Добролюбова петербургских лет. Даже опытный глаз Толстого принимает его сначала за мужика, в которого тот успел превратиться за какое-нибудь пятилетие. Мужичье одеяние в такой же степени отвечает новым устремлениям Добролюбова, как отвечал декадентским идеям его костюм петербургских лет. Этот рассказ, записанный И. П. Ярковым от последователей брата Александра, может служить примером тех легенд, которые слагались вокруг Добролюбова в сектантской среде. Он помогает понять, почему так успешно укреплялся в народной среде авторитет этого нового пророка. Что привлекало в нем прежде всего? Опять «соответствие

слова с делом», которые, по оценке Минского, в свое время выделяли Добролюбова в среде петербургских литераторов. «Справный городской костюм», конечно, не составлял особой ценности для Добролюбова, но в глазах крестьянина подобное пренебрежение к собственности было сродни святости. И. П. Янков записал еще устное предание, бытовавшее в среде добролюбовцев, о том, что «брат Александр оставил в Петербурге семью, большой, длинный, «во весь квартал», дом, в котором жила его семья и сам до ухода, — «целый дворец», роскошные условия жизни. И всем этим брат Александр пренебрег, ушел и спустился в народные низы»²⁷.

Вскоре после первого визита в Ясную Поляну Добролюбов обращается к Толстому с письмом: «Лев Николаич, я могу сказать и о тебе — ради любви. Ты близок к смерти, ты всю жизнь сражался за некоторую часть веры и за телесный труд как за неизбежный закон божий — пока, на видимой земле, подыми еще раз меч за это, не давай повода ищущим повода, разъясни свою ошибку в отдаче имения, что теперь не исправить, но чтоб не соблазнялись; разъясни еще свою ошибку — как ты не признавал, что ты не вышел из барского дома (этого тоже теперь не исправить по болезни) и разъясни (лучше печатно, всем, потому что ты печатаешь и печатал все), кроме этого разъясни, что ты признаешь ошибкой, когда оставил телесный труд (и это по болезни теперь не исправишь). Такое признание оградит закон телесного труда и бедности, за который ты боролся всю жизнь, оградит крепче всех осуждений от всех осуждающих»²⁸. Содержание и тон этого письма характерны для Добролюбова. Хотя в проповедях он призывал своих последователей к смирению, сам он чаще всего «приказывает от имени бога». Чем завоевывает Добролюбов право поучать Толстого? Прежде всего тем, что сам неукоснительно осуществляет свои заветы.

В сектантский период деятельности Добролюбов стал убежденным пацифистом, что заставляло его последователей неоднократно «претерпеть за веру». Материалы об этих преследованиях сохранились в архиве Толстого.

В 1905 году в символистском издательстве «Скорпион» выходит сборник произведений Добролюбова-проповедника «Из книги невидимой».

Главная цель издания третьего сборника произведений Добролюбова — «печатно опровергнуть всю злую часть прежних дней своих»²⁸, как он выразился в письме к Толстому. По содержанию этот сборник пол-

ностью отрицает те идеи, которые воодушевляли Добролюбова в петербургский период. Антидемократизм, презрение к бедности сменяются «восхвалением нищего жития». Культ смерти сменяется преклонением перед всем живым.

И всемирным браком с каждой тварью
сочетались,
Со звездами, с ангелами, с морями
сочетались,
Даже с грешными и со зверями
сочетались,
Даже с демонами сожаленьем
сочетались²⁹.

От былого богоборчества и самообожествления Добролюбов переходит теперь к истовому служению богу. И все же в сборнике «Из книги невидимой» можно найти немало общего с декадентским творчеством Добролюбова. Неизменным остается тот источник, откуда черпает Добролюбов новые ценности. Его религиозное учение полностью основано на внутреннем откровении, на истинах, явившихся в моменты «проблесков». Если раньше такие «озарения» помогали создавать произведение искусства с большой буквы, то теперь он извлекает из них учение об «истинной жизни». В минуты духовного просветления голос бога, по словам Добролюбова, диктует ему страницы «Из книги невидимой», сам он лишь служит посредником между богом и человечеством. «Братья, — пишет Добролюбов, — я хотел излагать слово о боге подробно по частям и разделеньям вопросов, как земные мудрецы, но бог воспретил мне. Он не велит ни украшать, ни перечеркивать, ни прибавлять, ни убавлять, ни зачеркивать, ни переставлять, ни лгать».³⁰ «Миги» Добролюбова наполнены теперь религиозными прозрениями, и пифическая интонация заставляла читателей относиться к его произведениям как к новому завету.

Важная страница во взаимоотношениях Толстого и Добролюбова начинается в 1907 году. Она помогает нам установить время, когда начинала складываться секта добролюбовцев, доносит ценную информацию об устройстве секты. По поручению Толстого в апреле 1907 года в самарские степи едет Н. Г. Сутковой для раздачи пострадавшим от голода денег, присланных канадскими духоворами. Сутковой встречается там с Добролюбовым и его последователями и подробно описывает в письмах к Л. Н. Толстому свои беседы с ними.³¹ Эти письма становятся тем более ценным источником, что Сутковой впоследствии примкнул на некоторое время к добролюбовцам и с самого начала очень заинтересованно

отнесся к их религиозным исканиям (отсюда восторженный тон некоторых писем).

Первое впечатление от добролюбовцев Сутковой излагает так: «Они совсем непохожи на сектантов. Видишь перед собой простого человека, но чувствуешь, что он ни одного слова не говорит на ветер: как будто всматривается в себя и говорит только то, что ему подсказывает совесть, и при этом и взгляд и манеры невольно располагают, подкупают»³².

Постепенно Сутковой теснее знакомится с последователями брата Александра, посещает их собрания и сообщает Толстому:

«Всех братьев, не считая семейств, здесь человек 12, около этого разбросано по другим деревням и человек 10—12 под Омском. Они хотят перейти к общинному хозяйству, но пока вместе работают только 5 семей, остальные «несвободны» — не позволяют семейные и др. Но вообще между ними почти нет собственности, делятся друг с другом даже последним хлебом и все готовы вступить в общину при первой возможности. (...) Почти все они не русские, а молокане (вроде мордвы), хотя говорят и по-русски (с акцентом только). Прежде по большей части были молоканами, многие не удовлетворились этим, искали лучшего, и, когда сюда приехал Добролюбов, они перешли к нему. Это было 3 года назад»³³.

Важной чертой учения Добролюбова было отрицательное отношение к книгам, к чтению, как к пути постижения истины: «Они слишком скептически относятся к наружному писанию и говорят, что сам человек ничего не может достигнуть, и потому надо работать, но надеяться не на себя, а на бога»³⁴. Постигание истины может происходить не рассудочным, а иррациональным путем. «Добролюбов признает нечто вроде духовного опьянения, во время которого происходит как бы наитие свыше»³⁵.

«Таким же внутренним побуждением руководятся добролюбовцы и во всех своих поступках, а также в разговорах. Ко всякому своему предположению или обещанию они никогда не забывают прибавить что-нибудь вроде «если придется», «если будет угодно богу». Особенно удивляло это меня первое время в разговорах. Собирается человек 15, больше. Споют иногда что-нибудь, потом часто воцаряется полное молчание. Говорить о наружном (т. е. не имеющем отношения к внутренней жизни человека. — *Е. И.*) на собраниях у них не принято, а о внутреннем часто ни у кого из них «нет слова». Делать же усилие над собою, стараться поднять какой-нибудь вопрос, пока ни у кого не явилось

ясного побуждения к этому, они не считают нужным. Добролюбов называет это — «находиться в храме молчания», и думает, что это далеко не потерянное время для того, кто бодрствовал»³⁶. Некоторые ноты скептицизма пробиваются у Сутковой лишь по отношению к самому Добролюбову.

«Мне все еще кажется, не побуждает ли его к той очень большой работе, которую он совершает, хорошо продуманное и, может быть, возвышенное честолюбие»³⁷. И другую особенность, проявившуюся уже на первом этапе существования секты, замечает Сутковой.

«Мне кажется, — пишет Сутковой, — что всех добролюбовцев можно разделить на вполне сознательное меньшинство и подражающее, следующее за Добролюбовым, подчиняющееся ему большинство»³⁸.

Благодаря информации, полученной от Сутковой, Толстой получает возможность более определенно высказать мнение об учении Добролюбова. Он направляет Сутковой письмо с явным расчетом на то, что его прочтут брат Александр и его последователи: «То же, что вы пишете об их собраниях в храме молчания и бодрствования, есть то же, что было и есть у квакеров, и боюсь, что может выродиться в обряд. Вообще, именно п. ч. я высоко ценю веру и вытекающее из нее душевное состояние добролюбовцев и люблю и уважаю их, я считаю перед богом нужным высказать то, что думаю о них (...). Мне кажется, что они приписывают слишком большое значение отсутствию внешних форм, что в сущности невольно образует новую форму. А для исполнения воли бога и для блага людей нужно избегать всего того, что может разделять людей, а, напротив, искать того, что может соединять их. (...) Если глупо бы было самому выдумывать логарифмы, то насколько глупее бы было ради своей особенности не знать всего того, что сделали и делают лучшие люди человечества во всем мире за несколько тысяч лет и не идти вперед в этом знании, а выдумывать и неясно, нескладно высказывать то, что за тысячи лет сказано так просто и ясно. А к этому самому приводят исключительные обряды бодрствования и нежелание знать книги. (...) Кроме того, всякое выделение себя от людей в кучку праведников, по-моему, грех. Пусть каждый живет по-божьи, как он понимает закон бога, и пусть другие отделяют его от себя, а не он сам»³⁹.

Дальнейшая история добролюбовцев, собранная куйбышевским исследователем И. П. Ярковым, подтверждает справедливость опасений Толстого. Их объединение по мере

своего развития становилось все более и более именно сектой, то есть чем-то противоположным тому «всемирному единению народов», к которому призывал брат Александр. Отсутствие обрядов превратилось в частую смену обрядов, руководел которой брат Александр. Да и жизнь общины в целом все больше и больше определялась «внутренним голосом» ее верховного вождя. «Частая смена условий и характеристик эксперимента была столь же необходима Добролюбову, как и любому другому «духовному естествоиспытателю». Было время, когда брат Александр внутренне убедил себя или уверовал, что ему и в самом деле удалось создать свою церковь, общину верующих, и что его задача — теперь — стать во главе этой общины и управлять ею. (...) Пышным дворцом, где он поселился и откуда вершил все братские дела, служила старая, полуразвалившаяся «банешка», а простая, деревянная скамья успешно выполняла обязанности трона. И вот, — рассказывают очевидцы, — запретс он, бывало, в этой банешке, к нему и не подступился.

Большей частью приходили к нему братья по вызову. Возражать или противоречить ему было не так-то легко. Ничего не поделаешь — «назвался груздем, полезай в кузов». Брат Александр возражающих не любил. Поговаривают так наедине с кем-нибудь из «провинившихся» братьев и тут же выносит решение: «не сообщайтесь с братом таким-то». И устанавливает срок, смотря по мнимой или действительной тяжести совершенного «греха» или проступка (...) Сами условия хозяйствования, экономические потребности не давали братьям возможности реально бойкотировать ту или иную братскую семью. Немудрено, что накоплялось и крепло известного рода недовольство подобной практикой «табу». И вот, — рассказывают очевидцы, — как-то раз случилось так, что мы не вытерпели. Взбунтовались. Пришли к брату Александру и прямо заявили ему: (...) Не то ли самое делаешь ты, что делают все цари и правители — мирские и духовные? (...) Брат Александр заперся и долго не показывался. А вечером пришел на собрание (на беседу) в одном из домов и — всенародно покался: «Простите меня, братья и сестры! Да, я не прав...» С тех пор он стал как-то осмотрительнее и уж не накладывал ни на кого подобных епитимий»⁴⁰.

Укреплению авторитета брата Александра способствовало отрицание книжной культуры. «Нацелив свое личное внимание на задачу «чтения» внутренней, «невидимой» книги, Добролюбов явственно переоценил значение этого рода «книги» для своих полуграмотных

последователей, (...) Но рекомендовать своим последователям, еле-еле усвоившим общую грамоту, не развиться дальше в книжном смысле, а углубиться лишь в книгу «невидимую», черпать знания только из нее одной и довольствоваться ею, — это, по существу, значило вовсе оторгнуть их от книги, от грамоты, от саморазвития...»⁴¹

Ограждал «братков» от посторонних влияний и другой запрет брата Александра — «не сообщаться с образованными».

Период, когда внутренний голос внушал Добролюбову религиозные наставления об истинной жизни, о путях правильного служения богу, был высшей точкой взлета Добролюбова. Он имел около себя большое число последователей, бывшие соратники по литературе считали его сектантскую деятельность началом чуть ли не новой эры в истории культуры, сравнивали самого Добролюбова с Франциском Ассизским. Но и эта идея — идея создания собственной церкви — начала исчерпывать себя. Очень скоро Добролюбов ощутил, что такая на первый взгляд подавляющая сектантская среда не могла находиться вместе с ним в вечном поиске истины, она хотела ее *обрести*. Сектантам нужна была остановка на путях искания, которая помогла бы им обрести жесткую форму, подобно другим сектам. Новые и новые откровения, заставлявшие изменять обряды, вызывали уже прямые недовольства. Надо было подчиниться этим требованиям и стать одним из «заволжских пророков». Добролюбов же всю свою жизнь не прекращал поиска истины, вот почему эти черты в развитии секты подводят его к новому рубежу, за которым он и продолжил поиск. В середине 10-х годов Добролюбов покидает Заволжье.

При этом секта начинает вести независимое от него существование, продолжая проводить в жизнь идеи, исчерпавшие себя для ее основоположника. А основоположник вырывается из плена идеи, как сумел он в свое время оставить декадентство, исчерпав его для себя.

О дальнейшей жизни Добролюбова сохранились очень разрозненные сведения. Одно можно с уверенностью сказать — искание истины не кончается для него в Заволжье, и дальнейшая духовная жизнь этого «рыцаря странствующего ордена» знала множество переворотов во взглядах. Одно осталось непоколебимым — до конца своей жизни он не переставал заниматься физическим трудом.

Из Поволжья Добролюбов переключивается в Сибирь, где в предреволюционные годы занимается землеройными работами. И. П. Яр-

ков собрал некоторые факты, относящиеся к этому времени.

В эти годы Добролюбов уже не собирает вокруг себя секты, хотя и имеет единомышленников. О его жизни последующих лет можно судить по «страничке из дневника», посланной Добролюбовым в письме к Н. Я. Брюсовой: «С 1921-го по 27-й. 2 года омский поселок Славгород, 2 года Самарский округ, Бухара — Душанбе — 2 года. Перемена направлений. Цель одна — изучение чего-то необъяснимого, изучение направления народов, тщательное изучение всех, даже самых враждебных понятий и течений (до 20-го года я жил только в своем, избегая всего мне отдаленного, болел духом даже при случайном споре, ненавидел его). От ясно наступившего в Поволжье голода пришлось бежать в начале 20-го в Омский уезд, где я жил среди чужих. (?) был для меня в тысячу раз Славгорода, где я встретился с фальшивым братством (слова о высшем, в деле бездеятельность, дружба с богачами, покупка и перепродажа на базарах), не знаю, как я вырвался из их елейных рук. (...) Только озираясь назад, понимаешь тогдашнее смутное ощущение, я жил тогда неосознанным, после Сибири боязнь посещения Братства, предчувствие его застойности или тупности, слишком близко было мне все это, чтоб подвергнуть себя таким терзаниям духа. Работа была по городам и по линии железных дорог. Одновременно наружная цель во всех дорогах — изучение мастерства (до германской войны почти включительно все мои рабочие годы я не изучал никакого мастерства, у меня все время было одно стремление — к самым тяжелым работам, заработок был для меня тогда побочное, сейчас он выдвинулся)».

На этом не обрываются странствия Добролюбова. В 30-х годах он продолжает работать печником в глухих районах Азербайджана. Сохранились отрывки из произведений этих лет — четыре «Манифеста представителей ручного труда», около десятка стихотворений. Одно время Добролюбов намеревался вернуться в литературу, о чем свидетельствует его письмо 1938 года к В. Бонч-Бруевичу, но намерение это не осуществил. Умер Добролюбов в Азербайджане в конце 1942-го или начале 1943 года, намного пережив свою славу, почти всеми безнадежно забытый. Но перед смертью он направил своим бывшим единомышленникам, остаткам «братков», интересное письмо, в котором подводит итог своим исканиям. В этом документе, как представляется, и следует искать ключ к пониманию ло-

гики жизненного пути, которым шел этот незаурядный человек. Вот его последнее слово:

«Привет от глубины тебе, сестра Татьяна, тебе, брат Николай Узков, всем братьям и сестрам, с которыми были едины тогда наши дороги.

Извещаю вас вкратце о главных своих, то есть о внутренних (изменениях?). Я не отвергаю тогдашних дорог своих, не отвергаю ихнего направления, каждая дорога, близкая к тем путям, для меня драгоценность и сейчас; конечно, в старых дорогах я откинул то, что признал за слишком наружное или обрядное. Веками люди были связаны обрядами, и нас, отвергших все обряды, обряды снова побеждали с самой незаметной стороны.

Я признаю братство и сейчас, но не так строго наружно: всякий подходящий ко всему добру — уже в братстве.

Но одну вещь, бывшую тогда моей ценностью, я откинул окончательно, можно сказать и не откинул, но стал видеть ее иначе.

Я откинул всякое признание высшего существа свыше личности человека. Даже духовнейшее из таких познаний кажется мне одним из видов духовного или духовнейшего рабства, даже малейшее прикосновение к этой мысли для меня тяжело и кажется заблудившим нас всех заблуждением. Свет, который я ощутил ясно внутренним взором своим, который я принимал за свет какого-то особого существа, — это был свет моей личности.

Я пережил до глубины эти вопросы, взвесил их, и этот вопрос оказался слишком легким — или детским, то есть бога я признаю только как добро. Всякое другое понятие для меня рабство.

Не хочу скрыть от вас, объявляю вам решение своей мысли.

Конечно, всякие насмешки или издевательства над недостигшим для меня чужды или кажутся даже позорными. Вот сообщенное мною одно из главных слов моих оснований сейчас. (...) Конечно, я слышу — многие скажут: «Это измена». Но это не измена. Это окончательная расчистка дорог. И страшно и позорно суеверие, и древнейший обман всегда возрождается под тысячами новейших маскировок... Жму ваши руки — всех знавших нас и знающих нас и сейчас. Известный вам друг и брат по всемирному братству всех познаний.

Александр Добролюбов».

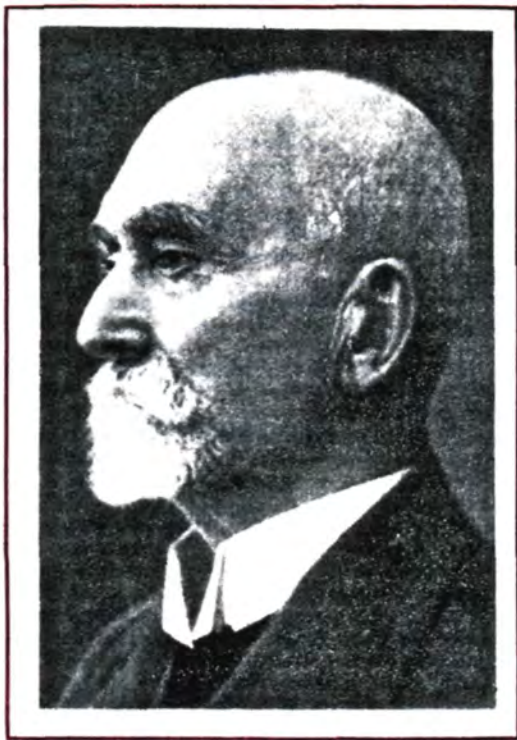
Письмо датировано 24 августа 1940 года.

Таков был итог жизненного пути этого незаурядного человека. «Внутренний голос», который на протяжении всей его жизни диктовал попеременно то произведения какого-то не слышанного, неведомого миру искусства, то внушал богоборческие идеи, то заставлял с горсткой праведников искать путей к Истинному служению богу, он сам осознал в конце жизни как голос собственной личности.

Итогом его исканий оказалась старая как мир истина — «Бог есть добро», — правда, добытая ценой тяжелых и долгих скитаний. Он не оправдал тех надежд, которые возлагали на него символисты, но зато полностью подтвердил пророчество Толстого, высказанное в письме к Сутковому: всю жизнь он выдумывал и неясно, нескладно высказывал то, что за тысячи лет до него было сказано просто и ясно.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Л. Н. Толстой. Полн собр. соч. т. 56, с. 47.
- ² Н. Мин (Н. М. Минский). Новообращенный эстет. — Газета «Рассвет», № 82. 1905.
- ³ Русская литература XX века. Т. 1. М., «Мир», 1916, с. 266.
- ⁴ Там же, с. 288.
- ⁵ А. Крайний (З. Н. Гиппиус). Литературный дневник. Спб., 1906, с. 55.
- ⁶ Русская литература XX века, с. 288.
- ⁷ Теорию эту Добролюбов проповедовал устно. Брюсов изложил ее в интервью Арсения Г. «Московские декаденты» («Новости дня», № 4024, 1894). В данном случае приводится ее резюме, в газете же теория излагается в форме диалога.
- ⁸ А. Добролюбов. *Natura naturans. Natura naturata*, с. 10.
- ⁹ РОГБЛ, ф. 386, к. 128, ед. хр. 23, л. 33.
- ¹⁰ Письма В. Я. Брюсова к П. П. Перцову. М., ГАХН, 1927, с. 13.
- ¹¹ В. Брюсов. Дневники. М., 1927, с. 43.
- ¹² РОГБЛ, ф. 386, к. 128, ед. хр. 23, л. 48 об.
- ¹³ Там же, ф. 386, к. 128, ед. хр. 23, л. 78.
- ¹⁴ Там же, л. 78.
- ¹⁵ Там же, к. 128, ед. хр. 23, л. 9 об.
- ¹⁶ Русская литература XX века, с. 285.
- ¹⁷ РОГБЛ, ф. 386, к. 128, ед. хр. 23, л. 36 об. — 37.
- ¹⁸ Н. Мин. Новообращенный эстет.
- ¹⁹ РОГБЛ, ф. 386, к. 128, ед. хр. 23, л. 33 об.
- ²⁰ Там же, л. 63.
- ²¹ Там же, л. 66 об.
- ²² Там же, ф. 386, к. 128, ед. хр. 23, л. 31.
- ²³ Н. Я. Брюсова. Воспоминания о Валерии Брюсове. РОГБЛ, ф. 386, к. 120, ед. хр. 47.
- ²⁴ Рукописный отдел Пушкинского дома, ф. 77.
- ²⁵ Обаяние Добролюбова было так велико, что покорило и Софью Андреевну Толстую, не любившую, как известно, «темных» визитеров. Она записывает в «Еженедельнике»: «Пришел ко Льву Николаевичу интересный по религиозности молодой человек». — Цит. по Полн. собр. соч. Л. Н. Толстого, т. 54, с. 388.
- ²⁶ Здесь и далее будут цитироваться материалы работы И. П. Яркова «Какими я их знаю. Рассказы о брате Александре Добролюбове, его друзьях и последователях», хранящейся в личном архиве И. П. Яркова.
- ²⁷ Там же.
- ²⁸ Рукописный отдел ГМТ.
- ²⁹ А. Добролюбов. Из книги невидимой. М., «Скорпион», 1905, с. 20.
- ³⁰ Там же, с. 140.
- ³¹ Письма Сутковского к Толстому хранятся в ГМТ. В дальнейшем ссылка дается только на дату письма.
- ³² Письмо от 2.V. 1907.
- ³³ Письмо от 5.V.1907.
- ³⁴ Письмо от 11.V.1907.
- ³⁵ Письмо от 1.V.1907.
- ³⁶ Письмо от 1.VI.1907.
- ³⁷ Письмо от 16.VI.1907.
- ³⁸ Полн. собр. соч., т. 77, с. 131—132.
- ³⁹ И. П. Ярково. Какими я их знаю...
- ⁴⁰ Там же.



Юнас Стадлинг.

Юнас (Ионас) Юнссон Стадлинг (1847—1935), шведский журналист и писатель, неоднократно бывал в России и посвятил ей не один труд. В 1891 году вышла в свет его книга «De religiösa rörelserna i Ryssland», Stockholm. В 1892 году во время голода в России как помощник американских и шведских благотворителей он поддерживал Толстого в его работе с голодающими. Рассказал об этом в очерках на страницах журнала «The Century Illustrated monthly magazine», New York, 1893, а также в своей книге «Tjän det hungrande Ryssland», Stockholm, 1893 и совместно с Уиллом Ризном «In the Land of Tolstoi» (1897).

24 февраля 1892 года по старому стилю (7 марта по новому) Стадлинг приехал к Толстому в деревню Бегичевка Данковского уезда Рязанской губернии, которую русский писатель избрал «главным центром» по оказанию

помощи голодающим. Работавшая в 1891—1892 годы с Толстым на голоде Вера Михайловна Величкина в своих воспоминаниях «В голодный год с Львом Толстым» (М.—Л., 1928) отмечает о приезде Стадлинга: «Он был корреспондентом одной из английских газет и явился в нашу глушь, чтобы видеть Льва Николаевича и познакомиться с его деятельностью в деле помощи голодающим крестьянам... Стадлинг оставался у нас после около двух недель в Бегичевке и пришлось по душе всем сотрудникам. Положение нашего крестьянства произвело на него сильное впечатление. Еще по дороге к нам со станции при виде наших бесконечных, пустынных полей он с изумлением спрашивал свою спутницу: — а где же работники этих полей? Потом он, не зная ни слова по-русски, уехал в Самарскую губернию, где тогда свирепствовал голодный тиф, и принял самое горячее участие в уходе за больными».

Помощь, оказанная Стадлингом Толстому в 1892 году, не прекращалась и в последующие годы, они обменивались письмами по поводу Гаагской мирной конференции 1899 года, обсуждения кандидатуры Толстого на Нобелевскую премию в 1901 году.

Воспоминания Стадлинга, относящиеся к 1892 году, с большими пропусками, сделанными цензурой, были впервые опубликованы в приложении к газете «Новое время» от 5(17) и 12(24) июня (№ 6201, 6208) 1893 года под названием «У графа Л. Н. Толстого. Очерк американца Стадлинга». Переводчик, введенный в заблуждение тем, что воспоминания были опубликованы в США, назвал Стадлинга американцем. Позже текст этих воспоминаний с новым названием «У графа Л. Н. Толстого в голодный год. Рассказ американца Стадлинга» был включен в сборник, составленный Ч. Ветринским, «Лев Толстой и голод» (Нижегород, 1912).

Мы приводим воспоминания Стадлинга «С Толстым на голоде в России» в новом переводе по тексту: Jonas Stadling, «With Tolstoy in the Russian Famine». — «The Century Illustrated monthly magazine». New York, 1893, vol. 46, N 2, June, p. 249—263.

В январе 1892 года, живя в Швеции, я получал письма из охваченных голодом губерний России. В них рассказывалось, в частности, о страдальцах, которые по тем или иным причинам не получали официальных вспомоществований. Еще ранее небольшие суммы, жертвуемые шведами для помощи голодающим, были направлены в Россию. Но так как друзья в Великобритании и Америке выразили надежду, что смогут собрать более значительные пожертвования, мне предложили поехать в Россию и попытаться организовать там благотворительную работу среди наиболее пострадавших и обойденных. Опасаясь, что иностранцу будет трудно, а то и вовсе невозможно осуществить этот план собственными силами, я написал графине С. Толстой, спрашивая ее совета. В ответ было получено письмо следующего содержания на английском:

«Милостивый государь, очень трудно давать совет в таком вопросе, как благотворительность. Любая поддержка в этой беде дорога, и организация помощи голодающим России могла бы принести большую пользу. Но организации (частью) запрещены в России, и каждый помогает народу как может.

Если бы кто-нибудь захотел послать значительную сумму, ее можно направить или в комитет наследника цесаревича в С.-Петербур-

бурге, или в комитет Великой княгини Елизаветы Федоровны в Москве. Если же вы захотите представить деньги в частное распоряжение, мой муж и моя семья постараются сделать все возможное, чтобы употребить их с наибольшей пользой для облегчения народного бедствия.

Думаю, что, если бы вы сами приехали в Россию, вы были бы очень полезны, так как личная помощь необходима почти так же, как денежная. Но жизнь в охваченных голодом деревнях очень тяжела, приходится терпеть большие неудобства, и если вы никогда не бывали в России и не имеете представления о русской деревне, то не вынесете этой жизни.

Голод ужасен. Хотя правительство и пытается сделать что может, частная помощь очень важна. Лошади мрут от бескормицы, коров и другой скот крестьяне либо режут, либо он дохнет от голода. Скота остается все меньше и меньше.

Мы намеревались, если получим достаточно денег, закупить весной лошадей на юге России, с тем чтобы дать нашим крестьянам возможность работать. Наши крестьяне ничего не могут делать без скота. Однако это только планы. Пока же мы делаем все возможное, чтобы сохранить жизнь соотечественников. Как ужасно больно видеть наших бедных страдающих крестьян, таких беспомощных, но полных надежды, что они встретят кого-нибудь, кто проявит к ним жалость и сочувствие. Если вы, сударь, постараетесь сделать что-нибудь, господь благословит вас. Искренне ваша.

Графиня С. Толстая.
Января 20-го (старый стиль) 1892».

В середине февраля я получил телеграмму из Америки, решившую мою поездку в Россию. Установлено было, что все пожертвования моих друзей будут направляться или графине Толстой для оказания помощи голодающим ее семье, или надежным лицам в южной России, с тем чтобы они помогли семьям, которые страдают от преследований не меньше, чем от неурожая.

...Прибыв в Москву, я нанял извозчика и поехал прямо к дому графа Толстого. После получасовой езды возница остановился перед простым двухэтажным деревянным домом на окраине города. Он был окружен деревянным забором. А на воротах большими золотыми буквами стояло согласно русскому обычаю имя владельца: «Дом графа Л. Н. Толстого». Мне говорили, что несколько лет тому назад граф заменил эту надпись вывеской башмачника, на которой был нарисован сапог и значилось: «Л. Н. Толстой, сапожник». Однако

во время визита царя в Москву его внимание было обращено на эту вывеску, и графу приказали сменить ее на обычную¹. Я вошел в ворота и позвонил у парадного подъезда. Слуга отворил дверь и впустил в дом. Через несколько минут в переднюю вошел высокий худой молодой человек со смуглым лицом и поздоровался по-английски. То был второй сын графа Толстого — Лев Львович², о работе которого среди голодающих в Самаре я сообщу подробно в другой статье. Он сказал, что матери нет дома, и пригласил к обеду к 5 часам вечера. Тем временем я отыскал себе подходящую квартиру.

По возвращении меня провели наверх в большой просто обставленный зал. Через несколько минут вошла графиня Толстая и приветливо обратилась ко мне по-английски. Графиня Софья Андреевна Толстая — высокая, представительная женщина, прекрасно сохранившая свежесть, красоту и живость молодости. По-английски говорит бегло и, несмотря на это, правильно. Графиня спросила, знаю ли я о травле, которую начала против ее мужа «Московская газета».³ Я отвечал утвердительно, добавив, что слышал так много противоречивого, что уже и не знаю, где правда, а где ложь. Но и узанного вполне достаточно, чтобы испытать самые серьезные опасения как в отношении графа, так и по поводу цели моей поездки. Позвонили к обеду. Внизу, в столовой, я снова встретил молодого графа и был представлен немногочисленным гостям, а также находящимся в доме членам семьи. К столу было подано четыре блюда и квас. Графиня извинилась за «очень простой обед», добавив: «Мы не хотим поощрять у себя роскошь». В разговоре было упомянуто, что иностранные издатели сочинений графа, не платящие ничего автору, должны были бы хоть чем-нибудь помочь графу в его борьбе с голодом. Я вызвался напомнить некоторым из них об их обязанности и с удовольствием должен заметить, что призыв не был напрасным. Когда встали из-за стола, снова зашел разговор о преследованиях графа. «Вы не можете себе представить, — сказала графиня, — как жестоко искажаются и умалены извращаются цели и поступки моего мужа». Я возразил, что когда делаешь добро, то находишь отраду и удовлетворение даже в самых тяжелых обстоятельствах. «Мой муж, — продолжала графиня, — не политический революционер, каким хотят изобразить его враги. Он стремится к нравственному возрождению личности и общества, в основе его слов и поступков лежит глубокое и сильное моральное негодование».

Самые последние нападки на графа были весьма показательны. Он написал о бедствии

крестьян интересную статью, в которой предложил также план помощи голодающим. Статью русские газеты отвергли. По своему обыкновению граф разрешил ее перевод и публикацию в зарубежной прессе. Спустя некоторое время она появилась в лондонской «Дейли телеграф». Граф писал, что недостаточно только снабжать крестьян продуктами, их надобно пробудить от безнадежной апатии и вывести из состояния глубокого унижения. Предложение, содержащееся в русском оригинале, было не совсем точно передано по-английски. Тогда «Московская газета», главный орган фанатического самодержавного мракобесия, ухватилась за неточность и совершенно извратила слова графа: получалось, будто он призывал «крестьян подняться против властей»⁴. Князь Щербатов⁵, тесть покойного г-на Каткова⁶, бывшего редактора «Московской газеты», опубликовал в ней ничинную статью против графа Толстого, где говорил о необходимости «уничтожения этого зла» (то есть графа Толстого и его сочинений). Это должно было послужить сигналом для других нападок. То, что план не был осуществлен, вероятно, можно приписать визиту графини Толстой в С.-Петербург и ее частной аудиенции у царя⁷.

Нападки на графа и слухи о том, что его то ли заключили в тюрьму, то ли выслали, вызвали такую сенсацию, что предлагалось 20 долларов за экземпляр «Московской газеты» с этой статьей...

Сам же граф не обращал внимания на эти нападки и продолжал свою деятельность среди голодающих. Наконец друзья убедили его воспользоваться правом, предоставляемым законом, и напечатать ответную статью в той самой газете, которая начала травлю. Граф написал небольшой и сдержанный ответ, однако в законном праве публикации ему было отказано⁸. Дом графа Толстого был постоянно окружен сыщиками, которые заходили так далеко в своей наглости, что даже заглядывали в комнаты через окна. Однажды графиня сказала: «У меня иногда такое чувство, что, если бы нас выслали из России, я бы не приняла это слишком близко к сердцу».

...В Москве было решено, что я прежде всего отправлюсь в Рязань и проведу пару недель в главном центре деятельности старого графа Толстого, а затем поеду с его сыном Львом Львовичем в Самару, где последний должен был возобновить свою работу и где, как говорили, бедствие еще ужаснее, чем в других местах. В день отъезда из Москвы мне случилось проходить мимо дома, где была размещена выставка фотографий. «Нет ли у вас снимков страдальцев из голодной губер-

нии?» — спросил я одного из сотрудников. «Запрещено», — последовал лаконичный ответ. «Почему?» — «Не знаю». Войдя в следующую комнату, я увидел множество любительских аппаратов, о которых учтивый немец дал исчерпывающую информацию. И хотя не один фотограф-любитель был задержан полицией в русских деревнях, я решил купить «Кодак». Многие из моих фотографий художественно несовершенны, но единственно, в чем ценность их несомненна, — то, что сняты они прямо с натуры и, насколько мне известно, являются единственными photographиями, сделанными в голодающих губерниях⁹.

Поздно вечером 5 марта я выехал из Москвы в Клеточки, куда надеялся прибыть на следующий день, но метель задержала нас до восьми часов следующего вечера. С ужасной головной болью и скудным запасом русских слов я вышел в пронизывающий холод, не без опасений попасть в руки сыщиков, которые, как говорили, кишели в этих местах. Войдя в зал ожидания для пассажиров второго класса, где несколько мужиков и баб клали поклоны и крестились перед иконами (зал напоминал часовой с большим количеством икон), я заметил сидевшую в одиночестве знатного вида даму. Заговорив с ней по-французски, я был приятно удивлен, когда узнал, что она тоже направляется к графу Толстому, чтобы участвовать в его трудах. Г-жа Б.¹⁰, принадлежащая к известной московской семье, дала мне лекарство от головной боли и познакомилась с г-ном Ф. С.¹¹, молодым человеком, одетым в крестьянский костюм, который предложил переночевать вместе с ним. Мы проехали пару миль по спящей глаза метели и добрались до одноэтажного деревянного дома, состоящего из довольно просторной комнаты, в которой было несколько лавок и большой стол, и маленького чулана. Он служил спальней. Комната использовалась как судейское помещение: здесь работал дядя моего спутника, мировой судья. Ф. С. оказался одним из самых горячих поклонников и последователей графа Толстого. Он отказался от собственности, следуя примеру учителя, жил среди мужиков. Теперь он помогал графу, стремясь облегчить участь голодающих. Была глубокая ночь, когда мы улеглись.

Несмотря на метель, продолжавшуюся и на следующий день, г-жа Б. решила отправиться в главный центр графа в Бегичевку, находившуюся в двадцати шести милях отсюда. Уложив багаж в одни рюкзальни и усевшись в другие, мы отправились в путь по пустынным равнинам. Там и сям виднелись помещичьи усадьбы, окруженные деревьями, над рядами занесенных сугном изо возвыша-

лись золоченые купола церквей. По дороге мы останавливались в деревнях, чтобы дать лошадам передохнуть, а сами согревались чашкою чая. После нескольких часов пути мы достигли Дона, на противоположном берегу которого виднелась Бегичевка. Спустя несколько минут ямщик остановился перед простым деревянным домом и крикнул: «Вот дом Толстого!» В усадьбе мы увидели мужиков с грузами зерна, муки, дров и т. д. Передняя в доме была битком набита мужиками, которые стояли молча, ожидая графа. Мы прошли в просто обставленный зал, но там не застали ни графа, ни его дочери. Мне сказали, чтобы я прошел в кабинет графа возле зала. Это была маленькая комната с диваном, койкой, несколькими простенькими деревянными стульями и большим столом, заваленным бумагами и расчетными книгами. Через несколько минут вошла молодая женщина и сердечно поздоровалась со мною. На вопрос, не она ли дочь графа, она отвечала: «Нет. Я его племянница. Моя фамилия Кузминская»¹². Пока я говорил с ней, подошла еще одна молодая дама с красивыми живыми глазами и энергичными чертами лица¹³. Как и первая, она приветствовала меня на хорошем английском.

«Графиня Толстая?» — осведомился я.

«Так меня зовут», — отвечала она. В ту же минуту я услышал густой голос в зале, и сам граф появился передо мной, одетый в овчинный тулуп, какие носят мужики. Дружеским пожатием сильной руки он приветствовал меня, справился о поездке, восхитился моим лапландским костюмом и проводил в маленькую комнатку, где мне предстояло жить. Затем он попросил меня вытянуть ноги и стащил с ног лапландские сапоги. Все это делалось так просто, что исключало всякую мысль о нем как о русском аристократе либо неестественном человеке, который, проповедуя евангельские принципы братской любви и смирение, понуждает себя жить согласно этой проповеди.

Мы тотчас же отправились в столовую, где меня познакомили с помощниками графа, молодыми женщинами и мужчинами, образованными, из известных семей. Во время обеда, состоявшего исключительно из овощей, так как граф и его сотрудники все были строгими вегетарианцами, беседа шла исключительно о голоде. Граф не пессимист, и, хотя он осмотрителен в своих высказываниях, тем не менее и он подчеркивал, что бедствие ужасно. «Вы сами будете иметь возможность все увидеть», — сказал он. После обеда разговор за-

Толстой принимает просьбы крестьян голодающих деревень.
Фото Ю. Стадлинга.



Составление списков голодающих.
Рисунок К. Кокса по фотографии Ю. Стадлинга.





Обед в одной из столовых Толстого. Рисунок К. Кокса по фотографии Ю. Стадлинга.

шел о значительных суммах денег, выделенных правительством для голодающих губерний. Граф заметил по этому поводу: «Приведу пример, чтобы дать вам представление о положении вещей. Предположим, что этот круглый стол поставлен в винокуренном заводе и оставлен бутылками разных размеров, наполненными спиртом. Под столом — сильный жар, который испаряет содержимое бутылки. Затем в холодном воздухе наверху испарения сгущаются в два потока, из которых один стекает в огромный резервуар капиталистов, а другой — в резервуар казны. Теперь все эти бутылки опорожнены, и, следовательно, чтобы из них и дальше могла испаряться жидкость, их надо снова заполнить до некоторой степени — тем или иным путем. Тогда берут большое ведро, черпают им в огромном резервуаре и содержимое разливают по бутылкам. Большею частью оно и проливается мимо. Вот мы и стараемся теперь вставить в бутылки воронки, чтобы содержимое попадало внутрь, а не стекало снаружи».

...План графа Толстого состоял в том, чтобы оказать самую действенную помощь именно тем, кого обходили власти. Прежде всего следовало выявить самых бедных и нуждающихся. Сделать это было не так-то легко.

Основное направление работы графа Толстого заключалось в том, чтобы устраивать бесплатные столовые, в которых наиболее нуждающимся два раза в день давали еду.

На мирских сходках выбирали место для столовой, выделяли кухарку, а различную кухонную посуду набирали у крестьян. Гости, то есть питающиеся в столовой крестьяне, приносили с собой миски и ложки. Насколько это возможно, все делалось по совету крестьян и при их участии. Направляющая рука, наблюдательный глаз графа и его деятельных помощников чувствовались повсюду. В тех деревнях, где еще сохранились запасы муки, выдавали только горячую пищу. Там же, где муки не было, кормили и хлебом, и горячей пищей. Столовые без хлеба стали создавать в марте, когда правительство начало выдавать по тридцать фунтов муки в месяц на каждого. В этих столовых на десять человек в неделю полагалось следующее количество продуктов: 5 фунтов ржи (для кваса); 2 фунта пшеничной муки (для супа); 10 фунтов гороховой, овсяной и кукурузной муки (для киселя, русское блюдо); 10 фунтов гороха; 10 фунтов пшена (для каши или кулеша); 2 меры (около 72 фунтов) картофеля; 1 мера свеклы; 1 кварта капусты; $\frac{1}{2}$ фунта конопляного масла; 4 фунта соли; 1 фунт лука. Зимой — $1\frac{1}{2}$ фунта керосина и 60 фунтов дров расходовалось ежемесячно на каждую кухню. На человека в день приходилось 2 фунта овощей (картофеля, капусты и свеклы) и $\frac{1}{2}$ фунта мучных продуктов разного рода, то есть после приготовления — примерно по 4 фунта в день еды на каждого.

Граф и его помощники рассказывали мне, что крестьяне, несмотря на нужду, высказывали недовольство столовыми без хлеба. Ведь черный ржаной хлеб для мужика почти единственный продукт, который заслуживает названия еды. Однако позже они поняли, что не правы, многие приходили и просили принять их в качестве «гостей». Одни «гости» приносили с собою несколько кусочков хлеба, другие приходили и вовсе без него. Так зачастую многим удавалось сохранить здоровье и силы в течение зимы, а ведь эта пища стоила всего 2—3 цента в день. Если же еда состояла преимущественно из хлеба, ежедневные расходы увеличивались почти вдвое.

Вот недельное меню обедов стоимостью в один цент. Однако, чтобы полнее представить себе рацион, назову еще и некоторые блюда, входившие в ужин.

Понедельник: щи и каша на обед и на ужин. Вторник: похлебка и гороховый кисель на обед и на ужин. Среда: гороховый суп и вареный картофель на обед; горох с квасом (любимое блюдо) на ужин. Четверг: щи и гороховый кисель на обед и ужин. Пятница: картофельный суп и кулеш на обед и ужин. Суббота: щи и вареный картофель на обед,

картофель и квас на ужин. Воскресенье: гороховый суп и каша на обед, горох с квасом на ужин.

При этом надо иметь в виду, что во многих столовых к перечисленной растительной пище добавлялся еще и хлеб. Во время моего приезда насчитывалось около 150 столовых, и обслуживали они ежедневно более 10 000 человек. Позже, как мне говорили, их число более чем удвоилось.

Скоро стало очевидно, что, помимо столовых для взрослых, необходимо устраивать детские столовые. К детям граф был особенно заботлив (позже я опишу трудности, с которыми он столкнулся, помогая детям). В России вообще почти половина всех детей умирает в младенческом возрасте, во время же голода смертность стала ужасающей. В детских столовых готовили пищу из молока, овсяной муки, пшена, гречневой крупы и т. д. Ко времени моего отъезда граф организовал около семидесяти пяти таких столовых.

После Нового года граф стал действовать еще в одном направлении — взялся за обеспечение бедствующего населения топливом. Около 400 кордов дров было распределено за зиму — либо бесплатно, либо за небольшую отработку.

Другой вид помощи графа Толстого заключался в изыскании возможности прокормить крестьянских лошадей. С этой целью была устроена большая конюшня, в которой кормилось 300 лошадей. Кроме того, много лошадей было отправлено в районы, где корм еще сохранился. Там можно было дожидаться весны.

Следующая форма работы графа Толстого состояла в покупке льна и лыка и распределении их среди мужиков. Лыко — важный материал для снаряжения мужика, ведь он редко может себе позволить носить кожаную обувь. Из лыка плетется нечто похожее на мелкие туфли, а вместо чулок ноги обматываются тряпками. Одни крестьяне получали эти материалы даром, другие платили за них сущие гроши. Обувь, не нужную тем мужикам, которые ее плели, граф покупал по полной цене и распределял среди нуждающихся.

Еще одно направление его деятельности состояло в покупке посевных семян — пшеницы, ржи, картофеля, овса, проса и конопли — для распределения среди наиболее нуждающихся. Необходимость подобной помощи объяснялась не только тем, что большинство крестьян не имело посевных семян, но еще и потому, что около трети озимых было уничтожено льдом, который покрыл поля на тысячи верст¹⁴. Семян же, выдаваемых официальным путем, вообще не хватало, кроме того, вместо бедняков они зачастую попадали к ку-

лакам. И еще — эта помощь оказывалась только очень немногим по сравнению с миллионами нуждающихся. Предоставляемые семена распределялись при условии, что за них надо будет рассчитываться по умеренной цене после следующего урожая. Полученный доход предполагалось использовать для устройства детских домов.

Было и такое направление в деятельности графа, как покупка лошадей и распределение их среди самых нуждающихся. Кроме тех, кто никогда не имел лошадей (в ряде деревень их численность доходила до сорока процентов), многие бедняки потеряли лошадей, и каждый день продолжали их терять. Это грозило самой ужасной нищетой или полным рабством. Во время моего приезда была организована закупка тысячи лошадей в среднем по тридцати долларов за каждую, а позднее было куплено и распределено намного больше. Лошадей раздавали на следующих условиях: всякий, кто получал лошадь, должен был обрабатывать землю для двух безлошадных крестьян или для вдов и сирот.

Граф с семьей помогали голодающим и другими способами. Устроили несколько пекарен, где выпекался хлеб и продавался по дешевой цене — 60 копеек за пуд. Небольшие суммы выдавались на неотложные нужды, такие, например, как похороны. Граф и его помощники делали, кроме того, все, что было в силах, для оказания моральной поддержки. Очень по-доброму, с большой любовью они ободряли людей и поддерживали их советами. У них всегда под рукой было много доступных книжек, которые распространялись среди грамотных. Предпринимались даже попытки создавать школы для крестьянских детей, что в тех условиях было чрезвычайно трудно.

Приехав в Бегичевку, я решил, что на другой же день буду сопровождать молодую графиню Марию Толстую в ее поездке по деревням.

...Мы тронулись в путь. Сани стремительно рванулись вперед, графиня правила сама. Я часто видел, как русские женщины правят тройкой лошадей, несущихся с головокружительной быстротой. Молодая графиня, беспорно, умела совладать со своей прыткой лошадкой. Спустя несколько минут мы переправились через Дон и оказались на пустынной равнине. Холод был пронзительный, спящая метель бушевала в степи. Дорога не была обозначена, и мы быстро сбились с пути. Некоторое время проплутали в снегопаде, таком густом, что дальше лошади ничего не было видно. Наконец графиня натянула вожжи и сказала: «Кажется, надо возвращаться домой. Скоро уже ничего не будет в и д н о». — «Вы зна-

ете, в какой стороне находится деревня, куда мы едем?» — спросил я. «Да». — «Тогда попробуем добраться туда». — «Хорошо. Пошел, Мальчик!» И мы снова понеслись к западу вдоль обледенелой возвышенности. Спустя некоторое время мы вновь нашли дорогу.

Графиня, которая бегло говорит по-английски, рассказала мне, что уже несколько лет она работает среди крестьян, пытаясь помочь им. Она заведовала школой для крестьянских детей в своем имении, но, так как ни учила их креститься и поклоняться иконам, священники закрыли эту школу. Тогда она стала собирать детей у себя дома к чаю и таким образом продолжала учить их.

Упомянув о своем доме в Ясной Поляне, графиня сказала, что летом их посещает множество иностранцев. «Не думаете ли вы, — спросил я, — что некоторые приезжают навестить вашего отца просто из любопытства?» — «Вы гадали, — ответила она, смеясь. — Я читала так много о моем отце, какие у него брови, какой нос, о его мужицком костюме, о его занятиях сапожными делами, что хорошо знаю, как каждый иностранец напишет и расскажет о нем».

Тем временем сквозь вьюгу показался длинный ряд покрытых снегом холмов. Подъехав ближе, мы поняли, что это избы, до самой крыши засыпанные снегом. Это была деревня Пеньки. Она выглядела совершенно безлюдной. Почти каждая вторая изба без кровли. Ни одного живого существа вокруг, ни дымка из труб. Казалось, что в округе — разрушение и смерть. Мы остановились перед приземистой избой, в которой граф устроил школу и столовую. Войдя внутрь, мы сначала не могли ничего различить и, только ощутив мягкость под ногами, поняли, что голая земля служит полом. Когда глаза привыкли к полумраку, мы увидели ряд лавок и около тридцати детей, которые молча стояли и смотрели на нас. Учитель, молодой интеллигентный человек, подошел поздороваться. Два пожилых человека стояли в углу. С печи донеслось тяжелое дыхание и кашель: мы увидели на ней троих детей, больных черной оспой. Я предложил графине немедленно перенести их в другое место. Она отвечала, что это будет сделано, но заметила, что изолировать их будет нелегко, так как больниц нет и почти в каждом доме больные. Несчастных детей принесли в школу, «потому что в школе теплее».

Пока графиня занималась делами школы и столовой, я ходил от дома к дому по деревне. В своем дневнике я записал об этих посещениях: в избе № 1 обнаружил корову, трех пожилых людей, один из них лежал в тифу на печи рядом с двумя детьми, находящимися в

последней стадии черной оспы. В избе № 2 — ребенок, больной черной оспой, тифозный старик и две опухшие от голода бабы. Скотины нет, вся вымерла. Дров нет, продуктов нет. В избе № 3 моему взору предстало престранное зрелище. Войдя в эту тесную хибару, где было так холодно, что земляной пол замерз, я поздоровался, но не получил ответа и никого не обнаружил. Уже собираясь уходить, вдруг услышал тяжелое дыхание и звук, который напоминал звук метущей метлы. Они доносились из печи. Совершенно неожиданно я увидел пару ног, торчащих из печи, обмотанных тряпьем. Через минуту огромный мужик появился из печного отверстия¹⁵. За ним вылезла болезненного вида баба, дрожащая от холода. Правой рукой она держалась за лоб. На вопрос, что с ней, она отвечала: «Голова болит». — «А дети есть?» — спросил я. «Есть. Вот посмотрите сюда», — ответила она и, залившись слезами, указала на кучу тряпья на печи. Я увидел двоих ребятшек. Один из них явно умирал от чихотки или от голода, а другой от черной оспы. Рослый, крепкого сложения мужик с осунувшимся застывшим лицом и запавшими глазами, непричесанные волосы которого торчали во все стороны, стоял неподвижно на промерзшем земляном полу, являя собой картину отчаяния и апатии. Скотины нет, дров нет, есть нечего. Живут на подаяния. В избе № 4 было двое взрослых и два ребенка, оба больные. Снимая тряпье, которое покрывало тело одного из детей, мать расплакалась, а я увидел, что крупные слезы катятся по щекам обезображенной болезнью девочки. Комок встал в горле, и я не смог произнести ни слова. Дав серебряную монету бедной матери, я ушел. Пройдя мимо домов, частью разрушенных и покинутых, вошел в избу № 5, где нашел женщину, изуродованную болезнью, поразительно распространенной среди крестьян, и двух хилых заброшенных детей. В № 6 было три семьи, корова, лошадь и две овцы, которые жалась друг к другу, чтобы согреться от пронизывающего холода. Было странно видеть дедушку — славного старика с белыми как снег волосами и бородой, вылезавшего из яслей, к которым была привязана лошадь. Шатаясь на дрожащих ногах, он подошел ко мне и приветствовал низким поклоном. «Откуда вы приехали, барин, и что вам надо?» — спросил он. Когда я сказал ему, что друзья мужиков в чужих краях послали меня помочь страдающим братьям в Россию, он слабым дрожащим голосом промолвил: «Вот добрые-то люди! Благослови вас господь!»

После этого я вернулся в школу, превращающуюся к этому времени в столовую, где до

сорока человек, старых и малых, помолившись, сели за стол. Их обед состоял из черного ржаного хлеба и горохового супа и был очень вкусен. После того как графиня договорилась об устройстве столовой для маленьких детей, мы отправились домой. «Каковы ваши впечатления от первой поездки в деревню?» — спросила она. «Ужасно, — единственное, что мог я произнести в ответ. — Разве вы не боитесь заразиться оспой и тифом?» — поинтересовался я. «Боятся! Безнравственно бояться. А вы боитесь?» — спросила она в ответ. «Нет, я никогда не боялся заразных болезней, посещая бедных, — отвечал я. — Ужасно видеть такую безнадежную нищету. Мне больно даже подумать об этом», — воскликнул я. «И разве не стыдно с нашей стороны позволять себе такую роскошь, когда наши братья и сестры гибнут от нищеты и невыразимых страданий?» — добавила она. «Но вы ведь пожертвовали всеми благами и роскошью, свойственными вашему званию, и снизили до бедных, чтобы помочь им», — возразил я. «Да, — сказала она, — но посмотрите на теплую одежду и все другие удобства, которых не знают наши страдающие братья и сестры». — «А разве им было бы лучше, если бы мы одевались в лохмотья и жили впроголодь?» — «И все же какое право имеем мы, — горячо возразила она, — жить лучше, чем они?» Я не ответил, но с удивлением посмотрел в глаза этой замечательной девушки и увидел дрожащие в них слезы. Я почувствовал, будто что-то жало мне сердце и сдавило горло. «Но как можно, чтобы власти допустили такое ужасное положение вещей?» — спросил я. «Не знаю», — был краткий и выразительный ответ.

Когда усталый и измученный граф вернулся домой, он был до чрезвычайности удручен. «Я стыжусь этой работы, — сказал он. — Мы не знаем, есть ли в ней настоящая польза. Мы продлеваем на некоторое время жизнь умирающих от голода крестьян, но нищета их будет существовать по-прежнему». — «Вы поддерживаете их материально и морально. Вы, несомненно, делаете доброе дело», — возразил я. «Я не проповедник, — отвечал он, — и сам настолько несовершенен, что не могу поучать других. Да мы и не знаем, что хорошо, а что плохо. Думая, что делаем что-то хорошее, мы, возможно, совершаем нечто совсем обратное. Истинное добро заключается в доброй воле и мотивах поступков наших».

На следующее утро я сопровождал г-жу Кузминскую в поездке по двум деревням, чтобы договориться о распределении дров, которое осуществлялось по следующему плану: наиболее нуждающиеся получали дрова бесплатно у себя на дому; менее нуждающиеся

получали их бесплатно на железнодорожной станции; а более состоятельные вносили за них мизерную плату, причем не деньгами, а работой.

..В субботу, холодным утром, когда зелено-желтая полоса на востоке отбрасывала тусклый свет на снежные равнины, мы с одним из помощников Толстого, молодым дворянином, отправились в отдаленную деревню, где требовалась помощь. Наша маленькая косматая лошадка вскорости побелела от инея. Тем временем солнце позолотило все, однако чувство грусти и заброшенности охватило нас, когда мы подъехали к деревне. Ни дыма над крышами. Кровли большей частью разобраны — пошли на топливо. Не было видно никаких признаков жизни, только две или три лошади, истинные скелеты, щипали старые гнилые стебельки травы перед одной избой, крыша которой тоже была разобрана, да перед несколькими домами на кучах замерзшей грязи лежали собаки со включенной шерстью, настолько истощенные, что едва могли двигаться. Многие избы пусты: обитатели их или умерли, или покинули свои жилища. Почти в каждом доме, куда мы заходили, были больные тифом, оспой и т. д. Нигде ни скота, ни еды. Поскольку пособия, полученные через власти, уже кончились, ели капусту, сушеную и толченую траву, листья деревьев, а также мякину и солому. Несчастные, которых мы видели в этих бедных лаучгах, жались друг к другу и дрожали от холода. Вид их был ужасен. Даже те, кого не свалила болезнь, ослабли от голода так, что едва могли двигаться и говорить.

В полдень, сразу после нашего возвращения, граф Толстой тоже приехал домой. Все мы устали и проголодались, а граф был счастлив и весел, как ребенок. Он говорил и смеялся, его глаза, взгляд которых может быть острым и пронизывающим, сейчас ярко сияли от радости: попытки устроить столовые для маленьких детей наконец увенчались успехом. На это ушло много сил и времени. Пришлось преодолеть не только большие трудности в получении нужных продуктов для детей, но также глупость, невежество и суеверия мужиков и, наконец, сопротивление духовенства. Мужики настаивали на том, чтобы продукты для детей раздавали по домам, но делать это нельзя, потому что они сами, измученные, съели бы детскую еду, не оставив ничего ребятишкам. Священники предупреждали мужиков, чтобы те не посылали детей к графу Толстому, который, как доказывали в соответствии с книгой «Откровения» ученые богословы, является самим антихристом. Духовенство играло важную роль в нападках на графа

Толстого, понося его с амвона и, чтобы разогреть страсти, распространяя абсурдные измышления о нем. Говорили, будто он платит каждому мужику по восьми рублей и ставит им клейма на лоб и на руки, с тем чтобы предать их силам тьмы. Прошлым воскресеньем в специальной проповеди, произнесенной в переполненном народом зале ожидания второго класса на станции Клеветки, епископ в самых суровых выражениях заклеил графа Толстого как антихриста, который соблазняет людей такой мирской тщетой, как еда, одежда и дрова. Он предостерегал слушателей от общения с таким человеком и говорил, будто православная церковь достаточно сильна, чтобы «изничтожить» антихриста и его работу. Неудивительно, что бедные мужики перепугались и не знали, что делать. Я, правда, слышал, как один мужик решил вопрос следующим весьма логичным образом: «Если Господь, — сказал он, — похож на своих слуг — попов и чиновников, которые притесняют и мучают нас, и если антихрист — это такой человек, как Толстой, который бесплатно кормит нас и наших детей, тогда я лучше буду принадлежать антихристу и пошлю своих голодающих детей в его столовую». Мужики тысячами отсылали своих маленьких детей в детские дома.

После нашего позднего обеда граф, как обычно, занялся бедняками, которые толпились в его главном центре. Отправившись пешком в одну из столовых по соседству, я случайно встретил на дороге вооруженного жандарма, поставленного там для того, чтобы следить, куда ездит граф и его помощники. Помимо этого «видимого» представителя сильных мира сего, царствующих в С.-Петербурге, существовало множество «невидимых», переодетых, которые кишели вокруг Бегичевки. Иногда они приходили к графу в одежде простого мужика, прося о помощи и жалуясь на власти, иногда появлялись под видом друзей страждущих мужиков, предлагая свои услуги графу, чей острый глаз, однако, быстро распознавал их. Тогда граф вежливо говорил, что они ему не нужны.

...В середине марта я уехал из главного центра Толстого на восток Самарской губернии в сопровождении второго сына графа, Льва Львовича Толстого, и молодого дворянина по фамилии П. Бирюков¹⁶, одного из самых преданных последователей графа и неотомимого труженика.

*Подготовка материала и перевод
В. А. Александрова*

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Факт, не подтвержденный другими материалами. Очевидно, Стадлинг принял на веру и пересказал один из бытовавших в ту пору анекдотов о Толстом.

² Ошибка. Вторым сыном Толстого был Илья Львович (1866—1933); Лев Львович (1869—1945) был третьим сыном писателя.

³ Неточность. «Московская газета» издавалась в 1866—1867 и 1882—1884. гг. Речь идет о газете «Московские ведомости» (1756—1917).

⁴ 14(26) января 1892 г. в газете «Daily Telegraph» был напечатан перевод статьи Толстого «О голоде» под названием «Почему русские крестьяне голодают?». Эта статья была перепечатана также некоторыми другими английскими газетами.

⁵ Очевидно, речь идет об А. А. Щербатове (1829—1902) — московском предводителе дворянства в 1863—1869 гг.

⁶ Неточность. Жена М. Н. Кат-

кова — Софья Михайловна — была урожденной княжной Шаликовой. (См.: А. Б. Лобанов-Ростовский. Русская родословная книга. СПб., 1895, т. 2, с. 434.) Как уже говорилось (прим. № 4), в «Московских ведомостях» от 22 января 1892 г. появилась статья «Новый граф Л. Н. Толстой» князя А. Шаликова.

⁷ Неточность. С. А. Толстая была принята Александром III 13 апреля 1891 г. и просила императора разрешить печатать «Крейцерову сонату» в XIII томе Собрания сочинений Л. Н. Толстого.

⁸ 12 февраля 1892 г. Толстой по настоянию Софьи Андреевны написал письмо-опровержение редактору газеты «Правительственный вестник». Письмо Толстого не было напечатано в этой газете.

⁹ «Корреспондент одной английской газеты взял шестьдесят фотографий, снятых «кодаком», поэтому ни одну из них нельзя воспроизвести». (Прим. Стадлинга.)

¹⁰ Екатерина Ивановна Баратынская

(1852—1921) — племянница К. А. Тимирязева, переводчица, писательница, сотрудница издательства «Посредник». Во время голода 1892 г. работала в селе Николаевском Ефремовского уезда.

¹¹ Личность этого человека установить не удалось.

¹² Вера Александровна Кузминская (1871—?) — дочь Т. А. Кузминской, племянница С. А. Толстой.

¹³ Мария Львовна Толстая (1871—1906) — дочь Толстого.

¹⁴ «Верста составляет около двух третей английской мили». (Прим. Стадлинга.)

¹⁵ «Впоследствии я привык к подобным зрелищам, чтобы согреться, т. е. у которых не было топлива, залезали в печи». (Прим. Стадлинга.)

¹⁶ Павел Иванович Бирюков (1860—1931) — один из верных последователей Толстого, автор первой биографии о нем.



И. Е. Репин. Т. Л. Толстая.
1891 г. Масло.

В часы одиночества я вижу, как передо мной возникают картины прошлого, отдельные сцены, мне кажется, я слышу голоса. Чаще всего воспоминания связаны с моим отцом: это — самое дорогое и светлое в моей жизни.

Т. Л. Сухотина-Толстая

Старшая дочь Л. Н. Толстого — Татьяна Львовна Толстая, в замужестве Сухотина, родилась 4 октября 1864 года в Ясной Поляне. Она рано проявила интерес к рисованию: уже в 1871 го-

ду, когда Толстой составлял азбуку и детские книги для чтения, семилетняя Таня помогала отцу, делая рисунки для алфавита: старательно изображала арбуз для буквы А и бочку для буквы Б.

Приезд в Ясную Поляну в 1873 году художника И. Н. Крамского, которому П. М. Третьяков заказал портрет Толстого, послужил, как вспоминала Татьяна Львовна, «толчком» к тому, что она начала рисовать. «Я никогда прежде не видала работы масляными красками, и меня занимало, как Крамской на палитре мешал краски и потом клал кистью мазки на холст, и как вдруг на холсте появлялось лицо, как живое. Вот и глаза па па, — серые, серьезные и внимательные, как настоящие его глаза. Какое чудо!»¹

После пребывания Крамского Татьяна Львовна стала рисовать с еще большим прилежанием. К ней был приглашен учитель реального училища В. Т. Симоненко из Тулы, который давал ей уроки рисования два раза в неделю.

Затем некоторое время она продолжала свои занятия у другого преподавателя — Баранова.

Позднее, когда семья Толстых уже жила в Москве, в 1882 году (Татьяне Львовне было восемнадцать лет) Толстой обратился к художнику В. Г. Перову. Ознакомившись с рисунками Татьяны Львовны, Перов сказал, что она очень талантлива.

На углу Мясницкой и Боброва переулка, напротив Почтамта, высятся старинное здание, замечательное по своей архитектуре и истории, — памятник русского классицизма, известный всей старой Москве дом

Юшкова, построенный в 1784 году великим русским зодчим В. И. Баженовым (ныне ул. Кирова, д. 21). В нем помещалось Училище живописи, ваяния и зодчества. «Лучшая Академия в мире» — так называли училище Репин и Чехов. У дома своя необычная «биография», вошедшая в историю русской культуры и искусства. Отсюда вышли художники, ставшие впоследствии всемирно известными. В этом доме бывал Толстой. В начале 1860-х годов, приезжая в Москву из Ясной Поляны, Толстой бывал у инспектора училища художника М. С. Башилова (родственника жены писателя, С. А. Толстой). По его просьбе Башилов работал над иллюстрациями к роману «Война и мир».

В 1898—1899 годах Толстой позировал скульптору П. П. Трубецкому в его мастерской, помещавшейся во дворе училища. «Вместе с статуэткой Льва Николаевича верховым Трубецкой лепил и маленький бюст со сложенными руками... Для этих работ Трубецкого Лев Николаевич ездил ежедневно верхом из Хамовнического переулка на Мясницкую», — вспоминала Софья Андреевна².

А в ноябре 1881 года в Училище живописи, ваяния и зодчества поступила Т. Л. Толстая. Взволнованная радостным событием, Софья Андреевна писала сестре: «Таня моя ездит в рисовальную школу. Вчера был экзамен, и из 15-ти ей дали пятый номер. Она в восторге; ее очень хвалят»³.

Недолгое время ее учителем был В. Г. Перов (он скончался 10 июня 1882 года), затем И. М. Прянишников, позднее Л. О. Пастернак.



Т. Л. Толстая.
Крестьянская девочка.
Масло.

нак, который в 1894 году был приглашен в училище преподавателем фигурного класса.

«Наше Училище живописи, ваяния и зодчества было лучшим и в своем роде единственным художественным училищем... Повторяю, и на Западе не было в те времена подобной школы»⁴. «В то время в фигурном классе еще числилась ученицей графиня Толстая»⁵, — писал в своих воспоминаниях Л. О. Пастернак.

О первых впечатлениях и занятиях живописью в

училище Татьяна Львовна сделала ряд записей в дневнике.

1882 год

«2 ноября. Вторник. Наша Школа началась в прошлый понедельник. Мы не нашли места и Александр Захарович⁶ сказал, что если мы найдем натуру, то можно посадить в проход. Тогда папа пошел и в кабаке нашел натурщика, довольно интересного, которого-то мы теперь в «купе» и рисуем»⁷.

«17 декабря. Пятница. 2 часа дня. Нынче мой этюд подвинулся, и Прянишников немножко поправил»⁸.

«29 декабря. Среда. 11 часов вечера. Перед праздником в Школе был экзамен, и я получила второй номер за этюд с девочки, — он вышел хорош, и папа очень понравился. Если бы я много работала, я уверена, что я бы могла хорошо рисовать и писать, — меня бог способностями не обидел»⁹.

В продолжение нескольких лет, когда Татьяна Львовна посещала училище, Толстой не раз приходил туда. Каждое его посещение было событием для учеников и преподавателей. Вот что рассказывают в своих воспоминаниях художники М. М. Яровой и М. Ф. Шемякин: «В 1882 году в училище поступила дочь Толстого — Татьяна Львовна: я в это время уже рисовал на переход в фигурный класс. Лев Николаевич часто заходил в училище к дочери, которая сидела рядом со мной, и в одно из посещений он подошел вместе с В. Г. Перовым»¹⁰. «Как сейчас помню, стоит заметенный снегом типичнейший русский старичок из леса. Острые глаза его сверкают из-за окружения



Т. Л. Толстая. Л. Н. Толстой играет в четыре руки с Л. М. Олсуфьевой. 1886 г. Б., кар.

волос на бровях, на щеках, и он... что-то говорит, разобрать невозможно — окружила плотная толпа... Повискакивали из класса ученики, выскочила и его дочка Татьяна Толстая, окруженная своими подругами...»¹¹

О посещении Толстым выставки в училище мы читаем в мемуарах художника Л. О. Пастернака:

«Это было в 1893 году... В залах Московского училища живописи, ваяния и зодчества устраивалась очередная выставка передвижников... Любезно поздоровавшись с художниками,

Толстой вдруг зорко, точно сверля пространство, стал разглядывать картины»¹².

Однажды Толстой с Татьяной Львовной и Марией Львовной присутствовали на концерте в квартире Пастернака, находившейся в доме училища. Исполнялось новое трио Чайковского «На смерть Великого артиста». На акварели, запечатлевшей этот концерт, есть авторская надпись: «На Мясницкой у меня 22 ноября 1894 г. Трио»¹³.

Занимаясь живописью, Татьяна Львовна обращалась за указаниями к Николаю Николаевичу Ге, кото-

рый, как она вспоминала, давал ей «очень драгоценные советы в этой области». В сентябре 1886 года Ге писал ей: «Я рад, что Вы хотите заняться искусством. Способности у Вас большие, но знайте, что способности без любви к делу ничего не сделают»¹⁴.

«Вчера приехал дедушка Ге, и сегодня, так как воскресенье и у нас с Машей нет уроков, то я просила ее позировать, чтобы написать ее. Мне особенно хотелось писать при Ге, чтобы он давал мне советы. Общими силами мы одели Машу, поставили, приготовили все,

и Ге велел мне начинать контур. Я сделала, он поправил, потом велел все быстро намалевать. Я подмазала фон, платье, волосы, лоб — он пришел посмотреть, все перемалевал и увлекся, — стал сам писать, и только изредка, довольно слабо, предлагал мне продолжать. Но я отказалась, во-первых, для того, чтобы не препятствовать тому, чтобы вышел хороший портрет.., а главное, потому, что по чужому подмалевку писать невозможно»¹⁵, — читаем запись в дневнике Татьяны Львовны от 23 сентября 1890 года.

Среди работ художницы много зарисовок, набросков, портретов ее близких: матери, братьев Сергея, Ильи, младшего — Ванечки, сестер Маши и Саши, дочери Танечки Сухотиной, любимой внучки Льва Николаевича. Несколько портретов



Т. Л. Толстая. Яснополянская крестьянка Зябрева Анастасия Николаевна. 1886 г. Масло.

Т. Л. Толстая. Портрет яснополянской крестьянки Пелагеи Васильевны Блохиной. 1886 г. Масло.

запечатлели Татьяну Андреевну Кузминскую — тетю Таню, свояченицу Толстого, внешний портрет и некоторые черты характера которой отражены в образе Наташи Ростово́й.

Эти небольшие портреты, выполненные графитным, цветными карандашами и маслом, отмечены выразительностью, они правдивы и жизненны. Просто и естественно передала художница облик дорогих ей людей.

Живя в Ясной Поляне, Татьяна Львовна близко знала крестьян и крестьянский быт русской деревни. «Чудесное время нашей жизни! — писала она. — Каждое утро, по росе, мы с сестрой с граблями на плечах уходили вместе с крестьянками на сенокос. Мужчины с отцом и братьями, Ильей и Лево́й, косили уже с 4-х часов утра... Какая живописная картина — русская деревня во время сенокоса! Сколько обаяния сохранила она для меня, стоит лишь вспомнить тучные луга вдоль нашей маленькой речки Воронки, усеянные пестрой толпой крестьян и крестьянок. В то время крестьяне носили





еще традиционную национальную одежду: девушки — рубашки и сарафаны, женщины — паневы, завешанные фартуками, и мы с сестрой, чтобы от них не отличаться, одевались так же»¹⁶.

Многообразие крестьянских лиц и характеров художница передала в своих живописных и графических работах. Ряд портретов яснополянских крестьян создан ею в 1880—1890-х годах. Передавая их внешний облик, она раскрыла и их характерные индивидуальные особенности: «Няня Мария Афанасьевна Арбузова», «Яснополянский крестьянин Тарас Карпович

Т. Л. Толстая. А. А. Фет. Б., кар.

Т. Л. Толстая. Яснополянская крестьянка Макарова Татьяна Яковлевна. 1886 г. Масло.

Фоканов», «Голова старой крестьянки», «Крестьянская девочка», «Анастасия Николаевна Зябрева», «Татьяна Яковлевна Макарова», «Григорий Федотович Блохин, — князь Блохин»¹⁷ и многие другие. О своей работе над портретом Блохина художница писала: «По утрам я пишу «Князя Блохина», но без большого увлечения. Выходит средне, но папа хвалит и удивляется, как я могу схватить позу, и говорит,

что я могу писать жанровые картинки»¹⁸.

Ряд живописных работ этого цикла отличает колористическое решение. Яркие цветовые соотношения крестьянской одежды: красные сарафаны и юбки, холщовые рубашки с пестрой вышивкой, разноцветные фартуки, бусы и платки, загорелые, обветренные лица с жизненной достоверностью передают типы тульских крестьянок.

«Таня все пишет масляными красками: написала Ивановну, а теперь начала мужика Ермилина. Все говорят, что у нее способности; Ивановна вышла очень похожа»¹⁹, — сообщала сестре Софья Андреевна.

Толстой очень интересовался занятиями своей дочери, поддерживая ее влечение к искусству, помогая ей советами. Однажды, подыскав натуру для портрета — яснополянского крестьянина Тита Зябрева, уговорил его позировать Татьяне Львовне.

Об этом в своих воспоминаниях рассказывает его сын: «Скоро настал день, назначенный для съемки портрета. Отец с вечера вымылся, приготовил синюю крепкую рубаху. А наутро, как позавтракал и дал скотине корма, отправился на барский двор... Отца усадили на стул в зале, и Татьяна Львовна стала снимать портрет. Весь пост отец хо-

дил на съемку портрета...»²⁰

Интересно отметить, что Толстому были близки и суждения дочери об искусстве.

В статью «Что такое искусство?» Толстой ввел критику современного декадентского искусства, выписку из парижского дневника дочери — впечатления ее от выставок картин в Париже.

Татьяна Львовна всегда живо интересовалась событиями художественной жизни и переписывалась со многими художниками: Н. Н. Ге и И. Е. Репиным, Н. А. Касаткиным, Л. О. Пастернаком, В. Н. Мешковым и другими.



Т. Л. Толстая. С. Т. Семенов. 1893 г. Б., кар.

Т. Л. Толстая. Фоканов Тарас Карпович. 1894 г. В., уголь.

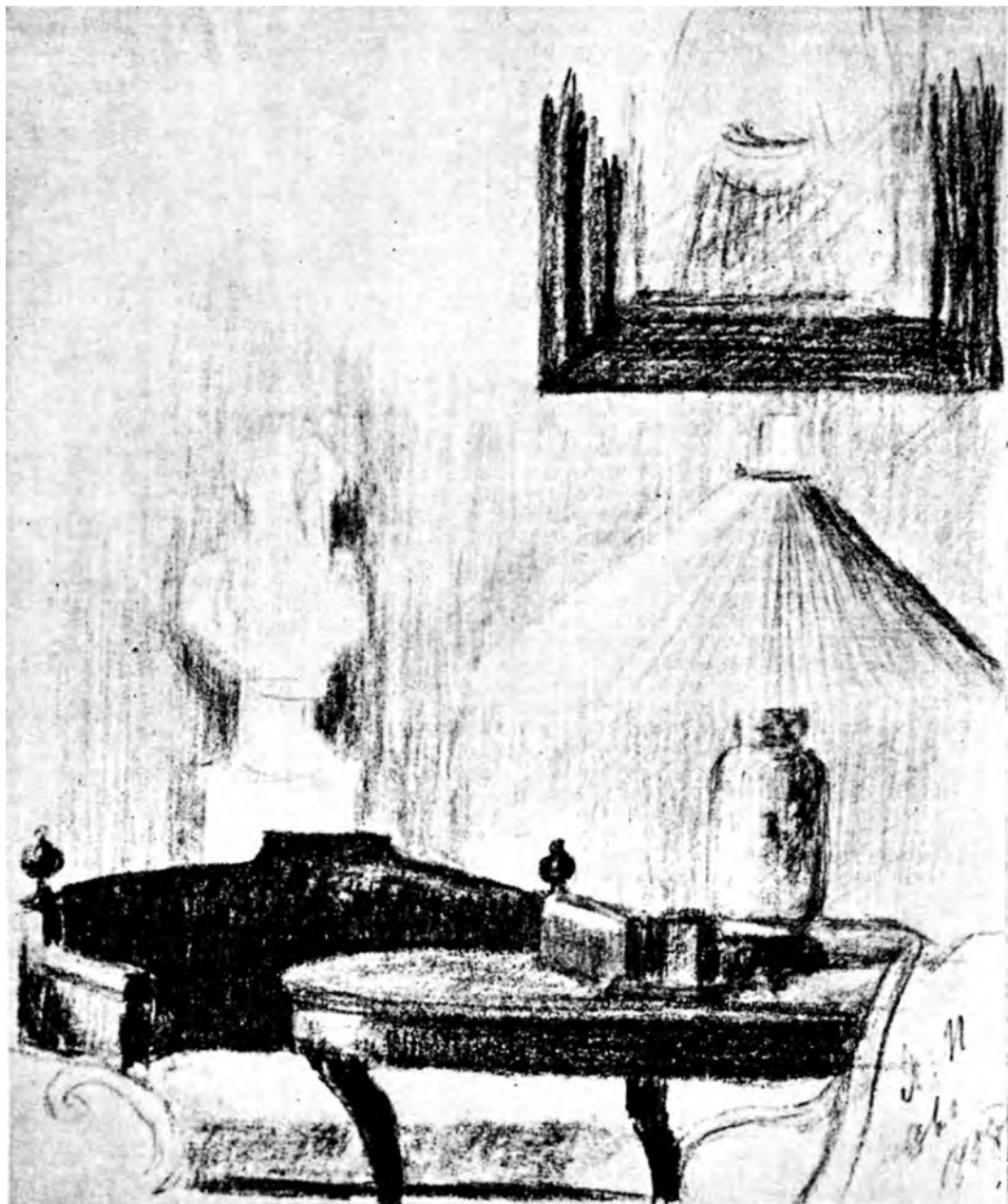


В одном из писем, одобряя ее деятельное участие в работе издательства «Посредник», Репин писал: «Я верю в Ваш личный вкус и радуюсь, что Вы взяли за это дело»²¹.

Среди работ Татьяны Львовны мы видим портреты ее друзей и знакомых: художников, писателей, музыкантов — Н. Н. Ге, И. Е. Репина, Л. О. Пастернака, И. С. Тургенева, А. А. Фета, композитора С. И. Танеева, изображенно за роялем в московском доме Толстых. Портрет датирован 1895 годом и назван автором «Фуги Баха».

Создавая автопортреты, художница стремилась по-

Т. Л. Толстая. Уголок зала в
яснополянском доме. 1908 г.
Б., цв. кар.



знать себя, охарактеризовать свое душевное состояние, настроение. Автопортрет 1894 года — молодая женщина с одухотворенным лицом; более поздний, 1919

Т. Л. Толстая. Л. Н. Толстой играет в шахматы с М. С. Сухотиным. 1908 г. Ясная Поляна. Б., кар.



года, передает лицо женщины зрелого возраста, ее серьезный внимательный взгляд, смотрящий на зрителя.

Самое интересное для нас в работах Татьяны Львовны — это портреты отца. Одни закончены, другие эскизы. В ее многочисленных портретах и набросках Толстой показан в различ-

ные моменты: за работой, за чтением, и за роялем, и шахматной игрой, и отдыхающим в глубоком кресле, задумавшимся, ушедшим в свои мысли. Еже-

женю отца за роялем — любви Толстого к музыке.

Бывая у своих близких знакомых Олсуфьевых в их подмосковном имении Оболянове-Николь-

дневно наблюдая его в привычной домашней обстановке, она с сердечным теплом и искренностью воссоздавала его облик, передавая его характерные черты, стремилась раскрыть его различные душевные состояния. Портреты отца Татьяна Львовна рисовала для себя.

Много рисунков Татьяны Львовны посвящены изобра-

ском, Толстой говорил, что ему нравится весь уклад жизни Олсуфьевых, что ему там «хорошо пишется». Отдыхая, Лев Николаевич по вечерам играл на рояле. Наброски-портреты, сделанные Татьяной Львовной в Оболянове-Никольском в 1886 году, запечатлели отца играющим в четыре руки с А. М. Олсуфьевой, при-

стально смотрящим в ноты, целиком ушедшим в музыку.

В продолжение всей жизни Толстого увлекала игра в шахматы, и до старости он

сохранил любовь к ней. В яснополянском зале или московском доме по вечерам, когда собирались гости и семья, Лев Николаевич часто играл с мужем Татья-

ны Львовны, Михаилом Сергеевичем Сухотиным. Рисунки: «Л. Н. Толстой и М. С. Сухотин за шахматной игрой» и «Толстой за шахматами» (Ясная Поля-

Т. Л. Толстая. Л. Н. Толстой за шахматами. 1909 г. В., кар.



на, 1908 г.) свидетельствуют об этом.

Сохранился и большой карандашный портрет писателя «Толстой за работой», он датирован: «10 марта 1910 года Ясная Поляна». Толстой, погруженный в ра-

демии Художеств один раз в году... Уверен, куда бы Вы ни послали это произведение, оно будет везде принято... Повторяю: Вас везде примут с этой интересной работой... С дружеским желанием Вам побольше дея-

«Многоуважаемый Павел Михайлович!

Очень благодарю Вас за то, что дали мне возможность скопировать портрет отца, а его кончила и поэтому прошу Вас прислать за ним...»²⁵



Т. Л. Толстая. Л. Н. Толстой за работой. 1910 г. Б., кар.

боту, склонился над рукописью. Именно об этом рисунке 12 апреля 1910 года Репин писал Татьяне Львовне: «Я очень обрадовался, что Вы нарисовали портрет Льва Николаевича, но поддержите его у себя до будущего сезона выставок: этот кончается. Blanc et noir²² устраивается в Ака-

тельности. Искренне преданный Репин»²³.

В конце 1890-х годов Татьяна Львовна принимается за копирование двух портретов отца работы И. Е. Репина²⁴. Когда работа над портретом Толстого 1887 года была закончена, Татьяна Львовна писала П. М. Третьякову:

Более поздний — «Толстой в «комнате под сводами» в Ясной Поляне» — был написан Репиным в 1891 году, куплен с выставки М. А. Стаховичем²⁶ и находился у него дома.

Собираясь начать копировать портрет, Татьяна Львовна сообщала И. Е. Репину:

«Я еду на днях к Стаховичам копировать Ваш портрет с папа, и меня ужасно волнует, когда я об этом думаю»²⁷.

Сама Татьяна Львовна тоже не раз служила моделью. С нее писали портреты, ее рисовали Ге, Репин, Касаткин, Пастернак, Виноградов, Милиоти и другие.

В начале 1893 года, приехав в Москву, Репин писал портрет Татьяны Львовны, но не закончил его. Обеспокоенный сохранностью портрета, он писал из Петербурга:

«Умная — добрая — красивая Татьяна Львовна, если Вы еще в Москве и если у Вас найдется капля времени... то я попросил бы Вас черкнуть мне. Сохнет ли Ваш портрет? Где он висит? Не испортили ли его прикосновением по свежему?... Лицо, и руки, и рукавички (бел.) еще сыры — осторожно прикасайтесь. Жалею, что не успел повесить его сам... Я так бестолково заторопился домой...»²⁸

Татьяну Львовну, позирующую скульптору И. Я. Гинцбургу, написал Н. А. Касаткин в 1897 году в Ясной Поляне в мастерской художницы. С. А. Виноградов дарит Татьяне Львовне два своих рисунка цветными карандашами. Один из них показывает Татьяну Львовну за работой с кистью в руке в зале яснополянского дома (1911 г.).

«Дорогая Татьяна Львовна, я очень, очень прошу Вас сделать мне приятное — принять карандаш как маленький мой подарок. Пожалуйста — не от-

кажите... Я остаюсь здесь несколько времени и думаю быть у Вас, с Вами так хорошо и легко говорится.

Целую Вашу руку. Сердечно Вам преданный Сергей Виноградов»²⁹.



Т. Л. Толстая. Л. Н. Толстой (фрагмент). 1909 г. Б., кар.

Имя Татьяны Львовны Толстой как художницы малоизвестно. Тем не менее ее графическое и живописное наследие достаточно велико и значимо³⁰. Оно имеет особый интерес — это прошлое, связанное с Толстым, его родными, близкими, современниками, яснополянскими крестьянами.

Эти портреты 1880—1900-х годов правдиво воссоздают облик людей ушедшей эпохи, показывают то, что не могут рассказать слова.

Портреты Толстого, исполненные дочерью, достойны, лаконичны, по-свое-

му просты; сохранившие непосредственное восприятие модели, они особенно дороги нам. Спустя несколько месяцев после смерти Толстого, 6 апреля 1911 года, она запишет в дневнике: «Живу им. Весь день почти думаю о нем, пишу о нем, читаю о нем»³¹. Только не говорю о нем»³¹.



И. Е. Репин. Т. Л. Толстая.
1897 г. Б., кар.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Т. Л. Сухотина-Толстая. Воспоминания. М., 1976, с. 159.

² С. А. Толстая. Моя жизнь. ГМТ, рукопись № 16, с. 197.

³ Письмо С. А. Толстой к Т. А. Кузминской от 15 ноября 1881 г. Отдел рукописей ГМТ. Публикуется впервые.

⁴ Л. О. Пастернак. Записи разных лет. М., 1975, с. 56.

⁵ Там же, с. 60.

⁶ Служитель Училища живописи, ваяния и зодчества.

⁷ Т. Л. Сухотина-Толстая. Воспоминания. М., 1976, с. 174.

⁸ Там же.

⁹ Там же, с. 175.

¹⁰ М. М. Яровой. Автобиографический очерк и мои воспоминания. 1932. Отдел рукописей ГИТ, ф. 4/215. Публикуется впервые.

¹¹ Константин Корovin. М., 1963, с. 298.

¹² Л. О. Пастернак. Записи разных лет. М., 1975, с. 174—175.

¹³ Трио П. И. Чайковского на смерть Н. Г. Рубинштейна.

¹⁴ Л. Н. Толстой и Н. Н. Ге. Переписка. М.—Л., 1930, с. 153.

¹⁵ Т. Л. Сухотина-Толстая. Воспоминания. М., 1976, с. 195—196.

¹⁶ «Литературное наследство». Т. 11. М., 1961. Из «Воспоминаний Т. Л. Толстой-Сухотиной», с. 265—266.

¹⁷ Блохин Григорий Федотович — «князь Блохин», прозвище яснополянского крестьянина, помещанного на том, что он князь.

¹⁸ Т. Л. Сухотина-Толстая. Воспоминания. М., 1976, с. 200.

¹⁹ Письмо С. А. Толстой к Т. А. Кузминской от 8 февраля 1881 г. — «Воспоминания яснополянского крестьянина о Л. Н. Толстом». Тула, 1960, с. 260.

²⁰ Там же, с. 218—219.

²¹ И. Е. Репин. Письма. Т. 1. М.—Л., 1949, с. 83.

²² «Blanc et noir» — название трех петербургских выставок произведений, выполненных в различных графических техниках.

²³ И. Е. Репин. Письма. Т. 1. М.—Л., 1949, с. 98—99.

²⁴ Письмо Т. Л. Сухотиной к П. М. Третьякову, 1898. Отдел рукописей ГМТ. Публикуется впервые.

²⁵ Обе копии с портретов И. Е. Репина, выполненные Т. Л. Толстой, принадлежат Государственному музею Л. Н. Толстого в Москве.

²⁶ Стахович Михаил Александрович, близкий знакомый Толстых.

²⁷ Письмо Т. Л. Сухотиной к И. Е. Репину от 4 августа 1898 г. Отдел рукописей ГМТ. Публикуется впервые.

²⁸ И. Е. Репин. Письма. Т. 1. М.—Л., 1949, с. 73.

²⁹ Письмо С. А. Виноградова к Т. Л. Сухотиной-Толстой от 9 июня 1911 г. Отдел рукописей ГМТ. Публикуется впервые.

³⁰ Все графические и живописные работы Т. Л. Сухотиной-Толстой принадлежат Государственному музею Л. Н. Толстого в Москве.

³¹ Дневник Т. Л. Толстой, 6 апреля 1911 г. (Рукопись.)

На протяжении более шестидесяти лет Толстого фотографировали самые разные люди: представители фотографических фирм, фотокорреспонденты газет и журналов, члены его семьи, друзья, знакомые и просто посетители.

Молодость Толстого совпала с началом развития фотографии в России, старость — с появлением моментальных фотоаппаратов. А в канун 80-летия писателя с него был снят цветной фотопортрет. С развитием фотографической техники и ростом популярности Толстого количество его фотографий увеличивалось. Самая меньшая их часть приходится на годы молодости писателя — период дагерротипии, когда фотографическая техника была очень слабой: изображение, минуя негативную стадию, закреплялось тогда на металлической пластинке. Оно

было зеркальным и в единственном экземпляре.

Три из четырех известных нам дагерротипов Толстого хранятся в Государственном музее писателя в Москве. Местонахождение четвертого — портрета Толстого-прапорщика 1854 года (в накинутах на плечи шинели с бобровым воротником) — не установлено.

Облик молодого Толстого периода метаний, поиска своего настоящего дела, напряженной работы души, ума и воли представлен дагерротипами несколько односторонне. Они отражают скорее одно из настроений, свойственных Толстому в молодости, когда он нередко оказывался во власти ложных идеалов, мечтая «попасть в высший свет» или сделать военную карьеру.

Автором первых фотографий Толстого в современном значении этого понятия, то есть отпечатков на бумаге, был Сергей Львович Левицкий — «отец русской фотографии», двоюродный брат А. И. Герцена, друг многих русских литераторов.

Левицким сняты две фотографии Толстого: в группе с писателями, сотрудничавшими в журнале «Современник» 1856 года, и одновременно — отдельный портрет Льва Николаевича.

Вклад профессиональных фотографов в фотолетопись жизни Толстого был очень разным. Одни из них сделали всего лишь несколько случайных снимков, другие являются авторами целых коллекций и серий фотографий не только самого писателя, но и его близкого окружения, лиц и мест, связанных с его жизнью и творчеством.

Например, старейшая московская фирма «Шерер,

Набгольц и К°» фотографировала Толстого на протяжении 25 лет, а известный петербургский фотограф Карл Карлович Булла едва ли не больше количество снимков сделал всего за два дня. В качестве фотокорреспондента «Нового времени» он приезжал в Ясную Поляну накануне 80-летнего юбилея Толстого вместе со своим сыном Виктором Карловичем, впоследствии выдающимся советским фоторепортером. Кроме портретов Толстого и его близких, Булла снял серию фотографий Ясной Поляны: усадьбы, фасада и интерьеров дома, деревни Ясная Поляна и ее окрестностей.

Трудно переоценить документально-историческое значение этих снимков, в которых облик Ясной Поляны последних лет жизни Толстого нашел свое наиболее полное и подробное изобразительное воплощение.

Наряду со снимками Толстого таких хорошо известных фотомастеров, как С. Л. Левицкий, М. Б. Тулинов, К. К. Булла, А. И. Савельев, таких крупных фотографических фирм, как «Шерер, Набгольц и К°», «Отто Ренар», «Мебиус», обращают на себя внимание фотографии С. Г. Смирнова — фотокорреспондента газет «Утро России» и «Русское слово». Его имя представляется нам незаслуженно забытым. Между тем это фотограф, который неоднократно снимал Толстого. Более того, его снимки относятся к числу лучших профессиональных фотографий писателя.

Известно, что Толстой, особенно в последние годы жизни, не любил фотографироваться, так же как не любил позировать художникам и скульпторам. Это было скучно и отнимало вре-

мя. Толстой относился к фотографированию как к одной из пустых господских забав. В старости, когда его больше всего фотографировали, Толстому крайне неприятным было распространение его портретов в печати. Поэтому он особенно «не жаловал» представителей прессы, и, чтобы снять Толстого, им приходилось проявлять порой ловкость, изворотливость и напористость — качества, которых фотокорреспондентам не занимать стать и без которых фотолетопись жизни Толстого лишилась бы многих значительных звеньев.

Интересно, что первая любительская фотография Толстого была снята в 1862 году самим писателем: Лев Николаевич сосредоточенно вглядывается в объектив, спрятав в руках, сложенных на коленях, «грушу» фотоаппарата. Это единственная фотография работы Л. Н. Толстого.

Следующий любительский снимок писателя, известный нам, появился в 1874 году. Его автор пока не установлен.

Прошло еще десять лет, за это время фотография достигла больших успехов.

Изобретение сухих бромжелатиновых пластин (негативов) в начале 70-х годов упростило весь процесс фотографирования и привело к более широкому увлечению любительской фотографией.

Увеличилось и число любительских снимков Толстого. В 80-е годы его фотографировали С. С. Абаменек-Лазарев, сосед по имению; М. А. Стахович — друг семьи писателя, и С. А. Толстая — жена Л. Н. Толстого.

Князь С. С. Абаменек-Лазарев, богатый помещик и промышленник, проводивший часть лета в 80—90-х

годах в одном из своих имений недалеко от Ясной Поляны, на правах соседа бывал у Толстого. «Когда я сделал несколько удачных снимков с Льва Николаевича и его семьи, — вспоминал он, — эти фотографии были выставлены мною на фотографической выставке. Помню, как государь Александр III мне сказал: «Ну уж больно некрасив ваш Толстой».

М. А. Стахович оставил небольшую, но очень интересную коллекцию своих снимков, сделанных в 1887 году в Ясной Поляне. С. А. Толстая сказала о нем: «...Молодой Стахович с фотографией... старательно снимает виды, группы, детей, прислугу, а то, что ему больше всего хочется — портрет Льва Николаевича, ему все не дается». Стаховичу принадлежат прекрасные интерьеры яснополянского дома, пейзажи, несколько групповых снимков Толстого в кругу родных и два его фотопортрета. На одном из них писатель снят с папиросой в руке. Известно, что Толстой окончательно бросил курить весной 1888 года.

С. А. Толстая, начав фотографировать в 1887 году, не бросала это занятие на протяжении последних двадцати с лишним лет жизни Толстого. Она оставила более тысячи любительских снимков Льва Николаевича, детей, внуков, гостей, запечатлев на своих фотографиях многие интересные семейные события и эпизоды повседневной яснополянской жизни писателя. Софья Андреевна обладала природным художественным вкусом; она была трудолюбива, аккуратна и упорна в занятиях фотографией, из года в год совершенствовала свое мастер-

ство фотолюбителя. Многие ее снимки вызывали восхищение И. Е. Репина, Л. О. Пастернака, И. Я. Гинцбурга. В. В. Стасов собирался написать специальную статью о ее любительских фотографиях.

После смерти Л. Н. Толстого она редко брала в руки свой фотоаппарат — деревянную дорожную камеру, снимала могилу «дорожного Левочки» и внуков, навещавших ее в Ясной Поляне.

Увлечение Софьи Андреевны фотографией захватило многих ее детей. Интересные снимки своего отца сделали И. Л. Толстой, А. Л. Толстая и М. Л. Оболенская. Среди многочисленных фотографий великого писателя снимки его дочери Марии Львовны Оболенской могут на первый взгляд показаться неприметными. Они не поражают ни высоким мастерством фотографирования, ни разнообразием сюжетов, и их не очень много. Снимки Толстого, сделанные М. Л. Оболенской, камерны, скромны и спокойны по композиции. На ее фотографиях мы видим Толстого в те моменты, которыми он дорожил: за чтением, во время отдыха, в общении с близкими ему людьми. Мария Львовна начала фотографировать в годы замужества, когда ей приходилось надолго покидать Ясную Поляну. «Мне всегда очень жалко от тебя уезжать, — писала она в очередном письме о т ц у, — так хотелось бы всегда быть с тобой и участвовать в твоей жизни. Я очень, очень люблю тебя, чувствую и, кажется, понимаю» (из письма М. Л. Оболенской к Л. Н. Толстому, лето 1900 г. Отдел рукописей Гос. музея

Л. Н. Толстого). М. Л. Оболенской было приятно увозить с собой одну-две фотографии Толстого, сделанные ею. Вдали от Ясной Поляны они были ей особенно дороги и полны воспоминаний.

В начале своего существования, почти целиком зависящая от техники и внешних обстоятельств, подражая то живописи, то графике, фотография не предполагала, что способна сказать свое слово в искусстве. Такие технические усовершенствования XX века, как пленочная основа для фотоэмульсий и моментальная выдержка, открыли возможность для творчества. С новыми техническими достижениями все большую роль приобретали личные качества фотографа, его воля.

Самый глубокий образ Толстого в фотографии создан в 1905—1910 годах его другом и единомышленником В. Г. Чертковым. В его распоряжении были лучшие для того времени моментальные фотоаппараты и фотоматериалы, печатать и проявлять снимки ему помогал профессиональный фотограф.

Снимая Толстого в самых разных обстоятельствах: за письменным столом, за разбором почты, игрой в городки и шахматы, за беседой с посетителями, в окружении близких, Чертков особенно акцентировал внимание на темах «Толстой и природа», «Толстой и народ», через которые более всего раскрывается личность писателя.

Ценность, а порой уникальность многих фотогра-

фий Черткова состоит в том, что он снимал Толстого незаметно. Так, например, никто не фотографировал его во время уединенной прогулки, столь много значившей для него в старости.

Исключительное явление представляют собой чертковские крупноплановые портреты Толстого, также снятые, в большинстве случаев незаметно, в то время, когда Толстой был чем-то занят: беседовал с кем-нибудь или разбирал почту.

Чертков умел уловить в моменте образ и в некоторых снимках достиг большой степени обобщения. Но, кроме характерных черт личности Толстого, чертковские «ленты» моментальных портретов писателя передают его тысячелетность, свойственную его лицу большую эмоциональную подвижность — то, что возможно передать лишь с помощью моментальной фотосъемки.

Признание высокого художественного уровня фотографий Черткова несколько не умаляет документальной ценности фотографий Толстого, снятых другими фотоаппаратами. Как документ они интересны для нас все, даже самые неумелые.

Особое место в иконографии Толстого занимают, например, его ранние снимки, являясь при всем их несовершенстве единственным изобразительным материалом о Толстом до 1873 года — года появления его первого живописного портрета, написанного Крамским.

Иначе относимся мы теперь и к пожелтевшим лю-

бительским снимкам с их безыскусной житейской правдивостью.

Интереснейший образ Толстого в живописи и графике создан замечательными художниками: И. Н. Крамским, Н. Н. Ге, И. Е. Репиным, Л. О. Пастернаком, М. В. Нестеровым, В. Н. Мешковым. Но именно фотографии сохранили для нас многие подробности жизни и облика Толстого, которые не в состоянии удержать глаз художника или которые мешали ему выразить, говоря словами Достоевского, «главную мысль лица».

Фотографии Толстого, снятые разными фотоаппаратами в разное время, представляют собой цельное повествование о жизни великого писателя, со свойственной только фотографии достоверностью раскрывают его облик в сложности и развитии, подробно и разносторонне.

В фондах Государственного ордена Трудового Красного Знамени музея Л. Н. Толстого хранится более 16 тысяч фотографий, из них около 5 тысяч — с изображением писателя. В «Прометее» публикуются 100 фотографий, хронологически последовательно отражающие жизнь Толстого в ее самых разных проявлениях. В этот сравнительно небольшой фотографический «ряд» включены как редкие, так и известные снимки. Комментарии к ним помогут читателям раскрыть содержание многих даже знакомых фотографий, увидеть их по-новому.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Первый дагерротип Толстого, «...довольно плотный юноша, стриженный ежом, серьезное и недовольное лицо, в котором есть что-то будничное» — так отозвался о нем И. А. Бунин.

Как и другие дагерротипы писателя, не претендующая на обобщение, портрет передает скорее одно из светских настроений молодого Толстого — поклонение его тогдашнему идеалу человека «комьяфо».

Живя в Петербурге, двадцатилетний Толстой сблизился с братьями Иславиными и одному из них, вероятно, подарил свой портрет. В 1886 году В. И. Иславин переслал дагерротип С. А. Толстой, приходившейся ему племянницей. «Этот портрет снят, сколько я припоминаю, в 49—50-х годах, — писал он Софье Андреевне, — когда Левочка свинил себе гнездышко в доме Якоба (здесь ошибка: Толстой жил в гостинице «Наполеон» на углу Малой Морской и Вознесенского проспекта. — *О.К.* и *Т.К.* и норовил сделаться одним из элитных столичных львов».

2. Башни при въезде в усадьбу были построены дедом писателя Н. С. Волконским в XVIII веке. Поле внутри, они служили укрытием в непогоду для сторожей. Между башнями были укреплены железные ворота. При жизни Толстого их уже не было. Слева от въезда — небольшая каменная домик — «каменка», где жил садовник.

В 90-е годы Толстой здесь открыл школу для крестьянских детей, где преподавали его дочери Татьяна Львовна и Мария Львовна. Через два месяца правительство закрыло школу как «незаконную».

По дороге, идущей мимо усадьбы, когда-то ездили посылы из Москвы в Крым, на Кавказ, в Персию. Старинное название дороги «Польская».

3. Усадьба «Ясная Поляна» снята со стороны деревни. В центре виден дом Волконского — самое старинное здание на территории усадьбы, памятник архитектуры XVIII века. По семейным преданиям, в этом доме жил дед писателя Н. С. Волконский, отсюда и название дома. Впоследствии здесь размещались разные ремесла и жили дворовые. Слева, за деревьями парка виднеется флигель. Напротив дома Волконского — конюшня. В 1847 году при разделе отцовского наследства имение Ясная Поляна перешло к Л. Н. Толстому.

4. В своей книге «Освобождение Толстого» И. А. Бунин пишет об этой фотографии: «...офицерский портрет, по-моему, один из самых замечательных его портретов... Это то время, когда он приехал из Севастополя и вошел в литературную

среду, ему под тридцать лет, он в артиллерийском мундире совсем простого вида, худ и широк в кости, снят до пояса, но легко угадываешь, что он высок и ловок; и красивое, лицо, — красивое в своей сформированности, в своей солдатской простоте...»

Одновременно с отдельным портретом Толстого С. Л. Вилкиным была снята известная группа: Толстой среди писателей — сотрудников журнала «Современник».

5. Дагерротип сделан во время недолгого пребывания Л. Н. Толстого в Москве перед отъездом в Дунайскую армию. Всего несколько дней назад Толстой узнал о производстве его в прапорщики. В его фигуре на снимке есть некоторая недовольность, вероятно, от непривычной новой формы, и вместе с тем наивное желание выглядеть бывалым офицером и молодцом.

Толстой любил братьев и в старости, когда уже никого из них не было в живых, вспоминал о них как о разных и очень дорогих ему людях. В Дмитрии и Николае (оба они умерли от чахотки в молодом возрасте) он особенно ценил отсутствие тщеславия, скромность. Иным было отношение к Сергею. Это была влюбленность в существо красивое, во многом ему противоположное и тем более привлекательное.

6—7. Об этих фотографиях упоминает Толстой в письме к А. И. Герцену от 26 марта 1861 года: «...посылаю Вам и Огареву обещанные карточки, ожидая взамен ваших». Вскоре Толстой получил фотографию Герцена и Огарева (оригинал находится в Литературном музее) с надписью рукой Герцена: «В память встреч в Orsette house. 28 марта 1861 г.» В письме к И. С. Тургеневу Герцен сообщал: «С Толстым мы в большой переписке и портретами обоблались».

9. На обороте снимка — надпись рукой Софьи Андреевны Толстой: «Церковь, в которой венчались Л. Н. с С. А. Берс».

С. А. Толстая записала в своем дневнике: «Горжественно и молча поехали мы все в церковь, в двух шагах от дома, где мы жили. Я плакала всю дорогу. Зимний сад и придворная церковь Рождества Богородицы были великолепно освещены. В дворцовом зимнем саду меня встретил Лев Николаевич, взял за руку и повел к дверям церкви, где нас встретил священник. Он взял в свою руку наши обе руки и подвел к аналою. Цели певиче, служили два священника, и все было очень нарядно, парадно и торжественно. Все гости были уже в церкви. Церковь была полна и посторонними, служащими во дворце. В публике делали замечания о моей чрезмерной молодости и заплаканных глазах.

Обряд нашего венчания прекрасно описал Лев Николаевич в романе своем «Анна Каренина», когда он описывал свадьбу Левина и Китти... Что касается меня, я уже столько за все дни пережила волнений, что, стоя под венцом, я ничего не испытывала и не чувствовала. Мне казалось, что совершается что-то несомненное, неизбежное, как всякое стихийное явление. Что все делается так, как нужно, и рассуждать уж нечего».

10—11. Накануне свадьбы Софья Андреевна писала в дневнике: «У нас шли спешные приготовления, но и у Льва Николаевича было много хлопот. Он... заказывал фотографии всей моей семьи... Снял и свой портрет, который я просила сделать в подаренный мне отцом золотой браслет».

12. Дом был построен Н. С. Волконским в первой четверти XIX века как один из двух флигелей большого дома.

Под тентом — итальянское окно кабинета Толстого. Перед домом красивая лужайка, на которой ранней весной появляются крокусы и подснежники, посаженные женой писателя Софьей Андреевной.

В этом доме Толстой жил и работал на протяжении почти 50 лет, с 1856 года по 1910 год. Здесь им были написаны многие произведения, в том числе романы «Война и мир» и «Анна Каренина».

В этом доме Толстого посетили И. С. Тургенев, А. П. Чехов, А. М. Горький, И. Н. Крамской, И. Е. Репин, М. В. Нестеров, П. П. Трубецкой, И. С. Танеев, М. М. Мечников и многие другие известные писатели, художники, артисты и ученые. Из этого дома Толстой ушел навсегда из Ясной Поляны осенью 1910 года.

13. Главная аллея, ведущая от въезда к дому Толстого, со времен деда Толстого, Н. С. Волконского, носит старинное название «Прешпект». Березы на «Прешпекте» были посажены старым князем Волконским. Толстой любил эту аллею с детства. В письме к жене в 1897 году он писал: «Утром опять игра света и тени от больших, густо одевшихся берез прешпекта по высокой уж, темно-зеленой траве... маханье берез прешпекта такое же, как было, когда я 60 лет тому назад, в первый раз заметил и полюбил красоту эту». Прешпект описан Толстым в романе «Война и мир».

14. На паспарту — надпись С. А. Толстой: «1862 г. Сам себя снял. Гр. Л. Н. Толстой. Фотография Ясной Поляны».

1. Л. Н. Толстой. 1849 г. Петербург. С дагерротипа В. Шенфельдта.





2. Въезд в усадьбу Л. Н. Толстого.
Ясная Поляна. 1908 г. Фотография
К. К. Буллы.



3. Общий вид усадьбы
Л. Н. Толстого. 1908 г. Ясная
Поляна. Фотография К. К. Буллы.

4. Л. Н. Толстой. 1856 г.
 Петербург. Фотография
 С. Л. Левицкого.



Фрагмент.



5. Л. Н. Толстой с братьями.
 1854 г. Москва. С дагерротипа.
 Слева направо: Сергей
 Николаевич, Николай Николаевич,
 Дмитрий Николаевич, Лев
 Николаевич.

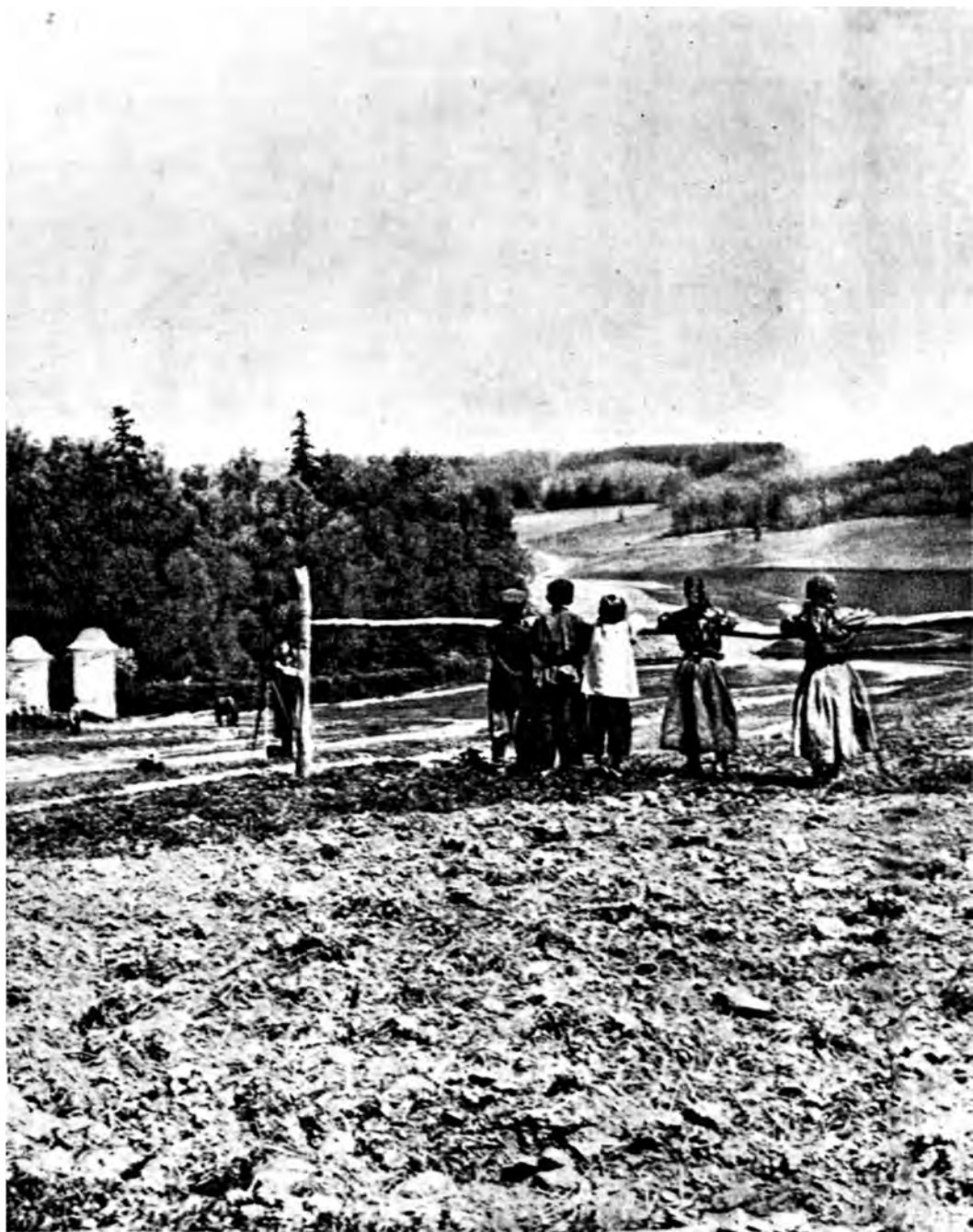




6—7. Л. Н. Толстой. 1861 г.
Брюссель. Фотография И. Жерюзе.

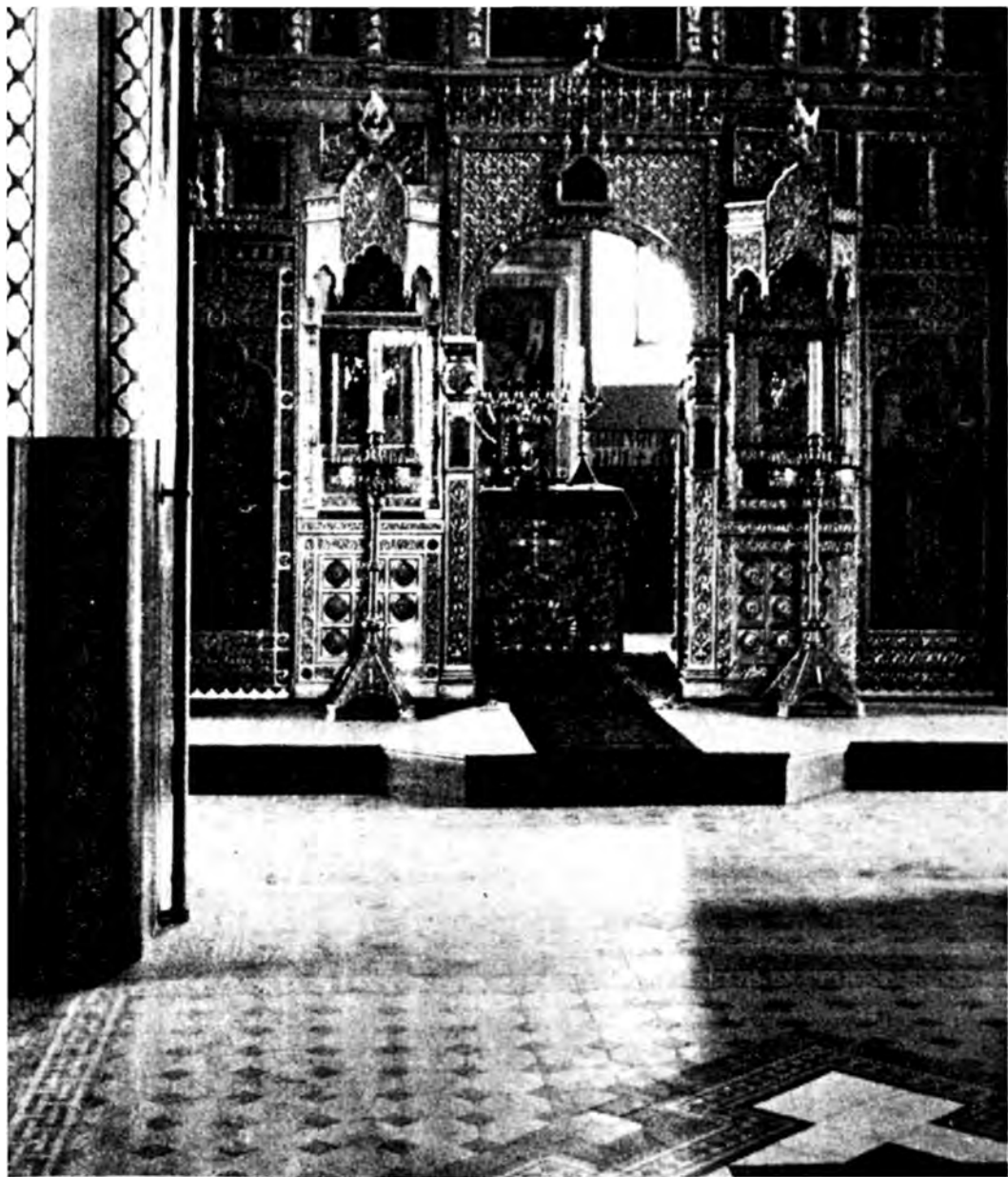


8. Крестьянские дети около
усадьбы Ясная Поляна (слева —
выездные башни усадьбы). 1908 г.
Фотография П. А. Сергеенко (?).



9. Церковь Рождества Богородицы. Внутренний вид (царские врата и иконостас). Фотография 1880—1890-х гг.

10. Л. Н. Толстой. 1862 г. Москва. Фотография М. Б. Тулинова.





11. С. А. Берс. 1862 г. Москва.
Фотография М. Б. Тулинова.



12. Дом Л. Н. Толстого со стороны
южного фасада. Ясная Поляна.
1908 г. Фотография К. К. Буллы.





13. Въездная аллея «Прешпект».
1897 г. Ясная Поляна. Фотография
С. А. Толстой.

14. Л. Н. Толстой. 1862 г. Ясная
Поляна. Фотография
Л. Н. Толстого.





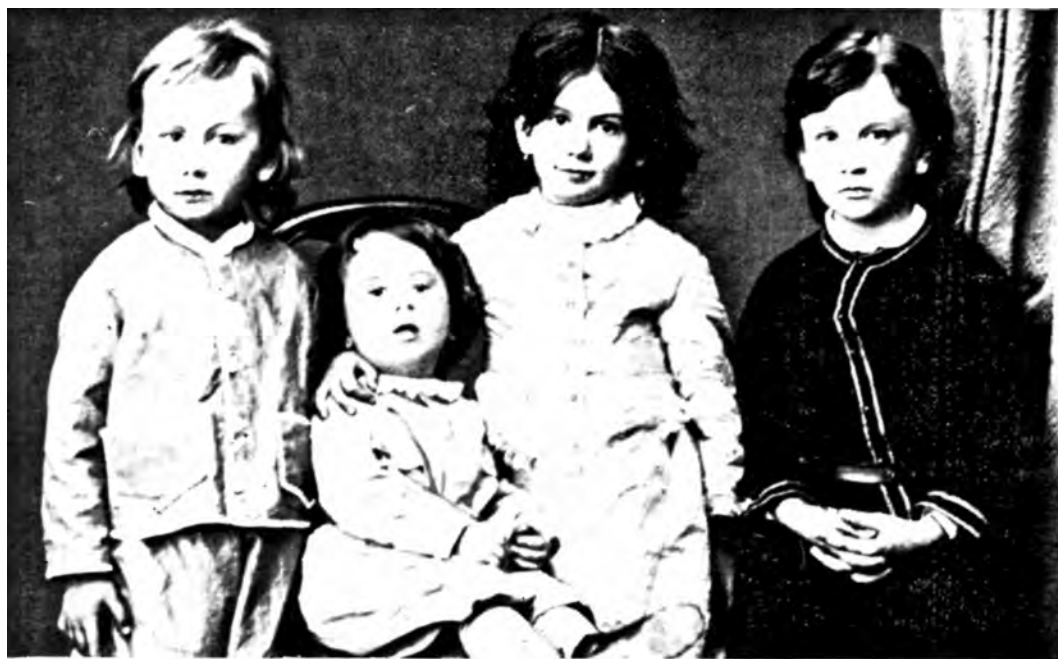
15. Л. Н. Толстой. 1876 г. Москва.
Фотография И. Г. Дьяговченко.

17—18. Рисунки Л. Н. Толстого
к роману Жюль Верна «Вокруг
света в 80 дней».

Фрагмент.



16. Дети Л. Н. Толстого: Илья, Лев,
Татьяна и Сергей. 1870 г. Тула.
Фотография Ф. И. Ходасевича.





19. Л. Н. Толстой. 1885. Ясная Поляна, Фотография С. С. Абамелека-Лазарева.



20. На гумне. 1899 г. Ясная Поляна. Фотография С. А. Толстой.

21. Кабинет Л. Н. Толстого 1870—1880-х гг. Ясная Поляна. 1887 г. Фотография М. А. Стаховича.







22. Л. Н. Толстой с семьей и М. А. Стаховичем в зале яснополянского дома, 1887 г. Фотография М. А. Стаховича.

23. Л. Н. Толстой в кругу семьи. 1884 г., лето. Ясная Поляна. Фотография С. С. Абамелека-Лазарева.

24. Л. Н. Толстой. 1887 г. Ясная Поляна. Фотография М. А. Стаховича. Редкий снимок.



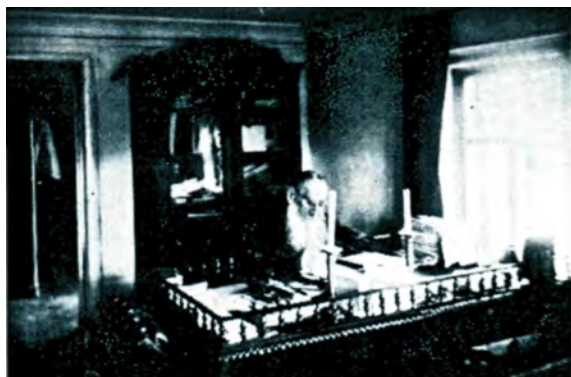
25. Л. Н. Толстой в кругу родных в зале яснополянского дома. 1887 г. Фотография М. А. Стаховича.

26. Сбор яблок в яснополянском саду. 1897 г. Фотография С. А. Толстой.

27. Долгохамовнический переулок (ныне улица Льва Толстого) с домом Л. Н. Толстого. Фотография 1890-х гг.

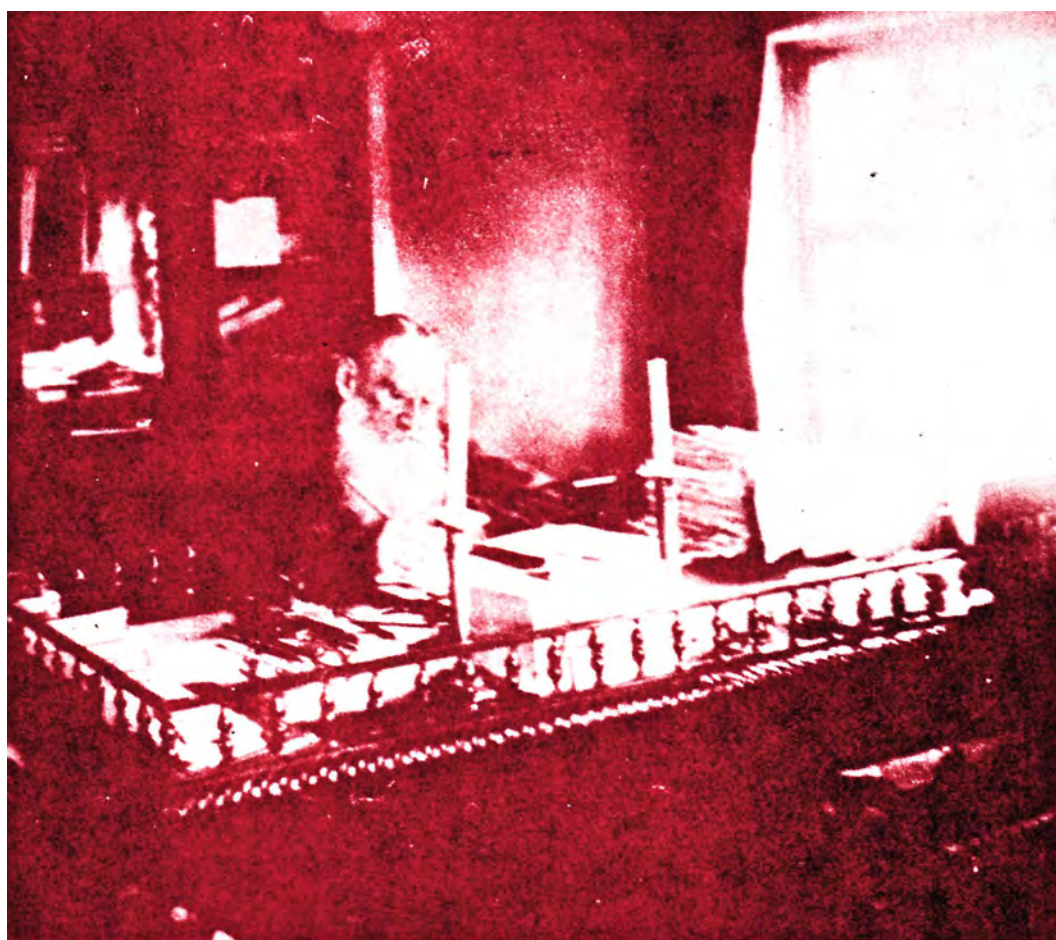
28. Дом Л. Н. Толстого со стороны сада. Москва. Фотография 1890-х гг.





29. Л. Н. Толстой за работой.
1898 г. Москва. Фотография
П. В. Преображенского.

Фрагмент.



30. Л. Н. Толстой на коньках в саду хамовнического дома. 1898 г. Москва. Фотография С. А. Толстой.





31. Л. Н. Толстой с дочерьми
Татьяной Львовной и Марией
Львовной. 1895 г. Москва.
Фотография П. И. Бирюкова.

32. Л. Н. Толстой верхом на
Тарпане во дворе хамовнического
дома. 1898 г. Москва. Фотография
С. А. Толстой.



Фрагмент.

33. Л. Н. Толстой в кругу родных
и гостей, среди которых
скульптор П. П. Трубецкой
(рядом с Л. Н. Толстым). 1898 г.
Москва. Фотография С. А. Толстой.



34. Ванечка Толстой.
1893—1894 гг. Москва.
Фотография фирмы «Шерер,
Набоглыц и К°».

35. Л. Н. Толстой и С. А. Толстая.
23 сентября 1896 г. Ясная Поляна.
Фотография С. А. Толстой.





36. Дом Л. Н. Толстого в Ясной Поляне. 1908 г. Фотография К. К. Буллы.

37. Татьяна Львовна, Лев Николаевич и Софья Андреевна Толстые и Т. А. Кузминская на террасе яснополянского дома. 1898 г. Фотография С. А. Толстой.

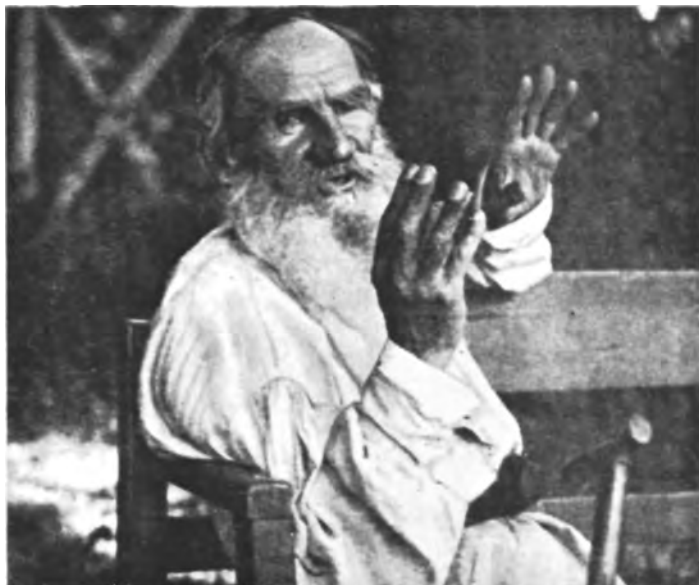


38. Большой пруд. 1908 г.
Ясная Поляна. Фотография
К. К. Булы.

39. А. А. Фет и С. А. Толстая.
1887 г. Ясная Поляна. Фотография
М. А. Стаховича. Редкий снимок.

40. Л. Н. Толстой. 1903 г. Ясная Поляна. Фотография М. Л. Оболенской. Редкий снимок.

41. Л. Н. Толстой в кругу родных и близких. 1888 г. Ясная Поляна. Фотография С. С. Абамелека-Лазарева.





42. П. П. Трубецкой лепит бюст
Л. Н. Толстого. 1899 г. Ясная
Поляна. Фотография
С. А. Толстой (?).



43. Т. А. Кузминская позирует
Т. Л. Толстой и Ю. И. Игумновой.
1898 г. Ясная Поляна. Фотография
С. А. Толстой.

44. Л. Н. Толстой и С. А. Толстая
с В. В. Стасовым и
И. Я. Гинцбургом в яснополянском
парке. 1900 г. Фотография
С. А. Толстой.

45. С. А. Толстая в аллее парка
Клины. 1903 г. Ясная Поляна.
Фотография С. А. Толстой.









46. Л. Н. Толстой и А. П. Чехов на балконе дачи С. В. Паниной. 12 сентября 1901 г. Гаспра. Фотография П. А. Сергеевко.

47. Дом в Гаспре, где Л. Н. Толстой отдыхал в 1901—1902 гг. Фотография С. А. Толстой.

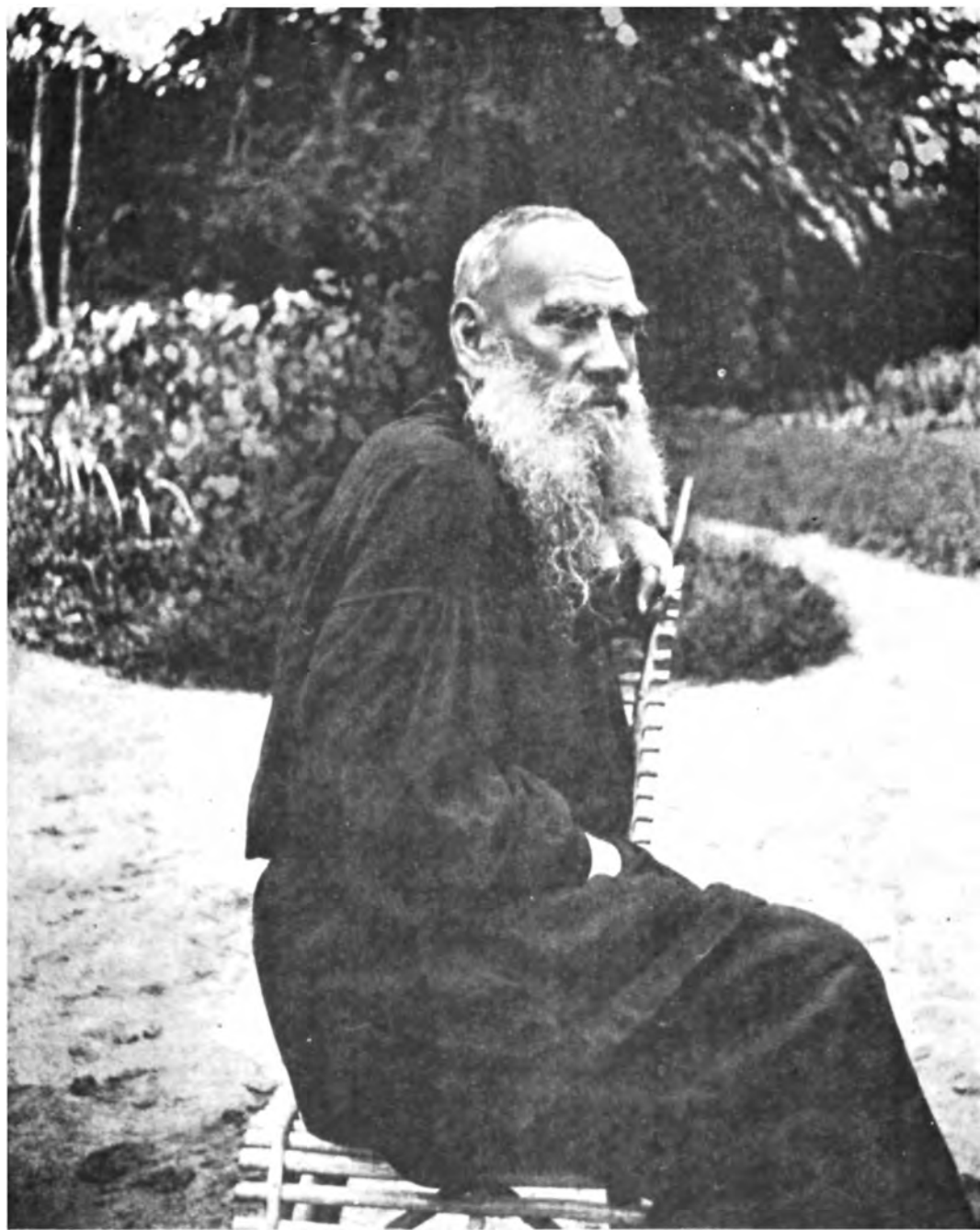
48. Л. Н. Толстой и С. А. Толстая. 1902 г. Гаспра. Фотография С. А. Толстой.

Фрагмент.

49. Л. Н. Толстой в период выздоровления после брюшного тифа. 1902 г. Гаспра. Фотография С. А. Толстой.

50. Л. Н. Толстой в кругу родных и знакомых. 1902 г. Гаспра. Фотография С. А. Толстой.







51. Л. Н. Толстой в яснополянском парке. 1895 г. Фотография П. И. Бирюкова.

52. С. А. Толстая в зале яснополянского дома. 1902—1903 гг. Фотография С. А. Толстой.

53. Л. Н. Толстой с посетителями из Тулы. 1905 г. Ясная Поляна. Фотография П. И. Бирюкова.





54. Скульптор Н. А. Андреев лепит бюст Л. Н. Толстого. 1905 г. Ясная Поляна. Фотография А. Л. Толстой.

55. Л. Н. Толстой с родными и знакомыми на прогулке в окрестностях Ясной Поляны. 1905 г. Фотография Д. А. Олсуфьева.

56. Л. Н. Толстой в вольтеровском кресле. 1901 г. Ясная Поляна. Фотография М. Л. Оболенской.









57. Л. Н. Толстой. 1907 г. Ясная Поляна. Фотография В. Г. Черткова. Редкий снимок.

Фрагмент.

58. Л. Н. Толстой и С. А. Толстая. 1907 г. Ясная Поляна. Фотография С. А. Толстой.

59. Л. Н. Толстой. 1908 г. Ясная Поляна. Фотография В. Г. Черткова.

60. Л. Н. Толстой с дочерью Марией Львовной. 1906 г. Ясная Поляна. Фотография В. Г. Черткова.

61. С. А. Толстая и И. Е. Репин. 1907 г. Ясная Поляна. Редкая фотография С. А. Толстой или Н. Б. Нордман-Северовой.





62. Ясная Поляна. Улица в деревне. 1908 г. Фотография К. К. Буллы.



63. Л. Н. Толстой с крестьянскими мальчиками под «деревом бедных». 1908 г. Ясная Поляна. Фотография П. А. Сергеенко.

64. Л. Н. Толстой в кабинете яснополянского дома. 1907 г. Фотография С. А. Толстой.

65. Л. Н. Толстой на прогулке в окрестностях Ясной Поляны. 1909 г. Фотография В. Г. Черткова. Редкий снимок.





66. Л. Н. Толстой у террасы
яснопольянского дома. 1908 г.
Фотография С. А. Толстой.
Редкий снимок.

67—68, 70—71. Л. Н. Толстой.
1907 г. Ясная Поляна.
Фотографии В. Г. Черткова.



69. Л. Н. Толстой со своими
учениками. 1908 г. Ясная Поляна.
Фотография А. Л. Толстой.
Справа — Н. Н. Гусев.





72. Л. Н. Толстой. 1907 г. Ясная Поляна. Фотография В. Г. Черткова.

73. Л. Н. Толстой садится на лошадь. 1897 г. Ясная Поляна. Фотография Н. А. Касаткина. Редкий снимок.

74. Л. Н. Толстой за работой. 1909 г. Ясная Поляна. Фотография С. А. Толстой.





75. Река Воронка. 1897 г. Ясная Поляна. Фотография С. А. Толстой.

76. Л. Н. Толстой с внучкой Таней. 1908 г. Ясная Поляна. Фотография Т. А. Тапселя.

77. Л. Н. Толстой на Делире в окрестностях Ясной Поляны. 1908 г. Фотография В. Г. Черткова.

78. Л. Н. Толстой на прогулке в окрестностях Ясной Поляны. 1908 г. Фотография В. Г. Черткова.

79. Л. Н. Толстой верхом на Делире в окрестностях Ясной Поляны. 1908 г. Фотография В. Г. Черткова.







80. Л. Н. Толстой за игрой в городки. 1909 г. Ясная Поляна. Фотография Т. А. Тапселя.

81. Л. Н. Толстой и И. И. Мечников на террасе яснополянского дома. 30 мая 1909 г. Фотография С. Г. Смирнова.

82. Л. Н. Толстой. 1909 г. Москва. Фотография Ю. Мебиуса.

83. Л. Н. Толстой, С. А. Толстая, М. Н. Толстая и Е. В. Оболенская за завтраком в яснополянском парке. 1908 г. Фотография К. К. Буллы.



84. Л. Н. Толстой у террасы яснополянского дома. 1908 г. Фотография С. А. Баранова.

85. Л. Н. Толстой идет по Долгохамовническому переулку, 1909 г. Москва. Фотография В. Г. Черткова.





86. Общий вид деревни Ясная Поляна. 1908 г. Фотография К. К. Буллы.

87. Л. Н. Толстой около «дерева бедных» среди крестьян в троицын день. 1909 г. Ясная Поляна. Фотография Т. А. Тапселя.



88. Л. Н. Толстой на прогулке близ деревни Ясная Поляна. 1908—1909 гг. Фотография В. Г. Черткова.



89. Л. Н. Толстой. 1909 г.
Крекшино (Московская губерния).
Фотография В. Г. Чертова.

90. Л. Н. Толстой среди родных
и знакомых. 1909 г. Крекшино.
Фотография В. Г. Чертова.

91. Крестьяне под «деревом
бедных». 1908 г. Ясная Поляна.
Фотография К. К. Буллы.



92. Л. Н. Толстой. 1909 г. Ясная Поляна. Фотография фирмы «Отто Ренар».

93. Л. Н. Толстой в гостях у дочери Татьяны Львовны, 1910 г. Кочеты (Тульская губерния). Фотография Е. П. Сухотиной.

94. Л. Н. Толстой и С. А. Толстая в гостях у сына С. Л. Толстого в Никольском-Вяземском. 1910 г. Фотография М. Н. Толстой.







95. Л. Н. Толстой за игрой в шахматы с В. Г. Чертковым. 1910 г. Мещерское. Фотография Т. А. Тапселя.

96. Л. Н. Толстой с учащимися рабочих курсов. 1910 г. Ясная Поляна. Фотография М. Керина (?).

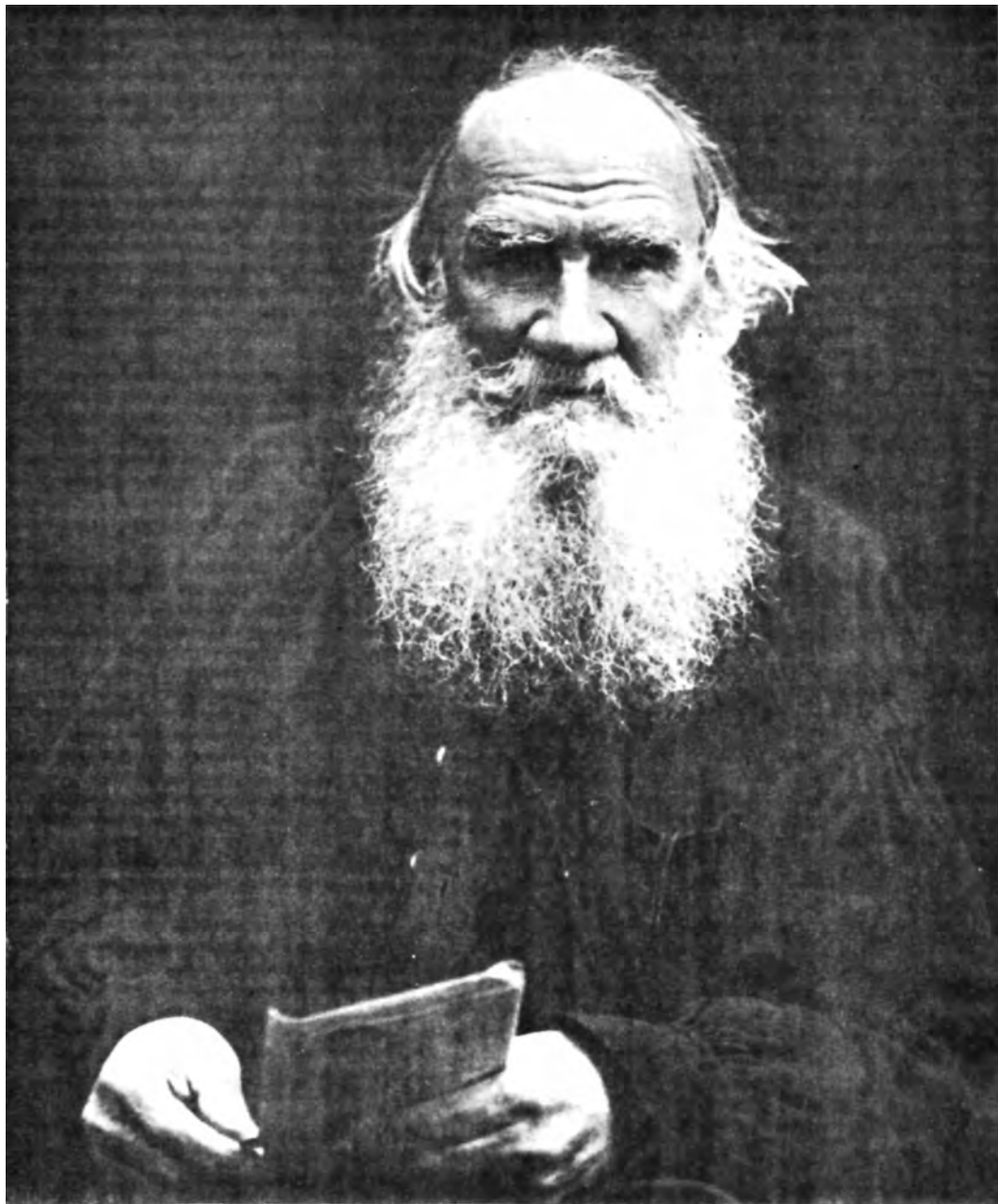
97. Л. Н. Толстой за разбором почты. 1910 г. Мещерское (имение Отрадное). Фотография Т. А. Тапселя.

98. Л. Н. Толстой за работой в яснополянском кабинете. 1909 г. Фотография В. Г. Черткова.

99. Л. Н. Толстой с крестьянами деревни Желябово (Тульская губерния). 1910 г. Фотография В. Г. Черткова. Редкий снимок.



100. Л. Н. Толстой. 1910 г. Кочеты.
Фотография В. Г. Черткова.



15. «Привычки отца в 60-х и 70-х годах были иные, чем впоследствии, — вспоминает старший сын Толстого Сергей Львович. — Дома он не носил крахмальную рубашку и одевался в свою традиционную блузу, зимой — в серую фланелевую, летом — в парусину... Но когда он ездил в Москву, он надевал крахмальную рубашку и хорошо сшитый сюртук, заказанный у порядочного московского портного».

16. С. А. Толстая писала о своем муже в декабре 1870 года: «Дня три тому назад он воротился из Москвы. Он нам покупал куклы, игрушки к елке, полотна и проч. Вернувшись, он все говорил: «Какое счастье быть дома, какое счастье дети, как я ими наслаждаюсь. Он учит Сережу математике...»

Толстой любил своих детей, но был очень сдержан в проявлении чувств. «За всю мою жизнь меня отец ни разу не приласкал. — вспоминал Илья Львович. — Это не значит, чтобы он меня не любил. Напротив, ...но он никогда не выражал своей любви открытой прямой лаской и всегда как бы стыдился ее проявления... К концу жизни отец стал значительно мягче. Он был нежен с моим младшим братом Ванечкой и был нежен с дочерьми, особенно с покойной сестрой моей Машей».

17—18. В ноябре 1873-го и январе 1874 года Толстой читал детям романы Ж. Верна «Дети капитана Гранта», «80 000 верст под водой», «Путешествие на луну», «Вокруг света в 80 дней». Последнее произведение было без иллюстраций, поэтому Толстой сам делал для детей рисунки пером черными чернилами на отдельных листках разного формата. «Отец совсем не умел рисовать, — вспоминал его сын Илья Львович, — а все-таки входило хорошо, и мы все были страшно довольны. Мы с нетерпением ждали вечера и все кучей лезли к нему через круглый стол, когда, дойдя до места, которое он иллюстрировал, он прерывал чтение и вытаскивал из-под книги свою картинку».

19. На снимке — автограф С. А. Толстой: «Ясная Поляна. Фотография Кн. С. С. Абамелека. 1885 г.». Сын Толстого Илья Львович имел в виду этот снимок, когда писал: «Научившись шить простые сапоги, отец начал уже фантазировать: шил ботинки и, наконец, брезентовые летние башмаки с кожаными наконечниками, в которых ходил сам целое лето (на фотографии того времени отец снят сидящим на террасе в таких самодельных башмаках)».

20. Софья Андреевна снимала не только семейные группы Толстого, гостей, пейзажи Ясной Поляны.

Она оставила ряд фотографий, которые рассказывают о будничных работах и хозяйственных делах: варка варенья, осенний сбор яблок, чистка прудов на усадьбе, работы на гумне. Эти снимки помогают более полно представить обстановку Ясной Поляны тех лет, увидеть много интересных и живых примет семейно-полюнского уклада жизни писателя.

21. В этой комнате с конца 1871 года и до конца 80-х годов помещался кабинет Толстого. Здесь им был написан роман «Анна Каренина». Многие предметы, сохранившиеся до настоящего времени, описаны в этом произведении.

В семье Толстых эта комната называлась также «нижней библиотекой», «комнатой для приезжающих», так как здесь ночевали гости, и «комнатой с бюстом». (В нише — скульптурный портрет Н. Н. Толстого работы Геерфа, 1861 г.) Сын писателя Илья Львович вспоминал: «Внизу, под залой, рядом с передней папа устроил себе кабинет. В стене он велел сделать полукруглую нишу и в ней поместил мраморный бюст своего любимого покойного брата Николая. Этот бюст сделан за границей с маски, и папа говорил нам, что он очень похож, потому что его сделал хороший скульптор по указанию самого папа».

В разное время в этой комнате останавливались И. С. Тургенев, А. А. Фет, А. П. Чехов, Н. Н. Ге, И. Е. Репин, В. В. Стасов и многие другие выдающиеся представители русской культуры.

22. Слева направо: Л. Н. Толстой, М. А. Стахович, Т. Л. Толстая, М. А. Кузминская (племянница С. А. Толстой), М. Л. Толстая, С. А. Толстая, С. Л. Толстой; на ширме: младшие сыновья писателя — Андрей и Михаил.

Группа сфотографирована в уютном уголке зала, где семья собиралась по вечерам, Лев Николаевич или кто-нибудь из старших дочерей обычно читали вслух, С. А. Толстая занималась рукоделием.

На большинстве снимков, сделанных М. А. Стаховичем в Ясной Поляне в 1887 году, присутствует и сам фотограф. Выбрав место съемки, М. А. Стахович, подобно С. А. Толстой, присоединялся к фотографируемым, но на группу аппарата он нажимал сам. Так был получен и публикуемый снимок.

23. Слева направо: Илья Львович, Лев Николаевич с младшими сыновьями Андреем и Михаилом, Сергей Львович, Софья Андреевна с Алешей на руках и Мария Львовна; стоят: Татьяна Львовна и Лев Львович.

В июле 1884 года Л. Н. Толстой писал В. Г. Черткову: «Живу я

нынешний год в деревне как-то невольно по-новому: встаю и ложусь рано, не пишу, но много работаю, то сапоги, то покос. Прошлую неделю всю проработал на покосе. И с радостью вижу (или мне кажется так), что в семье что-то такое происходит, они меня не осуждают, и им как будто совестно». В начале 80-х годов во взглядах Толстого произошел перелом. Писатель осудил частную собственность и праздную жизнь привилегированных классов. В эти годы он особенно остро чувствовал отчуждение семьи, не разделявшей его новых взглядов. Среди родных опорой Толстого была его любимая дочь Мария Львовна. «Она сердцем почувствовала одиночество отца, — вспоминал ее брат Илья Львович, — ...и определенно перешла на его сторону».

24. «Когда гостей нет, он сидит в зале недолго, берет с собой стакан чаю и уходит к себе. А если есть гости или друзья, он начинает разговаривать, увлекается и никак не может уйти, — вспоминал об отце И. Л. Толстой. — Заткнув одну руку за кожаный пояс, а в другой держа перед собою серебряный подстаканник с полным стаканом чая, он останавливается у дверей и часто подолгу, иногда по полчаса стоит на одном месте, не замечая, что чай давно остыл, и все говорит, говорит, и почему-то как раз в эту минуту разговор делается особенно интересен и оживлен».

Возможно, в один из таких моментов Толстой был сфотографирован М. А. Стаховичем осенью 1887 года.

25. Слева направо: С. А. Толстая, Л. Н. Толстой, С. А. Берс, М. Л. Толстая и М. П. Берс. Снимок сделан, когда в Ясной Поляне гостил брат Софьи Андреевны Степан Андреевич с женой М. П. Берс. «Народу у нас всегда пропасть, — писал Толстой в сентябре 1887 года. — Маша, дочь, так хороша, что постоянно сдерживаю себя, чтоб не слишком высоко ценить ее. Еще здесь шурин мой Берс Степан, мой любимый, горячий, умный, живой, правдивый человек. Он женат... я не видел его 9 лет. И теперь он и жена его, особенно он, стал близок ко мне. Всегда страшно верить, но радостно».

26. Дома усадьбы Толстого почти со всех сторон окружены яблоневыми садами. Напротив дома писателя — «Красный сад», за парком — «Молодой сад», недалеко от дома Волконского протянулся «Старый яблоневый сад». Плодовые деревья росли за павильоном, спускались к Большому пруду... По словам С. А. Толстой, было «что-то волшебное, безумное в их цветении». В конце лета и

осенью аромат свежих яблок чувствовался даже на шоссе, за полтора-два километра от Ясной Поляны.

27. В 1881 году Толстой с семьей переехал из Ясной Поляны в Москву, чтобы дать детям образование.

Вначале Толстые поселились в Денежном переулке, рядом с гимназией Л. Н. Поливанова, куда должны были поступить сыновья Толстого Андрей и Михаил. Но дом оказался неудобным из-за повышенной шумопроницаемости комнат, и в 1882 году после долгих поисков Толстой нашел более подходящий — в Долгохамовническом переулке. Льву Николаевичу понравилось уединенное расположение дома и особенно большой запущенный сад — кусочек природы, отгороженный высоким забором от шумного, пыльного города. В том же году Толстой купил в расщелку долгохамовнический дом у его владельца, мелкого дворянина, коллежского секретаря Н. А. Арнаутова, и переехал с семьей на новую квартиру.

Арнаутовский дом находился в рабочем районе. «Я живу среди фабрик, — писал Толстой в трактате «Так что же нам делать?». — Каждое утро в 5 часов слышен один свисток, другой, третий, десятый, дальше и дальше... первый свисток — в 5 часов утра — значит то, что люди, часто вповалку — мужчины и женщины, спавшие в сыром подвале, поднимаются в темноте и спешат идти в гудящий машинами корпус и размещаются за работой, которой конца и пользы для себя они не видят, и работают так, часто в жару, в духоте, в грязи с самыми короткими перерывами час, два, три, двенадцать и больше часов подряд»

28. В этом доме писатель с семьей прожил девятнадцать зим. На лето Толстые уезжали в Ясную Поляну. Здесь он работал над многими произведениями, в том числе над романом «Воскресение», повестями «Смерть Ивана Ильича» и «Крейцерова соната», драмой «Власть тьмы». Последнее, что Толстой написал в этом доме, — это «Ответ Синоду» на отлучение его от церкви.

В Москве, так же как и в Ясной Поляне, у Толстого побывали известные писатели, ученые, художники, артисты, композиторы: А. П. Чехов, А. М. Горький, Ч. А. Римский-Корсаков, С. В. Рахманинов, А. Г. Рубинштейн, А. Н. Скрябин, И. Е. Репин, В. А. Серов, В. И. Суриков, М. Г. Савина, К. С. Станиславский, В. И. Немирович-Данченко и многие другие.

К дому примыкает большой сад, который нравился Толстому. «Какая прелесть сад: сидишь у окна в сад — весело, спокойно, —

писал он жене в Ясную Поляну в 1882 году.

29. Единственный снимок писателя в кабинете московского дома. Автор фотографии Петр Васильевич Преображенский — профессор Московского университета. Его лекцию о рентгеновских лучах Толстой слушал в 1896 году. Преображенский бывал у писателя в Москве и в Ясной Поляне. 15 апреля 1898 года в кругу семьи и знакомых Толстого в хамовническом доме он читал лекцию о световых и цветковых иллюзиях.

30. Каждую зиму в саду перед домом устраивался каток. Л. Я. Толстой привозил воду из колодца и вместе с детьми поливал площадку. Толстой и младшие дети предпочитали этот каток, а взрослые ездили на городской. Лев Николаевич хорошо катался на коньках и любил делать разные замысловатые фигуры, что очень нравилось детям.

Мальчики на снимке — Илюша и Коля — дети повара Толстых С. Н. Румянцева.

31. Автор этого снимка Павел Иванович Бирюков, единомышленник Толстого и первый его биограф. Лев Николаевич сфотографирован со своими дочерьми в столовой московского дома в Долгохамовническом переулке.

«Дочери Толстого очень симпатичны, — писал А. П. Чехов в 1895 году. — Они обожают своего отца и веруют в него фанатически. А это значит, что Толстой в самом деле великая нравственная сила, ибо, если бы он был неискренен и не безупречен, то первые стали бы относиться к нему скептически дочери, так как дочери те же воробьи: «их на мякине не проведешь».

32. Прогулки верхом Толстой любил до глубокой старости. Ездил превосходно, держался в седле уверенно. Современники восхищались его красивой кавалерийской посадкой. Он любил лошадей, на которых ездил, и хорошо знал их нрав и повадки.

33. В этом году произошло знакомство Толстого с Трубецким, который стал частым гостем в хамовническом доме писателя. В апреле 1898 года он приходил почти каждый день, так как работал над скульптурным портретом Толстого. Сеансы проходили в одной из комнат нижнего этажа. «Льва Николаевича все лепит Трубецкой, и очень хорош бюст: величественный, характерный и верный», — записала С. А. Толстая 16 апреля 1898 года.

Группа сфотографирована 6 апреля в зале за «большим чаем». Так в семье Толстых назывался чай для гостей.

34. Последняя фотография младшего сына Толстого Ванечки, скончавшегося от скарлатины семилетним ребенком 23 февраля 1895 года.

«Отчаяние матери было так глубоко, — пишет Татьяна Львовна, — что она едва не лишилась рассудка».

Тяжело переживавший смерть сына Толстой, по его признанию, первый раз в жизни испытал чувство безысходности. В хрупком, необыкновенно чутком, полном любви и ласки ко всем Ванечке, которого он горячо и нежно любил, Толстой видел своего духовного наследника. «На этом детском личике поразили глубокие серьезные серые глаза, — пишет в воспоминаниях друг семьи Толстых А. Г. Русанов, — взгляд их, особенно когда мальчик задумывался, становился углубленным, проникающим, и тогда сходство с Львом Николаевичем еще более усиливалось. Когда я видел их вместе, то испытывал своеобразное ощущение. Один старый, согнувшийся, потесненно уходящий из жизни, другой — ребенок, а выражение глаз одно и то же».

35. Одним из любимых сюжетов С. А. Толстой как фотографа-любителя были ее портреты со Львом Николаевичем в разные годовщины их свадьбы 23 сентября. Так получилось, что серия этих фотографий начата и завершена двумя по-своему трагическими годами. Первый снимок сделан в 1895 году — после смерти любимого сына Ванечки. Последний в сентябре 1910 г., накануне ухода писателя из Ясной Поляны и его смерти. На обороте этого снимка С. А. Толстая написала: «Не удержишь». «Свадебные фотографии», как называла их Софья Андреевна, снимались ею неравномерно: то подряд, год за годом, то с перерывами в несколько лет.

В 1896 году к свадебному дню она приезжала в Ясную Поляну из Москвы, где жила с младшим сыном Михаилом — гимназистом. «Было 34 года нашего супружества, — вспоминала С. А. Толстая впоследствии, — и как мы еще сильно любили друг друга. Точно еще молодые, а не такие пожилые. Льву Николаевичу 68 лет, мне 52 года. Побыва в Ясной Поляне недолго и скоро опять уехала» (С. А. Толстая. Моя жизнь. ОР ГИМ *).

36. На площадке перед домом — Л. Н. Толстой с внуками: Таней и Ваней — детьми Михаила Львовича.

На снимке — дом с северной стороны, где был основной вход. На террасе, пристроенной в 1892 году, семья писателя проводила летом большую часть дня: здесь обедали, пили чай, принимали гостей. В жаркие дни стол на-

крылся на площадке перед домом.

Слева — старый вяз («дереву бедных»).

37. Татьяна Андреевна Кузминская в августе 1898 года гостила в Ясной Поляне несколько дней. Приезд любимой сестры всегда был для С. А. Толстой радостью. На память о ее пребывании Софья Андреевна сделала несколько снимков.

Почти на всех фотографиях ее работы мы видим и самого фотографа. Заранее выбрав место съемки, установив аппарат и рассчитав время экспозиции, Софья Андреевна в последний момент присоединялась к фотографируемым, попросив кого-нибудь из присутствующих нажать кнопку аппарата.

38. Слева, у въезда в Ясную Поляну, находится Большой пруд, который отделяет усадьбу Толстого от деревни. Здесь купались крестьянские дети, женщины полоскали белье; зимой устраивали каток. В начале 60-х годов, когда Толстой открыл на усадьбе бесплатную школу для крестьянских ребят, он любил купаться в этом пруду со своими учениками.

39. Фотография сделана в пору, когда между Л. Н. Толстым и А. А. Фетом уже не существовало прежних близких отношений. Причиной тому были идейные разногласия, связанные с переломом во взглядах Толстого. В 1880 году прекратилась и переписка между ними, хотя встречи продолжались до конца жизни Фета. (1892 г.).

40. «Лев Николаевич, разговаривая, не морщился, не проявлял неудовольствия в лице и не жестикулировал руками. Головой чрезвычайно редко делал знак отрицания, медленно покачивая вправо и влево. Вообще, он ничего не делал возбужденно, а во всем держал себя тихо, степенно», — писал Д. П. Маковицкий.

В этом отношении необычна публикуемая фотография работы дочери писателя Марии Львовны Толстой снят жестикулирующим: поднятые руки с расставленными пальцами выражают как будто отрицание, несогласие или удивление. В сборнике «Груды Толстовского музея», выпущенном в 1929 году под редакцией Н. Н. Гусева, этот снимок был опубликован под названием «В споре с дамой».

41. Четвертый слева из сидящих за столом — художник Николай Николаевич Ге, с которым Толстого связывала глубокая дружба с момента их знакомства (1882 г.) и до внезапной кончины художника (1894 г.). Ге — автор одного из лучших живописных портретов Толстого и иллюстраций к его рассказу «Чем люди живы», высоко ценных Львом Николаевичем.

Очень простой в обращении, любивший смех и шутку, «дедушка Ге», как его любовно называли в семье Толстых, с первого же знакомства стал в их доме своим человеком. «Это был удивительно чистый, нежный гениальный старый ребенок, весь по края полный любовью ко всем и ко всему...» — писал Толстой в письме к И. И. Горбунову-Посадову вскоре после смерти Ге.

Почти каждое лето в Ясную Поляну приезжала с семьей Татьяна Андреевна Кузминская (на снимке — третья справа от Толстого). Флигель, в котором она жила, называли «кузминским домом». Дети Толстого были влюблены в обожаемую тетю Таню и приезд Кузминских воспринимали как праздник.

42. Снимок сделан в конце августа 1899 года, когда Трубецкой приезжал на несколько дней в Ясную Поляну, чтобы с натуры закончить скульптурный портрет Толстого, начатый раньше в Москве. Лев Николаевич ездил к скульптору в мастерскую при школе живописи, валяния и зодчества, где Трубецкой преподавала. Жена Толстого Софья Андреевна, вероятно, выразила мнение многих, написав: «Ни одна из всех скульптурных работ всех бравшихся за изображенную Льва Николаевича не передает настоящего его облика. Лучшие других — маленький бюст со сложными руками работы Трубецкой» (С. А. Толстая. Моя жизнь, ч. III, ОР ГМТ).

43. «В Ясной Поляне всегда царил любовь к искусству, уважение к художникам и их работе... Душой художников была Татьяна Львовна; она сама серьезно занималась живописью, как ученица и большая поклонница Репина», — писал скульптор И. Я. Гинцбург, часто приезжавший в Ясную Поляну.

На втором плане: В. С. Толстая (племянница Толстого), Л. Л. Толстой и А. М. Голицын (товарищ сыновей писателя); слева — неизвестная, вероятно, подруга Т. Л. Толстой и Ю. И. Игумнов.

44. В августе 1900 года В. В. Стасов и скульптор И. Я. Гинцбург провели в Ясной Поляне несколько дней. «Кроме времени твоего писания... он (Л. Н. Толстой. — О. Е. и Т. П.) все время был со мною, — делился своими впечатлениями об этом пребывании у Толстого В. В. Стасов. — О чем только мы не поговорили в эти незабвенные дни... Графиня сделала с нас целых четыре фотографических снимка, на которых присутствуют: Лев сам, графиня, Элиас Гинцбург и я. Из четырех 2 фотографии вышли превосходно!!!»

45. К дому Толстого примыкает старинный липовый парк «Клины», названный так по треугольникам-клиньям, которые образуют липовые аллеи и тропинки парка.

Он был разбит Н. С. Волконским в классическом стиле по образцу французских парков XVIII века. В центре парка была круглая площадка для оркестра. По утрам старый князь гулял в парке, слушая музыку Гайдна в исполнении крепостных музыкантов.

«Клины» были любимым местом утренних прогулок Толстого. Свой парк он любил. В молодости не раз спорил с Тургеневым, чей парк лучше. Однажды, уже в преклонном возрасте, проезжая через тургеневский парк в Спасском-Лутвинове, Толстой сказал сыну: «Все-таки яснополянский лучше, хотя хорош, очень хорош и этот».

46. На первом плане (слева направо): А. П. Чехов, С. А. Толстая, Л. Н. Толстой, М. Л. Оболенская.

Хотя личное знакомство писателей состоялось в 1895 году в Ясной Поляне, впервые по-настоящему они сблизились в Крыму. Чехов жил в 10 верстах от Гаспри, на даче Аутка, и несколько раз посетил Толстого. Во время болезни Толстого, сам тяжело больной, Чехов тревожился за жизнь дорогого ему человека и писателя, видя в нем нравственную опору русской литературы.

Гаспринские встречи Толстого с Чеховым запечатлены на фотографиях С. А. Толстой и П. А. Сергеевко. О публикуемой фотографии сохранились отзывы В. Г. Короленко и А. И. Куприна: «...Снимок удивительно характерен: и этот бодрый старик, с таким увлечением донесший свои теории до могилы, и мрачный молодой Чехов... точно картина художника, полная глубокого значения» (В. Г. Короленко — П. А. Сергеевко 17 августа 1913 г. ОР ГМТ).

«У меня, — вспоминал А. И. Куприн, — осталась в моем гаспринском доме фотография, снятая с Толстого и Чехова... Толстой так увлекся разговором, что совсем забыл о своем утреннем завтраке. Он сжал в правой руке чайную ложку (конец над большим пальцем), как будто он грозил ею. У Чехова — милая-милая и только чуть-чуть лукавая улыбка (кстати, я никогда не видел улыбки прелестней чеховской). И Толстой как будто бы говорит Чехову: «Во-первых, Антон Павлович, надо писать по возможности просто!» А потупленная улыбка — взгляд Чехова как будто отвечает: «Лев Николаевич, это же труднее всего на свете».

47. Дача Гаспра на берегу Черного моря (в 12 километрах от Ялты) принадлежала богатой помещице С. В. Паниной Узнав о болезни Толстого, она любезно пре-

доставила ему свой дом в Крыму. Здесь писатель с семьей прожил около года: с 8 сентября 1901 года по 25 июня 1902 года. «Дом, в котором мы живем, похож на средневековый замок, я его сфотографировала... Мы занимаем только верх, внизу пользуемся одной столовой, а кабинеты, спальни и гостиную мы решили не занимать от страха что-либо попортить», — писала С. А. Толстая сыну А. Л. Толстому 14 сентября 1901 года (ОР ГИМ).

48. Снимок сделан в конце мая 1902 года, в период выздоровления Толстого после брошного тифа, когда Льва Николаевича стали вывозить на террасу гастринского дома в кресле-коляске, специально выпланенном для него из Москвы. Как и на большинстве других фотографий этого времени, поражает острый, проникновенный взгляд писателя.

49. Этот снимок очень нравился Л. О. Пастернаку, который называл его художественным произведением в самом высоком смысле этого слова. На фотографии художника особенно поразило проникновенный взгляд Толстого. «...Когда он так глядит, — писал Леонид Осипович, — то ему ясно все, что у меня в душе, и не только взор его проникает глубоко всего меня, но далеко хватает через меня и дальше» (Л. О. Пастернак. Письмо к С. А. Толстой от 20 ноября 1902 г. ОР ГИМ).

50. Слева направо: сидят: К. В. Волков (земский врач), Л. Н. Толстой, С. А. Толстая, П. А. Буланже (знакомый семьи Толстого); стоят: Д. В. Никитин (домашний врач Толстых), С. Л. Толстой (старший сын писателя), Ю. И. Игумнова (художница, друг семьи Толстого) и К. Х. Класен (управляющий Гастрей). Группа сфотографирована в гастринском парке накануне отъезда Л. Н. Толстого с семьей из Крыма в Ясную Поляну.

51. Такую фотографию Л. Н. Толстой подарил А. П. Чехову, когда он навесит его в московском доме 15 февраля 1896 года. Снимок с дарственной надписью Толстого хранился в Таганроге в Литературном музее А. П. Чехова.

52. На снимке — уголок зала с большим круглым столом, где по вечерам любили собираться семья Толстого и гости. Здесь в 1895 году писатель читал родным и знакомым главы из неоконченного романа «Воскресение».

«Вечера в Ясной Поляне носили характер патриархальной интимности, — вспоминал скульптор Н. А. Аронсон в 1901 году. — Все собиралось в большой зал, просто убранный, со старинной семейной мебелью красного дерева... Атмо-

сфера была необыкновенно успокаивающей. Одни занимались музыкой, другие играли в шахматы, графиня и ее дочери читали и рукодельничали; все это вселяло ощущение глубокого спокойствия».

53. Среди множества посетителей Ясной Поляны Толстого больше всего интересовали те, которые обращались к нему с серьезными волнующими жизненными вопросами. К их числу принадлежат двое рабочих из Тулы, сфотографированные П. И. Бирюковым в момент беседы с Толстым около дома писателя.

На обороте одного из экземпляров снимка В. Г. Чертков написал: «Л. Н. вступает в разговор с посетителями из Тулы, со стариком-старобрядцем и молодым рабочим-социалистом» (ОФ ГИМ).

54. Н. А. Андреев в 1905 году приезжал в Ясную Поляну дважды: в марте (лепил скульптурный портрет Толстого за работой) и в мае, когда работал над бюстом писателя. В оба посещения скульптор старался лишний раз не беспокоить Льва Николаевича просьбами о позировании и лепил его чаще в то время, когда Толстой занимался или отдыхал: играл в шахматы или беседовал с близкими ему людьми.

Публикуемая фотография сделана в мае 1905 года. Л. Н. Толстой разговаривает с В. Г. Чертковым на террасе яснополянского дома.

55. Л. Н. Толстой, С. А. Толстая, В. В. Нагорнова (племянница Л. Н. Толстого), М. И. Толстой (внук писателя), Д. А. Олсуфьев, Т. А. Кузминская, ее внук — И. И. Эрдели и А. М. Кузминский.

Снимок сделан сыном близких друзей Толстого, Олсуфьевых, Дмитрием Адамовичем Олсуфьевым, который вернулся с русско-японской войны и гостил несколько дней в Ясной Поляне в августе 1905 года. Во время одной из верховых прогулок Л. Н. Толстой и Д. А. Олсуфьев встретили в окрестностях Ясной Поляны Софью Андреевну, Кузминских и В. В. Нагорнову.

Олсуфьев воспользовался удобным случаем и сфотографировал группу с писателем. На снимке присутствует и сам фотограф. Вероятно, на кнопку фотоаппарата нажимал Д. П. Маковицкий, принимавший участие в этой прогулке. В этот приезд в Ясную Поляну Дмитрий Адамович сделал несколько фотографий Толстого. «Ныче только уехал Митя Олсуфьев — жил 6 дней и был очень мил», — сообщил 17 августа 1905 года Л. Н. Толстой дочери Т. Л. Сухотиной.

56. Снимок сделан дочерью Толстого М. Л. Оболенской летом 1901

года накануне его отъезда по совету врачей в Крым. Толстой был нездоров, поэтому Мария Львовна большую часть июля и августа жила в Ясной Поляне, ухаживала за больным отцом и, как всегда, помогала ему в работе (переписывала рукописи, отвечала на письма и т. д.). За это время она сняла несколько фотографий Толстого, из которых публикуемая отличается особенной выразительностью. В фигуре писателя спокойствие и непринужденность, во взгляде — сила мысли и проницательность, и все это в сочетании с камерностью, что вообще свойственно манере фотографирования М. Л. Оболенской.

58. Лев Николаевич и Софья Андреевна сфотографированы 23 сентября, в сорок пятую годовщину своей свадьбы. Они сидят за письменным столом в кабинете Толстого.

В этот день С. А. Толстая сделала несколько фотографий, в том числе одну традиционную «свадебную», где они со Львом Николаевичем стоят рядом, в рост на площадке в парке. Как всегда в этот день, Софья Андреевна в белом платье.

59. Глядя на этот снимок, Толстой, по свидетельству жены В. Г. Чертовой, Анны Константиновны, не раз говорил: «Ах, если бы Толстой был всегда такой, каким он здесь вышел!». Лев Николаевич часто дарил эту фотографию, иногда заменяя ею свои плохие портреты, присылаемые ему с просьбой о подписи. Однажды он попросил В. Г. Чертова размножить снимок и сказал: «На этом портрете я как будто в зеркало смотрюсь... конечно, в хорошую минуту». (Надпись на обороте почтовой открытки с воспроизведением портрета, сделанная рукой секретаря А. К. Чертовой со слов последней. ОФ ГИМ).

Своими «хорошими минутами» Толстой считал те, когда он ни на кого не гневался и никого не осуждал. В старости таких минут в его жизни стало больше, но само воспоминание и сказал: «Ах, если бы» говорит, каким трудом они давались ему и теперь. Фотография снята месяц спустя после окончания статьи «Не могу молчать». Боль, страдание совести, побудившие Толстого написать одно из своих самых гневных произведений, видны и на этом «безмятежном» портрете, который поражает нас глубокой человечностью.

60. Фотография снята незадолго до смерти Марии Львовны, которая была для Толстого в семье, по его словам, «духовно самым близким человеком». Она умерла от крупозного воспаления легких 27 ноября 1906 года в возрасте тридцати пяти лет.

Спустя два месяца, вспоминая ее последние минуты, Толстой запи-

сал в дневнике: «Она сидит, обложенная подушками, я держу ее худую милую руку и чувствую, как уходит жизнь, как она уходит. Эти четверть часа одно из самых важных значительных времен в моей жизни».

О фотографиях Марии Львовны, присланных ему В. Г. Чертковым в декабре 1906 года. Толстой сказал: «Какие хорошие» и прибавил со слезами на глазах, что «не мог долго смотреть их — отложил» (Д. П. Маковиккий. Яснополянские записки. 18 декабря 1906 г. ОР ГМТ).

61. Снимок сделан в конце сентября 1907 года, когда И. Е. Репин с женой Н. Б. Нордман-Северовой гостил у Толстых. «Еще никогда в жизни я не чувствовал в своей душе такой светлой, спокойной струи, как в этот раз в Ясной Поляне», — писал И. Е. Репин С. А. Толстой 7 октября 1907 года. — Я жил в такой родной семье и чувствовал такую преданность к окружающим меня дорогим существам... Всякий момент был глубоко интересен — как может быть только у Толстых».

62. Жизнь в Ясной Поляне никогда не была для Толстого идеальной. Он с болью видел тяжелое положение крестьян и стыдился своей господской жизни. С годами это чувство становилось все острее и острее.

В дневнике писателя мы находим такие записи: «...прошел по деревне. Хорошо у них, а у нас стыдно»; «шел по деревне, заглядывал в окна. Везде бедность и невежество»; «ходил на деревню. У Морозова 8 сирот, больная старуха»; «...был на деревне у большого».

64. Снимок сделан в начале декабря. Толстой сфотографирован с подвязанной рукой. Накануне, во время верховой прогулки, он упал с лошади и вывихнул левую руку в плечевом суставе.

Это один из первых по времени портретов Толстого за рабочим столом в кабинете. Фотография передает глубокую сосредоточенность писателя. Чтобы сфотографировать Толстого в такой отрешенности от окружающей обстановки, всецело занятого своими мыслями, надо было снимать его незаметно. Толстой часто не замечал, как Софья Андреевна его фотографировала. Он настолько привык к каждодневной энергичной деятельности жены, что иногда не обращал внимания и на ее «фотографическую суету».

66. Л. Н. Толстой сфотографирован с палкой-студом, подаренной ему литератором П. А. Сергеенко. Писатель использовал ее как ступ во время прогулок. «Нынче снег, ходил гулять по глубокому снегу, и так хорошо, так хорошо на ду-

ше», — записал он в дневнике после одной из зимних прогулок в 1909 году.

67—68, 70—71. По свидетельству А. К. Чертковой, эта серия одновременных моментальных снимков Толстого сделана во время спора Льва Николаевича «с безнадёжным оппонентом» (надпись на открытке с одним из портретов серии рукой секретаря А. К. Чертковой со слов последней. ОФ ГМТ).

69. В последние годы жизни Толстой пережил новый период увлечения педагогической деятельностью. Он возобновил занятия с крестьянскими ребятами, которые по вечерам приходили к нему на усадьбу: читал с ними вслух книги, давал уроки математики, географии, астрономии.

В 1908 году Толстой продиктовал в фонограф (хорошо известное нам теперь по грамзаписи) обращение к своим ученикам, начинающееся словами: «Спасибо, ребята, что ходите ко мне...»

Из дневника Н. Н. Гусева 1908 года: «Вчера вечером мальчики, окончив занятия и выйдя из дому, через несколько минут вернулись назад и сказали Льву Николаевичу, что не нашли Полярной звезды. Лев Николаевич накинуд шубу и вышел с ними наружу, указал эту звезду и еще раз повторил то, что говорил о ней».

По окончании занятий Лев Николаевич дает для прочтения некоторым мальчикам дешевые книжечки «Посредника». С этими книжечками в руках мы и видим яснополянских ребят на фотографии.

72. «На большинстве его портретов и фотографий, — пишет о Толстом его секретарь Н. Н. Гусев, — на вас глядит суровое, иногда скорбное лицо; но в общении с людьми Лев Николаевич не всегда был таков. Он любил смех, охотно слушал веселые безобидные рассказы и сам смеялся тихим, но заразительным смехом».

Суровое выражение лица на большинстве фотографий Толстого объясняется в основном тем, что он не любил фотографироваться. Почти все известные нам фотографии, на которых Толстой снят улыбающимся (а их не наберется и десяти), принадлежат Черткову. Он был для Толстого единственным «не неприятным» фотографом, и «скрытая камера» его моментального аппарата скорее могла захватить врасплох улыбку Льва Николаевича: то ироническую, то умиленную, то простодушно-веселую.

73. Снимок сделан известным русским живописцем, впоследствии народным художником РСФСР, Николаем Алексеевичем Касаткиным, который более двадцати лет

был знаком с Толстым и его семьей. Он часто бывал в Ясной Поляне и в московском доме писателя. В Государственном музее Л. Н. Толстого хранятся еще две фотографии работы Касаткина. На них Толстой снят верхом. Касаткин, видимо, как и многие художники, был восхищен легкостью, с которой Толстой садился на лошадь и держался в седле, несмотря на свой преклонный возраст. Летом 1897 года, когда были сделаны эти фотографии, писатель особенно хорошо себя чувствовал и был полон энергии. Жена Толстого Софья Андреевна записала в дневнике 1 августа 1897 года: «Лев Николаевич сегодня часа три играл с азартом в лаун-теннис. Потом ездил верхом на Козялку... Да сегодня он и писал много и вообще молод, весел и здоров. Какая мощная натура!» Толстому было в то время 69 лет.

К сожалению, кроме снимков с изображением Толстого, не известно ни одного портрета писателя, выполненного Н. А. Касаткиным. Из переписки художника со старшей дочерью Льва Николаевича мы узнаем, что одно время он хотел снять копию с картины Репина «Толстой в кабинете под сводами» (1891 г.). Неизвестно, приступил ли художник к работе над копией, а если написал, где она сейчас. В архиве Третьяковской галереи хранится письмо коллекционера Д. Будинова к Касаткину от 16 января 1929 года, в котором среди других работ художника упоминается и портрет Л. Н. Толстого. Местонахождение портрета до настоящего времени не установлено.

74. Снимок сделан для художника А. В. Моравова, который писал в Ясной Поляне портрет Л. Н. Толстого за работой. С. А. Толстая ставала, когда Лев Николаевич устал от сеансов с художниками, поэтому шла навстречу их просьбам сделать необходимые для работы фотографии. Конечно, снимок нужен был на определенном этапе творчества, и у каждого художника был свой метод работы с натурой и с фотографией.

«Вечером проявляла фотографию для художника Моравова. Снимок вышел прекрасный», — записала она 3 ноября 1909 года (С. А. Толстая. Ежедневник ОР ГМТ). Эта фотография очень нравилась Толстому. «Портрет прекрасен, потому что не было позирования. Руки прекрасны, и выражение натурально», — говорил он (Д. П. Маковиккий. Яснополянские записки. ОР ГМТ).

75. Воронка протекает в окрестностях Ясной Поляны и впадает в Упу — приток Оки. По берегам Воронки тянется Калинов луг — самый большой луг в Ясной Поляне. Здесь Толстой много раз косил траву с крестьянами. В романе «Анна Каренина» он описал Кали-

нов луг и те «блаженные минуты» радости, которые испытывал при космбе с крестьянами. В реке Воронке Толстой любил купаться.

76. К своей внучке, дочери Татьяны Львовны, Тае Сухотиной, которая родилась в Ясной Поляне и часто подолгу гостила там, Толстой был очень привязан.

26 ноября 1908 года, накануне отъезда Татьяны Львовны с мужем и дочерью из Ясной Поляны в Москву, а затем в Швейцарию, Чертков и его помощник Гапесель несколько раз сфотографировали Льва Николаевича с внучкой. Получив эти снимки, Татьяна Львовна писала Черткову: «Очень большое спасибо Вам за Таничкины фотографии. Они очень хороши и доставили мне и моему мужу большое удовольствие. Тратательна руд с внучкой, где они держатся за руку и смотрят друг на друга... Могу ли я заказать Вашему фотографу по дюжине этих фотографий? Мне многим хочется их дать... Увеличение это уже излишняя роскошь, и снимки так хороши, как они есть, что лучшего трудно ожидать» (Т. Л. Сухотина — В. Г. Чертков от 18 декабря 1908 г. ОР ГИМ).

77. Летом 1908 года Толстой попросил В. Г. Черткова сфотографировать его верхом на Делире на Горелой Поляне, чтобы сравнить эту фотографию с зимней (см. № 79). Со слов жены В. Г. Черткова, Анны Константиновны, Толстой выражал потом сожаление, что фотографии не цветная, так как в то лето было очень много цветов и трава была особенно высокой. Лев Николаевич сказал: «Не мог отказать себе в удовольствии залезть в самую гущу этого роскошного луга. А потом стало совестно, что помял траву» (написан рукой секретаря А. К. Чертковой с ее слов на обороте почтовой открытки с публикуемым снимком. ОФ ГИМ).

78. Радость, которую дает человеку природа, Толстой считал самой чистой. Он обладал необыкновенной чуткостью к природе, любил дальние прогулки и был неутомимый ходок. Лес Засена, берега реки Воронки, близ которой мы видим Толстого на снимке, — любимые места его прогулок. «Далеко ходил, думал, глядел, нюхал, собирал цветы. Очень хорошо на душе», — записывает Толстой в дневнике за полгода до смерти. В старости часы уединенного общения с природой служили ему и временем, когда он, по свидетельству Н. Н. Гусева, усиленно сосредоточивался в самом себе для того, чтобы в течение всего последующего дня держаться на уровне духовной высоты, как в сношениях со всеми людьми... так и во время его собственной напряженной творческой деятельности. Это напряжение духовных сил и сосредоточение в са-

мом себе он называл молитвой». Эти значительные моменты в жизни Толстого запечатлела «скрытая камера» чертковского фотоаппарата.

79. В одном из писем к В. Ф. Булгакову сын В. Г. Черткова, В. В. Чертков, писал: «Иногда Лев Николаевич сам просил отца, чтобы он его снял, как это было зимой во время приезда из Англии. (1908 года. — О. Е. и Т. К.). Лев Николаевич нарочно на Делире заехал в самый глубокий снег, «охал» и «ахал», когда Делир вылезал из снега, и сказал отцу: «Эту фотографию, когда вернетесь в Англию, покажите Димочке (В. В. Черткову. — О. Е. и Т. К.), чтобы он видел, какой у нас снег бывает».

80. «При мне, — вспоминает Вал. Булгаков, — Лев Николаевич, в свои 82 года, играл в городки с Алексеем Сидоровым... сыном старого яснополянского слуги, Илья Васильевича Сидорова. Есть фотография, изображающая «удар» Толстого. Конечно, играть долго и «серьезно» он уже не мог; так только. «пробовал силы».

81. Мечников с юности был страстным поклонником художественного гения Толстого и проявлял большой интерес к его личности. Толстой, знакомый с некоторыми из статей Мечникова, со своей стороны, также интересовался им.

Встреча писателя и ученого в Ясной Поляне 30 мая 1909 года, их разговоры о религии, искусстве и науке дали им много для понимания мировоззрения и личности друг друга.

Приезд Мечникова в Ясную Поляну отражен на фотографиях С. А. Толстой, В. Г. Черткова и С. Г. Смирнова.

82. Толстой сфотографирован в музыкальном магазине Ю. Г. Циммермана на Кузнецком мосту во время прослушивания нового музыкального аппарата «Миньон», воспроизводящего игру известных пианистов.

Особенно понравилась Толстому запись некоторых вещей Шопена (баллада As-dur и полонез As-dur) в исполнении Падеревского. «Слушая музыку, Лев Николаевич вскрикивал от восторга, ахал, слезы были у него на глазах», — вспоминает организовавший прослушивание «Миньона» пианист А. Б. Гольденвейзер.

83. Из дневника секретаря Толстого Н. Н. Гусева: «Приехали фотографии из «Нового времени» (К. К. Булла с сыном. — О. Е. и Т. К.), сделали очень много снимков. В том угнетенном состоянии, в котором он чувствует себя сегодня, Льву Николаевичу было это, по-видимому, неприятно. Он ничем не выразил своего недовольства,

но когда снимали всех за столом, с выдержкой в десять секунд, и все в торжественной неподвижности застыли над кушаньями, торжественность эта, очевидно, показала Льву Николаевичу до такой степени комичной, что он не выдержал и громко фыркнул от смеха и тем испортил снимок. Стали снимать вторично — Лев Николаевич опять не выдержал и фыркнул еще раньше, чем в первый раз». Софья Андреевна стала укоризненно выговаривать мужу. «Не буду, не буду», — виновато сказал ей Лев Николаевич, и фотография, наконец, была снята.

На другой день после отъезда фотографов из Ясной Поляны Толстой записал в дневнике: «Пережил очень тяжелые чувства... Бесчисленное количество народа, и все это было бы радостно, если бы все не отравлялось сознанием безумия, греха, радости роскоши, присутию бедности и сверхчеловеческого напряжения труда кругом. Не переставая мучительно страдая от этого, и один».

84. В числе многочисленных посетителей Толстого накануне его 80-летия в Ясную Поляну приезжал народный учитель из Сибири И. П. Сысоев, побывавший до этого в Америке. Он попросил у Льва Николаевича разрешения сделать с него несколько снимков для американцев. Привезенный Сысоевым фотограф Баранов снял эти фотографии 11 мая — в день, когда Толстой находился под сильным впечатлением от прочитанного в газете «Русь» сообщения о казни двадцати херсонских крестьян. В этот же день Лев Николаевич продиктовал в фонограф начало статьи о смертных казнях — первоначальный вариант «Не могу молчать».

85. Остановившись на день в хамовническом доме во время своего последнего пребывания в Москве по пути из Ясной Поляны в Крещино, Толстой рано утром 3 сентября совершил прогулку. «Лев Николаевич, — писал А. Б. Гольденвейзер, — давно не был в Москве, и все его в ней поразило: высокие дома, трамваи, движение. Он с ужасом смотрел на этот огромный людской муравейник и на каждом шагу находил подтверждение своей давнишней ненависти к так называемой цивилизации». Делясь с близкими впечатлениями о своей прогулке по Москве, Толстой сказал: «Люди здесь так же изуродованы, как природа... Мне так и хочется описать все это! Я непременно это опишу!».

86. Деревня Ясная Поляна расположена рядом с усадьбой Толстого. Жизнь в постоянной близости с крестьянами дала писателю, по словам В. И. Ленина, «превосходное знание деревенской России, была помещика и крестьянина».

Толстой часто бывал в деревне и до мелочей знал жизнь всех ее крестьян.

87. Одна из серии фотографий Толстого среди крестьян и крестьянских детей, снятых Тапселем в тот день.

По старинному обычаю в яснополянскую усадьбу каждую весну приходили и приезжали крестьяне из окрестных деревень, в основном женщины, молодежь и дети. Они пели, играли на гармошках и балалайках, плясали, водили хоровод. Толстой переходил от одной группы к другой, любясь непосредственностью народного веселья.

89. По свидетельству жены В. Г. Черткова, А. К. Чертовой, фотография снята им незаметно в момент, когда Лев Николаевич, слушая рассказ о страданиях заключенных в тюрьмы людей, вдруг взволнованно обратился к А. К. Чертовой: «Вот ужасно ведь, а поверите ли? Я им завидую... А мне моя золотая тюрьма хуже, много хуже и, поверьте, я с радостью бы очутился в их месте». Толстой проговорил это дрожащим голосом, как будто с виноватой улыбкой на губах, и веки его покраснели от слез, наполнивших глаза...» (запись-приложение к почтовой открытке с этим портретом, написанная со слов А. К. Чертовой ее секретарем).

Чувство вины, желание самому пострадать за свои убеждения Толстой не раз испытывал, думая о людях, которые подвергались преследованиям за распространение его запрещенных книг. В 1909 году за это был арестован и послан в Пермскую губернию секретарь, впоследствии один из выдающихся исследователей жизни и творчества Толстого, Николай Николаевич Гусев. За три дня до ухода из Ясной Поляны Толстой послал ему свою фотографию, снятую Чертовым в Крекшине, с надписью: «Милому Гусеву от любящего его друга Льва Толстого». Кто-то из ссыльных сделал для портрета деревянную рамку, в которой он, как дорогая реликвия, до конца жизни Н. Н. Гусева висел на стене его московского кабинета.

Накануне ухода из Ясной Поляны, в октябре 1910 года, такой же снимок с надписью: «Милому Душану от благодарного друга Льва Толстого» Лев Николаевич подарил своему домашнему врачу Душану Петровичу Маковичскому, единственному человеку, которого он взял с собой, навсегда покидая Ясную Поляну.

90. Слева от Толстого — его невестка, жена Андрея Львовича. Ольга Константиновна Толстая со своими детьми, Соней и Илюшей. На траве сидят знакомые Толстого, крестьяне М. Ф. и С. М. Соломахины.

Группа снята в двух верстах от станции Крекшино Московской губернии, в имении родственников В. Г. Чертова Пашковых, где он жил в 1909 году после высылки из Тульской губернии. Толстой гостил у Чертовых с 5 по 18 сентября. Здесь он работал над рассказом «Проезжий старик и крестьянин», докладом для Стокгольмского конгресса мира, статьей «Ответ польской женщине». В Крекшине 18 сентября Толстой написал завещание.

91. На площадке перед домом Толстого растет столетний вяз. В его ствол от времени врос небольшой колокол, который созывал семью и гостей Толстого к завтраку и обеду. Каждое утро под старым вязом Толстого ждали просители: прохожие, нищие, крестьяне, приходившие иногда издалека за советом и помощью. Отсюда и название вяза — «дерево бедных». «Бывало, каждый день под вязом около дома, — вспоминал старший сын писателя С. Л. Толстой, — дожидались выхода Льва Николаевича крестьяне Ясной Поляны или окрестных, иногда дальних деревень, — кто за советом по судебным, семейным или хозяйственным делам, кто с просьбой — дать хворосту, лесу, покос, денег и пр. Он был известен в округе как «человек», который может дать хороший совет и повлиять на власть имущих».

92. 18 октября 1909 года голос Толстого первым из русских писателей был записан на грамофонные пластинки. Для записи Лев Николаевич избрал афоризмы из сборника «На каждый день».

Организаторы грамзаписи, представители обществ периодической печати и «Грамофон», приезжали в Ясную Поляну с фотографом от московской фирмы «Отто Ренар». Однако по техническим (и этическим) мотивам сфотографировать Льва Николаевича в самый момент записи его голоса не удалось. Публикуемый портрет снят непосредственно до или после нее (свидетельства очевидцев расходятся).

Один из организаторов записи, поэт И. А. Белоусов, вспоминает: «Все время, пока фотограф суетился около аппарата — вставлял кассеты, накрывался черной материей и смотрел в объектив, подходил к Льву Николаевичу и подправлял его блузу, двигал под ним кресло, — Лев Николаевич не делал никаких замечаний и внимательно следил за фотографом, потом обратился ко мне и сказал: «Я думаю, что это очень хороший фотограф!» — «Почему? — спросил я. — Ведь еще неизвестно, какие у него выйдут снимки...» — «Потому хороший, что уж очень серьезно относится к своему делу: посмотрите, какой здоровый, крепкий человек,

а занимается такими пустяками! Но на него весело смотреть, а потому тот, кого он снимает, всегда выйдет веселым...»

Действительно, фотографию Рейгарду, снимавшему Толстого, удалось запечатлеть веселое выражение лица Льва Николаевича, столь редкое для его фотографий, особенно профессиональных.

93. Слева направо: М. С. Сухотин, Л. М. Сухотин, Л. Н. Толстой с внучкой Таней, С. М. Сухотин, Т. Л. Сухотина с Микой Сухотиным.

В дневнике и письмах к родным из Кочетов Толстой пишет об особенном удовольствии быть среди близких и милых ему людей, для которых он, по словам его зятя М. С. Сухотина, и сам был «выдающимся до приятности гостем» (М. С. Сухотин. Дневник. 20 мая 1910 г. ЦГАЛИ).

Однако и здесь его окружала господская обстановка, которая намного превосходила роскошью довольно скромную обстановку яснополянской усадьбы. Накануне своего отъезда из Кочетов Толстой записал в дневнике: «Очень было хорошо, если бы не барство, организованное, смягчаемое справедливым и добрым отношением, а вестакки ужасный, вопиющий контраст, не перестающий меня мучить».

94. Лев Николаевич приезжал в Никольское-Вяземское за сто верст из Ясной Поляны 28 июня, чтобы поздравить сына с днем рождения. Толстой был «в Никольском в очень удрученном состоянии духа, — вспоминал впоследствии Сергей Львович, — и можно полагать, что он уже тогда обдумывал возможность своего ухода из Ясной Поляны».

Удрученном он выглядел и на групповой фотографии, снятой на крыльце дома женой С. Л. Толстого, Марией Николаевной Толстой. Рядом со Львом Николаевичем — Софья Андреевна, на втором плане: Н. Н. Ге (сын художника Н. Н. Ге), Ф. И. Горяин (сосед по имени), В. В. Нагорнова (племянница Л. Н. Толстого) с сыном С. Н. Нагорновым, Д. Н. Орлов (сын художника Н. В. Орлова, жившего в это время в Никольском-Вяземском), Т. С. Берс (племянница С. А. Толстой) и С. С. Толстой (сын С. Л. Толстого, внук писателя).

95. Фотография снята в имении Отрадное близ села Мещерское Московской губернии, где с 12 по 23 июня 1910 года Толстой гостил у Чертовых. В Отрадном он написал рассказы «Нечаянно» и «Благотатная почва» работал над рукописями статьи «О безумии» и письмом Славянскому съезду, правил корректуру своих произведений.

Часы досуга Лев Николаевич не

редко посвящал шахматам. В разные периоды своей жизни он увлекался разными видами игр и только к шахматной игре с молодых лет до глубокой старости сохранял любовь и постоянный интерес. В молодости она служила ему больше средством развития памяти и воли, в старости — отдыхом. Толстой, по свидетельству А. Б. Гольденвейзера, утверждал, что шахматы его не утомляют, так как «занимают, по видимому, совсем другие мозговые центры, чем те, которые утомлены его предшествовавшей умственной работой».

96. В июне 1910 года Толстого посетили 26 учащихся известных тогда в Москве Пречистенских рабочих курсов. Находившийся в это время в Ясной Поляне писатель С. Т. Семенов вспоминает об этой встрече так: «Лев Николаевич шел, тесно окруженный молодежью... и говорил. Вид у него был усталый, говорить на ходу ему было трудно, но молодежь, жадно слушающая его, ничего не замечала...» Со всех сторон сыпались вопросы, на которые Лев Николаевич едва успевал отвечать. Между прочими в разговоре были затронуты вопросы литературы и учительства. Один из участников экскурсии, М. Керин, с согласия Льва Николаевича снял несколько фотографий, из которых публикуемая, по всей вероятности, снятая им же, относится к числу редких и наиболее удавшихся.

Беседой с рабочим и Толстой остался доволен, отметив в дневнике: «Очень хорошо с ними говорил».

97. Известно, что в конце жизни Толстой получал особенно много писем. Разные люди обращались к нему за разрешением самых разнообразных вопросов, и ни одно сколько-нибудь серьезное письмо не оставлялось Львом Николаевичем без ответа. За десять месяцев последнего, 1910 года его жизни, по свидетельству Н. Н. Гусева, Толстой написал и продиктовал шестьсот шестьдесят два письма, не считая писем, написанных по поручению Толстого его помощниками.

Чертков и Тапсель не раз фотографировали Толстого во время разбора и чтения писем. «В Мещерском у Чертковых Лев Николаевич однажды присел со мной на вольном воздухе за маленький столик, чтобы разобрать почту, — вспоминает секретарь Толстого В. Ф. Булгаков... — Это заметил и уже забегал вокруг со своим фотоаппаратом фотограф Черткова Тапсель».

Лев Николаевич поглядывал на фотографа, лукаво поглядывал на меня и, смеясь, потихоньку промолвил: «Я едва удерживаюсь, чтобы не выкинуть какую-нибудь шутку: не задрать ногу или высунуть язык!» И я, глядя на него, верил, что он действительно «едва удерживается», а может... и не удержаться и мальчишеской выходкой реагировать на обременительное внимание фотографа».

98. Запись в дневнике Толстого 27 марта 1909 года: «Утром Чертков делал портреты. Это не помешало писать. Поправил «Революцию» (окончательное заглавие статьи — «Неизбежный переворот». — *О. Е. и Т. К.*)».

99. Толстой особенно любил общение с незнакомыми ему крестьянами, которые относились к нему не как к пророку или «кормильцу», а просто как к старику. «Лев Николаевич решил пойти пешком в село Желябово — село верстах в пяти отсюда (от Кочетов, где Толстой гостил в это время у дочери и. — *О. Е. и Т. П.*)... — пишет Чертков в дневнике. — Так как я всегда боюсь, когда Лев Николаевич совершает далекие прогулки совершенно один, то пошел за ним, захватив с собой фотоаппарат (лень был солнечный). Я выбрался через рощу на дорогу раньше его, а потом отошел в сторону в поле шагов на 50 и присел около кучи навозу, чтобы его пропустить вперед. Затем последовал за ним, по своему обыкновению, на таком расстоянии, чтобы он меня не слышал и не видел своими близорукими глазами».

Черткову удалось незаметно снять несколько живых фотографий Льва Николаевича в момент его беседы с желябовскими крестьянами, строящими избу. К сожалению, снимки не вполне удалась технически. Возможной причиной этого была боязнь Черткова обнаружить себя. Толстой не раз говорил ему, что присутствие близких нарушало атмосферу непринужденности, которой он в подобных случаях очень дорожил.

Вечером того же дня Лев Николаевич несколько раз с удовольствием вспоминал свой разговор с желябовскими крестьянами и записал в дневнике: «Погода чудная. И люди такие хорошие, поговорил с мужиками хорошо».

100. Один из последних портретов писателя. Снят Чертковым в то время, когда Толстой со своим секретарем В. Ф. Булгаковым разбирал почту. В день съемки, 19 мая 1910 года, Толстой записал в дневнике: «Снимание портретов. Неприятно, что не могу отказать». Последнюю строчку Лев Николаевич зачеркнул, не желая огорчить Черткова.

«Лев Николаевич сел разбирать корреспонденцию, — вспоминает В. Ф. Булгаков. — Конечно, он видел все приготовления к фотографированию».

— Что же мне нужно? — спросил он, усаживаясь на стул.

— Ничего. Не обращай на нас никакого внимания, — отвечает В. Г. Чертков.

— Вот это хорошо!

И Лев Николаевич принимается за письма. О направленном на него объективе он, казалось, совершенно забыл. Погрузился в чтение писем, затем передавал вкратце свои впечатления от них и говорил, что я должен отвечать».

Серия моментальных портретов, снятая в это время Чертковым, прекрасно передает эмоциональную динамику и выразительность лица Толстого, особенно его глаз. Публикуемый портрет (один из этой серии) относится к числу наиболее значительных и редких.

в том убеждении, к которому я приведен всем виденным».

Что же представилось ему таким страшным во всем увиденном? Насилие над личностью, сухой педантизм, мертвящая методичность. «Все, что вы видите, это скучающие лица детей, насильственно вогнанных в училище, нетерпеливо ожидающих звонка и вместе с тем со страхом ожидающих вопрос учителя».

Толстой безоговорочно отвергал методу принудительного образования. Он еще сильнее укрепился в мысли: подлинную школу надо строить лишь на принципе свободы ученика. За пять дней до возвращения на родину, как бы подводя итог своим наблюдениям, он записал: «Школа определилась — готовое из жизни привести в систему».

А жизнь дала множество фактов: были осмотрены десятки пансионов, колледжей, приютов, детских садов. Обогатили встречи с выдающимися людьми — в Лондоне близко сошелся с А. И. Герценом, во Флоренции познакомился с декабристом С. Г. Волконским, в Риме с художником Н. Н. Ге, в Брюсселе беседовал с социалистом-утопистом П. Ж. Прудоном и польским революционером И. Лелевелем, в Англии слушал лекции о воспитании Ч. Диккенса. И повсюду с неослабным интересом подолгу говорил с педагогами — руководителями учебных заведений, читал их книги — новейшие сочинения по воспитанию: Руммера, Ценкера, Риля, Бидермана. Где только было можно, он приобретал педагогические книги, учебники, программы, собирал даже классные сочинения учащихся. Из этой пусть самой общей картины занятий Толстого за границей видно, как неутомим он был в стремлении всесторонне познать изучаемый предмет. В Россию он возвращался до отказа нагруженный материалами и переполненный замыслами. Он вез с собой даже учителя-немца: познакомился в Веймаре с 22-летним Густавом Келером и уговорил его поехать в Россию.

Толстой пересек русскую границу 12 апреля 1861 года. Уже 16-го он осматривал в Петербурге воскресные школы — продолжал интересоваться народным образованием на родине. А еще через три дня обратился к министру народного просвещения с просьбой разрешить ему издавать педагогический журнал «Ясная Поляна».

Объявление о журнале появилось в августовской книжке «Современной летописи». Его перепечатали московские и петербургские «Ведомости». Л. Толстой извещал, что журнал «Ясная Поляна» будет выходить с 1 октября 1861 года. Правда, через месяц появи-

В июле 1860 года граф Лев Толстой отплыл на пароходе «Прусский орел» за границу. Начальный, в некотором роде чисто филантропический этап его увлечения школами завершился. Желание просто учить грамоте яснополянских Марфуток и Тарасок переросло под влиянием всеобщего интереса к педагогике в потребность глубоко осмыслить проблемы народного образования. Именно к этому периоду, к началу 1860 года, относятся первые письменные рассуждения Толстого о воспитании. Изучив школьное дело в России, он решил также познакомиться и с учебными заведениями в Европе. За границей Толстой пробыл 9 месяцев. Он жил в Германии, Италии, Франции, Англии и Бельгии. Заграничные школы произвели на него безотрадное впечатление. Уже в начале путешествия он записал в дневнике: «Был в школе. Ужасно. Молитвы за короля, побои, все наизусть, испуганные, изуродованные дети». Выражение «изуродованные дети» повторяется им в записи 13 октября, когда он говорит о детских приютах. А весной 1861 года, будучи в Веймаре, Лев Николаевич садится за стол и начинает статью, которую облекает в форму письма к «любезному другу». «Я теперь почти кончаю путешествие по школам Европы, и мне страшно дать не только тебе и педагогическому миру, но страшно самому себе дать отчет

лось дополнительное уведомление: выпуск журнала начнется с 1 января 1862 года. Но уже первое объявление не прошло мимо Константина Дмитриевича Ушинского. В сентябрьском номере «Журнала Министерства Народного Просвещения» Ушинский по собственной инициативе перепечатал объявление Толстого, сопроводив его следующим своим выступлением: «Граф Л. Толстой с 1 октября нынешнего года намерен издавать в с. Ясной Поляне народный педагогический журнал. Желаем полного успеха этому в высшей степени полезному и благородному предприятию. Вот программа предприняемого издания...» Далее шло опубликованное Толстым объявление.

Нетрудно заметить, как тепло звучат напутственные слова Ушинского: с искренним сочувствием отнесся он к намерению Толстого помогать педагогическому делу в России.

Только положение в общественной жизни России к этому времени опять изменилось. В марте 1861 года правительство Александра II обнародовало манифест «об освобождении крестьян» от крепостной зависимости. Обманутые в своих надеждах крестьяне ответили бунтами, правительство на подавление народных волнений бросило регулярные войска. Начались студенческие выступления. В преддверии восстания 1863 года ширилось революционное движение в Польше. Русское самодержавие, напуганное ростом всеобщего недовольства, опять стало жестоко преследовать малейшую живую мысль.

Остро ощутил это усиление реакции Ушинский. Его редакторская деятельность в «ЖМНП» натолкнулась на полное непонимание со стороны министерства просвещения. Помещая в сентябре 1861 года объявление о толстовском журнале «Ясная Поляна», Ушинский уже знал, что сам он как редактор доживает последние дни. 18 месяцев из номера в номер готовил он этот журнал к печати, но 10 октября министр просвещения вынес решение: издавать журнал с 1862 года «на прежних началах». И подписи Ушинского уже нет под декабрьским номером за 1861 год.

Суровый удар реакция нанесла и практической деятельности Константина Дмитриевича. Успешная ломка ветхозаветных традиций Смольного института, где он преподавал, вела к тому, что у воспитанниц, ограниченных прежде лишь узкобытовыми, мещанскими запросами, начали пробуждаться гражданские чувства, родился серьезный интерес к общественным проблемам. Могло ли это нравиться охранителям самодержавных устоев? И могли ли они прощать Ушинскому его страстные речи, обращенные к ученицам, речи, в кото-

рых содержался призыв отдавать жизнь делу просвещения народа?

Против Ушинского, как и против других учителей, его единомышленников, которыми он себя окружил в Смольном, началась свирепая борьба. Ее возглавила Мария Павловна Леонтьева. Обласканная царскими милостями, старая придворная дама, она не брезговала самыми подлыми приемами, применяя клевету, используя анонимные доносы, и с помощью высокопоставленных чиновников добилась наконец изгнания Ушинского из стен института.

Константин Дмитриевич обладал к тому времени весьма значительным авторитетом в педагогическом мире. Было невозможно просто выбросить его, как негодного. Но долго ли отыскать благовидную причину, лишь бы отстранить беспокойного реформатора не только от Смольного, но и от всей педагогической практики в государственных учреждениях России? И причина была найдена: заграничная командировка. Ушинскому предписывалось ознакомиться с постановкой женского образования в Европе.

Он выехал из Петербурга в мае 1862 года, полный тревоги за многострадальную родину. «Из России получаю часто письма и все самые печальные, — сообщал он своему знакомому за границей врачу А. И. Скребницкому. — От арестов все приуныли; цензура лютует, а доброго ничего не делается». Он приводил факты, называл людей, которые подвергались бесцельным преследованиям, обыскам и арестам. И среди других было имя графа Толстого. «Так, например, графа Толстого, известного тебе писателя, который живет в деревне, держит школу и издает педагогический листок, схватили, привезли в Москву и, продержав неделю, обыскали, отпустили, ничего не отыскав».

Известие о Толстом дошло до Ушинского в неточном изложении. Толстого не арестовывали. Обыск в Ясной Поляне был произведен 6 и 7 июля 1862 года, когда Лев Николаевич находился в Самарской губернии, где лечился кумысом. Узнав о произведенном жандармами погроме, он пришел в бешенство. «Я часто говорю себе, какое это счастье, что меня не было, — писал он А. А. Толстой. — Ежели бы я был, то, верно бы, уже судился, как убийца». Его возмутила варварская бесперемонность представителей правительства.

«Дела этого оставить я никак не хочу и не могу», — взволнованно заключил Толстой. И он направил письмо Александру II. Он прямо заявил монарху, что нанесенное ему со стороны властей оскорбление сделано от имени царя. Желая выяснить, так ли это,

Толстой посчитал нужным пояснить, чем вызвано его особое беспокойство. И примечательно, что вспоминает он при этом не о чем-нибудь, а о своей педагогической деятельности: «Кроме посярмления во мнении общества и того чувства вечной угрозы, под которой я принужден жить... это совсем уронило меня во мнении народа, которым я дорожил, которого заслуживал годами и которое мне было необходимо по избранной мною деятельности — основание народных школ».

Конечно, он прекрасно понимал, что никакими письмами — даже монарху всероссийскому! — дела не поправишь. И официальный ответ из Петербурга, гласивший, что «его величеству благоугодно, чтобы помянутая мера не имела собственно для графа Толстого никаких последствий», не помирил его с диким произволом русского самодержавия. Не убедили его и уверения, будто у правительства нет к нему претензий. Еще за два года до этого события, предлагая Е. П. Ковалевскому создать Общество народного просвещения, Толстой предупреждал, что такое предложение может исходить от кого угодно, только не от него: «Я на дурном счету у правительства», — объяснил он.

С начала 1862 года в связи с его увлечением школами за Толстым была установлена негласная слежка. Ненависть Толстого «к милому правительству, которое обыскивает», была настолько сильна, что у него зрела мысль экспатрироваться: «Прятаться не стану, я громко объявлю, — писал он А. А. Толстой, — что продаю имения, чтобы уехать из России, где нельзя знать минутой вперед, что меня и сестру, и жену, и мать не скуют и не высекут».

И в это же самое время на другом конце Европы изливал свою горечь, вызванную раздумьями о России, Константин Дмитриевич Ушинский: «Правительство решительно не понимает своего положения и, как глупая старуха, боится домовых и привидений. Грустно сеять на таком поле, где завтра же могут все вырвать, что сегодня посеяно».

В сложных условиях наступившей реакции завершалась в России подготовка к школьной реформе. В начале 1862 года министерство просвещения опубликовало проект устава общеобразовательных учебных заведений. Ушинскому удалось его прочитать только за границей. «Только теперь я прочел этот проект внимательно, — сообщал он другу Л. Н. Модзалевскому, — и только теперь увидел, что это за нелепая вещь, просто набор фраз...» «Читая проект... удивляешься, зачем пишут такие статьи», — недоумевал и Лев Толстой, давая отзыв об этом проекте в мар-

товском номере журнала «Ясная Поляна». «Несмотря на все уважение и даже страх, возбуждаемый во мне проектом, — добавлял он, — я как будто не верю в его действительность». «Я было очень испугался, — признается Ушинский, — чтобы не утвердили такую штуку... но потом успокоился — нельзя его привести в исполнение, он неисполним...» Не только в отношении к этому проекту проявилось единство взглядов Толстого и Ушинского — многие факты педагогического дела в России оценивали они единодушно, часто занимая, совершенно, конечно, независимо друг от друга, одну и ту же позицию, отстаивая одну и ту же прогрессивную точку зрения.

Высказывания совпадали в главном. Гуманность и народность. Отрицание насилия и всяких средств подавления личности ребенка. Глубокая вера в творческие силы человека — даже совсем маленького! — и любовь к своему народу — вот что объединяло их, делая иные из их высказываний очень сходными по смыслу.

«Наше убеждение в отношении зарождающейся у нас народной школы состоит в том, чтобы прежде всего предоставить это дело самому народу», — писал Ушинский. «Нужно предоставить народу свободу устраивать свои школы», — утверждал Лев Толстой.

«Заемствование одним народом у другого воспитательных систем является невозможным», — говорил Ушинский, утверждая национальную русскую систему образования. «Я твердо убежден, — писал Л. Н. Толстой, — что для того, чтобы русская система народного образования не была хуже других систем... она должна быть своя и непохожая ни на какую другую систему».

Случаев подобной тождественности взглядов Толстого и Ушинского много. И не только по вопросам педагогики, но и на самые разные темы. И не только в зрелые годы, а и с самых ранних лет жизни.

«Рецепт» — так и озаглавил свод из десяти правил поведения Ушинский в дневнике 1845 года, а Толстой двумя годами позже пишет в дневнике шесть правил и добавляет к ним на отдельном листке еще сорок три! Можно сказать, что это уже целый трактат — пространное, развернутое сочинение на морально-этическую тему. Даже самое беглое сравнение толстовских правил с «Рецептом» Ушинского показывает, как много и здесь общего.

«Будь полезен, сколько ты можешь, отечеству», — записал Лев Толстой тридцатым правилом. И Ушинский, правда, уже не в «Рецепте», а несколько позже, в дневнике 1849 года, тоже твердо заявил: «Сделать как

можно более пользы моему отечеству — вот единственная цель моей жизни». Не игрой случая объясняется подобное совпадение их жизненных устремлений, отраженных в записях юных лет. Разными путями шли они по жизни: граф Лев Толстой принадлежал к высшей помещицкой знати в России, а чиновник 10-го класса Ушинский, каким он был в начале 50-х годов в Петербурге, — сын мелкопоместного дворянина, который всю жизнь ради заработка состоял на государственной службе.

Конечно, их взгляды не всегда совпадали. Кое в чем немаловажном для педагогики Толстой и Ушинский серьезно расходились. Лев Толстой, например, отделял образование от воспитания. В своих статьях он старательно доказывал, что школа обязана лишь обогащать детей знаниями, но не имеет права влиять на их нравственное развитие. Ушинский этого никак не мог понять и принять. Возможно ли образовывать, одновременно не воспитывая? В книге «Опыт педагогической антропологии», в разделе «Воспитание привычек и навыков», он коснулся этого вопроса.

Считая, что Толстой только высказал мнение, но не решил спора, Константин Дмитриевич, видимо, и не стал вступать в полемику, ограничившись замечанием: «Взрослые не могут не воспитывать детей, а потому лучше воспитывать их сознательно, чем как попало».

Резко и непримиримо отнесся Лев Николаевич Толстой к недостаткам книги Ушинского «Детский мир». Собственно говоря, нельзя даже сказать, что Толстой увидел в ней недостатки. Она ему не понравилась вся целиком, от первой до последней строчки. «Я не согласен с самым основанием, побудившим автора составить книгу», — сразу объявил Толстой, разбирая «Детский мир» в статье, которую напечатал в августовском номере «Ясной Поляны» за 1862 год. Признавая, что разбираемая книга есть, очевидно, плод серьезного и добросовестного труда, и не желая показаться необъективным, Лев Николаевич решил брать для анализа любой рассказ, какой попадется через каждые сорок страниц. В поле его внимания оказались «Дети в роще», «Слон», «Стерлядь», «Играющие собаки», «Ньютон», «Пустой остров» и некоторые другие. Анализируя эти материалы, Толстой разнес их, что называется, в пух и прах. «Художественного интереса нет, язык дурен», — делал он вывод и заключал разбор книги Ушинского словами: «Отсутствие же содержания «Детского мира» облечено в такую форму, которая могла обмануть только петербургский комитет грамотности».

Комитет грамотности, о котором Толстой упоминает, был образован в 1861 году. Толстой отрицательно относился к его работе, упрекая за оторванность от народа, за незнание народных нужд в области просвещения. «Детский мир» входил в список книг, одобренных этим комитетом. Не это ли обстоятельство заставило Толстого быть особенно придирчивым к книге Ушинского? А может, он так отвергал ее именно потому, что она была составлена на основе чуждого ему принципа единства образования и воспитания?

А спустя десять лет, уже после смерти Ушинского, работая над составлением своих книг для школьников, Лев Николаевич Толстой вспомнил о некоторых рассказах Ушинского из книги «Детский мир». И даже использовал их как материал для своей «Азбуки». В «Детском мире» есть рассказы «Путешествие воды» и «Море». Толстой переработал их, отредактировал и поместил в своей «Азбуке» под заголовками «Куда девается вода из моря?» и также «Море». Более того, в архивах писателя сохранились тексты этих произведений Ушинского, переписанных рукой Толстого на отдельных листках и с пометками (его же рукой) в верхнем углу: «о.н.т.» и «п.о.т.», что означает: «описание научное точное» и «поэтическое описание точное».

Изменил ли Толстой свое отношение к «Детскому миру», или и прежде видел, что не все в нем плохо? И может, лишь полемическим задором объясняется столь жесткое предъявление им претензий к Ушинскому в статье 1862 года? В пылу споров с ним это случалось. Скажем, во всех статьях своих он категорически отрицательно характеризовал зарубежные «принудительные» школы, писал, что все дети в тех школах ненавидят своих учителей, и отрицал малейшую попытку заимствовать хоть какой-либо опыт у европейских педагогов.

А вот Ушинский увидел там и положительные стороны. И, описывая в 1863 году свою поездку по Швейцарии в одной из статей-писем (серия этих «писем» печаталась в России), он не удерживался от следующего явно иронического замечания в адрес Льва Толстого: «Желал бы я очень, чтобы граф Толстой приехал сюда и посмотрел, как дети любят господина Мюллера и с каким удовольствием бегут они в школу... Редактор «Ясной Поляны», как мне помнится, говорит также, что народ за границей ненавидит принудительные школы... Статейка графа Толстого попала нам в Швейцарии, и мы с изумлением прочитали его решительные приговоры иностранным школам. Нравятся ли графу Толстому эти школы или нет, это его дело... но зачем же

уродовать факты... Граф Толстой, вероятно, забыл, что за границу проведена теперь железная дорога и что проверка привозимых из-за границы известий стала чрезвычайно легкой». Далее, через несколько страниц, Константин Дмитриевич добавлял: «После беда я опять пошел в образцовую школу. Дети уже собрались на дворе и так радушно, так весело встретили своего учителя, так дружески пожимали ему руку своими детскими ручонками, что я опять пожелал бы здесь видеть графа Толстого». Ну что ж... Представим себе на одно мгновение такую фантастическую картину — приглашение Ушинского Львом Толстым принято. И вот они вместе ходят по этим лучшим швейцарским школам.

Думается, что внимательный и добросовестный наблюдатель граф Толстой не стал бы возражать Ушинскому: что хорошо, то хорошо. Да и он сам во время своего девяти-месячного пребывания за границей видел не одно только плохое. 16 апреля 1861 года в Веймаре он посетил учительскую семинарию, и в дневнике у него появилась выразительная лаконичная запись: «Прекрасно». (Правда, тут же есть отзыв о сельскохозяйственной школе в Цветтине: «Глупейшая школа, доказывающая, до чего доводят учреждения сверху».) Да и пансион профессора Карла Стоя в Йене Толстой оценил по достоинству высоко. В одном из писем 1862 года он охарактеризовал его как «самое интересное и, главное, единственное почти живое заведение из всех немецких школ». Кстати, мнения Толстого и Ушинского тут тоже совпали — не случайно же Константин Дмитриевич, будучи за границей вместе с семьей, своего старшего сына Павла определил на учение не куда-нибудь, а именно в этот пансион Карла Стоя.

На протяжении десятков лет в России, едва возникла речь о достижениях отечественной педагогики, имена Толстого и Ушинского неизменно ставились рядом. Выдающийся деятель народного образования, друг Ушинского Д. Д. Семенов в 80-х годах прошлого века, критикуя современные ему книги для первоначального чтения, писал, что помещаемые в них статьи «скучны для русских детей и отзываюся какой-то книжностью, а не живым бойким русским языком, что в видим, — подчеркнул он, — у Ушинского и графа Толстого». Известный педагог, автор ряда методических работ и учебников для начальных школ Н. Ф. Бунаков уже много позже отмечал, что, по его наблюдениям, вся «одобренная» народно-учебная литература —

не плод живого педагогического творчества, а простая ремесленная работа по мертвому казенному шаблону, «за исключением, — добавлял он, — живых и оригинальных творческих работ К. Д. Ушинского и гр. Л. Н. Толстого».

Подобную схожую оценку педагогических произведений Толстого и Ушинского давали и другие русские педагоги.

Четыре десятилетия еще после смерти Константина Дмитриевича интересовался педагогией Лев Толстой. И неоднократно упоминал он в своих статьях об Ушинском. В 1874 году, говоря о школах Тульской губернии, мимоходом бросил фразу о том, что по этим школам «земством разосланы книги Ушинского». Этот факт для Толстого явление естественное. «Ушинский — родоначальник у нас звуковой методы», — писал Толстой в той же статье, и эта фраза звучит тоже как признание бесспорного педагогического авторитета Ушинского, хотя против звукового метода обучения грамоте сам Толстой возражал.

Я уже говорил о том, как использовал Лев Николаевич рассказы из «Детского мира» в своей «Азбуке». А вот в 1876 году, в период работы над романом «Анна Каренина», он писал своему знакомому, критику Н. Страхову: «Вы бы меня очень одолжили, если бы прислали мне книжку или две педагогические. О воспитании вообще, вроде Антропологии Ушинского, самое новое, искусственное и не глупое, сколько можно». Такие книги, по мысли Толстого, должен был изучать его герой Каренин, приступая к воспитанию оставшегося у него на руках сына. Лев Николаевич упоминает о книге Ушинского («Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии». Т. I и II. Спб., 1868—1869) как о книге, хорошо ему известной — искусственной (то есть сделанной с искусством) и неглупой. Держал ли он ее в руках? Читал ли? Просто ли перелистывал? Во всяком случае, знал о ней. (В его библиотеке из 22 тысяч названий 800 книг и журналов были на педагогическую тему.) Одно, конечно, несомненно: Л. Н. Толстой отдавал должное заслугам Ушинского-педагога. Уважал его труд. Ценил.

Они никогда не встречались. Они даже не были знакомы. Но мы и сегодня ставим их имена рядом, потому что оба они для нас великие соотечественники, писатели-гуманисты, стоявшие плечом к плечу и при жизни, на гребне педагогических споров своего времени.



Е. Е. Лансере. Репей. 1914 г.
Акварель.



1. «...ЧЕЛОВЕК БЫЛ ТОЖЕ ТАТАРИН»

Все мы помним, конечно, что замысел повести «Хаджи-Мурат», как это отразилось в дневниковой записи Толстого 19 июля 1896 года, а затем и в прологе повести, возник у писателя при виде репейника, уцелевшего в поле при дороге.

Определяемая похожестью внешней (изувеченное, вмятое было в черную землю растение, выпрямившее стебель, увенчанный краснеющей головкой-цветком, — и гибнущий человек, поднявшийся перед врагами во весь рост, с окровавленной головой) и более всего

внутренним, «духовным» подобием: жизнестойкость до конца, неспособность сдаться, уступить преобладающей враждебной силе, мирно к ней приспособиться, — связь эта «репей — Хаджи-Мурат», несомненно, имела решающий стимул, достаточно мощный для ее возникновения, в народном названии репья — «татарин», которое было для Толстого вполне привычным.

Недаром именно так назван был репей в записной книжке в тот самый день, когда писатель увидел его одного-единственного среди черной земли: непосредственное впечатление закрепилось буквально в двух словах: «Татарин на дороге», и тут же следом — список шести сюжетных замыслов, где первым стоит: «Хаджи-Мурат» (т. 53, с. 285). Недаром и на следующий день в дневнике это название — «татарин» — стоит как главное, а «репей» — прибавлено в пояснение, в скобках (т. 53, с. 285). Наконец, первая редакция пролога завершалась таким прямым признанием повествователя, которого в данном случае нет никаких оснований отличать от автора повести:

«...мне вспомнилась одна кавказская история (зачеркнуто: и событие с человеком), положение человека такое же, как и этого репейника, и человек был тоже татарин. Человек этот был Хаджи-Мурат» (т. 53, с. 286).

К этому можно было бы еще добавить, что есть еще одно народное имя у этого репейника, совсем уж впрямую наводящее на воспоминание о Хаджи-Мурате. В сочетании с той живой картиной, которую увидел Толстой, и с тем названием репья и одновременно горца, которым он свободно пользовался, имя это способно образовать поистине решающую координату той «точки», на которую закономерно вывели писателя его ассоциации: татарник называли еще и «царь-муратом». В словаре Даля это записано и в статье «репей», где, конечно, есть и «татарин», и в статье «царь»; объяснено же может быть по аналогии, например, со словом «мурза» (местами употреблявшимся, по его же свидетельству, в значении «татарин, басурман»)... Как знать, слышал ли, а если когда-нибудь и слышал, то помнил ли и употреблял ли Толстой это название репейника; гораздо важнее тут еще одно наглядное совпадение мысли и речи писателя с мыслью и речью его народа.

2. НАРЯДУ С ПУШКИНЫМ

3 марта 1872 года сорокачетырёхлетний Толстой, только что закончивший свою «Азбуку», поделится в известном письме

Н. Н. Страхову размышлениями о связи между, с одной стороны, некоторым «упадком поэтического творчества всякого рода — музыки, живописи, поэзии» и, с другой — растущим «стремлением к изучению русской народной поэзии всякого рода — музыки, живописи (и украшения) и поэзии». В этом состоянии тогдашней художественной культуры Толстого видел «даже не упадок, а смерть с залогом возрождения в народности», поясняя свою мысль наглядным схематическим изображением: плавно восходит слева направо и затем опадает до нулевой оси дуга (Толстой назвал ее «параболой»), уходящая, вроде синусоиды, дальше вниз и столь же плавно возвращающаяся затем вверх, в новом начале подъема.

Письмо это общеизвестно; многим памятен и толстовский рисунок в нем. На рисунке имеются надписи, которыми Толстой обозначил основные моменты развития. Они факсимильно воспроизводятся вместе с текстом письма в некоторых наших изданиях, но, к сожалению, в этом виде обычно плохо поддаются прочтению и никем пока не расшифровываются.

Первый публикатор письма П. И. Бирюков, перерисовав толстовскую схему и воспроизводя надписи к ней, предпочел опустить одно малоразборчивое слово, приписанное под словом «Пушкин» (см.: Бирюков П. И. Л. Н. Толстой. Биография. Т. 2, изд. 2-е. Берлин, 1921, с. 149); таким же образом поступил позднее Б. М. Эйхенбаум, подробно описывая толстовский рисунок в книге «Лев Толстой. Семидесятые годы» (Л., 1960, с. 77). Н. Н. Гусев в соответствующем томе обширных своих «материалов к биографии» Толстого (М., 1963, с. 43) вообще об этом рисунке не упоминает, полагая, видимо, как и все мы до сих пор, что он служит лишь простой схематической иллюстрацией к тексту письма. Факсимильное воспроизведение рисунка в Полном собрании сочинений Толстого (т. 61, с. 275) и затем в Собрании сочинений в двадцати томах (т. 17, с. 352) весьма несовершенно; вполне отчетливо он воспроизведен пока лишь в издании «Л. Н. Толстой о литературе. Статьи, письма, дневники» (М., 1955, с. 138), но и там надписи не расшифровываются; разумеется, нигде они не учтены и в именных указателях.

Есть, однако, смысл удосужиться, наконец, прочитать и принять к сведению все надписи, сделанные здесь Толстым, — ведь две из них не имеют прямого соответствия в тексте письма. Там говорится: «Последняя волна поэтическая... была при Пушкине на высшей точке, потом Лермонтов, Гоголь, мы



М. И. Глинка. 1850-е гг. Петербург.

грешные, и ушла под землю. Другая линия пошла в изучение народа и выплывает, Бог даст, а пушкинский период умер совсем, сошел на нет... Счастливы те, кто будут участвовать в выплывании. Я надеюсь» (т. 61, с. 274—275). Надписи на рисунке (слева направо) гласят:

Карамзин
Пушкин Глинка
Лермонтов
Гоголь
мы грешные
изучение народа
будущее

Наличие тут — на восходящей к Пушкину «волне» — имени Карамзина существенно корректирует резко отрицательное суждение о «Бедной Лизе» в следующем письме Толстого тому же адресату 22, 25 марта (т. 64, с. 24). Выраженное же здесь представление о месте Глинка в развитии русской культуры

не принято во внимание даже в новейшем специальном издании «Лев Толстой и музыка» (М., 1977).

Впрочем, составители последнего, З. Г. Палюх и А. В. Прохорова, упустили из виду не только это толстовское письмо, упоминание имени Глинки в котором не заметил пока и никто другой. Даже общеизвестные до сих пор материалы показывают недостаточность, если не превратность той характеристики, какую во вступительной статье (с. 24) дает здесь Э. Г. Бабаев отношению Толстого к Глинке (на основе мнения, будто Толстой «оказался совершенно глух к реалистической русской музыке»), и весьма сомнительных достоинств свидетельства Г. А. Русанова (см. «Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников», т. 2, 1955, с. 255). К сожалению, однако, и в «Музыкальной хронике жизни Л. Н. Толстого», составляющей вместе с библиографиями основное содержание этой в целом полезной книги, не нашлось, однако, места для отрывка из письма Толстого 5 апреля 1877 года учительствовавшему в крестьянской школе С. А. Рачинскому: «Я не мог и не могу войти в школу..., чтобы не испытать прямо физического беспокойства, как бы не

просмотреть Ломоносова, Пушкина, Глинку, Остроградского и как бы узнать, кому что нужно» (т. 62, с. 318); о том же Толстой писал в декабре 1874 года тетушке Александре Андреевне: «... Когда я захожу в школу и вижу эту толпу оборванных, грязных, худых детей, с их светлыми глазами и так часто ангельскими выражениями, на меня находит тревога, ужас, вроде того, который испытывал бы при виде тонущих людей. Ах, батюшка, как бы вытащить... И тонет тут самое дорогое, именно то духовное, которое так очевидно бросается в детей. Я хочу образования для народа только для того, чтобы спасти тех тонущих там Пушкиных, Остроградских, Филаретов, Ломоносовых. А они кишат в каждой школе». (Там же, с. 130). В этом крепнувшем год от года (ср. и в трактате «Что такое искусство?» 1897—1899 г. — Т. 30, с. 180—181) коренном убеждении Толстого с несомненностью сказалась самая суть его эстетических ориентиров, которые в области музыки отнюдь не случайно символизировались для него в имени Глинки, как одного из вершинных явлений — наряду с Пушкиным! — в целом периоде развития русской художественной культуры XVIII—XIX веков.



А. Н. Дунаев.

25 ФЕВРАЛЯ 1901 ГОДА

(Письмо А. Н. Дунаева к Т. Л. Толстой)

В архиве Государственного ордена Трудового Красного Знамени музея Л. Н. Толстого хранятся 46 писем Л. Н. Толстого к одному из его последователей, Александру Никифоровичу Дунаеву (1850—1920), а также 81 письмо Дунаева ко Льву Николаевичу, 66 писем к Татьяне Львовне, 30 писем к Софье Андреевне и 9 писем к Сергею Львовичу Толстому.

Впервые публикуемое письмо А. Н. Дунаева к Татьяне Львовне Толстой является единственным самым подробным из известных нам источников, благодаря которому мы узнаем, как Лев Николаевич провел 25 февраля 1901 года — день, имевший чрезвычайно важное значение в его жизни. В дневниках и записных книжках писателя

нет никаких записей о событиях этого дня. В дневнике Софьи Андреевны и в воспоминаниях А. Б. Гольденвейзера имеются лишь краткие сведения, но и они получены от Дунаева, который был единственным спутником писателя во время его прогулки по городу и свидетелем происходивших событий.

Письмо адресовано в Рим, куда 15 февраля 1901 года Татьяна Львовна уехала лечиться с детьми и где находился ее муж.

Публикация подготовлена В. М. Дунаевым

Дорогая Татьяна Львовна!

Я чувствую себя обязанным написать Вам большое и обстоятельное письмо, чтобы познакомить Вас, пребывающую в прекрасной Италии, с тем, что происходит в нашем хмуром отечестве вообще, и с тем, что в нем особенно близко и интересно Вам, в частности. Думаю, что письмо мое, если и нескладно, то подробно изобразит Вам картину той жизни, от которой Вас отделяет пространство. Заранее прошу Вашего снисхождения к неискреннему изложению и представляю в свое оправдание свое доброе намерение сообщить Вам все то, что остается Вам неизвестным в Риме о происходящем в Москве. Два события последних дней оживили скучную московскую жизнь и сообщили ей характер чего-то до такой степени нового, невиданного, неиспытанного, что мне приходилось не раз спрашивать себя: в Москве ли мы? Первое по порядку событие были студенческие волнения*. Они начались сходкой в университете в пятницу 23 февраля. С девяти часов утра в Манеж и к университету администрация распорядилась пригнать городских, казаков с пиками, жандармов, пехоту. Внимание толпы было возбуждено, и когда 300 человек собравшихся на сходку студентов были выведены на двор, к ним присоединилось еще несколько сот курсисток, студентов, техников, петровцев; всю эту толпу погнали в Манеж. Зрителей набралось тысячи человек; на Моховой образовалось целое гулянье; полиция вела себя вежливо и не разогнала толпившуюся публику. В субботу гулянье разрослось; к вечеру по Моховой народ двигался стеной, по Тверской, на Театральной площади, на Тверском бульваре тоже кучами по несколько сот человек народ ходил по улицам с песнями и криками ура. Часов около 11 вечера толпы пришедших рабочих осадили Манеж с криками: «Выручай студентов». Были частные стычки с казаками и жандармами; за употребление нагаек казаков стаскивали с лошадей и поколачивали. В Манеже по-

* Студенческие волнения были вызваны отдален в солдаты 183 студентов Киевского университета. В «Искре» № 2 за январь 1901 года была опубликована статья В. И. Ленина «Отдача в солдаты 183 студентов».

били массу стекол. Студентов в эту ночь повели тремя партиями на Бутырки при криках ура, так как несмотря на все старание полиции перевести их до острога возможно скрытнее, толпы народа и незабранные студенты дежурили на улицах всю ночь. Москвичи легли спать возбужденные и наэлектризованные ожиданием завтрашнего дня. Поутру им и всей России слепейший синод приготовил новый сюрприз: послание об отлучении Льва Николаевича. Вышло это так нелепо, глупо даже с правительственной точки зрения, так несвоевременно ввиду общего возбуждения, что только коварный враг правительства мог бы умышленно подстроить это дело.

Я вышел из дома в полдень, чтобы идти в Хамовники, Моховая уже была запружена народом. У Ваших я застал всех за завтраком. Лев Николаевич посмеивался над синодским посланием, говоря, что его оценивают не по заслугам, что даже как-то странно думать, что с одной стороны могущественное государственное учреждение с почтенными старцами в бриллиантовых митрах во главе, а с другой — отставной артиллерии поручик, с которым они так торжественно вступают в борьбу.

Часа в три я пошел с ним на Мясницкую в Милютинский переулочек. Около университета его узнавали, кланялись ему очень почтительно; стала набираться кучка людей, которая пошла за ним, вырстая с каждым шагом все больше и больше. Какая-то дама, маленькая, волнующаяся, подбежала к нему в Охотном ряду и заявила, что она хочет с ним говорить, и пошла с ним рядом, жалуюсь на то, что «студентов бьют нагайками», преувеличивая грубое поведение полиции, спрашивая, «что же делать?». Лев Николаевич очень ласково и добро успокаивал ее. Так прошли Театральную площадь в сопровождении нескольких сот человек. На проезде к Лубянской площади народу стало больше, а когда мы пришли на площадь, то она была буквально запружена народом. Мы затерялись в толпе и спокойно вышли на Мясницкую. Возвращаясь из Милютинского переулочка, на Мясницкой несколько человек узнали Льва Николаевича и пошли за ним. В начале площади кто-то из толпы, как я думаю, иронизируя над синодским посланием, довольно громко сказал: «Вот дьявол в человеческом образе». Эти слова послужили как бы сигналом: раздались крики: «Ура, Толстой!», «Да здравствует Лев Николаевич Толстой!» Какой-то студент выскочил вперед и заорал на всю площадь: «Коллеги, сюда, Лев Николаевич Толстой здесь!» И тут началось нечто невообразимое: вся эта многотысячная громада людей, покрывавшая площадь, хлынула и

потекла к нему как к центру, крича, махая шапками, забегая вперед. Лев Николаевич побледнел, взволнованный говорит мне: «Уйдете куда-нибудь, А. Н.». Но куда было уйти от этой лавины, катившейся кругом и сзади него. Я увидал на углу около Лубянского пассажи извозчика, стал его звать, чтобы скорее уехать, но он при виде этого людского потока умчался без оглядки. Так мы почти бежали до Малого театра, а сзади, с боков и спереди, как воз гороху, просыпанного на горе, катилась многотысячная толпа; извозчики при виде ее улепетывали, но подпуская нас на сто шагов. На углу Малого театра, уже на Неглинной, мы успели вскочить на извозчика, но тут же сани облепили студенты, становясь сзади на полозья, хватаясь сбоку за полость, за извозчика; я попросил их отпустить нас, они сейчас же соскочили, извозчик кинулся вскачь, толпа ринулась бегом за санями с криками и маханием шапок. От угла с Кузнецкого моста на крики галопом выскочил взвод жандармов. Офицер, по-видимому, узнал Льва Николаевича и скомандовал: «Пропусти» и сейчас же «сомкнись». Когда я оглянулся, я увидал, что вся Неглинная от театра до Кузнецкого моста черна от народа, движение которого остановили жандармы. Эпизод этот был и страшен и трогателен. Страшно было то, что, поскользшись Лев Николаевич, его могли бы затоптать надвигающиеся сзади возбужденные тысячи людей, и трогательно было то, что люди, если и не большинство, может быть бессознательно кричавшие «ура Толстой», дали ответ на гнусную попытку грубых и глупых, трехполенных бурсацких голов выставить к позорному столбу человека, вещающего в себе разум и совесть всего мира людей нашего времени.

Дома Льва Николаевича уже ждала целая куча писем и телеграмм, выражающих сочувствие ему и негодование «смирненным» лицам. Перед самым обедом с князем В. И. Шаховским во главе явилась целая депутация дам. Шаховской называл их фамилии, но их было так много, что я не упомянул их фамилий. За обедом Иван Иванович, подавая кушанье, с большой радостью заявил, что на дворе собирается толпа студентов. Лев Николаевич попросил меня выйти к ним и сказать, что он к ним выйдет, но очень просит их не шуметь и обойтись без «ура». Кончив обед, Лев Николаевич оделся и вышел на двор, а за ним и мы все, т. е. Софья Андреевна, Саша, Жули, я, Иван Иванович, Илья Васильевич. На дворе стояло человек 100; тут были и студенты, и барышни, и рабочие. Говорил он с ними минут двадцать, все было очень хорошо и спокойно, и чувствовалась эта атмосфера уважения и

благоговения к нему, которая его всегда окружает в глазах порядочных людей. Не прошло и пяти минут, как мы вернулись в комнату. Саша с визгом радости влетает в угловую комнату и с восторгом объявляет, что, только что ушли студенты, явились на двор пристав, два околадочных, одиннадцать городских и были очень изумлены, что никого уже нет. «И отыде гегемон со слуги совоима, посрамлен бе». С этого вечера письмам, телеграммам, карточкам, корзинам цветов нет конца.

В 10 часов вечера мне надо было уйти к Сухаревской башне; на Пречистенке меня обогнал весь Сумской полк с винтовками за плечами. С Моховой, с Воздвиженки доносились перекафы ура, и мне стало очень жутко. Ясно и близко представилась возможность картины, когда люди по приказу будут рубить, топтать, стрелять таких же людей, своих братьев — русских, жителей того же города, с которыми они еще вчера жили дружно и мирно.

Как же могут они, разумные существа, составить из себя эту страшную шайку разбойников, без рассуждения готовую на величайшие злодеяния? Не могли бы никогда они этого сделать, если бы эта подлая порода змеиная, «порождение ехидны», как их назвал Христос, не отуманила их разум, не опутала своими сетями их совесть. Ведь есть среди церковно-верующих добрые люди, несущие в своей душе истинный закон Бога любви и правды, то это только от того, что Бог сильнее мошенников, и как эти мошенники ни сеют в сознании людей ложь и ненависть, рядом с ними растут и семена добра. Простите за отступление, я увлекся и стал говорить то, что Вы уже знаете. Вечером на Никитской, Воздвиженке, у Манежа, вдоль Александровского сада толпа перебила все фонари и не по злобе, а просто потому, что это «занятно». Сулержицкий говорит, что в другое время он бы вознегодовал и остановил, если бы при нем кто-нибудь стал бить фонари, а тут, говорит, было так весело, что совсем увлекся и бежал с ребятишками глядеть, как сыплются стекла и летят Ауеровские горелки под градом льдышек, которые как нарочно для этого были сколоты дворниками и кучами лежали на улицах. Часов в 11 вечера полиция и жандармы стали теснить народ на ближайших к Манежу улицах и кучами загоняли его туда. В Манеже их делили на квадраты рядами пехоты и затем переписывали. Тут были все: и мальчишки, и кухарки, бегавшие в лавку, и горничные с булками для господ, и студенты и мастера, и господа с женами, которых известный всей Москве по грубости и наглости пристав Ермолов ссаживал с изво-

зиков и вместе со всеми, несмотря ни на какие протесты, загонял в Манеж. По утру, конечно, всех выпустили. Мой Коля за все время уличных беспорядков оставался цел, проводя целые дни на улице в штатском платье, а в среду его, Бакунина, ездившего с духоборами, и с ними шесть человек еще схватили в одной из студенческих квартир, и теперь он сидит в Якиманской части. И оказалось, сидит так строго, что даже Ширинский-Шихматов не мог к нему проникнуть, несмотря на то, что у него, как у чиновника особых поручений при генерал-губернаторе, есть открытый лист на посещение арестованных. Меня это немного волнует, а мою жену и очень. Всего студентов сидит в Бутырьках, в Таганке и по частям более тысячи человек, аресты и обыски все продолжают. На лекции никто не ходит, несмотря на лживое и глупое воззвание профессоров, которое лучшие из них отказались подписать. Ваш Лева, поверив ему, пошел в университет, а попал в Манеж; вероятно, он уже об этом писал Вам. Лев Бобринский был схвачен на улице и посажен в одиночное, теперь брат его Алексей взял на поруки. Петра Бобринского видел у Ваших; он с большим воодушевлением рассказывает, как он в воскресенье предводительствовал на улицах и отбивал у полиции арестованных курсисток. На воскресенье 4 марта ждали повторения гулянья. Войска стояли наготове в Манеже и по дворам Тверской и Охотного ряда, но день прошел мирно. Теперь же, хотя и все тихо, но как-то смутно и напряженно. Перед воротами хамовнического дома поставлен страж, стыдливо уходящий в сторону при виде Льва Николаевича и С. А. Сашу все это очень занимает и радует; она сияет и хохочет. Из сочувственных писем составляется особый архив, и он впоследствии будет иметь громадное историческое значение для характеристики русского общества эпохи Льва Толстого. И сейчас эти письма имеют большой интерес. В них, как никогда еще, отразилось с особой силой отношение русского общества ко Льву Николаевичу. Все, что есть в нем или культурного, или доброго, и просто порядочного, все это — в самых искренних словах, выражает свое сочувствие, уважение, любовь, признание его нравственного значения и негодования сборищу грубых, невежественных попов, спущенных с цепи, на которой их держит государственная власть в лице Победоносцева (этой замаринованной в изуверной злобе ехидны), чтобы затравить лучшего человека всего человеческого мира. Полученные Львом Николаевичем письма свидетельствуют, что попытка опозорить перед всем светом того, к кому миллионы умов и сердец

стремятся в поисках истины и спасения, не только не удалась, но уронила нашу *prétrolle* * еще ниже, чем она уже стояла, в глазах мыслящих, благородных и просто добрых людей. Есть до сих пор пять писем враждебных; из них два ругательных, написанных площадной бранью. Три же укорительные, написанные одно, по-видимому, дамой большого света на прекрасном французском языке, но глупое, глупое по содержанию. Писавшая думала, что она пишет так жалостно и что «*miséricorde, repentir*», «*salut*»** и прочие умильные слова, выжатые из ее куриной головки, спасут душу, погибающую в безбожии. Два же — одно от умирающего крестьянина, а другое от какой-то безграмотной старухи, такие, ну как бы их могли написать нянюшка или Авдотья Васильевна. Ругательные письма надо бы было напечатать, чтобы дать характеристику последователей синодского православия. Я бы послал их Поше или Черткову.

Теперь о самом Льве Николаевиче. Он, сравнительно с тем, как Вы его оставили, бодрее и свежее; в конце февраля чувствовал себя настолько хорошо, что даже утром 1 марта похвастал Усову, что он совсем выздоровел, а вечером опять зноб, лихорадка. Ночью потел и на другой день был совершенно здоров, чувствуя только некоторую слабость. Этот припадок, прошедший весь на моих глазах, по моему, совершенно оправдывает диагноз Усова, поставленный на малярию. До него у меня были некоторые опасения: не находятся ли эти частые повышения температуры в связи с заболеванием печени, но этот последний случай был так характерен в смысле малярии, что у меня теперь совсем отлегло на сердце.

Правда, печень несколько увеличена и, по-видимому, работает неважно, так как пищеварение остается по-прежнему слабо, т. е. с отрыжкой, изжогой, но нет ни одного признака, чтобы сказать, что с этой стороны представляется что-нибудь угрожающее. В общем, состояние Льва Николаевича лучше, чем месяц тому назад, он веселее, бодрее и даже много работает над «Хаджи-Муратом». Софья Андреевна очень огорчена и расстроена: вчера ей ни с того ни с сего не разрешили концерта, над которым она так много хлопотала. Вероятно, нынче это дело разрешится. Думаю, что Вы уже получили копию того письма, которое она написала Победоносцеву и митро-

политам. В ее роде оно очень хорошо. Я буду писать Вам каждую неделю, чтобы Вы, дорогая Татьяна Львовна, знали, что делается в хамовническом доме, и были спокойны душой. Я теперь бываю там 4—5 раз в неделю.

У меня дома все очень возбуждено и тревожно от всего, что происходит в настоящее время. Если Коля выкарабкается, отпущу его учиться за границу, ибо у нас условия, в которых начинает жить молодой человек, до того глупы, нелепы и унижительны для человеческого достоинства, что трудно от мальчика требовать, чтобы он был всегда благодарен и усидчиво работал только над своим делом, когда атмосфера, его окружающая, с одной стороны, насыщена недовольством, а с другой стороны, в нее врываются клубами испарения хамства, низости и карьеризма тех, кто хочет руководить им и кто должен бы был служить ему образцом. Я, старый, успевший, коившийся, знающий и много переживший человек, не могу без негодования и презрения относиться к этой клике трусливых, жалких, лишенных гражданского мужества посредственных чиновников, заботящихся только о своем внешнем положении, которые хотят учить и воспитывать наших детей, — каково же нашим детям переносить их.

Написал Вам целую газету; корректировать придется Вам самой. Нынче получил письмо Михаила Сергеевича. Не пишу ему лично, зная, что это письмо будете читать вместе, и милому Михаилу Сергеевичу я обещаю в отношении Льва Николаевича не скрывать правды, какова бы она ни была. Да с Вами, милая и дорогая Татьяна Львовна, разве можно быть неправдивым при всяких обстоятельствах жизни, каковы бы они ни были? Я знаю, что Ваше мужество и Ваше умение разумно относиться к себе, к людям, к жизни таковы, что с Вами никогда не нужно считаться как с женщиной. Эти Ваши редкие в женщине качества во всей силе видит такой человек, как Ваш отец, а это ведь много значит. Итак, будьте спокойны: Вы всегда будете знать о Льве Николаевиче всю правду. А два старика собирались отсюда: П. Ф. Самарин, смерти которого ждут со дня на день, и Б. Н. Чичерин, с которым был удар; он не только лежит без движения, но и без языка. Письмо это адресую на Михаила Сергеевича на тот случай, что Вы уже в «отпуску». Крепко целую Ваши обе руки и остаюсь в уважении, любви и преданности к Вам до тех пор, пока есмь.

А. Дунаев

* Поповщина (франц.).

** Милосердие раскаяние, спасение (франц.).

7 марта 1901 г.



Л. О. Пастернак.
Л. Н. Толстой. Офорт. 1906 г.
с портрета 1901 г.

В конце 1896 года умер известный шведский химик и промышленник Альфред Бернхард Нобель, вошедший в историю как изобретатель динамита. Согласно завещанию значительная часть его так называемых «динамитных денег» вот уже свыше трех четвертей века идет на выплату учрежденных им премий, в числе которых Нобелевская премия в области литературы и премия мира.

Но здесь нас интересует не вся сложная и противоречивая история Нобелевской премии, а лишь один из ее сюжетов, а именно: премия Нобеля и Лев Николаевич Толстой.

Одно из первых упоминаний об отношении Толстого к Нобелевской премии относится к

1897 году. Весной 1897 великий русский писатель узнал первые подробности о завещании, а 29 августа этого же года он пишет письмо в шведские газеты с предложением присудить первую Нобелевскую премию мира духоборам, так как, по его мнению, их отказ от ношения оружия способствует установлению всеобщего мира.

Первое присуждение Нобелевских премий должно было состояться в 1901 году. Естественно, что уже задолго до официальной церемонии вручения этих премий (присуждение Нобелевской премии по литературе было поручено Шведской академии в Стокгольме, обсуждение представленных кандидатур согласно правилам должно было проводиться в обстановке полной секретности) общественность Европы волновал вопрос: кто будет первым лауреатом? Ведь в начале XX века еще творили Марк Твен, Золя, Ибсен, Чехов. Только что умер Оскар Уайльд. Или, быть может, премию надо присудить кому-либо из первоклассных молодых писателей? Вряд ли.

Адрес Л. Н. Толстому от группы
писателей и художников Швеции.
1902 г.

III
Leo Tolstoy



Med anledning af att det litterära Nobelpriset nu för första gången blifvit utdeladt, önska vi undertecknade, svenska författare, konstnärer och kritici, betygga Er vår beundran. Vi se nämligen i Er person icke blott nutids litteraturens vördade patriark, utan Ni är också för oss en af de stora och djupsinniga diktare, hvilka enligt vår mening främst borde ha kommit i åtanke, äfven om Ni själf för egen del aldrig eftersträfvat någon belöning af sådan art. Vi kunna oss så mycket mera manade att till Er rikta dessa ord, som vi anse, att den institution, hvilken har att bestämma öfver sagda pris, i följd af sin nuvarande sammansättning hvarken gifver något uttryck för den konstnärliga eller allmänna meningen. Den föreställningen får icke göra sig gällande i utlandet, att ej det fria tänkandets och det fria skapandets konst äfven af vårt allmogets boende folk skattas som den yppersta och framför all annan bestående.

Georg Norström

Otto Sylwan

Prof. vid Kungliga Högskolan

P. Stenff

Klas Eriksson

Oscar Lovén

Prof. vid Kungliga Högskolan

Hjalmar Nilsberg

Hilma Augustaf Strömberg

Eli Almqvist

Nils Kravare

Christian Eriksson

Karl Nordström

Gustaf Wikman

Carl Larsson

Wilk. Swahnman

Selma Lagerlöf

August Strömberg

Tor Hedberg

Axel Lundegård

Herman Börger

Karl Erik Forslund

Herman Melsted

Hilma Lindgren

Richard Berg

Ake Andersson

Eugen Johnson

Albert Engström

Erik Sjögren

Wilhelm Petrus Heger

Gustaf Janson

Sven Söderman

Per Hallström

Verner von Heidenstam

Gustaf af Geijerstam

Daniel Fallström

FR. K. Ky

Georg Dahl

Anders Zorn

Oscar Björck

Prof. vid Kungliga Högskolan

Robert Thegerström

Herman Liljefors

August Hallén

Fu. Aulin

Все знали: в мире есть только один писатель, достойный этой чести, — Лев Толстой. К тому же именно на рубеже двух веков появилось новое гениальное творение Толстого — роман «Воскресение», который А. Блок назовет впоследствии «завещанием уходящего столетия новому».

Было известно и другое — Толстой не раз недвусмысленно высказывал свое отрицательное отношение ко всем официальным почестям и наградам. Но и это еще не все: в спорах о присуждении Толстому Нобелевской премии многие усматривали попытку различных сил воспользоваться его именем в политических целях.

Суть, цели и исход этих споров хорошо охарактеризовал в письме к Толстому (декабрь 1901 года) известный шведский писатель и путешественник И. Стадлинг:

«Разрешите мне в связи с полемикой, происходящей сейчас по поводу предстоящего присуждения Нобелевской премии, полемикой, в которую втянуто даже ваше уважаемое имя, используемое в качестве орудия борьбы одной партии против другой, сообщить вам мнение моих соотечественников по этому поводу. Вот оно: мы считаем вашу деятельность поборника правды и справедливости по своим побуждениям и целям настолько выше того уровня, на котором всевозможные охотники за деньгами, «аристократы духа» и «сверхчеловеки» сорятся из-за почетных и денежных наград, что пришли к убеждению: вряд ли чиновничья Академия присудит вам премию Нобеля, точно так же, как фарисеи и книжники и великий совет иерусалимских первосвященников вряд ли присудили бы награду Христу за его учение.

Но сотни тысяч моих соотечественников посылают вам, писателю света, правды и любви, свою награду — их любовь и восхищение».

В декабре 1901 года стало известно: Нобелевская премия по литературе присуждена французскому поэту Рене Франсуа Арману Сюлли-Прюдому.

Современному читателю мало что говорит это имя. Сюлли-Прюдом принадлежал вначале к эстетствующей литературной группе «Парнас», затем его внимание привлекают философская лирика и философский эпос: он пишет большие стихотворные полотна «Справедливость» (1878), «Счастье» (1888) и другие, по форме своей и духу своему напоминающие поэму Лукреция «О природе вещей». Средствами поэзии он стремится разрешить задачи, стоящие перед наукой, что часто приводит его к абстрактному аллегоризму и рассудочности.

О себе Сюлли-Прюдом писал так: «...мы пели и цветы и любовь в веке, полном тьмы, при смертоносном бряцанье оружия, — пели для тревожных сердец, оглушенных этим бряцаньем. Пожалейте песни наши, в которых трепетало столько волнений и страданий, вы, которым будут внимать лучше, чем внимали нам, и которые в счастливые дни будете петь песни без слез».

Какое отличие от Верхарна, Ибсена, Чехова! У Сюлли-Прюдома пассивный, худосочный романтизм, конструирование идеала на зыбком ирреальном фоне; у них беспощадный реализм. Сюлли-Прюдом плачет, но принимает действительность, почти не пытаясь изменить ее; они бунтари, титаны, рычагом литературы пытающиеся сдвинуть, преобразовать ход общественной жизни.

И конечно же, присуждение премии Сюлли-Прюдому было не случайным: с точки зрения «добропорядочных», консервативных профессоров Шведской академии ее просто необходимо было присудить именно такому литератору, чьи работы нисколько не угрожают обществу и в то же время в значительной мере подходят под определение — «лучшие произведения идеалистического направления».

Общественное мнение Швеции и многих других стран было шокировано решением Академии. Уже двадцатого января следующего, 1902 года Лев Толстой получил адрес-протест группы шведских писателей и художников:

«Ввиду впервые состоявшегося присуждения Нобелевской премии мы, нижеподписавшиеся писатели, художники и критики Швеции, хотим выразить Вам наше преклонение. Мы видим в Вас не только глубокого патриарха современной литературы, но также одного из тех могучих и проникновенных поэтов, о котором в данном случае следовало бы вспомнить прежде всего, хотя Вы, по своему личному побуждению, никогда не стремились к такого рода награде. Мы тем живее чувствуем потребность обратиться к Вам с этим приветствием, что, по нашему мнению, учреждение, на которое было возложено присуждение литературной премии, не представляет в настоящем своем составе ни мнения писателей-художников, ни общественного мнения. Пусть знают за границей, что даже в нашей отдаленной стране основным и наиболее сильным искусством считается то, которое покоится на свободе мысли и творчества».

Письмо подписали С. Лагерлёф, А. Стриндберг, Г. Гейерстам, Э. Кей и другие видные деятели шведской литературы и искусства — всего свыше сорока подписей.

А 24 января 1902 года в газете «Svenska Dagbladet» появилась статья Августа Стриндберга, страстно выступившего против несправедливого решения Шведской академии, высмеивающего его и утверждающего, что большинство членов академии — «это недобросовестные ремесленники и дилетанты в литературе, которые призваны вершить суд, но понятия этих уважаемых господ об искусстве так детски наивны, что они называют поэзией только то, что написано стихами, предпочтительно рифмованными. И если, например, Толстой прославился только как изобразитель человеческих судеб, если он создатель исторических фресок, то он не считается поэтом только на том основании, что не писал стихов». И в заключение с горечью и гневом восклицает: «Так давайте же избавимся от магистров, в особенности от таких, которые не понимают искусства, берясь судить о нем. А если нужно, давайте откажемся от нобелевских денег, динамитных денег, как их называют»

Еще одно суждение по этому поводу принадлежит перу известного датского критика Георга Брандеса. «Льву Толстому, — отмечал он, — принадлежит первое место среди современных писателей. Никто не внушает такого чувства почитания, как он, может быть, можно сказать: никто, кроме него, не внушает этого чувства почитания. Когда при первом присуждении Нобелевской премии она была дана благородному и тонкому, но второразрядному поэту, все лучшие шведские авторы послали за своими подписями Льву Толстому адрес, в котором протестовали против такого присуждения этого отличия. Само собой чувствовалось, что оно должно было принадлежать только одному — великому писателю России, за которым они единогласно и признавали право на эту премию».

Ответ самого Толстого на письмо шведских художников и литераторов был сдержан и прост:

«Дорогие и уважаемые собратья,

я был очень доволен, что Нобелевская премия не была мне присуждена. Во-первых, это избавило меня от большого затруднения — распорядиться этими деньгами, которые, как и всякие деньги, по моему убеждению, могут приносить только зло; а во-вторых, это мне доставило честь и большое удовольствие получить выражение сочувствия со стороны

стольких лиц, хотя и незнакомых мне, но все же глубоко мною уважаемых.

Примите, дорогие собратья, выражение моей искренней благодарности и лучших чувств.

Лев Толстой».

На этом, казалось бы, история вопроса должна быть исчерпана, Но она получила неожиданное продолжение.

В 1905 году вышло в свет новое произведение Льва Толстого «Великий грех» — горестное остропублицистическое повествование о тяжелой доле русского крестьянства. Тогда и возникла вдруг в Академии наук России идея о выдвижении кандидатуры Льва Толстого на соискание Нобелевской премии. В записке, составленной с этой целью академиком А. Ф. Кони при участии почетного академика К. К. Арсеньева и академика Н. П. Кондакова, давалась высокая оценка «Войны и мира», «Воскресения» и других произведений Толстого, говорилось о том, что сочинения Толстого «представляют собою целые эпохи, в которых индивидуальная жизнь героев сплетается с жизнью и движением массы», что «на все человеческие отношения отзывался Толстой и, что бы он ни изобразил, — везде и во всем звучит голос неотразимой житейской правды». В заключение высказывалось пожелание о присуждении Л. Толстому Нобелевской премии.

Эту записку одобрил Разряд изящной словесности Академии наук, и 19 января 1906 года она вместе с экземпляром толстовского сочинения «Великий грех» была отослана в Швецию.

25 сентября Толстой узнает о возможности присуждения ему премии. В тот же день он пишет письмо Арвиду Эрнефельту, финскому писателю, сочувствовавшему взглядам Толстого: «Если бы это случилось, мне было бы очень неприятно отказываться, а потому я очень прошу вас, если у вас есть — как я думаю — какие-либо связи в Швеции, постараться сделать так, чтобы мне не присуждали этой премии. Может быть, вы знаете кого-либо из членов, может быть, можете написать председателю, прося его не разглашать этого, чтобы это не делали». И далее вновь: «Прошу вас сделать, что вы можете, к тому, чтобы они не назначали мне премии и не ставили меня в очень неприятное положение — отказываться от нее».

Эрнефельт выполнил просьбу Толстого.



Л. Н. Толстой и С. А. Толстая.
1895 г. Ясная Поляна.
Фотография С. А. Толстой.

97011

Внешне он не совсем похожий на своих современных собратьев. У него деревянные ручки руля и педали, переднее колесо несколько больше заднего, непривычно выглядит ручной тормоз. Спереди к раме привинчена латунная пластинка в форме щита с данными фирмы: «The ROVER J. K. STARLEY 8 C^o LIMITED METEOR CYCLE WORKS WEST ORCHARD COVENTRY». В середине руля — заводской номер 97011.

Велосипед английской марки «оригинальный ROVER» считался лучшей моделью

1895 года. Именно весной этого года Толстой страстно увлекся велосипедом. Но нужно было сначала научиться ездить. О том, как Толстой овладевал искусством велосипедной езды, рассказывается в статье «Граф Л. Н. Толстой и его первые уроки езды на велосипеде». (Автор неизвестен.) Статья печаталась в велосипедном журнале «Циклист» в 1895 году (№ 16, 21, 22, 24, 26, 29). В 20-х числах апреля Толстой вошел в манеж. Одет он был в черную блузу, подпоясанную ремнем, на ногах сапоги. В такой одежде Толстого трудно было принять за графа, барина, и вахтер поэтому отправил его за разрешением учиться ездить на велосипеде к смотрителю манежа Н. Д. Шереметевскому, который, сразу узнав знаменитого писателя, встретил его очень радушно. Поговорив с неожиданным гостем, Шереметевский позвал к себе вахтера Самойлова и приказал ему посадить графа на велосипед и провести его по манежу, как возят обыкновенно всех начинающих учеников. Вахтер долго не понимал, о каком графе идет речь, пока смотритель манежа не указал ему на скромно одетого человека в блузе, того самого, что спрашивал его: «Можно здесь поучиться езде на велосипеде?». «Винюват, Ваше высочорodie», — ответил вахтер и, сделав под козырек начальству, ловко повернулся налево кругом и направился к графу Л. Н. Толстому, искренне удивляясь в душе, как это, мол, господа графы могут носить такие странные костюмы, в которых нет ни малейшего признака высокого звания. «Вам угодно, Ваше сиятельство, учиться на велосипеде?» — «Да, я хотел бы попробовать». — «Извольте садиться, Ваше сиятельство!» И Самойлов объяснил Толстому, как нужно садиться на велосипед, заверив начинающего в его полной безопасности. «Успокоенный этими уверениями, граф, пристав на подножку, опустился довольно легко и красиво для первого раза в седло». Причем, садясь на велосипед, Толстой проделал все то, что предложил ему вахтер, «с самым серьезным и даже несколько озабоченным видом, с каким принимаются обыкновенно все положительные люди за всякое новое дело». Уже после первого круга, который сделал Толстой на велосипеде с помощью вахтера, всем наблюдавшим за этими упражнениями стало ясно, что начинающий велосипедист «скоро овладеет способностью управления велосипедом: он, подобно многим новичкам, не раскачивался отчаянно в седле, а сидел на нем покойно и прямо; его ноги на педалях работали ровно и не спеша, а руль при помощи вахтера делал, где следовало, соответственные повороты. Таким порядком вахтер Самойлов сделал по



Толстой на велосипеде. Карикатура из альбома «В память Л. Н. Толстого». 1911.

манежу с графом два круга, и затем при помощи же вахтера Л. Н. Толстой сошел с велосипеда, причем лицо графа выражало полное удовольствие: видно было, что езда на велосипеде его заняла и очень ему понравилась».

После первого урока Толстой записывает в своем дневнике: «25 апреля 95 Москва /.../ За это время начал учиться в манеже ездить на велосипеде. Очень странно, зачем меня тянет делать это. Евгений Иванович /Попов/ отговаривал меня и огорчился, что я езжу, а мне не совестно. Напротив, чувствую, что мне все равно, что думают, да и просто безгрешно, ребячески веселит».

На другой день утром Толстой снова был в манеже и снова с удовольствием овладевал искусством велосипедной езды. Он довольно

свободно приподнялся на подножке, легко сел в седло, сразу нашел правой ногой педаль, и велосипед ровным ходом тронулся с места, все еще придерживаемый Самойловым. На втором заезде Толстой поехал сам, вполне самостоятельно. Вахтер, бежавший за велосипедом и придерживавший его слегка за седло, отпустил руку, и Лев-Николаевич поехал один, сам того не замечая. Раздались аплодисменты, и Толстой понял, что едет один. Обычно аплодисменты приводят начинающих велосипедистов в состояние полной растерянности: они бросают руль и падают. «Совсем не то было с графом Толстым: ни на минуту не смутившись, что едет один, он спокойно продолжал работать педалями и рулем, и сам подъехал к тому месту, откуда садятся на велосипеды».

После второго дня упражнений на велосипеде Толстой снова делает запись в дневнике: «26 апреля 1895 М(осква). Вчера ездил в манеже на велосипеде».

Через несколько дней Толстой свободно ездил на велосипеде. «...Он никогда не любил езды в компании, а старался ездить всегда один, особняком от прочих, причем вся фигура его выражала полное самоуглубление и какую-то серьезность. Зато во время отдыха, когда Л. Н. сходил с велосипеда, он был необычайно любезен и даже словоохотлив со всеми, кто бы ни обращался к нему». Как ни старался Толстой ездить особняком, чтобы ему не мешали и он тоже никого не беспокоил, однако казусные случаи происходили. Об одном таком случае Толстой писал в «Послесловии к рассказу А. П. Чехова «Душечка»: «Я учился ездить на велосипеде в манеже, в котором делаются смотры дивизиям. На другом конце манежа училась ездить дама. Я подумал о том, как бы мне не помешать этой даме, и стал смотреть на нее. И, глядя на нее, я стал невольно все больше и больше приближаться к ней, и, несмотря на то, что она, заметив опасность, спешила удалиться, я наехал на нее и свалил, то есть сделал совершенно противоположное тому, что хотел, только потому, что направил на нее усиленное внимание. То же самое, только обратное, случилось с Чеховым: он хотел свалить Душечку и обратил на нее усиленное внимание поэта и вознес ее». Более подробно об этой забавной сцене пишет Т. Л. Толстая, вспоминая, с каким юмором отец рассказывал о ней: «Со мной происходит смешное явление, — рассказывал он. — Стоит мне представить себе препятствие, как я ощущаю неодолимое к нему влечение и, в конце концов, на него наталкиваюсь».

Это особенно относится к толстой даме, которая, как и я, учится ездить на велосипеде. У нее шляпа с перьями, и стоит мне взглянуть, как они колышутся, я чувствую, — мой велосипед неотвратно направляется к ней. Дама издает пронзительные крики и пытается от меня удрать, но — тщетно. Если я не успеваю соскочить с велосипеда, я неизбежно на нее налетаю и опрокидываю ее. Со мной это случалось уже несколько раз. Теперь я стараюсь посещать манеж в часы, когда я надеюсь, ее там нет. И я спрашиваю себя, — замечает он, — неизбежен ли этот закон, по которому то, чего мы особенно желаем избежать, более всего притягивает нас?»

На какое-то время увлечение велосипедом отодвинуло в сторону даже работу. 4 мая 1895 года Толстой пишет в дневнике: «Ничего не работаю. Велосипед». Писательница Л. И. Микулич-Веселитская, посетившая Толстых в мае 1895 года, вспоминает: «Подъехав к воротам их дома, я увидела на дворе Льва Николаевича, который делал круги на велосипеде. Он уже лихо летал и с увлечением предавался новому спорту». Изматывал себя так, что лишался сна от усталости, но и увлечение велосипедом стало постепенно проходить. Опять запись в дневнике: «15 мая 95 М(осква). Ночью спал всего 4 часа. Вчера устал на велосипеде. Ездил с(о) Страховым. Проходит и велосипедное увлечение». Однако 29 мая того же года в гостях у своих друзей Олсуфьевых в Никольском Толстой опять ездит и верхом, и на велосипеде. Не оставляет велосипедной езды и в Ясной Поляне, уезжая в любую погоду далеко от дома и вызывая тем самым большие волнения в семье.

Записи Толстого в дневнике от 4 июля и 29 сентября 1895 года свидетельствуют о его велосипедных поездках в Тулу. 9 октября 1895 года он снова записывает в дневнике: «Ездил на велосипеде в Тулу и слишком устал». С весны до глубокой осени 1895 года Толстой не расставался с велосипедом. В этом же году Московский кружок велосипедной езды принимает Толстого в члены своего общества и вручает ему удостоверение и жетон (значок). Удостоверение не сохранилось. Жетон хранится в фондах Музея-усадьбы Толстого в Москве. Он имеет форму выпуклой восьмиконечной звезды с серединой в виде велосипедного колеса. По окружности колеса, по голубой эмалевой полоске, — надпись: «Московский кружок велосипедной езды». В глубине, под спицами колеса, на красной эмали — дата «1895».

Зимой 1896 года Толстой получил от Московской городской управы

БИЛЕТ

Для езды на велосипеде по улицам
ГОРОДА Москвы
№ 2300

Выдан без права передачи графу
Льву Николаевичу Толстому
Москва 1896 г., февраль 21 дня.

Выдан на 1896 г.

Член Городской Управы Н. Щепкин

Ниже в билете напечатаны «Обязательные постановления Московской Городской Думы

Л. Н. Толстой в кругу родных и знакомых у террасы яснополянского дома. 1896 г. Фотография С. А. Толстой. Слева направо: М. Л. Толстой (сын писателя), Э. Борель (губернер младших сыновей Толстого), Д. Д. Дьяков (сын друга Толстого Д. А. Дьякова), В. А. Маклаков (знакомый Толстых) и Л. Н. Толстой; на террасе — М. Л. Толстая и А. Л. Толстая.



о порядке езды по городу на велосипедах». В примечании к первому пункту сказано, что «Разрешение это именное, выдается Городской Управой ежегодно выдержавшим испытание, производимое лицами, назначенными для сего по усмотрению Обер-Полицеймейстера; от означенного испытания освобождаются лица, представившие удостоверения одного из московских обществ велосипедистов в свободном и умелом управлении велосипедом».

Таким образом, Толстой как член Московского общества велосипедистов от «означенного испытания» освобождался.

Во втором пункте постановлений говорится, что «Каждый, получивший разрешение езды по городу на велосипеде, снабжается Городской Управой нумерным знаком, прикрепляемым позади седла, и обязан иметь на велосипеде звонок, а равно фонарь с изображением того же номерного знака, зажигаемый при езде с наступлением сумерек. Тип фонаря может быть устанавливаем Городской Управой по соглашению с начальником Городской полиции». У велосипеда Толстого № 867, выдан Московской городской управой в 1896 году вместе с именным билетом № 2300.

Обязательные постановления Думы о порядке езды по городу на велосипедах содержат интересные для нас сведения: оказывается, нельзя было ездить на велосипедах по всем центральным улицам Москвы, включая Петровку, Столешников переулок, Арбат и т. д.; нельзя было ездить на велосипедах в пасхальные дни, в дни приезда высочайших особ в Москву. В восьмом пункте этих постановлений проявлялась забота о лошадях: «В случае беспокойства лошадей от появления едущего на велосипеде, последний обязан

остановиться и сойти с велосипеда и по возможности скрыть его от испуганной лошади». Тринадцатый пункт обязательных постановлений Московской городской думы щадил нервную систему публики: «Употребление при езде на велосипедах непривычных для публики, обращающих на себя внимание костюмов, воспрещается».

Билет хранится в отделе рукописей Государственного музея Л. Н. Толстого (АТМ, оп. 3, № 17).

К весне 1896 года у Толстого прошло велосипедное увлечение, и в дневнике появляется следующая запись: «Нынче 2 мая 96. Я(сная) П(оляна) /.../ Бросил ездить на велосипеде. Удивляюсь, как мог так увлекаться». Это решение Толстого расстаться с велосипедом было с удовлетворением встречено членами семьи. Татьяна Львовна, старшая дочь, отметила это в своем дневнике: «7 мая (1896 г.) Ясная Поляна. Папа совсем отказался от велосипедной езды. Я рада этому за него, потому что знаю, как радостно лишить себя чего-нибудь; и за себя, что мы не будем так беспокоиться, целыми вечерами, ждать его в дождь, посылать за ним во все стороны...»

Но иногда Толстой изменял своему решению не садиться на велосипед, и в том же 1896 году С. А. Толстая в письме Т. А. Кузминской от 3 октября писала: «Левочка здоров, но очень стал худ; он по-старому живет: утром пишет, потом играет в теннис, сегодня проехался на велосипеде».

.. В 1911 году велосипед поступил в фонды Толстовского музея в Москве и находился в нем до 1921 года. В октябре 1921 года велосипед был передан в фонды Музея-усадьбы Л. Н. Толстого в Москве, где и находится по сей день.



Л. Н. Толстой. Гаспра. Декабрь 1901 г. Фотография С. А. Толстой.

В 1900 году в Ясной Поляне стало тревожно — здоровье Льва Николаевича, которому пошел 72-й год, заметно ослабело. В дневниках и письмах все чаще стали появляться записи о физической слабости, которая особенно тяготила Толстого, потому что мешала работать в полную силу: «Все нездоров, и нет энергии мысли». Лев Николаевич решил, что он «старается» и надо приучиться жить и работать в этом непривычном положении. «Болезнь застает людей не готовыми к новой, больной форме жизни, и потому, когда болен, или вовсе не живешь, ожидая выздоровления,

или живешь дурно, не приладившись к новой форме жизни. Надо учиться жить больному».

Ближних Толстого серьезно тревожило состояние его здоровья, доктора лечили больного, но он не поправлялся. «Врачи определяли хроническую болезнь печени, малярию и расстройство деятельности сердца»¹, — писал старший сын Толстого Сергей Львович. Когда Лев Николаевич немного оправился, доктора посоветовали ему ехать на южный берег Крыма — большие надежды возлагали на благодатный климат этих мест. И как раз в это время жена Толстого Софья Андреевна получила письмо от графини С. В. Паниной: «Если только... Вы еще не решили, где именно будете... жить, то я была бы ужасно счастлива, если бы Вы согласились воспользоваться моей дачей «Гаспра»... Места там очень много... в доме имеется все необходимое... Дом стоит высоко, немного далеко от моря, но именно вследствие этого у нас там никогда не бывало крымских лихорадок...»² Любезное приглашение было принято, в августе шли сборы, а 5 сентября Лев Николаевич с близкими уехал в Крым. «Я провожал отца, когда он уезжал из Ясной Поляны; меня поразило суровое выражение его измученного лица, когда он, едучи на станцию, сел в коляску», — вспоминал Сергей Львович.

8 сентября приехали в Гаспру. Большой серый дом в итальянском вкусе с двумя террасами, верхней и нижней, откуда открывались удивительные виды на море и горы, живописный парк — все было очень красиво и так непохоже на Ясную Поляну. Лев Николаевич писал брату: «Живу я здесь в роскошнейшем палаццо, в каких никогда не жил: фонтаны, разные поливаемые газоны в парке, мраморные лестницы и т. д. И кроме того, удивительная красота моря и гор».

Рано утром Льва Николаевича можно было увидеть в окрестностях Гаспры: он ходил пешком в Алупку, в Ай-Тодор на маяк, в Ореанду, ездил верхом в Симеиз. Всегда были радостью утренние прогулки к морю, и вечером Лев Николаевич любил гулять, глядя на таинственные горы и кипарисы при луне. Софья Андреевна писала: «Продолжаем делать длинные прогулки, и сегодня ездили... на водопад Учан-Су и к Эриклику. Дорога живописна удивительно, сосновые леса, и так мы высоко въехали, что очутились в облаках. Потом съехали почти к самому морю, которое было особенно красиво сегодня...»³ Первые три месяца Лев Николаевич чувствовал себя хорошо, был бодр и деятелен.

В январе 1902 года опять начались боли в печени и сердечные перебои, а потом



Часть имения Гаспра. 1901 г.
Фотография С. А. Толстой.

Толстой заболел двусторонним воспалением легких. «Наступили тревожные дни. С каждым днем положение ухудшалось. Температура то поднималась, то падала, сердце работало плохо, с перебойми; отец стонал, задыхался, метался и слабел с каждым днем», — писал Сергей Львович. Льва Николаевича лечили И. Н. Альтшуллер, К. В. Волков и С. Я. Елпатьевский. В конце января, когда положение стало особенно опасным, в Гаспру для консультации приехали два известных врача — Л. Б. Бертенсон из Петербурга и В. А. Щуровский из Москвы. Вместе с близкими, которые «обратились в сиделок и сестер милосердия и распределили между собою дневное и ночное дежурство»⁴, дежурили по очереди врачи. Почти ежедневно происходили консилиумы. «Удивительно, как бескорыстны доктора: ни Щуровский, ни Альтшуллер, ни бедный, но лучший по доброте из трех — земский врач Волков, никто не

берет денег, а все отдают и время, и труд, и убытки, и бессонные ночи»⁵, — писала Софья Андреевна.

Все время болезни Лев Николаевич жил внизу, где было темновато, но спокойно. Когда опасность миновала, выздоравливающего перевели наверх — там было много света и воздуха. Настроение в доме поднялось, но круглосуточные дежурства продолжались, и не оставляли своих забот о Толстом его жена, дети, невестка, близкие друзья. Софья Андреевна писала в марте 1902 года: «Лев Николаевич все еще лежит, но последние следы воспаления проходят... Он читает уже сам книги, письма, газеты; сам ест и пьет, но так еще слаб, что поднимаем и переворачиваем его всегда мы вдвоем... По ночам всегда двое дежурят: я ежедневно до пятого часа утра с доктором или Сережей; потом меня сменяет Таня или Саша до семи утра. С семи Юлия Ивановна Игумнова и

Ольга Константиновна. Днем служим все, но больше, конечно, я».

Толстой был тяжело и опасно болен три месяца — с начала января по начало апреля 1902 года; в мае, еле оправившись от двустороннего воспаления легких, он заболел брюшным тифом. Крепкий организм Льва Николаевича, отличные врачи, лечившие его, самоотверженный уход родных и близких друзей — все это помогло Толстому оправиться. Доктор Л. Б. Бертенсон писал: «Если бы сердце было само по себе органически слабо, Вы бы не перенесли двустороннего воспаления легких — это ясно, как день!.. В сознании, что Ваш организм крепок, я черпаю уверенность, что Вы можете жить еще много лет на великую радость миллионов людей»⁶.

И в самые тяжелые дни не прекращалась напряженная работа мысли и творческой фантазии. Как только наступало временное облегчение, Лев Николаевич обдумывал новое, диктовал отдельные мысли, добавления и исправления к начатым статьям, ответы на письма. Пораженный этой силой творческого духа, доктор С. Я. Елпатьевский писал: «...За всю мою долгую медицинскую жизнь я не запомню случая, где бы так думали в то самое время, когда подходила смерть, думали не о детях, не об неустroенных делах, не о не снятых с совести камнях, а об общем, о дальнем, о том, что не касалось личной жизни...»⁷

Льва Николаевича мучило и волновало напряженное положение, создавшееся в России. Сообщения газет, события, о которых писали его многочисленные корреспонденты, свидетельствовали о том, что народ прорывается и начинает действовать, «правительство же... хочет не только удержать настоящее положение вещей, но еще вернуться к более отсталому...». «Чтобы поставить народонаселение на лучшее положение, надо и необходимо позаботиться о первом главном корне — это земле»⁸, — писал Толстому крестьянин С. А. Белов. О крестьянских волнениях сообщал Льву Николаевичу его близкий знакомый П. А. Буланже: «Говорят, в Воронежской губернии крестьяне бунтуют, ожидая, что скоро им отдадут землю, принадлежащую помещикам...»⁹ В конце апреля в «Правительственном вестнике» появилось сообщение о подавлении крестьянских бунтов в Харьковской и Полтавской губерниях — Лев Николаевич записал в календарном блокноте: «Страшное правительственное сообщение о беспорядках. Хочется писать об этом». В разговоре с Короленко в конце мая 1902 года Толстой одобрял крестьян, отбравших у помещиков инвентарь и зерно: «Мужик берется прямо за то, что для него всего важнее»¹⁰.

Мысли об угнетенном положении и голодной жизни крестьян, никогда не оставлявшие Толстого, приобрели в это время особую остро-

Татарское селение Кореиз вблизи Гаспры, 1901 г. Фотография С. А. Толстой.





Л. Н. Толстой (выздоровливающий после брюшного тифа) с дочерью Т. Л. Сухотиной-Толстой. Гаспра, май 1902 г. Фотография С. А. Толстой.

ту. «Диктовал все о том же, что его теперь больше всего занимает: о неравном распределении земельной собственности и несправедливости владения землей», — писала Софья Андреевна. Писатель задумал статью «К рабочему народу» и все больше сил отдавал этой работе — то диктовал, то писал сам. «Немного пописал «К рабочему народу», и начинает образовываться» — эта запись была сделана в дневнике 24 мая 1902 года. В начале июня Льву Николаевичу казалось, что он «почти кончил». Но еще много раз он возвращался к этой особенно важной для него статье.

«Пришло время, когда несправедливость, неразумность и жестокость владения землей не работающими на ней так же очевидны, как 50 лет тому назад были очевидны несправедливость, неразумность и жестокость владения крепостными... Еще можно было в старину... надеяться на успех... бунтов, но теперь, когда в руках правительства, стоящего всегда за неработающих, и огромные деньги, и железные дороги, и телеграфы, и полиция, и жандармы, и войско, все такие попытки всегда кончаются, как кончились недавно бунты в Полтавской и Харьковской губерниях, тем, что бунтовщиков казнят, истязают...» И хотя Толстой не верил, что земельная собственность может быть уничтожена распо-

ряжением правительства, он решил испробовать еще одно средство — пытался убедить царя свернуть с того пути, который ведет русский народ к гибели. Лев Николаевич написал письмо Николаю II. Он нарисовал мрачную, зловещую картину: все увеличивающаяся армия полицейских, переполненные тюрьмы, нелепые запреты цензуры, войска, стреляющие в народ... «Земледельческий народ — те 100 миллионов, на которых зиждется могущество России... нищает с каждым годом, так что голод стал нормальным явлением».

Какой убежденностью, каким мужеством нужно было обладать, чтобы в это жестокое время так говорить с царем! Об этом думала и Софья Андреевна: «Сию и переписываю письмо Льва Николаевича к государю. Боюсь, что рассердится царь за жестокую правду, ничем не смягченную».

Мысли, высказанные в этом страстном воззвании, тесно связаны с кругом вопросов, поднятых Толстым в его статьях «Солдатская памятка» и «Офицерская памятка». Еще в Ясной Поляне, незадолго до отъезда в Крым, Лев Николаевич прочитал «Солдатскую памятку» генерала Драгомирова и начал писать свое обращение к солдатам, а потом к офицерам. Писатель доказывал, что военная служба стала «прямо подлым делом, потому что... теперь... все чаще и чаще приходится военным выступать не против внешних врагов для защиты от нападающих завоевателей или для увеличения славы и могущества своего отечества, а против безоружных фабричных или крестьян...» В Гаспре работа над этими статьями продолжалась. В газетах и письмах появлялись все новые сообщения о том, что войска стреляют боевыми патронами в бастующих рабочих и бунтующих крестьян. Мысль о грядущей революции становилась все очевиднее для Толстого, и об этом он написал в предисловии к памяткам: «...Ввиду неизбежности революции предоставляю к распространению теперь эти две памятки, надеясь на то, что мысли, содержащиеся в них, уменьшат братоубийственную бойню, к которой ведут теперь правительство свои народы». Позицию Толстого в эти предреволюционные годы удивительно точно сформулировал В. Г. Короленко: «...В душе Толстого все злобы и противоречия нашей жизни сплелись в самый больной узел».

Тревожные мысли о будущем России были тесно связаны в сознании Толстого с судьбами просвещения и искусства. Его тревожила судьба грамотного человека из народа, «ищущего истинного просвещения», и будущее настоящего искусства, нужного и понят-

ного народу. Как найти хорошую книгу в море плохих, вредных, ничтожных произведений, получивших известность благодаря рекламе и дурному вкусу? В 1900 году Лев Николаевич прочел роман немецкого писателя В. Поленца «Крестьяни» и с большим огорчением узнал, что эта прекрасная книга не имела успеха ни в Германии, ни в России. Решено было издать роман в издательстве «Посредник» с предисловием Толстого.

Роман Поленца возродил в Толстом желание писать «художественное». Немного оправившись от болезни, Лев Николаевич снова занялся «Хаджи-Муратом», над которым работал с 1896 года. «Не знаю, писал ли он

ния»^{1 1}, — свидетельствует С. Я. Елпатьевский. В Крыму произошел поворот в работе над повестью — вновь ожило многое в этой не раз передуманной истории. Может быть, толчком послужили крымские впечатления. «...Мы отправились в Алупку и там осматривали дворец Воронцова. Лев Николаевич с особенным вниманием останавливался на портретах Воронцовых и рассказывал разные подробности...» — вспоминал П. А. Буланже.

Толстой не мог жить и работать без живого дружеского общения с людьми. Поначалу в Крыму он чувствовал себя непривычно одиноко, но скоро у Льва Николаевича появились новые знакомые. Это был историк



Л. Н. Толстой во время болезни воспалением легких. Гаспра. Слева направо: Л. Н. Толстой, Н. Н. Ге (сын художника Н. Н. Ге) С. Л. Толстой (старший сын писателя), С. А. Толстая,

Н. Л. Оболенская (племянница Л. Н. Толстого), Ю. И. Игумнова (художница, близкий друг семьи Толстого) и М. Л. Оболенская (дочь писателя).
Апрель 1902 г. Фотография С. А. Толстой.

тогда «Хаджи-Мурата», но, очевидно, много думал о нем. Он часто говорил мне о «Хаджи-Мурате» и, когда узнал, что я был на войне на Кавказе... расспрашивал, слышал ли я о нем, сохраняются ли еще там воспомина-

профессор В. И. Ламанский, врач Мисхорской земской больницы Волков, с которым Лев Николаевич любил беседовать. Ему нравился его добрый нрав, удаль, с которой он плясал «русскую», его дружная семья. У Константи-

на Васильевича сохранились самые приятные воспоминания о его пациенте: «Лев Николаевич... со всеми умел быть равным. Поэтому с ним чувствовалось и говорилось легко...»¹² К Толстому приходило множество посетителей: художник Ф. П. Федоров, который жил на маяке Ай-Тодор, татарин, который пришел с пожеланием здоровья и принес в подарок феску и чадру, рабочие-революционеры, умно и горячо говорившие о несправедливости общего строя жизни. Круг общения Толстого был очень широк, но мы, к сожалению, мало знаем о его ничем не знаменитых собеседниках.

А вот о том, как рад был Лев Николаевич Чехову, когда тот навестил его в Гаспре, хорошо известно по дневникам, письмам и воспоминаниям. Болезнь Льва Николаевича Чехов пережил как большое горе. Врачи, лечившие Толстого, были хорошими его знакомыми и после каждого визита к больному сообщали Антону Павловичу и горькие и обнадеживающие новости. Весной 1902 года, когда Лев Николаевич начал поправляться, Чехов побывал в Гаспре в последний раз: «...Он показался мне выздоравливающим, но очень старым, почти дряхлым. Много читает, голова ясная, глаза необыкновенно умные. Писать, конечно, нельзя, но все же есть кое-что новое, им написанное»¹³.

Вскоре пришел к Толстому прощаться и Горький. Он жил с семьей на даче в Олеше

и часто бывал в Гаспре и один, и вместе с Чеховым. Лев Николаевич поражал Горького своей мудростью и красотой: «...Нет человека более достойного имени гения, более сложного, протворечивого и во всем прекрасного...»

К Толстому тянулись молодые писатели, их привлекало обаяние его таланта, сила его духа; каждая встреча с Львом Николаевичем была событием. «Удивительный старик. Тело умирает, а ум горит пламенем»¹⁴, — отмечал В. Г. Короленко, который в мае 1902 года побывал в Гаспре. На всю жизнь сохранил благоговейную память о добrote и величавости Толстого молодой писатель из крестьян Скиталец. А. И. Куприн видел Льва Николаевича на пароходе, в предтобездной суете, но в эти несколько минут он почувствовал, как радостно жить в то время, когда живет этот удивительный человек, «таинственной властью заставляющий нас и плакать, и радоваться, и умиляться»¹⁵.

Скоро после переезда в Гаспре установился тот привычный распорядок дня, который редко нарушался и в Ясной Поляне, и в Москве. После утренней прогулки Толстой работал, а вечерами собирались все вместе в большой гостиной, освещенной двумя лампами; женщины занимались рукоделием, кто-нибудь читал вслух — П. А. Буланже, А. Б. Гольденвейзер, Н. Л. Оболенский. Читали «Господ Головлевых», новые повести и рассказы, напечатанные в журналах. Читали Чехова — рассказы, из которых Льву Николаевичу «понравилась... оригинальностью замысла и мастерством письма»¹⁶ «Пари» и «Степь», повесть «Скучная история» — Лев Николаевич все время восхищался умом Чехова и в письме к брату Сергею Николаевичу советовал прочесть его новые сочинения. Интересовали Толстого произведения молодых писателей. С большим интересом отнесся Лев Николаевич к повести Куприна «В цирке» и расспрашивал Чехова об авторе. Обрадованный Антон Павлович сразу же написал об этом Александру Ивановичу: «...Вашу повесть «В цирке» читал Л. Н. Толстой, и она ему очень понравилась. Будьте добры, пошлите ему Вашу книжку по адресу: Кореиз, Таврической губернии и в заглавии подчеркните рассказы, которые Вы находите лучшими, чтобы он, читая, начал с них»¹⁷. Льва Николаевича интересовали писатели из мужиков, впервые в ту пору пришедшие в русскую литературу, поэтому с таким живым интересом читал он в январе 1902 года «Сквозь строй (повесть одной жизни)» Скитальца.

Самый широкий круг исторических и философских проблем занимал Толстого. В ок-

Вид с верхней террасы гаспринского дома. 1901—1902 гг. Фотография С. А. Толстой (?).





Л. Н. Толстой и врачи, лечившие его в Гаспре (И. Н. Альтшуллер, Д. В. Никитин, К. В. Волков,

С. Я. Елпатьевский), С. А. Толстая и Ю. И. Игумнова. Гаспра, май—июнь 1902 г.
Фотография С. А. Толстой (?).

тябре 1901 года Лев Николаевич «прочел с величайшим удовольствием и пользой» книгу Е. В. Тарле «Общественные воззрения Томаса Мора в связи с экономическим состоянием Англии его времени», присланную ему автором. Множество ассоциаций и размышлений вызвала у Толстого «прекрасная» монография Куно Фишера о Канте. С увлечением читал Лев Николаевич антимонархическую брошюру Б. Н. Чичерина «Россия накануне двадцатого столетия». Чтение, как и писательская работа, было для Толстого настоящей необходимостью, и он не бросал его и во время болезни.

В то время как все мыслящие люди в России и во всем мире были озабочены состоянием здоровья Толстого, задача русского правительства состояла в том, чтобы всеми возможными способами ослабить растущее влияние писателя и как можно реже упоминать его имя в печати. Газетам было запрещено специальным циркуляром Главного управления по делам печати помещать сообщения о поездке Толстого в Крым, встречах и приветствиях по дороге. «Вчера Сипягин * запретил розничную продажу «Петербургской газеты» за то, что она напечатала пять строк о выезде графа Л. Н. Толстого в Крым, вопре-

ки циркуляру»¹⁸, — записал в своем дневнике А. С. Суворин. За весь 1901 год в газетах не было ни одного упоминания о болезни Толстого, в 1902 году некоторые газеты, правда, немногие, осмелились нарушить запрет: 29 января появилась информация о состоянии здоровья Толстого в «Русском слове», 6 апреля — в «Русских ведомостях», 19 мая — в «Смоленском вестнике», 12 июня — в «Волжском вестнике». В начале 1902 года в дневнике А. С. Суворина появилась интересная запись: «31 января отбрали подписку в магазине не выставляя портретов Толстого и от Главного управления по делам печати сказали, что портрет Толстого нельзя помещать ни в коем случае и никогда. Очевидно, эти парни рассчитывают на бессмертие!» Вскоре была сделана поправка — разрешили помещать в печати портреты Толстого только в случае его смерти.

Много лет Толстой был под негласным надзором полиции. Следили за ним и в Гаспре, о чем свидетельствуют документы, находящиеся в «Деле департамента полиции о писателе графе Л. Н. Толстом» (начато 7 февраля 1892 г., кончено 30 марта 1905 г.). «Дело» весьма внушительно и пухло — в нем 229 листов. За 1901—1902 годы здесь хранятся многочисленные донесения о том, кто постоянно живет в Гаспре, кто посещает Толстого, где он бывает и какую корреспонден-

* Министр внутренних дел.

цию получает, секретные циркуляры и письма, появившиеся в то время, когда здоровье Льва Николаевича внушало особую тревогу, — мысль о возможной смерти Толстого приводила в смятение полицейских всякого ранга. Мертвый Толстой внушал им не меньший страх, чем живой: боялись демонстраций в связи с известием о смерти писателя, боялись демонстраций по пути следования его тела, боялись некрологов, чествований его памяти, боялись тех его произведений, которые еще не были известны. В «Деле» хранится переписка полицейских властей с министерством путей сообщения — чиновники двух ведомств старались выбрать самый безопасный маршрут, по которому надлежит везти тело Толстого. Особые старания прилагали к тому, чтобы сократить стоянки в крупных городах, а Харьков, внушавший большие опасения, проехать ночью, прицепив вагон с телом Толстого к почтовому поезду. Так правительство намеревалось помешать народу выразить свое уважение и любовь к замечательному писателю, гневно обличавшему самодержавие.

В Гаспру был отправлен представитель судебного ведомства, который должен был сразу после смерти Толстого проникнуть в дом и опечатать все его бумаги.

Правительство понимало, что запретить чествования памяти Л. Н. Толстого не удастся. Поэтому заранее был составлен циркуляр, предписывавший губернаторам, градоначальникам и обер-полицейстерам «отнестись к разрешению таковых крайне осмотрительно, давать разрешения лишь известным благонадежным лицам, следить за неуклонным выполнением программы в пределах разрешенного и не допускать никаких демонстративных речей, действий или манифестаций»¹⁹.

Не только государственные и полицейские власти боялись возможной смерти писателя — в очень двусмысленном положении мог оказаться святейший синод, совсем недавно отлучивший Толстого от церкви. Обер-прокурор К. П. Победоносцев писал начальнику Синодальной типографии С. Д. Войту: «Теперь в Москве головы помутились у студентов по поводу ожидаемой смерти Толстого, и меня повсюду прославили виновником его отлучения. В таких обстоятельствах благодарение требует не быть мне в Москве, где укрыться невозможно»²⁰. Синод был озабочен тем, что Толстой может умереть, так и не примирившись с церковью.

Вскоре близкие Толстого были встревожены известием, что «мисхорскому священнику даны инструкции проникнуть во что бы то ни стало к умирающему Толстому и устроить

видимость приобщения Толстого к церкви...»²¹

На случай провала этого плана обдумывали и другие меры. 29 января 1902 года министр внутренних дел направил губернаторам циркуляр, предписывавший в некрологах и обзорах литературной деятельности Толстого соблюдать объективность и осторожность и «не допускать сведений и рассуждений, имеющих отношение к постановлению Синода». Не были забыты недавние демонстрации, последовавшие за отлучением Толстого от церкви; жандармы, перлюстрировавшие письма, знали, что многие корреспонденты выражали Льву Николаевичу свое возмущение решением синода. Особенно обеспокоило их письмо рабочих железнодорожных мастерских из Полтавы — они прекрасно поняли, кому и зачем нужно было отлучение. «Мы вам свидетельствуем уважение наше за то, что вы высказываете откровенно все, что считаете за правду и справедливость, не заботясь о том, что это многим не по сердцу и для многих даже страшно... полагаем, что если б всякий правильно думающий человек брал с вас пример и не молчал, то скоро удалось бы устранить много несправедливостей, горя и беды из жизни. На недавнее отлучение вас от церкви духовенством мы смотрим как на худое дело, мезью подсказанное, чтоб нанести вам обиду и натравить на вас... темных людей... От правды же вас не отлучишь»²².

За то время, что Толстой жил в Гаспре, он получил массу писем. Первые три месяца Лев Николаевич, совершая утреннюю прогулку, сам заходил на почту за корреспонденцией. Потом наступило время, когда он не мог даже сам читать письма. Но как только наступало облегчение, Льву Николаевичу читали письма вслух, и он диктовал ответы.

Особенно дороги Толстому были письма тех людей, которые, прочитав его книги, становились его единомышленниками и решали иначе строить свою жизнь. В ноябре 1901 года пришло письмо от члена Ковенского окружного суда С. П. Полякова: «Настает время... сделать решительный шаг в жизни: оставить свою службу по судебному ведомству — не в силах более судить людей»²³.

Корреспонденты делились с Толстым своими планами, рассказывали о своих трудностях и успехах писатели, художники. Всегда с симпатией и интересом следил Лев Николаевич за новыми работами художника Н. В. Орлова, посвятившего себя крестьянской теме. В марте 1902 года пришло письмо, в которое была вложена фотография с картины Орлова «Недоимка». «Извинюсь... что слабо, может быть, удовлетворяю Ваш ху-

дожественный инстинкт, но я работал искренно, не отходя от правды и любви к обездоленным»²⁴, — писал художник.

В мае 1902 года Толстой получил от своего друга П. И. Бирюкова письмо необычного содержания: Павел Иванович просил Льва Николаевича помочь ему в составлении биографии Толстого. Писатель долго обдумывал эту просьбу и написал в ответ: «Сначала я думал, что не буду в состоянии помочь вам в моей биографии... Боялся неискренности, свойственной всякой автобиографии. Но теперь я как будто нашел форму, в которой могу исполнить ваше желание, указав на главный характер следовавших друг за другом периодов моей жизни в детстве, юности и возмужалости». Так Бирюков при постоянной помощи Толстого начал писать его подробную биографию; тогда же сам Лев Николаевич стал писать свои «Воспоминания», остановившись, к сожалению, на детских годах.

Во многих письмах к Толстому обращались с просьбами о помощи. Крестьяне с Черногородки Киевской губернии просили Льва Николаевича помочь им устроить библиотеку-читальню, «присылая нам ваши сочинения все без исключения. Надеюсь на ваше доброе сердце, сочувствующее всяким нуждам, мы молим бога о продлении вашей жизни и остаемся навсегда к вам благодарны»²⁵. Льва Николаевича просили помочь арестованным и осужденным революционерам, и он всегда старался через влиятельных знакомых сделать все возможное: добиться освобождения, смягчения или облегчения участи. В ноябре 1901 года пришло известие о том, что арестована и отправлена в дом предварительного заключения по обвинению в принадлежности к социал-демократической организации сотрудница Толстого по помощи голодающим В. М. Величкина. Лев Николаевич сразу же написал своему давнему другу сенатору А. Ф. Кони: «Пожалуйста, употребите все силы, чтобы облегчить участь этой хорошей и несчастной женщины. Вам привычно это делать и исполнять мои просьбы. Сделайте это еще раз, милый Анатолий Федорович!»

Толстому писали знакомые и незнакомые люди, обеспокоенные его болезнью, — таких писем в Гаспринской почте больше всего.

Многие корреспонденты Толстого советовали ему разные способы лечения.

Киевлянин Михаил Хилинский не был врачом, но «жизнь и практика научили многому», и он рекомендовал Толстому гомеопатическое средство, а также, обеспокоенный сообщением о том, что доктора ставили мушку, «по опыту и по рекомендации Парижской медицинской

академии» предлагал горчичник «как самое верное отвлекающее средство при плевропневмонии». Горячо советовал он также кумыс, «который есть одно единственное и правдивое средство для восстановления самостоятельности организма и для ускорения энергии обмена в нем веществ». Хилинский дал Льву Николаевичу и точный адрес: «лучшее место — это Богдановка в 60 верстах от Самары: там степь привольная и при заведении есть парк, вода и другие удобства, чего в других местах не имеется». Заканчивается письмо очень трогательным пожеланием: «Желаю Вам, во-первых, здоровья и затем душевного спокойствия...»²⁶

Иван Никитич Ржанов из Самары писал Толстому о лечении земляникой. Свой опыт казался ему недостаточно убедительным, и он ссылаясь на факты из жизни знаменитых людей: «Более 20 лет, ежегодно, мы пользуемся лесной земляникой и находим большую от нее пользу... вот я, в 75 лет... довольно бодр и пишу, как видите, твердо, как молодой человек... Земляникой лечились знаменитый Линней от подагры и прожил лишних 20 лет; естествоиспытатель Палас и его друг философ -Фонтенель, доживший до 100 лет...»²⁷ Ржанов отправляет письмо 18 апреля с таким расчетом, чтобы Толстой узнал об этом способе лечения как можно раньше, как только в Крыму поспеет первая земляника.

Как радовались незнакомые друзья Толстого его выздоровлению, можно себе представить, читая такое письмо: «Все время, как Вам грозила опасность, надо мной висела туча... А теперь Вы ожили — и я чувствую, что можно жить»²⁸.

Л. Н. Толстой получал письма не только со всех концов России, но и из многих стран мира. Заграничные корреспонденты Толстого предлагали ему врачебную помощь — французка Э. Бове рекомендовала врача, вылечившего травмы ее мужа²⁹; горячо и искренно восхищались его гением — восторженные стихи, посвященные Толстому, прислал из Вены его молодой почитатель А. Джевде, приветствовавший Толстого «от имени мыслящей турецкой молодежи»³⁰; люди творческого труда делились со Львом Николаевичем своими планами и успехами — французский драматург М. Потешер писал о деревенском театре, который он основал в своем родном городе Бюссане «с целью сближения с людьми моей родины»³¹; немецкий писатель В. Поленц прислал Толстому свои сочинения о крестьянах.

Всеобщее изумление вызвало присуждение первой Нобелевской премии не Толстому, а

французскому поэту Сюлли-Прюдому. Знакомые и незнакомые люди писали Толстому о своем уважении, восхищении его творчеством и о своем возмущении решением Шведской академии наук.

Как ни свирепствовала цензура, как ни изощрялась полиция, как ни старалась церковь восстановить против писателя народ, авторитет Толстого стоял высоко, влияние его было громадно.

Не раз в эти годы самые разные люди находили возможность коллективно выразить писателю свои чувства — в открытых демонстрациях, в скупых словах приветствий и адресов.

По дороге в Крым Толстому была устроена демонстрация — не помогли цензурные запреты: «В Харькове... толпа народа... ждала поезда со Львом Николаевичем. Когда поезд подошел, все сняли шапки, и воздух огласился приветственными криками. Лев Николаевич был настолько слаб и взволнован, что не мог выйти и только несколько раз подходил к окну. Ему подали адрес»³², — это рассказ свидетеля этого события А. Б. Гольденвейзера. Сколько трогательного волнения и заботы, сколько искренности в простых словах адреса, врученного Толстому в Харькове, в подписях, заполнивших три листа уже пожелтевшей бумаги... «Лев Николаевич! Случайно узнав о Вашем проезде, мы, собравшиеся здесь, пользуемся случаем приветствовать Вас как дорогого, любимого человека, великого учителя и гражданина земли русской. На нашу долю редко выпадает случай выразить свое уважение и благодарность лучшим людям родной страны... Мы провожаем Вас с твердой надеждой в скором времени снова приветствовать Вас, дорогой Лев Николаевич, возвращающегося с восстановленными силами к своей славной и плодотворной деятельности»³³.

Через месяц с лишним после того, как Лев Николаевич поселился в Гаспре, он получил адрес от ялтинских жителей, составленный и подписанный еще в сентябре: «Оберегая покой Ваш, мы не решились лично приветствовать Вас при вступлении на нашу почву... Мы очень счастливы, что судьба дает нам возможность видеть Вас в нашем благословенном краю, который, как мы надеемся, подействует целительно на Ваш организм, ослабленный болезнью, и возвратит утраченные силы...»³⁴

Весной 1902 года пришел адрес от почтателей-волжан: «Пусть наши горячие пожелания долетят до Вас с берегов широкой Волги и хоть на минуту облегчат Ваши страдания!»³⁵ 166 подписей собирали по Волге не один месяц...

На обратном пути Л. Н. Толстого ждали многолюдные демонстрации, искренние проявления любви и уважения — и в Севастополе, и в Харькове, и в Курске. Об отъезде из Севастополя вспоминал П. А. Буланже: «Во времени отхода поезда на вокзал набилось много народа, хотели в последний раз посмотреть его, проводить»³⁶. В Харькове Толстому устроили оvation. «В Курске с выставки народного образования — пропасть народа на вокзале... в вагон входили депутаты от учителей, учительниц и студентов»³⁷, — записала в дневнике С. А. Толстая. Из секретного донесения курского вице-губернатора министру внутренних дел видно, что губернское и жандармское начальство не было извещено о проезде Толстого через Курск вечером 26 июня, и на станции находилось только три дежурных унтер-офицера. «Во времени прибытия поезда собралась толпа... не менее 50—60 человек... Во время остановки поезда граф Л. Н. Толстой подходил к окну вагона и кланялся шумно приветствовавшей его толпе. Немедленно были собраны находящиеся на станции жандармы в числе 20 человек, и были приняты все меры к сдерживанию толпы». Софья Андреевна по этому поводу записала: «Жандармы толкали народ». Из донесения мы узнаем и некоторые другие живые подробности: «Из числа учительниц несколько человек, во главе с бывшим студентом Харьковского ветеринарного института Будаковым, вошли в вагон и приветствовали графа Л. Н. Толстого от имени учителей и учительниц народных школ, причем Будаковым поднесен был графу Толстому букет живых цветов. При отходе поезда толпа провожала вагон криками «ура...»³⁸ Не удалось отлучить народ от Льва Толстого.

27 июня Лев Николаевич вернулся домой, в Ясную Поляну и, хотя еще не совсем окреп после болезни, был доволен; «Могу работать и все понимаю и чувствую», — писал он брату.

Узнав о возвращении Толстого в родные места, Горький писал: «Лев Николаевич окончательно встал на ноги и уже в Ясной Поляне. Гений сильнее смерти»³⁹.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ С. Л. Толстой. Очерки былого. Приокское книжное изд-во, 1965, с. 221.
- ² С. В. Панина. Письмо С. А. Толстой, 25 июля 1901 г. Рукописный отдел ГМТ.
- ³ С. А. Толстая. Письмо А. В. Гольденвейзеру. — В кн.: А. В. Гольденвейзер. Вблизи Толстого, 1959, с. 102.
- ⁴ П. А. Буланже. Болезнь Л. Н. Толстого в 1901—1902 годах. — В кн.: Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников. ГИХЛ, 1955, т. 2, с. 130.
- ⁵ С. А. Толстая. Дневники, т. 3. 16 февраля 1902 г., с. 183.
- ⁶ Л. Б. Бертенсон. Письмо Л. Н. Толстому. 26 февраля 1902 г. Рукописный отдел ГМТ.
- ⁷ С. Я. Елпатьевский. Воспоминания о Л. Н. Толстом. — В кн.: Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников, т. 2, с. 142.
- ⁸ С. А. Белов. Письмо Л. Н. Толстому. Рукописный отдел ГМТ.
- ⁹ П. А. Буланже. Письмо Л. Н. Толстому. 18 марта 1902 г. Рукописный отдел ГМТ.
- ¹⁰ В. Г. Короленко. Разговор с Толстым. — В кн.: Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников, т. 2, с. 154.
- ¹¹ С. Я. Елпатьевский. Воспоминания о Л. Н. Толстом. — В кн.: Литературные воспоминания. Книгоиздательство писателей в Москве, с. 40.
- ¹² К. В. Волков. Наброски к воспоминаниям о Л. Н. Толстом. — В кн.: Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников, т. 2, с. 148.
- ¹³ А. П. Чехов. Письмо Н. П. Кондакову 2 апреля 1902 г. Собр. соч., т. 19, с. 276.
- ¹⁴ В. Г. Короленко. Письмо Ф. Д. Батюшкову. Письма 1888—1921 гг. Пг., изд-во «Время», 1922, с. 215.
- ¹⁵ А. И. Куприн. О том, как я видел Толстого на пароходе «Св. Николай». — В кн.: Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников, т. 2, с. 157.
- ¹⁶ А. В. Гольденвейзер. Вблизи Толстого, с. 97.
- ¹⁷ А. П. Чехов. Письмо А. И. Куприну, 22 января 1902 г. Собр. соч., т. 19, с. 229.
- ¹⁸ А. С. Суворин. Дневник, 11 сентября 1901 г. М.—Пг. Изд-во Л. Д. Френкель, 1923, с. 266.
- ¹⁹ Циркуляр тов. министра внутренних дел Святополк-Мирского от 4 июля 1901 г. Рукописный отдел ГМТ.
- ²⁰ К. П. Победоносцев. Письмо С. Д. Войту. 14 ноября 1901 г. — «Летописи», кн. 12, с. 176.
- ²¹ С. Я. Елпатьевский. Воспоминания о Л. Н. Толстом. — В кн.: Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников, т. 2, с. 143.
- ²² Рабочие железнодорожных мастерских г. Полтавы. Письмо Л. Н. Толстому. Декабрь 1901 г. Рукописный отдел ГМТ.
- ²³ С. П. Поляков. Письмо Л. Н. Толстому 20 ноября 1901 г. Рукописный отдел ГМТ.
- ²⁴ Н. В. Орлов. Письмо Л. Н. Толстому. 2 марта 1902 г. Рукописный отдел ГМТ.
- ²⁵ Крестьяне с Черногогородка. Письмо Л. Н. Толстому 28 ноября 1901 г. Рукописный отдел ГМТ.
- ²⁶ М. Хилинский. Письмо Л. Н. Толстому. 9 апреля 1902 г. Рукописный отдел ГМТ.
- ²⁷ И. Н. Ржанов. Письмо Л. Н. Толстому 18 апреля 1902 г. Рукописный отдел ГМТ.
- ²⁸ Н. Тимковский. Письмо Л. Н. Толстому 1 февраля 1902 г. Рукописный отдел ГМТ.
- ²⁹ Э. Бове. (Н. Bovet). Письмо Л. Н. Толстому (на франц. яз.). 24 марта 1902 г. Рукописный отдел ГМТ.
- ³⁰ А. Дживеде. (A. Djev-det). Письмо Л. Н. Толстому (на франц. яз.). 7 октября 1901 г. Рукописный отдел ГМТ.
- ³¹ М. Потешер. (M. Pottecher). Письмо Л. Н. Толстому (на франц. яз.). 19 сентября 1901 г. Рукописный отдел ГМТ.
- ³² А. В. Гольденвейзер. Вблизи Толстого, с. 94.
- ³³ Адрес, врученный Л. Н. Толстому в Харькове 6 сентября 1901 г. Рукописный отдел ГМТ.
- ³⁴ Адрес от жителей г. Ялты, составленный в сентябре 1901 г. Рукописный отдел ГМТ.
- ³⁵ Адрес от волжан, посланный Л. Н. Толстому. 1 марта 1902 г. Рукописный отдел ГМТ.
- ³⁶ П. А. Буланже. Болезнь Л. Н. Толстого в 1901—1902 годах. В кн.: Минувшие годы, 1908, сентябрь, с. 68.
- ³⁷ С. А. Толстая. Дневники, 27 июня 1902 г., т. 3, с. 197.
- ³⁸ Секретное донесение курского вице-губернатора министру внутренних дел. 27 июня 1902 г. Рукописный отдел ГМТ.
- ³⁹ А. М. Горький. Письмо К. П. Пятницкому, Июль 1902 г. Собр. соч., т. 28, № 15.

В знаменитой «стальной комнате» Государственного музея Л. Н. Толстого, в огромном архиве вместе с рукописями произведений, письмами и дневниками, записными книжками писателя хранятся и письма, те, что посылались ему со всей России. Среди корреспондентов нередко можно встретить знакомые имена.

Вот, например, Алексей Яковлев — сын друга семьи Ульяновых, выдающегося просветителя чувашского народа И. Я. Яковлева. Ученик VI класса Симбирской гимназии, которую окончил с золотой медалью В. И. Ленин, Алексей, между прочим, спрашивал у великого писателя: «В чем должно заключаться истинное образование?»

Еще одно письмо из Симбирска. Анастасия Колотилина горестно признавалась:

«Я в свои 18 лет устала от пустой, праздной, светской жизни, мне душно и тесно в этом мире фальши, эгоизма, мелочной злобы — хочется жизни светлой, полной...»

Делился своими мыслями и казанец Владимир Беляев — участник Добролюбовской демонстрации (одним из организаторов которой был А. И. Ульянов): «Я здоров и силен, бодр душой, желаю принести пользу людям и желал этой пользы с того самого времени, как начал сознательно мыслить, но до сих пор, несмотря на свое желание, не принес пользы».

Подобных раскаяний и вопросов немало было в почте Л. Н. Толстого. Но мы встречаем там и строки людей, предпочитавших сомнениям действие, дело! К таким принадлежали молодая учительница Владимирской женской гимназии Софья Невзорова и ее сестра Зинаида. Софья послала письмо Толстому от их общего имени. Послала в 1892-м голодном холерном году. Именно тогда Лев Николаевич призвал молодежь «идти на голод» — в деревни, села, открывать столовые, медицинские пункты. Его призыв был услышан. Об этом и свидетельствует письмо сестер Невзоровых:

«Я слышала, что Вам нужны люди для Вашего громадного дела помощи народу», — спрашивала в первой же строке письма Софья Невзорова.

«Если это действительно верно, — говорится там, — то я и сестра моя решаемся предложить Вам наше усердие, наши силы и нашу полную готовность... Сидеть сложа руки и жить спокойно теперь, когда кругом навалилась такая огромная беда, просто невыносимо и мучительно стыдно.

Стыдно своих свободных сил, своего здоровья, каждого куска... Знаешь, что кругом нужда великая, но не знаешь, как к ней подступиться...»

И вместе с сестрой Зинаидой — слушательницей Высших (Бестужевских) женских курсов в Петербурге — Софья отправилась в татарскую вымиравшую деревню Карга Сергачского уезда Нижегородской губернии.

«То, что я увидела там, — вспоминала потом С. П. Невзорова, — глубоко потрясло меня на всю жизнь... Крыши изб стояли раскрытые: солома с них пошла на корм скоту... Заборов и плетней не было: все было сожжено за зиму. Изможденные голодом люди едва передвигали ноги, ребята хворали и умирали, как мухи...»

Потрясенные увиденным, поняв свое бессилие помочь благотворительной деятельностью народу, сестры Невзоровы стали искать настоящий путь для освобождения простых людей от нищеты и голода. В самом начале этой многотрудной дороги им посчастливилось встретиться с двадцати трехлетним Владимиром Ульяновым, слышать его первые выступления перед нижегородскими и петербургскими марксистами. Пройдет еще несколько лет, и В. И. Ленин в письмах из шушенского далека будет интересоваться судьбой «Булочников» — такова была нелегальная кличка сестер Невзоровых, подпольщиц, активных участниц Петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», которым в ту пору уже пришлось изведать,

что такое тюрьма, и предстояло отправиться в ссылку.

Арестованные в декабре 1895 года и сосланные в Восточную Сибирь руководители Петербургского «Союза борьбы» называли себя «декабристами». И подобно женам великих предшественников, их невесты последовали за своими женихами в тюрьму без решеток. Там Зинаида Невзорова стала женой и помощником пламенного большевика Г. М. Кржижановского — ближайшего соратника В. И. Ленина.

В ту пору, когда Владимир Ильич собирал силы для создания «Искры», он привлек к этому важнейшему делу и сестер Невзоровых. По пути старших пошла и младшая — Августа. Эти самоотверженные, до конца преданные избранному делу женщины воспитали десятки рабочих-революционеров. И среди них Петр Андреевич Заломов — прототип Павла Власова, героя романа А. М. Горького «Мать». В автобиографии его сказано: «Сестры Невзоровы оказали на меня огромное влияние...»

И если бы сестер Невзоровых спросили, как они относятся к своему письму, посланному Л. Н. Толстому, и к тому, что за этим последовало, они скорее всего повторили бы слова Н. К. Крупской. И она, как известно, в 80-е годы была корреспонденткой Л. Н. Толстого, выполняла его поручения. А в наше, советское время Надежда Константиновна писала:

«Я глубоко благодарна Л. Толстому за то, что он помог мне научиться бесстрашно глядеть жизни в глаза. Я думаю, многим, очень многим помог Л. Толстой стать революционерами...» Помог тем, что обнажил ярко и глубоко противоречия современного ему общества. Но все же гений русской литературы не смог дать ответа, как разрешить эти страшные противоречия.

Нужно было искать истинный путь, и передовая молодежь нашла его в рядах русских марксистов, в рядах партии большевиков.

...Закончен просмотр корреспонденций, посланных Льву Николаевичу в последнее десятилетие прошлого века. Отметим, что и в новом, XX столетии молодежь продолжала обращаться к Льву Николаевичу Толстому с просьбами и вопросами. Напоминали о себе и те, кто писал ему раньше. Среди них были Н. К. Крупская и сестры Невзоровы. Их напоминание своеобразное. В Ясную Поляну из-за рубежа посылались экземпляры ленинской «Искры», в издании и распространении которой, как известно, принимали активное участие Н. К. Крупская, З. П. и С. П. Невзоровы — некогда юные корреспондентки Л. Н. Толстого.

...Вот что поведали, подсказали страницы старых писем, которым предстоит храниться века здесь, в архиве великого русского писателя — знаменитой «стальной комнате».

Прометей: Историко-биографический альман-
П 81 нах серии «Жизнь замечательных людей» / Сост.
Ю. Селезнев.— Т. 1 2 . — М.: Мол. гвардия, 1980.—
431 с., ил.

В пер. 3 р. 100000 экз.

Историко-биографический альманах, посвященный 150-летию со дня
рождения Л. Н. Толстого.

П $\frac{70302-029}{078(02)-80}$ 272—79. 5000000000

ББК 83.3Р1
8Р1

ИБ № 1236

ПРОМЕТЕЙ. Т. 12.

Редактор тома В. Калугин
Оформление и макет Р. Тагировой
Художественный редактор А. Степанова
Технический редактор Р. Сиголаева

Сдано в набор 23.03.79. Подписано в печать 09.01.80 А01113. Формат
70х90^{1/16}. Бумага офсетная № 1. Гарнитура школьная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 31,59. Учетно-изд. л. 44,8. Тираж 100 000 экз. Цена 3 руб.
Заказ № 2067.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая
гвардия». Адрес издательства: 103030, Москва, К-30, Сушеvская, 21.

Полиграфкомбинат им. Я. Коласа Госкомиздата БССР по делам издательств
полиграфин и книжной торговли. Минск, Красная, 23.

Иллюстрации изготовлены в ордена Трудового Красного Знамени типографии
издательства ЦК КПБ. Минск, Ленинский пр. 79.

